

БИБЛИОТЕКА
ОФАНТАСТИКИ

Советская фантастика
20-40-х годов

СОВЕТСКАЯ ФАНТАСТИКА

20-40-х годов

06



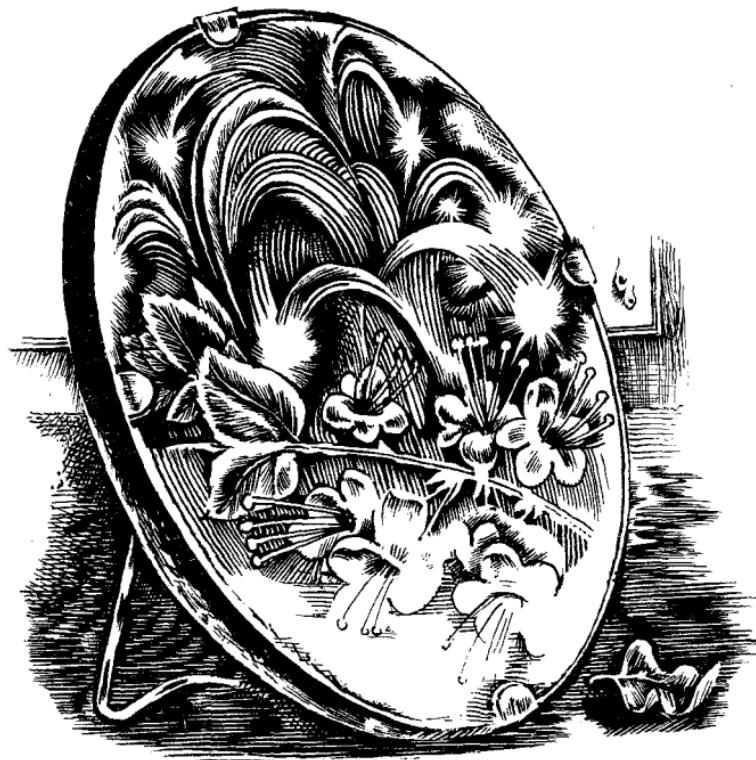




„Библиотека фантастики“ в 24 томах

БИБЛИОТЕКА
ФАНТАСТИКИ
06

Редакционная
коллегия
серии
«Библиотека
фантастики»
А. П. Казанцев
(председатель)
Д. А. Жуков
В. П. Карцев
А. П. Кешоков
А. П. Кулешов
А. А. Леонов
В. Д. Петров
Е. И. Парнов



СОВЕТСКАЯ СОДЕРЖАНИЯ

20-40-х годов

Москва Издательство «Правда» 1987

84 Р7
С 56

Составление,
вступительная статья и комментарии
Дмитрия Зиберова

Иллюстрации
Александра Яцкевича

С $\frac{4702010200-1382}{080(02)-87}$ 1382-87 (подписанное)

© Издательство «Правда», 1987.
Составление. Вступительная статья.
Комментарии. Иллюстрации.

Замыслы «мирового будущего»

«...Мы не можем обойтись без романтики. Лучше избыток ее, чем недостаток. Мы всегда симпатизировали революционным романтикам, даже когда были несогласны с ними».

В. И. Ленин

«10 апреля 2017 г. Первого же января этого же года мы, нижеподписавшиеся, в числе 20 человек вылетели на реактивном приборе из местности, находящейся в долине Гималайских гор (там-то).

Сейчас на своей ракете мы летаем вокруг Земли на расстоянии 1000 километров, делая полный оборот в 100 минут: устроили большую оранжерею, в которой насадили фрукты и овощи. Они нам давали уже несколько урожаев. Благодаря им мы хорошо питаемся, живы, здоровы и совершенно обеспечены на неопределенное долгое время. Кругом нас безграничное пространство, которое может прокормить бесчисленные миллиарды живых существ. Переселяйтесь к нам, если тяготит избыток населения и если земная жизнь обременяет. Здесь буквально райское существование, в особенности для больных и слабых.

За подробностями обратитесь к месту нашего вылета, куда доставлены подробные сведения о наших удачах. Там вы можете найти все указания для постройки необходимых для полета реактивных приборов».

Такую телеграмму послали на родину с космической орбиты известные всему миру учёные: Лаплас, Ньютона, Гельмгольц, Франклин, Галилей и никому не ведомый Иванов — герои повести К. Циолковского «Вне Земли». Обратим внимание на дату и заметим, что главная мысль послания — забота о человеке. Правда, космос

представляется путешественникам местом легкой жизни, «райского существования», своеобразного воплощения идеала человека, его извечной мечты о полной гармонии с природой. Они полагают, что путь к ней поможет проложить техника — «реактивные приборы», и этим ограничиваются. Однако не будем забывать, в какое время жили названные гении математики, физики, химии, астрономии — творцы фундаментальной науки. Их имена — вехи громадного исторического пути.

Конечно, все происходившее в повести «Вне Земли» — фантазия, вымысел, но К. Циолковский, в то время мало кому известный ученый, внесший, однако, уже большой вклад в разработку теории космических полетов, справедливо считал, что смелость, оптимизм помогут восхождению к мечте.

С ним согласились и другие авторы включенных в наш сборник произведений — В. Итин, А. Платонов, А. Грин, Л. Леонов, Вс. Иванов. Их герои менее авторитетны в науке и даже не имеют к ней отношения, но они — современники писателей, современники революционного поколения нашей страны.

В отличие от К. Циолковского авторы взяли за точку отсчета для создания произведений год 1917-й, расширили и углубили, даже осуществили прогнозы своих предшественников.

Русская классика всегда обращалась к жизни человека. Лучшие фантастические произведения дореволюционной России, как мы знаем, не исключение. По-разному, конечно, но с «пользою величайшею» социальные утопии А. Радищева, В. Левшина, В. Кюхельбекера, Вл. Одоевского, А. Вельтмана, Н. Гоголя, И. Гончарова, Ф. Достоевского, Л. Толстого, Н. Федорова, Н. Чернышевского, научная фантастика В. Брюсова, А. Куприна, Н. Морозова, А. Богданова поднимали рост национального самосознания народа. Фантастические главы романа Н. Чернышевского «Что делать?», как известно, оказали мощное воздействие на читателей. Тысячи молодых русских людей подражали героям. Номера «Современника», где роман публиковался, передавали друг другу, целые главы переписывали от руки, в различных собраниях, особенно в студенческих, горячо обсуждали, спорили.

Прогрессивная Россия сразу заметила, что в первой русской социалистической утопии, обращенной к будущему, прогресс научно-технический не мыслится без прогресса социального. Роман Н. Чернышевского «Что делать?» во мно-

тот задал тон и определил главное направление русской фантастики. Она стремительно начала поворот от утопии к науке.

Издательства и журналы — от «толстых» литературных до сугубо специальных технических публиковали в последней четверти XIX — начале XX века множество научно-фантастических романов, повестей, рассказов. Можно отметить «электрическую» утопию В. Чиколева «Не быть, но и не выдумка», повесть П. Инфантъева «На другой планете», повесть о путешествии в Арктику на автомобиле «В стране полуночи» М. Волохова (М. Первухина), астрономический роман «По волнам эфира» Б. Красногорского и его продолжение «Острова эфирного океана» (в соавторстве с Д. Святским).

Наиболее талантливыми, актуальными, современными выглядели произведения А. Куприна «Жидкое солнце», «Тост», «Волшебный ковер»; В. Брюсова «Мятеж машин», «Восстание машин»; ученого и революционера Н. Морозова «На границе неведомого. Научные полуфантазии», «Звездные песни», «Поэзия в науке и наука в поэзии»; и, пожалуй, наиболее значительные романы «Красная звезда» и «Инженер Мэнни» ученого и революционера, члена РСДРП, одного из соратников В. И. Ленина, А. Богданова.

Общественный интерес к этим произведениям во многом объяснялся тем, что они продолжили линию на соединение утопических взглядов с естественнонаучными, преобразование взглядов на социальную действительность от утопии к науке. Читателей и критику привлек роман А. Богданова «Красная звезда».

Один из современников, видимо, рецензент, вспоминает: «Был ноябрь 1907 года, когда появилась «Красная звезда»: реакция уже вступила в свои права, но у нас, рядовых работников большевизма, все еще не умирали надежды на близкое возрождение революции, и именно такую ласточку мы видели в этом романе. Интересно отметить, что для многих из нас прошла совсем незамеченной основная мысль автора об организованном обществе и о принципе этой организации. Все же о романе много говорили в партийных кругах»¹. В. И. Ленин с интересом прочитал «Красную звезду», и роман ему понравился. В беседе с автором он поставил перед ним более узкую, конкретную задачу: «Вот вы бы написали

¹ Бритиков А. Ф. Русский советский научно-фантастический роман. Л., 1970, с. 51.

для рабочих роман на тему о том, как хищники капитализма ограбили землю, растратив всю нефть, все железо, дерево, весь уголь. Это была бы очень полезная книга, синьор ма-хист!»¹ В. И. Ленина всегда интересовали новые явления общественной жизни, литературы. Руководитель партии большевиков советовал воспитывать «романтиков», способных преустроить мир на научной основе. Таких романтиков В. И. Ленин видел прежде всего в рабочем классе. Между тем, как известно, буржуазно-демократическая революция 1905 года в России во главе с рабочим классом — «генеральная репетиция» Октября — закончилась поражением. Роман А. Богданова «Красная звезда», появившийся в 1907 году, рассказывал о победоносной социальной революции.

Писатель талантливо соединил оригинальную техническую утопию с научными представлениями о будущем человечества и идеей социальной революции. В первом номере «Вестника жизни» за 1918 год критик писал: «А. Богданов сумел свою утопию написать так, что она представила будущую жизнь человечества с точки зрения научного социализма и показала грядущий общественный строй сообразно тому, что намечается уже в настоящее время». «Красная звезда» прочно легла в фундамент советской научной фантастики.

С первых шагов наша литература, и особенно фантастика, вышла на «передовую» идеиных сражений. Другого пути быть просто не могло. Политическое сопротивление внутренней реакции, экономический саботаж, переросший в гражданскую войну, международная блокада, вылившаяся в интервенцию Антанты, означали бескомпромиссное идеиное размежевание. Среди оппонентов — откровенные враги Советской власти, скептики, сторонники иного пути.

В вышедшем в 1917 году романе Н. Чаадаева «Предтеча» выдвигалась идея возрождения общества через «научную» переделку духовного мира личности. Автор собрал воедино «всего понемногу: и от толстовской идеи самоусовершенствования, и от уэллсовского интеллектуального элитизма, и от народнического мессианства, и от мистического мещанства Крыжановской»². Социальной революции противопоставлялась «инкубация элиты». В «Путешествии моего брата Алексея в страну крестьянской утопии», вышедшей в 1920 году,

¹ В. И. Ленин о литературе и искусстве. М., 1957, с. 566.

² Бритиков А. Ф. Русский советский научно-фантастический роман. Л., 1970, с. 94—96.

И. Кремнев мечтал о контрреволюции с помощью «крестьянских пулеметов» и другой военной техники. А поскольку в созданной его фантазией кулацкой республике рабочего класса нет, то эти самые пулеметы чуть ли не росли в поле. Кулацкая Россия одерживала победу над врагом — советской (!) Германией — ливнями тропической силы. Воду нодали гигантские «ветряки», а энергию — неизвестно.

Фантастический роман написал и бежавший за рубеж после разгрома своего мятежа небезызвестный генерал П. Краснов. Он назвал его «За чертополохом» и издал в Берлине в 1922 году. Ярый монархист представлял себе путь к возрождению России через «гуманное и справедливое» самодержавие, которое, например, спасает избянную Россию от пожаров. Оказывается, по приказу царя кулацкие избы покрыли негорючим составом. Краснов «изобрел» и воздушные корабли из листового железа, поднимаемые газом в 500 (!) раз легче воздуха. Ненависть к Советской власти переплеталась с махровой мистикой.

В своем романе «Мы» писатель из сомневающейся интеллигенции Е. Замятин объявил революционное учение «последним номером», пределом общественного развития. Личность человека растворилась в некоем «интеграле» народа. Автор проявил непонимание соотношения «я» и «мы» при социализме. Роман вышел за рубежом в 1925 году. Был написан достаточно профессионально и сразу же замечен врагами нашей страны. Это одна из первых серьезных антиутопий — опровержений коммунизма XX века.

Даже прогрессивно настроенные зарубежные фантасты сомневались в «русском эксперименте». Г. Уэллс после встречи с В. И. Лениным сказал: «В какое бы волшебное зеркало я не глядел, я не могу увидеть эту Россию будущего...» Правда, тут же добавил: «...но невысокий человек в Кремле обладает этим даром». Реакционеры откровенно не принимали социализм и создавали «критические» антиутопии. В романе «Новый прекрасный мир», вышедшем в 1931 году, О. Хаксли изобразил мир жестокости и презрения к культуре, размывания личности. Он хотел подтвердить якобы бессмысленность борьбы за лучший общественный идеал. Д. Оруэлл (настоящее имя Э. Блэр) в повести 1946 года «Звероферма» объявлял коллективный труд причиной угнетения и уничтожения личности. В романе «1984» он нарисовал будущее как мрачное господство элиты, тотальную слежку, взаимную ненависть, духовную пустоту. Ро-

ман был опубликован в 1949 году и стал своеобразной «вершиной» творчества фантастов-антиутопистов того времени.

Важно, что многие «ученые» оппоненты считали идеи Октябрьской революции «чисто русским явлением». 16 декабря 1944 года газета «Нью-Йорк таймс» поместила отзыв Ф. Хекета на роман Л. Леонова «Дорога на Океан». Критик назвал его «манифестом русской экспансии». «Размах будущего безграничен,— писал автор,— и русское господство над ним посредством двух мировых войн даст возможность Советам дойти до Шанхая, где Океан станет идеальным современным городом»¹. В ответ Л. Леонов справедливо заметил, что их прогнозы намерены «духовно разоружить нашу страну и затем под местной анестезией национального сомнения изготовить из нее питательное и безопасное блюдо на грядущие века»².

Лучшие произведения советских фантастов, как и советской литературы в целом, наполнялись оптимистической энергией созидания. Писатели проектировали «мировое будущее», размышляли о нем реальностями настоящего. И делали это не только с масштабом и пафосом, но и талантливо. Оппоненты вынуждены были считаться.

По свидетельству знатока жанра, французского писателя и ученого Ж. Бержье, в 20—40-х годах многочисленные американские журналы широко печатали произведения наших фантастов, письма читателей из Советского Союза. Часто под названием произведения делалась вставка от редакции типа: «Этот рассказ повествует о героических подвигах строителей пятилетнего плана»³. Примечательно, что большинство современных американских физиков заинтересовались наукой, читая фантастику в детстве. Об этом свидетельствуют их письма, найденные в архивах редакций.

Ж. Бержье пришел к любопытному выводу: «Если когда-нибудь можно будет написать историю либерального мышления в США между двумя войнами, то переводы советской научно-фантастической литературы сыграют в ней важную роль». Вдохновением антиутопистов повелевал ин-

¹ К о в а л е в В. Восприятие творчества Л. Леонова за рубежом (1925—1960).— В кн.: Мировое значение творчества Леонида Леонова. Сб. ст. М., 1981, с. 67.

² Там же.

³ Здесь и далее в кн.: Б р и т и к о в А. Ф. Русский советский научно-фантастический роман. М., 1970, с. 148—150.

стинкт самосохранения. За «литературностью» скрывались, по выражению А. Беляева, «убогость мысли, низкое профессиональное мастерство, трусость научных и социальных концепций». С ним согласился сам Г. Уэллс: «Научная фантастика вырождается... вырождается особенно в Соединенных Штатах Америки... Внешне занимательная фабула, низкопробность научной первоосновы и отсутствие перспективы, безответственность издателей — вот что такое, по-моему, наша фантастическая литература сегодня». Еще раз подчеркнем, что это говорил лидер западной фантастики. Он верно полагал, что нужно «провидеть социальные и психологические сдвиги, порождаемые прогрессом цивилизации», «усовершенствовать человечество», но в силу классовой ограниченности не понимал, с чего начать.

Оппонентам хватило буйной фантазии придумать «космическую оперу» — межпланетные приключения, но выдумка лишила их возможности взглянуть на Землю, поинтересоваться человеком. Как заметил Уэллс, не хватало «подлинной науки и глубокой мысли».

Почти одновременно с А. Богдановым раскрывался талант писателя-фантаста К. Циолковского. Он создал повести «На Луне», «Изменение относительной тяжести на Земле», «Грезы о Земле и Небе» и, наконец, свое главное научно-фантастическое произведение — повесть «Вне Земли». «Хочу быть Чеховым в науке,— писал он,— в небольших очерках, доступных подготовленному или неподготовленному читателю, дать серьезное логическое познание наиболее достоверного учения о космосе»¹.

В начале 1903 года автор посыпал в редакцию журнала «Научное обозрение» рукопись. Статья была напечатана в пятом номере. Мало того, что цензура сильно ее выправила, но в довершение всего тираж конфисковали, а журнал закрыли. Полностью работа была опубликована в 1911—1912 годах. Для ее популяризации К. Циолковский и принял предложение редакции журнала «Природа и люди» написать научно-фантастическую повесть.

Это небезынтересное обстоятельство лишний раз подтверждает, что К.Э. Циолковский видел успех научной фан-

¹ «Техника — молодежи», 1961, № 8, с. 32. (Из архива К. Э. Циолковского.)

тастики в тесной связи с жизнью. В юности, работая над повышением своего образования в Чертковской библиотеке в Москве, он познакомился с оригинальной космогонической теорией Н. Федорова. От этой высокогуманистической теории, изложенной затем в большом труде «Философия Общего дела», и начался для К. Циолковского путь к звездным мирам. Осмысление и развитие «Философии...» с позиций точного научного знания зrimо прослеживается в повести «Вне Земли», выпущенной в свет в Калуге в 1920 году. Ученый внимательно следил за общественно-политической ситуацией в России накануне революции. Убедительное тому доказательство — глава «Состояние человечества в 2017 году». Она совсем небольшая, но словно ядро, сердцевина всей повести.

Вылетев с Земли на реактивном космическом корабле, интернациональный космический экипаж после напряженной творческой, технической и физической работы создал себе «беспечальное житье» в «эфирном пространстве». Между тем, на далекой Земле произошли изменения.

«Что представляла из себя Земля в 2017 году?» Отвечая, писатель дает свое понимание устройства жизни на Земле через сто лет. По его мнению, существовало одно начало: конгресс, решающий «все вопросы, касающиеся человечества», то есть нечто подобное ООН, только на более совершенном уровне. Войны стали невозможны. Конфликты решались мирно. Армии почти нет. «Довольно счастливые условия» повысили рождаемость, и население «утроилось». Экономика «достигла значительного успеха». С помощью дирижаблей и аэропланов решали транспортные проблемы. Мирно шествовало человечество по пути прогресса. Однако быстрый рост населения заставлял задумываться всех мыслящих людей и правителей.

Идеи о возможности технического завоевания и использования мировых пустынь носились давно — еще более ста лет тому назад... Но эти идеи были почти забыты, и только наша компания ученых их воскресила и отчасти осуществила». Так заключил автор главу повести.

Как видим, социально-историческая мысль К. Циолковского на рубеже двух эпох была достаточно оптимистична. И пусть художественные достоинства произведения были «на уровне Чехова в науке», а не в литературе, стало очевидным, что создан прочный мост от стихийной мечты к точным расчетам. А это, в свою очередь, означало, что

у фантастики появилась твердая научная основа, опираясь на которую можно и нужно исследовать в художественной форме самые серьезные, самые злободневные естественнонаучные и социальные проблемы.

Герои повести Циолковского действуют в космосе. Они оторваны от событий, происходящих на далекой Земле. Между тем «состояние человечества в 2017 году», как мы понимаем, не изменилось само собой. Единственный возможный путь к этому идеалу, которого не коснулся автор «Вне Земли», — это острая социальная борьба, схватка не на жизнь, а на смерть. События в стране со всей очевидностью подтверждали, сколь тернист путь восхождения к мечте. Поэтому не случайно, что фантастика еще смелее вступает в острейшие сражения за идеал.

О будущем прекрасном, справедливом мире Гонгури мечтает юный Гелий — герой повести В. Итина «Открытие Риэля». Он заточен в тюрьме белогвардейцами Колчака вместе с другим «государственным преступником» — старым врачом Митчем. Узников обвинили в большевизме и приговорили к расстрелу.

Врач Митч, участник революции 1905 года, жил в Америке. После Октября вернулся в Россию. Шестнадцатилетний Гелий — солдат Красной Армии. «...Хаос первоначальной власти. Сражения. Коммунистические отряды, скрывшиеся в тайге. Санитарная повозка под шкурой медведя. Ремень винтовки, прилипшей к плечу Гелия... В декабре их окружили. Несколько человек, по обычаю бандитских войн, были доставлены живьем... Это — они...»

Зрелое поколение первой русской революции встречается с юностью Октября в трагической ситуации. Но если Митч уже ничего не ждет от будущего и покорен, то Гелий страстно желает хоть на мгновение оказаться в «стране счастливых», за которую сознательно пойдет на смерть. Он даже говорит об этом стихами Митчу:

«Сердце губит радостная жажда,
Лучше умереть, но взглянуть...»

И просит усыпить его, чтобы побывать хоть во сне «в мире более совершенном». Во сне он перевоплощается в жителя далекой планеты — ученого Риэля. Перед взором проходят картины прекрасного, справедливого мира Гонгури...

Шел «1920 год после революции». В этом мире «вишни величиной с яблоко и персики величиной с арбуз». Он делился на страны по плодам их растений. Эта планета — сад с кра-

сивыми городами и совершенной техникой, позволяющей людям путешествовать на другие планеты, даже на последнюю планету перед солнцем — Паон. На ней жили не менее прекрасные люди: Везилет, Марг, Нолла, Пейрироль. Здесь герой встретил «свою Гонгурю», девушку с «рубиновым» сердцем, его мечту. Вдохновение толкнуло Риэля на отчаянную мысль — «овладеть мельчайшими лучами энергии, претворить их в подобные им, видимые, световые волны и собственными глазами посмотреть, из чего состоит мир». Он открыл особое вещество — онтэ и тем самым помог людям освободиться от законов тяготения.

Гонгуря говорит Риэлю: «Забудь о своем сне, о своей страшной земле, Риэль, — длилась далекая речь. — Утром мы полетим с тобой вместе в поля, где растут лилии долин, и в рощу Лоа. Мы будем смотреть на радугу в брызгах водопада и ловить голубых птиц. Потом мы войдем в мой корабль и улетим на острова Южного океана. Там, я знаю, в пустыне, есть одинокий атолл. Мы будем там одни. Долго...»

Риэль согласен, но когда Гонгуря вдруг сообщает, что не может взять его с собой, потому что «он убил себя», сон исчезает. Разум Гелия восстает против мысли о своей напрасно загубленной юной жизни. Он покидает страну Гонгуря и лишь жалеет, что «забыл такие простые вещи: как изготавливается онтэйт, электрическое оружие? Я мог бы расплавить засовы, уничтожить тюремщиков, освободить человечество».

Заметим — «освободить человечество». Так с оптимизмом думал Гелий в тюрьме за час-другой до расстрела. Он совсем не завидовал Митчу, которого опознал советник американской миссии Мередит и, кажется, спас от гибели. Американцу «обещали показать ту породу существ, что во всех журналах изображается в виде орангутангов...», но он увидел в камере людей, не только назвавших его по имени на родном английском языке, но и с достоинством отнесшихся к предложению об освобождении.

Враги остались верными себе. Они решили «умело вывести красных в расход». Конвойные вели Гелия по красному бору к Красному Яру, среди ирисов, сараны и красных незнакомых цветов и потом, остановившись, «осторожно защелкали затворами и зашептались». Гелий погиб с мыслью о Гонгуря, с верой в счастье людей.

Тесное переплетение фантастики с злободневной действительностью закономерно. Судьба Гелия, рядового солдата революции, была характерна для молодежи того времени,

особенно комсомольцев. Многие из них искренне верили в восстание против мировой буржуазии буквально завтра, в крайнем случае на следующий день...

Молодой В. Итин, возможно, однополчанин Гелия, относился к поколению революционных романтиков, но в сражениях с белогвардейцами в Сибири писатель начал осознавать, что «последним и решительным боем безногого спрута капитализма» не уничтожить. Надо строить новый мир своими руками. Этим объяснялось стремление В. Итина соотнести философский образ будущего — коммунизма с борьбой за него в настоящем.

Торжество мира славит в своем творчестве другой писатель молодого поколения революции, Андрей Платонов. Солдат Гелий сражается до последней возможности. Герои А. Платонова — фанатики труда. Сам писатель был очень трудолюбивым и разносторонним человеком. Высоко ценил в людях энтузиазм преобразований, способность идти впереди, универсальный интеллект. Обращение А. Платонова к фантастике в начале своего творчества очень понятно. Ему хотелось показать идеал трудолюбивого социалистического человека.

Рассказ «Потомки Солнца» — составная часть фантастической трилогии, в которую вошли также рассказ «Лунная бомба» и повесть «Эфирный тракт».

Инженер Богулов «был когда-то нежным, печальным ребенком, любящим мать, родные плетни, и поле, и небо над всеми ими». Его влекла «песня звезд», он видел «чистые, голубые, радостные сны», рос и набирался сил.

И ничего, казалось, не нарушало покойного течения жизни, если бы не «великая эпоха электричества» и начавшаяся «перестройка земного шара». Руководителем этой перестройки «мировое совещание рабочих масс» назначило инженера Богурова, «седого согнутого человека с блестящими всевидящими глазами, того самого нежного мальчика».

Согласно разработанному Богуловым плану изменили климат на Земле. Затем с помощью специально изобретенного ультрасвета начали менять облик Земли. «Безумие работы охватило человечество», но ее становилось больше, «открывался океан труда». И тогда Богулов пришел к мысли об изменении не только Земли, но и «миров»... Богулов решил «родить для себя сатану сознания, дьявола мысли» и убить в себе все человеческое.

Переделав земной шар, он принял за преодоление «сопротивления Вселенной» для создания с помощью ультрасвета иной Вселенной, заставил человечество «жить как в урагане», и сам погиб от этого. Идеал «новорожденного» социалистического человека оказался весьма далеким от совершенства.

Оказывается несостоятельной и технократическая жизненная позиция Петера Крейцкопфа. Изготовив «лунную бомбу» ценой больших жертв и достигнув Луны, он не видит цели, смысла своей дальнейшей жизни и срывается в неизвестность, в бездну. Безразличие к людям оборачивается забвением самого себя и неминуемой расплатой.

И все же именно романтика, фантазирование на основе реального опыта помогли А. Платонову отойти от наивного противопоставления природы и техники. Он внимательно всматривался в таких энтузиастов науки, как К. Циолковский, А. Богданов, В. Обручев, читал их произведения и убеждался, что считать природу враждебной стихией безнравственно. А. Платонов понял это не сразу.

Несколько лет он работал над повестью «Эфирный тракт». Ее герой — Михаил Кирпичников, очень похожий на самого писателя, случайно познакомился с работами деревенского мастера-самоучки Фаддея Попова. Ему понравилась идея («как случайную, нечаянную жизнь человека превратить в вечное господство над чудом Вселенной»), высказанная Поповым в неоконченной рукописи. Считая идею верной и вполне осуществимой, Михаил Кирпичников вступил в конфликт с инженером Матисеном, который «явно насиливал природу. И преступление было в том, что ни сам Матисен, ни все человечество еще не представляли из себя драгоценностей дороже природы. Напротив, природа все еще была глубже, больше, мудрее и разноцветнее человеков». Так считал и сам автор.

Заявленный с излишней пылкостью романтики «последнего и решительного боя», культ приданка машины рухнул. А. Платонов пришел к единственно верному: «Красота — все дни и все вещи, а не одна подземная и недоступная, гордая... она всегда в душе моей». Он не находился в «мире без происшествий», по выражению Ф. Достоевского. Фантастика помогла писателю найти верные ориентиры в литературе. Трилогия, рожденная «на заре туманной юности», стала прекрасным прологом ко всему творчеству А. Платонова, его «прекрасному и яростному миру».

Из земного гранита и инопланетных самоцветов сложил мир своих героев А. Грин. По воспоминаниям современников, он был еще нетерпеливее и категоричнее в установлении «сразу» равенства, честности, справедливости, красоты человеческих отношений для всех. Символом духовной и физической свободы человека стал поистине масштабный образ героя его первого крупного фантастического произведения — романа «Блистающий мир». Название говорит об особом романтическом понимании писателем пути достижения ранее невозможного «царства света». Друд, главный герой романа, — один из первых жителей этого мира, «в нем заложены гигантские силы... он определяет и разрешает случаи, по его воле начинающие сверкать скучой...». «Человек двойной звезды», «крупная душа», «его влияние огромно, связи бесчисленны».

Несмотря на божественное всемогущество, способность «парить в пространстве» и властвовать над всеми, он ближе к людям, чем, скажем, титанический Богулов. Друд — простой человек, поднявшийся к вершинам знаний и полностью сознающий свою ответственность перед обществом.

А. Грин сознательно усилил в романе столкновение добра со злом, чтобы показать, как еще сильны и опасны темные силы. Объясняя Руне свой приказ об аресте «Двойной Звезды», ее дядя-министр говорил: «Представим же, что произойдет, если в напряженно ожидающую пустоту современной души грянет этот образ, это потрясающее диво: человек, летящий над городом, и вопреки всем законам природы, уличая их в каком-то чудовищном, тысячелетнем вранье. Легко сказать, что ученый мир кинется в атаку и все объяснит. Никакое объяснение не уничтожит сверхъестественной картины зрелица. Оно создаст легко воспламеняющуюся атмосферу мыслей и чувств...»

Министру страшно. Он не изменил своего решения и после того, как Руна, побывав в тюрьме у Друда, возражает: «Я увидела и узнала его. Нет ничего страшного. Не бойтесь: это мечтатель».

Сам Грин очень верил в торжество таких мечтателей. Не зря же он вложил в уста Друда романтически одержимый ответ властолюбивой и корыстной Руне: «Одно верно: стоит мне захотеть, а я знаю тот путь — и человечество пошло бы все разом в страну Цветущих Лучей, срываивая прошлое с ног своих без единого вздоха».

Друду не суждено поделиться своей тайной. Он погиб. Но смерть означала не ошибочность его принципов, жизненной позиции, а многотрудность пути к совершенству в изменяющемся мире. От простого обозначения символики социалистического А. Грин перешел к сложностям психологии человека будущего. В этом, думается, не только особенность героев «гринландии», но и их тайна, благодаря которой «Блистающий мир» и другие фантастические произведения писателя воспринимались как правда.

В романе одного из основоположников советской литературы, Л. Леонова, «Дорога на Океан» фантастика стала важной частью большого реалистического полотна. Без нее произведение не стало цельным.

В отличие от уже известных героев Алексей Никитич Курилов — коммунист тридцатых годов XX века. Он занят конкретной работой на Дальнем Востоке, и в «Путешествиях за горизонт», совершаемых вместе с автором, думает о грядущем с позиций сделанного и планов на перспективу. Курилов озабочен будущим своих детей, своей страны, его волнует нравственность политических, военных, научно-технических проблем.

В «шахматной игре» на карте мира герои предполагают, как будет развиваться общество. Советский Союз, социализм существенно раздвинули свои границы. Образовалась Северная Федерация Социалистических Республик, но Москва осталась «Меккой научного социализма, подпольщицей всемирного возрождения». Новая столица давно передвинулась на восток, но люди по-прежнему «любили этот город». Столицу назвали Океаном: «исторически и географически это был величайший перекресток Земли».

Однако «старая эра умирала трудно». Несмотря на миролюбивые призывы правительства Северной Федерации Социалистических Республик, Старый Свет во главе с одной «могучей державой» стремился взять реванш за утраченные позиции: «надвигалась неотвратимо улыбающаяся ведьма войны».

Размышляя о военной угрозе, герои сожалели: «Но так же, как, создавая богов, дикарь наделял их человеческими свойствами, мы не сумели создать племени, отличного от наших современников». В фокусе столкновения двух нравственных начал, добра и зла, писатель заострял важнейшую проблему современности — войны и мира.

В решающем сражении Старый Свет потерпел поражение. Убеждение людей в правоте своего дела, их верность социалистическому Отечеству решили исход борьбы.

В другом «путешествии за горизонт» герои встречали в Океане «первого человека, совершившего межпланетное плавание». Люди гордились им прежде всего потому, что он творчески трудился в космосе. «Звание человека в ту пору,— подчеркивает автор,— окончательно совместилось с понятием действенного человека, то есть мастера». Одновременно стало известно о том, что из космического полета на Землю не вернулись двое других. Земляне оплакивали погибших, но не считали их ушедшими навсегда. «Не заключалась ли в этом самая совершенная форма бессмертия: считать живыми?» — как бы спрашивал герой романа.

Вопрос задавался не случайно. Алексей Курилов находился в безвыходно трагическом положении. Болезнь «на полном ходу» остановила его кипучую деятельность, но не отменила напряженную духовную жизнь. Он не хотел и думать о бренности жизни, отказывался от сострадания к самому себе, всматривался в человека будущего, сравнивал с ним современников. Воображение, рожденное разумом и силой духа, помогло ему выполнять заповедь славного поколения революции: «Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой! Сделай ее полезной!» Главная мысль романа — это размышление о двух мирах, создающих различную по качеству «человеческую породу». С помощью фантастики Л. Леонов не просто возвысил гармонию нового мира, социалистического, но и обнажил духовную нищету старого, капиталистического. «Путешествия за горизонт» высветили возможные повороты в историческом споре двух миров, одновременно наметили диалог между сторонниками «буквально райского существования» (вспомним «Вне Земли» К. Циolkовского!) и теми, кто считал, что «коммунистическое далеко» должно быть сложным и героическим. Здесь фантастика нацеливала стрелу против современного мещанства — тихого и страшного врага социализма. В решении острых нравственных проблем заинтересован не только Алексей Курилов, но и все наше общество. Без этого труднее решались проблемы экономические. Герои «Путешествий за горизонт» размышляли: «Прикасаясь и радуясь, мы повидали многое там, на Океане. Порой бывало грустно возвращаться назад, как из нарядного жилого дома в незаконченную стройку, которая стоит еще без кровли, где еще протекает, и стропила чернеют над головой, и видна грубая кладка кирпича на

неотштукатуренных стенах, и поджигатель зачастую копошится у фундамента».

Так произошло нефантастическое соединение фантастики, «реальной» коммунистической утопии с современностью. Эта связь стала зримее и крепче в преддверии грозных событий Великой Отечественной войны. Моделируя конфликт двух миров, Л. Леонов не стремился угодить любителям острых ощущений. До появления романа «Дорога на Океан», как мы знаем, было написано множество авантюристо-приключенческих и военных утопий. В середине тридцатых годов идеал мировой реакции, фашизм, объявил о начале похода против большевизма. В этом смысле рассказ о возможном конфликте был предупреждением о грозящей опасности, имел мобилизующее значение, но призывал людей быть оптимистами.

В военные годы неодолимой верой в торжество Добра над Злом, жизнью над смертью во имя будущего были проникнуты фантастические произведения другого основоположника советской литературы, Всеволода Иванова. Мы знали о нем больше по повестям «Партизаны», «Бронепоезд 14-69», на основе которой была затем создана всемирно известная пьеса о революции в России, «Цветные ветры», романам «Похождение факира», «Пархоменко» и другим, по замечательной военной публицистике, где писатель создавал образы героев фронта — современных витязей, «возвеличивал историю, их породившую, показывал, из чего выросли их характеры, из какой земли, из каких исторических традиций». И очень мало знали о Вс. Иванове-фантасте. Между тем «литература мечты» занимала в творчестве писателя видное место. Дарование «выдумщика» проявилось у Вс. Иванова с первых произведений и особенно ярко засверкало в его «фантастическом цикле». Недаром друзья шутливо называли этот дар «всеволодианством».

Бурная и смелая фантазия писателя раскрылась уже в автобиографическом романе тридцатых годов «Похождение факира». Как «выдумщик» он предстал в повести «Возвращение Будды», где легенды смело вторглись в жизнь. В этом содержался намек на замысел «фантастического цикла», появившегося через двадцать лет.

Свою фантастику Вс. Иванов создавал в тяжелое для страны время. Шла война. Погибал цвет русской нации, других народностей. Разруха и смерть казались беспредельными, но наш народ-богатырь упрямо и твердо шел к победе. Герой

одного из рассказов «фантастического цикла», «Опаловая лента», говорил: «Война с фашизмом повышает и без того повышенный интерес к мощным шекспировским страстям. Мы воюем за гуманизм. Шекспир рожден гуманизмом, он высшее проявление его. Теперь воистину мы видим творца истории — человека, не по пояс, а во весь рост. Мы уподобились и даже превысили лучшие идеалы человечества...» Беспощадную, «народную священную войну» с «империей зла» — германским фашизмом писатель справедливо считал гуманизмом, а героизм советских солдат — высшим его проявлением. В этом же рассказе были знаменательные слова: «Русский человек, будучи едва ли не самым фантастичным в мире, предпочитает считать себя реалистом». Они исторически масштабны по своему смыслу. Писатель хотел подчеркнуть, что невиданный доселе героизм и самопожертвование русского народа не имеют равных в истории, но в его основе не слепая ненависть, а неукротимое желание верить в Добро и творить его. Корни этой особенности «русского характера» (как не вспомнить «здесь русский дух, здесь Русью пахнет» А. Пушкина), национального самосознания уходили в легенды о «невидимом граде Китеже» и мечты о «городе Солнца», в достижения отечественной и мировой культуры. «Фантастичность» русского человека представлялась таковой в его обычной жизни.

Мысль Вс. Иванова о фантастической реальности красной нитью проходит через весь «фантастический цикл».

Рассказ «Медная лампа» стал прологом «цикла» и со всей определенностью заявил об этом.

Писатель словно продолжал свою автобиографию из романа «Похождения факира» и в «волшебном» ключе описывал приключения молодого человека, который на все имеющиеся в наличии сбережения купил на рынке у бояка Васи Михнова старую «медную лампу на время». Насовсем лампа не продавалась. Она волшебная, как утверждал бояк. В ответ на сомнения героя Вася Михнов философски заметил: «Для дурака — все сказка, а для умного — везде найдется правда».

И вот герой на берегу густо-синего Иртыша с заветной лампой в руках. «Ну что ж, попробуем, — сказал я сам себе, глядя на лампу. — Прокатимся в будущее и прошлое, растворимся в пространстве, разборчиво, без развязанности, разделим по пунктам все мечты и выберем лучшую, а затем уже осуществим ее ради любимой». Он думал о «своем» счастье и

представлял себя императором, полководцем, банкиром, заводчиком, путешественником, ученым, героем, но отвергал все. И деньги тоже. Во имя чего? Для героя открылась высшая ценность: творчество, вдохновение, любовь. Он забыл, что «лампы Алладина» не существует, простили обман Васе, с искренним сожалением возвратил ему старую лампу и укрепился в правоте своего открытия. А спустя много лет чувствовал, что открытие юности стало убеждением.

Фашизм противоречил романтике личных открытий, убеждений. Он был несовместим с «русским духом» в его интернациональном, высокогуманистическом понимании. Вс. Иванов повел своего героя в смертную атаку на зло во имя своих убеждений в центральном произведении «фантастического цикла», повести «Агасфер».

Шла война. Фашизм стремился приспособить древние мифы и легенды в своих интересах. Его идеологи представляли бесценные творения людского гения так, чтобы показать порочность человеческой природы, извечную склонность человека к насилию и злу. Фон Эйтцен — Агасфер для Ильи Ильича не просто герой из такого мифа, а лживое олицетворение ползучей хитрости, мракобесия, человеконенавистничества. Под маской Агасфера скрывался неумолимый и жестокий враг. Он замыслил убийство. Пользуясь слабостью, пытался «отстегнуть наглухо застегнутую душу». Начался поединок двух воль и чувств, убеждений, в ходе которого переосмысливалась «западная» легенда об Агасфере. В ней появились даже мотивы русской народной сказки о Кащее бессмертном. Тайну жизни Агасфера, с которым сражался Илья Ильич, по его мнению, хранит обитый медью сундук, где спрятан меч и сумочка с золотым яичком. Илья Ильич убежден в этом. Но как к нему добраться? Значит, надо выиграть поединок.

В поисках «обновления» на Востоке, на русской земле Агасфер и ему подобные старались получить новую жизнь за счет жизни и крови пожалевших его. После каждой встречи с ним герой слабел, его жизнь шла на «умаление». Наконец, отбросив ставшие ненужными жалость и сострадание, Илья Ильич собрал в кулак все душевые силы и решил проникнуть в тайну жизни фон Эйтцена. Он узнал, где лежит медный сундук, и решительно повел в лес (заметим, в Подмосковье) фон Эйтцена, к заветному дереву. И вот уже золотое яичко в руках у Ильи Ильича, он чувствовал «медленное, еле ощущимое биение». Его воля непреклонна. Герой возродился.

«...Приятное, теплое чувство все росло и росло во мне. Казалось, прибавилось во мне сил, казалось, увидал я родные и широко знакомые места, казалось, встретил я ближайшего и любимого человека... даже рот был у меня окрашен каким-то невыразимо чудесным ощущением. Ух, хорошо! Ух, замечательно!»

Миг победы пришел. Новоявленный Агасфер в облике фон Эйтцена исчез в лиловато-нежной болотной водице. Романтически приподнятые нравственные откровения Ильи Ильича, проникнутые грозным патриотическим пафосом, звучали гимном родной земле, «фантастическому», но такому реальному русскому человеку.

Многие годы Вс. Иванов работал над большим историко-фантастическим романом «Сокровища Александра Македонского». Герой вел поиски частицы культурных сокровищ могущественной державы, которые, по преданию, не погибли и таились где-то в Семиречье, в Джунгарском Ала-Тау.

В 1962 году, составляя сборник для издательства «Советский писатель», Вс. Иванов включил в него роман, сделав примечание: «Сокровища Александра Македонского» — рассказ о мечтателях XX века». Отрывок был опубликован в № 3 журнала «Звезда Востока» в 1967 году, но роман остался незаконченным.

Вс. Иванов оставался «мечтателем» до последних дней жизни. Осенью 1961 года он ездил в родную Сибирь, на Иртыш. Под впечатлением свидания с родиной написал рассказ «Хмель». Восторгаясь красотой «лучистой, сияющей» природы, писатель высказал сокровенные мысли: «Не осень и не снег несут гуси-лебеди, а хмель, блестающий и заздравный хмель жизни.

Хмель, хмель, хмель творчества.

Кудрявый и пушистый пламень жизни».

Опубликованный в «Новом мире» в 1962 году, рассказ «Хмель» стал «лебединой песней» одного из азартных «мечтателей XX века».

Пристально вглядываясь в фантастику 20—40-х годов, мы обнаружили удивительное единство. «Калужский мечтатель», «первооткрыватель», «потомок Солнца», «романтик блестящего мира», «путешественник за горизонт», «мечтатель XX века». Так называли авторов нашего сборника — любовно-ласково, скептико-иронически, нередко излишне критически.

Но это единство не внешнее. Писателей роднит между собой общность помыслов и цели.

К сожалению, тогда их фантастику порой недооценивали. Считали, что по сравнению с А. Толстым, А. Беляевым, В. Обручевым она менее привлекательна. Действительно, хитросплетения «Аэлиты», «Человека-амфибии», «Земли Санникова», некоторых пародийно-авантюрных романов и военных утопий казались занимательнее, будили воображение. И все-таки в большей мере они посвящались таинствам науки и техники. И это понятно. Страна остро нуждалась в открытиях.

К. Циолковский, сам творец нового, еще до «времени Аэлиты» составил план общественного устройства через сто лет — в 2017 году. А. Грин и В. Итин раскрыли многообразие свободного нравственного совершенствования человека. А. Платонов и Л. Леонов открыли новые источники возвышенного труда. Вс. Иванов воспел величие ратного подвига, верной любви, неувядющей красоты русских людей.

Им удалось глубже заглянуть в душу человека, открыть в его мире новые «прекрасные порывы». В непрерывающейся связи времен, в единении романтического и земного они воспитывали и учили жить современников. Замысливая «мировое будущее», сами воображением вдохновенно и наяву пепреплавляли сказочные Китежи в «голубые города» страны, которой тогда еще не было, и свято верили, что она будет. Светлый созидательный луч фантастики разгорался ярче.

Дмитрий Зиберов

СОВЕТСКАЯ ДАЧА-ИСТИКА

20-40-Х ГОДОВ





1. Замок в Гималаях

Между величайшими отрогами Гималаев стоит красивый замок, жилище людей. Француз, англичанин, немец, американец, итальянец и русский недавно в нем поселились. Разочарование в людях и радостях жизни загнало их в это уединение. Единственной отрадой их была наука. Самые высшие, самые отвлеченные стремления составляли их жизнь и соединяли их в братскую отшельническую семью. Они былиbasнословно богаты и свободно удовлетворяли все свои научные прихоти. Дорогие опыты и сооружения постоянно истощали их карманы, однако не могли истощить. Связь с миром ограничивалась этими сооружениями, для которых, конечно, требовались люди и люди, но как только все было готово, они снова погружались в свои изыскания и в свое уединение: в замке, кроме них, находились лишь только служащие и рабочие, прекрасные жилища которых ютились кругом.

2. Восторг открытия

На самой вершине дворца была обширная стеклянная зала, куда особенно охотно сходились наши анахореты.

Вечером, после заката солнца, через прозрачный купол зала сверкали планеты и бесчисленные звезды. Тогда мысль невольно тянулась к небу и речь заходила о луне, о планетах, о бесчисленных, но далеких солнцах.

Отчаянные мечтатели! Сколько раз создавали они безумно смелые проекты путешествий по небесным пространствам, но их же собственные,

весьма обширные познания безжалостно разбивали эти фантазии.

В одну из погожих летних ночей трое наших приятелей мирно беседовали о разных веселых материалах, как вдруг, словно буря, ворвался русский и стал кидаться всем на шею, — стискивал до того, что обнимаемые кряхтели и жалобно пищали.

— Скажи на милость, — произнес, наконец, освобожденный из крепких объятий француз Лаплас, — что это значит? И почему ты пропадал столько времени в своем кабинете? Мы даже думали, что с тобой случилось несчастье во время твоих опытов, и хотели вломиться к тебе силой.

— О, это ужас, ужас, что я придумал! Нет, это не ужас — это радость, восторг...

— Да в чем же дело?! Ты как сумасшедший, — сказал пострадавший немец Гельмгольц.

Потное красное лицо русского, со всклоченными волосами, изображало какое-то неестественное воодушевление, глаза блестели и выражали блаженство и усталость.

— Через четыре дня мы на Луне... через несколько минут — вне пределов атмосферы, через сто дней — в межпланетных пространствах, — выпалил неожиданно русский по фамилии Иванов.

— Ты бредишь, — сказал англичанин Ньютон, поглядевши внимательно на него.

— Во всяком случае не чересчур ли скоро! — усомнился француз Лаплас.

— Господа! Я увлекаюсь, это правда. Однако прошу меня выслушать и послать для этого за остальными нашими товарищами.

Когда они пришли, все разместились вокруг большого круглого стола и, поглядывая на небо, с нетерпением дожидались сообщения русского.

3. *Обсуждение проекта*

— О, друзья! — начал русский. — Как незамысловато то, что я придумал.

— Судя по твоим намерениям, мы этого не полагали, — сказал итальянец Галилей, которому уже успели кратко сообщить о происшествии.

— Вам известна энергия горения,— начал русский.— Напомню числа. Тонна нефти при сгорании выделяет такое количество работы, которое в состоянии поднять такую же массу на высоту нескольких тысяч верст от поверхности Земли. Полторы тонны нефти в состоянии сообщить одной тонне такую скорость, которая достаточна, чтобы удалиться навеки от Земли...

— Иными словами,— перебил итальянец,— масса горючего вещества, в полтора раза большая массы человека, в состоянии сообщить ему скорость, достаточную для удаления его от Земли и путешествия вокруг Солнца...

— Русский, вероятно, придумал гигантскую пушку,— перебил, в свою очередь, американец Франклин.— Но, во-первых, это совсем не ново, во-вторых,— абсолютно невозможно...

— Ведь мы же это достаточно обсудили и давно отвергли,— добавил Ньютон...

— Дайте мне говорить!.. Вы не угадали,— произнес русский с досадой. Все замолкли, а он продолжал:— Пожалуй, я и придумал пушку, но пушку летающую, с тонкими стенками и пускающую вместо ядер газы... Слышали вы про такую пушку?

— Ничего не понимаю,— сказал француз.

— А дело просто, я говорю про подобие ракеты.

— И только?— с разочарованием промолвил пылкий итальянец.— Ракета — это что-то ничтожное, этим ты нас не удивишь... Неужели ты хочешь отправиться в небесные пространства в большой ракете?

Общество улыбалось, но Ньютон задумался, а русский ответил:

— Да, в ракете, особенным образом устроенной. Это смешно и, по-видимому, невозможно. Но строгие вычисления говорят иное.

Ньютон слушал внимательно, прочие загляделись на звезды. Когда снова все обратились к Иванову, он начал:

— Самые неопровергимые вычисления показывают, что взрывчатые вещества, вылетая из дула достаточно длинного орудия, могут приобретать скорость до шести тысяч метров в секунду. Если положить, что масса пушки равна массе выброшенных газов, то дуло получит обратную скорость в четыре тысячи метров.

При массе взрывчатых веществ, в три раза большей, скорость дула будет восемь тысяч метров; наконец, при массе в семь раз большей, дуло приобретает секундную скорость в шестнадцать тысяч метров, которая больше, чем нужно для удаления от Земли и путешествия вокруг Солнца.

— Для этого нужно секундную скорость только в одиннадцать тысяч семьсот метров,— заметил Ньютон.— Но, пожалуйста, опиши нам скорей свою ракету.

— Да, да! Мы слушаем! — закричали все и громче всех Галилей.

— Представьте себе яйцевидную камеру с расположенной внутри ее и выходящей наружу трубой. В камере помещаюсь я и запасы взрывчатых веществ, которые понемногу выпускаются через трубу вниз во время взрывания. Непрерывное взрывание веществ и выбрасывание со страшной скоростью продуктов горения вызовет обратное непрерывное стремление камеры двигаться вверх с возрастающей скоростью. Тут могут быть три случая: когда давление выбрасываемых газов не одолевает тяжести снаряда, когда оно равно весу снаряда и когда больше его. Первый случай не интересен, потому что тогда снаряд не трогается с места и без поддержки падает, его вес только уменьшается; во втором — он теряет всю свою тяжесть, то есть не падает без опоры; в третьем случае, самом интересном, снаряд устремляется в высоту.

— На весу он может находиться при употреблении гремучего газа в течение 23 минут 20 секунд, когда вес взрывчатых веществ в семь раз превышает вес снаряда со всем содержимым,— заметил Лаплас.

— Совершенно верно! Но стояние на воздухе для нас было бы бесполезно, и потому мы не будем останавливаться на этом случае. Замечу лишь, что тогда кажущаяся тяжесть внутри снаряда не изменяется, то есть все предметы в нем остаются того же веса.

— Ты, без сомнения, предполагаешь,— прервал Ньютон,— что пушка установлена отвесно отверстием книзу?

— Разумеется, хотя положение ее может быть и наклонным! Но перейдем к третьему случаю. Выгоднее всего (то есть ракета приобретает наибольшую скорость), когда взрыв происходит как можно скорее.

— Но, во-первых, тогда быстро приобретенная скорость снова потеряется через сопротивление воздуха во время пересечения атмосферы, во-вторых, относительная тяжесть внутри снаряда настолько возрастет, что сейчас же раздавит все находящиеся в нем живые тела.

— Далее, — заметил Франклин, — и пушка должна быть чересчур крепка, отчего и вес ее будет чересчур велик, что нехорошо.

— Верно! Я полагаю, что достаточно будет на прибор давления, в десять раз превышающего тяжесть снаряда со всем содержимым. При этом человек будет чувствовать себя только в десять раз тяжелее обычного. Такую тяжесть с помощью придуманных мною средств он легко может вынести.

— Интересно узнать эти средства, — сказал Гельмольц.

— Ты их узнаешь, но не теперь... Буду продолжать: снаряд будет двигаться с возрастающей скоростью. К концу первой же секунды его скорость будет равна девяноста метрам, и он подымется на высоту сорока пяти метров. По истечении двух секунд его скорость удвоится и пройденное пространство учетверится. Позвольте мне написать тут таблицу, означающую время, соответствующее скорости и расстоянию, пройденному снарядом.

— Я это сделаю за тебя, — сказал Ньютон и крупно написал на большой черной доске три ряда чисел:

Секунды	1	2	10	30	100
Скорости	90	180	900	2700	9000
Километры	45	360	4500	40500	450000

— Столь интенсивно убыстряющееся движение я не одобряю, — сказал Галилей, глядываясь в таблицу. Затем продолжал: — Правда, менее чем через минуту снаряд будет уже вне пределов атмосферы. Однако он много потеряет через ее сопротивление. Желательно, чтобы скорость начальная, скорость в воздухе была как можно меньше, поэтому позволяю себе предложить другую таблицу, основанием которой послужит утренняя сила тяжести.

И он, подойдя к доске, написал ряды чисел:

Секунды	1	2	10	50	100
Скорости	20	40	200	1000	2000
Километры	10	40	1000	25000	100000

— Через пятьдесят секунд, — сказал итальянец, кончив писать, — снаряд поднимется на двадцать пять километров, где сопротивление атмосферы крайне незначительно и скорость снаряда еще не очень велика. Выйдя за пределы атмосферы, можно увеличить давление взрывчатых веществ и величину ускорения, но в воздухе оно должно быть как можно меньше.

— Я просто в восторге! — воскликнул русский. — Ваши замечания не только доказывают ваше внимание, но и очень дальны. Разумеется, я принимаю их с благодарностью. Теперь, представьте, — сказал русский, немного помолчав, — снаряд, устремляющийся к небу: сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, наконец, он пропадает из виду, — он отрекся от всего земного...

Иванов неожиданно затих, хотя все ждали продолжения. Огни в зале не зажигались, а только что взошедшая багровая луна светила слабо. Русский был в обмороке. Увлекшись своей идеей, он несколько дней не спал и не ел и довел себя до крайнего истощения. Зажгли огни, и все всполошились. Иванова привели в чувство, но не позволили говорить, заставили выпить вина и немного поесть. Все были крайне возбуждены, но ради товарища не упоминали о том, что их наиболее волновало.

Решено было на следующий день продолжать обсуждение занимавшего теперь всех вопроса. Русского же отдали под надзор Галилея, чтобы заставить его восстановить силы и хорошенъко выспаться.

4. Еще о замке и его обитателях

Пользуясь тем, что все разошлись спать, скажем еще несколько слов о нашем дворце и его обитателях.

В двух километрах от него находился водопад. Водопад приводил в действие турбины, которые, в свою очередь, заставляли вращаться динамо, дававшие в изобилии электрический ток. Ток проводился по прово-

локе на небольшой холм, где стоял дворец. Там электрический ток освещал все комнаты, производил химические и механические работы в мастерских, согревал, когда было холодно, вентилировал, доставлял воду и совершал многие другие работы, перечислять которые было бы скучно. Так при помощи его состряпали тот ужин, которым закончили день наши приятели.

Красив был ночью замок издалека, освещенный множеством электрических фонарей, тогда горел он, как небесное созвездие.

Но днем он был еще прекраснее с его башнями, куполами и террасами. Среди гор, освещенных солнцем, он производил чарующее впечатление. Недурен он был и при закате солнца, когда весь, казалось, пыпал внутри пожаром.

Дикая природа, окружающая замок, как нельзя более гармонировала с настроением его обитателей. Все это были люди разочарованные, нравственно потрясенные. Кто потерял трагически жену, кто детей, кто претерпел неудачи в политике и был свидетелем вопиющей неправды и людской тупости. Близость городского шума и людей растревляла бы их раны. Величие окружающей гористой местности, вечно блестевшие белоснежные горные гиганты, идеально чистый и прозрачный воздух, обилие солнца, напротив, успокаивали их и укрепляли.

Глубоко ученые, давно прославленные миром, они превратились в какие-то мыслящие машины и потому имели много между собой общего. Страдания и размышления ослабили их чувственность и возвысили ум. Одна и та же наука их сблизила.

Отличия их не были очень характерны: Ньютон был наиболее философ и глубокий мыслитель-флегматик; Франклин был с оттенком практичности и религиозности; Гельмгольц сделал множество открытий по физике, он был иногда до того рассеян, что забывал, где у него правая рука, и был скорее холерик; Галилей — восторженный астроном и страстный любитель искусств, хотя в душе и презирал почему-то эту свою страсть к изящному; Лаплас был по преимуществу математик, а Иванов — большой фантазер, хотя и с огромными познаниями; он больше всех был мыслителем и чаще других возбуждал те странные вопросы,

один из которых уже обсуждался в истекший день нашим обществом.

Сношение с остальным миром совершалось с помощью огромных металлических дирижаблей, поднимающих сотни тонн груза и двигающихся со скоростью сто и более километров в час. При небольших грузах и немногих пассажирах употреблялись аэропланы.

5. *Продолжение беседы о ракете*

В следующий вечер русский продолжал сообщение о сделанном открытии.

— Вы видели, что снаряд через несколько секунд достигает крайне разреженной атмосферы, еще через несколько секунд несется в безвоздушном пространстве. Принимая среднее давление газов, в десять раз превышающее вес снаряда со всем содержимым, найдем, что через сто шестьдесят секунд он растратит весь запас самых сильных взрывчатых веществ. При этом он поднимется на высоту тысяча сто пятьдесят два километра и приобретет наибольшую скорость в четырнадцать тысяч четыреста метров. Этой скорости ему вполне достаточно, чтобы вечно удаляться не только от Земли, но даже от Солнца. Тем более легко мы достигнем любой планеты нашей системы.

Из всего изложенного вы, без сомнения, видите и трудности подобного путешествия. Необходим воздух для дыхания, а его нет и неоткуда почерпнуть...

— Можно взять запас воздуха с собой, хотя, правда, он скоро истощится,— заметил итальянец.

— Но солнечный свет при посредстве растений может очистить испорченный дыханием воздух,— возразил Гельмгольц.

— Все-таки,— сказал русский,— этот вопрос требует с нашей стороны глубокой и практической разработки. Далее, каким образом мы возвратимся на Землю или спустимся на другую планету. Без особого запаса взрывчатых веществ сделать безопасно для нашей жизни нельзя.

— Я давно занимаюсь опытами над энергией взрывчатых веществ,— сказал Франклин,— и думаю, что мне удастся во много раз сократить их массу, заме-

нив известные взрывчатые вещества новыми, мною открытыми.

— Желаю тебе успеха,— заметил русский.— Только общими усилиями мы можем добиться практического выполнения нашего плана.

— Во всяком случае он чересчур рискован,— сказал осторожный Ньютон.— Ты забыл еще питание. Без пищи и воды долго не пропутешествуешь.

— Для начала,— возразил Иванов,— я не предполагаю длинных путешествий. Например, для проезда на Луну и обратно довольно и недели. Так что вопрос о питании, на первое время по крайней мере, не важен. Запас в несколько килограммов пищи и питья взять не затруднительно.

— Итак, господа,— резюмировал русский,— поработаем сообща над деталями проекта, а затем произведем опыты поднятия за пределы атмосферы на какие-нибудь пятьсот — тысячу километров.

— Потом мы расширим пределы опытов,— заметил Лаплас.— Я даже не прочь полететь первым, если только все будет устроено в совершенстве, и опыт, в моих глазах, не представит опасности.

— О, в таком случае никто не откажется! — улыбнулся Франклин.

— Мы все полетим с Лапласом,— слышались дружные голоса.

— А пока,— заметил русский,— перед путем-дорогой нам не мешает восстановить в ярких красках картину путешествия...

— Я так люблю небо,— прервал Ньютон,— что буду очень счастлив, если общество позволит мне по вечерам во время нашего отдыха и общей беседы про честь ряд лекций, на которых могли бы присутствовать и все желающие в замке.

— Прекрасно! Поручаем это тебе. Ты будешь за правителем наших астрономических бесед,— воскликнуло единодушно все общество.

— Но ты не должен забывать, что перед тобой не одни ученые: не забудь, что из замка многие пожелают слушать; некоторые из них не умеют отличить звезды от планеты.

— Да, да! Пусть твои лекции будут не только живы, но и общедоступны, — сказал итальянец. — Может быть, и я тебе помогу...

— И я, и я! — воскликнули прочие.

— Благодарю вас, господа, — ответил Ньютон.

— Днем мы будем работать, — сказал Гельмгольц, — а вечером наслаждаться в предвкушении неслыханного и невиданного.

— Когда же мы придем к благоприятным результатам, то назначим особое заседание, — заметил Франклин.

6. Первая лекция Ньютона

На следующий день при закате солнца все снова собрались в круглую залу. Кроме того, ее наполняли и другие лица, желающие слушать лекции.

Пятеро ученых уселись вокруг стола, прочие же на мягких диванах у стен. Ньютон начал:

— Планета, на которой живет человечество, имеет форму шара, окружность которого составляет сорок тысяч километров. Человек, проходящий ежедневно по сорок километров, употребит для обхода кругом земли тысячу дней, или около трех лет.

— Теперешняя быстрота движения на пароходах и железных дорогах, — заметил Франклин, — позволяет сократить время кругосветного путешествия в двадцать четыре раза. Действительно, теперь в среднем легко сделать не в день, а в час сорок километров. Тогда кругом земного шара мы объедем в сорок два дня.

— Но на чем же этот гигантский шар держится? — воскликнул один из рабочих.

— Шар этот, — ответил Галилей, — ни на что не положен и, ничего не касаясь, мчится в эфирном пространстве подобно аэростату, увлекаемому ветрами. Шар этот вдвое магнит. Первый магнетизм направляет магнитную стрелку, а второй магнетизм мы зовем тяжестью; она-то держит все предметы, рассеянные по его поверхности: океаны, воздух и людей. Если бы не тяжесть, воздух, в силу своей способности расширяться, улетел бы давно от Земли. Так же и человечку довольно было бы прыжка, чтобы навеки от нее удалился и сделался свободным сыном эфира.

— Какой это эфир? Неужели тот, который имеется у нас в аптеке? — спросил, улыбаясь, другой из рабочих.

— О, нет! Это подобие воздуха, но только поразительно упругого и крайне разреженного, — заметил Гельмгольц. — Сущность эфира довольно загадочна¹. Это та всенаполняющая среда, в которой распространяется свет. Благодаря ей мы видим близкие и далекие предметы, достаточно освещенные и дальние. Без нее мы не видели бы ни Солнца, ни звезд... Если бы людей поместить рядом на расстоянии метра друг от друга, то они окружили бы шар земли двести раз².

— Только-то! Но ведь людей, кажется, пять миллиардов? — спросил кто-то.

— Совершенно верно, — сказал Ньютон. — И отсюда вы видите громадность Земли по отношению к человеку, который справедливо судит о величии природы по отношению к самому себе...

— Если бы человечество распределили равномерно по всей земной поверхности, в холодных и теплых странах, на морях и суще, то увидели бы, что субъект от субъекта находится на расстоянии более тысячи метров. На этом расстоянии едва ли бы они могли разговаривать. Еще поразительнее количественное ничтожество человека: если вы вообразите, что вся его собираемая масса превращена в порошок и равномерно рассеяна по всему земному шару, то толщина этого порошка составит около одной двадцатигрехтысячной доли миллиметра, то есть слой, в тысячу раз более тонкий, чем папиросная бумага.

— Достаточно малейшего ветерка, чтобы сдуть его, — воскликнул один машинист.

— Прекрасная Земля — наследие человека, — вмешался Галилей. — Но если бы кто сказал ему: возьми и осмотри свое владение... Как вы думаете, сколько бы ему потребовалось для этого времени?

¹ Некоторые ученые даже отрицают его. См. также К. Э. Циолковский: «Кинетическая теория света (Плотность эфира и его свойства)». Издание Калужского общества изучения природы и местного края, 1919.

² Писано начало повести 20 лет тому назад. Потом я изменил ее план, отдалил события на 100 лет, довел население до 5 миллиардов, получил несогласие, которое упустил исправить. — Примечание автора.

— Не знаем, — послышались голоса.

— Если бы осматривать одну сушу, которая составляет около четверти всей земной поверхности, и употребить на осмотр каждого гектара по одной секунде, то и тогда понадобилось бы четыреста — пятьсот лет!

— И я думал, что Землю во всю жизнь не осмотреть, — сказал один мастер.

— Вы не ошиблись. Но как же громадна масса Земли или объем ее! Если бы кто раскатал земной шар на равные по величине шарики и дал бы каждому человеку, не исключая, конечно, ни младенцев, ни женщин, по шарику, то, как вы думаете, какой бы величины был такой шарик? — спросил Ньютон.

— Шарик, без сомнения, изрядный, — ответил один из присутствующих.

— О, это была бы целая планета, — сказал Лаплас, — диаметром в одиннадцать и две трети километров.

— Ее поверхность, — добавил Ньютон, — равна бы била бы тремстам восьмидесяти квадратным километрам.

— Да это целое немецкое княжество! — заметил русский. — И в нем было бы одному довольно просторно!

— Есть еще способ, — продолжал Ньютон, — представить мизерность человека по отношению его к планете. Представьте себе, что она и все находящееся на ней уменьшено в одинаковое число раз, например, в десять тысяч раз, тогда на шаре диаметром в тысячу двести шестьдесят метров увидим пигмей ростом в одну пятую миллиметра. И это будет высокорослый обитатель Земли.

— Таким образом, — добавил Гельмгольц, — он потонул бы в море глубиной в песчинку.

— Атмосфера имела бы высоту двадцать метров, а высочайшие горы — только восемьдесят пять сантиметров. Немногое более была бы и глубина океанов.

— Однако это достаточно заметно, — сказал кто-то.

— Возьмите мельче масштаб, и вы не заметите ни гор, ни океанов, — возразил Галилей. — Изобразите Землю шариком толщиной в двенадцать с половиной сантиметров, и высочайшие горы и глубочайшие моря представлятся на нем уже неровностями в одну десятую

миллиметра, не более. Такая неровность равна толщине писчей бумаги.

— Так что наш земной шар недурно выгляжен,— сострил токарь.

— Да,— ответил Ньютон,— если только от Земли удалиться настолько, что она представилась бы шариком в двенадцать с половиной сантиметров.

Было поздно, и потому положили разойтись до следующего вечера.

7. Вторая лекция

Когда население замка сошлось для своей вечерней беседы, небо было особенно ясно. Несмотря на то, что после солнечного заката не прошло и часу, небеса сияли звездами; Луны не было — она восходила поздно.

— Смотрите, какое множество звезд! — сказал русский, указывая на небо, отлично видное через хорошо отшлифованные стекла свода.

В хорошую погоду часть потолка раскрывалась, что было и на этот раз, и волны чистого горного воздуха несли приятную прохладу после жаркого дня.

— Что такое в сущности эти звезды? — послышался голос человека, устремившего взор кверху.

— Поговорим прежде о Солнце и Земле, — сказал Ньютон, — и тогда поймем, что такое звезды. Из предыдущей лекции вы представили себе довольно рельефно громадность Земли. Теперь постараюсь дать понятие и о размерах Солнца. Солнце есть огненный шар, из которого можно слепить миллион двести восемьдесят тысяч огненных шариков величиной с Землю.

— Хороши шарики! — заметил один из слушателей.

— Но почему же оно кажется так мало? — спросил другой.

— Потому что оно страшно далекое от нас, — сказал Галилей. — Его расстояние от Земли составляет сто пятьдесят миллионов километров.

— И на этом расстоянии оно может так жарить? — удивился кто-то.

— Тут нет ничего удивительного, принимая во внимание его размеры, — ответил Ньютон. — Его поперечник в сто восемь раз более поперечника Земли. Так

что если бы изобразили Землю в виде шарика толщиной в двенадцать с половиной сантиметров, то Солнце должны бы изобразить шаром с диаметром в четырнадцать метров. Это целый пятиэтажный дом!

— Несмотря на разницу объемов, Земля и Солнце в сущности почти одно и то же...

— Ты, однако, уже слишком... — невольно прервал Галилей.

— Я знаю, — сказал Ньютон, — слушатели меня не совсем поняли...

— Это в самом деле непонятно, — подтвердил один из них. — Солнце есть невообразимо накаленная громадная пылающая масса, а Земля сравнительно крохотный темный и холодный шарик.

— Так-то так, да не совсем, — заметил Ньютон. — В том-то и дело, что этот маленький шарик до сих пор страшно горяч внутри. Было время, когда Земля сияла и горела, как маленькое Солнце, и, может быть, наступит другое время, когда Солнце остынет и будет подобно Земле.

— Избави боже! — вздохнули слушатели.

— Земля есть маленькое остывшее Солнце, а Солнце есть громадная, еще не успевшая остыть благодаря своей громадности Земля.

— Неужели это возможно! — воскликнули слушатели.

— Не только возможно, но и совершенно очевидно, — заявил лектор. — Во-первых, Земля и до сих пор не потеряла своей внутренней теплоты. Во-вторых, что такое почва, что такое граниты, на которых располагаются наносные земли? Ведь все это продукты горения металлов, газов и металлоидов. Земля покрыта пеплом и составлена из пепла. Пепел указывает на громадное пожарище, ареной которого была Земля. Горели газы, горели чистейшие металлы и металлоиды.

— И самая вода океанов, — вставил Галилей, — есть только продукт гигантского горения водорода в кислороде. Всюду пепел: камни — пепел, вода — пепел, горы — пепел. Остатки не сгоревшего ничтожны. Они, положим, есть, но, скрытые в глубине Земли, не доступны нам. Человек старается извлечь из наследованного им пепла сгоревшее наследство. Добывает золото,

серебро, железо, алюминий и многое другое на свою потребу. Но как ничтожно то, что он извлекает.

— Что же касается Солнца,— продолжал Ньютон,— то оно прогорит еще очень долго. Однако уже и теперь на нем появляются громадные окалины величиной с земной шар, и многие ученые думают, что и Солнцу когда-нибудь наступит конец.

— Но это ужасно! Когда же это наступит?

— Смерть Солнца придет не ранее как через несколько десятков миллионов лет.

— А! — успокоились в толпе.— Значит, ни нам, ни нашим детям бояться не приходится.

Совсем стемнело, атмосфера была чиста, и бесчисленное множество звезд было рассыпано сверху.

— Эти звезды, которые вы видите, суть солнца,— сказал Ньютон.

— Но солнца громадные, пылающие, ни в чем не уступающие тому светилу, от которого зависит вся органическая жизнь нашей Земли.

— А я-то думал, что солнце только одно,— наивно сказал один слесарь.

— Если бы вы потрудились сосчитать звезды, то не насчитали бы более пяти тысяч солнц.

— Почему же, когда в темную ночь вглядываешься в небо, число звезд представляется бесконечным?— спросили слушатели.

— Какой-то инстинкт указывает человеку на бесчисленность звезд, который отчасти и оправдывается,— сказал русский.

— Действительно, — продолжал Ньютон, — чем лучше подзорные трубы мы возьмем для осмотра звезд, тем больше их насчитаем. В самые лучшие телескопы насчитывают до двухсот миллионов звезд.

— Двести миллионов солнц! — повторили в толпе.— Такое множество?

— Чтобы составить себе ясное понятие об этом числе, вообразим, что вместо каждой звезды, которую мы видим невооруженным глазом, поставлено сорок тысяч солнц, то есть в восемь раз больше, чем мы можем прямо насчитать на обеих половинах неба.

— На клочок небесного свода, занимаемый Луной,— сказал Лаплас,— придется тогда насадить десять

тысяч звезд, из которых каждая есть отдаленное солнце.

— Поглядите, — сказал один из машинистов, — какая яркая красная звезда. Вот, должно быть, гигантское солнце!

— Да это Марс, — заметил Галилей. — Ничтожная планета, подобная Земле. Это одно из крохотных остывших солнц; их принято называть планетами. Она и светит не сама собой, как огонь, а только благодаря дню, который царит там и подарен ей нашим Солнцем. Ее свет кажется сильнее звездного благодаря крайне близкому расстоянию ее от Земли: каких-нибудь семьдесят миллионов километров, отделяющих ее от нас, есть ничто в межзвездных пространствах.

— И много таких планет между настоящими солнцами? — спросил один из сидящих у стен.

— Простыми глазами их можно видеть на обеих половинах неба семь штук. В телескопы же более шестисот. Крупнейшие семь называются планетами, другие планетоидами.

— Неужели их так мало? — удивился кто-то. — При таком множестве солнц это немного странно.

— Вы забыли их малую величину и темноту, — сказал Галилей. — И вот причина, почему мы насчитываем их так мало. Видны только планеты ближайшие, принадлежащие к системе нашего Солнца и двигающиеся вокруг него вместе с Землей, которая составляет восьмую крупную планету Солнца. Если у нашего Солнца более шестисот планет, то, без сомнения, и у других солнц должны быть также планеты. Но как могут быть видны они, когда и самые эти солнца вследствие страшной своей удаленности представляются едва мерцающими звездочками? Огромное же большинство их совсем не видно.

— Так как, — сказал Галилей, — у каждого солнца в среднем не менее шестисот планет, потому что наше Солнце ничем не лучше других, то общее число всех планет составит не менее восьмидесяти миллиардов.

— Итак, — заметил Лаплас, — каждый человек мог бы получить в подарок шестнадцать планет, между которыми некоторые больше Земли.

— Но кто поручится нам, что мы нашими слабыми глазами и нашими ничтожными приборами видим все

звезды действительно существующие. Если мы видим двести миллионов солнц и догадываемся о существовании восьмидесяти миллиардов планет, то каково же число невидимых нами солнц и их планет?

Население замка употребляло для своих сношений французский язык. Сначала по поводу общего языка было немало недоразумений, но, наконец, решено было принять тот, который окажется кратчайшим и простейшим. Таким, по исследованию, оказался французский. Затем были выкинуты непроизносимые буквы и принят был фонетический способ письма, то есть все писалось точно так, как произносилось.

8. Два опыта с ракетой в пределах атмосферы

Лекции были на некоторое время прерваны, потому что наши ученые приятели слишком увлеклись проектом русского.

Франклин изобрел взрывчатый состав в сто раз более эффективный, чем существующие, и из его лаборатории постоянно слышались взрывы, какое-то пронзительное шипение и дикий свист, пугавшие мирных обитателей замка. Ньютон и Лаплас непрерывно производили вычисления и, показывая друг другу обильные ряды чисел и формул, таинственно и торжествующе перешептывались, а иногда и задорно кричали, как бы в ссоре, Гельмгольц решал вопросы об условиях существования в эфирном пространстве и вырабатывал систему дыхания и питания.

Русский, совещаясь то с тем, то с другим, чертил проекты снарядов и путешествий. Галилей восторгался и вместе с Ивановым пытался уже строить модель небесной кареты, но не совсем удачно, и потому от моделей снова возвращались к планам и расчетам, от планов и расчетов — к осуществлению. Так прошел месяц. В стеклянной зале сходились каждый день, но публика не допускалась.

Наконец общество ученых пришло, по-видимому, к благоприятным результатам, потому что затевалось что-то необычное.

В мастерских кипела работа: строили что-то странное, очевидно, тот прибор, на котором наши приятели

собирались посетить Луну. Решили произвести опыт сначала в высоком сарае. Движения снаряда были ограничены рамами. Взойдем вместе с нашими приятелями в светлый сарай и посмотрим на их прибор и опыт.

Прибор имел вид металлического, вертикально стоящего продолговатого рыбьего пузыря длиной в двадцать метров. Поперечник его имел два метра. Внутри прибора было достаточно светло благодаря многим окнам небольшого размера. Там мы увидим три нетолстые трубы, идущие по его стенам и выходящие внизу наружу. Далее были какие-то механизмы, отчасти скрытые металлическими кожухами, и огромные отделения с какими-то подозрительными жидкостями. Через смешение их происходил непрерывный и равномерный взрыв, причем продукты со страшной силой должны вырываться через трубы наружу в нижней части снаряда. Ряд рукояток у замысловатых циферблатов предназначался для управления снарядом: для движения его в ту или другую сторону, с той или другой силой давления взрыва. Остальное опишем по мере надобности.

Франклин, русский и Галилей вошли в прибор, а Лаплас, Гельмгольц и Ньютон стояли в почтительном отдалении, смотря то на часы, то на прибор.

Но вот раздался взрыв, потом равномерный, оглушительный гул; прибор дрогнул и поднялся, насколько позволяли рамы и цепи. Зрители, бывшие снаружи, закричали с блестевшими глазами, но что именно, нельзя было расслышать за шумом. Через десять минут сидевшие внутри поздравили через телефон своих товарищих с успехом и продолжали опыты.

Так снаряд простоял на весу еще десять минут и тогда медленно опустился. Иванов и Франклин вылезли и молча бросились в объятия друзей. То же сделал замедливший итальянец, заявляя, что израсходовалась только одна сотая часть всех взятых для опыта взрывчатых веществ.

Следующий эксперимент над управляемостью снаряда приходилось уже произвести публично, что неудобно было сделать в ограниченном пространстве ангаря.

Порешили установить снаряд на дворе и наблюдать отсюда за его маневрированием. На этот раз в аппарат

уселись англичанин, немец и француз. Народ стоял неподалеку, не заходя за низкую ограду, окружающую блестевший на солнце, как зеркало, снаряд. Многие не знали хорошенъко, зачем он построен; думали, что только для метеорологических изысканий в высших слоях атмосферы.

Тroe друзей сидели внутри ядра на креслах и напряженно ждали условного часа для полета. Гельмгольц слегка дрожал; все взволнованно молчали. Ньютон заведовал силой взрыва и давлением газов и держал соответствующую рукоятку; Лаплас наблюдал за направлением, а Гельмгольц наблюдал за всеми и готов был в случае надобности заменить того или другого.

Наступил вожделенный момент, и Ньютон опустил до известной цифры рукоятку. Лаплас давно установил свою, и снаряд крайне медленно начал свое восхождение.

— Господа! Снаряд идет прекрасно! — сказал с радостным чувством Гельмгольц, стараясь владеть собой. — Мы поднялись на сто метров.... Остановите теперь движение.

Ньютон снова передвинул рукоятку, и снаряд сделался почти неподвижным, но газы продолжали вырываться со страшной силой. Через несколько секунд Ньютон предложил ускорить движение вверх, причем кажущаяся тяжесть внутри прибора должна удвоиться, то есть каждый должен был весить от восьми до десяти пудов. Предварительными изысканиями они убедились в безопасности такого опыта. Товарищи не противоречили, но крепче уселись в своих креслах. Ньютон тронул рукоятку. Все побледнели и чуть не проломили кресел.

— Господа! Мне тяжело, — взмолился Лаплас через двадцать секунд. — Довольно, пожалуйста, довольно! — молил он, смешно провалившись в мягкое кресло.

Опыт прекратили, для чего Ньютон должен был двинуть ручку прибора отяжелевшей рукой. Почувствовав себя хорошо, все невольно поднялись на ноги и смотрели в окна.

— Однако мы черт знает куда залетели, — сказал Гельмгольц с досадой.

Действительно, замок с его пристройками чуть виднелся.

— Не черт знает куда, а только на два километра, — заметил Лаплас, взглянув на барометр.

— Мы могли бы через десять минут подняться на тысячу восемьсот километров, — сказал Ньютон, — если бы приняли предосторожности относительно дыхания. А теперь должны немедленно подумать о возвращении. В противном случае через несколько секунд мы задохнемся в разреженной атмосфере, потому что снаряд теперь двигается со скоростью двести метров в секунду.

Пока Ньютон говорил, они поднялись еще на километр и стали в самом деле задыхаться. Но Ньютон прекратил взрывание жидкостей. Все потеряли тяжесть. Вес каждого обратился в нуль — каждый стал весить менее пылинки. Явление было очень любопытно, но так как они по инерции продолжали полет кверху и задыхались все более и более, то им было не до того, чтобы наблюдать. Поднялись еще на два километра, снаряд остановился в нерешительности и стал опускаться уже исключительно силой тяжести. Отсутствие веса продолжалось в ядре, но через двадцать секунд замедлили его падение, и еще через несколько секунд при посредстве взрывания снаряд крайне медленно опустился на свою стойку во дворе замка. В эти двадцать секунд усиленная тяжесть опять всех приковала к креслам.

9. Снова астрономическая лекция

Торжество наших ученых было полное. Теперь предстояло совершить полет за пределы атмосферы. На радостях решено было собраться в круглой зале для прочтения третьей лекции и сообщения публике о новом снаряде для полета в эфирном пространстве.

Описав обществу кратко снаряд, Ньютон сказал:

— Теперь, когда мы имеем надежду на возможность путешествия в межпланетных пространствах, нам особенно должны быть интересны данные астрономии. В предыдущей лекции мы видели, что видимый мир звезд или солнц вмещает в себе не менее восьмидесяти миллиардов планет. В одной нашей сол-

нечной системе мы воочию насчитываем более шести сот планет. Ввиду предстоящих путешествий необходимо обратить внимание на расстояние планет от Солнца и от Земли. Овладеем ли мы этими расстояниями? Хватит ли человеческой жизни, чтобы их одолеть? Самое близкое к нам небесное тело,— продолжал Ньютон, помолчав,— Луна. Луна такое же дитя Земли, как Земля вместе с шестьюстами других планет есть дитя Солнца. Земля и большие планеты также дочери Солнца.

— Выходит, что Луна приходится Солнцу внучкой? — произнес один из присутствующих.

— Именно,— подтвердил Галилей.— Но у Солнца имеется еще много и других внучек, это луны планет. Так, Юпитер имеет восемь лун — восемь дочерей, и все они такие же внучки Солнца, как и наша Луна.

— Будем же говорить про Луну,— сказал Ньютон.— Ее расстояние до Земли триста восемьдесят тысяч километров. Пролетая в нашем небесном экипаже средним числом по пять километров в секунду, мы достигнем Луны через семьдесят шесть тысяч секунд, то есть скорее, чем через сутки.

— Вон восходит Луна,— сказал один из слушателей.— Пожалуй, можно слетать на нее и с помощью аэростата или аэроплана?..

— Да,— сказал русский,— если бы воздух доходил до Луны, но и тогда потребовалась бы на это тысяча дней, то есть около трех лет, потому что в воздухе нельзя двигаться так быстро, как в пустоте.

— Атмосфера же,— заметил Лаплас,— облегает Землю подобно апельсинной корке, то есть на величину, сравнительно незначительную. Это легкая воздушная одежда Земли.

— Атмосфера простирается,— продолжал пояснять Франклин,— на высоту триста километров. Но уже на высоте десяти километров она настолько редка, что человек сю дышать не может и неизбежно умирает.

— Наибольшая высота атмосферы составляет не более одной тысячной доли пути от Земли до Луны и, конечно, дорогой до Луны для аэростата служить не может.

— Вот как! — произнес тот же слушатель. — А мне все казалось, что не только Луна, но и звезды парят в нашем воздухе.

— О, звезды от нас чересчур далеко, — воскликнул другой слушатель.

— Да, — сказал Ньютон, — самая близкая к нам звезда — это наше Солнце. Но и она отстоит от нас на сто пятьдесят миллионов километров! Как же далеко должны отстоять другие солнца, если они представляются нам едва мерцающими звездочками, несмотря на свою световую силу, превышающую силу Солнца?

— Пролетая на нашем снаряде по десять километров в одну секунду, — сказал Франклайн, — долетим до Солнца в пятнадцать миллионов секунд, или менее чем в полгода; до планет нашего Солнца путь также измечается годами и на нашем снаряде кажется вполне возможным, если не принимать во внимание других трудностей, кроме времени.

— Но до планет других солнц не добраться живыми, — произнес Гельмгольц, — нам для этого не хватит человеческой жизни.

— В самом деле, — сказал русский, — до второго ближайшего к нам солнца, находящегося в созвездии Центавра (α), насчитывают 38 миллиардов километров. Чтобы пройти такой путь, двигаясь даже со скоростью сто километров в одну секунду, что возможно, надо двенадцать тысяч лет. Если бы отправилось большое общество, то лишь четырехсотое поколение прибыло бы к этому солнцу.

— Как жаль, — воскликнул Галилей, — что те восемьдесят миллиардов планет, о которых говорил Ньютон, оказываются для нас навеки недоступными!

— Да, — сказал Иванов. — Но не забывай, что человечество бессмертно и двенадцать тысяч лет для него пустяки. Так что, если те солнца и их планеты и не есть *наше* наследие, то они могут быть наследием людей вообще.

— Все-таки, — возразил Ньютон, — Солнце с его планетами и их спутниками для нас важнее, потому что мы можем посетить их, между тем как о других солнцах с их планетами мы можем только мечтать... Вот планетная система в уменьшенном виде. Масштаб одна миллиардная ($1/100000000000$). Представим себе огненный шар с диаметром в сто тридцать де-

вять сантиметров — это Солнце. Кругом него приблизительно в одной плоскости и в одном направлении ходят планеты с их лунами. Ходят они тем быстрее, чем ближе к Солнцу. Быстрее всех и ближе всех к Солнцу движется планета Меркурий. По нашему масштабу это шарик с поперечником в пять миллиметров (малая горошина), отстоящий от Солнца на пятьдесят восемь метров. Далее следует Венера в виде шарика с диаметром в двенадцать миллиметров (лесной орешек). Ее расстояние до Солнца, уменьшенное в биллион раз, составит сто пять метров.

— Посмотрите на Венеру, — прервал Галилей, указывая на запад, где в лучах еще не совсем потухшей заря блестела яркая звезда.

— Ни одна звезда не блестит так сильно, как Венера, — заметил Лаплас.

— Раз я ее видел даже днем, при полном сиянии Солнца, — сказал Франклин. — И Меркурий, и Венера видны бывают или на западе, или на востоке: Меркурий видеть труднее, потому что он очень близок к Солнцу и заходит тотчас после солнечного заката.

— Будем продолжать, — сказал Ньютон. — За Венерой увидим Землю, отстоящую от центрального тела на сто сорок восемь метров, орешек с поперечником в тринадцать миллиметров.

— Только-то! Вы почти сравняли Землю с другими планетами, — заметил один из слушателей.

— Я не унижал Землю, — ответил Ньютон. — Такой сделала ее природа. Итак, мы видели, что Земля все-таки больше других планет. Следующая планета — Марс, в виде горошины с диаметром в шесть с половиной миллиметров. Двигается она медленнее Земли, потому что отстоит дальше, именно на расстоянии двухсот двадцати семи метров... Смотрите! Вон яркая красная звезда на востоке. Она уже поднялась довольно высоко. Это и есть Марс. У него два спутника — совсем ничтожные пылинки, не изобразимые по нашему масштабу, которые кружатся вокруг него с ужасной скоростью и вместе с тем движутся кругом Солнца со своей планетой.

— Но ты забыл сказать про земную Луну, — заметил Лаплас. — Луна для нас наиболее доступна и пото-

му наиболее интересна. С нее-то мы и начнем при путешествии реальный обзор небесных тел!

— Правда! Правда! — согласился Ньютон.— Наша Луна — это просяное зернышко в три с половиной миллиметра, стоящее от Земли на тридцать восемь сантиметров. Она веरтится кругом Земли и движется вместе с ней кругом Солнца, как и другие планеты с их спутниками.

— За Марсом мы увидим,— сказал Ньютон,— еще более шестисот планет в виде крохотных маковых зернышек и пылинок всевозможных, но очень малых размеров; они размещены довольно тесно, что не мешает им в полном согласии, то есть в одну сторону, совершать свой путь вокруг Солнца. За этим планетным роем несется крупнейшая из планет — Юпитер, в виде очень крупного яблока или даже арбузика с поперечником четырнадцать сантиметров. Вот тут Земле делается действительно как будто совестно, потому что из Юпитера можно скатать целых тысячу триста девяносто таких шариков, как Земля.

— Это наиболее солидная планета по нашему масштабу, она будет отстоять от Солнца на семьсот пятьдесят метров. Она имеет восемь спутников величиной с просяные и маковые зерна.

— Только ближайший — сущая пылинка,— заметил Лаплас.

— На этой планете позвольте мне закончить свое повествование,— сказал, поклонившись аудитории, Ньютон.

Лектора поблагодарили и разошлись с пожеланием друг другу приятных снов.

10. *Приготовление к полету кругом Земли*

Но лекциям не суждено было продолжиться: наши ученые так увлеклись своей небесной каретой, что совершенно потеряли охоту просвещать свою аудиторию в познании неба. Они решили как можно скорее совершить полет за пределы атмосферы. Снаряд был за-

крыт герметически и наполнен одним кислородом (без азота) плотности в одну десятую по отношению к воздуху, то есть вдвое реже, чем кислород атмосферный. При этих условиях прекрасно дышалось, но и не было возбуждения, подобного тому, которое бывает от вдыхания кислорода равной плотности с воздухом. Кроме того, благодаря малому внутреннему давлению газа стенки снаряда не надо было делать очень толстыми. Предполагалось взять большой запас веществ, от смешения которых получался кислород. Углекислота же и человеческие миазмы поглощались в снаряде щелочами и другими препаратами, которые таким образом постоянно очищали испорченную дыханием атмосферу камеры.

Для потребностей дыхания в течение суток на каждого человека приходилось около десяти килограммов этих веществ.

Так как при необыкновенных условиях полета легко было растеряться и не исполнить того, что требуется для управления снарядом, то положено было устроить автоматический управитель, который в свое время будет двигать теми или другими рукоятками и давать снаряду то или другое направление и скорость.

Приготовившись к путешествию, по общему согласию зарегистрировали на автоматическом управителе следующее: снаряд летит параллельно плоскости экватора, под углом в двадцать пять градусов к горизонту, по направлению вращения Земли; в течение первых десяти секунд его скорость возрастает быстро до пятисот метров; затем, во все время пути через атмосферу, увеличивается гораздо медленнее, по мере ее разрежения; после прохождения воздушной оболочки Земли скорость опять быстро должна возрастать, а направление движения постепенно изменяться и на высоте в тысячу километров сделаться кругообразным, причем скорость должна быть настолько велика, чтобы снаряд двигался кругом земного шара по окружности, не приближаясь к нему. Понятно, все действия автоматического управителя можно останавливать или изменять.

11. Вечная весна. Сложная ракета. Сборы и запасы

Прошло немало времени, было много работы, много опытов и еще больше неудач. Особенно много потратили времени на усовершенствование инжектора — прибора, нагнетающего две жидкости, смешение которых давало взрыв. Температура была страшно высока, и надо было подыскать подходящие тугоплавкие и в то же время крепкие материалы. Простые насосы оказались негодными, так как требовали громадной работы для движения и потому несуществующей мощности двигателя. Можно было остановиться только на подобии пароструйных насосов (инжекторов) Жиффара. Тут работа происходила непосредственно силой взрывающихся веществ. Нельзя было обойтись без инжектора как в обыкновенных ракетах, так и в применявшимся до сих пор их подобиях. В них давление взрывающихся газов передавалось на хранилища элементов взрыва. Это заставляло делать хранилища очень крепкими, с толстыми стенками, страшно тяжелыми. Когда запас взрывчатых веществ мал, то можно подниматься и летать даже при тяжелых сосудах; при громадных же запасах взрывающихся веществ надо было сосуды освободить от страшного давления, сделать их легкими, что возможно было только при употреблении насосов или инжекторов.

При первых опытах обходились без них, но зато и полеты не были значительны.

Также нужно было найти подходящие материалы для труб, оболочек ракеты и других ее частей. Была большая возня и с управляемостью, с регулированием температуры, среды для дыхания и т. д.

Наконец решили отправиться за атмосферу, кругом Земли. Роскошный климат тропических стран, весьма тягостный на большом континенте, в долинах, невысоко над уровнем моря, превращается в вечную весну

с прохладой, солнцем и постоянством на высоте трех, четырех километров. Не заметно было тут ни лета, ни зимы. Такова была местность наших отшельников. При обилии света, множество ясных дней, сухости воздуха температура его не только была постоянна, но и на десять — пятнадцать градусов ниже, чем на уровне океана. Днем в тени было десять — двадцать градусов, ночью же она значительно понижалась. Но ночью редко предавались работам на открытом воздухе. Работали тогда в закрытых помещениях, а там холодно не было. Благодаря этой несменяемой весне трудились в тени деревьев или в тени навесов круглый год. Но солнца нужно было очень оберегаться, — оно было сильнее, чем в низких долинах, и чаще производило солнечные удары.

От простой ракеты перешли к сложной, то есть составленной из многих простых. В общем это было длинное тело, формы наименьшего сопротивления, длиной в сто, шириной в четыре метра, что-то вроде гигантского веретена. Поперечными перегородками оно разделялось на двадцать отделений, каждое из которых было реактивным прибором, то есть в каждом отделении содержался запас взрывчатых веществ, была взрывная камера с самодействующим инжектором, взрывная труба и прочее. Одно среднее отделение не имело реактивного прибора и служило кают-компанией; оно имело двадцать метров длины и четыре метра в диаметре.

Инжектор назначался для непрерывного и равномерного накачивания элементов взрыва в трубе взрывания. Его устройство было подобно устройству пароструйных инжекторов Жиффара. Сложностью реактивного снаряда достигался сравнительно незначительный его вес в соединении с громадной полезной подъемной силой. Взрывные трубы были завиты спиралью и постепенно расширялись к выходному отверстию. Извивы одних были расположены попереек длины ракеты, других — вдоль. Газы, вращаясь

во время взрыва в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, придавали огромную устойчивость ракете. Она не вихляла, как дурно управляемая лодка, а летела стрелой. Но расширенные концы всех труб, выходя наружу сбоку ракеты, все имели почти одно направление и обращены в одну сторону. Ряд выходных отверстий составлял винтообразную линию кругом прибора.

Камеры взрыва и трубы, составляющие их продолжение, были сооружены из весьма тугоплавких и прочных веществ вроде вольфрама. Так же, как и инжекторы. Весь взрывной механизм окружался камерой с испаряющейся жидкостью, температура которой была поэтому достаточно низкой. Эта жидкость была одним из элементов взрыва. Другая жидкость помещалась в других изолированных отделениях. Наружная оболочка ракеты состояла из трех слоев. Внутренний слой — прочный металлический, с окнами из кварца, прикрытыми еще слоем обыкновенного стекла, с дверями, герметически закрывающимися. Второй — тугоплавкий, но почти не проводящий тепло. Третий — наружный — представлял очень тугоплавкую, но довольно тонкую металлическую оболочку.

Во время стремительного движения ракеты в атмосфере наружная оболочка накалялась добела, но теплота эта излучалась в пространство, не проникая сильно через другие оболочки внутрь. Этому еще мешал холодный газ, непрерывно циркулирующий между двумя крайними оболочками, проникая в рыхлую, мало теплопроводную среднюю прокладку. Сила взрыва могла регулироваться с помощью сложных инжекторов, так же прекращаться и возобновляться. Этим и другими способами можно было изменять направление оси снаряда и направление взрыва.

Температура внутри ракеты регулировалась по желанию с помощью кранов, пропускающих холодный газ через среднюю оболочку ракеты. Из особых резервуаров выделялся кислород, необходимый для дыхания. Другие снаряды были назначены для поглощения продуктов выделения кожи и легких человека. Все это также регулировалось по надобности. Были камеры с запасами пищи и воды. Бы-

ли особые скафандры, которые надевались при выходе в пустое пространство и вхождении в чуждую нам атмосферу чуждой планеты.

Было множество инструментов и приборов, имеющих известное или специальное назначение. Были камеры с жидкостями для погружения в них путешествующих во время усиленной относительной тяжести. Погруженные в них люди дышали через трубку, выходящую в воздушную атмосферу ракеты. Жидкость уничтожала их вес, как бы он ни был велик в краткое время взрываания. Люди совершенно свободно шевелили всеми своими членами, даже не чувствовали их веса, как он чувствуется на Земле: они были подобны купающимся или прованскому маслу в вине при опыте Плато. Эта легкость и свобода движений позволяли им превосходно управлять всеми регуляторами ракеты, следить за температурой, силой взрываания, направлением движения и т. д. Рукоятки, проведенные к ним в жидкость, давали им возможность все это делать. Кроме того, был особый автоматический управитель, на котором на несколько минут сосредоточилось все управление снарядом. На это время можно было не касаться ручек приборов: они сами собой делали все, что им заранее «приказано». Взяты были запасы семян разных плодов, овощей и хлебов для разведения их в особых оранжереях, выпускаемых в пустоту. Также и строительные элементы этих оранжерей.

Объем ракеты составлял около восьмисот кубических метров. Она могла бы вместить восемьсот тонн воды. Менее третьей доли этого объема (двести сорок тонн) было занято двумя постепенно взрывающимися жидкостями, открытыми нашим Франклном. Этой массы было довольно, чтобы пятьдесят раз придать ракете скорость, достаточную для удаления снаряда навеки от солнечной системы, и вновь пятьдесят раз потерять ее. Такова была сила взрываания этих материалов. Вес оболочки, или самого корпуса ракеты со всеми принадлежностями, был равен сорока тоннам. Запасы, инструменты, оранжереи

составляли тридцать тонн. Люди и остальное — менее десяти тонн. Так что вес ракеты со всем содержимым был в три раза меньше веса взрывчатого материала.

Объем для помещения людей, то есть заполненного разреженным кислородом пространства, составлял около четырехсот кубических метров. Предполагалось отправить в путь двадцать человек. На каждого доставалось помещение в двадцать кубических метров, что при постоянно очищаемой атмосфере было в высшей степени комфортабельно. Двадцать одно отделение сообщалось между собой небольшими проходами. Средний объем каждого отсека составлял около тридцати двух кубических метров. Но половина этого объема была занята необходимыми вещами и взрывающейся массой. Оставалось на каждое отделение около шестнадцати кубических метров. Средние отделения были больше, и каждое могло служить отличным помещением для одного человека. Одно отделение в наиболее толстой части ракеты имело в длину двадцать метров и служило залом собраний. На боковых сторонах этих отделений были расположены окна с прозрачными стеклами, закрываемыми наружными и внутренними ставнями.

12. *Отношение внешнего мира.* *Местонахождение ракеты*

Внешний мир не знал о намерении наших ученых; газеты молчали, молчали и сами ученые. Дело было в две тысячи семнадцатом году. Но и тогда еще были укромные уголки, глушь, откуда мало проникало сведений в остальной мир. Сотрудники, мастера и друзья ученых составляли все население колонии, а они сору из избы не выносили.

Ракета находилась недалеко от поселка, на местности, наклонной к горизонту на двадцать пять — тридцать градусов. Она была открыта для взоров дирижаблей и аэропланов, пролетающих часто близ этой местности с грузами и пассажирами. Случилось подобное

опытам братьев Райт, бывшим сто лет с лишком тому назад: Европа и весь мир уверовали в них только два года спустя, хотя люди видели с поездов летающих на аэроплане братьев, но и очевидцам мало верили.

13. *Проводы. Заперлись в ракете. Умчались. Первые впечатления*

Решили отправиться в снаряде Ньютон, Лаплас, Франклин и Иванов. Взяли еще шестнадцать человек мастеров самых важных для полета специальностей. Все жители поселка провожали путешественников. Толпа еще за много часов до полета окружала ракету. Погода была великолепна — солнце светило вовсю. Но этому не удивлялись, так как такая погода в этой местности была обычной. Воздух сухой, бодрящий и холодный. Сухость местности заставляла жителей замка прибегать к искусственному орошению полей, садов и огородов. Было много водопадов и быстрых горных рек. Вода от них и направлялась к садам и культурным полям. Ракету окружали прекрасные фруктовые деревья, а немногого дальше возвышались величественные секвойи.

После добрых пожеланий, обещаний и восторженных кликов толпы все двадцать человек заключились в ракету. Сами герметически заперлись, зажегши огонь электрических ламп. Двойные ставни были закрыты. Каждый погрузился в предназначенный ему футляр с жидкостью, дышал через трубку. Члены могли свободно двигаться и управлять снарядом с помощью погруженных в жидкость рукояток. Ньютон управлял силой взрывания в трубах, Лаплас — направлением движения ракеты; он также уничтожал возникающее вращательное ее движение. Франклин заведовал температурой и чистотой воздуха, а Иванов следил за другими мелочами и за всем. Он мог переговариваться со своими товарищами посредством слуховых трубок — он был избран на этот раз распорядителем.

— Господа! — сказал Иванов. — Не начать ли полет? Все ли готово? Уладились ли вы?

Оказалось, все было в порядке и все уладились. Русский передвинул рукоятку. Не в первый раз он это делал. Раздались взрывы, которые сейчас же перешли в довольно однообразный оглушительный вой.

Но уши путешественников были закрыты трубками, пластинками и слоем воды. Если бы не это, их барабанные перепонки не могли бы выдержать. Свет электричества проникал через небольшие окна своеобразных гробов, где покоились в жидкости наши друзья. Но «покойники» выглядели довольно весело и преспокойно смотрели по сторонам, рассматривая знакомые стены ракеты и прикрепленные к ним шкафы и орудия, которые они же и устраивали.

— Господа, — сказал Иванов, — относительная тяжесть в десять раз больше земной, некоторые из вас весят теперь по сорок — пятьдесят пудов. Чувствуете ли вы это? Не ломит ли кому-нибудь члены, не больно ли где?

— Все хорошо!
— Приятное купанье!
— Полный покой!
— Легкость, как и раньше, и полная свобода движений!
— Одна прелесть! — послышались успокоительные и даже счастливые голоса.

Проходит несколько секунд.

— Жарко, воздух для дыхания горяч! — заявил один из довольно полных мастеров.

Иванов о претензии передал Франклину, и последний движением рычага ускорил циркуляцию холодного газа. Температура понизилась.

Проходит еще несколько секунд.

— Холодно! — пожаловался кто-то.

Устранило и это. Все претензии удовлетворились: то было душно от накопления углекислоты, то вращалась ракета вдоль своей длинной оси и кружились головы слабых... Никто не жаловался, когда был излишок кислорода. Но он не допускался, хотя и оживлял всех, как не допускается опьянение.

Сила взрывания не была постоянной, потому что экономия взрывчатых материалов или запасенной энергии требовала строгой последовательности в давлении газов, заранее точно рассчитанной. Она и соблюдалась автоматически. Так что явление относительной тяжести по своей силе непрерывно менялось, но никто этого не замечал и не мог заметить благодаря окружа-

ющей их жидкости такой же плотности, как средняя плотность тела каждого из путешественников. Только несколько вещей, недостаточно укрепленных, сорвалось со стен и упало на перегородки. Однако шума никто не слышал за общим воем и грохотом взрывания.

14. *Оставшиеся на Земле.*

Лекция в замке

Оставим наших приятелей лететь, а сами спустимся вниз к обитателям замка, которые толпой провожали путешественников. Они видели, как ракета сорвалась и устремилась в наклонном положении в пространство. Многие в испуге отшатнулись. Всех оглушил шум, но он быстро утихал по мере удаления ракеты. Она быстро удалялась к востоку, по направлению движения Земли вокруг оси. В то же время она поднималась все выше и выше. Через десять секунд ракета была от зрителей на расстоянии пяти километров и двигалась со скоростью тысяча метров в секунду. Она уже едва была видна в сильный бинокль и то потому, что от воздушного трения стала светиться. Можно сказать, что она исчезла почти моментально из глаз зрителей. Послышался как бы громовой рокот. Он сначала возрастил, потом стал ослабевать. Громовые раскаты продолжались, хотя ракеты уже не было видно. Толпа смотрела по сторонам, но туч нигде не было: это ракета раздвигала воздух, который и дал громоподобную воздушную волну.

Гельмгольц и Галилей пригласили желающих в залу собраний, чтобы отдохнуть и побеседовать. Публика разместилась как хотела: кто в креслах, кто на местах, расположенных амфитеатром. Освежались фруктами и легкими напитками. Стоял гул голосов. Говорили много о ракете и ее пассажирах. Спорили воодушевленно. Противоречили.

Галилей предложил поговорить. Все уселись поудобнее, затихли.

— Господа! — сказал Галилей. — Я желал бы вам объяснить, что должны испытать путешественники в своей ракете. Я слышал ваши споры: не о всем вы рассуждали правильно. Допустим, что на ракету, — только на одну ракету, а не на тела, в ней заключен-

ные, — действует постоянная сила в одном направлении, как, например, давление газов при взрыве. Силы тяготения Земли и других небесных тел пусть пока не будет. Ракета под влиянием этой силы приобретет равномерноускоренное движение, то есть будет двигаться со скоростью, возрастающей пропорционально истекшему времени. Всякое тело, заключенное в ракете, но не касающееся ее, покажется падающим по направлению, обратному действующей на ракету внешней силе. Таким образом, все тела в ракете падают равномерно-ускоренно. Так покажется. Если же этому мешает пол ракеты, стол или другая подставка, то тело давит на нее. Это и есть кажущаяся тяжесть, которая по своим результатам ничем не отличается от тяжести, производимой планетами. Величина этой кажущейся тяжести тем более, чем больше скорость, приобретаемая ракетой ежесекундно. Ускорение на Земле составляет около десяти метров. Если и ракета будет получать от внешней силы ежесекундно такую же скорость, то в ней образуется тяжесть такая же, как на поверхности Земли. Если это секундное ускорение будет в десять раз больше, то кажущаяся тяжесть в ракете тоже будет в десять раз больше земной. Направление этой искусственной тяжести будет, как я сказал уже, обратно направлению действующей на ракету силы.

— И какое же влияние должны оказывать Земля, Солнце и планеты на кажущуюся тяжесть в ракете? — послышались голоса.

— К этому я сейчас и перехожу, — сказал Галилей. — Рассмотрим, например, действие земного тяготения... Притяжение земного шара действует не на одну ракету, но и на все тела, в ней заключенные. Если ракета будет куда-нибудь двигаться под влиянием этой всепроницающей силы, то и всякое другое тело в ракете или около нее будет двигаться совершенно так же под влиянием этой силы. Наблюдателю в ракете не будет видно разницы между движениями ракеты и окружающих ее тел. Стало быть, влияние земного тяготения не может быть обнаружено по отношению к ракете. Вывод такой: не только Земля, но и никакие небесные тела не могут иметь влияния на кажущуюся тяжесть в ракете, то есть они не могут ее ни увеличить, ни умень-

шить. Разумеется, это относится к силам прямолинейным, равномерным и всепроницающим.

— Следовательно, — сказал Гельмгольц, — кажущаяся тяжесть в нашей ракете исключительно зависит от секундного ускорения, приобретаемого ею под влиянием давления взрывающихся в ее трубах газов. Если эта получаемая ежесекундно прибавка (или ускорение) скорости составляет сто метров, то и все тела в ракете сделаются в десять раз тяжелее, чем на Земле. Земля же, Солнце и планеты не имеют никакого влияния на кажущуюся тяжесть.

— Из этого еще видно, что, когда взрывание прекратится и ракета перестанет получать ускорение от давления газов, — заметил итальянец, — относительная тяжесть должна исчезнуть без следа, несмотря на какое угодно могущественное действие всепроницающих сил тяготения. Тогда путешественники повиснут, так сказать, в своей атмосфере: падать не будут, давить на пол и подставки — также. Они будут подобны рыбам в воде, только не будут при своем движении испытывать громадного препятствия, то есть сопротивления воды.

— Интересное, прекрасное состояние! — послышались голоса из аудитории.

— Вот вопрос, — сказал один из слушателей. — Когда ракета зайдет за границы атмосферы, то наружное давление на нее прекратится?.. Не разорвет ли тогда ракету упругость внутренней ее атмосферы?

— Прочность стенок ракеты может выдержать давление в сто раз больше. Притом ракета наполнена чистым кислородом, в десять раз менее плотным, чем воздух. Упругость, значит, будет в десять раз меньше упругости воздуха и в два раза меньше парциального давления кислорода в атмосфере Земли. Давление на стенки от этого также будет в десять раз меньше атмосферного. Отчего же тогда разорвется ракета?

— Не будет ли редка такая атмосфера в ракете и не вызовет ли кровотечений? — сказал один мастер.

— Путешественники уже испытали благополучно эту атмосферу при опытах, — сказал Гельмгольц. — Но если она окажется им не по силам, они могут уплотнить свою газовую среду прибавлением азота в какой желательно степени.

— А вот еще... Температура... — спросил очень молодой человек. — Ведь температура небесного про-

странства близка к абсолютному нулю, или к двумстам семидесяти трем градусам холода по Цельсию. Как с этим быть? Выдержат ли эту температуру люди?

— Температура пространства определяется термометром, — сказал Гельмгольц. — Так что мы узнаем, собственно, температуру термометра. Если нет никаких лучеиспускающих небесных или земных тел, то, конечно, вследствие беспрепятственной потери теплоты путем лучеиспускания термометр, как и всякое другое изолированное тело, должен потерять всю свою теплоту и, значит, охладиться до абсолютного нуля, или до двухсот семидесяти трех градусов холода.

— Неизвестно даже, что бы тогда произошло с телом, — заметил Галилей. — Может быть, его свойства совершенно преобразились, сцепление бы безмерно увеличилось, может быть, оно бы сильно сжалось или даже исчезло...

— Да! — сказал Гельмгольц, — трудно себе вообразить, что произойдет тогда с телом. Но пространство эфира переполнено вибрациями разного рода, бешеным движением электронов и еще множеством меньших частиц материи. То и другое испускают звезды, планеты, Земля и сам эфир. Так что на практике движение атомов термометра или другого тела не может прекратиться, — не может исчезнуть вся энергия из тела. Лучеиспусканем удаленных солнц или звезд, а также планет мы можем пренебречь: по отношению к Солнцу оно ничтожно. Наша же ракета при некотором удалении от Земли почти постоянно подвержена действию солнечных лучей. Спрашивается, какую же температуру они ей могут дать?

— Это зависит не только от расстояния тела до Солнца, но и от формы, цвета, движения и других свойств тела, — сказал Галилей.

— Совершенно верно, — подтвердил Гельмгольц. — Ученый Стефан нашел закон, по которому можно решить хотя бы приблизительно вопрос о температуре планет и других даже малых тел при разных условиях и ограничениях. Основываясь на его исследованиях, можем сообщить следующее: пластинка, перпендикулярная к лучам Солнца, на расстоянии Земли, покрытая с одной стороны (обращенной к лучам) сажей, а с другой — защищенная от потери теплоты, должна на-

греться до ста пятидесяти двух градусов. Это наибольший предел температуры на Земле. На Луне такая температура должна встречаться. Если дан шарик, покрытый сажей и вращающийся, то средняя его температура будет двадцать семь градусов. То же можно получить для ракеты при черной окраске; но, понятно, если защитить одну из сторон ее (теневую) от лучеиспускания и придать ей надлежащую форму, то температура может подняться и дойти до ста пятидесяти градусов. Если шарик не черен и заметную часть лучей рассеивает в пространство, то средняя температура будет ниже. Так, при условиях Земли, когда рассеивается двадцать процентов, температура будет тридцать градусов. (Средняя температура земного шара, приведенная к уровню океана, равна пятнадцати с половиной градусам.)

— Это так,— сказал один из мастеров.— Но каково будет ракете на расстоянии, например, Марса от Солнца? Не застынет ли там все?

— А вот мы ответим вам числами,— сказал Галилей.— Если даже ракета будет вдвое дальше от Солнца, чем Земля, то и тогда предельная высшая температура для черной пластиинки составит двадцать семь градусов выше нуля. Защищая теневую сторону ракеты от лучеиспускания разными способами и открывая доступ солнечным лучам с другой стороны, мы можем достигнуть если не двадцати семи градусов, то двадцати или пятнадцати, чего достаточно. Можно употребить и отопление, но оно излишне при вечном, хотя и слабом сиянии Солнца. В самом деле, мы можем возвысить температуру ракеты как хотим отражением на нее солнечных лучей с помощью зеркал. Там, в эфире, металлические зеркала не тускнеют и не гнутся от тяжести, ибо ее нет кругом ракеты и внутри.

— Чудесно, отлично! Мы понимаем, что холод не грозит ракете. Но я не понимаю,— сказал один молодой рабочий,— почему относительная тяжесть в ракете при начале взрываания не раздавит путешествующих? Вы говорили, что она должна увеличиться, хотя и ненадолго, в десять раз. Значит, если я вешу пять пудов, то в ракете буду весить пятьдесят пудов. Если моя голова весит семь фунтов, то там будет весить семьдесят фунтов? Ведь это все равно что на

меня нагрузить сорок пять пудов! Я тогда не выдержу... Кровь окажется тяжела, почти как ртуть! Кровеносные сосуды должны прорваться, руки оторвутся от тяжести...

— А ведь это правда!.. — послышался гул голосов.

— Верно! — подтвердил и Галилей. — Но все-таки наши друзья останутся целы и невредимы, потому что помещены в лежачем положении в жидкость такой же плотности, как средняя плотность их тел. Вы поверите этому, когда я вам покажу вот этот опыт... Видите ли вы эту фигуру человека? Она очень нежно устроена, из очень хрупкого вещества. Я роняю ее, и вы видите — она разламывается на несколько кусков. Но я беру другую такую же — целую фигуру и заключаю ее в крепкий прозрачный шар, наполненный жидкостью такой же плотности, как фигурка. Вы видите — она не подымается и не опускается, хотя я двигаю всячески шар. Будем бросать шар и бить его молотком... видите? Фигурка остается невредимой. Я помещаю этот шар на центробежной машине и вращением увеличиваю тяжесть фигурки, шара и жидкости в сто раз... Смотрите — фигурка цела.

— Дело в том, — вмешался Гельмгольц, — что вес жидкости тут уравновешивает вес фигурки, так что части ее не давят друг на друга и на стенки шара; она даже не касается их.

— Плотность частей человеческого тела не одинакова; кости, мускулы, жир не имеют одной плотности, — сказал Галилей. — Поэтому остается некоторое напряжение между этими частями, которое достигает большой величины при очень огромной относительной тяжести. Но при удесятеренной ее величине разрыв тканей еще не произойдет. Действительно, мы тот же опыт можем произвести с живыми существами: рыбой, лягушкой и т. д. Тяжесть можем увеличить в сто раз... видите, все остались живы.

— Господа! — воскликнул кто-то. — Животные живы, но живы ли теперь наши заатмосферные путешественники? Здоровы ли они и где находятся?

— Может быть, они сейчас летят мимо нашего замка?

Все невольно обратили взоры к окнам и прозрачному потолку.

— Что это за звездочка ползет к востоку, не аэролит ли? — спросил совсем юный рабочий.

— Где? Где? — послышались голоса. — А вон она! Смотрите скорей на созвездие Кассиопеи.

— Господа! — сказал Галилей. — Это не метеор. Он оставляет в атмосфере след и почти всегда быстро исчезает. Эта же звезда следа не оставляет. Кроме того, она движется гораздо медленнее и, как видите, остается на небе.

Прошло десять часов со времени полета наших друзей. В это время они должны сделать шесть полных оборотов вокруг Земли. Очевидно, мы видим ракету, освещенную ярким электрическим светом. Наши друзья дают нам сигнал о своем благополучии.

Едва Галилей сказал это, как звезда стала исчезать и появляться через равные промежутки времени.

— Нет более сомнений, — сказал Гельмгольц. — Это наши. Вот они сигнализируют по азбуке Морзе... Они сообщают, что все обошлось счастливо, что они живы и счастливы...

Поднялся невообразимый шум, послышались радостные крики, торжествующие речи, споры, блестели глаза, сильно вздымались груди... Так кончилось это собрание.

15. В летящей кругом Земли ракете.

Взрывание прекратилось.

Вылезли из воды. Беседуют

Перенесемся опять в ракету и посмотрим, что делают наши друзья. Мы знаем, что в своих залитых жидкостью «гробах» они чувствовали себя как нельзя лучше: переговаривались и свободно двигали всеми членами. Нельзя было только ни один член вынуть из жидкости: он сейчас же тяжелел и падал, как свинцовый, обратно в жидкость. Только когда взрывание ослабевало, можно было это делать. Но не прошло и десяти минут, как противный вой ракеты прекратился, только в ушах звенело.

— Взрывание закончилось! — сообщил Иванов и стал вылезать из своей ванны...

Все себя чувствовали, как путники, когда экипаж неожиданно остановится. Но он не остановился, а мчался со страшной быстротой; остановилась лишь химическая реакция соединяющихся жидкостей. Не хотелось вылезать из воды, как не хочется утром вставать с мягкой постели. Соседи видели, как Иванов выкарабкался из своего ящика, как пролетел несколько раз взад и вперед в своем отделении и, наконец, за что-то уцепился; жидкость из ящика тоже повылезла и летала правильными шарами в разных направлениях, пока не прилипла к стенкам ракеты и не раползлась там. Иванов хохотал и вытирался полотенцем.

— Господа! — сказал он. — Теперь можно и вставать! Довольно поспали...

Наши приятели, движимые любопытством, быстро поднимались один за другим и проделывали то же, что Иванов. У них еще звенело в ушах, но смех, восклицания и разговоры заглушали этот нервный шум... Вытирались и облекались в легкую одежду. Жидкость тщательно собирали и заключили туда же, где она была. Все привели в порядок. Оторвавшиеся вещи, вращаясь, бродили из угла в угол, от стены к стене, но все тише и тише. Их тоже укрепили прочно по своим местам.

Люди собрались в среднюю большую цилиндрическую каюту, имеющую, как и все другие, в диаметре около четырех метров, но в длину она была в пять раз больше других, то есть двадцать метров. Помещение было достаточное для двадцати человек. Двери в соседние отделения были открыты. Один за другим влетали наши знакомцы в салон: кто боком, кто кверху ногами, хотя каждому казалось, что он расположен правильно, а другие нет, что он неподвижен, а другие двигаются. Удержаться от движения было трудно; состояние было необычное и возбуждало бесконечные остроты, шутки и смех. Глаза таращились то от испуга, то от изумления...

— Господа! Успеем еще надивиться и насмеяться. Постараемся успокоиться и обсудить свое положение! — сказал Ньютон. — То есть не то, что вы сейчас чувствуете, а наше положение в мировом пространстве.

Собрание утихло, но его члены, сами не замечая, понемногу перемещались и толкались, как рыбы в воде; только направление тел было разнообразно. Слушали внимательно.

— Судя по времени,— сказал Лаплас, взглянув на свои часы,— мы залетели за пределы атмосферы. Ракета нам кажется совершенно неподвижной, но это иллюзия. По заранее рассчитанному плану, который и выполнен автоматическим управителем, она должна теперь вращаться вечно вокруг Земли. Ее положение очень устойчиво; она находится на расстоянии тысячи километров от поверхности Земли и движется по окружности с неизменной скоростью — около семи с половиной километров в одну секунду. Оборот вокруг Земли она должна совершать приблизительно в один час сорок минут. Теперь мы подобны Луне, потому что превратились в спутника Земли. Мы никогда не упадем на нее, как не может упасть на Землю Луна; ее центробежная сила уравновешивает притяжение Земли.

16. *Субъективное состояние*

— Господа! Мы просто неподвижны,— послышался отчаянный голос.— Абсолютно неподвижны и находимся в каком-то ярко освещенном дьявольском погребе. Я не могу понять, что со мной делается, и не верю я в свое движение, ни во что...

— Мне кажется, я схожу с ума,— заявил еще кто-то.— Все вокруг веरтится, ничто не покоится, мы превратились не то в каких-то птиц, не то рыб. Но те расположены по крайней мере горизонтально, мы же, как попало... пятки сходятся с пятками, затылки с затылками, то и дело приходится стукаться друг о друга, хотя тут довольно просторно... Знаю, что я потерял относительную тяжесть, но я никак не предполагал, что я это буду ощущать так, как сейчас опущаю. Ведь это какая-то фантасмагория!.. Вот то и дело замирает сердце, и кажется, что падаешь, как только заметишь, что под тобой нет опоры.

— Друзья, успокойтесь!— сказал русский.— Мы к этому волшебству понемногу привыкнем и будем находить его вполне естественным. Что же касается до ваших сомнений, то они рассеются, как только мы отво-

рим ставни и взглянем на божий мир. Но мне кажется, надо погодить это делать — наше состояние и так излишне возбужденное. Что же будет, когда увидим небо и Землю — преображеные, необычайные, что может быть проще этого. Но на практике опять получится волшебство... не все безнаказанно выдержат это впечатление. Успокою вас тем, что Лаплас уже посматривал в небольшое окно и убедился, что ракета сделалась спутником Земли, что положение наше совершенно безопасно и что вышло так, как нужно и как заранее рассчитано.

17. Занятия, сон, чтение, еда

— Вместо того чтобы обременять чрезмерно душу, — сказал Франклин, — не лучше ли посидеть «дома» и заняться чем-нибудь поневиннее... Здесь светло, тепло, чисто, хороший воздух, нас двадцать человек. Мы можем почитать, поспать, поесть, побеседовать, можем уединиться по своим каютам — их целых двадцать, помимо этой славной залы. Пусть только дежурный следит за температурой и нормальным состоянием воздуха.

— Правда, правда! — послышались голоса со всех сторон. — Отдохнем, уединимся, поговорим интимно.

И обитатели ракеты разлетелись кто куда по каютам — по двое, по трое, поодиночке. Каюты были освещены и имели индивидуальные удобства. Чтобы двигаться, приходилось отталкиваться от стенок; движение было не совсем ровно — многие стукались о дверные рамы, но о рамы же отталкивались и летели дальше; другие ловко пролетали через все двери, ни за одну не задев, лишь у своей каюты схватываясь за перегородки, и скрывались в своей комнате. Некоторые затушили электричество и заснули посреди отделения. Их медленно носило из угла в угол вследствие непроизвольных движений во сне. Даже кровообращение и дыхание имело влияние на их движение и положение. Постелей не было, но боков никто не отлежал. Было тепло, так как каждый, думая вздремнуть, повышал температуру своей каюты на несколько градусов. Другие раскрыли книги и читали... Легкая складная рамка охватывала слегка тело и давала возможность оставаться-

ся неподвижным — так было удобнее читать у лампы, но спать было все равно как... Кто же любил отдыхать в одном положении, мог привязать себя двумя цепочками к стенкам или поместиться за сетчатую перегородку вроде рыбачьей сети. Книга легко держалась в руках, так как не имела веса; страницы топорщились, и их нужно было придерживать пружинкой или просто пальцами... Иные болтали для успокоения нервов о былых земных делах... вспоминали и даже, увы, сожалели.

Нашлись и желающие подкрепиться пищей. В ракете все было приспособлено для питья и еды. Обычный порядок этого дела здесь был невозможен: обеденный стол не устоит на месте, также и стулья; малейший толчок — и все завертится и задвижется из угла в угол. Ловите, устанавливаете мебель; опять будет то же. Всю утварь, конечно, можно привинтить к стенкам. Но к чему нужен стол, когда посуда не падает никуда; к чему стулья и кресла, когда человек не нуждается в поддержке и не двигается, пока его не толкнут? К чему кровати, пружинные матрасы, тюфяки, перины и подушки, если везде мягко и без них? Разве для иллюзии земной жизни?!

Но вы все равно не усидите в ваших креслах, не улежите в ваших кроватях, если вас к ним не привязать! Привязывать приходится и тарелки, и графины, и даже самое кушанье. Вы положите вилку или ложку на стол, а они подскочат и полетят к соседу: хорошо, если вилка не выколет глаз и острие ножа не ударит по носу! Все должно быть на привязи. Даже на привязи кушанье каждого будет качаться на ниточке или описывать дуги, пачкать стол и физиономию соседа. Рыхлое, рассыпчатое будет при резании разлетаться в разные стороны, попадая то в нос, то в рот, то в глаза и уши, то в волосы и карманы соседей. Соседи будут чихать, кашлять, протирать глаза, стирать с лица жир... Вы захотите налить стакан воды — вода не польется; вы откидываете голову назад, чтобы выпить рюмку вина, но оно, по инерции, вылетает из рюмки в виде нескольких шаров и несется куда не нужно: смачивает бороду и платье обедающих, попадает в рот тому, кто не собирался пить.

Вместо кресел могут быть легкие держалки для желающих оставаться на одном месте; вместо столов такие же держалки для сосудов с кушаньем: вроде легкой этажерки со множеством мест, откуда легко извлечь сосуд с едой или питьем и поставить его обратно — с закреплением.

Так это и было устроено в ракете заранее, так как ученые почти все предвидели. Кушанья были закупорены. Полужидкими или жидкими веществами для питания пользовались так: прикрепленным к сосуду насосом накачивали в него немного воздуха. Последний производил давление на перегородку в сосуде в виде поршня, под которым находилась пища; от этого жидкость стремилась выйти из крана с мягкой трубкой. Трубку клали в рот и открывали на момент кран. Полужидкая пища попадала в рот и при помощи языка и глотательных движений шла в желудок. Твердая, а также и полутвердая еда, как кисель или фрукты, слегка придерживалась на тарелке пружинками и сечками. От нее отрезали части, натыкали на вилку и отправляли в рот, который уже и расправлялся с ней с помощью языка и зубов. Ножи, вилки и другие орудия должны быть привязаны короткими цепочками к прикрепленной тарелке или к ее подставке.

18. *Физические и химические опыты.* *Концерт*

Ученые предложили после отдыха желающим сбратиться в залу, чтобы посмотреть физические и химические опыты при отсутствии тяжести.

— Звук, — начал Ньютон, — как вы видите из наших непрерывных разговоров, распространяется здесь совершенно так же, как и в земной атмосфере. Упругость заключенного в ракете газа сохранилась, а значит, и способность колебаться...

— Не спеть ли нам для иллюстрации что-нибудь хором, — заметил один из присутствующих.

— Отлично! — сказал Лаплас. — Можно присоединить и музыку.

Собрание изъявило согласие. Музыканты отцепились от своих стакнов-держалок и полетели за скрипками, трубами и нотами и сейчас же вернулись. На

этот раз большинство воспользовалось описанными станками, чтобы не вертеться и не бродить во все стороны. Картина собрания была очень приличная. Капельмейстер дал знак, и хор запел, аккомпанируемый музыкальными инструментами. Казалось, что давно они не слушали музыки, так отрадно она лилась им в души. Многие позабыли, что они не на Земле и, вися в воздухе, бормотали иногда совсем неподходящее к их месту жительства. Пропел заключительный аккорд. Кричали «бис» и отчаянно аплодировали. Пропели и провели еще несколько вещей с таким же успехом. Наконец музыканты запросили пощады.

— Итак, вы видите, — сказал Ньютон, — что звуками мы здесь совершенно обеспечены. Все акустические опыты ничем не отличаются от земных. Здесь нет тяжести, — подумав, продолжал он, — этого земного мерила массы, но она тут особенно хорошо чувствуется при сообщении движения телам. Чем большее мы испытываем со стороны их сопротивление при сталкивании их с места, тем масса их больше. Массу всякого тела отлично чувствует рука, ее толкающая... Но, конечно, ни на пружинных, ни на рычажных или обыкновенных весах здесь массу узнать нельзя. Вы видите, что эти приборы тут не действуют: пружина не растягивается, коромысло весов в равновесии при всех грузах и при всех наклонах. Массу здесь все-таки можно определить с полной точностью разными приборами, например, особенно приспособленной центробежной машиной. Масса оказывается еще при остановке ее рукой. Чем труднее остановить движущиеся тела при одной и той же скорости их движения, тем масса их значительнее. Разделив массу на объем, узнаем плотность тела. Масса оказывается при ее ударах: она пропорциональна силе удара. Но надо обращать внимание на скорость массы. Малая масса может произвести сильный удар при большой скорости, и наоборот. Огнестрельные орудия здесь еще действительнее, чем на Земле.

— Движение тут, — заметил Иванов, — прямолинейное, вечное, равномерное, если не считать сопротивления воздуха. Влияние Земли и других небесных тел также оказывается, но в ракете и на несколько десятков километров от нее оно не заметно.

— Вот ртутный барометр, — сказал Франклин. — Ртуть поднялась и наполняет всю трубку. Как бы она ни была длинна, всю ее заполнит ртуть, потому что ртуть здесь не имеет веса. Но барометры и манометры Бурдона работают исправно, так как в них упругость газов действует на трубку или на коробку, упругость которой проявляется и без тяжести. Маятник обычный (с чечевицей) не качается, и часы не ходят. Толкнутый маятник (на нитке) только вращается вокруг точки привеса, пока его не остановит сопротивление воздуха. Зато карманные часы и вообще все машины и приборы, действие которых не основано на силе тяжести, работают исправно. Например, швейная машина... Нагретый воздух не подымается кверху, потому что и самого верха нет. Зажженная свеча или керосиновая лампа тухнет, потому что нет тяги: пламя окружается продуктами горения, в которые проникает кислород лишь очень медленно, в силу диффузии. Сколько приборов на Земле основано на горении в кислороде воздуха. Все они тут быстро выйдут из строя, например, всякого рода печи — без искусственного дутья...

Водород и другие легкие газы не подымаются и не подымают здесь аэростатов: некуда и подымать... Аэропланы тут не нужны, нужен только двигатель для поступательного движения. Вот самое плотное тело расположено без опоры рядом с самым легким — и никакуда они не движутся, если их не толкнуть. Так же и в жидкостях — тела всякого веса, формы и объема остаются в равновесии. Закон Архимеда для плавающих кораблей и животных тут бесполезен, потому что он здесь не существует, будучи основан на весомости. Сифон не переливает жидкостей. Но воздушные и всасывающие водяные насосы работают, конечно, при окружающей упругой среде, как, например, в ракете. Толкающие водяные насосы и центробежные действуют и в пустоте. Фонтаны, основанные на тяжести, здесь невозможны, но основанные на упругости воздуха чудно работают: струя получается прямая и гладкая, как стеклянная палочка. Только на некотором расстоянии она разрывается и образует ряд летящих водяных бомб.

Жидкости, разумеется, из сосуда не текут, не ограничиваются горизонтальными плоскостями, не распределяются по порядку плотности. Частичные или моле-

кулярные силы тел проявляются с особенной яркостью в жидкостях. Так, каждая масса жидкости, как бы она велика ни была, принимает форму шара. Вы можете разбить ее на несколько масс, и каждая образует шар. Вода сама собой входит в трубку всякой толщины и наполняет ее всю. Наоборот, жидкость молекулярными силами выталкивается из трубки, если не смачивает ее стенок, как ртуть в стеклянной трубке. Под влиянием твердых тел: сеток, каркасов и сосудов — жидкости принимают чрезвычайно интересные и бесконечно разнообразные формы. Так, можно получить из воды или масла формы двояковыпуклого и двояковогнутого стекол, которые могут заменить чечевицы оптических инструментов. Можно даже составить из проволочного каркаса и жидкостей сложные телескопы и микроскопы.

Разные огневые двигатели будут работать при условии топок с дутьем. Только вода в котлах не будет отделяться от пара, что может вызвать большое расстройство в такого рода старого типа двигателей...

— Не довольно ли физики, — заявил скромно по-жилой мастер после того, как англичанин немного помолчал.

— Правда, — сказал Ньютон, — отложим до другого раза продолжение этой беседы и опытов.

— Господа! — возразил молодой мастер. — Сделаем лучше перерыв: попьем чайку или кофе, отдохнем и будем снова слушать. Мне хочется еще уяснить себе действие взрывных труб в нашей ракете.

— Отлично, мы согласны, — послышались дружные голоса.

Все устроились чинно в своих стаканах кругом большого сосуда, который был также в держалке, прикрепленной к ракете. Из него выходили двадцать трубок. Электрическим током сосуд с брошенным туда чаем и сахаром был нагрет в несколько минут. Потом жидкости дали немного остыть. Кто-то накачал в сосуд немного воздуха. Каждый взял в рот трубку, и все с удовольствием глотали прекрасный чай, открывая каждый свой кран, сколько желал.

Силы поднялись; убрали чай и стали слушать.

— Вы заговорили о ракете, — сказал Ньютон, обращившись к молодому мастеру. — Хорошо! На эту тему я

и сам хотел поговорить. Ни Сегнерово колесо, ни водяная мельница, ни водяные турбины здесь не могут работать, так как нет тяжести. Но можно показать другие реактивные приборы, работающие пружиной, паром, упругостью газов или другими силами, не зависимыми от тяжести.

Вот из этого кораблика скрытая в нем пружина выбрасывает шарики. Смотрите, как словно двигается кораблик в противоположную сторону?.. Вот другой ящичек. Он выбрасывает упругостью сжатого в нем воздуха струю воды. Видите, как он быстро, с все возрастающей скоростью, бежит в пространстве нашей залы?.. Вот еще кораблик или дирижабль, назовите как хотите,— он чудесно движется, выбрасывая струю водяного пара на кормовом конце. Видите, как он крепко стукнулся о стенку залы?

— Пар может быть заменен взрывчатым веществом, как в игрушечной ракете,— заметил Лаплас.

— Да, разумеется,— согласился Ньютон.

— Все так,— возразил молодой рабочий.— Но все эти приборы так мило действуют здесь, то есть в газовой среде. Выбрасываемые тела отталкиваются от нее, упираются в нее. Не будь этой атмосферы, движения бы не было.

— Движение нашей ракеты, в которой мы беседуем сейчас, противоречит вашему заключению,— сказал Ньютон.— Ведь наш снаряд с возрастающей скоростью прошел сотни верст в пустоте, толкаемый давлением упругих продуктов горения.

— Да вот мы сейчас эти уже показанные приборы заставим двигаться в пустоте,— заявил Иванов.

Очень маленький кораблик с сжатым воздухомпущен был опять перед зрителями. Он был привязан к столбику, воткнутому в отверстие тарелки воздушного насоса, и описывал крохотные круги, как лошадь на корде. Его накрыли большим колоколом пневматической машины и стали из него поспешно выкачивать воздух.

— Господа! Вы видите, что движение по мере разрежения атмосферы колокола не только не прекращается, но еще ускоряется. Под колоколом оставалась уже самая малость воздуха, но движение кораблика не остановилось, пока весь заряд сжатого воздуха из него

не вышел. Дело стало очевидным с фактической стороны.

— Тут, друзья мои,— заметил Ньютон,— играет главную роль инерция, присущая газам в такой же степени, как и всякой материи...

— В чем же основной принцип реактивного прибора? — спросил один из присутствующих.

— А вот в чем, — сказал Ньютон. — Представьте себе в свободном от тяжести пространстве два шарика и между ними упирающуюся в них сжатую пружину. Если пружине дадим возможность расширяться, то одному шарику она сообщит движение направо, другому — налево. То же будет, если два резиновых мячика будут прижаты друг к другу, а потом отпущены. Тут даже пружина излишня... Или вообразим трубку со сжатым газом. Если один конец ее будет открыт, то газ будет давить только на другой конец, и труба под влиянием этого давления устремится, положим, направо. Тогда газ устремится налево. Этот прибор ближе всего к нашей ракете... То же будет здесь с ружьем и пушкой при выстреле.

— Очевидно, — заметил молодой машинист, — что во всех этих опытах окружающая приборы материальная среда или атмосфера играет роль второстепенную: даже, может быть, мешает проявлению реакции во всей чистоте и силе.

— Совершенно верно, — заметил Иванов. — Но роль атмосферы еще не выяснена с точностью.

19. Открыли ставни

После обеда и небольшого отдыха опять собрались в каюткомпании.

— Друзья! — сказал Ньютон. — Сейчас мы откроем ставни и увидим чудное зрелище... Люди со слабыми нервами пусть пока не участвуют в этом торжестве.

— Велико торжество! — пробурчал кто-то из висящих в воздухе.

— Им потом более мужественные расскажут испытанное, и таким образом они подготовятся к необычным впечатлениям, — не обращая внимания на возражение, продолжал Ньютон. — Наши запасы света, энергии разного рода, пищи невелики. И потому для начала

ограничим хоть расход электрической силы, воспользовавшись дневным светом.

Открыли одну из двойных ставней и погасили лампы. В залу проник ослепительный сноп солнечных лучей. Открыли другие ставни. Более смелые подлетели к окнам.

Послышались восклицания:

- Небо-то совершенно черное!
- Никогда и сажа не бывает такой черноты...
- Звезд какое множество!
- Какие разноцветные...

— Я вижу совершенно те же созвездия, но как много звезд... И почему они так мертвены? В них нет жизни; они как бы не испускают лучей, не мигают; это просто точки... Как ясно они видны! Как кажутся они близки, и как мал небесный свод!

Больше всего общество было поражено чернотой небесного свода и его кажущейся малостью.

Стоявшие у других окон видели оставленную ими Землю на расстоянии тысячи километров от ее поверхности. Сначала они даже не понимали, что такое видят, но потом сообразили, что видят Землю. Это было очевидно по центральным частям, где между пятнами облаков вырисовывались известные всем очертания озер, островов и материков. Было что-то подобное гигантской искаженной карте полушария.

— Какая странная наша Земля! Она занимает почти половину неба (120°) и кажется не выпуклой, а вогнутой, как миска. Люди живут как будто внутри этой миски.

— Края Земли очень неровны и кое-где покрыты огромными зубцами выступающих горных вершин. Дальше от краев что-то туманное, еще дальше множество продолговатых серых пятен. Это облако, затемненное толстым слоем атмосферы. Пятна растянуты вдоль окружности Земли и по мере удаления от краев светлеют и становятся шире; к центру они окружной и всякой формы, но не растянуты.

— И Земля, и Солнце, и звезды кажутся очень близки: просто рукой подать! Все они как будто расположены на внутренней поверхности очень малой сферы. Солнце кажется очень маленьким, близким и сине-

ватым. Как оно малό тут и как жарко! Звезды тоже большей частью синеватые, но множество и цветных.

Некоторых зрелице ошеломило, утомило, оттолкнуло от окон. Иные даже не взглянули в них, устращенные восклицаниями. Многие улетели в свои каюты, закрыли ставни и зажгли слабый электрический свет. Другие, напротив, перелетали нетерпеливо от одного окна к другому и не переставали удивляться, любоваться и рассуждать. Ни дать ни взять — дети, в первый раз попавшие в вагон или на пароход. Больше всего привлекла их внимание Земля. Она имела сперва полную фазу, то есть была в полноземлии. Но ракета быстро мчалась к востоку, и фаза уменьшалась. Земля принимала понемногу вид огромной вогнутой Луны в ущербе. Темная ее часть была еще видна благодаря слабому освещению Луной. Граница темной и светлой части Земли была покрыта огромными зубцами: это были тени гор. Луна также была видна и составляла тоже часть небесной сферы, но только крохотную — и она, как и Солнце, казалась близкой и очень малой, гораздо меньшее, чем обыкновенно. На деле же угловые размеры Луны, Солнца и звезд нисколько почти не изменились.

— Господа! — сказал Ньютон. — Наша ракета делает полный оборот кругом Земли в сто минут. Солнечный день продолжается шестьдесят семь минут, а ночь тридцать три минуты. Через сорок — пятьдесят минут мы вступим в тень Земли. Солнце почти моментально скроется. Мы едва-едва увидим слабо освещенную Луной Землю, но края последней будут ярко светиться цветами зари. Этот свет с успехом нам заменит лунное освещение. Заранее предупреждаю, чтобы со слабонервными чего-нибудь не случилось...

Между тем фаза Земли все уменьшалась, а граница тени и света давала все более и более громадные косые тени гор и возвышенностей.

Казалось, звезды быстро движутся и падают на Землю, как будто ложатся на зубчатые освещенные края Земли, падают десятками, сотнями и тысячами: такую огромную часть неба занимает Земля и так их тут видно много в пустоте. С другой стороны Земли, где чуть виднеется темная ее часть с громадными зубцами теней от заходящего Солнца, звезды как будто рождают-

ся неизвестно откуда: на самом деле они выступают из заслоняющей их темной части Земли и становятся видимыми. Это движение звезд составляет в минуту 3,6 градуса. Значит, диаметр Солнца или Луны ими проходится в восемь-девять секунд. Таково приблизительно видимое движение всех небесных тел относительно Земли, т. е. Солнца, Луны, планет и звезд.

Насколько велики видимые на ней моря и континенты, видно из следующего: стокилометровое расстояние, или один экваториальный градус, при самых благоприятных условиях виден с ракеты под углом в шесть градусов, то есть шире Луны в двенадцать раз. Вот как подробно было все видно на Земле, что лежало не очень далеко от центральной части, не очень скрытой воздухом и облаками.

Зрелище поразительное! Были отлично видны города, большие села, реки шириной в сто метров и более. Но иногда природа одевала все одним цветом, например, снегом, и тогда трудно или совсем нельзя было все это заметить. Что было видно в телескоп — об этом молвить страшно... Тут, т. е. в ракете, атмосфера не портила изображений, не скрывала мелких звезд... Все было сплошь усеяно звездами, пустого места просто не было: все черное небо было усыпано серебряным песком, кроме так называемых угольных мешков. Они черны и пусты были по-старому и тут.

Всюду двойные, тройные, многократные, разноцветные звезды... Момент затемнения, или ночи, приближался.

— Господа! — крикнул кто-то.— Край Солнца затемняется невидимым краем Земли.

Через четыре секунды уже стало видно только половину Солнца. Еще четыре секунды, и все погрузилось в мрак. Только через несколько минут глаза привыкли и видели яркую зарю кругом темной Земли.

Заря особенно была ярка там, где исчезло Солнце. Эта великолепная заря градусов в десять вышиной становилась все равномернее: через шестнадцать минут после заката она сияла ровным, чудесным, багровым, громадным кольцом, занимающим немного менее половины неба (диаметр сто двадцать пять градусов). Все небо разделялось им почти пополам. Этого красного

света было вполне достаточно для чтения, и не было надобности зажигать лампы.

Для некоторых зрелище было невыносимым. Другие только охали и перелетали от окна к окну. Так как было сравнительно темно, то звезд на противоположной большой половине неба было видно гораздо больше. Они, как снег, продолжали сыпаться в этот океан зари; с противоположной же стороны багрового кольца они вылетали бесчисленнымиискрами фейерверка. Но свет кольца с одной стороны слабел, а с другой разгорался, меняя оттенки. Не прошло и семнадцати минут, как выглянула полоса солнца; все засверкало, заря потускнела, и через девять секунд во всем величии выглянуло полное солнце. Все почти ослепли от света.

— Не велика же ночь,— заметил молодой мастер,— всего только в полчаса!

— Это затмение, а не ночь,— возразил его товарищ.

— И ночь и затмение вместе,— сказал Иванов.— Другой ночи не будет, а если и будет, то такая же короткая. После часового дня (шестьдесят семь минут) — получасовая (тридцать три минуты) тьма. Покамест мы не изменим скорость нашего экипажа, мы осуждены на неизменное, хотя и краткое, течение дня и ночи.

— Заметили ли вы ночной холод? — спросил Ньютон.

— Нет, мы что-то не зябли,— ответили голоса с разных сторон.

— Это потому,— сказал Ньютон,— что, во-первых, ракета наша защищена слоем, плохо выпускающим из нее теплоту, во-вторых, потому, что ночь очень коротка; наконец, потому, что огромная, хотя и темная поверхность Земли лучей спускала на нашу ракету и давала ей тепло. Вообще же и в нашу короткую ночь температура должна понизиться на градус по Цельсию или даже меньше.

— Итак, короткий день и близость к Земле имеют свои выгоды,— заметил Франклин,— а именно холодных ночей у нас не будет. Мы совершенно можем не обращать внимания на нашу ночь. Не спать же полчаса! У нас нет этой привычки. Я предлагаю шестнадцать часов бодрствовать и восемь спать, конечно, приблизи-

тельно. Ночь же каждый может себе устроить, закрыв ставни, так же как и восстановить день с помощью электричества. А впрочем, каждый может спать и бодрствовать когда ему угодно. Мы находимся вне всякой опасности, и нам нет надобности ставить часовых и устанавливать их смены...

Прошло много дней и ночей, а на самом деле всего только десять часов. В одну из этих коротких ночей они летели над родными им долинами Гималайских гор. Виднелись знакомые шапки снежных вершин. Замок они не могли разглядеть даже в телескоп. Лапласу пришла мысль телеграфировать светом (по азбуке Морзе) друзьям, оставшимся в замке. Дело было просто: надо было нажимать кнопку, дающую очень сильный ток для дуговой лампы в сто тысяч свечей. Свет этой лампы был замечен и понят оставшимися в замке. Медленное нажатие давало более длительный свет и принималось на Земле за черту, а краткое — свет моментальный и принималось за точку.

* * *

Решили выспаться как следует, по-земному. Освеженные сном и некрепким кофе, наши друзья собрались в кают-компании.

— Прошу вас, господа, внимательно выслушать меня, — обратился Ньютон к собранию.

Говор умолк.

— До сих пор, — продолжал Ньютон, — мы только наблюдали, любовались, дивились, изучали условия нашего нового быта. Учились, вникали, но не думали о хлебе насущном. Запасов, необходимых для жизни, у нас не очень много. Пока еще они не истощились, мы должны решить вопрос: оставаться ли нам тут до их израсходования и затем возвратиться на Землю, что при нашем огромном количестве взрывчатых материалов можно сделать сто раз, или попытаться до их истощения найти способ производить тут же жизненные присы. Тогда наше пребывание в эфире может сделаться долгим.

— Поживем еще в ракете и попытаемся добыть хлеб. Если не удастся, возвратимся на Землю, — заметил один из присутствующих.

— Да, да, почему не попытаться,— послышались возгласы.

— Только добудем ли мы кислород и пищу? — усомнился скептик.

— Не добудем — уберемся восвояси, — сказал молодой механик.

— Ну что же, ведь никто ничем не рискует.

— Ладно, поживем!

20. Протесты. Тоска по работе. Искусственная тяжесть

Нашлись и протестующие.

— Не лучше ли возвратиться?

— Чувствуется как-то неловко...

— Чего-то недостает, — говорили они.

— Зуд какой-то в мускулах, хочется работать, что ли!

— Этому легко можно пособить, — заметил Иванов. — У нас много разного рода ножных станков. Работайте!

— Легко сказать, — возразил один из рабочих. — Стану я ногой на педаль — и в результате умчусь кверху: тяжести-то нет!

— Так, — сказал Лаплас. — Но вы не заметили у станков некоторых приспособлений. Для любой ноги есть на полу ремни, с помощью которых одну из ступней вы прицепляете к полу; укрепляется так же слегка талия при значительной свободе движений.

Таким образом, работая на общую пользу, наши протестующие были вполне удовлетворены.

Но нашлись другого рода недовольные: они соскучились по тяжести.

— Мне хочется, — говорил один из них, — видеть, как льется вода, как падают камни, хочется посидеть и полежать по-настоящему...

— И для этого, — сказал Ньютон, — нет надобности возвращаться домой. Нет ничего легче, как устроить здесь тяжесть. Для этого стоит только нашей ракете сообщить врацательное движение: лучше всего вокруг среднего поперечного диаметра. Тогда в каждой камере от центробежной силы образуется искусственная тяжесть: в крайних — наибольшая, в средней, то есть в ка-

ют-компании,— наименьшая. Тела в них будут падать по продольной оси ракеты, вода литься; все будет, как на Земле: можно сидеть, лежать и ходить, уставать, носить тяжести и ведра, полные воды, и т. п.

— Вот, например,— продолжал Лаплас,— если наша ракета, имеющая сто метров длины, будет проходить своим концом один метр в секунду, то произойдет тяжесть в 0,002 земной, то есть как на планетке с диаметром двадцать четыре километра. Ракета при этом сделает полный оборот в 314 секунд (пять минут). При десяти метрах скорости в секунду тяжесть в сто раз увеличится и составит уже одну пятую тяжести Земли, то есть будет немного более, чем на Луне. Полный оборот ракеты будет совершаться тогда в полминуты. Такая скорость вращения не вызовет еще головокружения.

— Ракете,— сказал Ньютон,— можно сообщить вращение разными способами. Стоит, например, только вращать вот это колесо или просто сообщить ему вращательный толчок (оно само будет продолжать вращение по инерции), и ракета также начнет вертеться. Но проще это сделать посредством двух взрывных труб, повернув их концы в противоположные стороны, перпендикулярно к длинной оси ракеты.

Все это было устроено, и недовольные успокоились. Поработав до пота и полюбовавшись на тяжесть, они пожелали опять покоя. Тогда вращение ракеты было остановлено взрыванием по направлению, противоположному прежнему. На это было истрачено ничтожное количество могущественного взрывчатого материала, открытого Франклином.

21. *Ракета превращается в цветущий сад*

— Ну, господа, довольно побаловались и покапризничали; приступим же к делу, пока запасы наши еще далеки от истощения,— предложил собранию Ньютон.— Вы видите,— продолжал он,— на одной стороне ракеты, вдоль ее множество окон. Если открыть все ставни, то получится площадь стекол длиной в восемьдесят метров и шириной в четыре метра (одна треть окружности ракеты). Нет надобности пока в таком

обилии солнечных лучей. Оно оказалось бы и невыносимо: сделалось бы черезчур жарко и утомительно светло для глаз. Эта масса света с площадью в триста двадцать квадратных метров, что составит шестнадцать квадратных метров на человека, может при помоши особых растений дать нам немало кислорода и продуктов питания в виде плодов, содержащих крахмал, сахар, масла, азотистые и ароматические вещества.

— Наш запас пищевых материалов если и не останется целым, то по крайней мере будет расходоваться в несколько раз медленнее, — добавил Иванов.

* * *

Выделения легких, кожи, почек и т. д. поглощались особыми сосудами и составляли прекрасную пищу для растений. Семена их были посажены в ящики с почвой, удобренной этими выделениями.

Когда семена пустили ростки, сосуды с ними были выставлены на свет, ставни же все более и более открывались. Необыкновенная сила солнечного света, не ослабленного толстым слоем земной атмосферы, не прерывное его действие, вертикальные лучи, отсутствие вредителей, наиболее благоприятные условия влажности и атмосферы сделали чудеса: не прошло и месяца, как маленькие растения были сплошь увешаны сочными, питательными и ароматическими плодами. Цветение было роскошно, оплодотворение — искусственно. Тяжести не было, веточки свободно распространялись, и плоды их не отягчали и не гнули. Когда листья сделались густа и почти заслонила окна, можно было оставить только слой кварца, стеклянные же пластиинки с окон устраниТЬ. Тогда развитие растений под влиянием обилия ультрафиолетовых лучей пошло вдвое скорее.

Но все же плодов не вполне хватало для питания, да и запасенный кислород понемногу приходилось расходовать для дыхания. Однако дела были так хороши, что решено было устроить со временем оранжерею вне ракеты, чтобы вполне удовлетвориться и совсем не нуждаться в запасах: стать, так сказать, на свои ноги.

22. Надевают скафандры

Пока семена пускали ростки, пока они росли, цвели, давали плоды, пока плоды зрели, наши приятели не теряли времени. Они решили получше ознакомиться с окружающим пространством и вылететь из ракеты, из своего прелестного, цветущего, ароматического уголка: взглянуть на божий мир пошире, не только через окна.

Опишем, как это было. Наиболее смелый из путешественников однажды говорил, любуясь чудными цветами: «Хорошо-то у нас хорошо, и воздух стал лучше и просторно — коридор длиной в сто метров — летай вправо и влево сколько хочешь!.. Одна зала в двадцать метров длины и потолки на 4—5 метров высотой — есть где развернуться, полетать и поиграть. Светло, радостно, сытно, тепло!.. Радужные надежды нас не оставляют. Если будет хуже, то можем возвратиться на нашу прекрасную Землю. Вон она, всего в тысячу километров от нас!»

— Все отлично, — продолжал он. — Но неужели мы никогда не вылетим за пределы этих стенок, в это беспределное, кажущееся таким ограниченным пространство, что виднеется отсюда через окна?

— Отчего же! Это вполне возможно, — сказал Ньютон. — У нас даже для этой цели имеются приспособления, еще заготовленные на Земле: особые одежды вроде скафандров, с приборами для дыхания и поглощения продуктов, выделяющихся из тела...

— Почему бы не раскрыть окно или дверь и не вылететь прямехонько наружу? — заметил кто-то наивно.

— Солнце так славно греет, кругом такие прелести; как бы хорошо погулять на просторе!

— Во-первых, ни дверь, ни окно нельзя отворить, — ответил Лаплас. — Воздух через них моментально улетучится из ракеты, и мы мгновенно погибнем; на тело должно производиться давление атмосферы, и ему необходим кислород. Во-вторых, если бы этого и не случилось, непосредственные лучи Солнца убьют всякого смертного, который не защитится от них подходящими прозрачными или непрозрачными телами.

— А как же на Земле? Не убивало же нас Солнце, — сказал кто-то.

На Земле лучи Солнца вдвое ослабляются толстой атмосферой и, главное, ею же и обезвреживаются. Хотя, надо заметить — не совсем: солнечные удары — вещь довольно обыкновенная, — сказал Франклин, — особенно в жарком климате и высоко в горах, где слой воздуха над головой тоньше и прозрачнее.

— Наконец, — сказал Ньютон, — если бы мы и вылетели из ракеты, не выпустив из нее газа, что вполне возможно, то ведь за ее пределами, минимум за восемьсот километров (далее начинается атмосфера Земли), нет ни одной газовой молекулы. Чем же мы будем дышать и как обойтись без привычного и необходимого давления на тело? Хотя я и задаю этот вопрос, но только для того, чтобы показать, что нельзя прямо выпорхнуть наружу через открытую дверь ракеты.

— Но как же быть? — воскликнул жаждущий простора.

— Все возбужденные мной вопросы уже решены нами еще на Земле, — сказал Ньютон. — Принесите, Иванов, облачения, необходимые для жизни в пустоте. Вы знаете, где они находятся?

— Как же, как же... Сейчас достану их и возвращусь!

Через несколько минут он уже летел обратно с двумя скафандрами.

— Я объясню их устройство, — сказал Иванов, показывая спутникам одежду и снаряды, которые они с любопытством рассматривали, подлетев поближе.

— Со временем, — начал Иванов, — придется еще спускаться на планеты, в негодные для дыхания атмосферы — негодные или вследствие особого состава их, или вследствие чрезмерной их разреженности. Чтобы жить в пустоте, в разреженном или негодном газе, нужна одна и та же специальная одежда. Вы ее видите. Она облекает все тело с головой, непроницаема для газов и паров, гибка, не массивна, не затрудняет движений тела; она крепка настолько, чтобы выдержать внутреннее давление газов, окружающих тело, и снабжена в головной части особыми плоскими, отчасти прозрачными для света пластинками, чтобы видеть. Она имеет проницаемую для газов и паров согревающую толстую подкладку, содержит резервуары для сохранения мочи и прочее и соединяется с особой коробкой, которая вы-

деляет непрерывно под одежду кислород в достаточном количестве. Углекислый газ, пары воды и другие продукты выделения тела поглощаются в других коробках. Газы и пары непрестанно циркулируют под одеждой в проницаемой подкладке посредством особых самодействующих насосов. В день нужно не более килограмма кислорода на человека. Всех запасов хватает на восемь часов, и вместе с одеждой они имеют массу не больше десяти килограммов. Но, впрочем, тут ничто не имеет веса. Скафандр, как увидите, даже не обезображивает человека.

— В будущих оранжереях, где очень разреженные газы, — заметил Франклин, — нам эти одежды также пригодятся.

— Еще и при работах над сооружением оранжерей они необходимы, — прибавил Ньютон.

— Теперь, господа, — сказал Лаплас, — не пожелает ли кто из вас облечься в эту одежду и отправиться на простор?

Все так и отлетели, как ошпаренные. Однако двое остались. Это были очень юные мастера. Их и нарядили в скафандры. С забавными телодвижениями, шутя и кривляясь, они промчались несколько раз по зале, выказывая явное довольство. Их голос был отлично слышен и через одежду.

23. Вылетают из ракеты в окружающее эфирное пространство

— Ну, господа, не пора ли в путь? — сказал Ньютон. — Только в таком виде вы запаритесь, — обратился он к «облаченным». — Принесите им еще легкие белые балахоны... Вот так... Накиньте их и прицепите, чтобы они не могли соскочить. Если вам будет в них холодно, — обратился он к экскурсантам, — то вы раскрывайте их или скатывайте в сборки, пока не будет тепло по вкусу (вы тогда получите желаемую температуру). При полном раскрывании балахона средняя температура черных скафандров может дойти до двадцати семи градусов.

— Но можно получить и более высокую температуру, — заметил Лаплас. — Для этого надо прикрыть от

лучеиспускания белым балахоном часть тела, не освещенную солнцем, и открыть освещенную.

— Да, но температура выше двадцати градусов уже тягостна, — возразил Ньютон. — И ее скорее приходится понижать, чем повышать. А для этого надо белым плащом даже слегка прикрываться от солнечных лучей.

— Вы, конечно, знаете, — обратился русский к балахонщикам, — что, вылетев из ракеты, вы помчитесь в ту сторону, куда оттолкнетесь при вылете. Сами остановиться вы не будете в состоянии. Вы можете пропутешествовать несколько лет, прежде чем встретите опять ракету. А за это время и даже гораздо раньше вы умрете с голоду или даже еще гораздо раньше задохнетесь от недостатка кислорода.

— Ка-ак! — воскликнули балахонщики. — Задохнемся через восемь часов. Мы этого совсем не предполагали. Блуждать в пустыне, чтобы умереть. Напрасно вы нас не предупредили.

— Я не полечу.

— Ну, вот уже перетрусили, — сказал Ньютон. — Дослушайте же меня. Вы в полной безопасности. Сначала мы вас пустим на привязи.

— Покорно благодарю... Как цепных собак?

— Полетайте на привязи длиной в километр: полетите куда хотите и возвратитесь когда пожелаете.

— А если привязь оборвется? — заметил горестно балахонщик постарше.

— Ничего не значит. Мы вам дадим по особому маленькому орудию, которое взрывается по желанию, как ракета. С помощью его вы можете лететь в любую сторону, значит, и возвратиться когда угодно к вашему дому.

— Только не потеряйте нас из виду, — посоветовал Франклин. — А то будете блуждать и нас не найдете. Поэтому на всякий случай возьмите каждый по зрительной трубе. Я прицеплю вам их к балахонам.

— Ну, а вдруг, — сказал один из отправляемых, — я растрочу весь взрывчатый материал. Как же я тогда вернусь к ракете, если буду даже за два шага от нее?

— Взрывчатого материала тут много, но его надо расходовать бережливо и не допускать до полной потери — счетчик показывает, сколько его осталось. Кроме

того, если вы и заблудитесь, мы вас отыщем и возвратим к родным пенатам.

— А если не отыщете?

— И это возможно, — сказал Иванов.

— Тогда пиши пропало, — сказал балахонщик и изобразил печальную задумчивость, которую трудно было, впрочем, видеть через стекла скафандра. Однако преодолело самолюбие. Стыдно было перед товарищами разоблачаться и терпеть шутки.

— Летим? Пустяки! — сказал один другому.

Решимость подстrekнула еще несколько охотников.

— Теперь и я не прочь полететь, — сказал один из зрителей, летающих взад и вперед от нетерпения.

— И я!

— И я!

— Отлично! Но только после. Пока отправим уже снаряженных, — сказал Лаплас.

Их снабдили всем необходимым, и одного из них замкнули в очень тесную камеру вроде футляра. Для этого сначала отворили внутреннюю половину этого шкафа, потом герметически закрыли ее и быстро вытянули из футляра оставшееся ничтожное количество, воздуха, чтобы не пропадала его и капля. Балахонщик выражал недоумение и нетерпеливо ждал в темноте. Через минуту-две отворили наружную половину футляра, и балахонщик, оттолкнувшись, вылетел на свободу. Так же выпустили и другого.

Глаза всех прилипли к окнам. Видно было, как балахонщики разлетелись в разные стороны и как разматывались привязи; как они возвратились, полетели опять, но в другую сторону; как распахивали свои балахоны, прикрывались ими; как двигались и врашивались на манер детских волчков. Все эти движения, впрочем уже хорошо были известны ракетчикам: они давно уже проделывали их в своем закрытом помещении.

Вот один отцепился от привязи и полетел далеко, так что едва был виден. Но вот фигура его снова появилась, стала расти, приближаться к ракете, однако пролетела мимо.

Виден маленький дымок. Это балахонщик, пустив в ход взрывную машинку, переменил свое направление и полетел к ракете. Вот хватается за скобы, смотрит в

окна; через стекло видно смеющееся лицо. Знаками просится домой.

Впускают так же, как и выпускают. Явился и другой. Впустили и его. Поздравили с приездом, засыпали вопросами, было шумно. Разоблачили, но возвратившиеся захотели отдохнуть, уединиться.

— Погодите! Переварю полученные впечатления, тогда все расскажу, — сказал один из них.

— Да, дайте нам отдохнуть, — заявил и другой.

24. *Рассказ балахонщиков о своих впечатлениях*

Солнце закатилось, опять взошло, и тогда, после двухчасового покоя, явились наши путешественники в кают-компанию, чтобы передать о своих ощущениях во время пребывания их вне ракеты. Их окружили, и нетерпеливо ждали повествования...

— Когда открыли наружную дверь и я увидел себя у порога ракеты, я обмер и сделал судорожное движение, которое и вытолкнуло меня из ракеты. Уж, кажется, привык я висеть без опоры, между стенами этой каюты, но когда я увидел, что подо мной бездна, что нигде кругом нет опоры, со мной сделалось дурно, и я опомнился только тогда, когда вся цепочка уже размоталась и я находился в километре от ракеты — она виднелась по направлению цепочки в виде тонкой белой палочки. Я был закутан в блестящий балахон, который, отражая солнечные лучи почти целиком, не согревал меня. Мне сделалось холодно, и от прохлады, я, вероятно, очнулся. Я скорей потянул за цепочку и быстро полетел домой. Понемногу я успокоился, особенно когда увидал себя вблизи ракеты, увидел прижатые к стеклам носы любопытствующих. Самолюбие мешало показать страх и скрыться поспешно в ракету. Попорхав некоторое время на цепочке между небом и землей, я отвязался и полетел свободно. Когда ракета едва виднелась, пустил в ход взрывную машину и полетел обратно...

Все-таки было страшно!.. Вы видели, конечно, как я вёртесь волчком? Но я совершенно не замечал этого вращения: мне казалось, что небесный свод со всеми своими украшениями и даже с ракетой поспешно вра-

щается вокруг меня. Но я мог все-таки остановить это вращение благодаря двум рукояткам от механизмов, приделанных к скафандрам. Этими рукоятками можно придать очень быстрое вращение двум взаимно перпендикулярным немассивным дискам. Благодаря им я не только мог остановить свое вращение и придать своему телу любое направление, но и получить новое вращение любой скорости вокруг желаемой оси. Мне же казалось — и никто бы не мог разубедить меня в этом, — что я вращаю своими рукоятками всю небесную сферу с Солнцем и звездами, как карусель: захочу — заверчу эту небесную сферу быстро; захочу — медленно; захочу — остановлю. Ось вращения сферы также зависела от меня. Ракета мне казалась то справа, то слева. Только я как будто был неподвижен и вертел миром как хотел... То я видел у себя под ногами Солнце, и мне казалось, что я вот-вот упаду в его раскаленную массу. Сердце замирало, но я не падал. То под ногами была наша огромная в полнеба Земля. Тогда мне казалось, что там низ. Опять замирало сердце, и думалось, что вот-вот помчишься к родной Земле, расшибешься где-нибудь в горах или утонешь в океане...

Позу я принимал — вы видели из окон — такую же, какую и вы здесь принимаете, то есть она менялась по мере утомления или под влиянием условий. Если было холодно и я забывал раскрыть балахон для восприятия горячих солнечных лучей, то ежился, как в постели в предутреннем холодке. Если было жарко, члены тела инстинктивно раздвигались, чтобы увеличить лучеиспускающую и теряющую тепло поверхность. Если не было ни того ни другого, то по мере утомления менялась поза. Надоело быть вытянутым, как при стоянии, я сжимался калачиком, принимал положение сидячего, плавающего, раздвигал и сдвигал ноги и руки, наклонял голову, поднимал ее, делал всевозможные движения членами, потому что однообразие утомляло.

Когда я двигался поступательно — вы-то это ясно видели, — я своего движения не замечал и ни за что не поверил бы тогда ему: мне все (при строго поступательном движении) представлялось неподвижным. Только ракета при этом то приближалась ко мне, то удалялась.

— На самом деле ракета немного передвигалась,— заметил Ньютон.— Но так как масса ее в пять тысяч раз больше массы человека, то она и не перемещалась более чем на двадцать сантиметров.

— Мне казалось,— продолжал рассказчик,— что я притягивал ракету за цепочку и она покорно подчинялась... Только вращение мое производило иллюзию движения неба.

— Да, жаль, что в этом эфирном просторе, в этом дивном мире, полном блеска и величавой красоты, не испытываешь удовольствия движения... Может быть, это субъективное ощущение пройдет, и мы будем когда-нибудь ощущать свое движение.

— Мне почти нечего рассказывать,— заявил другой балахонщик.— Я испытал точь-в-точь то же, что и мой товарищ, только в обморок не впадал. Страх испытывал, но он почти моментально исчез. Да, нервы у меня покрепче!..

— Вы, господа, конечно, знаете,— продолжал он,— как громадно и свободно пространство, окружающее Землю, как оно полно светом и как пусто. Это жаль! Как мы теснимся на Земле и как дорожим каждым солнечным местечком, чтобы возделывать растения, строить жилища и жить в мире и тишине. Когда я блуждал в окружающей ракету пустоте, меня особенно поразила эта громада, эта свобода и легкость движений, эта масса бесплодно пропадающей солнечной энергии! Кто мешает людям настроить тут оранжерей, дворцов и жить себе припеваючи!

25. Регулирование температуры ракеты

— Простите, я вас прерву,— извинился Ньютон.— Вы мне напомнили одну вещь, полезную для нас сейчас. Мы живо с этим покончим... В каком состоянии вы нашли поверхность ракеты, которая была ранее отполирована? — спросил он, обратившись к балахонщикам.

— Что-то белело... Я как-то не обратил на это внимания,— ответил один.

— Она имела вид матового серебра и блестела, как снег,— заявил другой.

— Понимаю. Это влияние высокой температуры оболочки ракеты во время полета ее через атмосферу,— заметил Иванов.

— Мы,— сказал Ньютон,— до сих пор немного подогревали ракету и тратили напрасно запасы энергии. Теперь это можно оставить. Поверхность ракеты оденем кое-где черной тогой. Таким образом получим желаемую температуру. Ночью тогу можно скидывать, днем же, если будет жарко, частью собираять в складки, как вы делали с вашими балахонами,— обратился он к рассказчикам.— Теперь мы всей компанией будем вылетать из ракеты и заниматься нашими делами не только внутри, но и вне ее.

— Можно и выкрасить часть ракеты,— сказал Лаплас.— Не скорее ли это будет? Только регулировать температуру будет труднее.

— При первом же вылете мы это уладим и не будем более расходовать запасенной энергии для поддержания достаточной температуры,— сказал Иванов.

Для получения средней желаемой температуры после нового совещания решили употребить окраску, которая очень легко стиралась, если было нужно. Температуру же малых камер можно было каждому регулировать внутренними средствами, то есть с помощью передвигаемых внутри кают или снаружи экранов.

26. Беседа о явлениях, испытанных балахонщиками

Компания разлетелась для подкрепления и отдыха и собралась только через восемь часов. Счет времени вели по земному, в чем не было затруднений в виду Земли, Солнца и Луны и полного понимания нашими учеными движения светил и ракеты. Обыкновенно служили простые карманные часы, которые только иногда проверялись астрономически.

— Вы,— обратился Ньютон к балахонщику,— на прошлой беседе возбудили вопрос о возможности жить в окружающем нас просторе, о выгоде этой жизни для людей сравнительно с жизнью на Земле? Вопрос очень интересный, и мы поговорим на эту тему...

— Я многоного еще не понимаю,— прервал один из слушателей.— Не будете ли вы любезны разрешить

предварительно несколько моих вопросов относительно окружающего нас мира?

— Спрашивайте, не стесняйтесь.

— Почему, например, балахонщики, выскочив из ракеты, не упали на Землю под влиянием силы ее притяжения?

— Это очень просто! Выскочив из ракеты, вы имеете почти ту же скорость, как и она, то есть вы пролетаете каждую секунду семь с половиной километров; такая скорость в десять раз больше скорости пушечного ядра, и ее достаточно, чтобы развить центробежную силу, равную притяжению Земли. Вы не можете упасть на нее по той же причине, по которой и Луна на нее не может упасть. Отнимите от Луны ее скорость, и она, как камень, через пять дней упадет на Землю, обратив ее частью в расплавленную, частью в парообразную массу. Своей скорости вы также потеряете не можете, пока двигаетесь в эфире, сопротивление которого, если и есть, то совершенно не замечено, или по крайней мере сомнительно. Вы мчитесь, как болид, который, пока не встретит атмосферу или не упрется в Землю, будет по инерции мчаться вечно.

— Это все вполне понятно. Но почему вот небо кажется черным? — спросил один из висящих в пространстве.

— Подымались ли вы на горы? — спросил Лаплас. — Замечали ли, как темнеет небо по мере поднятия? На высоте десяти километров астронавт видит небо темным-претемным! Голубой или синий цвет принадлежит воздуху. Устраните его, и вся синева исчезнет. Здесь воздуха нет — откуда же явится синь?

— А воздух в ракете? — заметил собеседник.

— Его слой так тонок, что не может быть причиной заметного окрашивания. Подобно этому тонкий слой воды или стекла прозрачен, а толстый окрашен.

— И это ясно. А отчего так много звезд, отчего они не мигают и так ярко и разнообразно окрашены?

— И тут причина в отсутствии толстого слоя земной атмосферы. Лучи в ней идут крайне неправильно благодаря ее неоднородности (постоянно притом ме-

няющейся): то рассеиваются — и звезда слабеет и исчезает, то собираются и дают яркое изображение в глазу, то уклоняются в сторону — и звезда кажется колеблющейся. Здесь это невозможно, и светило проектируется в глазу яркой точкой. Теперь далее: мощный слой земного воздуха поглощает и рассеивает более всего лучи высокой преломляемости — фиолетовые, синие, голубые, — пропускает же более всего лучи красные, которые и попадают в преобладающем количестве в глаз земного наблюдателя (для зенитных звезд это менее заметно). И вот звезды с Земли кажутся красноватыми, хотя бы истинный преобладающий их свет в пустоте и был голубой, зеленый или еще какой-нибудь. Так, все облака через красное стекло кажутся красными. Здесь в эфире, конечно, мы видим звезды с их естественной окраской, неискажаемой огромным, двухсоткилометровым (и более) слоем воздуха. А так как они по природе разноцветны, то мы и видим их тут такими.

— Атмосфера, — сказал Иванов, — не только рассеивает свет звезд, поглощает его и совсем заглушает слабые звезды, но и мешает их видеть благодаря собственному ее свету. Днем свет атмосферы настолько силен, что скрывает от нас совсем звездное небо; ночью же этот рассеянный, заимствованный свет только ослабляет свет звезд, а малые — совсем скрывает. Вот почему мы видим здесь такое множество звезд.

— Почему человек не замечает своего движения в эфире? — послышался голос одного из мастеров.

— Потому что в нем нет признаков движения или того, что сопровождает движение человека на Земле. Именно: не чувствуется сопротивления воздуха, нет тряски, толчков, колебаний, нет обратного течения полей, садов, домов и т. д. Маленькой же нашей ракете мы стали немного верить внутри ее, а вне — пока не верим. Это может пройти, и тогда мы будем сознавать свое движение не только в ракете, но и в эфире. Сколько тысяч лет люди не чувствуют врацательного и поступательного движения Земли и солнечной системы? И сейчас мы знаем про него, но не чувствуем, несмотря на все усилия воли.

27. Разговоры о жизни в эфире

— Я не слышу больше вопросов, поговорим о преимуществах жизни в пустоте и без тяжести,— сказал Ньютон.

— По-моему, самое лучшее то, что не нужно никаких усилий и расходов для собственного движения и перемещения любых, хотя бы самых громадных масс; не надо напряжения мускулов людей и животных,— сказал один.

— Не надо поездов, пароходов, лошадей, дирижаблей, аэропланов, угля, дров,— сказал другой.

— Скорость движения может быть чрезвычайно велика; потребуется только одновременная ничтожная затрата, то есть первый толчок. Движение не исчезает, потому что нет препятствий в виде трения, воздуха, воды,— заявил третий.

— Следовательно, сношение людей, перемещение масс на всякие расстояния и при всех скоростях ничего не стоят.

— Громадны выгоды построек и всяких сооружений, которые не будут разрушаться от силы тяжести. Стенки их могут быть очень тонки, сооружения неограниченно громадны: тяжесть их не разрушит.

— Как приятно чувствовать, что не можешь ты упасть, расшибиться, что не свалишься в пропасть, не упадет на тебя потолок, не задавит стена... не уронишь, не разобьешь посуду... Работать можно во всяком положении.

— Да, это недурно. Но важнее — масса света, солнечной энергии, простор...

— Где тучи, грязь, сырость, туман, холод, жар, изнурительный труд! — произнесли восторженные голоса.

— Где темнота и ночной холод, где ледяной ветер, снег и метель; где циклоны, кораблекрушения, непрходимые пустыни и недоступные горы.

— Господа! Вы увлекаетесь,— сказал Ньютон.— Конечно, все это так. Но и тут мы, как у розы, видим шипы и про них не надо забывать.

— Какие шипы? — зашумели кругом.

— Стоит мне отворить окно или пробить эту стену, разбить даже нечаянно стекло, и все мы погибли, пото-

му что окажемся без воздуха, который моментально выпорхнет из камеры в силу безграничной способности расширяться.

Многие с ужасом оглянулись.

— Стекла у нас двойные, толстые, крепкие, с вплавленной внутрь их металлической сеткой, а все-таки разбить по неосторожности их можно; стенки металлические, но и их можно сокрушить.

— Закроем пока глаза на эту темную сторону нашего нового бытия и обратимся к светлым его сторонам, — сказал Лаплас.

— Температура тут может колебаться от нуля до ста градусов Цельсия и более, — сказал Иванов, — стоит только увеличить площадь темной окраски ракеты.

От этого температура повысится, насколько мы ждем, например до двадцати пяти градусов. К чему же тогда одежда! Одежда, правда, у нас почти неизносима, подошвы не трутся, однако движение, работы на машинах будут. Не можем мы вообще не двигать членами. Все это в конце концов разрушает одежду.

Итак, собрание порешило в самое ближайшее время избавиться от одежды и одновременно довести температуру ракеты до тридцати градусов.

— Очень низкую температуру, — сказал Франклин, — здесь нельзя получить благодаря близости Земли, которая своей и освещенной и не освещенной солнцем поверхностью непрерывно лучеиспускает и нагревает ракету. Зато высокую степень тепла получить легко: до ста пятидесяти градусов — простой окраской, защитой от потерь теплоты; а выше — с помощью сферических, вернее, параболических и плоских зеркал.

— Это дает возможность приводить в действие разного рода солнечные двигатели, сваривать металлы и производить множество фабричных работ без топлива.

— Температура в фокусе подобных сферических зеркал, — сказал Ньютон, — при постоянном угле отверстия (мои вычисления основаны на работах Стефана) не зависит от величины зеркала. Величина его только пропорционально увеличивает очаг, то есть поверхность нагрева. Эта температура при угле в шестьдесят градусов, или при дуге зеркала в шестую долю окружности при черной поверхности нагрева и идеальном отражении света зеркалом в пустоте, должна достигать

четырех тысяч четырехсот двух градусов Цельсия. Она не зависит даже от близости зеркала к Солнцу, только диаметр очага растет пропорционально угловому диаметру Солнца, то есть при приближении к Солнцу очаг увеличивается, при удалении — уменьшается. Зеркало с отверстием в сто двадцать градусов доводит температуру в фокусе до пяти-шести тысяч градусов. На Земле половина лучей поглощается атмосферой, потом конический пучок лучей сильно охлаждается воздухом. Так что только под колоколом воздушного насоса, при идеальной прозрачности стекла получилось бы не более трех тысяч градусов. При обычновенных условиях, конечно, этой температуры не получим. Однако даже платина плавится в фокусе зеркал. Следовательно, и на Земле температура выше двух тысяч градусов. Величина очага или диаметр фокуса, то есть солнечного изображения, для зеркала с радиусом в один метр (при шестидесяти градусах отверстия это будет и диаметр зеркала) составляет четыре миллиметра. При диаметре зеркала в десять метров и очаг будет в десять раз больше, то есть четыре сантиметра. В пустоте здесь мы, наверное, получим температуру до пяти-шести тысяч градусов. Особыми способами можно еще ее возвысить, но нет в том надобности.

— Значит, — заметил Иванов, — тут можно роскошно производить всевозможные металлургические работы, — разумеется, вне ракеты, в эфирной пустоте, надев скафандрь. Это не то, что в воздухе: окислением металлов и орудий он портит всякие труды. Здесь же, например, сваривание легче легкого: наводят фокус на свариваемые части и сплавляют их палочкой того же металла. — Довольно соприкосновения накаленных частей. Наводка фокуса точная, регулировка температуры еще точнее. Это чудо как хорошо! Не надо забывать, — добавил Иванов, — что зеркала тут не гнутся от тяжести, перемещение и вращение их в легких станках не стоит никакого труда, поверхность их не окисляется и не тускнеет. Просто прелесть! Приготовление зеркал даже с попечником в тысячу метров вполне возможно. А такое зеркало дает очаг с диаметром в четыре метра. Каково!.. Но и небольшое зеркало, с небольшим очагом позволяет сваривать последовательно большие поверхности.

— Вот вы опять об отсутствии тяжести. Конечно, оно несомненно, раз я ее здесь не чувствую. Но мне все кажется оно как-то непонятно. Земля так близка, ее тяготение почти не изменилось. Почему же мы его не чувствуем? — спросил пожилой мастер.

— Я уже это объяснял, — сказал Ньютон. — Но вот станем на другую точку зрения: чувствуют ли жители Земли притяжение Солнца и Луны? Оно есть, но, конечно, никто его не чувствует; его не принимают в расчет даже ученые. Оно оказывается только в океанических приливах и отливах. Притяжение на каждой планете и их лунах зависит только от их собственных масс. Совсем не принимается во внимание даже самыми привередливыми астрономами влияние самых могущественных солнц. И у нас, в ракете, притяжение зависит только от массы ракет, ее формы и т. д. А так как масса ее ничтожна в сравнении с массой любой планеты, то и притяжение ее также незаметно.

— А все-таки и отсутствие тяжести, — сказал другой пожилой мастер, — не совсем ладно: иногда это чистое горе. Например: летает в воздухе ракеты много разной мелочи, пыль не садится; как ее убрать? Вода расхлестывается и в открытых сосудах не сохраняется; неудобно делать ванну, умываться, вообще в уборной неловко...

28. *Баня*

— Во-первых, вы не заметили, — сказал Лаплас, — что воздух в ракете постоянно процеживается через особые фильтры и очищается от всех примесей, разве карандаш какой-нибудь летает без призора, но это от нашей же небрежности; во-вторых, вы, должно быть, не имели еще случая или времени взять ванну в специальной для этого бане.

— Да, мне еще не случалось мыться, — сказал добродушно толстяк.

— Наша ванна, — заметил один из рабочих, — состоит из цилиндрического бака диаметром в три метра. Он закрыт, за исключением одного отверстия, и может вращаться вокруг своей оси. В нем половину его объема занимает вода. Принимающие ванну придают баку легкое вращение, отчего вода собирается по цилиндри-

ческим стенкам и ограничивается цилиндрической же поверхностью одной глубины. От центробежной силы все купающиеся располагаются по кривой поверхности и погружаются по грудь в воду. Головами они обращены друг к другу, как спицы колеса. Мытье прелестное, несколько окон... разные приспособления.

— Черт возьми! Я и не знал. Мне хочется покупаться.

— Это всегда возможно,— заметил рассказчик.

— Потом,— продолжал Лаплас,— никто не мешает нам получить тяжесть во всей ракете ее вращением, что мы уже делали. Эта тяжесть сохраняется, пока мы этого хотим, и ничего почти не стоит. Она может быть получена и вне ракеты, во всяком сооружении. Легкое вращение сосуда с жидкостью или вращение ее лопатками заставляет жидкость собираться по экватору сосуда и там оставаться. Поверните этот горшок, и вы увидите, что жидкость из него не выйдет. Проще — закрыть его плотно крышкой и вращать жидкость лопатками только тогда, когда нужно из сосуда получить жидкость. Тогда открыть кран, и она польется фонтаном.

— Мы берем ванны очень часто,— сказал молодой человек,— я так люблю купание! — прибавил он.— Отчего это вода всегда чистая? Или ее часто меняют? Но у нас не могут же быть ее безграничные запасы?

— Она очищается очень часто посредством перегонки, фильтрования, химическими и разными физическими способами; так же она и обезвреживается нагреванием и другими средствами,— заметил Иванов.

29. *Резюме о жизни в эфире*

— Резюмируем нашу беседу,— сказал после некоторой паузы Ньютон.— Мы имеем тут благодаря Солнцу желаемую температуру и потому можем обходиться без одежды и обуви; отсутствие тяжести этому еще способствует, то же отсутствие тяжести дает нам нежнейшие пуховики, подушки, сиденья, кровати и т. д. Ему же мы обязаны бесплатным и быстрым перемещением на всевозможные расстояния. Питанием и дыханием мы будем совершенно обеспечены, если создадим несколько оранжерей. Даже и имеющейся поверхности

ракеты было бы для нас достаточно, если бы производительность взятых растений была совершенна. Пространство, которое может быть нами занято кругом Земли, если считать только до половины лунного расстояния, получает в тысячу раз больше солнечной энергии, чем земной шар. Пространство это или кольцо, которое займут со временем наши последователи, я мысленно располагаю перпендикулярно к солнечным лучам. Оно и теперь уже наше, стоит только его заполнить жилищами, оранжереями и людьми. Благодаря параболическим зеркалам мы можем получить температуру до пяти тысяч градусов, отсутствие же тяжести дает возможность строить зеркала почти неограниченных размеров и, следовательно, получать очаги любой площади. Высокая температура и неослабленная атмосферой химическая и тепловая энергия лучей Солнца позволяют тут производить всевозможные заводские работы, например сваривание металлов, выделение металлов из руд, ковку, литье, прокатку и т. д. Правда, тут нет земного разнообразия, поэзии гор, океанов, бурь, дождей, холодов.

Но, с одной стороны, мы не совсем ее лишены, — сказал Ньютон, указывая на видневшиеся очертания морей и материков Земли, — с другой — эта поэзия большинству смертных на нашей планете лишь доставляет излишние и даже часто непосильные и мучительные хлопоты... Земля все же остается нашей, не вытерпевшему с ней разлуки она всегда может открыть свои объятия. Короче возвратиться туда всегда возможно. А здесь разве нет поэзии? Не остается разве при нас наука, вещества, миры, человечество, которое будет окружать нас, занимая это беспредельное пространство! Не есть ли сам человек высочайшая поэзия!.. Разве отсюда не открыта для нас Вселенная более, чем с Земли!

— Ну, хорошо, — прервал Иванов. — Теперь позвольте мне перечислить невзгоды этого мира. Близость Земли не дает возможности легкими способами получать тут низкую температуру, а она очень нужна для лучшей работы солнечных моторов, для фабричных целей, например для охлаждения, отвердевания и удобного хранения газов.

— Это горе легко устраниТЬ, — сказал Ньютон. — Стоит только удалиться от Земли... Мы даже мо-

жем получить гораздо больше пространства и солнечного света, если образуем из своих новых жилищ кольцо вокруг Солнца, расположенного за орбитой Земли. Там мы получим в миллиарды раз больше энергии, чем получает сейчас Земля. Температуру там легко доводить почти до абсолютного нуля.

— Ваша правда,— недостаток низкой температуры устранился,— согласился Иванов.— Но тогда я могу указать на другие темные стороны нашего здесь пребывания. Одежды, мебели действительно не нужно. Но ведь мы заключены в темницу, хотя она светла и прекрасна!.. За ее пределы мы можем выйти только в скафандрах — приборах очень сложных, куда сложнее одежд.

— Скафандр,— заметил Франклин,— служит для одной и той же цели, преодолевает одни и те же препятствия; он нужен здесь для каждого. Производство одной и той же вещи в миллионах экземпляров достигнет совершенства и дешевизны, и едва ли скафандр в этом отношении не сравняется с одеждой. Но жилища тут также заменяют одежду. Устройство же жилищ здесь поразительно просто и однообразно. Так что можно сказать: если есть жилища, то не нужны одежды.

— Это так! Но мы в этих жилищах подвергаемся ежеминутно опасности потерять газ и погибнуть,— сказал русский.

— Жилища будут так же однообразны, как и одежда; строить их будут для миллиардов людей. Они тоже достигнут совершенства. Притом условия, их окружающие, крайне тут однообразны, почему и совершенства их также легко достигнуть, как совершенства скафандро. А разве каждый человек и сейчас не рискует ежеминутно жизнью: проткните сердце, повредите жизненный узел, пораньте сонную артерию, перережьте аорту, и вы умрете. Притом окружающее население будет так многочисленно, так мудро и солидарно, будет иметь такие средства, такие орудия, что найдет всегда возможность устраниить всякую опасность и несчастье... Не могу же я тут, за тысячу лет вперед, начертать все возможности улучшений, предвидеть все вперед,— горячо добавил Ньютон.

— Может быть, даже человечество так преобразится,— заметил Франклин,— что не будет в пустоте нуждаться ни в скафандрах, ни в жилищах.

— А может быть, еще ранее,— добавил русский,— создаст в эфире газовую незакрытую атмосферу, которой и будет пользоваться?

— Ах!.. Всех мыслей и не передать,— сказал Лаплас.

30. Картина купания

— Господа, довольно!.. Освежимся купанием,— воскликнул один из слушателей.

Предложение было многими одобрено, и, оттолкнувшись, полетели в одно из отделений ракеты, где помешалась ванная.

Они увидели большой барабан, который занимал почти все отделение ракеты, именно около четырех метров длины и трех метров в поперечнике. Сначала его привели в легкое вращение. Тяжести нет, и барабан вращался по инерции: нужно чуть-чуть работы, чтобы поддерживать это вращение. Тогда открыли в центре у оси отверстие в метр величиной. Снявши изящные пояски и цветочные опоясывания — наряд очень легкий, не обременяющий, — они влетели один за другим в ванную. По стенкам барабана в виде цилиндра стояла вода, вращающаяся с барабаном.

Оттолкнувшись друг от друга, они полетели в воду, которая сообщила им движение и сделала весомыми. С каким удовольствием они погрузились в воду! Как легок был их туалет! Как легко было здесь купаться! Иванов видел над своей головой Ньютона, который купался и играл водой так же весело, как и он; рядом, параллельно, расположился Франклин; тела некоторых расположились друг к другу перпендикулярно. Чтобы видеть Ньютона, приходилось задирать голову, как при рассматривании купола в церкви. Все были обращены друг к другу головами, ногами же врозь. В этом только и была особенность купальни, в остальном она ничем не отличалась от земной: погружались с головой, ныряли, хватали друг друга за ноги, брызгались, плавали вдоль и кругом, волновали воду, визжали, хохотали и, главное, прекрасно освежались, тяжести тут не делали

большой. Зачем она? Так что плавать было гораздо легче, чем на Земле. Воскресли все погибшие было гидростатические и гидродинамические законы, основанные на силе тяжести, например закон Архимеда. Наигравшись, навозившись, компания таким же способом выпорхнула из своей бани, как и влетела в нее. Не надо было и обтиратся: лучи Солнца, всегда сверкающие сквозь густую зелень растений, быстро их обсушили. Надели набедренные повязки и отправились по личным делам. Воду фильтровали. Осадок в фильтрах пошел для растений.

31. *Оранжерея*

Новое собрание открылось речью Ньютона о положении дел.

— Господа! — начал он. — Прошу внимания к нашим житейским делам... Запасов становится все меньше и меньше. Они обращаются в удобрение для растений, но фруктов и овощей произрастает недостаточно, чтобы использовать все удобрения — размеры ракеты для этого маловаты и надо пристроить к ней оранжерею. Тогда еще просторнее будет гулять, не надевая скафандра. Тогда не придется более расходовать запасов кислорода и пищи: избыток растений нам даст и то и другое. Все наши выделения и отбросы также целиком будут поглощаться. Мы будем брать от растений столько же, сколько и давать им. Запасы беречь тоже не будет надобности: мы с ними распрастимся и будем довольствоваться углеродистыми и азотистыми веществами плодов. При нашей легкой жизни, отсутствии тяжелых трудов, тридцатиградусной температуре это даже будет полезно и необходимо.

— Не лучше ли эти оранжереи устраивать отдельно от ракеты? — заметил Лаплас. — Растения не требуют такой массы газов, такого давления среды, как мы, люди. Атмосфера для растений также особая, специальная, с избытком углекислоты, влажности и т. д. Все это не соответствует людям. Размеры оранжерей могут ограничиться трубой с диаметром в два метра, лишь бы мог пролетать свободно садовод, чтобы собирать плоды и позаботиться о них. Это и малая плотность окружающей их газообразной среды даст возможность

чрезвычайно сэкономить строительный материал, запасы которого у нас не безграничны.

— Конечно, так,— согласился Ньютон.— У нас, кажется, и части оранжерей почти готовы и приспособлены именно к такому взгляду на вещи. Простора же и в ракете вполне достаточно, а мало — никто не мешает нам гулять в скафандрах на сотни километров кругом. Да и сама ракета благодаря взрывным трубам и громадному запасу взрывчатых веществ может удаляться от Земли и путешествовать куда захочется: на Луну так на Луну, к астероидам так к астероидам. И сейчас она гуляет и показывает нам картины Земли одну красивее другой. Так что и без того мы непрерывно путешествуем. Оранжерею мы соединим с нашей ракетой двумя тонкими трубками: одна будет удалять из ракеты в оранжерею накопившийся углекислый газ и другие человеческие выделения, а другая будет доставлять в ракету свежий кислород и озон, вырабатываемые растениями. Нельзя обойтись при этом без насосов; но у нас тут прекрасно работают солнечные двигатели, запасенные еще на Земле.

— Уход за растениями,— сказал Франклайн,— тут изумительно легок. Почва прожжена и обезврежена от сорных трав, вредных бактерий и паразитов. Полезные же бактерии, например для стручковых, мы сами насыщаем. Значит, не приходится полоть или вырывать негодные травы; но надо наблюдать за подходящим составом почвы, влаги и газообразной среды.

Состав жидкости или почвы для растений делается перед самой посадкой; почва увлажняется насосами автоматически. Они всасывают и посыпают воду, которая собирается сама собой сжижением водяного пара в особых, наиболее холодных частях ракеты. Оплодотворение цветов совершается почти моментально воздуховкой. Атмосфера образуется дыханием людей. Наконец плоды без всяких болячек свободно распространяются во все стороны, не обременяя стеблей, так как тяжести нет.

— А не придется ли нам вылетать наружу для этих отдельных сооружений? — спросил кто-то из мастеров.

— Обязательно,— сказал Ньютон.— Разве вам это не нравится?

— Напротив, мне очень хочется погулять вне ракеты: я еще там не был,— возразил тот же голос.

— Мы там будем при работах,— сказал Иванов,— придется для собирания плодов и ухода за ними часто посещать новую оранжерею в скафандрах, так как давление газа в ней не будет достаточно и атмосфера не будет приспособлена для дыхания человека.

32. *Сооружение оранжереи. Неиссякаемые жизненные продукты*

Через несколько часов начали постройку оранжереи. Распаковали запасные части, состоящие главным образом из цилиндрических тонких плиток особого, крепкого и упругого стекла с вплавленной внутрь его квадратной проволочной сеткой. Были сферические части, совсем готовые металлические приспособления и очень тонкие металлические листы. Все материалы понемногу проталкивались в особую камеру, из нее выкачивали воздух, а затем отворяли люк наружу и выталкивали их в эфирное пространство. Крупные детали просто привязывались к ракете, более мелкие помещались в особой проволочной сферической клетке, которая выдвинута была заранее из ракеты. Там эти материалы сновали, как звери, из угла в угол и долго не могли успокоиться. Клетка, конечно, была привязана к ракете и имела затворяющееся отверстие. Заранее нумерованные элементы в несколько часов были приложены друг к другу десятью мастерами, вылезшими из ракеты, как было описано.

Сначала они как бы оцепенели, делали неловкие движения, но скоро опомнились и принялись за дело, комично-онасливо посматривая по сторонам и под ноги, где зияла бездна. Работа была очень легкая: как бы ни была массивна часть, для передвижения ее не требовалось ни малейшего усилия; едва-едва соединенные детали не расходились, не падали, не уклонялись и не гнулись от тяжести, как бы громадны, тонки и слабы ни были. Распоряжался старшой. Натянутые между их скафандрами упругие нити позволяли им прекрасно говорить друг с другом самым обыкновенным образом — даже всем вместе, хотя из этого, как и всегда, получалась бестолковщина. Колебательное движение

начиналось в глотке, передавалось воздухом шлема скафандр, потом нити и, наконец, через нить, несмотря на окружающую пустоту, другому скафандру.

Оболочка оранжереи, по-видимому, была готова, но части ее еще не были сварены и в местах соединения могли свободно пропускать газы.

Занялись сваркой, то есть герметическим соединением прозрачных и непрозрачных листов. И это было крайне легко. Мастера без усилий окружили оранжерею со всех сторон и все свои положения находили одинаково удобными: по отношению к своей постройке они были и параллельны, и перпендикулярны, и наклонны; они облепляли ее, как муhi. Но сваривание требовало определенного положения оранжереи относительно Солнца, так как сваривание производилось в фокусе параболических зеркал.

Работа очень напоминала автогенную сварку на Земле, но шла она легко и безуказненно, так как не было кислорода, сгорания, неудобных, неестественных поз; температура была выше и постоянней. Словом, была забава, а не работа. Только частый заход солнца через шестьдесят семь минут после его восхода отрывал от дела. Но и после захода было совершенно светло и тепло: светила и согревала Земля, занимавшая треть неба (сто двадцать градусов). Поэтому можно было продолжать работы и ночью, не требовавшие солнечного жара. Однако перемена труда была неприятна: не хотелось бросать так хорошо идущее дело. Но проходило полчаса (33 минуты), и Солнце опять во всем великолепии и почти внезапно выходило на помощь.

Скоро закончили сварку, испытали ее непроницаемость, заварили оказавшиеся щели и дыры, еще испытали, еще поработали и в конце концов убедились в полной непроницаемости оболочки оранжереи для паров и газов. Получилась цилиндрическая труба длиной в пятьсот метров, с поперечником в два метра. Во всю длину ее было огромное окно, занимавшее в поперечном направлении треть окружности трубы. Если ее вообразить горизонтальной, то ширина окна составляла бы пятьсот метров, а высота — около двух. Несмотря на размеры, эта труба была не очень массивна, крепка, гибка и мало разрушаема. Если и можно было разбить стекло с большим трудом, то это еще не сопровожда-

лось утечкой газа, так как вплавленная прочная металлическая решетка не давала стеклу возможности распадаться на куски; едва же заметные трещины почти не могли выпускать газ. От ударов же стенка только подавалась и упруго колебалась. Мастера суетились близ готовой оболочки в своих скафандрах, шныряли взад и вперед, сталкивались, отчего иногда забавно вортелись, но быстро задерживали вращение и любовались своим произведением со всех сторон и на разных расстояниях.

Оставалось поместить в оранжерее сосуд с полужидкой почвой, впустить разреженные газы, посадить семена, приладить регуляторы температуры, влажности, удобрения и состава газообразной среды.

Во всю длину оранжереи поместили длинный составной непрозрачный металлический сосуд. Он был наполнен полужидкой почвой и имел множество дырочек, куда сажались семена или рассада. Внутри его стенки смачивались жидкостью, а снаружи нет, так как он был снаружи эмалирован особым составом. Вследствие этого жидкость не могла проникать наружу, но в силу известных законов смачивания оставалась внутри центральной трубы. Внутри главной трубы помещались почти в ее центре две тонкие трубы тоже с отверстиями во всю длину. Одна из них доставляла почве газы, другая — жидкое удобрение. Воздушные насосы, постоянно работая, давали смесь газов, проникающих всю почву. Другие насосы доставляли жидкость с удобряющими веществами, также проникающими почву...

Вы, может быть, изумились, что из ракеты могла вылезти такая огромная штука, как оранжеря, но, во-первых, объем ее почти такой же, как ракеты, во-вторых, давление газов и паров в оранжерее так ничтожно, что стенки ее могли быть очень тонки, никак не толще обыкновенного дешевого стекла. От этого вся оболочка весила около двадцати тонн, между тем как вес ракеты со всем содержимым составлял четыреста тонн. Эта оранжеря давала еще тысячу квадратных метров поверхности, освещаемой в течение двух третей здешних суток нормальными солнечными лучами; на одного человека приходилось целых пятьдесят квадратных метров... Нетрудно представить, какое огромное количество самых питательных плодов могла

дать эта поверхность здесь при чудесных условиях прорастания и освещения!.. Стекла были из чистого кварца и потому отлично пропускали химические лучи, что очень способствовало урожаю.

Наконец все было устроено, засеяно, оранжерея функционировала правильно. Показались ростки. Одна часть оранжереи — прозрачная — была всегда обращена перпендикулярно к солнечным лучам. Задняя поверхность была в два раза больше, но, прекрасно отражая рассеянный солнечный свет, освещала и затемненную часть центральной трубы с появившимися нежными листочками.

Все-таки распределение света было неравномерно. Поэтому почвенную трубу поворачивали так, чтобы молодые растения получали солнечную энергию вполне равномерно. Поворачивание было автоматическое, но можно его было делать и вручную, не выходя из ракеты. Вообще регулировка удобрения, света и т. д. могла производиться из ракеты: не надевать же каждый раз скафандр! Нужно заметить, что как ракета, так и новая оранжерея всегда были расположены наивыгоднейшим образом относительно солнечных лучей. Конечно, этого можно было достигнуть неусыпным наблюдением, здесь же дело было много проще. Известно, что лучи производят на тела небольшое, лучше сказать, чрезвычайно малое давление. Действительно, оно составляет только полмиллиграмма на квадратный метр поверхности. Как оно ни мало, но оно-то и служило регулятором направления оранжереи. Сама по себе эта сила чересчур мала, чтобы поворачивать ракету, но она служила, как компас на корабле.

Впрочем, были еще более простые способы достигать того же: какое-либо двояковыпуклое стекло в стенке оранжереи давало в своем фокусе светлое и горячее пятно на экране. Уклонение его от определенной точки приводило разными способами в действие регуляторы направления оранжереи и придавало ей прежнее положение. Еще легче было достигнуть определенного положения ракеты и оранжереи легким вращением ее вокруг какой-либо оси.

Клубника, земляника, разнообразные овощи и фрукты росли не по дням, а по часам. Множество плодов давало урожай через каждые десять — пятнадцать

дней. Сажали карликовые яблони, груши и другие небольшие плодовые кусты и деревья. Эти без перерыва цветли и давали изумительно большие и вкусные плоды. Одни деревья зацветали, другие имели уже спелые ягоды. Особенно удавались арбузы, дыни, ананасы, вишни, сливы. Но приходилось постоянно подрезывать разрастающиеся кусты и деревца. Плоды всякого сорта собирались непрерывно во всякое время, так как времен года не было: был один непрерывный неизменный климат. Только искусственно можно было менять его — и даже в весьма широких пределах. Вот почему можно было разводить растения всех стран. Большие деревья сейчас были невозможны: и по малым размерам оранжереи и по недостатку почвы и удобрения. Когда эти пустынные эфирные пространства заселят миллионы живых разумных существ, тогда пойдет уже дело не так...

Оранжерею часто посещали и ради сбора плодов и ради прогулки. Без скафандров это было делать невозможно, так как давление газов и водяных паров в оранжерее не превышало двадцати миллиметров ртутного столба, то есть оно было в сорок раз меньше давления атмосферы и было недостаточно для человека. Состав газов, превосходный для растений, был совсем не благоприятен для людей. Водяные пары далеко не достигали степени насыщения, соответственного температуре, потому что испарения листьев и почвы прежде насыщения стущались в особых придатках оранжереи, находящихся постоянно в тени и имеющих поэтому температуру, близкую к нулю. Так что упругость паров была не более четырех — десяти миллиметров. Углекислый газ, кислород, азот и другие газы также были в очень разреженном состоянии. Но это, как известно, мало влияет на производительность растений.

Так, содержание главного для растений газа — углекислоты — не превышает на Земле одной тысячной, то есть парциальное давление будет не более одного миллиметра.

Посещение оранжерей, особенно в первое время, доставляло огромное удовольствие. Растения такой массой заполняли все пространство, что едва было возможно летать среди этой чудной зелени и плодов. При движении тела располагались вдоль трубы, чтобы не

задевать за плоды. Но задевать все-таки приходилось, и зрелые плоды отскакивали от черенков в огромном числе. Сами они не отпадали, как бы зрелы ни были: не имели веса. Но и соскочившие со стеблей фрукты никуда не падали, а летали взад и вперед, вдоль и попере-рек, пока не застревали в густой листве. Летающие как птицы наши гуляки могли бы насыщаться только рас-крывая рот, но, к сожалению, этому мешали скафан-дры. Плоды и ягоды только стукались в стекла шлемов и сейчас же отскакивали; их приходилось ловить сетка-ми, как бабочек, и заключать в легкие полупрозрачные мешки.

Вход в оранжерею не был прост, несмотря на ска-фандры. Нужно было сначала из эфира влететь в осо-бую камеру при оранжерее вроде прихожей, где не было газов, затем дверь наружу замыкалась, и воздух из оранжереи впускался в камеры через внутреннюю открытую створку: через нее влетал в теплицу и че-ловек.

Когда соединили одной и той же проходной каме-рой оранжерею и ракету, то дело упростилось. Чело-век, облаченный в скафандр, сначала попадал в соеди-нительную камеру с газом ракеты, потом газ этот пере-качивался в жилую ее часть, отворялась следующая дверь, и человек попадал в оранжерею. Если он затем хотел из оранжереи уйти в эфирное пространство, то переходил в особую оранжерейную камеру с двумя дверями; из нее начисто удалялись в оранжерею газы и пары; наконец отворялась дверь в эфирное простран-ство, и желающий вылетал на свободу.

33. *Беспечальное житье.* *Телеграфирование солнечным светом*

Теперь наши знакомцы устроились довольно солидно. Запасы были съедены, но в них и не нуждались. Они непрерывно превращались в самые нежные, ароматиче-ские, сахаристые, маслянистые, чудесные фрукты и овощи. Чем больше люди их поедали, тем больше по-лучалось удобрения и тем больше вырастало питатель-ных веществ,— разумеется, до предела, полагаемого энергией Солнца, падающего на поверхность опреде-ленной величины. Живые организмы так мало тут тра-

тили на передвижение, на борьбу с низкой температурой, что даже вегетарианское питание заставляло их полнеть. Вечно покоясь в «пуховиках» среды, свободной от тяжести, они были застрахованы и от всяких болезней. Откуда было прийти болезням и заразным началам? Если и заводились бактерии, то пронзительные лучи Солнца их уничтожали без пощады. Лишь не могли производить полной дезинфекции внутри человеческого тела!

Совершенно теперь обеспеченные своим хозяйством, они могли продолжать свое блаженное состояние до самой смерти, если только смерть тут имеет власть. Почти каждый день делались омовения или купания. Ванная легко превращалась в фонтанную. Тогда ее пронизывали во всех направлениях бесчисленные искусственные дожди, производимые центробежными насосами, приводимыми в движение солнечными моторами.

Настало успокоение, а вместе с ним и скука. Искали новой деятельности. Надо было дать подробное донесение Земле о своем состоянии, работах, успехах и счастье. Главные электрические запасы были уже израсходованы, и телеграммы приходилось давать иным способом.

Вычисления русского участника экспедиции показали, что отраженный плоским зеркалом солнечный свет в сорок тысяч раз интенсивнее рассеянного матовой поверхностью при тех же условиях. Солнечного света здесь сколько угодно, зеркал также. Такое зеркало в один квадратный метр отражало столько света, сколько матовая серебряная поверхность в виде квадрата со стороной в двести метров; оно с Земли, на расстоянии тысячи километров, должно быть видимо как блестящая планета с диаметром в семь десятых минуты. Ясно, что оно будет видимо простым глазом. Действительно, диаметр самой яркой планеты — Венеры — в период наилучшей яркости достигает только шести десятых минуты. Да и то не весь круг действует, а только узкий серп. Ясно, что и это зеркало будет видно несравненно лучше, чем Венера при самых благоприятных условиях. Значит, оно должно быть видно даже днем. Удобнее всего было отражать свет перед закатом и после восхода Солнца, а это можно было делать два раза в сто минут — здесь сутки содержат сто минут.

Производили быстрое и медленное сверкание едва заметным колебанием зеркала. В ближайших местах Земли это сверкание видимой новой звезды должно быть легко понято и прочтено по азбуке Морзе.

34. *Состояние человечества в 2017 году¹*

Что представляла из себя Земля в 2017 году, к которому относится наш рассказ?

На всей Земле было одно начало: конгресс, состоящий из представителей всех государств. Он существовал уже более 70 лет и решал все вопросы, касающиеся человечества. Войны были невозможны. Недоразумения между народами улаживались мирным путем. Армии были очень ограничены. Скорее это были армии труда. Население при довольно счастливых условиях в последние сто лет устроилось. Торговля, техника, искусство, земледелие достигли значительного успеха. Громадные металлические дирижабли, поднимающие тысячи тонн, сделали сообщение и транспорт товаров удобными и дешевыми.

В особенности были благодетельны самые громадные воздушные корабли, сплавлявшие по течению ветра почти даром недорогие грузы, как дерево, уголь, металлы и т. п. Аэропланы служили для особенно быстрых передвижений небольшого числа пассажиров или драгоценных грузов; употребительнее всего были аэропланы для одного или двух человек.

Мирно шествовало человечество по пути прогресса. Однако быстрый рост населения заставлял задумываться всех мыслящих людей и правителей.

Идеи о возможности технического завоевания и использования мировых пустынь носились давно — еще более ста лет тому назад; в 1903 году один русский мыслитель написал серьезный труд по этому поводу и доказал математически на основании тогдашних научных данных полную возможность заселения солнечной системы. Но эти идеи были почти забыты, и только наша компания ученых их воскресила и отчасти осуществила.

¹ Повесть написана до Великой Октябрьской революции 1917 года.

35. Странная звезда.

Земля узнает,
что мировые пустыни
открыты для человечества

Множество народа стало видеть перед восходом или после захода солнца необыкновенное явление: быстро движущуюся яркую звезду, которая чуть не каждую секунду пропадала и появлялась вновь. Сначала принимали ее за дирижабль, сигнализирующий электрическим светом. Но ее нельзя было принять за воздушный корабль, потому что всякий дирижабль должен был иметь ночью постоянный и очень сильный свет нескольких огней; кроме того, разобранные уже сигналы говорили о странных, совершенно неожиданных вещах.

Ходили и ранее слухи об отлете с Земли небесного корабля, основанного на принципе ракеты, но они считались уткой, фантазией, каковых было немало. И вдруг прочтена телеграмма следующего содержания:

«10 апреля 2017 г. Первого января этого же года, мы, нижеподписавшиеся, в числе 20 человек, вылетели на реактивном приборе из местности, находящейся в долине Гималайских гор. Сейчас на своей ракете мы летаем кругом Земли, на расстоянии от нее за тысячи километров, делая полный оборот в сто минут; устроили большую оранжерею, в которой насадили фрукты и овощи. Они нам давали уже несколько урожаев. Благодаря им мы хорошо питаемся, живы, здоровы и совершенно обеспечены на неопределенное долгое время. Кругом нас безграничное пространство, которое может прокормить бесчисленные миллиарды живых существ. Переселяйтесь к нам, если тяготит избыток населения и если земная жизнь обременяет. Здесь буквально райское существование, в особенности для больных и слабых.

За подробностями обратитесь к месту нашего вылета, куда доставлены подробные сведения о наших удачах. Там вы можете найти все указания для постройки необходимых для полета реактивных приборов».

Следовали имена и фамилии известных людей.

Телеграммы эти улавливались простыми телеграфистами и печатались во всех газетах. Чудную мерцающую звезду также все видели. Занимались ею ученые, академики. Определили расстояние ее до Земли, время появления, элементы движения, скорость и т. д. Все как нельзя лучше подтверждало телеграмму. Не мог же мистифицирующий дирижабль залететь за тысячу километров от нашей планеты! Волнение среди людей было такое, как будто бы объявили о скором светопреставлении. Но возбуждение было радостное. Какие перспективы открывались человечеству!!!

Каждая национальность, кроме своего родного языка, владела свободно языком общечеловеческим. Был общий алфавит, некоторые общие законы, сближающие людей самых разнообразных свойств и характеров. Известия о мировых событиях беспрепятственно распространялись по всем самым захолустным уголкам Земли. Воздушные корабли разносили за дешевку, часто просто с попутным ветром, газеты, книги проповедников и лекторов. Все принимали горячее участие в жизни Земли. Открытие доступности мировых пустынь было особенно радостно. Кто только не мечтал переселиться на свободу. Больные надеялись вылечиться, старики и слабые — продолжить жизнь. Наша гималайские анахореты были центром интереса, источником радостных вестей и сведений, за которые азартно цеплялся весь земной шар.

Полетели бесчисленные комиссии ученых и практиков к нашим отшельникам для исследования на месте всех уже произведенных ими работ. Открывались бесчисленные школы для изучения неба и реактивных приборов. Окончившие курс выходили с дипломом реактивного инженера. Строились новые заводы специально для постройки космических снарядов. Подготавливались техники, мастера и рабочие. Заработали на славу — и вот не прошло и года, как были готовы тысячи реактивных приборов для переселения.

36. *Опять вне Земли. Совещание
о новом спиральном полете
кругом Земли.
Таинственный стук.
Часовой в эфире*

Но что же делали в это время наши ракетчики? Несколько месяцев ушло на удовлетворение любознательности человечества. Им каждый день пришлось получать с Земли сотни вопросов и отвечать на них. Наконец любопытство было удовлетворено. Была послана последняя фототелеграмма на Землю такого содержания «Мы удаляемся от земного шара по спирали. Исследуем окружающее Землю пространство. Пока телеграфировать не будем».

Снова слетелись все в кают-компании. Начал говорить Ньютон.

— Мы сообщили Земле все, что с нами происходило, что мы чувствовали и что здесь нашли. Пускай жители Земли воспользуются этим простором, солнечным светом, теплотой, беспечальным, сытым существованием и возможностью безгранично мыслить и работать самостоятельно и беспрепятственно. Мы дали технические основания для осуществления переселения, для образования колоний кругом земного шара. Самим нам оставаться тут нет более надобности. Но не мешает подготовить путь для последующих шагов человечества.

— Ура! Летим дальше! — послышались восторженные голоса.

— Ведь мы, собственно, не исследовали пространство кругом Земли, хотя бы до лунной орбиты. Пространство это громадно и получает света в тысячи раз больше, чем вся Земля. Его мы предоставим людям. Ракета и оранжерея с их непрерывно зреющими плодами совершенно обеспечивают нас в материальном отношении, — продолжал Ньютон. — Мы не должны с нею расставаться; нам придется волочить ее с собой при нашем спиральном движении.

— Пустим в ход опять взрывчатый материал, — сказал Лаплас. — Ракета как бы на буксире потянет за собой громадную оранжерею.

— Сейчас нет ни малейшей надобности употреблять сильное взрывание,— заметил Иванов.— Прежде мы получали ускорение до ста метров в секунду, что рождало удесятеренную тяжесть сравнительно с земной. Это заставляло нас погружаться в жидкость и тем спасаться от гибели. Теперь необходимо и достаточно давление в десять тысяч раз меньшее; довольно секундного ускорения в один сантиметр...

— От этого,— сказал Франклин,— относительная тяжесть будет в тысячу раз меньше земной, то есть она будет совершенно незаметна. Такая тяжесть не может ни малейшим образом повредить ни оранжерее, ни растениям в ней. О ракете же я не говорю: она приспособлена выносить высокую степень давления.

— Полет наш не произведет в сущности никаких изменений в нашей жизни,— заметил Лаплас.— Мы будем падать в ракете и в оранжерее по направлению их длинных осей. В первую секунду падающее тело пройдет пять миллиметров и только через десять секунд опустится на 500 миллиметров, или на полметра. В сто секунд оно пройдет пятьдесят метров, то есть половину всей длины ракеты. Мы будем иметь удовольствие стоять и ходить, хотя все это довольно затруднительно. Достаточно чихнуть, кашлянуть, сделать малейшее движение рукой или ногой, чтобы сорваться с этой стоянки и преблагополучно полететь. Человек в сто кило весом будет иметь вес только в сто граммов. Понятно, что привязанные и слегка укрепленные предметы, растения и люди в ракете и оранжерее не сорвутся со своих мест. Мы будем по-прежнему летать, совершенно не замечая столь малую тяжесть.

— Цель такого малого ускорения,— сказал Ньютон,— очертить спираль кругом Земли и как можно лучше осмотреть пространство вокруг нее. Описывая спираль, мы все далее и далее будем отходить от нашей планеты, приближаясь к орбите Луны. Большое ускорение и сильное взрывание нельзя употребить, так как оранжерея не приспособлена к нему и была бы поэтому разрушена образовавшейся значительной тяжестью. Мы могли бы убрать оранжерею по частям в ракету, но очень это хлопотно, потеряем много времени, да и чем будем питаться? Запасов больше нет. А плодов, оборванных напоследок, перед ее разбором,

не хватит и на две недели. Пожалуй, даже больше понадобится времени на слом, восстановление; посев и созревание плодов.

— Даже и этого ускорения (в один сантиметр) много, — продолжал Ньютон. — В самом деле нужно двести тысяч секунд, или около пятидесяти двух часов, чтобы приобрести увеличение секундной скорости ракеты на один километр. При этом ракета сделает более десятка оборотов и удалится на весьма значительное расстояние от Земли. Вследствие этого удаления скорость ракеты в действительности будет уменьшаться. Близ орбиты Луны она уже будет составлять только 1 километр в секунду вместо теперешних семи с половиной. Зато будет почти преодолено тяготение земной массы... Можем приостанавливать иногда взрывание, а иногда ускорять его, — заключил Ньютон.

— А почему бы не лететь нам прямо от Земли кругом Солнца, — возразил один из присутствующих. — Что мы можем встретить особенного кругом Земли? Не интереснее ли пространство кругом Солнца и дальше в орбите Марса и малых планет. Там по крайней мере простор, в миллион раз более обширный, чем это захолустье между Землей и Луной!

— Хорошо сказано, — послышались со всех сторон смех и возгласы, — ему уже кажется захолустьем площадь, в тысячи раз большая земной поверхности!..

— Самостоятельный полет кругом Солнца без Земли вполне возможен, — сказал Франклин. — Но осторожность не мешает... Не вредно еще получше обследовать пространство кругом Земли. Годно ли оно для жительства человека, не помешают ли его колониям какие-либо массы? То — еще успеем. Интересна близость Луны. Может быть, и на ней побываем?

— Это любопытно!.. Дело, дело, — оживились кругом...

Вдруг совершенно неожиданно раздался довольно громкий стук. Все оглянулись.

— Господа, кто это стукнул...

Но стук был странный, необычный, как будто кто стукнул снаружи. Многие побледнели, другие подлетели к люкам.

— Господа! — воскликнул один из смотревших в окно. — Какой-то предмет удаляется от ракеты. Не он ли стукнул и отскочил?

Стали смотреть и другие.

— Да это аэролит! — сказал Иванов. — Вернее, небесный камень, маленькая планетка или частица кометы.

Камень удалялся медленно и становился все незаметнее.

— Покамест мы наденем скафандры и выпорхнем наружу, болид уйдет далеко, и его, пожалуй, не найдешь, — сказал Ньютон.

— Мне кажется, — предложил Лаплас, — хорошо было бы, если бы один из нас в скафандре постоянно дежурил поблизости от ракеты. Эти небесные тела следует ловить. Материал нам может пригодиться. Железо, никель, углерод и окислы — словом, все вещества, из которых состоят эти бродяги, — все пойдет в дело.

Предложение было принято, назначена очередь, и один из участников сейчас же отправился на дежурство.

— Я думаю, — сказал Ньютон, — что напугавший нас камень есть спутник Земли, так как удар был очень слаб; очевидно, это одна из маленьких лун Земли, вращающаяся вокруг нее со скоростью сообразно расстоянию. Именно эта скорость должна быть близка к скорости ракеты. Значит, относительная скорость камня по отношению к ракете близка к нулю. Такие небесные тела для нас не опасны; их удары не сильны. Но вот кометные болиды могут разрушить вдребезги ракету и оранжерею. Случай этот, то есть столкновение, изумительно редкий, мало вероятный, как падение аэролита на крышу дома на Земле. Опасаться мы его можем столько же, сколько падения болида на голову человека, ходящего по земному шару. И часовых выставлять для этого нет надобности. Не опасается же на Земле никто аэролитов. Но, может быть, дежурному посчастливится с помощью хорошего телескопа увидеть, хотя за сотни километров, значительную массу. Ее тогда можно поймать и воспользоваться материалом...

— Если опасности нет, — сказал Иванов, — то нужен ли часовой? Довольно будет наблюдать из окон в разные стороны с помощью зрительных труб. А на это найдутся любители. Мы и так очень охотно глазеем в окна. Кто заметит что-нибудь хорошенькое, — скажет, и охотник немедленно пустится в погоню за интересной рыбкой.

Часового вернули, отчего он не опечалился.

37. *Полет по спирали.*
Путевые впечатления. Болиды.
Достигают орбиты Луны.
Решают полет на Луну

Для взрывания употреблены были две симметрично расположенные трубы с самым незначительным расходом взрывчатого материала.

Взрывание было почти не слышно; к нему скоро привыкли, как к тиканию часов. С любопытством смотрели по сторонам. Видели все то же черное небо, гигантский серп Земли, блестящее синеватое Солнце, траурную сферу, покрытую серебрянойсыпью немерцающих звезд. Сначала забавляло явление тяжести и падения, от которого отвыкли. Но сила падения была так ничтожна, что совершенно не влияла на обычные полеты и игры в ракете. Можно было видеть, как вялой струей льется вода, как она в сосудах принимает горизонтальную поверхность, как образуются громадные ленивые волны, как поразительно медленно качается маятник; часы стенные шли в тридцать два раза медленнее, чем на Земле.

Прежде, когда путешественники вылезали осторожно в скафандре из ракеты, не отталкиваясь от ее стенок, они от них не удалялись; при толчке же удалялись равномерно. Теперь они падали от ракеты с одного конца и давили на нее с другого. Получалось то же, впрочем, что и внутри ракеты. В сто секунд человек удалялся от нее, как и всякий предмет, на пятьдесят метров, через тысячу секунд на пять километров. Скорость росла пропорционально времени, так что шутить этим было нельзя, а держаться лучше за привязь. Цепочка натягивалась, но, разумеется, едва заметно. Если двигались силой толчка вперед, с передней части ракеты, то летели равномерно-замедленно, в тысячу раз слабее, чем от земной тяжести, и в конце концов падали назад, возвращались к ракете. Можно было усиливать взрывание: тогда все явления были заметнее. Но большой тяжести нельзя было получать, так как не выдержала бы не приспособленная к тому оранжерея.

— Мне кажется, — сказал один из искавших болиды, — что Земля и видимые на ней материки и моря как будто уменьшаются в размерах.

— Это есть естественное последствие нашего движения по спирали и удаления от родной планеты, — заметил Иванов.

Сутки становились длиннее, но ночь, абсолютно увеличиваясь (вследствие уменьшения скорости ракеты), становилась все короче сравнительно с днем. С каждым оборотом кругом Земли роскошная ночная заря, багровый круг, чуть не в целое небо, становился все меньше и слабее. Было совершенно светло, но уже не так, как прежде. Солнце палило без изменения.

Все двадцать человек неусыпно наблюдали в слабые и сильные подзорные трубы, сидя у хорошо отшлифованных окон своих кают. Стали попадаться небольшие болиды в несколько сантиметров диаметром, но их не ловили, так как они пролетали чересчур далеко. Но вот их стало все больше и больше; некоторые едва двигались. Это значит, что их движение было согласно с ракетой, то есть почти по одному направлению с одинаковой скоростью. Их не упускали, ловили и причаливали к ракете. Но ни одного болида не попадалось ближе нескольких километров. В скафандре, с маленьким реактивным прибором, к ним направлялись, догоняли и хватали сеткой. Составилась порядочная коллекция. Анализ нашел в них следующие вещества: железо, никель, кремнезем, глинозем, окись кальция, полевой шпат, хромовое железо, железные окислы, графит и другие простые и сложные вещества. Чаще всего видели железо и никель в чистом виде и кремень.

Показывая обществу коллекцию уранолитов и сообщая результаты химического анализа, Ньютон воскликнул:

— Вот прекрасный материал для построек! Вот недостающий кислород и почва для растений! Кислород, правда, в соединении с другими веществами, но нет ничего легче его выделить в газообразном виде: ведь у нас такой могущественный источник энергии — Солнце! Температура же в фокусе зеркал может доходить до пяти тысяч градусов Цельсия.

— Мы очень мало потеряли кислорода и паров воды, — заметил Лаплас.

— И вода может быть добыта из этих камней, — сказал Франклин. — Действительно, тут некоторые полевые шпаты и кремни содержат конституционную воду.

— Замечательно, — заметил Иванов, — что все эти минералы и элементы хорошо известны земным минералогам, так как они находятся в горных породах нашей планеты. Встречаются они, конечно, и в аэROLИТАХ, подобранных на Земле и хранящихся в тамошних музеях. И если так близок по составу этот мир к земному, то почему он не может служить жилищем человеку или ареной его деятельности?

Чем более уходили от Земли, тем более встречали камней. Размер болидов уже доходил до нескольких метров, но таких великанов оставляли в покое: они своей массой затруднили бы движение ракеты. Иногда что-то, как тень, проносилось вдали — это мчавшиеся со страшной быстротой кометные камни. Более отдаленные и крупные проносились по черному небу, как звезды, хотя были бесконечно ближе. Болиды, находившиеся между Землей и ракетой, обыкновенно двигались быстрее ракеты, а находящиеся дальше ее — медленнее. Иллюзия делала ракету неподвижной, а болиды, казалось, двигались в разных направлениях. Заметя это, один из молодых участников экспедиции предложил воспользоваться относительным движением болидов, чтобы ускорять или замедлять движение ракеты без расхода взрывчатого материала.

— Стоит только с ними сцепиться, — сказал он.

— Мысль прекрасная, — заметил Лаплас. — Но, к сожалению, мы пока не можем ею воспользоваться за неимением подходящих приспособлений. Ракета, пожалуй бы, выдержала толчок, мы, погруженные в жидкость, уцелели бы, но оранжерея неминуемо погибла бы.

Земля все уменьшалась, день увеличивался, ночь наступала как-то неожиданно благодаря длинному дню и была более, чем прежде, простым солнечным затмением, продолжавшимся, однако, несколько часов. Зато день содержал уже более десяти земных суток. Луна то уменьшалась, то увеличивалась и порой становилась огромной, интересной. Наступил момент, когда ее максимальный размер сравнялся с размером Земли. По-

следний не колебался в своей величине в течение суток, то есть времени обращения ракеты вокруг Земли, но вообще сильно уменьшился благодаря удалению снаряда. Луна же страшно вырастала в течение половины здешних суток, достигала максимума, затем так же быстро удалялась и казалась даже меньше, чем с Земли. Луна и Земля получили равные кажущиеся диаметры, когда ракета была между ними на расстоянии четырех пятых всего расстояния между Луной и Землей, что составляет около сорока восьми радиусов Земли. Но и этот момент был пройден...

Растет безоблачный день, ликуют цветы и плоды, нежащиеся на Солнце. В моменты противостояния Земли и Луны последняя уже становится больше Земли. Все значительнее становится влияние Луны на движение ракеты. Ее скорость то увеличивается, то настолько же уменьшается притяжением земного спутника. Орбита, или путь ракеты, искажается. Она может даже налететь на Луну. Но до этого еще не дошло.

Однако в конце концов ракета и Луна имеют одну орбиту, двигаются с одинаковой скоростью и, стремясь в одну сторону на противоположных частях одной окружности, не могут встретиться.

Ночей уже нет, а есть только солнечные затмения, настолько же редкие, как и лунные затмения на Земле. Можно сказать, наступил непрерывный день.

Взрывание прекращено, от Луны далеко, и она даже кажется вдвое меньше, чем с Земли.

Время обращения ракеты вокруг Земли такое же, как Луны, то есть синодическое (относительно Солнца) составляет около тридцати земных суток. Не сразу наступила относительная неподвижность Луны: по мере удаления от Земли ракета все реже и реже нагоняла Луну, пока совершенно не сравнялась с ней в ходе.

Это случилось, когда она достигла такого же расстояния от Земли, как Луна.

Тогда расстояние между ракетой и Луной сделалось неизменным. А так как ракета казалась ее обитателям неподвижной, то такими же казались и Луна с Землей; однако обе чертили путь между звездами, но представлялось, что звездный свод совершает это движение.

38. Сомнения. Лететь ли на Луну?

Теперь пространство между Землей и Луной на триста шестьдесят тысяч километров кругом Земли было достаточно обследовано, найдено совершенно безопасным и почти свободным от болидов. Люди могли начать свое переселение. Земле дали телеграмму с соответствующим содержанием. При этом плоское зеркало для телеграфирования пришлось употребить больших размеров: именно был пущен в ход зеркальный квадрат со стороной в десять метров. Ответная телеграмма уведомила о получении Землей хороших вестей.

— Человечество теперь будет переселяться, — заявил Ньютона порхающему собранию. — Мы же должны обсудить вопрос о нашей дальнейшей деятельности. Сейчас мы можем быть почти покойны. Мы сделали задуманное, взрывание прекращено; мы находимся на расстоянии Луны; она для нас безопасна и не может заметно нарушить наше движение. Жизненными продуктами мы обеспечены по-прежнему. Положение наше изменилось только к Луне и Земле, а к Солнцу и звездам оно осталось неизменным.

— Путем нового взрывания, — сказал Лаплас, — мы можем дальше пойти троеким путем. Можем спуститься на Луну и исследовать этот спутник Земли, определив его значение для Земли и вообще. Можем посредством взрывания приобрести скорость, которая навеки нас удалит от Земли и заставит двигаться по ее же орбите кругом Солнца. Таким образом, мы можем обозреть пространство кругом нашего блестящего светила, которое в миллионы раз обширнее поверхности Земли... Наконец возможно приобрести отрицательную скорость, то есть потерять ту, которую сейчас имеем относительно Земли. И тогда мы начнем падать к Земле под влиянием силы ее тяготения. Через пять дней ускоренного падения мы разобьемся вдребезги об ее поверхность.

— Ну это менее всего желательно! — прозвучали возгласы.

— Путешествие кругом Солнца можно также отложить.

— Не попытаться ли попасть на Луну? — заявили с разных сторон.

— Это исполнимо, — сказал Ньютон. — Но оранжерею на Луну мы взять не можем: при замедленном движении у поверхности Луны в ракете и оранжерее разовьется относительная тяжесть, не меньшая тяжести Луны у ее поверхности, то есть не меньшая одной шестой тяжести Земли на ее почве. Даже такую слабую тяжесть оранжерея не перенесет.

— Следовательно, — сказал Франклин, — оранжерею придется оставить здесь, лететь в ракете и питаться запасами плодов и кислорода. Таким образом, мы не можем долго пробыть на Луне, особенно если полетим все. Оставить же хоть кого-нибудь в оранжерее опять невозможно, потому что быть в скафандрах нельзя более шести часов... Положим, этот срок можно удлинить неопределенно, но и перенести его, не снимая скафандров, тягостно.

— А если оранжерею здесь собрать, укрыть в ракете и разобрать только на Луне? Там опять собрать, разобрать и лететь обратно, — возражали кругом.

— Этот вопрос уже обсуждали, — заметил Иванов. — И он при настоящих условиях оказался неосуществимым.

— Остается одно, — сказал Ньютон, — слетать всем на Луну без оранжереи на короткий срок. Плоды из оранжереи усиленно собирать и запасать, деятельность оранжереи как можно более сократить, оставить регуляторы, которые в течение нескольких десятков часов могут исправно действовать, доставляя растениям влагу, питание и все, что для них нужно. Долго еще длилось обсуждение полета на Луну.

Все же этот вопрос решили положительно. Чтобы было легко найти оранжерею, предполагали к ней приладить большой, медленно вращающийся зеркальный многогранник; отражая своими гранями свет, он может быть замечен на расстоянии нескольких тысяч километров.

Но оставим пока нашу порхающую компанию и возвратимся к Земле.

39. События на родной планете

Пока на Земле строили реактивные приборы, части оранжерей, делали новые опыты, новые приборы, население ее мечтало, спорило, читало все, что писалось по поводу новых заатмосферных колоний. Были и противники переселений, и равнодушные, и горячие сторонники их. Последних было больше всего. Уже появилось в свет множество книг, специально посвященных жизни вне Земли. С особенным удовольствием рассматривали забавные иллюстрации с изображением жизни будущих колоний. Прежде всего на эти картишки накидывались дети, потом юноши и, наконец, взрослые. Между стариками и женщинами больше было скептиков, но молодые девушки увлекались, хотя и не так горячо, как юноши.

Во всех концах Земли читали лекции, делали доклады на собраниях, в ученых обществах и академиях.

С нетерпением дожидались первых полетов. Пришли в восторг, когда получили телеграмму от наших заатмосферных путешественников о полном их благополучии и законченном исследовании пространства от Земли до Луны.

Были споры о том, кого назначить для роли первых колонистов. Половина всего населения (два миллиарда человек) на словах изъявляла к тому готовность, но в душе многие думали: «Пускай сначала кто-нибудь другой, а потом уж я... Еще поспеем».

Дети мечтали о том, как они будут там летать, кувыркаться, играть и носиться в воздухе и в безграничном эфире.

Все думали о том, как приятно избавиться от вечно пасмурного неба и пользоваться неизменным сиянием Солнца. В особенности желали этого жители северных и пасмурных стран.

— Без ночи невозможно, — качали головами сомневающиеся.

— Но темноту так легко произвести, — отвечали оптимисты.

Нетерпеливо жаждали Солнца слабые, больные и старые, хотя и не могли переварить других условий новой жизни. Они же страстно желали покоя, легкости передвижения, тропического жара, но сомневались да-

же в самом существовании среды без тяжести. Бедные были в восторге избавиться от всякой одежды и нечистоты, неизбежной спутницы недостатка.

— Голенькому-то среди голеньких не обидно, — говорили они. — Еще, пожалуй, кто из них и гордиться будет, у кого тело покрасивей кокетничать начнёт — без гроша-то в кармане.

— Сколько страшной борьбы нужно, чтобы одолеть врага в постелях, в одежде, в домах. Хорошо говорить богатым, но бедные и слабые в большинстве случаев невыносимо страдают от насекомых, в особенностях в некультурных странах, не в силах и одержать над ними полной победы.

Всех восхищала возможность изменять температуру от нуля до ста пятидесяти градусов Цельсия.

— Значит, — говорили, — можно иметь всегда в жилищах тридцать — тридцать пять градусов Цельсия. При покое тела и при такой температуре, немного не доходящей до теплоты человеческого тела, траты организма доходят до минимума, что позволяет человеку довольствоваться самым скучным питанием, и, несмотря на это, увеличиваться в весе. Вегетарианцы были довольны, что придется в питании ограничиться плодами, фруктами и овощами.

— Но никто не мешает там развести и животных, — возражали любители мясной пищи.

— Ну нет, уж этого-то вам не позволят, — спорили вегетарианцы.

Подняли полемику об этом в газетах. Было выяснено, что в заатмосферных колониях высших животных забивать не будут. Правда, на Земле мясо все более и более тогда выходило из употребления, потому что, с одной стороны, разнообразие растительных плодов и достоинство их достигли высокого совершенства; с другой — вследствие развития мировой торговли эти чудесные фрукты были всем доступны. Нравственные течения, природное сострадание, органическое отвращение к крови делали то, что только больные люди могли пользоваться мясом животных.

Недужные и старые жертвовали громадные суммы, чтобы ускорить начало переселения. Их уверяли врачи, что нет лучше условий для исцеления и продления жизни, как те, что имеются там: вечное солнце, посто-

янная и желаемая температура, полный покой для тела, отсутствие одеял, кроватей, одежды, давления и прикосновения к чему бы то ни было. Малейшей силы было довольно, чтобы поворачивать больного как угодно; все части его тела всегда открыты и доступны; не может образоваться пролежней от беспомощного лежания в сырости выделений. Наконец полное отсутствие заразных начал.

— Безнравственно открывать тело, — говорили пессимисты.

— Никто вам не мешает носить одежду, если пожелаете, — возражали защитники новой жизни. — При том прикрытие некоторых частей тела будет обязательно.

— Мужчины и женщины... почти голые! Это что-то невозможное! — ужасались моралисты.

— Привыкнут! — возражали сторонники. — Если же нет, то значит, эти люди недостаточно чисты душой и таких лучше оставлять на Земле. Не всех же отправлять! Необходимо кому-нибудь остаться и тут. Над Землей нужен надзор, как и прежде, даже еще более строгий, иначе она обратится в ад. На небеса сначала будут отправлять очень немногих, и при том самых совершенных в физическом и, главное, нравственном отношении. Затем будет отправляться только избыток населения, обременяющий Землю.

Все были довольны ненужностью путей сообщения, ненужностью борьбы с тяжестью, с трением, сопротивлением воды, воздуха, если не считать тот, который находится в ракетах, и поразительно разреженный газ в оранжереях. Путешествие можно совершать раздеться — в ракете, а одетому в скафандр — без ракеты; в обоих случаях мчаться в безвоздушном пространстве, без остановки и без всякого сопротивления среды.

— Ракета — та же тюрьма, — ворчали сомневающиеся.

— Хоть не тюрьма, а просторный дом со всеми удобствами, недоступными теперь самым могущественным людям, — отвечали оппоненты.

— Да и выйти из нее всегда можно, стоит только надеть скафандр, а там уже безграничный простор и свобода движения во все *шесть* сторон.

— Скафандр обременителен, — продолжали ворчуньи. — Глаза за стеклами... это та же одежда, только еще хуже, стеснительней.

— Зато там она не имеет веса, не отягчает плечи и, во всяком случае, бесконечно удобнее одежды эскимоса или якута. Да, она еще и не достигла идеального совершенства; когда же достигнет — вы ахнете!

— Посмотрим!.. В прогулке там красоты нет, чеснок однообразно. Не нравится мне это — черное небо и мертвые звезды... Здесь-то я вижу — небесную лазурь, чудное море, очаровательные краски воздуха, гор, долин, лесов... Разнообразные звуки нежат слух куда ни пойди: что может быть милее громового весеннего рокота, лепетанья ручья, шума листьев в дубраве, говора морского прибоя...

— Все так, — возражали сторонники. — Но многие ли всем этим имеют время и возможность наслаждаться? С другой стороны, в оранжереях бесконечное очарование цветов, запахов и форм. И там остаются у людей силы, чтобы все это воспринимать; утомленному, замученному — не до красот природы. Познание наук, близкое знакомство с бесконечным множеством людей не только вполне вознаградит, но и превысит недостаток земной поэзии. Эту жажду можно частично удовлетворить чтением книг о земной жизни и картинами Земли. Живущие там даже могут иногда посещать Землю. Но, боже, как они будут разочарованы в ней после небесной беспечальной жизни! Такой человек будет подобен старику, скучающему по родине. Каккажется ему сладки воспоминания детства и юности, как отраден отцовский дом, как там все славно, величественно, как добры люди. Но вот он отправляется на родину и видит... всякий знает, что он видит и как унывает...

Многие говорили: «Без тяжести хорошо — не будут валиться стены, обрушиваться потолки, не будут падать в пропасти люди, не будет отягчать стояние, наливаться кровью повисшие руки и ноги; движение всяких грузов ничего не будет стоить...» Все это известно, обо всем уже говорилось, но во многих случаях необходима и тяжесть, например при умывании и в уборной.

— Если бы вы и были правы, считая тяжесть необходимой, — возразил бывший тут учитель физики, — то

ведь ничего нет легче, как ее произвести искусственно, вращением жилища. Там это вращение вечно, ничего не стоит, поэтому и тяжесть также вчна и ничего не стоит. Кроме того, величина ее совершенно зависит от нас — она может быть и меньше земной и больше, и пределы ее изменения безграничны. Вот в том-то и преимущество: на Земле тяжесть неизменная, а тут какой угодно силы, начиная с нуля. Кстати о температуре: при очень близком расстоянии от Земли ее нельзя очень сильно понижать: мешает теплое лучеиспускание планеты; но по мере удаления от нее это понижение может становиться все значительней и значительней. На расстоянии Луны, где находятся теперь наши мировые скитальцы, температуру можно понизить чуть не до абсолютного нуля, то есть до двухсот семидесяти трех градусов ниже точки замерзания воды. Это имеет огромное значение для индустрии. На Земле же понижение температуры чрезвычайно затруднительно и дорого. А там одновременно и в одном почти месте, то есть рядом, можно получить и сто пятьдесят градусов тепла и двести пятьдесят градусов холода. Контраст в четыреста градусов! А отсутствие газов при металлургических работах?.. Невозможно перечислить всех богатств и несравненных выгод!..

— Земле, — говорил физик, — на единицу площади — благодаря ее шаровой поверхности, смене дня и ночи, поглощению атмосферы — приходится в восемь раз меньше лучистой энергии, чем там. Облачность же и туманы еще во много раз повышают эту цифру. Потом отсутствие насекомых и других вредителей, благоприятные условия влажности и удобрения делают урожаи баснословными. Ничтожная по величине оранжерейка уже прокармливает своими плодами одного человека. И это при самых незначительных заботах и труде. Сорных трав ведь нет. Они уничтожены заранее повышением температуры до ста градусов. И топлива для этого не нужно. И вообще оно не нужно там.

— Вам бы в адвокатах быть, — иронически заметили физику. — А если вы растеряете нечаянно весь газ из оранжерей и жилищ? Как тогда? Все погибнет?

— Надо быть осторожным.

— Но потери газов во всяком случае неизбежны? Как же вы их пополните?

— И вода через плотины просачивается, но это не ведет к гибели!

— А болиды, астероиды! Они содержат и газы, и воду (в твердом соединении), и строительный материал. Какой-нибудь астероид с диаметром в километр может надолго обеспечить огромное население на длительное время. Такой болид имеет массу в пять миллиардов тонн. Подобных астероидов, невидимых в самые лучшие телескопы при самых благоприятных обстоятельствах, сколько угодно!

— Да ведь их еще даже не видали! — послышались возражения.

— Зато видели сотни астероидов от десяти километров и больше. Наши путешественники уже телеграфировали, что встретили много болидов и даже составили коллекцию небольших небесных камней. Да и мы тут можем видеть сколько угодно аэrolитов в наших музеумах. Чем меньше небесная масса, тем больше число таких масс. Если десятикилометровых планеток тысячи, то меньших размеров гораздо больше, но сила телескопов пока не позволяет их видеть. Всего больше небесной пыли. Она обнаруживается непосредственно падающими звездами... И покрывает, видимо, снег полярных стран.

Всех таких споров, конечно, невозможно передать. Часто повторяли одно и то же, и мы передаем тут только наиболее характерное.

40. *От Земли в эфир и обратно.* *Устройство новых колоний*

Ракеты были устроены и снаряжены по описанному уже образцу. Тысячи их летели с Земли одна за другой, — с гулом, громом, выбрасывая и вызывая снопы света, восторг толпы. Сначала в них были отправлены только ученые, техники, инженеры и мастера: народ отменно здоровый, молодой и энергичный — все строители.

По совету ученых, рой этих ракет расположился на расстоянии пяти с половиной радиусов Земли от ее поверхности или на расстоянии тридцати трех тысяч километров. Время оборота их кругом планеты как раз сравнялось с земными сутками. День был почти веч-

ный, сменяясь каждые двадцать четыре часа коротким солнечным затмением, никак не могущим сойти за ночь. Земля видна была под углом в шестнадцать градусов, то есть имела вид огромной луны с диаметром в тридцать два раза большим, чем Луна. Последняя казалась то немного больше, то меньше обыкновенного. Остальное было, как описано, только в уменьшенном масштабе. Скорость ракеты в отношении Земли составляла три километра в секунду.

Попавшие в этот новый мир сначала недоумевали, потом приходили в восторг, но скоро успокаивались, осваивались с положением и принимались за работу, уже описанную выше. Они извлекли запасные части и соорудили из них ряд оранжерей. Но решили их сделать в то же время и жилищем людей. Поэтому давление газов в них достигало одной пятой атмосферы. Главная составная часть ее состояла из кислорода, именно — восемьдесят процентов, остальные двадцать процентов приходились на углекислый газ, водяной пар и т. д. Абсолютное количество кислорода было только чуть меньше, чем на Земле, на уровне моря. Действие же кислорода тут было несравненно живительнее, так как был он почти в чистом виде и не обременен, как на Земле, огромным, несуразным количеством азота. Давление было маловато, но полетевшие заранее были испытаны в способности довольствоватьсь малым давлением. Такой состав дыхательной среды был выгоден не только в отношении живительного действия кислорода, но и в отношении малой массивности и большей прочности оранжерей; оболочки их приходилось выносить только давление в одну пятую атмосферы. Оранжереи не были устроены совершенно тождественно с описанной. Они были приспособлены также и к жизни человека; были прочнее прежних, назначенных для растений, с очень разреженной газовой средой.

Тысячи ракет выгружали на небесах свой материал, спускались опять на Землю, нагружались там вновь и возвращались обратно. Часть их оставалась постоянно, вне Земли, так как они служили жилищем для строителей хотя и были всегда готовыми для спуска на родную планету.

Спуск происходил по той же траектории, как и поднятие, и при совершенно тех же обстоятельствах, ощущениях и явлениях; только все скорости были обратны, так как взрывание во все время пути действовало в противоположном направлении, отчего скорость ракеты непрерывно падала, доходя у самой поверхности Земли до нуля. Нуля она достигала даже гораздо раньше соприкосновения — ради безопасности; затем ракета стояла неподвижно и сейчас же приводилась в медленное равномерное движение, дававшее неопасный толчок при спуске. Теоретически это легко, а на практике трудно соединить полную остановку с первым прикосновением к почве, да еще в желаемой точке. Поэтому при спуске взрывчатого материала тратилось немного более, чем при поднятии, при той же массе ракеты. Обыкновенно спускались в горное, довольно обширное озеро, лежащее поблизости мест подъема. Оттуда уже немудрено ее было причалить к берегам и доставить на место.

Контингент рабочих оставался почти неизменным, так как начинались только первые опыты устройства колоний, да и работа была очень легкая и чистая. Сплавление частей, или сваривание, было быстро, безопасно и аккуратно и производилось теплотой солнечных лучей, сосредоточенных в фокусе параболического зеркала.

Первая оранжерея была готова через двадцать дней. Это была длинная труба по образцу описанной оранжереи. Длина ее достигала тысячи метров, а ширина имела десять метров. Она предназначалась для жизни и питания ста человек. На каждого приходилось сто квадратных метров продольного сечения цилиндра или сто квадратных метров поверхности, непрерывно (не считая затмения) освещаемой нормальными солнечными лучами. Передняя часть, обращенная всегда к Солнцу, была прозрачна на треть окружности. Задняя, металлическая, непрозрачная, — с крохотными окошечками. Прозрачная часть благодаря вплавленной в нее необычайно крепкой и блестящей, как серебро, проволочной сетке могла выдерживать совершенно безопасно давление дыхательной газовой среды и очень сильные удары. Непрозрачная была еще прочнее. Температура в трубе регулировалась снаружи и внутри и изме-

нялась по желанию от двухсот градусов холода до ста градусов тепла по Цельсию. Главное основание для этого: перемена в лучеиспускательной силе наружной оболочки цилиндра. Непрозрачная его часть была черной, но имела другую оболочку, створчатую, блестящую снаружи и внутри, то есть с обеих сторон. Если она надвигалась на черную оболочку, то потеря теплоты лучеиспусканием двумя третями поверхности цилиндра почти прекращалась, между тем как поток солнечных лучей затоплял оранжерею, и температура ее доходила до ста градусов. Обратное было, когда вторая, серебряная оболочка скатывалась, собираясь, как штора; тогда снаружи оказывалась черная металлическая оболочка, которая обильно лучеиспускала в звездное пространство, и температура оранжереи понижалась. Она еще больше понижалась, когда блестящая металлическая оболочка захватывала снаружи стекла и прекращала доступ солнечной теплоты. Тогда уже температура понижалась до двухсот градусов ниже нуля. Она еще больше падала или повышалась, когда совместно работала третья, внутренняя поверхность. Вспомните сосуды Дьюара, в которых хорошо сохраняется горячее и холодное, и вы найдете еще подтверждение сказанному. Центр цилиндра, собственно его ось, была занята трубой с почвой; в этой почве были заложены еще две трубы, которые доставляли непрерывно почве воздух, удобрение и влагу. В бесчисленные отверстия почвенной трубы были посажены семена и ростки плодовитых фруктов и овощей. Цилиндр был разгорожен вдоль (по оси) на два полуцилиндрических отделения серебристой сеткой. Передняя, наиболее светлая половина была только отчасти затемнена выущимся перед окнами виноградом и другими плодовыми растениями. Она служила для всех без различия пола и возраста. Другая половина была затенена толстым слоем богатой растительности. В ней были редкие окна, из которых можно было видеть только черное звездное небо, Луну и Землю, дававшую свет в тысячу раз сильнее лунного. К этим редким окнам, то есть к чисто металлической части оранжереи, прилегал ряд номеров, или отдельных камер. Число их было двести. Сто камер полагалось для семейных. Далее пятьдесят камер для холостых и вдовцов и, наконец, пятьдесят

камер для незамужних и вдов. Каждому семейству полагалось не менее двух камер рядом. В одной помещался муж, в другой, соседней,— мать с детьми. Для одиноких полагалось по одной камере, но так как число их было в два раза больше, чем нужно, то камеры одиноких разделялись, обыкновенно, незанятыми, пустыми камерами.

Далее был ряд помещений для семейных, потом ряд номеров для девушек и, наконец, для юношей. Между этими номерами и огромной залой было еще шесть длинных зал. Против семейных было три залы: одна для собрания женатых, другая — для собрания и деятельности замужних женщин и детей, третья — для общих собраний жен и мужей. Также и против номеров одиночек были три длинные залы: две — для собраний по отдельности юношей и девушек, посредине же была зала для их совместного собрания.

Никогда не ржавеющие поперечные, продольные блестящие сетки были сплошь закрыты густой массой зелени, цветов и зреющих плодов. Аромат наполнял индивидуальные и общие камеры. Что может быть прекраснее этих комнат, стены которых состояли из зелени, украшенной цветами и плодами! Сквозь них едва пробивались тонкие стрелы золотых лучей Солнца.

Кроме детских, ни одна камера не была проходной, камера имела одну дверь, которая запиралась по желанию. Двери, например, из комнат девушек выходили в залу общего собрания для девушек, оттуда — в залу общего собрания девушек и юношей и оттуда, наконец, — в залу общего собрания всех обитателей оранжереи. Приспособления для работ помещались главным образом в общих собраниях, но иногда по желанию перемещались в камеры.

Картина залы общего собрания такая: если стать на зеленой перегородке, считая ее полом, то Солнце кажется над головой и нет тени. Его действие было бы невыносимым, если бы не особый слой растений, защищающий жгучесть его лучей. В этом положении мы видим грандиозную залу со сводчатым стеклянным потолком и плоским зеленым полом. Но мы не утопаем в нем, так как тяжести нет, но и проникнуть через него не можем: этому мешает крепкая серебристая сетка.

Ширина залы десять метров, высота пять, длина тысяча метров. Для сотни человек это целая пустыня: роскошь, которую трудно себе вообразить. Если даже одновременно все сто обитателей появятся в зале, то и тогда на каждого придется около четыреста кубических метров пространства! Правда, часть занята растениями, но небольшая. Окружность цилиндра около тридцати метров. Свод, значит, занимает пятнадцать метров. Прозрачная его часть — десять метров; она не доходит до зеленого ковра на два с половиной метра. Число камер гораздо больше, чем нужно. Представим же одну из них. Она имеет два с половиной метра высоты, девять метров длины и пять метров ширины. Если стать в такой камере ногами к Солнцу, вдоль потока его лучей, то увидим над головой сводчатый непрозрачный потолок с маленькими оконцами, через которые большей частью косвенно струятся лучи Земли. Этот свет вполне достаточен для чтения. Шесть частных зал имеют одни размеры. Каждая в высоту два с половиной метра, в длину — сто шестьдесят семь метров и в ширину — десять метров. Можно, конечно, стать так, что высота окажется сто шестьдесят семь метров. Эти представления о высоте, ширине и длине меняются в зависимости от положения наблюдателя. Придавая слабое вращение такой оранжерее вокруг поперечной оси, делали ее положение постоянным по отношению к Солнцу, так как плоскость вращения имеет способность сохраняться неизменной по направлению. Полученная от вращения тяжесть почти не имела никакого влияния на свободу движений и даже не замечалась; но на концах оранжерей, где она имела наибольшую величину и где помещались уборные и ванные, она приносила некоторую пользу: распределяла воду в соудах и помогала совершать отправления.

Надо еще упомянуть о весьма важном органе оранжереи — регуляторе сырости или влажности. Растения под влиянием жгучих лучей Солнца непрерывно испаряют массу воды и быстро иссушают почву. Так что, кажется, должна в оранжерее получиться страшная сырость. Но этого нет. Степень влажности зависит от желания людей. Снаружи, в тени, вдоль оранжереи идет особая черная металлическая труба — холодильник; в нее непрерывно нагнетается воздух, где он и выделя-

ет из себя ожигенные пары воды, в зависимости от температуры трубы. Температуру же эту, как мы объяснили, можно изменять — по крайней мере понижать — чуть не до двухсот градусов ниже нуля. Конечно, в такой низкой температуре холодильника нет никакой надобности: довольно очень незначительной степени холода. И то после нагревания в оранжерее получается очень сухой воздух. Полученная от сгущения пара вода струей воздуха или от вращения оранжереи скапливается на ее концах в уборных и ваннах, где окончательно очищается и служит для омовений. Затем она поступает в почвенную трубу для удобрения и увлажнения почвы.

За неимением тяжести воздух в оранжерее не циркулирует, хотя температура неодинаково затененных частей оранжереи далеко не равномерна. Центробежная сила производит токи, но чересчур слабые по ее незначительной величине. Поэтому и ради очищения дыхательной среды от пыли, листьев, плодов и случайных предметов воздух особыми вентиляторами приводится в движение и превосходно очищается. Но можно ограничиться и токами, ведущими в холодильник.

Строители соединяли несколько оранжерей в виде звезды и других фигур, придавая им легкое вращение, чтобы прозрачная половина строений всегда была обращена к нормальным солнечным лучам.

Но оставим наших зодчих созидать эти заатмосферные жилища и населять их людьми, и сами возвратимся к исследователям небес, кружящим сейчас со скоростью одного километра в секунду по орбите Луны. Переселенцев же навестим, когда их наберется достаточно в настроенных для них домах.

41. *Путешествие с лунной орбиты к Луне*

Мы оставили наших ученых на орбите Луны в расстоянии трехсот шестидесяти тысяч километров от Земли. Вы помните, что они решили полет на Луну? Но на новом собрании план полета был радикально изменен. Чтобы сэкономить взрывчатое вещество и не подвергать риску оранжерю, которая была главным источником их питания, положили отправиться на Луну толь-

ко вдвоем, в особой ракете, для того приспособленной. Зачем громадный объем, прочность и масса, если полетят только двое и если сила взрываия может быть в тысячи раз меньше! Потом маленькая ракета должна быть приспособлена к движению на лунной почве и к полету через ущелья, горы, цирки и вулканы. Первое достигается прибавлением в ракете колес, вращающихся запасенной энергией, так как, будучи на Луне, на солнечную энергию нельзя вполне рассчитывать; второе — особым расположением придаточных взрывных труб, уничтожающих слабую на Луне тяжесть ракеты. Крылья бы не помогли, так как газовая оболочка нашего спутника едва ли существует.

Покамест вдали от ученых устраивали колонии, они спроектировали и осуществили новый экипаж для Луны. Страстно пожелал лететь на Луну один инженер по имени Норденшельд. С ним хотел отправиться Иванов. На этом и порешило общество.

Было трогательное прощание и проводы, а главное, все запасы, машины и их действие были строго проверены. Целой толпой, в скафандрах, провожали малую ракету, пока скорость ее не стала взрыванием увеличиваться; тогда пришлось отстать; ракета скоро исчезла из виду, и коренные жители должны были вернуться домой.

Взрывание было направлено в сторону движения малой ракеты, так что вскоре скорость удвоилась и дошла до двух километров в секунду. Относительная тяжесть была очень незначительна, поэтому не было надобности погружаться в жидкость. Все-таки из экономии времени ее сделали под конец взрывания равной земной. Как приятно было невольное напряжение мускулов при стоянии, при поднятии рук. Лица бледнели с непривычки, руки и ноги наливались кровью. Оба до такой степени отвыкли от тяжести, до того избаловались, что перемена очень скоро стала вызывать гримасы недовольства и нетерпения. Когда через сто секунд явление прекратилось, то они вздохнули с облегчением и не выразили желания снова возвратиться в среду тяжести. Напротив, они распластались в небольшом пространстве ракеты, как люди, погрузившиеся в пуховики после тяжких трудов. Видимый диаметр Луны заметно увеличивался. Относительная скорость была

один километр, но она увеличивалась непрерывно действием Луны. Однако ее притяжение не могло дать прибавку скорости более двух километров в секунду. Первоначальное расстояние до Луны, считая по ее орбите, составляло около одного миллиона двухсот тысяч километров. Через семь дней это расстояние уменьшилось почти наполовину. Если теперь не уменьшать скорость взрыванием, то ракета будет удаляться от Луны и совсем от нее уйдет. Поэтому скорость стали замедлять взрыванием в обратную сторону. Таким образом, понемногу путь ракеты исправлялся, и она снова приблизилась к лунной орбите. Тогда взрывание прекратили и относительная тяжесть исчезла.

Дней через пять Луна была уже на расстоянии двухсот тысяч километров и казалась в два раза больше, чем с Земли. Но расстояние уменьшалось, а кажущийся диаметр Луны увеличивался, что подтверждало приближение. На Луну они уже ранее нагляделись и были к ней когда-то даже ближе, чем теперь; так что ее рост пока не особенно их занимал, но все же они с трепетом на нее посматривали, зная, что через несколько часов они будут на ее поверхности.

Кто знает!.. Может быть, если не сумеют изловчиться при спуске, им придется расшибиться о ее поверхность.

— Не пора ли замедлять скорость? — спросил тревожно швед, не отрывая глаз от спутника Земли.

— Нет, — ответил Иванов. — Подождем, пока относительная скорость ракеты под влиянием лунного притяжения не дойдет до двух километров в секунду.

Времени еще оставалось много. Они часто закусывали и наперебой угощали друг друга, нервно посматривая по сторонам. Ослепляло, по обыкновению, Солнце, светила громадная Земля, показывая на себе хорошо приглядевшиеся узоры материков, морей, озер. Виднелось всюду черное небо с точкообразными, как бы мертвыми, звездами и немногими планетами. Но все более и более приковывала взоры Луна. Ее кажущийся размер уже сравнялся с размерами Земли. Затем он стал превосходить Землю — последняя стущевалась.

Через сутки Луна как-то стала особенно расти, увеличиваясь не по часам даже, а по минутам...

— Страшно! — воскликнул невольно швед, с ужасом смотря на непомерно распухшую Луну.

С поразительной отчетливостью стали вырисовываться ее моря, цирки, кратеры, ущелья, ослепительный блеск каких-то линий и точек. Карта Луны была перед ними в преображенном, волшебном, живом виде. Показываются области, долины и горы, никогда не виденные с Земли ни в один телескоп. Путешественники смотрели на Луну сбоку, и потому открылась половина задней ее части.

— Не пора ли тормозить ракету взрыванием? — спросил опять, не сдерживая волнения, швед.

— Да! Пожалуй что начнем через несколько минут!..

Луна была на расстоянии двух тысяч километров и была видна под углом в пятьдесят градусов, то есть занимала седьмую часть окружности неба и стала настоящим страшилищем уже для обоих. Ее диаметр был в сто раз больше обычновенного.

Начали замедляющее взрывание. Оба вновь почувствовали тяжесть, но гораздо меньшую земной. Сели на пол. Под ногами виднелась громадная Луна в виде опрокинутого узорного зонтика, составляющего часть небесной сферы.

— Через полчаса мы прибудем на Луну, — сказал Иванов.

Светлый зонтик под ногами разрастался и занимал чуть не половину неба. Сердца обоих бились тревожно. Горы, долины, скалы, кратеры были видны так ясно и близко, как земной ландшафт. Казалось, несколько километров отделяют Луну от путешественников. Да оно так и было — контрвзрывание сильно возросло, ракета шла все тише.

— Ракета стоит, — сказал русский, рассматривая в угломерный прибор Луну.

Направление взрывания опять изменили; ракета двинулась вперед ускоренно; относительная тяжесть изменила свое направление, так что Луна моментально оказалась над головой. До простиравшихся над ними долин и гор осталось всего два-три километра. Странно было явление относительной тяжести. Она была противоположна лунной. Так что Луна казалась где-то в высоте, как потолок.

Иллюзия была поразительной, и Норденшельд все бормотал:

— Как же по этому потолку мы будем ходить? За что там прицепимся?

— Успокойтесь! Все хорошо,— отвечал Иванов.

Ракета приобрела сто метров скорости по направлению к Луне. Итак, оставалось всего около двух с половиной километров. Теперь давление газов сделали равным лунному притяжению. Ракета по инерции шла равномерно, со скоростью около ста метров в секунду. Относительная тяжесть опять исчезла, и Луна казалась то там, то сям, смотря по направлению тел путешественников. Через двадцать секунд всего оставалось только пятьсот метров расстояния. Контрвзрывание опять пустили в ход. Тяжесть опять изменила направление, и Луна уже оказалась внизу. По истечении еще десяти секунд наши герои с едва заметным толчком опустились на почву. Произошло это так. Ракета еле двигалась, вот они почти касаются почвы, которая довольно быстро ползет под ногами. Ракете придали горизонтальное положение: она повернулась и стала своими четырьмя колесами на Луну, как падающая кошка на лапы, прокатилась несколько десятков метров по долине и остановилась.

42. На горах и в долинах Луны

Ракета стояла. Путешественники как бы находились в оцепенении. Была мертвая тишина. Казалось, что они только пробудились от сна или очнулись от обморока. Наконец русский встал, потянулся и сказал:

— Мы на Луне; тяжесть тут в шесть раз меньше, чем на Земле. Не правда ли, как это чувствуется,— продолжал русский, помахивая руками и двигая всеми членами.

Их не удивляла ужс тяжесть, так как при взрываниях они часто ее испытывали. Но была разница между истинной тяжестью от тяготения масс и тяжестью относительной. При ускоренном движении ракеты или равномерном его замедлении образовывалась относительная тяжесть всякой величины, в зависимости от силы взрывания. Но так как последнее не могло быть вполне постоянно по силе и направлению, то эта отно-

сительная тяжесть сопровождалась некоторой тряской, как при езде по очень хорошей дороге. Когда же относительная тяжесть получалась вращением, то не чувствовалось ни малейшей тряски и колебания. Тогда при обыкновенном, сравнительно не быстром движении предметов и людей на вращающемся теле эта относительная тяжесть ничем не отличалась от тяготения, если не считать легкого головокружения, которому подвержены некоторые люди при качании или вращении; большинство же их ничего не испытывает, особенно при большом радиусе вращения. При быстром же самостоятельном движении людей искусственная тяжесть, полученная от центробежной силы, оказывается очень интересными явлениями, которые мы, если будет случай, потом опишем. Теперь же они испытали в полной мере то, что привыкли испытывать на Земле. И это им было так отрадно, как если бы вдруг пронесся запах чего-то напоминающего былые дальние ощущения детства или юности.

— Что-то холодно, — сказал швед.

— Да, пробирает!

В окна глядела ночь. Почвы почти не было видно. Небесный свод простирался кругом. Свод — черный, с бесчисленным множеством немигающих звезд. Земли, то есть месяца, не было видно. Чувствовалась беспомощность, грусть и даже страх. На горизонте неясно обрисовывались темные зубчатые массы. Выше их — неисчислимая серебряная россыпь звезд.

— А ведь мы находимся на неведомой людям половине Луны, где никогда не светил месяц, то есть наша Земля, — пояснил Иванов.

— Да! — подтвердил швед. — Но здесь светит, конечно Солнце, и мы его дождемся.

— Разумеется! И тогда увидим местность, никем еще не виденную с Земли.

— Но скоро ли восход? Мы замерзнем, если эта ночь продолжится несколько часов, — заметил швед.

— Солнце должно скоро появиться, — ответил русский. — Вон видите в той стороне что-то на горизонте как будто светлеет? Это утренняя заря.

— Как — заря? — удивился швед. — На Луне нет атмосферы, значит, не может быть и зари.

— Может быть, редкая атмосфера и есть, но не она производит этот свет на востоке. Горы, освещенные солнцем, отражают свой свет на не освещенные еще вершины. Эти — распределяют свет дальше и т. д. Так и получается особая лунная заря, очень слабая и не похожая на земную.

— Смотрите, как усилился свет зари пока мы говорили, — заметил швед, невольно поглядев в окно. — А все-таки страшно холодно... Не пустить ли в действие электрическую печь?

— Ну что ж! Поверните кнопку, — сказал русский... — Это еще ничего, — продолжал он. — Холод проникает к нам очень медленно благодаря окружающей пустоте и блестящей двойной поверхности ракеты. Она великолепно отражает лучи тепла и не выпускает их из ракеты ни в звездное пространство, ни на лунную почву.

— Погодите!.. Что это там блестит на востоке! — воскликнул швед.

— Осветилась вершина горы непосредственным солнечным светом, — спокойно ответил русский.

— Значит, сейчас появится и Солнце?

— Ну, нет! Вы забыли, что сутки на Луне в тридцать раз дольше, чем на Земле. Во столько же раз медленнее и восход.

— Да, да! Я совершенно это упустил из виду: если мы на экваторе Луны, то восход будет продолжаться ровно шестьдесят минут.

— Совершенно верно, — подтвердил Иванов, — так как на земном экваторе восход продолжается две минуты.

Стало теплее от пущенной в ход печи; настроение стало благодушнее. Вон засветилась другая вершина, вон две зараз... вон еще несколько... Можно было кругом уже кое-что различать.

Огней при спуске на Луну не зажигали, хотя и пробовали зажечь, но окружающий мрак стал еще ужаснее, и их поэтому потушили — все-таки из темноты были видны родные узоры созвездий: та же Медведица, тот же Орион со своим ярким Сириусом, тот же Млечный путь тянулся от одного края неба к другому. Это ободряло и давало возможность хоть что-нибудь видеть. К черному же своду они давно привыкли.

Час прошел незаметно в рассматривании восхода и наблюдении вспыхивающих вершин. Каких-нибудь два часа провели без Солнца, а как это было мучительно! Первые лучи его были встречены восторженно. Они были ослепительны. Все большая и большая часть солнечного круга выдвигалась. Но он не имел красного сконфуженного вида, не мог быть назван «красным солнышком». Нет! Это было яркое синеватое Солнце, вдвое сильнейшее, чем земное экваториальное, стоящее над головой. Осветились все громады гор, долины, скалы, камни. Стало виднее. Ракета стояла боком к лучам Солнца, но нагревалась слабо благодаря своей блестящей поверхности.

— Сейчас будет тепло и без печи,— заметил русский.— Поверните, пожалуйста, вон ту рукоятку, чтобы часть ракеты, обращенная к Солнцу, закрылась черной поверхностью.

— Готово! — сказал швед.

Не прошло и нескольких минут, как стало невыносимо жарко.

— Однако,— сказал швед,— разве я не потушил электрическую печь? Нет, печь потушена.

— Я совершенно запарился,— сказал Иванов и повернул рукоять в обратную сторону, так что поверхность, обращенная к Солнцу, стала полосатой: одни полосы — черные, как сажа, другие — светлые, как серебро. Стало холоднее. Рукоятку передвигали назад и вперед, пока не получилась желаемая температура, именно около тридцати градусов Цельсия.

— Теперь в самый раз,— с удовольствием произнес швед.— Но что же мы далее будем делать?

— Мы можем выйти,— ответил Иванов,— расправить члены движением, которое тут необычно, осмотреть окрестности, а потом обхехать Луну в ракете, которая может заменить экипаж, катясь на своих колесах. Через рвы, кратеры и горы можем перелетать, употребляя взрывания и уравновешивая ими ничтожную лунную тяжесть.

— Отлично! — согласился швед.— А как же воздух? Здесь как будто незаметно атмосферы. Затем холод. Ведь перед этим была длинная ночь... Почва должна страшно остыть.

— Да, почва имеет теперь около двухсот пятидесяти градусов холода, так как Солнце еще не успело ее прогреть,— заметил русский.— Но все это ничего: было хуже, когда под ногами ничего не было и ничего не защищало от лучеиспускания. Почва как она ни холодна, все-таки дает теплоты больше, чем открытое звездное пространство, которое эту теплоту страшно сосет из всякого тела.

— Как же касаться такой холодной почвы, т. е.ходить по ней?

— Наденем скафандры, запасемся кислородом, потом — особые калоши, подошвы которых почти не пропускают теплоты. Жаркое Солнце будет нас так же успешно согревать, как и ракету. Вот полосатая одежда, которая поглощает солнечной теплоты сколько нужно... даже немного более.

— А если подождать, пока лучи светила не прогреют почву? — возразил швед.

— Много упустим времени: чересчур холодна почва и не скоро согреется.

Решили вылезти из ракеты. Надели скафандры, подвязали сандалии. Сначала вышел в узкий футляр или шкаф швед; затворил за собой внутреннюю дверь, вышел в наружную и герметически ее захлопнул. То же сделал и русский. Оба оказались на почве Луны; возле них, на своих колесах, покоилась ракета. Так как она не предназначалась к рассечению воздуха, то имела вид эллипсоида, длина которого была только в три раза больше высоты. Она напоминала старомодную очень оригинальную карету.

Все кругом блестало и сверкало под лучами Солнца. Вдали выселились громады гор. Они стояли на довольно ровной и гладкой равнине, носящей у людей название моря. Солнце их согревало; они не чувствовали холода почвы. В задумчивости стояли они несколько минут, оглядываясь по сторонам. Поворачиваться приходилось поневоле, так как в противном случае одному боку становилось жарко, а другому, затененному,— холодно.

Созерцание оригинальных, невиданных красот, легкость тела, яркое, теплое Солнце привело их понемногу в восторженное состояние. Русский потер руки, приложил их к груди и задрожал от радости. Швед под-

прыгнул в восхищении и поднялся на высоту четырех метров. Летел он туда и обратно целых три секунды. Русский побежал, делая громадные прыжки — в три метра высоты и двенадцать метров длины. При разбеге длина шагов еще увеличивалась, и он уже перепрыгивал трещины и рвы в двадцать четыре и более метров ширины. Оба подымали попадающиеся им на пути камни, и они им казались по тяжести деревянными или пустыми. Шестипудовый гранит весил тут только один пуд. Брошенные кверху камни подымались в шесть раз выше, чем на Земле, и прилетали обратно очень нескоро, так что скучно было ждать. Летели они в шесть раз дольше, чем на Земле. В горизонтальном направлении их путь тоже был сравнительно с земным в шесть раз больше и продолжительнее. Солнце поднималось все выше, но очень медленно. Тени были очень резки, но не вполне черны, так как освещались окружающими освещенными горами и холмами. В тени нельзя было побывать более нескольких минут, ибо стоящий в тени лишался солнечных лучей, то есть притока тепла: он только терял его и потому быстро остывал и спешно выскакивал с громадным удовлетворением на солнце. Оба путешественника легко перескакивали друг через друга; также без усилия поднимали один другого. Прыгая кверху, они изловчились переворачиваться несколько раз во время полета. Иногда при этом не становились на ноги и слегка ушибались о почву. Их увлекали гимнастика, беготня, акробатические шутки, как детей, и они недостаточно обращали внимание на другое.

Но вот надоело развиваться и играть. Русский нагнулся и поскоблил ногой почву. Она была покрыта нетолстым налетом пыли; под ней же было что-то твердое, вроде гранита. В других местах слой пыли был толще; попадались наносы, и значительной толщины; некоторые были мягкие, другие слежались и были плотнее, а иные и совсем тверды.

Особый термометр из металлического стержня показал в глубине наноса около двухсот пятидесяти градусов холода. Сверху нанос уже чуть нагрелся от солнечных лучей. Места повыше были обнаженные гранитные массы. На каждом шагу попадались камни, кававшиеся очень легкими. Вдали были во множестве

рассеяны крупные гранитные глыбы. Виднелось множество скал, а еще дальше — холмы и горы. Они казались очень близкими и малыми. Всюду попадались трещины, особенно на обнаженных гранитах: много узких едва заметных; за узкими следовали широкие, доходившие до нескольких метров ширины. Попадались и ущелья. В наносах виднелось множество кругловатых дыр больших и малых.

Наши приятели бегали в разных направлениях, рассматривая то одно, то другое и прыгая без усилия через огромные камни и довольно широкие ущелья, они часто сходились, чтобы обменяться впечатлениями. Прямо разговаривать было нельзя вследствие крайнего разрежения атмосферы: приходилось или касаться шлемами или протягивать между ними стальную проволоку. Почва Луны их голоса не передавала, так как подошвы плохо пропускали звук.

— Меня всегда удивляло как здесь, так и в открытом небесном пространстве, — сказал швед, — что мы видим как бы «свод». Воздуха нет! Откуда же свод, хотя бы и черный? Фламмарион отрицает свет на Луне.

— Нет, мне понятна эта иллюзия, — возразил Иванов. — Глаз все громадные расстояния считает одинаковыми. Поэтому звезды, Солнце и Луна представляются нам на одном расстоянии, то есть как бы прикрепленными к шаровой поверхности, центр которой составляем мы. Отсюда иллюзия полушарового свода. На Земле он кажется голубым и приплюснутым сверху, потому что на горизонте более толстый слой атмосферы затемняет звезды и земные предметы. Мы же вообще привыкли предметы считать тем дальше, чем они темнее от затемнения их воздухом. Оттого-то свод на Земле и кажется приплюснутым, чего нет ни в эфире, ни здесь. Тут воздуха нет, нет и затемнения звезд и гор. Вот почему они еще кажутся близкими и игрушечно малыми. Нечто подобное, хотя и в меньшей степени, наблюдается на очень высоких земных горах: там тоже все кажется ближе и меньше, чем внизу.

Когда путешественники смотрели в сторону Солнца, то звезд замечалось меньше, вследствие сужения зрачка влиянием косвенного солнечного света, так же, когда перед ними сверкали освещенные склоны гор. Напротив, из низких мест, из которых было мало вид-

но освещенных поверхностей, из теневых мест, в особенности из ям и ущелий, видно было так же много звезд, как ночью.

Солнце подымалось очень медленно, проходя каждый час только свой диаметр. Чтобы достигнуть зенита, оно должно употребить сто восемьдесят часов. Тени были еще громадны. Отходить далеко от ракеты было небезопасно. В глубоких кратерах должна быть тень, и без лучей Солнца было бы очень холодно. Затрачивать же тепловую энергию нашим друзьям не хотелось.

Попробовали пока спуститься в одно из ущелий. Края были заметны, в глубине же виднелась бесконечная черная бездна. Нашли сбоку пологий ход. Начали спускаться. Когда же мрак стал поглощать их и над головой засветились бесчисленные точки звезд, зажгли яркую электрическую лампу. Рефлектор осветил стены. Они были кое-где испещрены какими-то иероглифами. Стены были теплы: термометр уже на глубине пяти — десяти метров показывал около двадцати градусов Цельсия. Русский пощупал гранитную породу и заметил, что камень похож на наш письменный, или европейский гранит, мало содержащий слюды. Спустились ниже; температура почти не изменялась, и было совсем тепло. На глубине более ста метров стены стали еще гладже и блестели все более по мере спуска. Швед поскоблил особенно блестевшую часть и воскликнул:

— А ведь это металл! Смотри, как блестит!

— Недостаток кислорода не мог окислить лунную кору на большую глубину, — отозвался русский. — Она дала граниты с поверхности, внутренняя же масса Луны содержит легкие металлы или сплавы. Трещина эта, в которой мы сейчас находимся, очевидно, образовалась после исчезновения или, вернее, поглощения атмосферы лунной массой.

Откололи на разных глубинах образчики пород и металлов и поднялись на поверхность с глубины тысячи метров. Как спуск, так и восхождение не могли никакого затруднить. Четырехпудовый швед чувствовал в себе только двадцать семь фунтов, а русский, весивший меньше, — только двадцать четыре фунта. Также и пудовой их груз минералов и металлов составлял всего шесть фунтов. Не было в ущелье ни сырости, ни влаж-

ности; да они бы их и не почувствовали, так как дышали искусственным составом, который хранился за их спиной.

Надо было отдохнуть, подкрепиться пищей, и наши друзья со своим драгоценным грузом заключились в ракету. Отдохнув, поев и еще отдохнув, облеклись в скафандры и прежним порядком вышли наружу.

Когда есть земная тяжесть, то движения хотя и утомительны, но более свободны, чем в эфирном неограниченном пространстве. Это движение можно каждую секунду изменять. Здесь же есть не только свобода, но и отсутствие утомления благодаря малой тяжести. Только скафандры стесняют немного. Зато какой новый мир! Сколько разнообразия и неожиданных открытий! Понятно, что наши путешественники не только чувствовали себя хорошо оттого, что погрузились в нечто родное, подобное Земле, но и оттого, что к этому примешивались удовлетворение первых исследователей Луны, любознательность ученых и простое любопытство.

Солнце поднялось еще выше, градусов на двадцать; тени стали короче, почва теплее. Слоны, перпендикулярные к лучам Солнца, совсем стали теплы. Побежали к ближайшему холму. Поднялись на вершину и должны были остановиться перед пропастью. Они были перед остывшим кратером. Там еще сгущался мрак, и дно трудно было разглядеть, но в центре темного круга блистала какая-то точка, должно быть, вершина горы, освещенная Солнцем. Спускаться в самый кратер не решились. Побежали кругом. Некоторые места спускались полого наружу или внутрь, другие — обрывисто. Тут были обвалы, и внизу виднелись нагромождения скал, их обломков, камней, щебня. Вообще же крутизна ко внутренности кратера преобладала. Красивые столбы базальта попадались довольно часто. Возвращались, собрав коллекцию порфиров, базальтов, трахитов, лав, сиенитов, роговых обманок, полевых шпатов.

— Что это мне представляется, будто что-то мелькает у трещин и скрывается? — сказал русский.

— И я тоже заметил, — подтвердил швед.

Стали смотреть внимательнее на трещины и дыры. Все чаще и чаще появлялось это мелькание; вдали про-

бегали какие-то тени и поспешно прятались. То тот, то другой быстро бегал по направлению этих видений, но они бесследно исчезали при их приближении. Наконец швед схватился за бинокль и приложил его к плоским стеклам шлема.

— Да это что-то живое! — воскликнул он. — Вон бежит по полю... спряталось в норку.

— Дайте-ка и я погляжу, — обратился к нему Иванов, выхватывая с нетерпением из его рук бинокль. — Смотрите, смотрите... Они зеленые... на спине какие-то веточки... ну, право, похожи на движущиеся кустики... Надо словить эти существа.

Но пока им не удалось это сделать: проворные животные быстро скрывались при их приближении. По мере согревания почвы их становилось все больше и больше. Одни неподвижно грелись на солнце, другие перебегали площадки между норами. Они были разных форм и очень разных размеров и цветов: больше всего зеленых, затем красных, желтых, оранжевых и черных. Были и разноцветные. Какие-то точки стеклянным блеском сверкали и на поверхности их тел. Самые маленькие копались в пыли и как будто глотали ее; те что побольше — гонялись за маленькими, возились с ними, утаскивали в свои норки и, может быть, пожирали.

— Температура на Луне, — сказал Иванов, — теоретически должна изменяться от двухсот пятидесяти градусов холода до ста пятидесяти градусов тепла. Понятно, что растения при таких кошмарных условиях не могут существовать на почве Луны. Я уже не говорю про отсутствие достаточной влаги и достаточно плотной атмосферы.

— Конечно, так, — согласился швед. — Но вы подразумеваете обычные неподвижные растения, каковые на Земле. Если бы растения приобрели некоторый разум или хоть инстинкт и способность двигаться, то они могли бы жить и на Луне. Отрицать такую способность у растений мы не можем на основании всем известных фактов, например, о насекомоядных растениях Земли. Когда очень холодно, никто не мешал бы им тогда прятаться в глубокие ущелья, где температура средняя, то есть на экваторе около двадцати двух градусов тепла по Цельсию, а в высших широтах — меньше. Когда

очень жарко, то есть в конце длинного дня, опять спасителями их могли бы быть глубокие лунные трещины.

— Я ни разу не видел тут обычных растений с корнями. Неподвижность, разумеется, убила бы их при страшном контрасте температур,— заметил Иванов.— Если бы такие растения прятались в глубоких ущельях, то опять-таки погибли бы от недостатка солнечного света.

— Я тоже пока не заметил растений, подобных земным.— Эти же движущиеся растения, мне кажется,— сказал швед,— подобны морским существам с зеленью хлорофилла. Иные из них, самые малые и микроскопические, живут исключительно солнцем, как растения, другие — покрупнее — и солнцем, и поеданием более мелких созданий. Здесь совершается то же самое, что и в земных океанах, лишь нет воды и растворенных в ней веществ.

— Но здесь есть пыль, содержащая кислород, углерод, водород и многие другие элементы, необходимые для живого мира и поедаемые ими. Солнце превращает их в воду и разные сложные тела, из которых состоит живой мир.

— Мало же проницаемый для газов покров их тела предохраняет их от высушивания,— заметил русский.— Энергия дается им солнечными лучами или поглощением других животных, а чаще и тем и другим; благодаря ей они движутся и немного мыслят.

— Их хлорофилл действием солнечных лучей разлагает углекислые и другие несложные соединения на углерод, кислород и т. п., которые, соединяясь, дают все сложные ткани тела,— добавил швед.— Ткани же тела, разлагаясь при работе мускульной и умственной, дают простые соединения, подлежащие отбросу у наших животных; у этих же существ они не отбрасываются, а снова перерабатываются в земных придатках тела силой солнечных лучей в ткани и т. д. Выходит, что животное по сформировании может не питаться, то есть не брать извне никаких веществ — ни органических, ни минеральных. Рассуждать на эту тему нет времени, делать опыты — тем более. Надо ехать кругом Луны, подняться с нее и соединиться с нашими друзьями до истощения запасов. Там же оранжерея предста-

вляет неистощимый запас. Не есть же нам здешних существ, можно отравиться, да и ловить мы их не умеем.

— Я думаю, — сказал русский, — что надо ехать не внутри ракеты, а на ее верхней площадке, имеющей для этой цели перильца, сиденья и поднимающийся легкий навес. Ехать интереснее к востоку навстречу Солнцу по неведомой половине Луны: во-первых, будем встречать все более и более нагретую почву и соответственно этому более пробудившуюся жизнь; во-вторых, скорее пройдет долгий лунный день, наступит закат, когда можно наблюдать еще особые интересные явления.

— Да, да, — сказал русский, — отдохнем, да и в путь-дорогу... Понаберем еще минералов: пополним коллекцию...

Через несколько часов они уже, преспокойно развалившись в креслах верхней площадки ракеты, мчались к восходу почти по экватору планеты со скоростью от десяти до ста километров в час, в зависимости от состояния пути. Мчались, конечно, долинами, плоскогорьями, оставляя в стороне гигантские горы и объезжая даже небольшие кратеры и холмы. Приходилось описывать довольно сложную линию, и Солнце светило им то в один бок, то в другой и даже в спину. Но скафандры защищали их от убийственного действия солнечных лучей. Колеса быстро вертелись и направляли их путь то к северу, то к югу. Маленькие трещины переезжали без затруднения, большие перескакивали с разбегу, а величиной в несколько сотен метров (а иногда и в несколько километров) приходилось перелетать, причем оба крепко держались за перила, не забывая управлять механизмами. Еще издалека при виде пропасти пускали в ход взрывные трубы, которые уничтожали слабый вес их экипажа и мчали их с удесятеренной скоростью через рвы, ущелья, небольшие кратеры и горы. Но к этому прибегали редко, так как экономили взрывчатый материал.

От быстрого их движения к востоку Солнце как будто оживилось и быстро поднималось. При часовой скорости в пятнадцать километров движение Солнца по небосклону ускорялось вдвое, то есть оно проходило в час не полградуса, а целый. При ста пяти километрах скорости Солнце проходило уже четыре градуса в

час. Такая скорость давала возможность проехать половину экватора в течение сорока пяти часов.

— Поглядите-ка, — заметил швед. — Солнце стало опускаться к востоку!

— Это потому, что мы сейчас повернули в обратную сторону и мчимся ради обхода той горы к западу.

— Значит, тут можно управлять движением Солнца: заставить его опускаться, подыматься, двигаться быстрее и медленнее, стоять на одном месте, восходить на западе и закатываться на востоке, — сказал швед, посматривая на роскошные ландшафты.

— Совершенно правильно, — отвечал русский. — Причина простая: Луна мала, а скорость движения ее экваториальных точек еще меньше. Они проходят менее четырех метров в секунду или около пятнадцати километров в час. Если двигаться с такой скоростью на экваторе Луны, — но в обратную сторону, — то вращение наше уничтожится и Солнце будет стоять вечно (так нам покажется) на одном месте. Если нас тогда застанет ночь, то будет неизменный мрак, если день — то постоянный свет. При другой самостоятельной скорости можно заставить Солнце двигаться быстрее или медленнее и восходить или заходить неестественно или необычно.

Каждые три-четыре часа приходилось останавливаться, чтобы поесть, отдохнуть и проверить скафандры. Для этого входили в ракету. Отдохнувши, весело высакивали, бегали по окрестностям и собирали образцы горных пород. Драгоценных металлов пока не находили. Останавливались чаще ради чего-нибудь привлекавшего взоры. Иногда по краям громадной десятикилометровой кругой горы позади себя видели нестерпимо блестевшие и сверкавшие обвалы. Громадные камни, скалы и целые горы сваливались с многокилометровой высоты, и не встречая сопротивления воздуха, падали поэтому с ужасной скоростью и дробились на мелкие части. Если это грандиозное падение было недавно и груда не успела засориться наносной пылью, то обвал был свеженький, точно вымытый, блестающий всеми цветами радуги. Лучи солнца, преломляясь в прозрачных кристаллах, давали интересное зрелище. Причина обвалов очень понятна, хотя и нет на Луне плотной атмосферы и обильных вод, которые

своим движением и замерзанием немало способствуют разрушению горных пород на Земле. Здесь главная причина разрушений — огромная разность температуры дня и ночи, достигающая четырехсот градусов Цельсия. Это и производит все более и более глубокие трещины в гладкой сначала горе. Тогда при достаточной крутизне происходит первый обвал; за ним по той же причине другой и т. д.

Когда по краям гор образуются довольно толстые нагромождения, то они уже препятствуют дальнейшему растрескиванию каменной почвы, да и крутизна гор настолько уменьшается, что растрескивающиеся вершины остаются на месте. Многие горы на Луне уже достигли этого состояния и мало теперь разрушаются и понижаются. Однако осталось еще множество цирков, на которых это разваливание продолжается. Наши приятели уже не раз чувствовали как бы землетрясения от грандиозных обвалов, а иногда и видели их; но звук глухо доходил до них и только через почву, так как он плохо распространялся в атмосфере ввиду ее малой плотности.

Блистало синеватое Солнце, скрытое от них ракетным навесом, но не мешало им видеть черный полу-сферический свод, усеянный знакомыми созвездиями. Только свет, отраженный от гор, уменьшал число видимых, немигающих здесь звезд. Кругом была мертвая тишина, если не считать шума ракетных моторов, который передавался через стенки и сиденья их телам. Нигде не было видно ни облачка, ни деревца, ни травки; только кругом что-то зеленое быстро мелькало и скрывалось, пугаемое движением и шумом ракеты. Это были лунные животно-растения. Ужасно печалило взор отсутствие лесов, зеленых лугов, озер, рек, снегов и воздушной лазури.

— Смотрите-ка, — сказал русский, — что это нам на-встречу движется? Как будто какая-то зеленая туча!.. Вон там, где виднеется самая высокая скала.

— Вижу, вижу! Это, вероятно, стадо здешних животных.

Швед поднес к глазам бинокль и действительно увидел множество прыгающих и напоминающих кенгуру животных, быстро бегущих к западу.

Поглядел в бинокль и Иванов, но животные, испугавшись ракеты, стремительно кинулись в сторону и исчезли за соседней горой.

После наши путешественники много раз видели тоже и решили, что не все лунные существа скрываются от холода в ущельях и трещинах, но многие, наиболее крупные и сильные, пользуются вечным днем и теплотой Солнца и почвы, гоняясь за дневным светилом и проводя всю жизнь в движении. По дороге они пожирают попадающихся им навстречу более слабых животных. Их движение к западу, чтобы никогда не упускать Солнца, должно быть близко к четырнадцати километрам в час. При слабом лунном притяжении это непрерывное и умеренное движение вполне возможно и даже легко.

При остановках, шагая по обвалам крутых и даже отвесных гранитных масс, они выбирали то, что более им нравилось: находили прозрачные кварцы в виде огромных кристаллов горного хрусталя; во множестве валялся красноватый ортоглаз и темная роговая обманка; изредка попадались цирконы, гранаты и турмалины. Кругом стояли столбами еще не разрушенные зеленые грюнштейны, красноватые порфиры и великолепные базальты разных цветов, у подножия их рылись наши приятели и то и дело приходили в восторг от красивых экземпляров камней. Они набивали корзины красными рубинами, оранжевыми прозрачными гиацинтами, темными меланитами, кроваво-красными пиронами, фиолетовыми альмандинами, сапфирами, изумрудами и аметистами. Попадались и алмазы разных цветов, довольно мелкие. Горный хрусталь был часто молочного, розового и других цветов. Много было и гидратов (водных соединений) кварца: халцедоны, полупрозрачные яшмы и опалы, но больше попадалось кремней. Из халцедонов блистали красотой красный сердолик, зеленый с красными пятнами гелиотроп и агат.

Однажды увидели вдали белую, как снег, массу. Когда к ней приблизились, то между обломками гнейсов и слюдяных сланцев увидели целое поле алмазов, между которыми попадались величиной в кулак.

— Вот богатство, которого нет у всех людей вместе, — воскликнул русский, но друг его, конечно, этого не слышал, так как шлемами они не касались.

Жадно путешественники накинулись на это сокровище, причем пришлось выбросить из корзин много чудесных камней, чтобы дать место наиболее интересным экземплярам алмазов. Страшно нагруженные, они весело добежали до ракеты и замкнулись в ней.

Много было алмазов; собрали даже немного золотого песка; но пищевых запасов уже оставалось мало. Приходилось улетать с Луны, не исследовав, как то хотелось, ее мир. Отдыхая, поедая бананы, орехи, ананасы, утоляя жажду арбузами и виноградным соком, они весело перебирали свои сокровища, пересыпали в руках аквамарины, изумруды, алмазы и посматривали в окна.

— Все эти драгоценности, кроме разве золота, которого тут так мало,— сказал русский,— теперь только минералогические коллекции. В самом деле, при доступности Луны и ее камней алмазы будут обесценены и на Земле.

— Смотрите-ка, вон налево сверкнул яркий огонь! — воскликнул швед.

Русский оглянулся и увидел сноп огня на одном из лунных холмов. Через несколько секунд послышался резкий грохот, дошедший, очевидно, через гранитную почву до ракеты и приведший в колебание стенки их экипажа и воздух внутри него.

— Да это болид! — заметил швед. — Он непосредственно, не теряя своей громадной скорости от сопротивления атмосферы, ударился о гранитную поверхность гор и оттого засветился, как маленькое солнце.

— Наверное, глыба железа, расплавившись, испарившись и разбившись на части, дала этот блестящий фейерверк,— сказал Иванов.

Когда они вышли из ракеты и отыскали болид, то предположения их оправдались: они нашли на месте падения много накаленных кусков железа, вплавленных в каменные массы. Маленькие осколки успели остыть, и путешественники подняли несколько кусочков на память. Куски эти ничем не отличались от известных земных аэrolитов.

43. *Прощай, Луна! Удаление с Луны*

Температура все повышалась, и борьба с ней порядком докучала. Это тоже побуждало оставить Луну.

Выбрали ровное место, часть горы, поднимающейся под уклоном в десять — двадцать градусов. На ней поставили ракету, заперлись в ней и привели в действие взрывные аппараты.

— Прощай, Луна! — воскликнул швед, посматривая в окно.

Сначала они катились по горе, потом оставили ее и помчались в эфирном пространстве кругом Луны. Они подымались все выше и выше, приобретали скорость все больше и больше, пока не достигли секундной скорости в тысячу шестьсот метров. Тогда взрывание было прекращено. Они мчались кругом Луны на расстоянии двухсот пятидесяти километров от ее поверхности. Двигаясь с такой скоростью, они могли сделать полный оборот часа в два.

Сначала перед ними мелькали неизвестные местности с неизвестными горами и цирками, потом увидели хорошо им знакомую как ученым половину Луны. Они видели ее как бы в телескоп, приближающий в тысячу раз. Но, правда, картина изученной части Луны была видна несравненно яснее, чем в самый безукоризненный рефрактор: не мешала земная атмосфера и не искажали изображение телескопические стекла.

Луна была громадная, занимала треть небесного круга (120°) и казалась вогнутой, как круглая чаша. Ракета как бы находилась в ее центре. Отчасти она напоминала Землю на расстоянии тысячи километров от ее поверхности. Была, однако, и разница. Луна казалась мертвее, однообразнее вследствие отсутствия атмосферы, воды, облаков, растительности и снегов. Вон ясное море, гряды гор; вон цирки — Плинний, Посидоний; вон Болото Снов; ближе — опять горные хребты; вон цирки — Бессель, Менелай, Манилий.

Вот уже все это осталось позади. Опять виднеются бесчисленные цирки, кратеры, горные кряжи. Вон Кавказ, а за ним цирк Колипи. Вот уже и они скрылись. Под ними простирались бесчисленные плоскогорья и низменности, называемые морями, в которых воды было, конечно, меньше, чем в Сахаре. Края их покрыты

цирками, хребтами; повсюду разбросаны скалы, каменные массы, кратеры всех размеров; ущелья и трещины расползались во все стороны.

Все это было прекрасно и поучительно, но терять времени было невозможно по недостатку жизненных припасов. Кроме того, им предстоял еще длинный путь: надо попасть на орбиту Луны и соединиться со своими товарищами. Когда они летели над известной частью Луны, то в то же время видели и Землю. Она имела вид Луны только с диаметром в два градуса, то есть вчетверо больше, чем у Солнца. Вид Земли на близком расстоянии уже был описан; вдали было то же, только в уменьшенном масштабе.

Итак, покружившись несколько часов вокруг Луны, снова возобновили взрывание, достигли скорости около двух с половиной километров, прекратили взрывание и помчались от Луны на ее земную орбиту. Луна становилась все меньше: занимала сто градусов, сорок, двадцать, десять, пять и даже сравнялась с Солнцем. Еще задолго до этого скорость ракеты была чересчур мала, а время дорого: поэтому ускорили движение взрыванием.

По расчету должна показаться большая ракета с оранжереей. Оба путешественника с волнением искали ее в зрительные трубы и не находили. Даже пришли в отчаяние. Выручил зеркальный многогранник ракеты, отражающий солнечный свет на тысячи километров. Блеск его они и заметили с восторгом. Он сверкнул раз и исчез, потом опять появился и т. д. Более не было сомнений — в каких-нибудь двух тысячах километров от них блаженствуют их приятели. Направили путь по направлению сверкающей и пропадающей звезды и через три часа увидели большую ракету и еще большую оранжерею.

44. *Опять в большой ракете.* *Телеграмма Земле о Луне*

Свидание было радостно. Послышались перекрестные вопросы, но возвратившиеся путешественники заявили категорически, что нуждаются в отдыхе и подкреплении после всех пережитых волнений.

Через несколько часов Иванов и Норденшельд давали подробный отчет о своих приключениях, причем показывали собранную коллекцию минералов и ценных камней. В особенный восторг пришли слушатели, когда увидели огромные алмазы чудной игры.

Для Земли составили телеграмму о приключениях на Луне следующего содержания: «Мы вполне благополучны и счастливы. Находимся на лунной орбите в диаметрально противоположной точке по отношению к спутнику Земли. Двое из нас успели побывать на Луне, сделать круголунное путешествие и собрать образчики лунных горных пород. Вследствие нехватки жизненных припасов пришлось оставить Луну, не изучив, как хотелось, этот интересный мир. Однако получили о нем много сведений. Никогда не видимое с Земли полушарие Луны ничем существенно не отличается от видимого и изученного вашими астрономами. Следы атмосферы и воды там едва заметные. Свод полусферический, неприплюснутый, сверху черный, с бесчисленным множеством немигающих звезд. День и ночь в тридцать раз длиннее, чем на Земле, отчего ночью холд доходит до двухсот пятидесяти градусов, а днем жара — до ста — ста пятидесяти градусов. Обыкновенных растений с корнями, неподвижных — не найдено. Но живой мир есть, и довольно разнообразен. Он представляет соединение растительного царства с животным, можно принимать его или за движущиеся растения, или за животных с хлорофиллом в коже, способных питаться неорганической пищей, как большинство земных растений. Луна покрыта бесчисленными трещинами всяких размеров, до ширины ущелий. Температура в глубине их постоянная и в экваториальных областях доходит до плюс двадцати пяти градусов Цельсия. В них скрываются и спасаются лунные животно-растения от жары и холода. Все движения их быстры и ловки, так как они часто должны спасаться от преследования и пожирания более крупными и сильными экземплярами.

Эти последние не все живут в норах; некоторые бегут за Солнцем и таким образом пользуются постоянной, наиболее благоприятной для них температурой. Собрать образчики живого мира не удалось. Не встречали на путях сооружений разумных существ: зданий,

машин, мостов, и потому думаем, что живых существ, стоящих на высоте человека, там нет. Солнце движется в тридцать раз медленнее; бежать за ним очень легко, также можно заставить его двигаться в любую сторону, превращать день в ночь и обратно, восход — в закат и т. п. Вообще все астрономические данные подтверждаются. Например, Земля видна только с видимого полушария Луны и имеет вид Луны же, но с диаметром в четыре раза больше лунного. Она всегда представляется неподвижной, вечно стоящей на горизонте на некоторой высоте или в зените. Но она в то же время делает ежемесячные мало заметные колебания, они заметнее близ горизонта. Земля приходит в непрерывное движение только при движении человека, хотя бы и очень малой скорости. Ее также можно этим заставить двигаться во все стороны и на все манеры...

Скорость экипажа или человека для получения желаемых кажущихся движений Солнца колеблется около четырех метров в секунду или 14 километров в час. Такая и гораздо большая скорость не только доступна для экипажа, но и для пешехода, так как тяжесть на Луне в шесть раз меньше, чем на Земле, а сопротивления воздуха нет. Нет и ветров, конечно. На неизвестной половине Луны Земля никогда не бывает видна — там чудные ночи благодаря бесчисленному множеству видимых разноцветных звезд. Месячные же ночи на Луне так светлы, что без затруднения можно читать. Они тоже чудесны, но лишь несколько времени спустя после заката, когда температура подходящая для человека. Звезды видны и при Солнце и при Земле, но в разных количествах. Из кратеров, углублений, ущелий их так же много видно, как ночью.

Луна есть мир, совершенно не подходящий для жизни человека, вследствие отсутствия воды, воздуха и, главное, вследствие громадной разности температур дня и ночи, доходящей до четырехсот градусов Цельсия. Разведение растений уже по одному этому абсолютно невозможно. Мир неорганический богат минералами, драгоценными камнями, легкими неокисленными металлами и их сплавами, которые найдены в глубине ущелий. Горы, возвышенности и низменности состоят из гранитов, сиенитов, базальтов, трахитов, вообще из пород вулканических, известных Земле.

Кое-где видели нетолстые наносы, как будто образованные из улежавшейся пыли. Тяжелых и драгоценных металлов нашли немного. Алмазных россыпей такое обилие, что Земля может опасаться падения цен на бриллианты. Зато красавицы могут надеяться украшать себя без стеснения драгоценными камнями, когда установится постоянное сообщение с Луной. Вулканической деятельности не замечено. Горные обвалы не редки. Болиды, ударяющиеся о поверхность Луны, в высшей степени эффектны — масса ослепительного света и целый фейерверк искр.

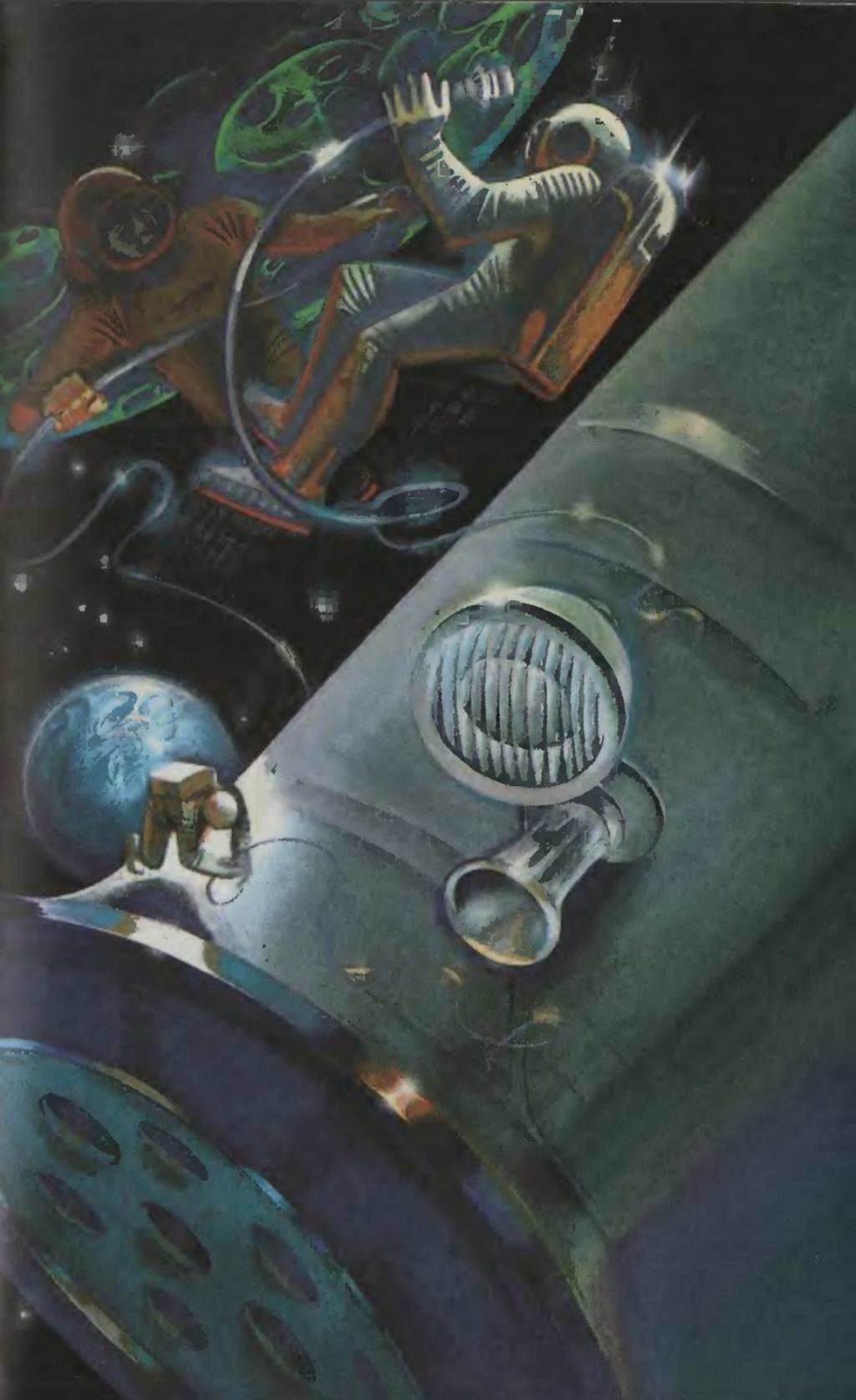
Контрасты температур громадны вследствие отсутствия уравнивающего действия воды и воздуха. Всегда затененные углубления и ямы страшно холодны. Еще холоднее должна быть температура подобных мест в северных и полярных областях. Возможно, что там накопились обширные слои отвердевшей воды и атмосферы. Но это фактически не подтверждено. Есть заря, зависящая от освещения местностей отраженным многократно светом горных вершин. Оттого же и тени не совсем темны, но и не так светлы, как на Земле. В иных местах, чаще низких, замечены довольно толстые наносы, образовавшиеся, вероятно, тогда, когда масса Луны еще не успела остыть, когда температура была однообразней и когда вода и газы еще не были поглощены почвой, а потому текли и разрушали границы, как на Земле».

45. Земные дела

Телеграмма эта на Земле принята была восторженно. Многие пожалели о том, что Луна не может быть обитаема людьми. Владельцы драгоценных камней приуныли и составили заговор против реактивных приборов. Небогатые красавицы лукаво поглядывали на богатых...

В общем у людей это первое посещение чужой планеты породило великое воодушевление, смелость и надежды. Все же Луна может быть полезна для человечества!..

Сообщение об алмазах и драгоценных камнях произвело сенсацию между щеголями всех стран. Цены на драгоценности заметно понизились. Множество бога-





тых людей значительную часть своих капиталов направили на производство реактивных приборов в надежде на торговлю алмазами и другими лунными товарами.

Между тем новые колонии на расстоянии пяти с половиной радиусов Земли, или на расстоянии тридцати четырех тысяч километров от ее поверхности, все росли и заселялись. Жилища-оранжереи описанного типа наполнялись счастливыми мужчинами, женщинами и детьми. Жили уже семейной жизнью, по-настоящему и обстоятельно.

46. Картины переселения и жизни в эфирных колониях

Для заселения колоний выбирали лучших людей: уживчивых, кротких, находчивых, работящих, физически выносливых, не старых и, по возможности, не связанных еще браком. Но избранных оказывалось чересчур много, и потому по необходимости они собирались еще на Земле в общежития, жили вместе, изучали друг друга и делали из своей среды новый выбор. Но опять-таки получался избыток, которому пока еще не могли доставить место вне Земли. Пришлось выбирать в третий раз. Это были почти идеальные мужчины и женщины, ангелы в человеческом образе. Однако этих «ангелов» подвергали очень грубым испытаниям, прежде чем отправлять на небеса. Так, помещали их в среду с таким же количеством кислорода, как на Земле на уровне океана; азот удаляли. Потом количество кислорода еще уменьшали вдвое, так что его было не более, чем на пятикилометровых земных горах. Кто при этом испытании впадал в обморок, чувствовал себя нехорошо, слабел, лишался аппетита, тот не попадал в колонии. Они должны были чувствовать себя вполне нормально при питании одними фруктами и овощами. Таким образом, уже при первых выборах много «ангелов» было забраковано. Были и несчастья. Однажды по ошибке выкачали почти весь воздух, но сейчас же, кажется, через 5 минут, ошибку исправили. Все оказались без чувств. Часть пострадавших удалось оживить, другие погибли: всего умерло три человека. Оживших с великой радостью снарядили в путь. Если с ними и случится такое же несчастье в колониях при поломке

оранжерей, то они все-таки могут быть спасены. Это было большое преимущество. Надеялись с течением времени выработать путем тренировки такие свойства у людей, чтобы они не погибали немедленно при отсутствии воздуха. Они были бы почти в полной безопасности в заатмосферных колониях.

Избранные и испытанные отправлялись в тесных ракетах, битком набитых людьми. Путешествие совершилось в течение 10—15 минут и потому не могло быть утомительным. Оно было так мимолетно, что и говорить о нем не стоит, тем более, что мы уже описали его ранее. Не успели оглянуться пассажиры, вникнуть в свое положение, как опытные провожатые уже вытаскивали их из воды и вводили с известными предосторожностями в оранжерею.

Сначала вся эта прибывшая компания оказывалась в общей зале в 1000 метров длиною, в 10 — шириной и в 5 высотою. Их поражала громада помещения, масса зелени, света, проникающего через нее золотыми лучами. Что-то было волшебное на первых порах в этом зрелище: зала казалась бесконечно длинной. Все прибывшие замечали только зелень, свет и сводчатый прозрачный потолок. Вновь прибывшие совершенно терялись, хотя проводник и ободрял их всячески. Приглядевшись, они стали замечать вдали какие-то пятна; не то мухи, не то бабочки подлетают все ближе и ближе, становятся все яснее и оказываются их же друзьями, ранее попавшими в оранжерею. Начинаются радостные восклицания и теплые объятия. Подлетевшие имели небольшие крылья с боков тела, вроде рыбых плавников. Приводили их в движение ногами. Крылья двигались, как плавники, и давали поступательное движение в газовой среде. Они легко складывались и, как одежда, легко складывались с тела.

Двигались подобно птицам или рыбам. Тяжести тут нет, и можно обходиться без крыльев, отталкиваясь руками от воздуха или каких-нибудь предметов; но крылья удобнее и при малейшей работе уже давали значительную скорость и изящные движения...

— Мама, это ангелы или черти? — кричали дети. — Они нас не потащат в ад?.. Знаешь, ведь я тебя тогда обманула... Это я съела пирожное... Ты не говори им...

Дети таращили глазенки: некоторые плакали и плали... если бы это тут было возможно. Но они только болтали бессильно ножками, воображая, что бегут. Понемногу родители, сами взволнованные, успокоили детей, а «ангелочки» сейчас даже добыли крылья и прицепили их новоприбывшим. Недолго их учили двигаться и направлять куда угодно. Этой наукой овладеть было совсем нетрудно. Только сначала слышались отчаянные или недовольные возгласы.

— Ай, мама, я совсем не туда лечу... И не могу вернуться!

Но «ангелы» учили, возвращали заблудившегося.

— Однако, Маша, это не так легко — летать! Я совершенно запуталась в этой зелени и не в силах выкарбаться...

Выручили и этого.

— Александр, что делать? Я не могу повернуть направо...

Александр, уже научившийся и бойко летавший, помогал супруге.

— А я, мама, смотри как летаю! — визжала Олечка. — Вот видишь, лечу к окнам, вот к стене, вот возвращаюсь...

Все были сыты, не успели проголодаться и потому были в прекрасном настроении, хотя немного и растянулись. Превращение так было внезапно, что большинство находилось как во сне.

— Как тепло! — кричали дети. — Раньше так тепло было очень редко... только в жаркое лето.

Все давно сняли дорожную одежду и прикрывались легкими поясками. Температура была близка к 30 градусам Цельсия.

Так беседовала семья, гуляя в громадной зале. На встречу им неслись другие семьи. Лучи солнца, пронизывающие растения, причудливыми узорами освещали эти красиво порхающие группы. Новоприбывших ничем не тревожили: давали им оглядеться, постепенно освоиться с окружающей жизнью и новыми обязанностями.

Что же, в сущности, делали колонисты? Неужели только гуляли, если и спали? Правда, к тому была почти полная возможность. Однако этого не было.

Пока население оранжереи было небольшое: человек 400; но она могла дать приют и прокормить до тысячи человек. Жилище это для них было создано землей и частью на Земле. Земные строители, специально прибывшие сюда, собрали оранжерею и устроили все необходимое внутри нее для произрастания растений. Так что поселенцы вполне воспользовались даром Земли, трудом своих собратьев. Они как бы получили награду за свои добрые свойства, отмеченные благоприятным для них выбором на родной планете.

Могли ли колонисты сейчас построить подобную же оранжерею — жилище для других или для себя? Пока нет, потому что заселение мировых пространств только что началось. Жителей еще мало; поэтому не могли быть теперь же построены фабрики, заводы и мастерские для сложных производств. Кроме того, еще не найдены и строительные материалы. Доставлять же их с Земли не стоит. С Луны — гораздо легче, но и то невыгодно. Ученые-исследователи, оставленные нами на орбите Луны, надеялись выручить в этом отношении колонистов и устроить их так, чтобы они всегда с избытком получали необходимое и разнообразное сырье тут же на месте их обитания. Тогда настанет деятельность более разносторонняя и не будет уже нужды и немногого обидной помощи Земли... И какая тут обида? Разве не пользуется дитя помощью родителей и разве младенец не сосет тело матери, вытягивая из него жизненные соки? Кто же упрекает слабого! Придет и для них время более усиленного труда.

Но колонисты имеют полную возможность поддерживать порядок в своем обширном доме, учиться, учить других, производить научные исследования, расти умственно, физически и духовно. Невозможно при этом обойтись без организации общества; и у них есть выборное руководство. Каждая специальная зала дает своего представителя. Выбирают мальчики, девочки, холостые, семейные, старики и старухи. Требовалось избрать восемь представителей. Но так как одному утомительно без отдыха распоряжаться, то выбирают от каждой корпорации по три-четыре человека, которые и исполняют свои обязанности по очереди. Эти двадцать — тридцать человек избирают еще из своей среды также три-четыре человека для общего ими руководст-

ва; те тоже распоряжаются по очереди. Выборы повторяются, когда угодно населению, чтобы сменить неудачно выбранных или длительно исполнявших эти обязанности. Выборным давались какие-либо значки, чтобы всякий знал своего представителя. Значок был в виде сухого плода, цветка, венка из иммортелей или чего-нибудь подобного. Вон несется, махая крыльями, как рой пчелок, группа юношей со своим предводителем, украшенным большим цветком... Вон прелестная стая детишек со своим старшим... Вон девушки во главе с избранной, отличенной красивым венком. Там старики и старухи со своими представителями... Там семейные мужчины, а там их жены с маленьками.

Остальные выборные летают особой группой, как незанятые, пока их не призовет порядок к управлению или к другим обязанностям. Старики имеют старых предводителей, так как молодые не могут проникнуть в их душевное состояние и понять хорошо их жизнь, поступки и нужды. Также женщины управляются женщинами, так как женский мир не в полной мере доступен душе мужчины. По той же причине дети имеют своего представителя; ведь взрослые так же часто забывают свои детские слабости и потребности, как старухи свое девичество и материнство.

Кружок выборных решает дела, касающиеся всего населения, без различия пола и возраста, и, собственно не он, а его очередной представитель, иногда мужчина, иногда женщина. Таким образом не бывает промедления в делах. Если же в группе много недовольных распоряжениями выборного, то его, конечно, сменяют. Выборный выражает среднюю волю собрания, почему и избирается. Так же и в каждой частной группе, например в группе девушек, избранная выражает общую волю и потому повелевает и издает частные законы, пока пользуется доверием. Недовольные непременно найдутся, но единение каждой группы и всего населения требует такого порядка. В постоянном общении колонисты изучают друг друга, и это дело немаловажное. Благодаря тому совершаются удачные выборы, назначения на должности и работы. Брак и развод разрешает выборный от всего населения. Распри в каждой корпорации разрешаются представителями этой корпорации. Раздоры и споры между членами разных корпо-

раций судятся общим представителем всей колонии. Правда, им нечего делить и не из-за чего спорить. Назначения на работы делаются также отдельными представителями, например, замужних женщин назначает на какой-либо пост их собственная избранница. Работы в колонии таковы: 1 — следить за температурой в разных местах оранжереи. Судя по назначению места, теплота ее не одинакова; так, для помещения новорожденных она близка к температуре человеческого тела, для старых она немного ниже, для юношей — еще ниже. 2 — следить за достаточной степенью влажности или сухости. Для этого существуют особые описанные нами приборы. 3 — смотреть за исправным действием насосов, увлажняющих почву и доставляющих ей питательные жидкости и газы. 4 — присмотр за уборными. 5 — наблюдения за растениями. 6 — наблюдение за составом атмосферы, за ее давлением. 7 — присмотр за целостью и состоянием оболочки оранжереи и сохранностью заключенных в ней газов.

Температура всех частей оболочки оранжереи так постоянна, что нет никаких условий для образования трещин и утечки газов. Утекающий газ образует снаружи дымок, весьма заметный. Кроме того, он замыкает электрический ток, который указывает номер и положение поврежденного места. Дежурный легко его находит. Сначала он замазывает щель начерно, а потом заделывает ее основательно.

Назначают на работы по способностям, желанию, силам... Другая обязанность: смотреть за чистотой в оранжерее. От растений отпадают листья, черенки, плоды; от почвы иногда отделяются частицы. Этоносится в воздухе, но благодаря слабой центробежной силе скапливается в концах оранжереи, близко к уборным, куда и отправляется для превращения в удобрение. Все выделения людей и растений растворяются в большом количестве воды, которая направляется насосами в почвенные трубы. Там она всасывается почвой, корнями растений, выделяется в атмосферу их листьями и увлажняет воздух. Последний же, проходя через наружные, холодильные трубы, выделяет из себя водяной пар в виде росы, собирающейся в обильные потоки, текущие чистой, как дождь, водой в уборные, для ванн, питья и т. п.

Все желающие учатся чтению, письму, ремеслам, искусствам и наукам. Учит тот, кто находит учеников, имеет знание, охоту и способность учить. Таких освобождают от других занятий по назначению предводителя. Система занятий зависит от характера учителя или учащихся и от их желания. Ремесла и искусства при малом числе колоний пока не имеют больших применений, поэтому преимущественно сейчас преподаются науки. Придерживаются больше такой программы: геометрические знания, механические, физические и химические; космические познания или описания Вселенной; далее — биологические сведения, прошедшее, настоящее и предполагаемое будущее живых существ, познания социологические. Потом занимаются философией и разбирают вопросы еще не решенные. Все науки с начала до конца обосновываются математическими сведениями.

47. Союз колоний

К первой колонии скоро присоединилась другая, третья, и т. д. Через несколько лет их стало очень много. Они сообщаются между собой свободными проходами, но с герметически закрывающимися люками, чтобы в случае порчи оболочки какой-либо оранжереи или ее разрушения болидом газ не ушел зараз из многих отделений. Соединение оранжерей уменьшает утечку газов, обогащает жизнь колоний и дает им больше радостей, так как жители одной могут посещать колонистов всех других оранжерей. При проходе соединительной камеры дверь сейчас же за входящими захлопывается герметически. Но проход совершенно свободный, как из одной комнаты в другую, без двойных дверей, выкачивания воздуха и т. д. Двери даже можно и не закрывать, захлопывают же их плотно ради предосторожности.

Несколько сотен колоний составляют новую высшую единицу. Каждая колония дает несколько лучших людей, управляющих по очереди своим населением. Часть избранных от каждой колонии отправляется для соединения с другими такими же. Они составляют население высшей оранжереи с управлением, подобным

описанному... Но там все совершеннее, выше, строже в нравственном отношении.

Эти избранные, побыв вместе, отправляются для управления в низшие колонии, а старые управлявшие переходят на их место. Так чередуются избранные, занимаясь то управлением, то взаимным изучением.

Мы не описали еще болезней и смертей в колониях, так как болезни там еще не успели появиться и прошло так мало времени, что смерть не успела еще никого погубить своей косой. Был только случай легкого помешательства. Один из переселенцев вообразил себя умершим и уже на «том» свете. Вразумить его никак не могли. Он все более и более путался в логике... Тогда предводитель в надежде на исцеление решил его отправить на Землю. Получены слухи об его излечении; но по собственному желанию он остался на Земле.

Оставим пока наши колонии размножаться, организовываться, благоденствовать, совершенствовать свою жизнь, состав и могущество, а сами вернемся к нашим ученым, оставленным на лунной орбите.

48. *Среди ученых на орбите Луны.* *Первое совещание*

Много раз уже облетели наши путешественники Землю, двигаясь наравне с Луной, прежде чем решили, что делать далее и что предпринимать.

— Открытое нами для поселений пространство между Землей и Луной,— начал в собрании Нью顿,— имеет один важный недостаток: отсутствие достаточного количества материалов для построек и других общественных нужд.

— Доставка материала с Земли,— подтвердил Лаплас,— обходится чересчур дорого.

— Можно бы доставлять материалы с Луны,— заметил Франклин.— И это обойдется в двадцать два раза дешевле. Но Луна неудобна для поселений и работ, как это выяснили побывавшие там Иванов и Норденшельд.

— Я вижу выход в том, чтобы перевести колонии в область малых планет, ютиящихся между орбитами Марса и Юпитера,— сказал Ньютон.— Только одно воз-

буждает некоторые сомнения: температура в этой области низковата. Максимальная температура, то есть при черной поверхности и при самых благоприятных условиях, на расстоянии Марса составляет около восьмидесяти трех градусов тепла. Марс в полтора раза дальше от Солнца, чем Земля. Это еще ничего. Даже на двойном расстоянии от Солнца температура двадцать семь градусов тепла. Но на удалении Юпитера она составляет уже около восьмидесяти градусов холода. На среднем расстоянии, между Марсом и Юпитером, она близка к тридцати градусам холода.

— Ее можно увеличить с помощью зеркал, — заметил Иванов.

— Это применимо к нам для наших путешествий, но не для колонистов, где должно искать простейших решений. Мы-то, конечно, не будем терпеть холода, благодаря нашим ухищрениям, даже на расстоянии Сатурна.

— Для колонистов, таким образом, — подтвердил Франклин, — удобнее всего поселиться в поясе, близком Марсу. Так за ним, на удвоенном расстоянии от Солнца сравнительно с Землей наибольшая температура двадцать семь градусов тепла.

— А не лучше ли им строить поселения между Землей и Марсом, или ближе к Солнцу — между орбитами Земли и Венеры? — спросил Лаплас.

— И то и другое возможно и хорошо, если бы только в этих областях мы нашли вещество в виде значительных болидов или астероидов в несколько сот метров диаметром, — сказал Ньютон.

— Один громадный астероид уже найден между Землей и Марсом, — заметил Иванов.

— Это Эрос, — сказал Ньютон. — Правда, вследствие эксцентричности своей орбиты он иногда удаляется от Солнца далее Марса. Можно воспользоваться его массой. Но ведь это такая громадина! Вообще планета, меньше десяти километров в диаметре, самыми лучшими телескопами и при самых благоприятных условиях с Земли не может быть замечена в поясе планетоидов. Следовательно, астероиды меньше десяти километров в диаметре, будь их хоть миллион, пока не могут быть открыты человеком, — сказал Ньютон. — А они должны быть. В самом деле, выйдите в поле; каких камней вы

более заметите: крупных или мелких? Конечно, мелких, и чем они мельче, тем больше их число. То же самое мы должны найти и в безграничных пространствах Вселенной. Действительно, крупных планет всего восемь, если не считать спутников. Маленьких планеток, или астероидов, около семисот: болидов и аэrolитов бесчисленное множество, судя по обилию падающих звезд. Значит, планеток менее десяти километров в диаметре в нашей солнечной системе должно быть гораздо больше семисот. Если мы их не видим, то это не значит, что их нет. Мы также не видели бы и болидов, если бы они не задевали нашу атмосферу. Не видели бы и больших астероидов, если бы не телескопы и чувствительность фотографической пластиинки.

— Поэтому можно надеяться, — сказал Лаплас, — что мы встретим множество малых планеток ближе или дальше орбиты Земли.

— Итак, господа! — сказал Ньютон. — Мы прежде всего и направим туда наш небесный путь, то есть к земной орбите.

Собрание с этим вполне согласилось.

49. Второе совещание

Следующее совещание было также посвящено предполагаемому путешествию.

— Мы уже почти свободны от притяжения Земли, — сказал Ньютон, — так как тут сила тяготения в три тысячи шестьсот раз меньше, чем у поверхности Земли. Сейчас мы проходим каждую секунду вокруг нее около одного километра. Если эта скорость дойдет до полутора километров, то мы удалимся навеки от земного шара.

— Но при этом у нас останется та скорость, которую имеет Земля, вращаясь вокруг Солнца, — заметил Лаплас. — Эту скорость мы приобрели от Земли, когда еще на ней находились, и не могли ее пока потерять. Благодаря ей мы не упадем на наше светило, а будем двигаться вокруг него подобно Земле.

— Нужна, значит, прибавочная скорость для нашей ракеты и оранжереи, не превышая полкилометра в секунду. Это такие пустяки! — добавил Иванов. — Расход взрывчатых веществ будет почти незаметный.

— Затем, чтобы не встретиться с Землей, двигаясь по одной с ней орбите, мы возобновим взрывание и будем тогда, судя по его направлению, удаляться от Солнца по спирали или приближаться к нему по той или другой кривой, что зависит вполне от нас, — произнес Франклин.

— Расход взрывчатого материала опять будет очень незначительный, — заметил Ньютон. — Но как же быть? Еще не решен вопрос: приближаться к Солнцу или удаляться от него?

— Мне кажется, — сказал Иванов, — что лучше удаляться, так как температура и здесь чрезмерна, мы ее можем довести без зеркала до ста пятидесяти градусов Цельсия, а главное, мы более будем иметь шансов встретить на пути к Эросу, Марсу и планетоидам значительные планетки, хотя бы и многое менее десяти километров в диаметре.

Так и решили, послав на Землю фототелеграмму: «Благополучны. Думаем направиться сначала по эклиптике, а потом несколько далее от Солнца в надежде найти массы, достаточные для постройки колоний между орбитами Земли и Марса. Привет Галилею, Гельмгольцу и другим нашим товарищам в Гималайском замке. Ньютон».

Получена была и ответная телеграмма с пожеланием успеха.

50. *Кругом Солнца за орбиту Земли*

Взрывание употребили самое слабое. Притяжением Луны можно было совершенно пренебречь, тем более что ее масса в восемьдесят раз менее массы Земли. Относительная тяжесть появилась, но в таком малом напряжении, что почти не замечалась. Однако видимые размеры Земли и Луны заметно уменьшились. Суток через десять угловой диаметр Земли уменьшился вдвое, также и Луна.

— Теперь мы имеем скорость, — сказал Иванов, — которая совершенно освобождает нас от притяжения Земли и ее спутника.

Земля все умалялась и походила уже скорее на яркую звезду, чем на планету. Фазы Земли и Луны без телескопа становились незаметны. Они были одинаковы:

если Земля была с четверть, то и Луна тоже. Взрывание не прекращалось и было направлено по направлению их истинного движения вокруг Солнца. Понемногу они удалялись от эклиптики, или земного пути. Земля стала не ярче Венеры; поблизости ее видели очень слабенькую звездочку — Луну.

Положение наших путешественников нисколько не изменилось, если не считать кажущегося и постепенного превращения двух больших Лун, то есть Земли и Луны, в звезды, да едва заметного уменьшения диаметра Солнца.

Температура от этого понижалась очень медленно и пока незначительно. Но увеличив черную поверхность ракеты, обращенную к Солнцу, температуру ее сделали нарочно выше, чтобы у путешествующих не было ни малейших сомнений в возможности изменять ее в любую сторону в весьма широких пределах. Как нам известно, даже поблизости Марса ее можно доводить до восьмидесяти трех градусов тепла по Цельсию. Оранжерея покорно следовала за ними и доставляла им все необходимое. Благодущие их нисколько не нарушалось. Они так же безмятежно кушали, спали, работали, как и ранее, когда еще не расставались с Землей. Вылетали иногда из ракеты в эфирное пространство, надевая скафандрь. Небо по-прежнему было черным, как чернила. С одной стороны блестало Солнце, с другой — множество мертвых, но разноцветных звезд. Узор созвездий нисколько не изменился. Млечный Путь по-старому разделял небесную сферу на две половины; звезд в нем было много-много и гораздо меньше тумана. По-прежнему были видны бродячие звезды, то есть планеты. Крупные астероиды были видны без телескопа и выделялись своим движением среди «неподвижных» звезд. «Лунных» ночей, конечно, уже не было. Взрывающаяся сила толкала ракету по направлению ее движения и потому должна была бы его ускорять; но было наоборот — движение замедлялось, зато ракета удалялась от Солнца. Это было подобно движению санок, бегущих в гору, хотя лошадь и тянет их, а скорость все-таки уменьшается.

51. На неведомой планете

Искали болидов и астероидов. Зорко смотрели в телескопы и просто наблюдали из всех окон во все стороны. На десятый месяц пути, когда уже порядком соскучились и утомились, Франклин увидал огромную массу совсем близко от них и почти неподвижную. Ясно, что это был планетоид, идущий согласно с ним кругом Солнца.

Но так как ракета находилась еще под влиянием давления взрывающихся газов, то это согласие движения скоро нарушилось и масса начала удаляться от ракеты. Прервали взрывание, снова возобновили, направив ракету к астероиду. Путешественники поместились у окон и не спускали глаз с громадины. Ее видимые размеры все увеличивались и заняли чуть не полнеба. Но масса была очень неправильная: удлиненная и угловатая. Кое-где она ярко блистала, отражая лучи Солнца. Любопытство одолевало зрителей.

Наконец употребили контрывзрывание, чтобы замедлить скорость и не стукнуться о планетоид. Вот совсем остановились. Пришлось опять употребить взрывные трубы и прекращать их действие снова. Были всего на расстоянии нескольких десятков метров и почти в относительном покое.

— Довольно! — сказал Ньютон. — Пусть кто-нибудь прицепит ракету к этой планете.

Иванов уже давно облекся в скафандр, надеясь вылететь первым. Он и отправился, увлекая за собой цепочку, которой был соединен с ракетой. Равномерно двигаясь к планете, он мягко стукнулся о ее каменную груду. Прицепить цепь было не к чему: кругом гранитные и металлические твердыни. Иванову пришло в голову употребить сильный магнит, когда он коснулся глыб железа. Но и то оказалось лишним: ракета в силу тяготения сама понемногу стала приближаться к планете. Чтобы избежать хотя и очень слабого удара, который мог бы повредить оранжерею, пришлось опятьпустить в ход перед самым соприкосновением давление взрывающихся газов. После нескольких едва заметных прыжков ракета и оранжерея прилипли к планетке и уже не отделялись от нее. Вылетели из ракеты и все ее

обитатели, разумеется, в скафандрах, так как ни малейших следов атмосферы не замечалось.

На планетке можно было стоять, лежать, сидеть, как на Земле. Но тяжесть была так мала, что малейшее, хотя бы сонное движение уже уносило человека с ее поверхности на несколько десятков метров в высоту.

Лаплас взял с планетки камешек, привязал к нему нитку, другой конец держал в руке, как маятник. Он стал качаться, но как медленно! Не хватало терпения считать его качания и наблюдать время. Все же вынесли этот искусств. Маятник в один метр длины делал в восемьдесят секунд одно колебание.

— Отсюда можно заключить, — сказал Франклин, — что сила притяжения этой планеты в той точке, где мы сейчас находимся, в шесть тысяч раз слабее, чем на Земле. В первую секунду здесь тело проходит немногого менее одного миллиметра. Я вешу здесь, как и вы, в шесть тысяч раз меньше, чем на Земле, и во мне, стало быть, около тридцати граммов весу.

Кругом наблюдали странные неправильности в очертаниях горизонта. Трудно видеть на Земле, хотя бы в самых фантастических горах, такую картину. Вся планета была каким-то прихотливым обломком.

Под ногами были каменные массы с вкрапленными во множестве металлическими сплавами или чистыми металлами: то темноватыми, как старое железо, то блестящими, как серебро или никель, то желтыми, как латунь или кальций, то красноватыми, как медь и золото. Их тянуло и к тому, и к другому, и к третьему. Но ходить было можно только медленно. А так как их разбирало нетерпение, то попытка к энергичному движению только вздымала их в пространство и уносила кверху на огромное расстояние от планеты. Прежде чем они возвращались на нее, они порядочно пугались, воображая, что теряют планету навеки. У кого были маленькие карманные взрывчатые снаряды, те пускали их без надобности в дело и поспешно возвращались на планетку; но не у всех они были. Такие летели кверху минут десять и более и возвращались чуть не через полчаса. Каково это им было, когда они так жаждали исследовать планетоид! Удалялись они на двести пятьдесят метров, — тут потеряется всякий. Не приспособились, конечно, ни разу не бывши в таких условиях...

Потом придумали двигаться очень просто и довольно быстро — до четырех километров в час. Для этого надо было отталкиваться от камней и вертикальных выступов в горизонтальном направлении. Но если оттолкнуться чересчур сильно, то можно совсем улететь с планеты и затеряться в бесконечном просторе солнечной системы; тогда заблудшего может спасти только карманный взрывчатый приборчик или те люди, которые его имеют и потому могут нагнать товарища и воротить обратно.

Так простым способом наши странники облетели всю планету и нашли множество металлов и их сплавов в чистом виде. Сверкающие еще издалека части планетки оказались грудами золота, серебра и никеля. Здесь было драгоценных металлов в тысячу раз больше, чем имеется у всех жителей земного шара.

Тяжесть и ее направление в разных частях планетки были очень разнообразны вследствие странной ее формы. При виде сокровищ каждый различно выражал свое изумление и восторг. Проявлялось это в позах, но лиц и их мимики не было хорошо видно; разговаривать можно было, только сойдясь и коснувшись шлемами; а они, влекомые любознательностью, разлетались кто куда. Сфотографировали, собрали коллекции минералов и металлов, подготовили материалы для определения размеров и массы астероида и возвратились обогащенные, но не отягченные в ракету. Да и трудно здесь быть отягченным!

Обременение наступало только тогда, когда приходилось нести массу в шестьсот тонн и та весила по-земному около ста килограммов.

52. *Опять в ракете. Летят к Марсу*

Снова пустили в ход взрывание и снова стали удаляться от Солнца, исследуя пространство от Земли к Марсу. Неведомая планета, которую они только что оставили, скоро исчезла из виду, как будто сама удаляясь от них. Но ученых она продолжала занимать не менее, чем когда они ее увидали: перебирали и изучали захваченные с нее камни, металлы и сплавы. Золото, серебро и пластина были самые натуральные, с незначительным количеством посторонних металлов. Средний размер пла-

неты вычислили метров в девятьсот. Немудрено поэтому, что земные астрономы ее не знают. На таком расстоянии и такую незначительную массу невозможno заметить. Ведь насили заметили спутника Марса с диаметром в десять раз большим и с площадью в сто раз обширнее! Объем неведомой планеты был близок к тремстам шестидесяти миллионам метров; масса не могла быть точно определена, но, судя по обилию тяжелых металлов, даже на поверхности масса была не менее семи тысяч двухсот миллионов тонн, если принять среднюю плотность планеты за 10^6 . Планета слабо вращалась.

— Вот материал,— сказал русский,— которого довольно, чтобы устроить комфортабельные оранжереи — жилища для всего человечества!

— Ведь это придется около тонны на человека! Довольно ли этого? — возразил Ньютон.

— Если и мало,— заметил Лаплас,— то можно и подбавить, отыскав еще подобные же небесные тела. Пространство даже до Марса еще не пройдено. На пути до него мы можем встретить еще тысячи таких крохотных планеток.

— Очень вероятно,— сказал Ньютон.

И действительно, при своем спиральном удалении от Солнца они почти каждый месяц стали встречать астероиды: некоторые больше описанного, но чаще — меньших размеров. Немногие были ими исследованы, но в исследованных редко не находили тяжелых и драгоценных металлов.

— Странно,— заметил Норденшельд.— На Земле так мало находят золота и платины, а здесь ими хоть улицы мости.

— Да, это удивительно! — подтвердил и Ньютон.— Однако с точки зрения одной гипотезы легко объяснимо. Весьма возможно,— продолжал он,— что эти сравнительно небольшие массы только части или осколки больших планет. Как осколки, некоторые из них могут содержать внутренние, а другие наружные элементы целой планеты? Но центральные части планеты должны состоять из наиболее плотных веществ, как, например, золота, платины, иридия и их сплавов. Это самое мы и находим в открытых нами планетках. На некоторых из них ведь мы совсем не находили тя-

желых металлов. Это значит, что такие планетки составляли наружную часть большой планеты.

— Такая гипотеза дана Ольберсом для объяснения образования множества астероидов между орбитами Марса и Юпитера, — заметил Лаплас. — Судя по нашим открытиям, она может быть применима и для образования небесных тел между Землей и Марсом.

— Мне непонятно, — спросил один из слушателей, — что может служить причиной разрыва большой планеты на многие малые?

— Да это неясно! — сказал Иванов. — Может быть, химические процессы внутри планеты образовали газы, расширение которых разорвало планету, как разрывает бомбу; может быть, столкновение планет это сделало, а может быть, играла роль центробежная сила, непрерывно растущая по мере сжатия вращающейся планеты.

— Одна она могла бы только произвести отделение от массы спутников и колец, но не то, что мы видим, — заметил Ньютон.

— Да, пожалуй, я с вами согласен, — сказал русский. — Возможно, что действовала совокупность этих и других неизвестных причин, — добавил он, подумав.

— Но из ваших речей можно сделать интересные выводы, — заметил Франклин, — во-первых, нашу Землю также когда-нибудь может разорвать на части; во-вторых, центральные области нашей планеты должны содержать в изобилии драгоценные металлы.

— Ни то, ни другое мы не можем теперь отрицать, — послышались в ответ многие голоса.

— А если это так, — сказал Иванов, — то хорошо, если человечество, не дожидаясь возможной катастрофы, переселится в иные миры, хотя бы в эти эфирные пустыни, которые содержат все материалы, необходимые для безопасного устройства тут человека.

53. Встречают на пути газовые кольца

Каждый оборот вокруг Солнца требовал более года и открывал им новые миры. Несколько раз попадали в газовые кольца, очень прозрачные, разреженные, едва заметные, но толщиной в несколько километров. Они

появлялись сначала в виде тонкой туманной полоски, заостренной на концах. Когда ракета влетала в нее, то слышался странный шум и температура в ракете несколько повышалась. Скорость ее немного отличалась от скорости этих колец, но ракета, удаляясь от Солнца, пересекала их быстро и теряла из виду. Множество этих колец, как и планеток, разумеется, были пропущены незамеченными. Собрали газы одного из колец, сгостили насосом, произвели анализ и нашли кислород, азот, соединения углерода, следы водорода и других газов.

— Вот это восхитительно! — сказал Иванов после первой находки газов. — В таком кольце очень недурно поселить колонии: во-первых, под боком будут газы, во-вторых, если и будут они утекать из ракеты, то не совсем, а останутся в окружающей атмосфере, из которой их легко извлечь обратно. Это открытие показывает, что расширяемость газов не беспредельна, как то выходит по закону Мариотта-Бойля, но что-то ее ограничивает.

— Вывод не новый, — заметил Лаплас, — в нашей родной атмосфере замечается тоже.

— Там ограничивает беспредельное расширение газов притяжение Земли и молекулярная теория, — начал Франклин.

— И здесь то же, то есть притяжение самого газового кольца, а может быть, что-нибудь и другое, — заметил Ньютон.

— Но что же, что же! — воскликнул с нетерпением Франклин. — Притяжение кольца недостаточно.

— Не знаю, — сказал Ньютон. — Впрочем, возможно, что газы распространены по всей планетной системе, хотя и в малом количестве. Так думал, например, Менделеев.

54. Приближаются к Марсу

Год проходил за годом, до Марса уже было недалеко. Пространство между двумя соседними орбитами было настолько изучено, что можно было бы дать и телеграмму Земле о результатах исследования, но потребовалось бы плоское зеркало метров в сто диаметром,

а сооружение его сейчас было не совсем удобно. Проще было возвратиться на Землю или дать телеграмму с орбиты Луны или откуда-нибудь еще ближе.

Поблизости Марса оборот ракеты кругом Солнца немного не достигал двух лет. Скуки и тоски накопилось изрядно: всем хотелось на Землю. Возвратились бы на нее, конечно, не по спирали, а сокращенным путем. Им можно было достичь Земли в какие-нибудь четыре месяца. Марс был уже на расстоянии десяти миллионов километров и имел вид круглой луночки с диаметром в четыре минуты, то есть казался в семь раз меньше нашего месяца, каким он представляется с Земли. В телескоп были великолепно видны его «каналы» и «моря», неизвестно чем наполненные, также горы, долины, полярные «льды» и «снега», неизвестно из чего составленные.

— Ближе к Марсу не полетим, — заметил Ньютон. — Спуск на планету крайне рискованный. Мы все утомлены и, главное, должны как можно скорее известить Землю о наших важных открытиях.

Некоторые протестовали, а другие даже были рады скорее увидеть родину.

— Марс от нас не уйдет. Во второй экспедиции доберемся и до него, — заметил Иванов.

55. Возможна ли посещение планет?

Времени свободного было очень много. Ученые немало беседовали о планах путешествий, но больше о Земле, ее обитателях и делах, которые им представлялись теперь в розовом свете.

Нам интереснее знать суждения ученых о планах дальнейших путешествий, условиях жизни и иных мирах. Вот их разговоры на эту тему.

— Спускались же совершенно благополучно на Луну, живем же преотлично тут, и почти на таком же расстоянии от Солнца, как Марс! И что же! Тепло по-прежнему, фрукты зреют медленнее, но дают вполне достаточно для пропитания; а если мало, то разве нельзя построить две-три оранжереи? — кипятился юный и ряный член экспедиции.

— Есть затруднения, — начал Ньютон, обращаясь ко всему собранию. — И, чтобы одолеть их, нужно немало

поработать на Земле как мозгом, так и руками. Выясним же препятствия, которые мешают нам теперь же спуститься на планеты, помимо нашего переутомления и общего желания пожить и отдохнуть на родной планете.

Затихло общество, приготовляясь внимательно слушать.

— Начнем с температур,— продолжал Ньютон.— Представим себе вычерненную сажей плоскость, перпендикулярную к солнечным лучам. Она поглощает почти все падающие на нее лучи. Другая, обратная ее сторона не должна терять теплоты. Если, например, она будет покрыта полированым серебром, то это почти осуществится. Такая пластиинка в эфирном пространстве теряет теплоту пропорционально четвертой степени из ее абсолютной температуры. Это и есть закон Стефана и Вина, на который мы будем опираться при дальнейших выводах. Насколько он правдоподобен, видно из вытекающих следствий. Постоянные этого закона, определяемые путем опыта, дают возможность решить множество интересных для нас задач. Вот мои личные вычисления: температура поверхностных частей Солнца составит около шести с половиной тысяч градусов Цельсия. Даю обыкновенную температуру; абсолютная начинается ниже нуля Цельсия на двести семьдесят три градуса. Абсолютный нуль по известной гипотезе начинается с действительного отсутствия теплоты в теле. Температура указанной черной пластиинки на расстоянии Земли может достигать ста пятидесяти двух градусов тепла. Это есть предельная высшая температура, которая может быть получена на Земле, Луне и телах, расположенных в эфирном пространстве на таком же расстоянии от Солнца, как и наша планета. Это также максимальная температура оранжерей и ракет наших новых колоний поблизости Земли. Ее достаточно, чтобы жарить мясо. Но я не буду говорить про другие способы, например, с помощью зеркал увеличивать эту температуру. Даем тут опять максимальную температуру по Цельсию, но на разных расстояниях от Солнца, приняв расстояние Земли за единицу.

Расстояние от Солнца	1	2	3	4	5	9	16	25	36
Температура по Цельсию	+ 152	+ 27	- 27	- 61	- 83	- 131	- 167	- 188	- 202
Расстояние от Солнца	Беско- нечно	1/2	1/3	1/4	1/9	1/16	1/25	1/36	0
Температура по Цельсию	- 273	+ 322	+ 450	+ 577	+ 1002	+ 1427	+ 1852	+ 2277	+ 6427

Из этой таблицы уже видно, что крайний верхний предел наших путешествий в ракете — удвоенное расстояние от Солнца, то есть около ста пятидесяти миллионов километров от орбиты Земли, или ста семидесяти пяти миллионов от орбиты Марса к Юпитеру.

— Но позвольте, — возразил Лаплас, — разве мы не можем употребить для повышения температуры в ракете и оранжерее зеркала? Плоские, цилиндрические и сферические?

— Можем, — ответил Ньютон. — В особенности здесь, где нет относительной тяжести и где зеркала легко сделать очень тонкими. На планетах мы уже встретили бы затруднения.

— Но есть и еще средства увеличить температуру оранжерей, именно если их стекла будут свободно пропускать свет и вообще лучи высокой преломляемости и не выпускать лучи темные, тепловые, низкой преломляемости...

— Совершенно верно, дорогой Франклин, — ответил Ньютон. — Тогда лучи Солнца будут входить в оранжерю, превращаться там в темные и оставаться в оранжерее, отчего температура и повысится значительно наших расчетов. Но точных данных о степени повышения температуры таким способом у меня пока нет. Опять-таки для исследований и справок придется обратиться к Земле, а теперь этот вопрос приличнее отложить.

— Так или иначе, — сделал заключение Иванов, — с помощью ли зеркал, или другими способами, но путе-

шествие за Марс, может быть, со временем продолжится до Юпитера и даже дальше.

— Ничего не имею возразить против этого,— ответил Ньютон.— Но вот позвольте предложить вам таблицу наибольших температур для разных планет:

Планеты	Расстояние от Солнца	Температура по Цельсию
Меркурий	0,39	+ 407
Венера	0,72	+ 227
Земля	1,00	+ 153
Марс	1,53	+ 83
Юпитер	5,20	— 83
Сатурн	9,54	— 134
Уран	19,18	— 176
Нептун	30,05	— 195

— Отсюда видно, что максимальная температура внутренних планет (нижних) чрезмерно велика, но для путешествующей ракеты выгодна в техническом отношении,— сказал Ньютон.

— В техническом? — заметил один из слушателей.— Но не будет ли слишком высока температура?

— Не забывайте,— возразил Ньютон,— что в таблице дана высшая, идеальная, едва осуществимая на практике степень тепла, как для Земли плюс сто пятьдесят три градуса тепла. Вообразите ту же пластинку, нормальную к лучам и также полированную с задней стороны, но покрытую с передней части уже не сажей, а поверхностью, более способной отражать и рассеивать падающие на нее лучи света. Тогда температура будет ниже. Она будет ниже нуля, даже может дойти до двухсот семидесяти трех градусов холода или абсолютного нуля, если все лучи Солнца, падающие на нее, будут отражаться, тогда как другая сторона, будучи покрыта сажей, будет все лучи рассеивать в эфирное пространство. Этот вывод справедлив для каждой такой пластиинки. Без сомнения, это осуществимо только отчасти, но все же указывает на возможность достижения ближайших планет — Меркурия и Венеры — и даже еще большего сближения ракеты с Солнцем. Если бы мы не устали, то мы и сейчас могли бы туда отправиться в полной безопасности. Чтобы не сгореть, нам

тогда бы только пришлось открывать черную часть задней поверхности ракеты и закрывать переднюю, прозрачную, высеребренными ставнями. Мы могли бы даже, если бы только захотели, замерзнуть в нашей ракете у самого Солнца или по крайней мере очень близко от него.

— Удивительно! — восхищались слушатели.

— Итак, — заключил Иванов, — путешествия в ракете ближе к Солнцу и дальше от него совершенно обеспечены в теоретическом отношении.

— Да, — сказал Ньютон, — но этот вывод сейчас же теряет свою силу при спуске на планеты. Опять будем говорить прежде всего о температуре. Вообразим изолированный черный шарик в эфирном пространстве, то есть некоторое подобие планеты. Он теряет в четыре раза больше тепла сравнительно с нашим двусторонним диском, поэтому средняя его температура будет ниже в одну целую четыре десятых раза (корень четвертой степени из четырех). Таким образом, найдем для разных планет следующую среднюю температуру по Цельсию: Меркурий $+200^{\circ}$, Венера $+90^{\circ}$, Земля $+27^{\circ}$, Марс -23° , Юпитер -138° , Сатурн -174° , Уран -204° , Нептун -218° . На самом деле средняя температура Земли не $+27^{\circ}$, а только около 14° или 15° .

Чем же это объяснить? Дело в том, что не все лучи Солнца поглощаются планетой: часть их рассеивается облаками, водой, снегами, песками, горами — вообще почвой того или другого свойства. На основании указанного несогласия температур можно вычислить, что Земля воспринимает около восьмидесяти процентов лучей Солнца, остальные же двадцать процентов рассеивает и отражает в небесное пространство. Если бы и другие планеты, как Земля, отбрасывали пятую часть лучей, то температура планет получилась бы такая: Меркурий $+176^{\circ}$, Венера $+72^{\circ}$, Земля $+14^{\circ}$, Марс -35° , Юпитер -145° , Сатурн -179° , Уран -207° , Нептун -221° .

Средняя температура астероидов заключается между числами -35° и -145° . Трудно поэтому предположить, чтобы Марс при средней температуре в 35° холода содержал в своих каналах и морях жидкую воду. Ведь температура его ниже средней температуры Зе-

мли на целых 49° . И на Земле немалая доля ее поверхности вечно покрыта льдом, снегом и промерзшей землей. Конечно, условия почвы и атмосферы у Марса другие. Если бы допустить одинаковые, то на экваторе Марса нашли бы среднюю температуру на 49° ниже, чем на земном экваторе, то есть не менее 25° холода. Какая же там может быть вода?

— Ну, а зеркала? Разве не могли бы они нас спасти от этого леденящего холода? — возразил уныло молодой слушатель.

— Могли бы, разумеется, — заметил Ньютон, — в особенности если бы там не было атмосферы. Ее движение при низкой ее температуре производит такое охлаждение, с которым трудно бороться. Я, однако, не отрицаю возможности успешной борьбы при особых, не имеющихся у нас сейчас приспособлениях. Даже на Юпитере, где температура достигает 145° холода, и там еще успешная борьба с холодом допустима... Но как бороться с жаром атмосферы Венеры и Меркурия, где он доходит до 72° и 176° теплоты? На полюсах он, конечно, ниже, но туда убийственный жар заносят жидкые и газовые течения, то есть тамошние океаны и атмосфера. Да и какие газы окружат нас при спуске на чужую планету? Скафандр и обильный запас кислорода спасли бы нас от ядовитых газов атмосферы, но никто не может поручиться, что сами скафандры, а затем и наши тела не загорятся бенгальским огнем. Я ничего не отрицаю, все возможно, — бодро сказал Ньютон, — но требует подготовки, трудной и долгой работы, если вы хотите торжествовать над враждебной природой. Иначе она вас раздавит и даже не заметит того...

56. *По направлению к Земле — коротким путем*

Единогласно решено направиться к родной планете. Марс своим притяжением все более и более портил правильную кривую движения ракеты. Так как предстояло около четырех месяцев путешествия, то оранжерю собрать было нельзя: не хватило бы запаса плодов на такое продолжительное время. Имея ее на буксире, нельзя было сильно тормозить взрыванием движение ракеты, не повредив живой источник питания.

Все же торможение было в десятки раз сильнее, чем при медленном спиральном удалении от Солнца. Вследствие этого наши ученые очень круто спускались к Солнцу — спираль была укороченная. Теперь оранжерея была уже не позади ракеты, а впереди. В начале торможения они были от орбиты Земли на расстоянии шестидесяти пяти миллионов километров и двигались со скоростью около двадцати пяти километров в секунду. Скорость была только на пять километров меньше земной. Вследствие торможения она должна бы уменьшиться; но падение ракеты, приближение к Солнцу, спуск ее, напротив, эту скорость увеличивали. При вступлении на орбиту Земли она должна составить около тридцати километров, то есть сравняться со скоростью Земли. Тогда при приближении к ней все более и более будет сказываться притяжение планеты. Увеличивающуюся скорость опять придется тормозить взрыванием. Мысли путешественников были полны Землей. А потому нам не интересны разговоры, которые их занимали при возвращении.

Пожилые успели поседеть, юные — окрепнуть.

Наблюдения делали только самые необходимые: овладела апатия. Следили за оранжерей, за исправным действием ее и ракеты. Шли таким коротким путем, что едва заметили три или четыре новых астероида. Разность скоростей их и ракеты была громадна, и соединяться с ними для их исследования было затруднительно. Часто их взоры устремлялись на красивую звезду вроде Венеры. Это была Земля. Они думали о ней, и она по мере приближения становилась все ярче и прекрасней. Вот уже она превратилась в красивую крохотную луночку. Сердце ее увеличивается, делается больше Солнца, еще больше...

Пересекают орбиту Луны. Земля громадна: в четыре раза больше ее спутника, в шестнадцать раз светлее. Растет родная планета; она имеет хорошо знакомый им вид. Вот уже Земля занимает $3, 4, 5^{\circ}$ на небе; до нее осталось несколько дней пути. Сердца бьются тревожно, в особенности у молодых. Что-то встретит каждый на Земле?

Решено дать фототелеграмму небольшим зеркалом. Иванов телеграфировал следующее: «Мы, исследователи мировых пространств, находимся недалеко от Зе-

мли. Посетили и, насколько возможно, изучили пространство между орбитами Земли и Марса. В нем нашли более сотни крохотных планет с диаметром в пять тысяч метров и менее. Но это только малая часть того, что мы предполагаем. Эроса не встретили. Замеченные астероиды представляют богатый и неистощимый материал для устройства колоний за орбитой Земли. Многие из планеток содержат тяжелые металлы в рудах и в чистом виде. Некоторые на десять процентов состоят из золота и платины. Мы убедились, судя по составу этих небесных тел, что они составляют осколки одной или нескольких больших планет. Пространство, открытое нами, получает в два с половиной миллиарда раз более лучистой энергии, чем Земля. Простор его в триллионы раз больше земного. Кое-где встретили газовые кольца. Везем образчики пород, металлов и газов. Никто не пострадал, недостатков не терпели. Жизнь в указанном безграничном просторе прекрасна: вечный день, вечное тепло, чудные, разнообразные плоды и прекрасные условия для самой разносторонней технической и научной деятельности. Мы должны спуститься в Индийском океане, недалеко от берегов Ост-Индии. Предупреждаем пароходы.

Пощадите нашу скромность — никаких встреч и торжеств! Бог нам дал талант, которым мы поделились с людьми, и только. Мы ни в чем не нуждаемся, всего имели вдоволь, даже и почета. Лучше поддержите среди вас гениев, которых вы едва знаете, но которых больше, чем вы думаете. Страйтесь их открыть. У них связаны руки вследствие их тяжелых материальных условий. Иванов».

Оранжерю надо было или собрать, или оставить кружиться по эллиптической орбите кругом Земли. Времени было мало, и потому решили ею пожертвовать. Убрали и растения в ракете и разные нежные для них приспособления; их обрекли той же участи. Значительное количество взрывчатого вещества было израсходовано, и потому ракета облегчилась.

Торможение все усиливалось. Земля казалась громадной и занимала четвертую долю неба; колонии давно миновали. Выдвинули резервуары с водой, и ученые один за другим поместились в них, чтобы не пострадать от усиленной относительной тяжести. Короче,

сделали все то, что приходилось делать ранее, при отправлении с Земли. Ракета и ее части функционировали так же точно, как заведенный граммофон, играющий ту, а не другую пьесу. Ее действие все-таки регулировалось рукоятками приборов, также помещенными в жидкость.

Ракета вступает в атмосферу, накаливается тонкая предохранительная оболочка; но скорость ее уже не очень велика и еще умаляется по мере приближения к поверхности океана.

57. На Земле

Еще энергичное торможение, и ракета почти остановилась. Легкий шлепок в воду — и снаряд плавает на манер миноносца.

Отворяются ставни, окна; воздух родной планеты врывается со свистом в ракету. Путешественники, как во сне, долго не могут прийти в себя. Они давно уже выкарабкались из ящиков с предохранительной жидкостью, оделись... Но Земля как будто другая: Она производит на них ошеломляющее впечатление: не то очарование, не то ужас... Прежде всего кажется холодновато и сырьо; потом — ноги, руки и все тело точно налиты свинцом. Долго не могли встать с пола, кружилась голова, валялись, как пьяные, в особенности пожилые. Воздух, обремененный азотом, как будто душил их, но звуки голоса от сравнительно плотной атмосферы казались оглушительными. Подплыл моторный катер и взял их на буксир до парохода. Путешественники немного оправились, ветер освежил их.

О скромности ученых были предупреждены, и потому никто не беспокоил их расспросами. Сами же себя они чувствовали не совсем хорошо. Началось с чихания... На другой день у многих обнаружился насморк, некоторые заболели инфлюэнцией. Настроение больных было неважное, радость свидания с Землей была омрачена. Солнце как будто не грело, вяло светило; небо казалось чересчур туманным, звезды ночью представлялись далекими, немногочисленными и слабыми, в особенности ближе к горизонту. Свод приплюснутым сверху. Везде неприятно пахло, кушанья казались невкусны, люди неуклюжи в своих одеждах, ме-

бель отвратительна, тяжесть несносна, тюфяки и подушки жестки. Новоприбывшие падали и спотыкались. Забывшись, отталкивались, думая лететь, но только по зорно и смешно шлепались. Их проклятия смешали окружающих. Большинство не понимало, в чем дело, и смотрело с удивлением на странных туристов. Их доставили благополучно в Бомбей, а оттуда, по железной дороге, дальше и, наконец, на воздушном корабле — в их Гималайский замок.

Население его, конечно, было осведомлено о похождении своих друзей не менее других. Их встретили с распростертыми объятиями, но очень удивились их синякам и пластырям на лицах. Когда же дело было разъяснено, они не могли удержаться от гомеического хохота, несмотря на все усилия.

На горах хоть и было для вновь прибывших непривычно холодно, но Солнце палило жарче. Понемногу они оставили шубы, поправились, нашлепки соскочили с носов и лбов, привыкли к земной жизни и даже вошли во вкус ее. Гельмгольц и Галилей не оставляли их.

58. *Собрание в замке.* *Планы новых небесных экспедиций*

Весь мир ждал реферата ученых об их необыкновенном и плодотворном путешествии. Ньютон назначил день, когда он со своими друзьями может прочесть в замке доклад.

В этот день ученые делегаты от всех стран прибыли в замок.

Ньютон, прерываемый часто своими не менее учеными спутниками и слушателями, подробно описал свои приключения в небесах. Потом он перешел к практическим выводам и к плану будущих путешествий и исследований.

— Пространство в тридцати четырех тысячах километров от земной поверхности, — сказал он, — где устраивают сейчас колонии, неудобно, так как там не имеется достаточно сырого материала для работ. Поэтому я предлагаю новые поселения понемногу переводить в пространство между орбитами Земли и Марса. Оно переполнено богатейшим строительным материалом, — говорю про очень малые планеты, не види-

мые с Земли. Когда число колоний достаточно умножится, то они развернут там свою промышленность; станут сами строить свои жилища и не будут уже нуждаться в поддержке Земли. Материал есть в виде незначительных болидов также и между Землей и Луной, где помещены сейчас колонии, но его так мало, что не стоит говорить. Только взрывчатые вещества и ракеты как средство отправления людей некоторое время еще будет изготавливать Земля. Но ракеты, исполнив свое назначение, могут возвращаться, начиненные взрывчатыми веществами, уже приготовленными «там». Зато многие наши потомки найдут в небесном пространстве приют, счастье и полное нравственное удовлетворение!.. Подскажет ли нам человеческий гений, что будет с этими поселениями за орбитой Земли через тысячу, через миллион лет? Поведает ли нам кто-нибудь наперед, как будут устраиваться колонисты материально и социально по мере увеличения числа новоселов? Можем ли предвидеть, каких успехов они достигнут, как будет развиваться их индустрия и наука, как преобразится там самое человечество?.. Как через десятки миллионов лет ослабнет сияние Солнца? Узнаем ли мы, что сделают тогда обитатели неба? Найдут ли выход? Не отправятся ли они к другим, еще не погасшим солнцам? Каково будет путешествие? Какие встретят планеты и что на них найдут? Ведь планет, годных для жизни, подобных Земле, бесконечное множество!

— Но это так далеко-далеко, так гадательно! — заметил один из ученых-слушателей. — Сообщите лучше о том, что можно еще предпринять в течение ближайшего времени.

— Вот отдохнем, оправимся от сильных впечатлений, наберемся энергии, — отвечал Лаплас, — и снарядим новую экспедицию.

— Тогда, — сказал Ньютон, — отправимся в область известных астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Там мы должны найти много интересного. Попутно сделаем несколько оборотов кругом Марса, а может быть, и посетим его. Легко побывать на его малых спутниках, так же легко, как и овладеть почвой астероидов благодаря малой тяжести на их поверхности.

— Если не переутомимся,— сказал Иванов,— то, может быть, достигнем Юпитера и Сатурна. Едва ли удастся спуститься на эти планеты, так как смелчаков ожидает почти верная гибель; но можно покружиться около них на близком расстоянии, посетить их малые спутники и залететь на кольца Сатурна...

— Возможно, что раньше предпримем путешествие по направлению нижних планет: Венеры и Меркурия,— заметил Ньютон.— Трудно предвидеть заранее, сколько можно сделать и в какой степени удачно.

На другой день съезд закончился и собрание разъехалось, а замок зажил снова своей мирной и разумной деятельностью.

1. *Машина времени*

Тюрьма была переполнена. В одиночки запирали по несколько человек. В самой тесной клетке третьего этажа, где в коридорах дежурил военный караул, жили двое. Один был молод, другой казался стариком, но путь, отделявший юношу от смерти, был короче.

Он был пойман с оружием в руках. Старик, когда-то известный врач, тоже обвинялся в большевизме, но в то время играли в законность и демократию, необходимо было разыскать какое-нибудь «государственное преступление», чтобы его повесить. Поэтому в его прошлом упорно рылась следственная комиссия.

Молодой человек стоял, прижав лицо к решетке. Сквозь летний северный сумрак чернели хвойные горы. Внизу стремилась мощная река. Он верил в теории, по которым человек, когда умирал, был мертв, но громадный оптимизм его молодости не допускал смерти. Расстрел представлялся ему звуковым взрывом, виселица — радужными кругами в глазах. Он видел.

Беззвучно вздымались ровные волны. Он лежал на корме, разбитый дневной работой, но ему было хорошо от выпитого вина. Рядом двое китайцев, таких же носильщиков, ссорились из-за украденной рыбы. Он смотрел на живой путь луны в океане, на отражения разноцветных огней гавани, отелей, кабаков...

Врач, читавший у восковой свечи, приподнялся.

— Страна Гонгури? — сказал он. — Я прочел это в твоей тетрадке, Гелий. Здесь, кажется, больше поэзии, чем географии.

Он взял рукопись.

— В снегах певучих жестокой столицы,
Всегда один блуждал я без цели,
С душой перелетной пойманной птицы,
Когда другие на юг улетели.
И был мир жесток, как жестокий холод.
И вились дымы-драконы в лазури.
И скалил зубы безжалостный голод...
А я вспоминал о стране Гонгuri.
И все казалось, что фата-моргана
Все эти зданья и арки пред мною,
Что все, пред лицом урагана,
Исчезнет внезапно, ставши мечтою.
Здесь не было снов, но тайн было много.
И в безднах духа та нега светила —
Любовь бессмертная мира иного,
Что движет солнце и все светила.

— Так писали, когда я жил в Петербурге, — сказал Гелий. — Скучные вирши.

Тень Гелия задвигалась на переплетах решетки. Грохнул тяжелый выстрел. Рикошет пули взвыл в одиночке и вдруг затих, щелкнул в углу.

Гелий спрыгнул с нар, подошел к свету.

— Я просил тебя, — сказал врач, немного задыхаясь. — Вчера поставили казачий караул.

— Что ж, доктор, неожиданно лучше... Впрочем... — Гелий быстро вскинул голову: — Ты хотел спросить меня? Гонгuri... Да, сейчас, пожалуй, пора заняться самыми индивидуальными переживаниями.

Гелий замолчал. Стариk, потрясенный и ослабевший, молчал тоже.

— В сущности, — продолжал Гелий, чтобы развлечь его, — здесь и рассказывать не о чем. Это мало вяжется со мной. Теперь, от безделья, те же мысли снова надоедают мне... А началось это, кажется, еще в детстве, когда я лежал в зеленой тени с книжкой под головой, и в солнечных лучах пели стрекозы. Потом яснее повторилось во Фриско, на берегу океана... Вероятно, потому, что я жил тогда всего беспутнее. Но не только в кабаках, в дни, когда я был трезв и голоден и дремал от усталости, сначала словно отвлеченная гипотеза, а потом все увереннее я начинал вспоминать... Понимаешь, это были просто несложные мечты, возникающие у всех нас, — о мире более совершенном, но всегда, ко-





гда они проходили, мне чудилось, что это вовсе не грезы, а память о чем-то, очень родном, близком и недавнем. Однажды, еще на севере, я испытал глубокий экстаз, стоивший мне большой потери сил. И тогда я запомнил имя женщины... Ее звали Гонгури. На океане это повторялось чаще. Словом, Страна Гонгури — какие-то навязчивые видения.

Я знаю, что ты скажешь. Заранее согласен... Во всяком случае, все это имеет свои научные объяснения. Дай прикурить.

— Да, можно всему найти научные объяснения...

Гелий курил, громко глотая дым.

Старый арестант спросил:

— Гелий, хочешь вернуться в Страну Гонгури?

Гелий встал.

— Злая шутка, — пробормотал он. — Откровенничать слабость, но...

Раздался новый выстрел, потом длинный, странный крик.

— На этот раз прямо в цель! — сказал Гелий. — Говорят...

Он вскрикнул и бросился к окну.

— Гелий! — закричал врач, ловя его руку. — Я совсем не шутил! Сядь!

— Дай мне кончить со всем этим!

— Что ты хочешь сделать?

Рука Гелия ослабела.

— Тебе казалось, что ты жил там? Что было, то есть. Что такое время? Нелепость. Почему бы нам не восторжествовать над нелепостью?

— Ты изобрел «Машину Времени», — усмехнулся Гелий, привычно подавив тревогу.

— Да, — ответил врач. — Конечно. Уэльсовский автомобиль четвертого измерения невозможен, иначе путешественники будущего давно были бы у нас. Но все-таки победа над временем вовсе не утопия. Мы постоянно нарушаем его законы: в о с н е. Наука зарегулировала много случаев, когда самые сложные сновидения протекали параллельно с ничтожным смещением часовой стрелки. Я испытал нечто подобное во время опытов с одурманивающими ядами и теперь не сомневаюсь даже в семилетнем сне Магомета, начавшемся, когда опрокинулся кувшин с водою, и кончившемся,

когда вода еще не успела вытечь из него... Однако обыкновенный сон не годится для наших целей. Он слишком нестроен, его режиссер вечно путает сцены... Гипнотический сон более всего подходит для нас.

Гелий поднял голову.

— Да... Впрочем, не следует во всем уподоблять гипноз сну. В некоторых стадиях гипноза самое тусклое сознание может расцвести волшебным цветком. Один мой пациент производил впечатление гения своими экстатическими импровизациями, хотя в обычной жизни это был бездарнейший писака.

— Может быть, он повторял чужие стихи? — усмехнулся Гелий.

— Все равно, — ответил врач, — наяву я не слышал от него ничего подобного. Это нечеловеческая память... Другой, совсем калека, профессор, высохший, как Момзен, становился великим воином, настоящим Ганибалом, сыном Гамилькара! Он вел свои войска через Альпы, ветер жег его лицо, боевые слоны гибли от холода, но глаза его горели, как пожары двух городов. Он спускался в итальянские долины под ржание коней нумидийцев и мерный стон мечей, бьющихся о щиты... Так он рассказывал, клянусь болотом.

— Такие сны можно увидеть и в китайской курильне.

— Это более чем сны, — возразил врач, увлекаясь любимой темой. — Когда говорят о гипнозе, имеют обыкновение утверждать, что это воля гипнотизера вызывает в спящем процессы транса и т. п. Конечно, воля здесь ни при чем. Я говорю спящему, что его тело бескровно, и кровь перестает литься из ран, я говорю, что его мышцы окаменели, и слабый человек лежит на двух подпорках, касающихся его затылка и ступней, выдерживая большой добавочный груз. Это общеизвестно. Гипнотизер не может подчинить чужой так называемой души, он лишь вызывает в ней какие-то неисследованные силы, ассоциативные процессы мозга, и она более или менее раскрывает их, не переставая быть увлекающей загадкой...

— Хорошо, доктор! — прервал Гелий, явно любуясь необычайностью положения. — Ты хочешь усыпить меня и сделать только одно внушение: чтобы я вернулся в Страну Гонгuri? Хорошо. Я готов на какие угодно

опыты! Я только думаю, что меня трудно загипнотизировать... Впрочем, когда я засну, ты можешь попытаться. Сегодня я спал не более пяти часов.

Врач кивнул головой.

Коридор наполнился гиком и хохотом. Нелепо взвизгнула частушка. Кто-то тяжелый остановился у камеры, и в круглой дырке двери забегал мутный глаз.

— Не спиши, гады! — заорал голос. — Скоро тебе крышка.

Шум исчез, лязгнул железными зубами на гулкой каменной лестнице.

Старик прижал руку к решетке ребер. Гелий взглянул в побледневшее лицо и, вспомнив, заговорил спокойно:

— Что с тобой, Митч? Все хорошо. Я хочу плонуть в глаза смерти. Что в самом деле дремлет в нас? Четыре года я знаю тебя, и теперь, здесь, ты остался таким же изобретателем экспериментов, каким был... А! Как мне сказать? Слышишь — тюрьма, камень, кованые приклады, гвозди сапог. Камень и железо. Ничтожество. А мы займемся нашим опытом! Я готов. У меня нет других мыслей...

Свеча погасла. Серый сумрак проник в квадраты окна. Гелий говорил:

— Теперь надо скорее заснуть. Спокойной ночи... — И совсем по-мальчишески улыбнулся. — Итак, мы отправляемся в Страну Гонгури!

Он отвернулся, закрываясь своей английской шинелью, снятой после боя с мертвого врага.

— Спокойной ночи, — машинально сказал врач.

Скоро он услышал ровное дыхание спящего, привыкшего засыпать в короткое время отдохну в грязи пристаней и вокзалов, в открытом море в бурю, в заставе перед тем, как идти в снега величайших равнин и стоять часами на грани борющихся миров и смерти.

Врач смотрел в лицо Гелия, освещенное голубоватым светом, и мысли его кружились. Его лихорадило. Он бормотал бессвязно.

Электроны света, мысль в его мозгу... Мир... Мозг... Непонятно...

Он с усилием встал, очнувшись, и осторожно взял руку Гелия.

— Ты спиши, — сказал он, — спи! Волны мрака указывают, как море.

Он приступил к своим внушениям.

Грудь Гелия расширилась. Он бредил и жестикулировал. Потом лицо внезапно побледнело, словно невидимая рука сдернула с него маску.

— В сущности, все гипнотические состояния индивидуальны, — пробормотал врач, прижимая пульс спящего, сам почти загипнотизированный спокойствием сна.

Тюрьма, камень, железо. В сумеречном сознании мелькнули врезавшиеся в память дни. Лицо Гелия было неподвижным.

... Гольден Гейт. Синяя соль и густой ветер. В России революция, Октябрь... После долгой работы он зашел отдохнуть в первую открытую дверь. Это был матросский салун. Грязные сильные люди всех рас. Крики многих наречий. И в центре, он сразу заметил у подвального окна, напряженное от потока мысли лицо, такое же, как теперь.

...Чудовищные леса и деревни. Морозы, пред которыми градусы Фаренгейта из сказок Лондона — оттепель. Костры под лапами громадных елей. Крутящиеся саваны буранов... Потому что Гелий сказал тогда твердо и безоговорочно: «Надо ехать». Тихий океан остался на востоке, но огневая завеса уже разделила Азию и Европу.

...Хаос первоначальной власти. Сражения. Коммунистические отряды, скрывшиеся в тайге. Санитарная повозка под шкурой медведя. Ремень винтовки, прилипший к плечу Гелия... В декабре их окружили. Несколько человек по обычаям бандитских войн были доставлены живьем... Это — они.

Врач зажег спичку, чтобы закурить. Резкий свет упал на веки Гелия, спящий вздохнул глубже. Врач быстро бросил пламя.

Единственной его надеждой была миссия Соединенных Штатов, приехавшая в город. Говорили, что американцы, помогая излюбленному порядку паровозами и теплым бельем, иногда бывали в тюрьмах перед большими расстрелами, стесняясь финансируемого ими варварства, и, кажется, спасли кого-то. Он слышал

фамилию Д. Мередит. Не тот ли Мередит, которого он лечил?

Врач эмигрировал сразу после 1905 года. Ему «позвезло», как говорили. Он спокойно практиковал на Клэй-стрит, постепенно терял прежние знакомства и не думал больше о борьбе. Его стали звать «Мастер Митчель», друзья сокращенно — «Митч».

«Гелий! Он странно вошел в мою жизнь», — думал врач.

Он улыбнулся, вспомнив их встречу. Голод перемен и выхода был в нем сильнее первой любви...

Ему показалось, что лицо спящего стало еще поразительнее. Он взял его руку. В памяти зазвучали обрывки стихов, к которым приучил его Гелий. Он бормотал их вслух, не владея собой:

— Сердце губит радостная жажда,
Лучше умереть, но заглянуть...

Он смотрел в неподвижное лицо. Ему становилось не по себе. Точно огромный полет...

— Пуль!

Сердцебиение спящего замедлялось с угрожающей правильностью. Врач принял решение будить его. Неожиданно это оказалось трудным. Гелий открыл глаза, но не отвечал на вопросы и смотрел с таким сумасшедшим удивлением, что врач невольно отступил в страхе. Громко повторяя фразы, он стал рассказывать о произошедшем. Прием подействовал. Скоро Гелий стал более внимателен к окружающему и нахмурился от воспоминаний. Врач зажег свечу, велел Гелию закурить. Привычные ощущения лучше всего повлияли на него.

Он нерешительно взял обломок зеркала.

— Я не изменился? — сказал он.

— Ну как ты себя чувствуешь? — робко спросил врач, но Гелий только покачал головой.

Он сел на койку, опуская лицо в ладони.

Далеко в городе ударили колокол. Гелий выпрямился.

— Сколько времени? — быстро спросил он.

— Час.

— Час! Скоро рассвет.

Он глубоко вздохнул и продолжал очень спокойно, как будто говорил о деле.

— Поздно... Да, кто-нибудь должен знать. Садись, Митч, слушай, что это было. Я закрою глаза, чтобы лучше видеть. Слушай!

Его речь зазвучала необычно:

— Я Риэль, так меня звали раньше, я Гелий, видел сегодня мир с непредставимой высоты. Я хочу тебе рассказать об этом... Я был Гелием и стал Риэлем... Вернее, наоборот. Но это лишь теперь я помню последовательность видений, тогда же было совсем иное. Видимость реального ничем не отличалась от обычного состояния вещей. Мне было приблизительно 24 года, как теперь. Это не значит, что моя жизнь длилась в течение 24 оборотов Земли вокруг Солнца — земные меры вообще неприменимы к миру, где я назывался Риэль, но я все же буду употреблять их, потому что кажущееся для нас понятнее действительных соотношений. Да... Сначала я спал, потом моя жизнь стремительно потекла назад, к своему первоисточнику. Друг за другом возникали предо мной все более и более ранние картины, словно тени фильмы, разорванной и соединенной так, что последние сцены стали первыми и первые — последними. Промелькнули школьные годы, началось детство. Я читал давно забытые книги, уносившие меня на воды Амазонки и Ориноко, на таинственные острова и далекие планеты. Я помню себя совсем крошечным ребенком, влюбленным в няинины сказки, безумная фантазия которых так торжественно звучала в темной детской, при свете зимних звезд; я внимал им и забывал себя. Потом я подошел к огромному дереву, несомненно, из учебника ветхого завета, и тогда, подобно смутному сну, во мне родилось воспоминание об этой жизни, хотя пред собой я видел только степь, но старик, похожий на оперного статиста, дал мне жемчужину величиной с голубиное яйцо, и я улыбнулся, уверившись, что вспоминаю лишь грезы дневного сна. Я стал смотреть на тусклый свет жемчуга, и мое сознание постепенно погрузилось в него, пока не наступил хаос... Но сияние жемчуга длилось. Бледная тончайшая пыль наполнила пространство. Сначала, как звездная туманность, скопилась в небольшой фосфоресцирующий шар. Он лежал в руке статуи, изображавшей

мыслителя. По-видимому, все вместе, статуя и удивительный шар, представляли собой нечто вроде художественного ночника. Я отвернулся и попытался заснуть, но не мог. Свет раздражал меня, и я не мог забыть каменного лица, отражавшего напряженное внимание неведомого духа, неприятно-бледного лица, освещенного голубоватым сиянием... И вдруг у меня явилась мысль исследовать вещества голубого светильника в моей машине. Тогда где-то в самом центре я ощутил непередаваемый толчок. Так бывает, когда вдруг забудешь что-нибудь... С этой мыслью я вошел в Страну Гонгури. С этого момента я ничего не помнил о себе. Я стал человеком другого мира.

Гелий замолчал, сжимая ладонью веки. Воля его билась с расстроенными полчищами образов, стремилась вернуть им порядок и красоту мысли. Сознание, что весь этот вихрь замкнут в клетке его мозга, было чудовищно. Гелий открыл глаза.

II. Страна Гонгури

— ... Этот мир! Я его видел... Но мы все время видим его и потому идем сквозь строй нашей жизни. Не думай, конечно, что я расскажу что-нибудь по порядку...

Был 1920 год после революции. У нас были бананы, персики, розы... огромные! Вишни величиной с яблоко и персики величиной с арбуз. Я начал с яблок, потому что наша планета была прежде всего сад. Мир делился на страны по плодам их растений. Их пояса были нанесены на карту. Домашних животных я не помню. Правда, мы пили белую жидкость, называющуюся молоком, ели молочные продукты, в кухнях я видел желтоватый порошок, сохранивший название «яйца», но все это было делом химических заводов, а не скотных дворов... Сады, поля злаков и волокнистых трав. В более холодных широтах росли леса, но там не было людских жилищ.

Среди садов, на много миль друг от друга, поднимались громадные литые здания из блестящих разноцветных материалов, выстроенные художниками и потому всегда отличные друг от друга. Эти дворцы строились так, чтобы казаться гармоническим целым с природой. Я хочу сказать, что они должны были излучать горение

художественной мысли, чтобы слиться с горизонтом равнин, гор и садов... Впрочем, были также большие города. Их было немного. Там сосредоточивались библиотеки, музеи, академии. Улицы были разноцветным ковром того же непрерывного сада, только здесь было больше цветов, декоративных растений, фонтанов, статуй. Да это, впрочем, и не были улицы, артерии городов: передвижение со временем изобретения онтэита совершалось в воздухе.

Онтэ жил за тысячу лет до моей эры. Развитие нашей науки шло так, что физическая природа мирового тяготения постигалась ценой больших усилий. Онтэ первый дал законченную теорию тяготения и нашел особый комплекс энергии веществ, онтэйт, стремящийся от массы. Воздушные корабли моего времени представляли собой стройные дельфинообразные тела, их оболочки были отлиты из легких металлов, в центральной верхней части помещались онтэзитные поверхности, замкнутые в диафрагму изолятора, вроде тех, что устраиваются в наших фотографических аппаратах. Движением диафрагмы сообщалось нужное ускорение по вертикали.

Со временем Онтэ можно было изменять очертания материков, уничтожать и переносить горы. При нем началась разработка общего плана планеты... Один раз в моей жизни я видел постройку нового города. Тысячи кораблей принесли сделанные на заводах части, летающие люди соединили их, но когда завершилась мысль инженера, заснула энергия машин, на смену пришли ваятели, живописцы, поэты, томимые своей вечной неудовлетворенностью. Город был назван Лейтозен по имени поэта Лейтозен...

Мир — энергия, Митч, она безгранична. Мы здесь нищие миллиардеры, мучаемся от ее недостатка, но она всюду. И нужно немного разума, немного коллективного разума, чтобы подчинить ее организующей силе сознания. Как просто! А мы...

Гелий взглянул на шершавую ткань своего каменного мешка и, вздрогнув, продолжал:

— Первое, что я помню из моего детства, — это полет. Я учился управлять маленьким аппаратом, состоящим из пояса, поглощавшего тяготение, и радиодвигателя. В первый раз я испытал ощущение бесплотности, как от наркоза. Но в конце второго тысячелетия новой

эры не только машины были совершенны. От права и власти — этого подобия кнута и других воспитательных атрибутов — почти ничего не осталось. Преступление стало невозможным, как... ну, как съесть горсть пауков! Только дети еще играли в государство и войны. И вот, в играх я всегда стремился лететь скорее и выше других, вызывая смех взрослых.

Мне было шестнадцать лет, когда радио Лоэ-Лэлэ загремело тысячами рупоров и экранов, что Везилет вернулся. Везилет провел четыре года на Тобероне, крайней планете нашей солнечной системы. Межпланетный путь был пройден еще в легендарные годы последней революции, но только после изобретения онтэита межпланетное сообщение стало обычным. Освобожденные от тяжести «победители пространства» всплывали до пределов тяготения, и тогда небольшого радиоактивного двигателя было достаточно, чтобы развить планетную скорость и лететь в любом направлении. Существовало постоянное сообщение с планетой Санон, ближайшей к нам из внешних миров. В экваториальном его поясе были наши колонии. На остальных планетах человек не мог жить, там жили странные чудовища. Исследования этих миров длились века, много экспедиций погибло, на смену им мчались новые. Мне было шестнадцать лет, и я был охвачен пламенем этого чистого героизма...

Когда я говорю о своих видениях, Митч, не кажется ли тебе, что это действительно «более чем сны»? Мир Гонтури во мне, неотделим от меня и так ясен, словно горный день. А вот когда люди лежат друг против друга, зарывшись в снег, и целятся друг в друга, и в сознании грохот, грохот, грохот...

— Ты рассказывай, — сказал врач тихо.

Гелий сдавил скулы.

— Да... — очнулся он. — Я бросил свою школу в Танабези и улетел к Везилету. Я узнал, что он снова отправляется в путешествие, теперь на последнюю планету, между нами и солнцем, Паон. Ось вращения Паона была наклонена к плоскости эклиптики почти на 40° , зной и холод чередовались там в полугодовые сроки. Я помню, для меня это было так удивительно! Я сказал Везилету, что в Танабези скучно, что я хочу ему помочь. Вероятно, это было трогательно, и Везилет засмеялся, чтобы безобиднее меня выпроводить. Он сказал,

что на Паоне надо одеваться. Ни одна тряпка еще не оскверняла моего тела. Только старые люди носили туники. Везилет напялил на меня шерстяное белье, меховую куртку, шубу, шапку, обувь. Мне казалось, что меня бросили в муравейник, я не мог шевельнуться, как твой кролик, положенный на спину и таким образом загипнотизированный необычайностью положения. Стариk смеялся. Тогда я прошелся по металлическому полу, до слез заставляя себя улыбаться, и сказал, что я силен, что я могу носить тяжести и хорошо знаю машины. «Может быть, мы возьмем его?» — это была Нолла, спутница Везилета. Так решилась моя судьба. Вошел Марг, сильный человек из колонистов Санона. Кожа его была белой, а губы чернели атавистическим пушком. Марг больно сжал мускулы моей руки. Я молчал. «Ты должен работать, — сказал он, — иначе я тебя выброшу. Идем!»

В небе сиял огромный Паон, бог страсти.

В безвоздушной среде единственной неожиданной опасностью были метеориты, блуждающие обломки миров, что давало возможность избежать смертельной встречи с этими своеобразными рифами межпланетных пространств. Марг ушел управлять кораблем. Нолла смотрела в нижнее окно. Везилет заперся в своей каюте и рассказывал что-то почти шепотом машинке, записывающей речь.

Предо мной вздымался громадный амфитеатр нашей планеты. Сотни раз с той же высоты я видел на экране очертания знакомых земель, и все же их чрезмерная реальность казалась фантастичной. Контуры материков и облачные массивы были огромны, краски сияли. Я надолго забылся в экстазе созерцания.

«Мир исчезал, но мы летели дальше.
И сердце не хотело возвращенья», —

как смутное эхо, вспоминаются стихи Ноллы... Она действительно не вернулась.

Я полюбил Ноллу. В однообразные часы, среди бесконечной пустыни мира, далеко от ее оазисов, освещенные ослепляющими лучами солнца, неизменно лившимися с одной стороны, тогда как в другие окна были видны лишенные своего ореола разноцветные звезды, я полюбил то сияние мысли, каким Нолла озаряла жизнь. Диск нашего мира сначала прочно казался дном, потом замкнулся в круг, стал чем-то существу-

ющим сбоку и незаметно опрокинулся ввысь зеленоватой луной. Мы говорили, стараясь не двигаться, так как всякий легкий толчок перебрасывал наши потерявшим вес тела к противоположной стене. Тогда мы медленно, как рыбы в аквариуме, плыли в воздухе, взвешенные, точно жидкое масло в растворе воды и спирта. Нолла смеялась. Я был заражен чем-то вроде слабого отголоска патриотизма диких времен.

Да, мне казался странным город Лоэ-Лэлё. Я родился в стране, где не было ничего лишнего. Точная мысль определяла производство. Коллективное творчество преобладало. Даже художники очень часто вместо подписи ставили знаки своих школ. Лоэ-Лэлё, конечно, был звеном той же цепи. Образование, материалы для творчества, пища, город, одежда были спаяны одним планом планеты, но то, что не было признано необходимым для жизни и развития народа, ни в Танабези, ни в других городах не производилось. А в Лоэ-Лэлё до сих пор существовали диковинные социальные нарости, люди, употреблявшие какое-то курево, вино. Я помню, я увидел у Ноллы алмазный диск с тончайшей резьбой, изображавшей лицо Энергии. Это была страшная чепуха: деньги. Ценность их была, разумеется, условной, потому что наши заводы превращали любые вещества. Единственной мерой могла считаться только полезная энергия. Денежная единица Лоэ-Лэлё равнялась принятой силовой единице радия. Я сказал Нолле что-то вроде: «Вы плохо кончите», — очень довольный сознанием своего превосходства.

Удивительнее всего была история Лонуона. Ученый и поэт, он был одним из величайших людей моего времени. В его реторте впервые зашевелилась протоплазма, созданная путем синтеза из мертвого вещества. «Настанет день, — говорил в стихах Лонуол, — когда человек будет питаться мыслями и рождаться от платонической любви». Лонуол отказался от избрания Ороэ, чего никогда не случалось прежде, построил недалеко от Лоэ-Лэлё, на скалистом мысе западного побережья, большой дворец, но не включил его в общую городскую сеть. Он жил там со своими учениками, подобно легендарному повелителю, окруженный необычайными обрядами и почестями. Все этоказалось вымыслом, даже сном. В Танабези избегали говорить о Лонуоле.

Нолла соглашалась, улыбаясь, и дразнила меня: «Да, вы многочисленнее, счастливее и... бездарнее. Кто был Онтэ? Кто Везилет?» Среди вещей Ноллы я нашел эмалевый изумительный портрет молодой девушки. Она стояла светлая, каменная, нагая. Черный нимб озарял ее лицо. Меня ослепил свет страсти, но глаза девушки были такими далекими, что было неопровержимо, только подвиг мог бы разбудить этот огонь. Вот для чего стоило жить! Я видел ... Лоэ-Лэлё на берегу залива теплых вод, на полуострове, прямым углом вдавшемся в море. Там, где пересекались набережные, на блестящей глыбе, стояла статуя юноши, восходящего к свету. Я видел сверкающие здания, бездонные зеркальные площади, улицы, полные шума и удивительных криков, гипертрофированные розовые кусты, разноцветные деревья, аллеи, вымощенные плитами темного топаза, солнечные поляны — голубые, зеленые, желтые, — легкие невиданные постройки, одетые выюющимися цветами, огромными, как луны. Внизу за деньги покупают вино и душистый дым цветов Аоа... И над всем этим миром такая девушка!

— Это Гонгuri, — сказала Нолла.

«Ах, что мне было сделать!» — думал я...

На шестидесятый день наш блестящий корабль влетел в орбиту редчайших слоев атмосферы Паона. С не-привычной быстротой, усиленное постепенным замедлением скорости полета, стало возрастать ощущение веса. Я лежал, прильнув к нижнему окну, и смотрел на растущий диск планеты. Океаны занимали большую часть ее поверхности; они были неспокойны, разных оттенков — от грязно-бурового до темно-синего и на полосах покрыты шапками льда и снега. Кое-где из этой массы воды торчали уродливые глыбы суши. Половину видимого пространства застилала горная цепь туч. Постепенно она закрыла все поле зрения, пока мы не погрузились в нее бесшумно, как в тончайший пух. Из облачного хаоса дыбом встали редкие полосы хвойного леса, лесом покрытые горы и в центре свинцовая река, широкая, точно морской залив.

Я не буду рассказывать о наших скитаниях. Они были огромны. Мир Паона был тяжек, как Земля. Мы не могли воспользоваться обычновенными летательными аппаратами с нашим тройным почти весом, но холодный сжатый кислород Паона возбудил нас, и мы, сгиба-

ясь под ношей своих тел, ушли в лес пешком. Нолла говорила: «Прекрасно, передвижение в диком мире должно свершаться диким способом, идем!» Гигантский ливень настиг нас, горные потоки подняли и унесли межпланетный корабль в реку. Светящаяся пыль солнечных лучей рассыпалась так быстро, словно на небо целыми океанами лилась тьма. Наступала ночь. Мы, привыкшие к одиночеству людей высокого социального строя, легли вместе, как маленькое стадо дикарей, у дымящегося костра. Марг сказал, что мы будем по очереди не спать и «сторожить». Мне пришлось вспомнить многие полуисчезнувшие слова...

Утром, словно на высочайших горах, выпал снег.

Мне запомнились эти дни... Нет, надо сказать: ночи. Дня почти не стало. И вместе с тьмой росли холод и метеи. Река окаменела в белых льдах. Мы шли вниз по реке, ища в ледяных полях стальной блеск «победителя пространства». У нас было оружие — три больших электрических заряда. Марг убивал животных, сдирал их шкуры для ночлега, варил мясо больших белых птиц. Мы ели мясо, и сила санонца казалась нам чем-то более совершенным, чем поэмы Ноллы. Он вел нас и повелевал нами. Но он погиб, раздавленный пятой зверя...

Мы не могли похоронить Марга, как обыкновенно, бросив его тело в беспредельность звездных пространств; нам пришлось скжечь труп на большом костре. Пахло горелым мясом. Нолла бредила. Я построил шалаш из коры и сучьев. В первую же ночь его занесло снегом. В этой пещере мы жили семьдесят дней. Впрочем, нет: Нолла освободилась раньше. Она заболела. Болезнь перешла в смертельный жар. Она умерла.

Я помню... каждый день я выползал на сверхъестественную стужу расчищать сугробы. В углу на груде вонючих шкур металась Нолла, выкрикивая непонятные названия: «Ра, Тароге, Огу!» Везилет неподвижно сидел у ее ног. Я должен был поддерживать огонь, греть воду и убивать животных. Когда умерла Нолла и горе мое стало угрожать и моей жизни, Везилет увлек меня строить другое жилье. Прежнюю нору мы превратили в баню с глиняным котлом и печкой. В первый раз я увидел, насколько мы, жители великих городов, забыли первичную, непроницаемую тьму природы. Когда-то я был подобен тропическому цветку, и вот теперь я выхожу из дьявольской раскаленной парильни,

построенной по образцу, заимствованному из музея в Танабези, и одеваюсь на морозе, при свете туманной влаги, освещенной звездами. И в морозном ореоле, как сон или чудо, предо мной сияет зеленая звезда Гонгуря. То, что раньше казалось невозможным, стало действительностью, но так как прежнее было более реально, чем настоящее, то по временам все мерещилось непрерывной грезой.

Везилет стал для меня ближе и понятнее. Я думал, что Везилет мог бы жить в Лоэ-Лэлё и женщины, подобные Гонгуря и Нолле, любили бы его; но всю жизнь он провел в грубой борьбе с опасностями диких миров. Какая сила влекла его по этому пути? Не то ли смутное беспокойство, что оторвало меня от правильной жизни в моей школе?.. Везилет улыбнулся и заговорил со мной, как с равным, о последних достижениях, о той страсти, что словно ледяной газ сжигает мозг мыслителей... Я слушал его и слушал вой зверей, и выюги, и шипение дымного дерева в огне...

Однажды с моей охоты я вернулся, ликуя! Солнце дольше обычного задержалось над горизонтом... Скоро снег не выдержал и помчался в реки грязными струйками. Лед раскололся и поплыл, крутясь и ставиваясь с веселым шумом. Земля покрылась цветами и вдруг высохла и запахла зноем. Огромные бабочки вылупились из своих куколок, амфибии и змеи наполнили траву, птицы вернулись с юга... Я никогда еще не представлял себе смены времен года, и неожиданно наяву я увидел, как ожило «заколдованное царство»! Казалось, мир наполнился галлюцинациями... Сверкающий корабль летел в голубой яри, приближаясь ко мне... Люди, подобные тем, каким я был когда-то, вышли из него и более ясные, чем сон, приветственно подняли руки. Это были люди Лоэ-Лэлё.

Гелий встал.

— Есть у тебя табак, Митч? — сказал он. — У меня что-то дрожит вот здесь. Я все рассказываю не о том, о чем хотел.

Врач вывернул карманы. Гелий жадно проглотил клуб вонючего дыма, продолжал:

— Я вернулся в Танабези. И тогда я снова понял, что мне скучно. Мне было скучно от математически правильных коридоров с рядами аудиторий по сторонам, от алмазных ромбов, покрывавших пол, от цилин-

дров колонн, от параллельных линий, от безжалостно знакомых поступков людей. «Ах, что бы мне сделать?» — думал я с тоской. В чем счастье? Недавно это был отдох у огня после длинного перехода и спокойный сон для мозга и мышц. Сэа, моя подруга, лучшая из всех, казалась слишком самоуверенной, когда я смотрел в лицо Гонгuri. Мне удалось усовершенствовать один из двигателей воздушных кораблей. Я видел, как мои машины распространялись всюду, но никто даже не знал моего имени... Потому ли, что я один боролся с чудовищами Паона и во мне проснулись тысячелетние зовы, потому ли, что разгоралась еще моя юность, но не одна любовь, зависть — я сам себе стыдился признаться в этом — схватила меня, когда я услышал об избрании Гонгuri в Ороэ. Я видел ее на экране, гордую и прекрасную, с невидящими глазами стоявшую перед мирской толпой, и краски горячей крови заливали мое лицо. Я думал: «Вот какая-то девушка, сочиняющая стихи, но синтез Рубинового Сердца, а я все еще здесь!» Я оставил Рунут, читавшего Высшую Телеологию в Танабези, и улетел в Лоэ-Лэлё. Мне ничего не было жаль в Танабези, кроме Рунут и, может быть, Сэа. Рунут — кажется, он был моим отцом — не стал меня отговаривать.

— Я был там и вернулся, — сказал он, улыбаясь моему тщеславию.

Это меня смущило, но в моей памяти волновался лик огромного здания, величайшего в мире, в центре круглой зеркальной площади Лоэ-Лэлё. Его названия менялись в зависимости от того, какая сила казалась наиболее величественной и всемогущей. В мое время это был Дворец Мечты. Я пришел, чтобы самозабвенно работать в его лабораториях и достичь... — чего? — этого я сам не представлял себе ясно... Везилет выслушал меня ласково и сказал, положив руку на мое плечо: «Не большое достоинство, что ты придумал свой двигатель, Риэль, но то, что ты так молод, действительно заслуживает внимания». Я вздрогнул: гении Лоэ-Лэлё избрались в Ороэ, когда они были молоды...

— Ороэ, — тихо перебил врач. — Ты не говорил...

— Да... Как несовершенно слово! Как ограничена в средствах передачи наша мысль!.. Вот в одно мгновение я без всякого усилия могу охватить все пережитое мной, весь этот мир, а чтобы передать тебе хоть небольшую часть, я рассказываю, рассказываю, пропуская

тысячи вещей, и все не могу дойти даже до видений сегодняшнего сна... Да!.. Ороэ — это, конечно, пережиток. Первоначально так называлась организация художников. За две тысячи лет до моей эры какой-то царек, по имени Ороэ, додумался, что он не понесет особого ущерба, если освободит несколько человек от разных чудовищных повинностей того времени. Ну, разумеется, царек очень любил мадrigалы, льстивые портреты, почетные титулы и рассчитывал на славу. Он назначил деньги на жизнь 25 молодым художникам различных искусств. Ему приписывают, между прочим, любимый афоризм Везилета: «Мысль не поэма, не пропадет». Я задумался раз над его словами, и, мне кажется, здесь есть доля истины. Если бы, например, Менделеев умер перед тем, как открыть свой знаменитый закон, он был бы все равно открыт немного позднее. Но никто никогда не кончит «Египетские ночи». И еще: если бы вдруг спустились на нашу планету люди другого мира, пре-восходящие нас на несколько тысячелетий культуры, твоя медицина, например, показалась бы чем-то вроде шаманской магии... Да! Зачем это я?.. Разумеется, гениальность в те времена, как у нас, самым тесным образом связывалась наличностью Ясных Полян. Подавляющее большинство художников, литераторов, с первых шагов принужденных жить на свой случайный заработок, Маркс не без основания ставит в один социальный ряд с бродягами, авантюристами, ворами, разорившимися кутилами, отставными солдатами, тряпичниками, точильщиками и т. д.— не припомню всего списка. Эти люди богемы или близкие к ней всегда живут, боясь большой работы. Говорят, у Берлиоза была больная жена, когда он задумал прекраснейшую из своих симфоний. И он принудил себя забыть ее, чтобы иметь возможность сочинять вещицы для рынка. Он совершенно забыл ее; это вполне достоверно... Ну, я опять о нашей тюрьме... Институт Ороэ, конечно, очень скоро выродился, в него попали всякие подлизы. Но идея осталась. В первые годы революции, после отмены крупной собственности, мастерство упало. Последующий же расцвет, несомненно, связан с организацией Ороэ. Члены ее выбирались на съездах делегатов всех творцов страны... Впоследствии материальная необходимость института исчезла, но, как я говорил,

Лоэ-Лэлё, один из древнейших городов, сохранил много пережитков. Рядом с прекраснейшими зданиями там оставлены такие исторические уроды, которые казались столь же нетерпимыми, как заразные животные. Я никогда не мог к этому привыкнуть. Ороэ Лоэ-Лэлё объединял всех выдающихся людей города. Его гении в принципе были всемогущи. Каждая их мысль должна была осуществляться, хотя бы для того потребовалось напряжения всех народных сил. Нечего говорить, понятно, что у избранников Лоэ-Лэлё не могло быть низких и нелепых побуждений.

Члены Ороэ почти всегда избирались в молодости, по первым лучам их дарования. Вот отчего сердце мое забилось сильнее от слов Везилета. Я был тогда очень молод.

На другой день я получил свои комнаты на Засадной улице, высоко над морем и розовыми садами. С первых дней я перестал принадлежать себе. Неисчислимые толпы наполняли аудитории, музеи, библиотеки Дворца Мечты. Неисчислимые противоречия отравляли его воздух. Оглушительные фразы, непонятные и сложные доказательства проносились по многоликой душе словно вихрь, более могущественный, чем буря Паона. Я видел людей, стонавших от тяжести мысли, я видел их равнодушными к внешнему над листами книг.

Я возвращался, томимый смущением. Я забывал о своих мечтах.

Легким движением я включал ток в систему приборов, чтобы получить из библиотеки книги Ноллы и Гонгури. Скоро я сам стал писать стихи. Было так хорошо читать, слушать с кем-нибудь музыку, созерцая в глубине экрана театральные представления, или просто смотреть в огромное окно на сияющий город и темное небо...

Однажды высоко над ширью влаги я играл в лучах заходящего солнца с девушками Лоэ-Лэлё. Пылали фосфорические тона океанийских закатов. Мы ловили птиц и отпускали их разноцветными розами. Это был детский спорт, и мы были веселы, как дети. Я увидел незнакомую девушку, летевшую мимо. Я догнал ее. Она плыла, закинув руки за голову, смотря в бирюзовое небо, где начинали сиять самые большие звезды.

Широкий, черный онтэйтный пояс сжимал ее крепкое тело. Она задумалась и не сразу поняла меня. Потом, когда я был совсем близко, она взглянула в мои глаза с легким пренебрежением, с ласковой досадой и отвернулась. И только тогда я заметил Рубиновое Сердце — признак Ороэ. Я узнал ее: то была Гонгури, моя Гонгури!..

В ту же ночь я снова заблудился в лабиринте Дворца Мечты. Мне снова показалось, что меня окружает безнадежный хаос, и я никогда не отыщу в нем истинно ценного от хлама... Но вот я услышал Везилета. Я вижу его как наяву: высокий, седой, дымящий листьями Аоа, пахнущими эссенциями тропических смол. Он был прекрасен среди множества приборов и машин, прекрасна была его речь, чистая и сухая, как треск электрических разрядов. Он не читал определенного курса. Разные сведения можно получить из книг. Он говорил лишь о том, что волновало мир, и тянул нас за собой, на высоты подлинной науки. Я дрожал на его лекциях, как любовник, и бледно-коричневая кожа моего лица становилась огненной от возбуждения.

Случилось так, что в то время вновь разгорелся спор о строении материи... Т. е., конечно, свойства всех элементарных частиц, их формы, объем и вес, пути атомов, электронов и даже открытых Онтэ радаритов были давно вычислены с точностью орбит небесных тел нашей системы. Все это входило в учебники. Вопрос шел о пределе...

И вот под влиянием мучительной моей и светлой жажды во мне возникла отчаянная мысль — овладеть мельчайшими лучами энергии, претворить их в подобные им, видимые световые волны и собственными глазами посмотреть, из чего состоит Мир!

Прошло два года. Я полюбил пустынные места в горах, далеко к северу от Лоэ-Лэлэ, у каких-то нечеловеческих изваяний, высеченных неизвестным скульптором. Я отдыхал на плоском камне, измученный потоком мыслей и неудач. В глазах расплывался серебряный свет нашей маленькой луны.

Внезапно в полусонных глубинах сверкнула чудовищно яркая молния. Машина Риэля была найдена!

Я не помнил явившейся мысли, она была мгновенна, но я знал, что она живет во мне и теперь остается

только расшифровать ее... Но еще два года я сжигал свой мозг в лабораториях фантастического здания, два года с безумным темпом мысли я переходил от книг к вычислениям, от вычислений к опытам и лекциям. Гонгури пришла ко мне узнать о странной моей работе, и я достиг наконец ее желанного взгляда.

Я знал, что она считает меня неудачником, но я был уверен в себе. С тех пор я часто замечал издали ее сияющий взор, но Гонгури и всему окружающему я уделял лишь немногие минуты и незначительные слова. Она была обыкновенная девушка. Как все.

Я работал в гигантских «Мастерских Авторов». Во главе Мастерских стоял стариакашка Пейрироль, выбранный туда за свою нечеловеческую любовь к машинам. Днем и ночью я видел его проверяющим мускулы своих любимцев, то изящных, хрупких и сложных приборов для тончайших измерений, то огромных электрических молотов, изрыгающих торжествующий чрезмерный грохот в атмосфере стальных плавилен. Тысячи тонн металла выбрасывались вверх с помощью поверхности онтэита и вновь падали, давя на чудовищные рычаги, наполнявшие движением тысячи зал Дворца Мечты. Я сроднился с этим вечным движением, шумом, визгом и шелестом, выделяя части моей машины и торопя помогавших мне мастеров из студентов верхних этажей. Восемь раз модель оказывалась недостаточно точной, восемь раз мы принимались за нее снова. Пейрироль встретил меня однажды тонкой усмешкой. По его мнению, я должен был поплатиться за свои фантазии. То, конечно, был намек на эстетический обычай, по которому неудачники всегда старались возместить расходы Мастерских. Я снова поднялся в аудитории и библиотеки. Однообразными днями я просиживал за чертежным столом или блуждал, не видя, по бесконечным музеям и городам всех эпох, воспринимая сквозь сон сказочное величие и помня все одну и ту же мысль, пока меня не нашли ночью без сознания под лапой атлантозавра.

Меня отправили лечиться в онтэитный завод. Кажется, почти все заводы находились в ведении врачей. Завод, зеркальный и железный, стоял в горах, в хвойной чаще, у порогов Сортса-Ту. Каменная плотина пересекала ущелье. Под стеклянным куполом, под ве-

тром озона час или два в день я делал ритмические движения в бездумном и прекрасном напряжении тела. Под переменный ток тускло сверкали мчащиеся маховики, сухие искры поднимали волосы, щекотали спину. Для изготовления онтэита требовалось огромное количество энергии. Воздух, казалось, был насыщен... Впрочем, некоторые доказывали, что часть производимой онтэитом работы совершилась за счет уменьшения центростремительной силы. В последнее время, помню, с этой целью были организованы новые измерения. Я пробовал вычислить, когда использование онтэита заметно отразится на космическом равновесии.

Врачи отпустили меня через месяц. Тогда, точно получив резерв для атаки, я снова кинулся в дым Аоа, в Мастерские Авторов.

И я победил. Я первый увидел, как плотный кусок вещества превратился в мелькающий вихрь светящихся точек. Я придумал способ следовать всем их бесчисленным движениям. Я научился наблюдать эфемерные, мимолетные явления, замедляя их, замедляя само время...

Конечно, я понял, что вовсе не разрешил проблемы, но большего я и не ждал. Атомные системы превратились в звездные миры, в солнца, окруженные планетами. И в их спектре, в первых же поспешных моих наблюдениях, я нашел мелькнувшую линию хлорофилла.

Гелий вздрогнул.

— Стало холодно,— сказал врач.

— Нет, другое,— продолжал Гелий.— Я улетел к Везилету. Он встретил меня беспокойной и ласковой насмешкой, но потом слушал много часов подряд. Слава моя росла, точно обвал. Меня избрали в Ороэ. Торжественный обряд должен был совериться в ближайший день. Но мальчишеская моя греза теперь меня не волновала. Время действительно нелепость. Можно прожить десять лет и сохраниться как уродец в спирту, а можно стать совсем другим в несколько дней. Я вырос, я был безучастен к своему триумфу. Может быть, это было временное утомление, преходящее влияние бессонных ночей, листьев Аоа и напряженной мысли, но я был склонен считать мое состояние тем конечным пунктом, куда приходит всякий разум. И странно, по-

гибая от усталости, я в то же время испытывал мутя-
щую пустоту наступившей бездеятельности...

У меня была бессонница. Я лежал в большом зале на мягком черном диване, и мои глаза были открыты. Я был один. Тишина ночи нарушалась только легким плеском струек воды, лившейся в углу из мраморного экрана. Она освещалась у своих истоков яркими сконцентрированными лучами всех цветов спектра, преломлявшимися в воде, словно каскады самоцветных камней. Я подумал о том, что мне надо уснуть, для этого следовало бы принять небольшую дозу яда, но мне не хотелось вставать. «Темнота лучше всего», — прошептал я, движением руки гася свет, сиявший в разноцветных струйках. Стало темно, но не совсем. Какая-то бледная тончайшая пыль наполнила воздух. Я оглянулся: свечение исходило от фосфоресцирующего шара, лежавшего в руке статуи Неатна... Я говорил об этом.

И вот у меня явилась мысль исследовать вещество шара в моей машине.

III. *Нахodka*

— Ты говори тише. Я вижу, ты устаешь. Говори просто.

— Да. Я лягу.

Митчель подвинулся, набросил на него шинель. Сукно было грязно, пропитано несмыываемым злом мира.

— Представляешь ли ты смену моих переживаний? Все, что я рассказывал, — это воспоминания Риэля. Теперь я хочу рассказать о том, что я видел на самом деле, в моем сне... Слушай!

Очарованный моей мыслью, я подошел к машине, держа в руках светящийся шар. В черноте окна виднелось безлунное небо. Было темно, но высокие кипарисы — факелы мрака — все же выделялись на Звездном Пути. Маленькие метеориты иногда сгорали, мгновенно отражаясь в море. Вспыхнула зарница. Я включил ток в механизмы и, встав на каменный диск, заглянул в окуляр... Так я помню все очень ясно.

Молекулы фосфоресцирующего вещества были сложны, как молекулы органических соединений. Они отражались на жемчужном экране вихрями звездных

скоплений. Я замедлил, вспомнив детское мое увлечение искусством сияющих цветов. Потом я уловил движения одной из частиц. Это была простая желтоватая звездочка, и я оставил ее, заинтересовавшись одной из планеток. Ось ее вращения была наклонена к плоскости эклиптики, полушария то замерзали, то становились желтыми от зноя, как Паон.

Сердце мое нехорошо ударило. Я приблизил планетку. Стадо четвероногих, напоминавших антилоп, паслось на берегу ручья. Вдруг стадо исчезло, желтый хищник распластался в упругом прыжке...

Быстрое пламя наполняло мои жилы.

Я вспомнил, Везилет рассказывал мне о своих новых исследованиях явления мировой энтропии и о своей любви ко всякой жизни, вступающей в неравную борьбу с этим грозным процессом обесценения энергии. И вот я увидел, что жизнь насыщает мертвое вещество, повторяясь в однообразных формах. Арена мировой битвы расширяется беспредельно...

Желтый зверь начал пожирать свою добычу. Я отвернулся.

— Что это! Мне вспомнились враждебные звуки четвероруких существ Паона. Предо мной были жалкие жилища, вроде тех, какие мы строили в дебрях. У самого большого шалаша плясали черные обезьяны, вооруженные длинными палками.

Я, кажется, вздрогнул. То были люди, почти люди!

Двое дикарей вышли из шалаша, и на их пиках я увидел мертвые белые головы настоящих людей. Орава уродов вытащили нагую белую женщину. Черные самки зажгли костры. Жрец начал мистический танец...

Я спрыгнул, забегал по залу, радостный и оглушенный. Какое открытие могло сравниться с открытием Риэля!

Я снова подошел к окуляру. Жрец слизал с ножа кровь. Я тронул кремольер.

Предо мной был город светлокожих. Если бы не снег, он напоминал бы города далекого прошлого моей страны. Улицы, возникавшие столетиями, поразительное неравенство зданий, вагоны, движимые электричеством, передававшимся по проволоке, тяжелые машины, четвероногие и нелепая толпа одетых, волосатых,

бездобразных людей — все это я видел когда-то в стеклянных залах музеев Дворца Мечты.

Я видел поезда, катящиеся по железным рельсам силой перегретого пара. Из красных ящиков вылезали люди и тащили громадные сундуки и узлы, сгибаясь под их тяжестью. «Частная собственность», — сообразил я.

Следуя за движением этих поездов, я перевел мой взор в глубь страны.

Белые дикии мало отличались от черных.

Я смотрел на снежный ландшафт. Седой лес, замерзшие воды, гнилые деревни. Вот предо мной человек, одетый в шкуру барана. В одной руке человек несет, размахивая, несколько убитых зверьков, другой тянет детеныша. Рядом понуро шагает теленок. Они входят в жилье, и теленок входит за ними. Внутри, на земле, лежит старик в шубе, в шапке и качает ногой люльку. Под люлькой, на сене, суга и выводок щенков.

Люди жили вместе с животными, как животные.

В одном месте при свете луны я увидел статую, воздвигнутую на пороге желтых песков: зверь с лицом человека. Я обратил внимание на толпы одинаково одетых мужчин, шагавших в ногу, возбужденно горланивших и вооруженных длинными ружьями, оканчивавшимися ножами. То, что я увидел, совсем не согласовывалось с моим представлением о войнах. Здесь не было ни подвижных армий, ни осажденных городов, ни «героев». Здесь были осажденные страны и вооруженные народы. В глубоких длинных ямах, вырытых параллельными рядами, на расстоянии большем, чем от Лоэ-Лэлё до Танабези, стояли люди и целились друг в друга. Я оценил высокое качество огнестрельного оружия и военных машин, применявшимися во враждебных армиях, каких никогда не было у нас...

То была скорее не война, а коллективно задуманное самоубийство. Я стал терять мое высокое равнодушие исследователя. Меня встремляла перемежающаяся лихорадка странного возбуждения. Временами я стал забывать о себе, жить чужой жизнью... Так, вероятно, бывает, Митч, когда вместо того, чтобы лечить болезнь, ты заболеваешь сам.

— Да, — сказал врач.

— Боюсь, мои видения покажутся слишком обычными, надоевшими. На трамвайном столбе медленно, как маятник дьявольских часов, качался черный труп повешенного. Город был мертв. Только маленькие мохнатые хищники бегали по улицам, обнюхивая куски брошенных тканей. Кругом города шли такие же мертвые изуродованные поля, словно земля в этом месте покрылась струпьями безобразной болезни. По ним бродили люди с красными значками на руках — символы могильщиков, вероятно, — и подбирали своих братьев — безлицых, безголовых, безногих, жалкие комки запекшейся грязи, бывшие когда-то людьми.

В грязевых гейзерах взрывов, в спутанных клочьях колючей проволоки, бетона и глины, где лишь угадывалась красная примесь, из траншей поползло длинное облако стелющегося дыма. Когда оно рассеялось, пространство, заключенное в поле моего зрения, напоминало кладбище солнцепоклонников. Мертвых сменили живые, защищенные безобразными масками. И какие-то громадные машины медленно двинулись на них. Солдаты выползали из своих ям. Люди бежали и падали, становясь странно неподвижными. Вдруг широкий взрыв мгновенно разорвал одну из машин. Куда-то бросились солдаты с запрокинутыми головами, и лица их, быть может, мне показалось, были черны, как уголь. Они так и застыли в моей памяти, потому что с порывом шторма белое облако, словно погребальный саван, закрыло всю сцену. Внизу клубилась неровная поверхность легкой влаги; на ее фоне простер крылья примитивный летательный аппарат. Аэроплан сделал несколько кругов и, как птица, увидевшая добычу, нырнул вниз.

Я скоро заметил, что раскрывавшиеся предо мной события не были связаны обычным течением времени. Отраженные лучи микроскопического светила каким-то сложным процессом перерабатывались для моего восприятия. Но стоило мне сдвинуть легкий рычаг, и в мой глаз проникал уже другой ряд лучей, в мое сознание — другие впечатления, и я не всегда мог определить, какие из них более ранние и какие поздние. Война — или, может быть, не война, — повальная болезнь, алые язвы которой я видел в ограниченных по-

лосах страшного мира, внезапно просочилась внутрь страны. Те же пятна войск расплывались по планете, отличаясь лишь едва заметными значками, и немедленно вступили в борьбу. Только приемы были примитивнее и кровожаднее... Впрочем, все это я видел... Пленники со связанными руками, которых под дикие танцы медленно топили в реках, пожары, внезапные порывы великолужия и потом еще более глубокий мрак странных противоестественных страстей, какие может навеять лишь болезнь... Кто говорил мне об этом?.. В тропических странах Паона есть чудовищный вид муравьев. Если разрезать экземпляр этой породы на две части, то половинки, челюсти и жало начинают свирепо сражаться друг с другом. Так продолжается каждый раз, в течение получаса. Потом обе половинки умирают.

Я вспомнил океан, мерное дыхание волн, простое сердце стихий. У меня возникла жажда погрузить сознание в его космическую синь; но на равнине воды, как пятна сыпи, появились сотни больших военных судов. Вдали одиноко погибал брошенный корабль. Объятый пламенем и черным дымом, он медленно погружался в пропасть, и обезумевшие ослепленные люди с разбега бросались в ледяные волны, среди наступающей ночи. Двигались наглые щупальца прожекторов. И волны, отражая огни пожара, казались фантастической зыбью адских болот, где, как говорит великий поэт, вечно мелькают беспомощные руки отверженных, простираясь к пустому небу за несуществующим спасением и ловя только холодный воздух бездны...

Я зажег белый свет, чтобы проверить ясность моих восприятий. Все было неизменно. Я приблизил плашку.

Было утро. В ореоле ледяных радуг вставало солнце. Под холмом сбились в кучу всадники и пехотинцы, плясавшие, как дервиши, чтобы согреться. О, я знал, какой это мороз, когда вместо одного солнца в небе кружатся пять! В такое утро я возвращался с берестяным ведерком воды в нашу нору на Паоне, и мои пальцы, одетые в мех, стали неподвижными, как ледяные сосульки... Вдруг я заметил, что от кучи солдат отделился голый человек. Он шел в степь, сжав на груди руки, с безумным лицом, прямо, не оглядываясь, точно

автомат. Солдаты лениво посматривали ему вслед. Потом один из всадников легкой рысью поехал по тропе, намеченной в снегу босыми ногами. Когда расстояние между ними сократилось на три шага, всадник не спеша занес высоко над головой изогнутую ледяную саблю. Страшный прорез вспыхнул наискось между плечом и шеей. Человек упал, но все еще был жив. Тогда всадник снял с руки длинную пику, и я видел, как голая нога три раза беспомощно поднималась кверху, при каждом нажиме.

Рядом, в чащце леса, стоял совсем старый солдат и молился. Я видел, у этого идолопоклонника не было никакой склонности к своей профессии. Что-то чуждое, какая-то противоестественная необходимость тяготела над ним. Двое других солдат, одетых иначе, подкрадывались к нему сзади. Я ждал, что враги только застрелят старика; но они не могли шуметь. Один из них быстро схватил его за горло — излюбленный прием этого мира — и опрокинул навзничь. Мгновение они боролись. Затем другой солдат равнодушно сунул в извивающееся тело свой нож. И они осторожно поползли дальше, озираясь, как хищники, и... и... также крестились!

— Митч, ты, конечно, давно понял: я открыл нашу Землю, земное человечество! Сейчас-то меня мороз подирает, хоть я и вколачиваю себе, что это всего лишь отражение идей, повторявшихся со временем Бернули. Или с каких времен?.. Эти горы, эта гигантская река, эти океаны земли на восток и запад до обоих океанов, весь этот громадный мир, такой великий для нашего глаза, эти звезды и тончайшая разорванная вуаль Млечного Пути, титанической аркой висящая над нами, все бездны, вся жизнь — только миниатюрный вихрь частиц в какой-то игрушке иного мира!.. А когда я был Риэлем, меня пугали маленькие красные пятна на белом снегу, то, о чём мы говорим в стихах.

— Но вот у меня опять нехорошо здесь, и я думаю, разве не страшно, что мы привыкли? Разве ты не привык видеть убийство? Разве я не втыкал мой штык в человеческое мясо? Впрочем, какие там стихи!

Я, Риэль, думал. — Огни, трупы, шествия, знамена, смятые шелка, корабли, наполненные солдатами, взрывы, мертвые страны: и эта вездесущая красная

ткань — кровь — только дикий вихрь, мчавший меня в кошмарных сферах! Мне казалось.— Сейчас я сделаю последнее усилие и проснусь в лаборатории, занятый сложными вычислениями, своим обычным трудом. Я еще ничего не достиг. Эта преходящая слабость навела меня дурной сон... Я помню, что закричал; но я был один, и никто меня не услышал в тот поздний час.

Я устал и беспорядочно перемещал поле зрения. Война продолжалась. Видения были неисчислимые: и я почти не думал о них; но несколько подавляющих картин встают предо мной ясно и неотступно, как эринии.

Тощие сумасшедшие женщины ломились, размахивая пустыми корзинами, в запертые двери; но женщины были слабы, и двери не открывались.

Огромная, выжженная зноем пустыня. И в ней только одно живое существо — человек. Он лежал неподвижно у маленькой норки и ждал с терпением больного.

Дальше!

Великолепная растительность покрыла побережье теплого моря. Светлый поток пенился среди виноградников, плантаций табака, маслиновых и миндальных рощ и садов фруктовых деревьев. Легкие яхты проходили мимо мраморных дворцов, останавливаясь у многолюдных пристаней, с кофейнями, базарами, лавочками. За чистым столиком сидели разноцветные женщины и мужчины в твердых ошейниках, ели пирожные, фрукты, жир и сахар, поглядывая на голых самок на пляже, внизу. Здесь же, около группы изящных легких зданий, медленно копошились такие же голые существа, едва способные двигаться: они были слишком толсты. Несомненно, это была лечебница для ожиревших. Они лежали на солнце, вытапливая сало, и читали курьезные бумажные газеты с десятками страниц. Один из них — белый и страшный урод — одолел, кажется, все это огромное сочинение. Там, наряду с рисунками разных яств, я видел снимок с того света — с голодных у дверей. Толстяк прочел газету, отложил в сторону и повернулся на другой бок. Он был спокоен... мистически спокоен!..

— Страна моей Гонгури! Митч, ты докажешь мне, что это только сон, а вот Земля существует несомненно!

— Нет,— завыл я,— нет, я не покажу этого Вези-
лету!

Мне было стыдно, что в моей комнате я нашел та-
кую дрянь.

Я быстро встал и опять захотел выбросить Голубой
Шар, ставший совсем тусклым при свете начинающего-
ся дня, но мой взор скользнул по моей комнате, по раз-
личным обыкновенным предметам, и я быстро успоко-
ился. Я даже улыбнулся. Так в детстве, после испуга,
мы бросаем последний презрительный взгляд в тем-
ный угол, где вместо почутившегося призрака висело
грязное белье...

Я в последний раз взглянул на Землю. Внизу волно-
валось беспредельное поле злаков. Я смотрел на золо-
тые волны, обещавшие новую жизнь, и мой мозг очи-
щался от раздражения и невечных мыслей. Мне вспоми-
нились другие волны, неизобразимое смятение текущих
людских масс на улицах удивительного города, странно
многолюдного центра среди пустынных северных рав-
нин. Тогда я не понимал отдельных поступков, но об-
щий смысл творимой жизни был мне ясен... Я знал
судьбы этих порывов. Все было открыто мне. Может
быть, я заразился чем-то от Земли, но я уже без содр-
гания вспоминал алые пятна на белом снегу и радост-
ные лица идущих мимо мертвых. «Иногда течет много
крови, иногда меньше». Прошли века, настало время
другим расам плясать под скрипку мишуруной смерти.
Снова загорелись костры и запахло человеческим мя-
сом. Но ураганы проходят. Являются гении. Мир стано-
вится прекрасным...

И вот я снова изнываю в своем величии и в своем
ничтожестве! И предо мной неизменно, везде, одна
и та же Бесконечность, грозная, как старинный бог...

Жизнь! Вот целую ночь я жил другой жизнью, но
разве она не «одна во всем», как говорит Везилет?

Я был царем и, томимый скукой, убивал прокли-
навших меня потому, что я был мудр и думал о вели-
чии, непонятном звериному народу. Я был рабом, и
мне ничего не надо было, кроме маленького клочка па-
хотной земли, но воины царя врывались в мой дом, на-
силовали моих жен, уводили с собой, и я проходил ты-
сячи мер, убивал и мучил, повинуясь враждебной воле,
и сам мучился от постоянного ужаса. Я был избранни-

ком народа и казнил деспотов и вождей черни, и толпа ликовала вокруг их виселиц. Я был преступником, мне вырывали ноздри и приковывали к огромному веслу, и я должен был двигать его взад и вперед все дни моей жизни. Если я останавливался, плеть надсмотрщика врезалась в мою спину, и снова я напрягал разорванные мускулы, пока мой труп не выбрасывали в море.

И кем бы я ни был — убийцей или пророком, во мне осуществлялась одна и та же бесконечная жизнь. Иногда я возмущался против нее и не хотел играть роли, какую она мне предназначала, я уничтожал ее, но все-таки любил и ненавидел только те сердца, злование от разложения которых подобно аромату тяжелых пахучих смол, в сравнении с тем, какое они распространяли, когда бились.

Женщина была на моем пути, и если я любил ее, я был бесстрашен и побеждал всех... Миллионы лет сменяли миллионы, а жизнь однообразная, как морские волны, и, как они же, неповторяющаяся, длилась стихийно, победно, безнадежно. Всегда, когда я подчинялся ей, подчинялся даже и самой смерти, но теперь я устал и хочу знать, что же Я — смертный Риэль в ее торжествующем бессмертии. Я хочу знать... Я хочу знать!

IV. *Рубиновое сердце*

Врач подошел к нарам, погладил горячий лоб юноши. Рука была горячей.

— Ты говори тише, — повторил он.

— Ничего, — потемнел Гелий. — Я скоро кончу.

Черт, нет курева!

— Да, все.

— Ну вот. — Я рассматривал землю..., но лучевой поток солнца, яркий, желтоватый, теплый, проник в комнату... Как хорошо! Я подошел к окну.

Золотая вуаль волновалась в утренней влаге, и сквозь нее нежнее казались очертания зданий, залитых могучим ровным светом. Нежные туманы бесшумными лавинами катились с гор. Ветка вьющегося растения достигала моего окна. На ней качался, простираясь ко мне, единственный, огромный, белый цветок. В первый раз я испытывал радость от простой мысли, что

живу в этом моем мире. Радость и гордость. Веселые школьники, похожие на быстрых птиц, гонялись за большими платформами, несшими груз зеленых, желтых, оранжевых, красных плодов. Быстрые корабли, как легкие рыбы, плыли в легком океане неба. Я лег и стал думать, что в этот день я пойду рука об руку с Гонгурой, последней из Ороэ, в центральные залы Дворца Мечты. Так, мечтая, я понемногу погрузился в пылающие пятна памяти, в глазах замелькали изменчивые фосфены, словно мягкие цветные хлопья, и я утонул в них, теряя сознание.

И все время мне снился громадный глаз, смотревший на меня из высшего пространства.

Чей-то веселый голос звал меня.

Мне казалось, что это Нолла будит меня ранним утром среди сверкающих снегов Паона. Я открыл глаза. Солнце светило мне в лицо; на жемчужном экране смеялась Гонгурой...

Обряд передачи Рубинового Сердца был древен, корни его врастали в религиозную магию Неатна, основателя «Союза Побежденного Духа». В мое время, конечно, обряд был пронизан лишь эстетическим сознанием, бездумным и радостным. Каждый раз в его светлую форму вливалось новое творческое вино. Я отвык от людей, ночные видения меня истощили, но мне было хорошо здесь. Я рассказал Гонгуре о своей любви и о нашей первой встрече над берегом моря.

Мы шли по зеркальной площади Дворца Мечты. Под ногами сияла отраженная голубая глубь, белые перистые облака вздымались внизу. И в центре, в бездну и небо, рос лучезарный Дворец. Он был построен в последний раз, совсем недавно, в год моего рождения. Тогда здесь работал Рунут. Дворец был отлит из искусственного золота и золотистого топаза, он был стремителен и блестящ, как язык пламени, как солнечный протуберанец. Сквозь вибрацию воздушных волн на высоте 500 метров я видел статую такого же восходящего к свету юноши, как на берегу моря, только взор его был открыт и он не закрывал лица от солнца. Я помнил о жизни страшной планетки и все не мог решить: сейчас мне сказать о ней или подождать? — «Риэль! Риэль! Риэль!» — слышал я эхо толпы. Где-то высо-

ко над нами скрестились колебания токов и запели, рассыпались страстным гимном Сторы.

Стора — девушка, отдавшая свою жизнь ради крупицы знания. Этот полулегендарный эпизод тоже связан с именем Неатна. Не помню, для чего ему понадобилось наблюдать живое бьющееся человеческое сердце. Стора согласилась на этот опыт и не перенесла его. С тех пор ее имя стало торжественным символом и почитание ее превратилось в культ...

Мы шли, наверное, полчаса по невидимой голубой глади; легкое и грандиозное здание заполнило мой кругозор. Я смотрел вниз и видел Дворец Мечты опрокинутым, как в телескопе. Сумрачный вход казался узким в лучевых вертикалях, но может быть, более ста человек в ряд вошли, не потеснившись, в громадное ограниченное пространство, где каждый звук замирал в отдалении. В голубоватом тумане, как вершины в голубой чистоте и свежести неба, растворялся зеркальный свод, и там еще громче длился зов гимна. Безилет встал у ног статуи Сторы, поднимавшей к своду свое Рубиновое Сердце. Он говорил о красоте творческих стремлений, о том, как они зарождались на заре человечества, сначала случайными вспышками, сначала в играх дикаря или ради его жестоких нужд и наконец разгорелись в пожар независимой страсти, приведшей нас к величию. Он говорил о страданиях, так хорошо известных всем нам — они были неисчислимы и все-таки бессильны, — о желанных страданиях творчества и прославляя даже отречение от радостей жизни. Он говорил только давно знакомые фразы, но они звучали во мне, подобно гимну Сторы...

На черном камне мелькнули слова древней клятвы Неатна — «...если бы даже ангелы преградили ваш путь — не смущайтесь, ибо истинно говорю вам, будете тогда, как боги!»...

Безилет опустил на мои плечи нить черных жемчужин с Рубиновым Сердцем, и потом все подходили ко мне и говорили о любви, наполняющей сознание...

Этот день был очень утомителен для меня. Я долго стоял перед экраном, меня хотели видеть во всех городах, я слушал длинные приветствия и говорил одно и то же, смотря на мелькавшие лица. Гонгuri оставила меня. Тогда, в первый раз в эти годы, я вспомнил о Ру-

нут, о Сэа, о светлом спокойствии Танабези. Я вызвал Рунут и попросил ждать меня в нашем старом саду, у зданий моей детской школы.

Я поднялся высоко и летел, омытый теплыми жесткими струями урагана, радуясь, что жизнь так далеко от меня. Я был болен. Мне казалось, что не онтэйтный пояс, а хаос возносящих экстазов Сторы несет меня в небе. За хребтом порфировых гор Лоэ-Лэлё, на зеленом плоскогорье, у подкаменной речки, я увидел людской рой. В толпе поднимались десять громадных межпланетных кораблей. Я вернулся; но прежде чем передвинуть диафрагму изолятора на падение, я снял черный жемчуг с рубином. Внизу было торжество более громкое, чем избрание Ороэ; но я ничего не знал; в последнее время я совсем не слушал газет. Странный старик стоял на нижней лестнице и не говорил, а кричал, грозя кулаком в небо. И вся толпа была возбужденной. Я спустился, спросил. Трое обернулись. Кто-то седой ответил, точно отмахнулся от насекомого: «Здесь не до мальчишек». Грубость всегда казалась мне удивительной, я взял человека за руку. Он обернулся снова, тоже удивился и вдруг засмеялся мне в лицо. От него запахло мутным и перегорелым. Он сказал:

— Война!

Кровь моя упала. Откуда он узнал о моих видениях? Кто-то из нас спит. Я дернул его, чтобы он очнулся. Вероятно, я заразился общим смятением. Сильный толчок отбросил меня в сторону. Несколько человек подлетели к нам.

— Что это, перепились?

Внезапно взвыли победные клики, я взглянул: корабли исчезали в небе. Я бросился вверх, так высоко, что стал задыхаться. Я был оглушен миром. В первый раз я подумал, что в школе Лоэ-Лэлё говорили правду.

Рунут встретил меня в аллее магнолий, у бассейна из яшмы и выюющих роз. Мы говорили о последних работах Рунут и о значении моего открытия. Пришла Сэа. Рунут, чтобы не беспокоить меня, сказал обо мне только ей. Сэа была прекрасна, но то была другая красота, чем Гонгuri. Можно было любить кого угодно и в то же время чтить Сэа, как стихию. Она говорила, что однажды пыталась увидеть меня, но Пойрироль,

варвар, с ужасом заметил ей, что никого нельзя отвлечь от работы в лабораториях... Так мы болтали, любуясь, пока диск моего браслета не стал оранжевым — цвет восьмого часа. Сэа звала меня на великолепные игры, где будут мои прежние друзья, но я мог только обещать вернуться на следующий день.

Я спросил Рунут, не знает ли он о десяти кораблях, и увидел, что Рунут, как все, удивляется, что я не знаю. Я был болен, и мне все казалось, что непредставимый глаз смотрит на меня и мою страну, как я смотрел на Землю. И потому меня мучило желание совершить нечто превосходящее все поступки мира трех измерений, только что? — Я не знал и вот забывался.

— Ведь это же экспедиция Гэла, Риэль! — сказал Рунут.

Гэл! Я вспомнил. Значит — сегодня... Полтораста лет перед этим Тароге поднялся за пределы солнечной системы, чтобы никогда не возвращаться. С ним было двадцать человек детей. Взрослых было всего трое: Тароге, инженер Ставант и жена его Лопэ. Потому что путь их должен был длиться более тридцати наших годов. «Победитель пространства» Тароге нес нужное количество конденсированной энергии пищевых экстрактов; но если бы на планетах ближайшей звездной системы не нашлось доступных условий для жизни, все должны были бы погибнуть. Тридцать лет! О них, об этой жизни в межзвездной пустыне, были написаны поэмы... Я знаю, тебе будет очень интересна эта деталь: помнишь мои вирши — «Империализм Солнца»? Их свертели на цигарки в Саянах. Тема одна и та же...

Тароге нашел планету, подобную нашей. Она получила имя: «Генэри», в честь первого ребенка, родившегося там. План Тароге был прост. Люди должны были размножиться, построить город, заводы, машины, наполнить истощенные конденсаторы энергией и потом через столетие кто-нибудь должен был вернуться в Лоэ-Лэлэ. Вокруг, с одной стороны, расстилалась огромная равнина, покрытая красноватой травой, в рост человека, наполненной бесчисленными существами, с другой, за небольшой речкой, начинался лес и вдали снежные непроходимые горы. Это была экваториальная полоса с ровным и теплым климатом. Люди построили дом из обожженной глины и посадили

хлеб. Жатва была обильной; но что могли сделать несколько человек на планете, в полтора раза превосходящей наш мир? Тогда Тароге начал поиски неведомого случая. Через год, в плодородной долине, немного севернее тропика, генэрийцы встретили становище темнокожих. Они знали богов, огонь и оружие. Новые белые боги взяли их детей и много молодых женщин, а мужчин заставили строить глиняные дома. Женщины рожали расу полубогов, ни белых, ни темных. Старые колдуны племен собрали совет и решили обмануть выходцев неба. В одну ночь они снялись и ушли в дебри со всеми людьми; но повелители настигли беглецов. С помощью чудес и смерти они подчинили их и вернули в прежний плен.

Через 60 лет в глиняном городе Тароге было более 300 человек, говоривших на языке Гонтури, и еще больше детей, учившихся в настоящей школе. Доменная печь озарила заревом заросли Генэри, жидкий металл послушно стал принимать форму машин. Приближался день, когда старые конденсаторы победителя пространства должны были снова наполниться радием; но неожиданная опасность отдала победу еще на много лет.

Тароге умер от змеиного яда. Темнокожие рабы считали его вождем пришельцев. Один из туземцев, Умго, понял, что если ударить белого дубиной, он умрет даже скорее, чем зверь. Этого нельзя было сделать только потому, что другой белый тотчас же направит смертельный огонь из трубки, которую всегда держит рукой в кармане. Умго ненавидел победителей. Его мысль была медленна и упорна. И вот однажды он исчез из города вместе с дюжиной других обученных дикарей. На этот раз их нельзя было найти; но через два года они появились с тысячами коричневых воинов соседних становий. Умго научил часть из них употреблять лук и деревянные стрелы, чтобы убивать невидимым из-за угла. Вокруг него объединились все ограбленные племена. Первыми погибли рабочие, копавшие руду в горах. Потом воины окружили школу и перебили полубелых детей. Женщины сбежались на их крик и потерялись в толпе. Когда генэрийцы сумели организованно пустить в ход оружие, половина их многолетнего труда была уничтожена или обесценена.

Умго не был убит. Он увел племена в дебри и горы. С тех пор заросли стали непроходимыми. Пришлось строить укрепления и ввести боевые отряды для походов за рудой и охраны.

Война длилась более двадцати лет, прежде чем был закончен межпланетный двигатель, унесший Гэла. И вот теперь город Лоэ-Лэлё построил десять победителей пространства, в пять раз превосходивших корабль Тароге, чтобы пополнить светлокожей расой и могучим оружием порядевшие ряды колонии Генэри.

Рунут помрачнел. Быстрые видения истощали ясность моей мысли. Я бормотал.— Так вот почему старый пьяница крикнул мне сегодня противоестественное слово: «Война!» Вот почему у Гэла такое томное лицо и глаза слишком широко расставлены друг от друга!

Внезапно я почему-то вспомнил Голубой Шар, и ночные кошмары снова овладели мной.

— Что с тобой, Риэль? — спросил Рунут.

— Ах,— ответил я,— как бы мне хотелось явиться между ними и смести лучами смерти и тех и этих... и тех и этих! Я погружался в прошедшие века и в будущее,— все становилось расчетливее, но убийств совершалось больше... О, как можно так быть! Как можно, когда все это здесь, рядом, как можно...

Я взглянул на Рунут и вздрогнул. Это действительно было безумие.

— У тебя опасный бред, Риэль,— услышал я.— Нельзя безнаказанно в несколько лет молодости совершать работу целой жизни. Если бы ты остался у нас, ты не прятал бы своих мыслей, мы трудились бы вместе, и человечество приобрело идеи твоих изобретений и твои открытия закономерно и безболезненно; но в Лоэ-Лэлё, с ее культурами, празднествами, индивидуализмом и громадным гипнозом, ты был захвачен эгоистической страстью, более сильной, чем твоя воля. Ты мог бы стать таким же счастливым, как Сэа, и потом таким же, как я; а теперь разве ты счастлив?..

Рунут был прав, и я дал ему обещание, что я буду жить с ним, в Танабези.— «Только не теперь»,— добавил я невольно. Я рассказал о Гонгури. Рунут немного успокоился, но, вероятно, его надежда исчезла в тумане подсознательных тревог так же мгновенно, как мое

тело, брошенное слишком резким движением в обла-
ка, озаренные пурпуром и киноварью заката.

Ждала ли меня Сэа, не знаю...

Может быть, я неверно передал впечатления этого вечера. Я думал о другом. Я вижу, сквозь голубоватый дым, гениев Ороэ за каменным столбом, в большом зале. Высоко, словно невидимые жаворонки, пели струны. Невидимые автоматы приносили нам розы и фрукты, и сок Аоа. В зеркалах, в полированных геометрических поверхностях, отражались светящиеся шары — светильники, легкие, как воздух, бесшумно блуждавшие между нами. Голова Гонгурин лежала на моем плече. Я знал — Гонгурин меня любит. Я слушал Гэла. Он был силен и крепок, ему было более ста лет. Он жадно насыщался и, как все ограниченные люди, очутившись в центре великих событий, рассказывал громко и пространно о жизни на Генэри. Я видел... Умго, с лицом ночного человека, раздвигает папоротники, бесшумно, как рысь; Тароге, убийца и гений, обдумывает план глиняного города... И я ловил себя на смешном вычислении, во сколько раз скорость мысли превосходит скорость света?

Юноша поэт, светлоглазый Акзас, влюбленный в Гонгурин, подошел к нам, улыбающийся, бледный. Акзас был одет в драгоценную ткань, и мы жалели его. Одежду носили только старые люди; молодым она назначалась эстетической комиссией, чтобы скрыть недостатки тела. Я услышал напряженную декламацию, отрывок из той же старинной поэмы «Ад», которая вспоминалась мне, когда я смотрел на Землю.

— Тогда настала тьма. Я ввержен был
В холодное бескрайнее пространство,
И пустота рвала мне грудь и душу;
Осталось только тусклое страданье,
Такое скучное, что показалось,
Миллионы долгих лет прошли, когда
Часы отметили одну секунду...
«Я это знал», — промолвил я с тоскою.

Быстрым взором памяти я развернул земные картины, и мне также показалось, что я прожил годы в ту изумительную ночь. Я спросил Гэла:

— А что, те новые люди, ушедшие сегодня на помощь, опять будут насиливать женщин и отнимать их детей?

Гэл засмеялся.

— Ты думал, — сказал он, — что жизнь это только то, о чем говорят в школе?

Вот уже второй пьяный старик глупо оскорбил меня сегодня. Гнев непривычно сдавил мне скулы, я встал и сказал Акзасу:

— Молчите! Что ваши стихи? Хотите, я покажу вам настоящий ад?

Настала тишина. Гэл усмехнулся. Тогда я рассказал о странной породе человекаобразных, найденных мной в голубом фосфоресцирующем шаре. Я не удержался и рассказал о многих земных видениях, за исключением слишком нестерпимо стыдных, и, наконец, заговорил о самом поразительном, о возможности великого Риэля иного мира, созерцающего нашу страну из непредставимых пространств. Те существа, быть может, настолько же превосходят нас, как мы карликов частицы Голубого Шара; может быть, они вовсе не зависят от стихий, может быть, они непосредственно обращаются друг с другом и обладают нечеловеческой способностью познавать сущность вещей...

Вдруг, рассекая мои тревоги, раздался радостный голос:

— Как это прекрасно!

Я замолчал, опустился. Везилет заговорил о том, что поток жизни более безграничен, чем мы думали. С каждым взмахом маятника создаются, развиваются и умирают бесконечные бездны миров. Всегда и везде жизнь претворяет низшие, обесцененные формы энергии. Мир идет не к мертвому безразличному пространству, всемирной пустыне, где нет даже миражей лучшего будущего, а к накоплению высшей силы:

— И над всем доминирует мысль! Мы еще не знаем ее действительной силы. Может быть, она зажигает солнца!.. И вот Риэль открыл, что она вездесуща. Как это прекрасно!..

Я вспомнил цикл идей Везилета. Жизнь растет. Мир оживает. Материя постепенно станет жизнью, а жизнь сознанием. Может быть, когда-то Вселенная была сознанием, ворвавшимся в звездную туманность от неведомого творческого порыва. В юношеских своих стихах Везилет говорил о двух бескрайних сферах сознания, слившихся в любви. Так родился Мир. Не отсю-

да ли, не от неосознанной ли памяти уродливая идея Гога? — Я смотрел на прекрасный лоб Везилета и видел жреца, слизывающего с широкого ножа кровь. Это ведь тоже сознание. Оно казалось мне черным, поглощающим светлую мысль в странной интерференции. Мысль! Можем ли мы еще говорить о ней? К чему привели нас тысячелетние исследования психической энергии?.. Мне хотелось разбить доводы Везилета, я смог бы сказать так много; но я ощущал в себе большое безразличие и промолчал.

Прямые губы Акзаса, с легкой атавистической тенью, как у Марга, раздвинулись: «Я с нетерпением жду, Риэль!»... Я знал, что он не был из числа «Хранителей Тайн». Это меня волновало.

Гонгури, Везилет и еще несколько человек последовали за нами.

Мы летели над звездной улицей. Огненные потоки шли по контурам зданий, отражаясь в нижних зеркалах. Границы вершин Дворца Мечты бросали чистейшие лучи фиолетовой части спектра, такие мощные в своих элементарных тонах, каких нигде никогда не бывает в мире. Сияющие корабли отделялись от плоских крыш, поднимались, ускоряя полет, реяли и мелькали как метеоры. Низкий тембр огромной жизни едва касался сознания, и трудно было отличить, когда кончалась музыка лучей и начиналась музыка струн. На северо-западе, где поднимался Звездный Путь, на горбе каменного мыса маячил силуэт дворца Лонуола. Дворец был покрыт светящимся веществом и горел ровным голубым светом, отражаясь в зыби океана, живой и воздушный, как сказочный дух. Гонгури держала меня за руку и тихонько импровизировала бессвязно:

— Лоэ-Лэлё и Звездный путь.
Риэль,

мы дети великанов.
Великий ветер океанов
Мне голову кладет на грудь.
Риэль,

забудь...
Риэль, забудь мираж экранов.
Лоэ-Лэлё и Звездный Путь.
Ночные бризы океанов
Нам голову кладут на грудь.
Риэль —

забудь...

Полет!

Мы опустились в той самой комнате, где я начал свой день. С изменившимся лицом Везилет смотрел на статую мыслителя и на Голубой Шар, вырванный мною из его руки.

— Мозг Неатна! Риэль, неужели ты не знал?

Нет, я опять забыл. Память моя была перегружена слишком односторонне. Я вспомнил предостережение Рунут...

Умирающий Неатн, близкий к той черте, где бесконечность гениальности переходит в бесконечность безумия, велел своему ученику Дею каким-то неведомым способом препарировать его мозг. Дей исполнил желание своего учителя, и с тех пор мертвая ткань за-сияла с непонятной постоянной силой.

— Мысль, электроны света. Мир... Мозг... непонятно... — забормотал врач.

— Что с тобой, Митч?

— Так. Это я говорил во время твоего сна. «Мир... мозг... непонятно»: Мир — мозг Неатна!

Гелий побледнел.

— Ты хочешь сказать?.. Да... В этот момент я — Риэль — впервые проникся безнадежностью вставшей перед мной загадки: может быть, ничего не было, может быть, сон?

Везилет, волнуемый совсем особым любопытством, поднялся к моей машине... И вдруг остановился; и все внезапно замерли и умолкли.

В окне стоял человек, одетый в простую одежду — черного или скорее темно-серого цвета, откуда еще резче выделялось его белое невиданное лицо. Он помедлил, взглянул нам в глаза, и его черты отразили спокойствие и рассеянность. Это был Лонуол. Он медленно поднял тонкую серебряную трость, раскаленную на конце током, и коснулся поверхности Голубого Шара. Изумительное вещество вспыхнуло огромным розоватым пламенем, и скоро от него остался только чад.

Когда я очнулся от гипноза, Лонуола уже не было. Некоторые части моей машины оказались испорченными, и наблюдения стали невозможны. Аксас подошел ко мне и спросил заученным тоном: «Уверен ли ты, Ри-

эль, что все, о чём ты рассказывал, не приснилось тебе прошлой ночью? Вспомни, — ты очень утомлен»...

— Я думаю об этом, — ответил я.

Везилет бросил на меня короткий тревожный взгляд и подошел к окну, где неподвижно стояла Гонгури, смотревшая на звезды. У меня кружилась голова. Может быть, причиной нездоровья был чад, оставшийся после сгорания шара... И еще, все время меня мучило представление, будто я вдохнул ту частицу газа, где находилась Земля. — «Так что же мне сделать, что сделать?» Я старался воплотить какое-то смутное решение. Потом, внезапно, я увидел свет, подобный мысли Архимеда, когда он воскликнул: «Эврика!»

Я ушел в мою любимую черную комнату. Ее стены образовали восемь углов, одна из них, с огромным окном, не была параллельна противоположной. В глубине со звоном падали светлые струйки воды, и блики света и звуки тонули в мягких поверхностях черной материи. Мраморные статуи в нишах казались летающими в темноте. Между ними качался тусклый диск маятника. В трех плоскостях, на потолке и на противоположных стенах, заключались три зеркала. Я заглянул в их призрачные пространства и увидел там себя, — странно изменившийся образ, радостный, почти нечеловеческий. С каждым взмахом маятника, думал я, «жизнь осуществляет свое назначение, и скоро я постигну его, и постигну, что же я — Риэль — в этой смене существований». Я клялся жизнь свою отдать ради достижения истины и потому, подойдя к медленным часам, достал из ящичка, вделанного в них, заветный яд.

— Риэль! — позвала меня Гонгури.

Я спрятал драгоценное вещество и пошел ей навстречу.

— Риэль, — говорила она, — ты нездоров, тебе надо принять лекарства и отдохнуть...

— Да, я очень устал, Гонгури; я хочу большого покоя, — сказал я.

Мы подошли к окну.

— Ты видишь перед нами этот сад с темными силуэтами деревьев, дальше ты видишь горы, и представ-

ляешь море, и наш город, и более смутно, весь наш обширный мир с его великим человечеством, любовью, красотой... Выше! Скоро Лоэ-Лэлё превратится в неясное пятнышко, потом обрисуется громадный контур нашей планеты... Дальше! Наш мир перестал существовать для нас. Мелькают звездные системы, косматые туманности, остывшие солнца, и потом нас окружают большие провалы... Дальше! Звезды сближаются в поле зрения, и скоро вся видимая вселенная становится маленькой ограниченной кучкой яркой пыли. В отдалении появляются другая, третья, множество таких же звездных скоплений. Мелькают миры, исчезают в перспективах, словно разнообразные предметы, когда быстро летишь невысоко над землей и смотришь назад... Дальше! Звезды наполняют видимое пространство, оно начинает казаться более плотным и, наконец, превращается в маленький шар, излучающий бледно-голубой свет... На мгновение мы теряем сознание и потом вспоминаем, что мы здесь, в Лоэ-Лэлё. Ничто не изменилось. Пред нами тот же сад, полный цветов, вдали горы, где-то должно быть море, дальше город и весь остальной неподвижный громадный мир... А вверху небосвод, полный знакомых звезд,— тоже неподвижных... неподвижных для нас... я устал, Гонгури...

Она приласкала меня, и я думал: «Да, как это бессмысленно мучиться из-за того, что всегда одинаково...»

— Неизмеримость — прекрасна, потому что пред ней равны все пространственные величины, и вот любовь становится больше мира... — Но как мне было сказать? Я не мыслил, я ощущал ее. Это было пустое — щемящее, тошнотворное. Оно было во мне. Как это скажешь?.. «Человеку не дано последнего знания, и это прекрасно!» Я соглашался с Гонгури и думал: «Сейчас я проверю...»

— Забудь о своем сне, о своей страшной земле, Риэль, — длилась далекая речь. — Утром мы полетим с тобой вместе в поля, где растут лилии долин, и в рощи Аоа. Мы будем смотреть на радугу в брызгах водопада и ловить голубых птиц. Потом мы войдем в мой корабль и улетим на острова Южного океана. Там, я

знаю, в пустыне, есть одинокий атолл. Мы будем там одни. Долго...

— Да, — прошептал я. Забываясь в ярких эдемах, мы сидели, обнявшись, на пушистой шкуре черного зверя. Иногда я начинал дрожать от странного волнения, и это беспокоило Гонгурину.

— Пустяки, — сказал я, — бессонная ночь и усталость. Сейчас я приму успокаивающего лекарства, и все пройдет.

Тогда я вынул частицу пурпурового вещества и проглотил ее. Потом я выпил воды, и мне стало спокойно.

Мы говорили о красоте и величии жизни, о любви и цветах, растущих на великолепных склонах гор. Я ощущал, как постепенно безболезненно умирает мое тело, и, забываясь, уносился в сияющие выси. Скоро Гонгурину заметила неестественный цвет моего лица и замедленное биение моего сердца. Она быстро осветила комнату и, взглянув мне в лицо, поняла все.

Я закрыл глаза и лежал неподвижно.

Вдруг я услышал голос Ноллы и другие светлые голоса.

— Риэль, бедный Риэль, — говорила она, — мы не можем тебя взять с собой, потому что ты убил себя.

Внезапное смущение заставило меня в последний раз поднять веки.

— Риэль, бедный Риэль, — едва слышно повторял Везилет, — он не знает, что самоубийство не может раскрыть ни одной тайны.

Вдруг мне показалось, что это не Везилет, а Лонуол.

Я пытался ответить ему, но не мог, и стремительно погружался в странное состояние сознательного небытия, полного мерцающего света и шума. Так длилось, вероятно, очень много времени, пока, наконец, ты не разбудил меня. И вот я здесь. Под окном ходит часовой. Тюрьма.

V. Красные ландышши

Двое долго молчали. Гул мира выл в тишине черепа. Поздняя луна всплыла из-за соседнего корпуса, как будто вздрогнула, взглянув на землю, и медленно по-

плыла к зениту, побледнела и задумалась, как лицо Лондула.

— Одна десятимиллионная миллиметра и десять миллионов световых годов одинаковы для мысли математика и воображения поэта. Гонгури права. Это прекрасно.

Гелий встал, шагнул не видя вперед. Лунный свет нарисовал на стене черную решетку. Гелий очнулся. Кровь его стала на дыбы и тяжело грохнулась, как лопасть. Он вздрогнул.

— Мысль эта впервые была высказана, кажется...

— Мысль! Мысль! — забормотал Гелий, — что такое мысль? Она вроде кори: рано или поздно, а придет человечеству. Но никто, никогда... — Да, Митч, я знаю: это сон. Я помню только то, о чем думал раньше. Почему я забыл такие простые вещи: как изготавливается онтэйт, электрическое оружие? Я мог бы расплавить засовы, уничтожить тюремщиков, освободить человечество... Но я забыл! Сон, сон! Пальмы качают листьями на коралловых рифах, теплые волны шелестят галькой, моя девочка потягивается от наслаждения, когда ее распеленают, студенты идут за город, и у каждого из них есть лучшая из всех девушек... «И вот любовь становится больше мира», — говорит Гонгури. А я... — Митч! Усыпи меня опять и вели запомнить все, все!.. Ну, ладно, — ладно, знаю, — невозможна, глупость, чертовщина, — но ведь теперь уж все равно... Нет! — Почему бы не предположить, что бессильное в яви сознание в гипнотическом трансе вдруг найдет силы открыть выход? Вдруг потенциальная энергия мозга освободится сразу, в гениальном предвидении? Разве тоска моя — не сила, разве ее мало, чтобы проломить какую-то кирпичную стену? Усыпи меня, Митч, прикажи точно запомнить, как с помощью обыкновенного тока приготовить онтэйтный пояс и оружие. Может быть, нам удастся...

Старик обнял его и утешал беспомощно и ласково.

— Ты бы лег... Ты еще не спал... завтра.

В лунный луч спустился овальный научок и застыл в бледном сиянии, словно туманность Андромеды. Сны Гелия помчались в большие провалы, в сияющие вихри, в электронные кольца. Паутинные нити и круги заплели небо, радужные нимбы и фосфены открылись в

громадный глаз, смотревший на него из непредставимых бездн. Он проснулся. Сердце его билось безумно. Прямо в его лицо, как сверхъестественный глаз, смотрело желтое солнце.

Камера была полна людьми. Впереди стоял молодой чешский офицер, белобрысый, розовый, свежий. Рядом нерешительно мялся жирный джентльмен, одетый в однотонное хаки. В джентльмене без труда можно было узнать современную разновидность миссионера и филантропа. Комендант скомандовал встать.

— Это и есть большевики? — вполголоса спросил американец у своего переводчика и вдруг получил быстрый и насмешливый ответ на родном языке от грязного молодого арестанта, продолжавшего лежать на нарах.

— Да, они самые...

Последовал стереотипный удивленный вопрос:

— Где вы учились по-английски?

— М-р Мередит! — воскликнул врач, вставая.

Американец застыл. Он вспотел, снял очки, протер шелковым платком цвета хаки круглые стекла и надел снова. Ему обещали показать ту породу существ, что во всех журналах изображается в виде орангутангов... и вдруг его называют по имени! Это было хуже землетрясения.

— М-р Мередит, вы меня не узнаете? Вспомните, однажды мне пришлось дежурить у вашей жизни.

— М-р Митчел! — хрипнул американец. Он не знал, что ему делать, но все же протянул руку. — Господи благослови! Как вы сюда попали?

— М-р Мередит, я знаю, вы близки господину генеральному консулу, у меня есть к вам единственная просьба.

— Да, да, конечно, — ожил американец. — Я похлопчу за вас...

— Благодарю, мне не угрожает опасность; я говорю о нем. Это тот, о ком я говорил с вами в Штатах. Вы написали статью по поводу бомбардировки Реймского собора. Мне передавали также, что вы поместили в «Стейтсмене» интервью по поводу разрушения Красной гвардии памятников искусства в усадьбах русских бар. Вы должны думать, что сохранить художника важнее, чем предмет искусства. Храм, разрушенный варва-

рами, может быть восстановлен; но кто скажет, что мы теряем со смертью молодого автора? М-р Мередит! Вы пользуетесь влиянием, вы должны спасти его... Иначе вы и вся ваша самодовольная нация, только...

Старик закашлялся!

Гелий подошел к нему.

— Зачем все это, Митч?

Мередит растерянно бормотал свое: «Уеа, уеа».

— Скажите ему,— обратился он к переводчику, кивая в сторону коменданта,— что они оба американские граждане, чтобы с ними обращались хорошо, и т. д. ... и что я лично буду говорить со штабом.

Чех был хмур. У него была неудача с русской девушкой. В таких случаях на человека находит вдохновение. Вот прекрасный повод сорвать злость и отличиться! Он сообразил, от каких бесчисленных хлопот он избавит свое дипломатически настроенное начальство, если умело выведет красных в расход. Он галантно поклонился Мередиту, сказал, что ради него он немедленно переведет арестантов на заемку для исправляющихся, около монастыря, на том самом берегу, который Фритьоф Нансен назвал «Северной Ривьерой».

Американец соображал, следует ли ему проститься, но, увлеченный солдатами, очутился в коридоре и махнул рукой. От дальнейшего обхода он отказался.

Через час чех вернулся в камеру озабоченный и сияющий от своего творческого подъема.

— Собирайся! — сказал он Гелию.

— Куда?

— На заемку.

Гелий подошел к своему другу, поцеловал его.

— Прощай, старина!

— Прощай! Нет, я пойду с тобой...

— Ну,— хлопнул себя по обмоткам английским стеком чех,— ты в другой раз.

Надзиратель легко отмахнулся от старого арестанта и захлопнул дверь.

Гелий пошел впереди небольшого конвоя. Они быстро прошли пыльный город, пересекли линию железной дороги, пригороды и стали подниматься по направлению к Сопке. Дорога шла среди свежего березняка, выше начиналось краснолесье. Гелий задумался, он вдыхал теплый запах смолы.

Внизу, между зеленых гор, стремился голубой, сказочный Енисей. Рядом вздымались кедры; в траве, у красных скал, росли неисчислимые ирисы, сарана и красные гроздья незнакомых цветов, называющихся в Сибири ландышами...

В красном бору, у Красного Яра, красные ландыши!

Как на экране своей машины, он ощущал, что шедшие за его спиной остановились, осторожно защелкали затворами и зашептались быстрым чешским говором.

Синели дали.

Это было такое же сияющее утро, как Лоэ-Лэлё, когда он шел рука об руку с Гонгурой к рубиновому сердцу Сторы.

Андрей Платонов

Потомки Солнца

Он был когда-то нежным, печальным ребенком, любящим мать, родные плетни, и поле, и небо над всеми ими. По вечерам в Слободе звонили колокола родными жалостными голосами, и ревел гудок, и приходил отец с работы, брал его на руки и целовал в большие синие глаза.

И вечер, кроткий и ласковый, близко приникал к домам, и уморенные за день люди ласкались в эти короткие часы, оставшиеся до сна, любили своих жен и детей и надеялись на счастье, которое придет завтра. Завтра гудел гудок, и опять плакали церковные колокола, и мальчику казалось, что гудок и колокола поют о далеких и умерших, о том, что невозможно и чего не может быть на земле, но чего хочется. Ночь была песнею звезд, и жаль было спать, и весь мир, будто странник, шел по небесным, по звездным дорогам в тихие полуночные часы.

Ночью душа вырастала в мальчике, и томились в нем глубокие сонные силы, которые когда-нибудь взорвутся и вновь сотворят мир. В нем цвела душа, как во всяком ребенке, в него входили темные, неудержимые страстные силы мира и превращались в человека. Это чудо, на которое любуется каждая мать, каждый день видя в своем ребенке. Мать спасает мир, потому что делает его человеком.

Никто не мог видеть, кем будет этот мальчик. И он рос, и все неудержимее, страшнее клокотали в нем спертые, сжатые, сгорбленные силы. Чистые, голубые, радостные сны видел он, и ни одного не мог вспомнить утром, ранний спокойный свет солнца

встречал его, и все внутри затихало, забывалось и падало. Но он рос во сне; днем было только солнечное пламя, ветер и тоскливая пыль на дороге.

* * *

Он вырос в великую эпоху электричества и перестройки земного шара. Гром труда сотрясал землю, и давно никто не смотрел на небо — все взгляды опустились в землю, все руки были заняты.

Электромагнитные волны радио шептали в атмосфере и межзвездном эфире грозные слова работающего человека. Упорнее и нестерпимее вонзались мысль и машины в неведомую, непокоренную, бунтующую материю и лепили из нее раба человеку.

Главным руководителем работ по перестройке земного шара был инженер Вогулов, седой согнутый человек с блестящими всевидящими глазами, тот самый нежный мальчик. Он руководил миллионными армиями рабочих, которые вгрызались машинами в землю и меняли ее образ, делая из нее дом человечеству.

Вогулов работал бессменно, с горящей в сердце ненавистью, с бешенством, с безумием и беспокойной неистощимой гениальностью. Мировым совещанием рабочих масс ему была поручена эта работа. И Вогулов десять раз обхажал земной шар, организуя работы, проповедуя идею переделки земного шара и зажигая человеческие массы восторгом работы. Сотни экспедиций он снаряжал в горы всего земного шара, и в океаны, и моря для исследования теплых течений. Тысячи метеорологических обсерваторий были сооружены, и вся атмосфера пережевывалась тысячами мозгов лучших ученых.

План Вогулова был очень прост.

Земля периодически подвергается засухам или, наоборот, слишком большой влажности. Человечество от этой свистопляски сил истребляется миллионными кусками. Потом смена времен года — эти зима, лето и т. д. — замедляют темп работы человечества, берут много у него сил на приспособление к ним, обрекают огромные пространства земли на бесплодие, стужу и тьму. А другую часть земли — на свирепый ветер, песок и бешенство огня.

Земля с развитием человечества становилась все более неудобна и безумна. Землю надо переделать рука-

ми человека, как нужно человеку. Это стало необходимости, это стало вопросом дальнейшего роста человечества.

И Богулов, инженер-пиротехник, разработал этот проект. Сущность проекта состояла в искусственном регулировании силы и направления ветров через изменение рельефа земной поверхности: через прорытие в горах каналов для циркуляции воздуха, для прохода ветров, через впуск теплых или холодных течений внутрь материков через каналы. Вот и все. Ибо всякое атмосферное состояние (влажность, сухость) зависит от ветров.

Для этих работ надо было прежде всего изобрести взрывчатый состав неимоверной, чудесной мощи, чтобы армия рабочих в 20—30 тысяч человек могла быпустить в атмосферу горную гряду Гималаи. И Богулов раскалил свой мозг, окружил себя тысячами инженеров, заставил весь мир думать о взрывчатом веществе и помогать себе — и вещество было найдено. Это было не вещество, а энергия — перенапряженный свет. Свет есть электромагнитные волны, и скорость света есть предельная скорость во вселенной. И сам свет есть предельное и критическое состояние материи.

За светом уже начинается другая вселенная, материя уничтожается. Могущественное, напряженное света нет в мире энергии. Свет есть кризис вселенной. И Богулов нашел способ перенапряжения, скучения световых электромагнитных волн. Тогда у него получился ультрасвет, энергия, рвущаяся обратно в мир, к «нормальному» состоянию, со страшной, истребительной, неимоверной, невыразимой числами силой. На ультрасвете Богулов и остановился. Этой энергии было достаточно для постройки из земли дома человечеству.

Ультрасвет попробовали в горах, в Европе, на Карпатах.

В маленький тоннель вкатили вагончик с зарядом концентрированного ультрасвета и отпустили электрический тормоз,держивающий ультрасвет в его ненормальном состоянии, — и пламя завыло над Европой, ураган сметал страны, молнии засвирепели в атмосфере, и до дна стал вздыхать Атлантический океан, нахлобучивая миллиарды тонн воды на острова. Пучины гранита, завывая, унеслись на облака, раскалились там до неисчислимой температуры и превратились в легчай-

шие газы, а газы унеслись в самые высокие слои атмосферы, там как-то вступили в соединение с эфиром и навсегда оторвались от Земли. От гор не осталось и песчинки на память. Горы переселились ближе к звездам. Материя мыслю Богурова превращалась почти в ничто.

Через месяц то же самое сделали в Азии, а еще через месяц в тундрах Сибири уже зацвели робкие цветы и лились теплые ласковые дожди, а вслед за теплом гнались люди, летели аэропланы, двигались тяжелые поезда и глубоко в землю вонзались фундаментами тяжкие корпуса заводов.

Богулов командовал миллионами машин и сотнями тысяч техников. В бешенстве и неистовстве человечество билось с природой. Зубы сознания и железа вгрызались в материю и пережевывали ее. Безумие работы охватило человечество. Температура труда была доведена до предела — дальше уже шло разрушение тела, разрыв мускулов и сумасшествие. Газеты вели пропаганду работ, как религиозную проповедь. Композиторы со своими оркестрами играли в клубах горных и канальных работ симфонии воли и стихийного сознания. Человек восставал на вселенную, вооруженный не мечтою, а сознанием и машинами.

Богулов гнулся над чертежами и цифрами, окруженный аппаратами радиосвязи, уже четвертый год. И все беспредельней и бездонней перед ним открывался океан труда, и он без сна и почти без сознания, покоряясь ритмическим взрывам мысли, погибал в этом океане работы и не видел спасения и не хотел его. Далекие, великие горизонты открывались перед ним, и у него были тысячи проблем, но не было времени для их разрешения. Иногда Богулов поднимался и ходил по своему кабинету, по буграм толстой бумаги и кальки, и пел, чтобы опомниться, рабочие песни — других он не знал. Пел он и курил махорку, привыкнув к ней с детства. Но работающая полным ходом машина требовала к своим регуляторам машиниста. Море работы выходило из берегов и грозило катастрофой, если перестать его опустошать мозгом и машинами хоть на секунду, и Богулов садился опять к столу и аппаратам, связывающим его со всем миром, и рассчитывал, писал, отдавался скачке мысли и кричал в ап-

параты инженерам на Гималаи, на Хинган, на Саяны, на Анды, на искусственные каналы в Ледовитом океане, отводящие теплые течения внутрь Сибири, на гидрофикационные водоподъемные сооружения Сахары, говорил с метеорологической экспедицией в Индийском океане, и мысль Богулова четко стучала, освещала и регулировала великую героическую работу — битву далеких миллионов людей.

Богулов давно понял, что мощь человеческого сознания есть способность ясного, полного и одновременного представления о многих совершенно разнородных вещах. И он достиг этого.

Еще год — и шар земной будет переделан. Не будет ни зимы, ни лета, ни зноя, ни потопов. Вся земля будет разбита на климатические участки. В каждом участке поддерживается равно и всегда температура, нужная для произрастания того растения, какое наиболее соответствует почве этой страны. Человечество будет переселено в Антарктику — остальная площадь земли будет отведена под хлеб и под опыты и пробы человеческой мысли, она будет мастерской, обителью машин и пашней.

И в редкие моменты забвения или экстаза в разбухшей голове Богулова сверкало что-то иное, мысль не этого дня.

Одна голова и пламенное сознание, которое от времени и работы становилось все могущественнее, остались в Богулове. До сих пор люди были мечтателями, слабогрудыми поэтами, подобиями женщин и рывающих детей. Они не могли и были недостойны познать мир. Ужасающие сопротивления материи, вся чудовищная, сама себя жрущая вселенная были им незнакомы. Тут нужна свирепая, прокаленная мысль, тверже и материальнее материи, чтобы постигнуть мир, спуститься в самые бездны его, не испугаться ничего, пройти весь ад знания и работы до конца и пересоздать вселенную. Для этого надо иметь руки беспощаднее и тверже кулаков того дикого творца, который когда-то, играя, сделал звезды и пространства. И Богулов, не сознавая, родясь таким, развив себя неимоверной титанической работой, был воплощением того сознания — тверже и упорнее материи, — которое одно способно взорвать вселенную в хаос и из хаоса сотворить

иную вселенную — без звезд и солнца, — одно ликующее, ослепительное всемогущее сознание, освобождающее все формы и строящее лучшие земли, если хочет того, если радостно ему это творчество. Но можно ни творить, ни разрушать, а быть в ином состоянии. Можно не радоваться и не страдать и не быть спокойным, — это полет, это горный воздух, спокойный, чистый и тревожный.

Чтобы земное человечество в силах было восстать на мир и на миры и победить их — ему нужно родить для себя сатану сознания, дьявола мысли и убить в себе плавающее теплокровное божественное сердце.

* * *

И Богулов начал действовать, медленно и начиная с малого — с перестройки земного шара. Но этого было мало: мысль свирепела и крепчала в работе и требовала работы, взмаха и гигантских, непреодолимых сопротивлений.

Богулов засел за Вселенную: эта тайна должна быть наконец разрешена, и разрешена полностью. А познание есть три четверти победы. Он подошел ко вселенной не как поэт и философ, а как рабочий.

Через год опытов и размышлений он эту универсальную и последнюю задачу человечества решил при помощи, конечно, всего человечества. Он нашел тот эллипсис, ту строгую форму, в которой заключена наша Вселенная. Он всегда думал, что Вселенная строго ограничена, имеет пределы и концы, точную форму и только потому имеет сопротивление, то есть реально существует.

Сопротивление есть первый и важнейший признак реальности вещи.

А сопротивляется только то, что имеет форму. Рассуждения о бесконечности есть именно рассуждение, не факт.

Богулов нашел очертание, пределы Вселенной и по этим известным крайним величинам нашел все средние неизвестные. Есть две крайние критические точки вселенной: свет как высшее напряжение вселенной, дальше света уже идет уничтожение вселенной, и черту света нельзя перейти, так как тут сопротивление Все-

лленной безгранично, — и вторая критическая точка: инфраэлектромагнитное поле, то есть подобие обыкновенного электромагнитного поля, но почти нулевого напряжения, с волною длиной в бесконечность и частотой периодов в вечность.

Между этими пределами заключены все остальные переходные формы: теплота, стремление материи к химическому равновесию структур, радиоактивность и др. И эти колебания от света к инфраэлектромагнитному полю, по сути, незначительны. Например, скорость эманации радия близка к скорости света, электрический ток тоже почти имеет ту же скорость. И природа, сокровенность света, инфраполя и всех переходных форм одна и та же.

Вогулов увидел на опыте, как мечется по этому замкнутому кругу то, что называется Вселенной. Инфраполе необходимо возрастає до состояния света, а свет, стукнувшись о самого себя, снижается опять до своего полярного полюса — инфраполя. Так, по кольцу, вверх по правой половине, вниз по левой, колеблется и стучится Вселенная в каземате, который есть она же сама.

Инфраполе через миг (неопределенный, неуловимый) уже превращается в свет, а свет в тот же миг дает в ответ инфраполе. Получается даже не изменение, а мертвое состояние.

Инфраполе, распространяясь в бесконечность, имеет неодинаковое внутреннее сопротивление в себе, — у начальных точек больше, у конечных меньше, от этого получаются различные скорости, то есть содрогания — волны; интенсивность поля достигает максимума, то есть света, и потом падает опять с содроганий 50 в 20-й степени в секунду до I в вечность, то есть до полного отсутствия содроганий.

И когда Вогулов построил копию вселенной в своей лаборатории, со всеми ее функциями, и опыт оправдал все расчеты, Вогулов даже не обрадовался, а только замер у своего механизма — вселенной, и мысль у него застыла на миг.

Тот же круговой поток, от инфраполя к свету — и обратно, получался и у него на лабораторном столике, как и в безмерных пространствах мира. Вселенная была познана до дна и воспроизведена человеком.

Тогда Богулов вспомнил про ультрасвет, свою взрывчатую энергию и улыбнулся в первый раз съездавна: вселенная превзойдена человеком, ибо ультрасвет уже не есть элемент нашей вселенной. Богулов взял карандаш и рассчитал, что достаточно 1000 кубических километров сконцентрированного ультрасвета, чтобы Вселенная перестала существовать.

Двух взрывов, по 500 кубических километров каждый, будет довольно, первый доведет до состояния света все существующее, а второй превратит свет в ультрасвет, а по инерции перенапряжется и сам ультрасвет и создаст какое-то новое сверхэнергетическое образование, иную Вселенную.

И Богулову стало хорошо — стена дала трещину, и стала видна дорога.

Через год Богулов решил пересотворить Вселенную ультрасветом. И опять загремела в нем мысль, и бесконечной лентой пошли чертежи мастерских, лабораторий и финансовые сметы. Но тут он натолкнулся на не преодолимое сопротивление: всей энергии земного шара не хватало для производства 1000 кубических километров ультрасвета. Тогда Богулов запряг в станки бесконечность, само пространство, самую универсальную энергию — свет. Для этого он изобрел фотоэлектромагнитный резонатор-трансформатор: прибор, превращающий световые электромагнитные волны в обычновенный рабочий ток, годный для электромоторов. Богулов просто получаемые из пространства световые лучи «охлаждал», тормозил инфраполем и получал волны нужной длины и частоты перемен. Незаметно и неожиданно для себя он решил величайший за всю историю энергетический вопрос человечества, как с наименьшей затратой живой силы получить наибольшее количество годной в работу энергии. Затрата живой силы тут ничтожна — фабрикация резонаторов трансформаторов света в ток; в энергии получалось, точно выражаясь, бесконечное количество, ибо вся Вселенная впряглась в станки человека, если далекие пределы вселенной условно назвать бесконечностью, ведь вселенная — означает свет. Энергетика и экономика мира были опрокинуты: для человечества наступил действительно золотой век — вселенная работала на человека, питала и радовала его.

Вогулов заставил работать Вселенную в своих мастерских для фабрикации ультрасвета, чтобы уничтожить такую вселенную. Но этого было мало: человек работал слишком медленно и лениво, чтобы изготавливать в короткое время нужное количество резонаторов — миллионы штук. Темп работы должен быть повышен до крайности, и Вогулов привил рабочим масам микробы энергии: он взял для этой цели элемент инфраполя с его ужасающим стремлением к максимальному состоянию — свету, развел культуры, колонии, триллионы этих элементов и рассеял их в атмосфере. И человек умирал на работе, писал книги чистого мужества — любил, как Данте, и жил не года, а дни, но не жалел об этом.

Первый год уже дал 100 кубических километров ультрасвета. Вогулов думал удваивать производство в каждый следующий год, так что через три с немногим года 1000 кубических километров ультрасвета будет готово.

Человечество жило как в урагане. День шел за тысячулетие по производству ценностей. Быстрая, вихревая смена поколений выработала новый совершенный тип человека — свирепой энергии и озаренной гениальности.

Микроб энергии делал ненужной вечность — довольно короткого мига, чтобы напиться жизнью досыта и почувствовать смерть как исполнение радостного инстинкта.

* * *

И никто не знал, что было сердце и страдание у инженера Вогулова. Такое сердце и такая душа, каких не должно быть у человека. Он двадцати двух лет полюбил девушку, которая умерла через неделю после их знакомства.

Три года Вогулов прометался по земле в безумии и тоске; он рыдал на пустынных дорогах, благословлял, проклинал и выл. Он был так страшен, что суд постановил его уничтожить. Он так страдал и горел, что не мог уже умереть. Его тело стало раной и начало гнить. Душа в нем истребила сама себя.

И потом в нем случилась органическая катастрофа: сила любви, энергия сердца хлынула в мозг, расперла череп и образовала мозг невиданной, невозможной, немоверной мощи.

Но ничего не изменилось — только любовь стала мыслью, и мысль в ненависти и отчаянии истребляла тот мир, где невозможно то, что единственно нужно человеку, — душа другого человека...

Только любящий знает о невозможном, и только он смертельно хочет этого невозможного и сделает его возможным, какие бы пути ни вели к нему.

Часть I *Опрокинутая арена*

«Это — там...»

Свифт

I

Семь дней пестрая суматоха афиш возвещала городским жителям о необыкновенном выступлении в цирке «Солейль» «Человека Двойной Звезды»; еще никогда не говорилось так много о вещах подобного рода в веселящихся гостиных, салонах, за кулисами театра, в ресторанах, пивных и кухнях. Действительно, цирковое искусство еще никогда не обещало так много,— не залучало волнения в область любопытства, как теперь. Даже атлетическая борьба — любимое развлечение выродившихся духовных наследников Нерона и Гелиогабала — отошла на второй план, хотя уже приехали, гуляя напоказ по бульварам, зверские туши Грепера и Нуара — негра из африканской Либерии,— раскуривая толстейшие регалии, на удивление и сердечный трепет зрелых, но пылких дам. Потускнел даже знаменитый силач-жонглер Мирэй, бросавший в воздух фейерверк светящихся гирь. Короче говоря, цирк «Солейль» обещал истинно небывалое. Постояв с минуту перед афишой, мы, полнее всяких примеров и сравнений, усвоим впечатление, производимое ею на толпу. Что же там напечатано?

«В среду,— говорила афиша,— 23 июня 1911 г. состоится первое, единственное и последнее выступление ранее никогда нигде не выступавшего, поразительного, небывалого, исключительного феномена, именующего себя Человеком Двойной Звезды.

НЕ ИМЕЮЩИЙ ВЕСА
ЛЕТИЩИЙ БЕГ
ЧУДЕСНЫЙ ПОЛЕТ

Настоящее парение в воздухе, которое будет исполнено без помощи скрытых механических средств и каких бы то ни было приспособлений.

Человек Двойной Звезды остается висеть в воздухе до 3 секунд полного времени.

Человек Двойной Звезды — величайшая научная загадка нашего века.

Билеты, ввиду исключительности и неповторимости зрелища, будут продаваться с 19-го по день представления; цены устроены».

Агассиц, директор цирка «Солейль», дал журналистам следующие объяснения. Несколько дней назад к нему пришел неизвестный человек; даже изощренный глаз такого проходи, как Агассиц, не выцарапал из краткого свидания с ним ничего, кладущего штамп. На визитной карточке посетителя стояло: Э. Д. — только; ни адреса, ни профессии...

Говоря так, Агассиц принял вид человека, которому известно более, чем о том можно подумать, но сдержанного в силу важных причин. Он сказал: «Я видел, несомненно, образованного и богатого человека, чуждого цирковой среде. Я не делаю тайны из того, что наблюдал в нем, но... да, он редкость даже и для меня, испытавшего за тридцать лет не мало. У нас он не служит. Он ничего не требовал, ничего не просил. Я ничего не знаю о нем. Его адрес мне неизвестен. Не было смысла допытываться чего-либо в этом направлении, так как однозначное его выступление не связано ни с его прошлым, ни с личностью. Нам это не нужно. Однако «Солейль» стоит и будет стоять на высоте, поэтому я не могу выпустить такую редкую птицу. Он предложил больше, чем дал бы сам Барнум, воскреснув и явившись сюда со всеми своими зверями.

Его предложение таково: он выступит перед публикой один раз; действительно один раз, ни больше, ни меньше, — без гонорара, без угощения, без всякого иного вознаграждения. — Эти три без Агассица свистнули

солидно и вкусно.— Я предлагал то и то, но он отказался.

По его просьбе, я сел в углу, чтобы не помешать упражнению. Он отошел к двери, подмигнул таинственно и лукаво, а затем без прыжка, без всякого видимого усилия, плавно отделяясь в воздух, двинулся через стол, задержавшись над ним,— над этой вот самой чернильницей, не менее двух секунд, после чего неслышно, без сотрясения, его ноги вновь коснулись земли. Это было так странно, что я вздрогнул, но он остался спокоен, как клоун Додди после того, как его повергнут в зубах с трапеции Эрнст Вит.

— Вот все, что я умею,— сказал он, когда мы уселись опять,— но это я повторяю несколько раз с разбега и с места. Возможно, что я буду в ударе. Тогда публика увидит больше. Но за это поручиться нельзя.

Я спросил, что он знает и думает о себе как о небывалом феномене. Он пожал плечами: «Об этом я знаю не больше вашего; вероятно, не больше того, что знают некоторые сочинители о своих сюжетах и темах: они являются у меня». Более он не объяснил ничего. Я был потрясен. Я предложил ему миллион; он отказался и даже зевнул. Я не настаивал. Он отказался так решительно и бесспорно, что настойчивость равнялась бы унижению. Но, естественно, я спросил, какие причины заставляют его выступить публично. «Время от времени,— сказал он,— слабеет мой дар, если не оживлять его: он восстанавливается вполне, когда есть зрители моих упражнений. Вот единственное ядро, к которому я прикован». Но я ничего не понял; должно быть, он пошутил. Я вынес впечатление, что говорил с замечательным человеком, хранящим строжайшее инкогнито. Он молод, серьезен, как анатом, и великолепно одет. Он носит бриллиантовую булавку тысяч на триста. О всем этом стоит задуматься».

На другой же день утренние и вечерние газеты тиснули интервью с Агассицем; в одной газете появился даже импровизированный портрет странного гастроле-

ра. Усы и шевелюра портрета сделали бы честь любой волосорастительной рекламе. На читателя, выкатив глаза, смотрел свирепый красавец.

Между тем виновник всего этого смятения, пересмотрев газеты и вдосталь полюбовавшись интересным портретом, спросил: «Ну, Друд, ты будешь двадцать третьего в цирке?»

Сам отвечая себе, он прибавил: «Да. Я буду и посмотрю, как это сильное дуновение, этот удар вихря погасит маленькое косное пламя невежественного рассудка, которым чванится «царь природы». И капли пота покроют его лицо...»

II

Не менее публики подхвачена была волной острого интереса вся цирковая труппа,— включая прислугу, билетеров и конюхов. Пошел слух, что «Двойная Звезда» (как приказал он обозначить себя в афише) — граф и миллиардер, и о нем вздыхали уже наездницы, глотая слюнки, в мечтах ресторанно-ювелирного качества; уже пытали зеркало балерины, надеясь каждая увлечь сиятельного оригинала, и с пеной на губах спорили, — которую из них купит он подороже. Клоуны придумывали, как смешить зрителя, пародируя новичка. Пьяница, сочинитель Дебор уже сочинил им несколько диалогов, за что пил водку и бренчал серебряной мелочью. Омраченные завистью гимнасты, вольтижеры и жонглеры твердили единым духом до последнего момента, что таинственный гастролер — шарлатан из Индии, где научился действовать немного внушением, что соперник их по арене — беглый преступник. Они же сочинили, что Двойная Звезда — карточный шулер, битый неоднократно. Им же принадлежала интересная повесть о шантаже, которым будто бы обезоружил он присмиревшего Агассица. Но по существу дела никто не мог ничего сказать; дымная спираль сплетни вилась, не касаясь центра. Один лишь клоун Арси, любивший повторять: «Я знаю и видел все, поэтому ничему не удивляюсь», — особенно подчеркивал свою фразу, когда поднимался разговор о Двойной Звезде, но на больном,

желчном лице клоуна отражался тусклый испуг, что бедную его жизнь может поразить нечто, о чём он задумается с волнением, утратив нищенский покой, добытый тяжким трудом гrimас и ушибов.

Еще много всякого словесного сора — измышлений, болтовни, острот, издевательств и предсказаний — застряло в ушах разных людей по поводу громкого выступления, но всего не подслушаешь. В столбе пыли, за копытами коней Цезаря не важна отдельно каждая сущая пылинка; не так уж важен и отсвет луча, бегущего сквозь лиловые вихри за белым пятном золотого императорского шлема. Цезарь пылит... Пыль — и Цезарь.

III

23-го окно цирковой кассы не открывалось. Надпись гласила: «Билеты проданы». Несмотря на высокую цену, их раскупили с быстротой треска; последним билетам, еще 20-го, была устроена лотерея, — в силу того, что они вызывали жестокий спор претендентов.

Пристальный взгляд, брошенный в этот вечер на места для зрителей, подметил бы несколько необычный состав публики. Так, ложа прессы была набита битком, за приставными стульями блестели пенсне и воротнички тех, кто был осужден стоя переминаться с ноги на ногу. Была также полна ложа министра. Там сиял нежный, прелестный мир красивых глаз и тонких лиц молодых женщин, белого шелка и драгоценностей, горящих, как листры, на фоне мундиров и фраков; так лунный водопад в бархате черных теней струит и искрит себя. Все ложи, огибающие малиновый барьер цветистым кругом, дышали роскошью и сдержанностью нарядной толпы; легко, свободно смеясь, не-громко, но отчетливо говоря, эти люди рассматривали противоположные стороны огромного цирка. Над ареной, блестая, реяла воздушная пустота, сомкнутая высоко вверху куполом с голубизной вечернего неба, смотрящего в открытые стеклянные люки.

Выше кресел вмещалась физиономическая пестрота интеллигенции, торговцев, чиновников и военных; мелькали, знакомые по портретам, черты писателей и

художников; слышались замысловатая фраза, удачное замечание, изысканный литературный оборот, сплетни и семейные споры. Еще выше жалась на неразгороженных скамьях улица — непросеянная толпа: те, что бегут, шагают и проплывают тысячами пар ног; над ними же, за высоким барьером, оклеенным цирковыми плакатами, на локтях, цыпочках, подбородках и грудях, придавленных теснотой, сжимаясь шестигранно, как сот, потели парии цирка — галерея; силясь высвободить хотя на момент руки, они терпели пытку духоты и сердцебиения; более спокойными в этом месиве выглядели лица людей выше семи вершков. Здесь грызли орехи; треск скролупы мешался со свистками и бесцеремонными окриками.

Освещение a giorno, возбуждающее яркий свет такой силы, что всё, вблизи и вдали, было как бы наведено светлым лаком, погружал противоположную сторону в блестящий туман, где, однако, раз останавливался там взор, все виделось с отчетливостью бинокля,— и лица, и выражения. Цирк, залианный светом, от укрепленных под потолком трапеций, от медных труб музыкантов, шелестящих нотами среди черных пюпитров, до свежих опилок, устилавших арену,— был во власти электрических люстр, сеющих веселое упоение. Закрыв глаза, можно было по слуху намечать все точки пространства — скрип стула, кашель, сдержанный полутакт флейты, гул барабана, тихий, взволнованный разговор и шум, подобный шуму воды,— шелеста, движений и дыханий десятитысячного человеческого заряда, внедренного разом в поперечный разрез круглого здания. Стоял острый запах тепла, конюшен, опилок и тонких духов — традиционный аромат цирка, родственный пестроте представления.

Начало задерживалось; нетерпение овладело публикой; по галереям несколько раз, вспыхивая неровным треском, перекатились аплодисменты. Но вот звякнул и затрепетал третий звонок. Бухнуло глухое серебро литавр, взвыл тромбон, выстрелил барабан; медь и струны, в мелькающем свисте флейт, понесли воинственный марш, и представление началось.

Для этого вечера дирекция выпустила лучшие силы цирка. Агассиц знал, что к вершине горы ведут крутые тропинки. Он постепенно накаливал душу зрителя, громоздя впечатление на впечатление, с расчетливым и строгим разнообразием; благодаря этому зритель должен был отдать весь скопленный жар души венчающему концу: в конце программы значился: «Двойная Звезда».

Арена ожила: гимнасты сменяли коней, кони — клоунов, клоуны — акробатов; жонглеры и фокусники следовали за укротителем львов. Два слона, обвязанные салфетками, чинно поужинали, сидя за накрытым столом, и, княжеским движением хобота бросив «на чай», катались на деревянных шарах. Задумчивое остолбенение клоунов в момент неизбежного удара по затылку гуттаперчевой колбасой вызвало не одну мигрень слабых голов, заболевших от хохота. Еще клоуны почесывались и острили, как наездник с наездницей, на белых астурийских конях, вылетели и понеслись вокруг арены. То были вакх и вакханка — в шкурах барса, венках и гирляндах роз; они, мчась с силой ветра, разыграли мимическую сцену балетного и акробатического характера, затем скрылись, оставив в воздухе блеск и трепет грациозно шальными тел, одержимых живописным движением. После них, предшествуемые звуком трубы, вышли и расселись львы, ревом заглушая оркестр; человек в черном фраке, стреляя бичом, унижал их, как хотел; пена валилась из их пасть, но они вальсировали и прыгали в обруч. Четыре гимнаста, раскачиваясь под куполом, перебрасывались с одной трапеции на другую жуткими вольтами. Японец-фокусник вытащил из-за ворота трико тяжеловесную стеклянную вазу, полную воды и живых рыб. Жонглер доказал, что нет предметов, которыми нельзя было бы играть, подбрасывая их на воздух и ловя, как ласточка мух, без ушибов и промаха; семь зажженных ламп взлетали из его рук с легкостью фонтанной струи. Концом второго отделения был наездник Ришлей, скакавший на пяти рыжих, белогривых лошадях и

переходя, стоя, с одной на другую так просто, как мы пересаживаемся на стульях.

Звонок возвестил антракт; публика повалила в фойе, курительные, буфеты и конюшни. Служители прибирали арену. За эти пятнадцать минут племянница министра Руна Бегуэм, сидевшая в его ложе, основательно похоронила надежды капитана Галля, который, впрочем, не сказал ничего особенного. Он глухо заговорил о любви еще утром, но им помешали. Тогда Руна сказала «до свидания» с весьма вразумительным холодом выражения, но ослепшее сердце Галля не поняло ее спокойного взгляда; теперь, пользуясь тем, что на них не смотрят, он взял опущенную руку девушки и тихо пожал ее. Руна, бестрепетно отняв руку, повернулась к нему, уткнув подбородок в бархат кресла. Легкая, светлая усмешка легла меж ее бровей прелестной морщинкой, и взгляд сказал: «нет».

Галль сильно похудел в последние дни. Его левое веко нервно подергивалось. Он остановил на Руне такой долгий, отчаянный и пытливый взгляд, что она немного смягчилась.

— Галль, все проходит! Вы — человек сильный. Мне искренне жаль, что это случилось с вами, что причиной вашего горя — я.

— Только вы и могли быть, — сказал Галль, ничего не видя, кроме нее. — Я вне себя. Хуже всего то, что вы еще не любили.

— Как?

— Эта сторона вашей души не тронута. В противном случае, воспоминание чувства, может быть, сдвинуло бы ваше сердце с мертвой точки.

— Не знаю. Но хорошо, что наш разговор переходит в область соображений. К этому я прибавлю, что смотрела бы как на несчастье на любовь, если поразит она меня без судьбы.

Руна спокойно обвела взглядом ряд лож, точно желая выяснить, не таится ли уже теперь где-нибудь это несчастье, среди пристальных взглядов мужчин; но восхищение так надоело ей, что она относилась к нему с презрительной рассеянностью богача, берущего сдачу медью.

— Любовь и судьба — одно?! — Галль помолчал. — Или... что вы хотите сказать?

— Я подразумеваю исключительную судьбу, Галль. Знаю, — Руна скорбно двинула обнаженным плечом, — что такой судьбы я... недостойна. — Высокомерие этого слова скрылось в бесподобной улыбке. — Но я все же хочу, чтобы эта судьба была особенная.

Галль понял по-своему ее горделивую мечту.

— Конечно, я вам не пара, — сказал он с искренней обидой и с не менее искренним восторгом; — вы достойны быть королевой. Я — обыкновенный человек. Однако нет вещи, над которой я задумался бы, прика-жи вы мне исполнить ее.

Руна повела бровью, но улыбнулась. Сильная любовь возбуждала в ней религиозное умиление. Когда Галль не понял ее, то она захотела подвинуть его ближе к своей душе. Так добрые люди любят, посетовав нищему о его горькой доле, заняться анализом своих ощущений на тему: «Добрый ли я человек?» А нищему все равно.

— Для королевы я, пожалуй, умнее, чем надо быть умной в ее сане, — сказала Руна, — я ведь знаю людей. Должна вас изумить. Та судьба, с какой могла бы я встретиться, не смотря на нее вниз, — едва ли возможна. Вероятно, нет. Я очень тщеславна. Все, что я думаю о том, — и смутно, и ослепительно. Вы знаете, как иногда действует музыка?! Мне хочется жить как бы в не-смолкающих звуках торжественной, всю меня перерождающей музыки. Я хочу, чтобы внутренне волнующее блаженство было осмысленно властью, не знающей ни предела, ни колебаний.

Эту маленькую, беззастенчивую исповедь Руна пронесла с грациозной простотой молодой матери, нашептывающей засыпающему ребенку сны властелинов.

— Экстаз?

— Я не знаю. Но слова заключают больше, чем о том думают люди, жалеющие о немоци слов. Довольно, а то вы измените мнение обо мне в дурную сторону.

— Я не меняю мнений, не меняю привязанностей, — сказал Галль и, видя, что Руна задумалась, стал молча

смотреть на ее легкий профиль, собирая, для полноты впечатлений, все, что о ней знал. Десяти лет она написала замечательные стихи. Семнадцатый и восемнадцатый годы она провела в кругосветном плавании, и ее экзотические рисунки были проданы с большой выставки по дорогой цене, в пользу слепых. Она не искала популярности этого рода,— не любила ее... Она великолепно играла; ей, по очереди, пророчили то ту, то другую славу,— она славы не добивалась. В ее огромном доме можно было переходить из помещения в помещение с нарастающим чувством власти денег, одухотворенной художественной и разносторонней душой. Независимая и одинокая, она проходила жизнь в душевном молчании, без привязанностей и любви, понимая лишь инстинктом, но не опытом, что дает это, еще не испытанное ею чувство. Она знала все европейские языки, изучала астрономию, электротехнику, архитектуру и садоводство; спала мало, редко выезжала и еще реже устраивала приемы.

Этот невозмутимый, холодный мир был заключен в совершенную оболочку. По мягкости линий и выражения ее лицо было лицом блондинки, но под сверкающей волной черных волос давало непостижимое сочетание зноя и нежности. Ее вполне женственная, без впечатления хрупкости фигура веяла свежестью и весельем ясного тела. Она была чуть пониже Галля; он же при среднем росте казался выше благодаря эполетам.

Галль — интеллигентный воин, с немного расплющенным лицом и меланхолическими глазами доброго человека, которым пытался иногда придать высокомерное выражение, передумав о Руне Бегуэме все, что пришло на мысль, обратил внутренний взгляд к себе, но, не найдя там ничего особенного, кроме здоровья, любви, службы и аккуратных привычек, почувствовал печаль смирения. Ему не следовало говорить о любви. Все же в момент третьего звонка, как бы дернутый его трелью за язык, он успел сказать: «Я желаю вам счастья...» Конец фразы: «если бы со мной...» — застрял в его горле. Он разгладил усы и приготовился смотреть представление.

Последний перед выходом Двойной Звезды номер назывался «Бессиление оков». Он состоял в том, что широкоплечего низкорослого человека связывали по рукам и ногам толстенными веревками, опутывали проволокой; сверх того опоясали кандалами руки и ноги. Затем его покрыли простыней, он повозился под ней минуты две и встал совершенно распутанный; узы валялись на песке.

Он ушел. Наступила глубокая, острые тишина. Музыка заиграла и смолкла. Цирк неслышно дышал. Заразительное ожидание проникло из души в душу, напрягая чувства; взгляды, направленные к выходной занавеси, молча вызывали обещанное явление. Музыканты перелистывали ноты. Прошло минут пять; нетерпение усиливалось. Верхи, потрециав вразброд, разразились залпами рукоплесканий протеста; средина поддержала их; низы беседовали, трепетали веерами, улыбались.

Тогда, вновь заставив стихнуть шум нетерпения, у выхода появился человек среднего роста, прямой, как пламя свечи, с естественной и простой манерой; задержавшись на мгновение, он вышел к середине арены, ступая мягко и ровно; остановясь, он огляделся с улыбкой, обвел взглядом сверкающую впадину цирка и поднял голову, обращаясь к оркестру.

— Сыграйте, — сказал он, подумав, негромко, но так внятно, что слова ясно прозвучали для всех, — сыграйте что-нибудь медленное и плавное, например, «Мексиканский вальс».

Капельмейстер кивнул, постучал и взмахнул палочкой.

Трубы зарокотали вступление; кружась, ветер мелодии охватил сердца пленом и мерой ритма; звон, трели и пение рассеяли непостижимую магию звука, в которой праздничнее сверкает жизнь и что-то прощается внутри, насыщая все чувства.

Двойная Звезда — каким являлся он взгляду зрителей в эту минуту — был человек лет тридцати. Его одежда состояла из белой рубашки, с перетянутыми у кистей рукавами, черных панталон, синих чулок и чер-

ных сандалий; широкий серебряный пояс обнимал талию. Светлый, как купол, лоб нисходил к темным глазам чертой тонких и высоких бровей, придававших его резкому лицу выражение высокомерной ясности старинных портретов; на этом бледном лице, полном спокойной власти, меж тенью темных усов и щелью твердого подбородка презрительно кривился маленький, строгий рот. Улыбка, с которой он вышел, была двусмысленна, хотя не лишена равновесия, и полна скрытого обещания. Его волосы бобрового цвета слабо вились под затылком, в углублении шеи, спереди же чуть-чуть спускались на лоб; руки были малы, плечи слегка откинуты.

Он отошел к барьеру, притопнул и не спеша побежал, с прижатыми к груди локтями; так он обогнул всю арену, не совершив ничего особенного. Но со второго круга раздались возгласы: «Смотрите, смотрите!» Оба главных прохода набились зрителями: высыпали все служащие и артисты. Шаги бегущего исказились, уже двигался он гигантскими прыжками, без видимых для того усилий: его ноги, легко трогая землю, казалось, не поспевают за неудержимым стремлением тела; уже несколько раз он в течение прыжка просто перебирал ими в воздухе, как бы отталкивая в пустоту. Так мчался он, совершив круг, затем, пробежав обычновенным манером некоторое расстояние, резко поднялся вверх, на высоту роста, и замер, остановился в воздухе, как на незримом столбе. Он пробыл в таком положении лишь едва дольше естественной задержки падения,— на пустяки, может быть,— треть секунды, но на весах общего внимания это отзывалось падением тяжкой гири против золотника,— так необычайно метнулось перед всеми загадочное явление. Но не холод, не жар восторга вызвало оно, а смуту тайного возбуждения, вошло нечто из-за пределов существа человеческого. Многие повскакали; те, кто не уследил, в чем дело, кричали среди поднявшегося шума, соседям, спрашивая, что случилось. Чувства уже были поражены, но еще не сбиты, не опрокинуты; зрители перекидывались замечаниями. Балетный критик Фогард сказал: «Вы монстр элевации; с времен Агнессы Дюпорт

не было ничего подобного. Но в балете, среди фейерверка иных движений, она не так поразительна». В другом месте можно было подслушать: «Я видел прыжки негров в Уганде; им далеко...», «Факирство, гипноз!» — «Нет! Это делается с помощью зеркал и световых эффектов», — возгласило некое компетентное лицо.

Меж тем, отыкая или раздумывая, по арене прежним неторопливым темпом бежал Двойная Звезда, сея тревожные оживления, разраставшиеся неудержимо. Чего ждал взволнованный зритель? Никто не мог ответить себе на это, но каждый был как бы охвачен невидимыми руками, не зная, отпустят или сбросят они его, бледнеющего в непонятной тоске. Так чувствовали, как признавались впоследствии, даже маниаки сильных ощущений, люди испытанного хладнокровия. Уже несколько раз среди дам взлетело высокое «Ах!» — с оттенком более серьезным, чем те, какими окрашивают это универсальное восклицание. Верхи ничего не понимали, голосили «браво» и набивали ладони. Тем временем в толпе цирковых артистов, запрудивших выход, произошло движение; эти много видавшие люди были поражены не менее зрителей.

Прошло уже около десяти минут, как Двойная Звезда выступил на арену. Теперь он увеличил скорость, делая, по-видимому, разбег. Его лицо разгорелось, глаза смеялись. И вдруг ликующий детский крик звонко разлетелся по цирку: «Мама, мама! Он летит... Смотри, он не задевает ногами!»

Все взгляды разом упали на только теперь замеченное. Как пелена спала с них; обман мерного движения ног исчез. Двойная Звезда несся по воздуху на фут от земли, поднимаясь все круче и выше.

Тогда внезапно за некоей неуловимой чертой, через которую, перескакнув и струсив, заметалось подкошенное внимание, зрелище вышло из пределов фокуса, став чудом, то есть тем, чего втайне ожидаем мы всю жизнь, но, когда оно, наконец, блеснет, готовы закричать или спрятаться. Покинув арену, Друд всплыл в воздух, к люстрам, обернув руками затылок. Мгновенно вся воображаемая тяжесть его тела передалась внут-

реннему усилию зрителей, но так же быстро исчезла, и все увидели, что выше галерей, под трапециями мчится, закинув голову, человек, пересекая время от времени круглое верхнее пространство, с плавной быстротой птицы,— теперь он был страшен. И его тень, ныряя по рядам, металась внизу.

Смятенный оркестр смолк; одинокий гобой взвыл фальшивой нотой и, как подстреленный, оборвал медный крик.

Вопли «пожар!» не сделали бы того, что поднялось в цирке. Галерея завыла; крики: «Сатана! Дьявол!» — подхлестывали волну паники; повальное безумие овладело людьми; не стало публики: она, потеряв связь, превратилась в дикое скопище, по головам которого, сорвавшись с мощных цепей рассудка, бешено гудя и скаля зубы, скакал Страх. Многие, в припадке внезапной слабости или головокружения, сидели, закрыв руками лицо. Женщины теряли сознание; иные, задыхаясь, рвались к выходам; дети рыдали. Всюду слышался треск балюстрад. Беглецы, запрудив арену, сталкивались, сбивая друг друга с ног, хватая и отталкивая передних. Иногда резкий визг покрывал весь этот кромешный гвалт; слышались стоны, ругательства, грохот опрокинутых кресел. А над цирком, выше трапеций и блоков, скрестив руки, стоял в воздухе Двойная Звезда.

— Оркестр, музыку!.. — кричал Агассиц, едва сознавая, что делает. Несколько труб взвыло предсмертным воплем, который быстро утих; затрещали поваленные пюпитры; эстрада опустела; музыканты, бросив инструменты, бежали, как все. В это время министр Дауговет, тяжело потирая костлявые руки и сдвинув седину бровей, тихо сказал двум быстро вошедшем к нему в ложу прилично, но незначительно одетым людям: «Теперь же. Без колебания. Я беру на себя. Ночью, лично ко мне, с докладом, и никому больше ни слова!»

Оба неизвестных без поклона выбежали и смешались с толпой.

Тогда Друд, вверху, громко запел. Среди неистовства его голос прозвучал с силой порыва ветра; это была короткая, неизвестная песнь. Лишь несколько слов

ее было схвачено несколькими людьми: «Тот путь без дороги...» Каданс пропал в гуле, но можно было думать, что есть еще три стопы, с мужской рифмой. Снова было не разобрать слов, пока на паузе гула они не окончились загадочным и протяжным: «зовущий в блистающий мир».

От ложи министра на арену выступила девушка в платье из белых шелковых струй. Бледная, вне себя, она подняла руки и крикнула. Никто не рассыпал ее слов. Она нервно смеялась. Ее глаза блестя неслись вверх. Она ничего не видела, не понимала и не чувствовала, кроме светлой бездны, вспыхнувшей на развалинах этого дня чудным огнем.

Галль подошел к ней, взял за руку и увел. Вся дрожа, она повиновалась ему почти бессознательно. Это была Руна Бегуэм.

VI

Когда, вновь коснувшись земли, Двойная Звезда стремительно направился к выходу, паника в проходе усилилась. Все, кто мог бежать, скрыться, исчезли с его пути. Многие попадали в давке; и он беспрепятственно достиг кулис, взял там шляпу и пальто, а затем вышел через конюшни в аллею бульвара.

Он укрыл лицо шарфом и исчез влево, на свет уличных фонарей. Едва он отошел, как несколько беспощадных ударов обрушилось на его плечи и голову; в луче фонаря блеснул нож. Он повернулся; острие увязло в одежде. Стارаясь освободить левую руку, за которую ухватились двое, правой он сжал чье-то лицо и резко оттолкнул нападающего; затем быстро взвился вверх. Две руки отцепились; две другие повисли на его локте с остервенением разъяренного бульдога. Рука Друда немела. Поднявшись над крышами, он увидел ночную иллюминацию улиц и остановился. Все это было делом одной минуты. Склонившись, с отвращением рассмотрел он сведенное ужасом лицо агента; тот, поджав ноги, висел на нем в борьбе с обмороком, но обморок через мгновение поразил его. Друд вырвал руку; тело понеслось вниз; затем из глубины, заваленной треском колес, вылетел глухой стук.

— Вот он умер, — сказал Друд, — погибла жизнь и, без сомнения, великолепная награда. Меня хотели убить.

У него было предчувствие, и оно не обмануло его. Он ждал дня выступления с улыбкой и грустью — без-отчетной грустью горца, взирающего с вершины на обширные туманы низин, куда не долетит звук. И если он улыбался, то лишь приятным, невозможным ве-щам, — чему-то вроде восхищенного хора, пытающего, теребя и увлекая его в круг радостно засиявших лиц; и что там, в стремнинах, где он плывет и дышит сво-бодно? И нельзя ли туда сопутствовать, закрыв от стра-ха глаза?

Друд несся над городскими огнями, в гневе и тор-жестве. Медля возвращаться домой, размышлял он о нападении. Змея бросилась на орла. Вместе с тем он сознавал, что опасен. Его постараются уничтожить или, если в том не успеют, окружат его жизненный путь вечной опасностью. Его цели непостижимы. Помимо того, самое его существование — абсурд, явление нетер-пимое. Есть положения, ясные без их логического раз-вития: Венера Милосская в бакалейной лавке, сундук с шаровидными молниями, отправленный по железной дороге; взрыв на расстоянии. Он вспомнил цирк так ясно, что в воздухе, казалось, снова блеснул свет, при котором разыгрались во всем их безобразии сцены тем-ного исступления. Единственным утешением были поднятые вверх, с криком победы, руки неизвестной женщины; и он вспомнил стадо домашних гусей, гого-чущих, завида диких своих братьев, летящих под об-лаками: один гусь, вытянув шею и судорожно хлеща крыльями, запросился тоже наверх, но жир удержал его.

Приблизился свист перьев; ночная птица ударила в грудь, забилась у лица и, издав стон ужаса, взмыла, стинув во тьме. Друд миновал черту города. Над гава-нью он пересек луч прожектора, соображая, что те-перь, верно будут протирать зеркало или глаза, думая, не померещился ли на фоне береговых скал человече-ский силуэт. Действительно, в крепости что-то произо-шло, так как луч начал кроить тьму по всем направле-ниям, попадая главным образом в облака. Друд повер-

нул обратно, развлекаясь обычной игрой; он населил по дороге свой путь воздушными ладьями, откуда слышался шепот влюбленных пар; они скользили к серпу луны, в его серебряную кисейку, бросающую на ковры и цветы свою тонкую белизну. Их кормчие, веселые, маленькие духи воздуха, завернув крылья под мышку, тянули парус. Он слышал смех и перебор струн. Еще выше лежала торжественная пустота, откуда из-за мириадов миль протягивались в прищуренный глаз иглы звездных лучей; по ним, как школьники, скатывающиеся с перил лестницы, сновали пузатенькие арапы, толкаясь, гримасничая и опрокидываясь подобно мартышкам. Все звуки, поднимающиеся с земли, имели физическое отражение; высоко летели кони, влача призрачную карету, набитую веселой компанией; дым сигар мутил звездный луч; возница, махая бичом, ловит слетевший цилиндр. В стороне скользнули освещенные окна трамвая, за которыми господин читал газету, а франт сосал тросточку, косясь на миловидное лицо соседки. Тут и там свешивались балконы, прорезанные светом дверей, крытых зеленью, позволяющей видеть кончик туфли или опасный блеск глаз, мерцающих, как в засаде. Бежал воздушный газетчик, размахивая пачкой газет; кошка стремглав перелезала по невидимым крышам, и гуляющие останавливались над городом, раскланиваясь в теплую тьму.

Как только Друд устал, эта игра рассеялась подобно стае комаров, если по ней хватил дождь. Он присел на фронтон башенных часов, которые снизу казались озаренным кружком с тарелку величиной, вблизи же являли двухсаженную амбразуру, заделанную стеклом толщиной дюйма в три, с аршинными железными цифрами. За стеклом, гремя, двигались шестерни, колеса и цепи; в углу, попивая кофе, сидел машинист, с грязной полосой поперек небритой щеки; среди инструментов, свертков пакли и жестянок с маслом дымилась печка, на которой кипел кофейник. На оси снаружи стекла две огромные стрелы указывали десять минут второго. Ось дрогнула, минутная стрелка заскрипела и свалилась на фут ниже, отметив одиннадцатую минуту. По карнизам жались в ряды сонные голуби,

туркая и скрипя клювом. Друд зевнул. Цирк и нападение утомили его. Он дождался, когда часовые колокола, отмечая четверть второго, вызвонили такт старинной мелодии, и устремился к гостинице, где временно жил.

VII

Тщетно искали горожане на другой день на страницах газет описания загадочного события; сила, действующая с незапамятных времен первом и угрозой, разослава в редакции секретный циркуляр, предписывающий «забыть» необыкновенное происшествие; упоминать о нем запрещалось под страхом закрытия; никаких объяснений не было дано по этому поводу, и редакторы возвратили авторам длиннейшие статьи, плоды бессонной ночи, украшенные самыми заманчивыми заголовками.

Меж тем слухи достигли такого размаха, приняли такие размеры и очертания, при каких исчезал уже самый смысл происшествия, подобно тому, как гигантской, но бесформенной становится тень человека, вплотную подошедшего к фонарю. Очевидцы разнесли свои впечатления по всем закоулкам, и каждый передавал так, что остальным было бы о чем с ним спорить,— лучшее доказательство своеобразия в восприятии. В деле Друда творчество масс, о котором ныне, слышно, чрезвычайно хлопочут, проявилось с безудержностью истерического припадка. Правда, мелкотравчатый скептицизм образованной части населения пустил такое «но», в глубокомысленной бессмыслиности которого уху, настроенному соответственно, слышалось множество остроумнейших изъяснений. На это «но», как на шпильку, наматывалась пестрая нить ходячей энциклопедии. Кто приводил гипнотизм, факирство, кто чудеса техники, ссылались и на старинных фокусников, творивших непостижимые чудеса, с продувной машинкой в подкладке. Не были изъяты ни синематограф, ни волшебный фонарь, ни знаменитые автоматы: механический Вебера человек обыгрывал искуснейших шахматистов своего времени. В силу того, что всякое событие подобно шару, покрытому слож-

ным рисунком, очевидцы противоречили друг другу, не совпадая в описании происшествия, так как каждый видел лишь обращенную к нему часть шара, с сверхсметной прибавкой фантазии; или же, желая поразить сухой точностью, отнимал подробности; таким образом, сама очевидность стала наполовину спорной. Однако «глас божий», то есть вести с конюшен и галереи, праздновал богатый пир, украшаясь всем, что есть вздорного в человеке, когда захочет он небылиц и сам стряпает их. Эти вести создали легенду о черте, выехавшем на белом коне; по точным справкам других, дьявол похитил девочку и улетел с нею в окно; третья добавляли, что малютка превратилась в старуху страшного вида. Наперерез этой диковине всплыл слух об ангелах, запевших над головой публики о конце мира, но более склонялись все к объяснению, данному буфетчиком «Ниагары», что приезжий грек изобрел летательную машинку, которую можно держать в кармане; грек вылетел из цирка на улицу и упал, потому что в машинке сломался винт. Венцом всей путаницы было потрясающее известие о посещении цирка стаей летающих мертвецов, которые пили, ели, а затем принялись безобразить, срывая с зрителей шляпы и выкрикивая на неизвестном языке умопомрачительные слова.

Малый очаг такого кипения слухов представляя утром 24 числа кухня гостиницы «Рим» в восьмом часу. Здесь, за столом, посреди которого валил пар огромной сковороды с бараниной, лакей и повар вели жаркий спор; их слушали горничные и кухарки; поварята, гримасничая и наделяя у плиты друг друга щелчками, успевали в то же время слушать беседу. Лакей хотя и не попал в цирк, за отсутствием билетов, но весь вечер протолкался у входа среди несчастливцев, тщетно надеявшись умилостивить контролера сигарой или проскочить, улучив момент, внутрь.

— Вздор! — сказал повар, выслушав описание повального бегства зрителей. — Хотя бы и видел ты собственными глазами, чего, как говоришь сам, не было.

— Легко сказать «вздор», — возразил лакей, — тверди «вздор», что бы ты ни услышал. Противно с тобой

говорить. Если думают, что я лгу, пусть имеют храбрость сказать мне это прямо в лицо.

— А что тогда будет? — воинственно спросил повар. — Прямо в лицо?! Вот я тебе прямо в лицо и говорю, что ты врешь.

— Я? Вру?

— Ну, не врешь, так сочиняешь; это одно и то же; а если хочешь знать правду, то я тебе объясню: все произошло оттого, что обрушились столбы. Этого я, разумеется, не видел, но думаю, что хватит и такой безделицы. Галереи ведь на столбах, — не так ли? А раз зрителей набилось туда втрое больше, чем полагается, подпорки и подломились.

— При чем тут подпорки? — возразил, вспотев от отчаяния, лакей. — Когда побежала полная улица народа, двери трещали, и я сам слышал крики. Кроме того, я многих расспрашивал; кажется, ясно.

— Вздор! — сказал повар. — Как обломают тебе ноги, так закричишь, сам не зная что. Бывает, что с испуга человек сходит с ума и начинает нести всякую чепуху.

— Уж всем известно, что вы неверующий, — заголосила горничная в то время, как ее подруга с кухаркой, разинув рты, трепетали в припадке острого любопытства. — А я еще маленькая видела такую вещь, что попросите меня рассказать о том на ночь, я ни за что не решусь. Приходит к нам человек — дело было ночью — и просится ночевать...

— И я хорошо помню, — перебил лакей, — как вышел из двери солидный, вежливый господин. «Что там произошло?» — спросил я его, и вижу, что он сильно взъярен; он мне сказал: «Не ищите суеверных развлечений. Я видел, как в человека вселился демон и поднял его на воздух. Молитесь, молитесь!» — И он ушел, этак помахивая рукой; я вам говорю, в одной этой его руке была масса выражения!

Повар не успел произнести «вздор!», как горничная, опасаясь, что ее рассказ потонет в ожесточении спорщиков, взяла тоном выше и заговорила быстрее:

— Вы слышите? Я сказала, что тот человек попросился к нам ночевать; отец поворчал, но пустил; а на

другой день мать говорила ему: «Что? Разве не была я права?» Она не хотела, чтобы его пустили. Что же вышло? У нас в доме была пустая комната, в которой никто не жил; туда сваливали обыкновенно овощи; там же отец держал токарный станок. В эту комнату уложили мы спать нашего странника. Я его как сейчас вижу: высокий, толстый, седой, а лицо гладкое и такое розове, как вот у Бетси или у меня, когда меня не раздражают ничем. Хотя я была маленькая, но ясно видела, что в старике есть что-то подозрительное. Когда он убрался спать, я подкралась к двери, заглянула в замочную скважину и... вы можете представить, что я увидела?

— Нет, нет! Не говорите! Не говорите! — воскликнули женщины.— Ай, что же вы там увидели?

— Он сидел на мешках. Я и теперь вся дрожу, как тогда. «Обожаемые мои члены! — сказал он и снял правую ногу.— Мои любезные конечности!» Тут, ей-богу, я сама это видела, отнял он и поставил к стене левую ногу. Колени мои подкосились, но я смотрю. Я смотрю, а он снимает одну руку, вешает ее на гвоздь, снимает другую руку, кладет ее этак небрежно и... и...

— Ну?! — подхватили слушатели.

— И преспокойно снимает с себя голову! Вот так! Бряк ее на колени!

Здесь, желая изобразить ужасный момент, рассказчица схватила себя за голову, вытаращив глаза, а затем, с видом изнеможения, вызванного тяжелым воспоминанием, картиною уронила руки и откинулась, переводя дух.

— Ну, уж это ты врешь,— сказал повар, интерес которого к повествованию заметно упал, как только горничная лишила нищего второй руки.— Чем же он снял голову, если у него не было рук?

Горничная обвела его ледяными глазами.

— Я давно замечаю,— хлестко возразила она,— что вы ведете себя, как азиатский паша, не имея капельки уважения к женщине. Кто вбил вам в голову, что старик был без рук? Я же говорю, что руки у него были.

Ум повара помутился; бессильно махнул он рукой и плюнул. В этот момент вошел, смотря поверх огромных очков, человек в переднике и войлочных туфлях.

— Как вспомню, мороз подирает,— сказал коридорный, когда новая пауза достигла неприятных размеров.— Слушайте. Сегодня, во втором часу ночи, почистив все сапоги, проходил я мимо 137-го и, заметив, что дверь не заперта, а приотворена, постучал; не за делом, а так. Мало ли что может быть. Было там тихо. Я вошел, убедился, что жильца нет, запер ключом дверь, а ключ положил в карман, потом повесил его на доску. После того я задержался наверху минут пять, снова пошел вниз и, как дорога моя была мимо того же 137-го, увидел, что дверная ручка качнулась. Кто-то изнутри пробовал отворить дверь. Я тихо подошел к ней и замер,— еще раз дернулась ручка, затем раздались шаги. Тут я заглянул в скважину. В передней был свет, и я увидел спину отходящего человека. У портьеры, отведя ее, он остановился и повернулся, но это был не чужой, а тот самый Айшер, что там живет. Минут через пять, не больше, он взошел в коридор по лестнице, снял ключ и попал к себе.

Изложив эти обстоятельства, коридорный вновь по очереди осмотрел широко раскрытые рты и прибавил:

— Понимаете?

— Черт побери! — сказал лакей, ехидно взглянув на повара, который на этот раз не закричал «вздор!», а лишь горько покачал головой над куском бараньего жира.— Как же он мог оказаться у себя дома?

— Если не через балкон, то разве что в образе комара или мухи,— пояснил коридорный,— даже мыши не пролезть в замочную скважину.

— А что сказал управляющий?

— Он сказал: «Гм... Только, я думаю, не померещилось ли тебе?» Однако я видел, как он с легкостью побежал наверх, должно быть затем, чтобы посмотреть самому в дырку; а спускался он назад с лицом втрое длиннее, чем оно было.

Тут все стали обсуждать поведение и личность таинственного жильца.

— Он редко бывает дома,— сказал коридорный, причем вспомнил, что Айшер предпочел номер в верх-

нем этаже, хотя эта комната хуже свободных номеров этажей **нижних**. Бетси пропела: «Степенный молодой человек, на редкость кроткий и вежливый; никто еще не слышал от него замечаний, даже когда забудешь пройтись по комнате щеткой или, стоя перед зеркалом, помедлишь явиться на звонок».

Никто не знал, чем он занимается, никто не посетил его. Слышали иногда, как он разговаривает сам с собой или, смотря в книгу, тихо смеется. Бесполезно расставлять ему пепельницы, потому что окурки все равно валяются на полу.

Меж тем лакей как бы впал в транс; все созерцательнее, значительнее и рассеяннее становилось его лицо и все выше возводил он глаза к потолку, где бодро жужжали мухи. Возможно, что эти насекомые сыграли для него роль легендарного Ньютона яблока, дав разрозненной добыче ума связь кристаллическую; подняв руку, чтобы привлечь внимание, он уставился нахмуренным взглядом в сизый нос повара и слабым голосом, за каким, в таких случаях, стоит гордая уверенность, что сказанное прозвучит поразительнее громовых возгласов, медленно произнес:

— А знаете ли вы, кто такой жильтя 137-го номера? Кто этот человек, попадающий домой без ключа? Кто он, именуемый Симеон Айшер? Да, кто он, — знаете вы это? А если не знаете, то желаете знать или не желаете?

Выяснилось, что желают все, но что некоторые недолюбливают, когда человек кривляется, а не говорит прямо.

— Прямо?! — воскликнул лакей. — Так вот! — Он встал, картино опрокинул стул и, протянув правую руку к сетке для процеживания макарон, крикнул: — Человек, попадающий без ключа! Человек, требующий, чтобы ему непременно отвели верхнее помещение! Человек, о котором никто не знает, кто он такой, — этот человек есть тот, который полетел в цирке!

Раздалось женское «Ax!» — и шум изумления заглушил раздражительный протест повара. В эту минуту вбежал тощий мальчуган, издали еще примахивая к се-

бе рукой Бетси и крича: «Идите скорей, вас требует управляющий!»

— По-вашему, все мошенники! — вскричала, убегая с мальчиком, задетая в своих симпатиях Бетси. — Это, может, вы летаете, а не Айшер!

VIII

В бешенстве человеческих отношений перебрасывается быстрый и тонкий луч холодного света — фонарь полиции. Когда коридорный донес управляющему гостиницы, что изнутри номера 137 дергалась ручка двери, — луч фонаря пристально остановился на лице управляющего и, сверкнув приказательно, позвал к руке, державшей фонарь. Рука издали казалась обыкновенной рукой, в обшлаге с казенными пуговицами; но вблизи выразила всего человека, который владел ею. Ее пальцы были жестки и плоски. Она лежала, как каменная, на углу большого стола, в свете зеленой лампы.

Ночь кончилась; этот свет уступил блеску раннего солнца, в котором Бетси предстала пытливым и равнодушным глазам управляющего гостиницы. Он взял резкий тон крайнего неудовольствия:

— Вы обслуживаете верх и так нерадиво, что на вас стали поступать жалобы. Мне это не нравится. Я выслушал неприятные вещи. Приборы не чищены, мебель расставлена неаккуратно, подаете тупые ножи, расплескиваете кофе и чай, приносите мятые салфетки. До сих пор я не делал вам замечаний, считая это простой оплошностью, но сегодня решил, наконец, покончить с ленью и безобразием.

— Сударь, — сказала пораженная девушка, — извините, я, честное слово, ничего ровно не понимаю. Грех вам, вы так меня обижаете... — Она подняла передник, тыкая им в глаза. — Я так стараюсь не покладая рук, что не имею для себя свободной минуты. Вам, должно быть, насплетничали. Кто вам жаловался? Кто? Кто?

— Кто бы ни жаловался, — почтенным жильцам я верю и ваши выкрики считаю истерикой. Не трудитесь оправдываться. Впрочем, я придумал взыскание, которое одновременно проучит вас и даст мне возможность

убедиться, верны ли жалобы. С этого часа, прежде чем разнести что-либо по номерам, извольте показать мне приборы, кушанья и напитки; я сам посмотрю, так ли вы делаете то, что надо делать, и затем, прекращая наш разговор, предупреждаю вас, что в следующий раз вы дешево не отделаетесь.

Горничная вышла с тяжелым сердцем, в слезах и горьком недоумении, по-своему объясняя придирку.

«Он приставал ко мне,— решила она,— перещипал мне все руки, но без толку — и теперь мстит; будь он, однако, проклят, — я понесу ему на осмотр не только приборы, а все ковры и так тряхну перед его носом, что он съест фунтов пять пыли».

Простодушно изобличив таким образом свои отношения к коврам, она поднялась наверх, преследуемая звонками. На сигнальной доске выпали три номера и меж ними номер 137; осмотрев цифры, Бетси ощутила легкую, полную любопытства жуть, навеянную кухонной болтовней. Два жильца потребовали счет и извозчика; голос 137-го номера, осведомившись сквозь портьеру, который час, — сообщил, что еще не одет, попросил кофе и рюмку ликера; затем Айшер зевнул.

«Ты, что ли, жаловался? — подумала Бетси, припоминая, как вчера убирала номер несколько второпях. — Фальшивая душа, если обращаешься, словно ни в чем не бывало; хорошо, я покажу тебе, как умею отвечать с достоинством».

Воспоминание еще о некоторых грешках внущило ее подозрению стальную уверенность.

«Все-таки он красив и кроток, как ангел; на первый раз, может быть, надо его простить».

И она тоном насильтственного изумления, в котором, по ее мнению, проглядывал скорбный упрек, ответила, что на часах половина восьмого, что каждый одевается, когда хочет, а кофе она принесет немедленно.

— Прекрасно,— сказал Айшер,— вы, Бетси, не прислуга, а клад. Я очень доволен вами.

Бетси вознамерилась было сказать Айшеру о выговоре управляющего и спросить, не Айшер ли накликал на нее эту беду, но в последних его словах почудилось

ей легкое издевательство. Она высунула язык и, довольноная тем, что акт мщения скрыт портьерой, кисло произнесла:

— Я ужасно рада, господин Айшер, если имею удовольствие вам угодить,— и вышла, твердо решив впредь держать сердце назаперти.

Она сошла вниз, где у плиты повар в белом колпаке уже колдовал среди облаков пара. Взяв поднос с кофе, Бетси завернула к буфетчику, капнувшему ей в крошечную, как полевой колокольчик, рюмочку отгненного жидкого бархата, и понеслась к управляющему. Она решила наказать его оглушительными ударами в дверь, но, к ее удивлению, управляющий открыл тотчас, едва она стукнула.

— А! — сказал он, окидывая беглым взглядом прибор. — Что это за кислая физиономия? Дайте сюда. Я рассмотрю посуду в свете окна. Подождите. — Он удалился, двигая над кофейником пальцами, словно соля хлеб, и через минуту вышел с улыбкой, передавая поднос горничной. — Ну, так помните: опрятность и чистота — лучшее украшение женщины.

Излишне говорить, что сервиз, всегда чистый, сверкал теперь ослепительно. Бетси, проворчав: «Наставляйте свою жену», — ушла и отнесла кофе в 137-й номер.

Друд, потягиваясь, прихлебывал из белой с золотом чашки. За раздвинутыми занавесями, в обольстительной чистоте и свежести раннего утра сверкал перед ним яркий балкон.

«Кажется, довольно быть здесь. Уже что-то заставляет прислушиваться к этим стенам».

Но легкая пыль, поднятая тайной работой, не задела его дыхания, и размыщление сосредоточилось на сенсации. Хотя городские газеты обошли дело полным молчанием, — он еще не знал этого. Его внутреннее зрение посетило все углы мира. Он видел, как несутся по телеграфным проволокам, в почтовых пакетах, на красных языках и в серых мозгах пучеглазые, вертлявые вести, пища от нетерпения сбыть себя как можно скорее, — другой проволоке (другому уму, пакету и языку) и, как людоеду подобно, жадно глотает их. Ле-

гента, окутанный дырявым плащом Путаницы, родной сестры всякой истории.

Гром грохнул в обстановке и при условиях, какие неизбежно являются началом отрицания. Места, подобные цирку, не слишком авторитетны; любое впечатление платного зрелища во времени и на расстоянии рассматривается как искусственное; улыбка и шутка — вечный его удел. Есть и будут существовать явления, прозрачные без повседневности; о них выслушают и поговорят, но, если они не повторяются, веры им не более, как честному слову, однажды уже нарушенному. Событие в цирке, исказив окраску и форму, умрет смутным эхом, растерзанное всевозможными толками на свои составные части, из коих самая главная — человек без крыльев, под небом, — станет басней минуты, пожертвованной досужему разговору о запредельных натурах человеческой чудесах. И, может быть, лишь какой-нибудь отсталый любитель снов, облаков и птиц задумается над страницей развязного журнала с трепетом легкой грэзы, закроет книгу и рассеянно посмотрит вокруг.

«Но, если, — Друд приподнял отяжелевшую голову, устраивая подушку выше, — если я решу жить открыто, с наукой произойдут корчи. Уж я слышу тысячу тысяч докладов, прочитанных в жаркой бане огромных аудиторий. Там постараются внушить резвую мысль, что рассмотренное явление, по существу, согласно со всяческими законами, что оно есть непредвиденный аккорд сил, доступных исследованию. А в тишине кабинета, мужественно обложась грудами книг, какой-нибудь растерянный, седой человек, проживший жизнь с гордо поднятой головой, в славе и уважении, станет искаль с среди страниц извилистую тропу, по которой можно залезть внутрь этого, сожравшего его пропитанную потом систему аккорда, пока не убедится в тщете усилий и не отмахнется словами: «Икс. Вне науки. Иллюзия», — подобно досужему остроумцу, доказавшему, что Бонапарта никогда не было».

И перед ним, с ясностью напряженного зрения, встал круг седобородых мужчин, в мантиях и париках, которые, ухватив друг друга за языки, пытались крик-

нуть нечто решительное. Тогда Друд понял, что засыпает и гибнет, но этот печальный момент раненого сознания тотчас затонул в слабости; с усилием поднял он веки и, повинуясь роковой лени, снова закрыл их. В синей тьме поплыли лучистые пятна; они угасли, и лицо спящего побледнело.

Следствием всего этого было небольшое собрание праздных людей у подъезда гостиницы, откуда четыре санитара вынесли на носилках неподвижное тело, окутанное холстом. Лицо также оставалось закрытым. Управляющий, присутствуя при этой сцене, в ответ на соболезнующие вопросы сказал, что увозят больного, захворавшего неожиданно и тяжко; несчастный лишен сознания.

— Быть может, простой нервный припадок, — говорил он. — Я, впрочем, не доктор.

Тем временем больного уложили в карету, служители поместились внутри, а на, козлы, к кучеру, сел бледный человек в очках, с серым лицом. Он что-то шепнул кучеру. Тот, взяв полную рысь, затропил лошадей, и карета, свернув за угол, скользнула к тюрьме.

IX

Вечером следующего дня Руна посетила министра, своего дядю по матери. Уже было одиннадцать, но Дауговет принял ее. Он выразил лишь удивление, что она, любимица, как бы нарочно выбрала такой час с целью сократить его удовольствие.

Она сказала:

— Нет, ваше удовольствие, дядя, может быть, увеличится в связи с тем, что я привезла. — И она рассмеялась, а от смеха засмеялась вся ее красота, равная откровению.

Красота красит и тех, кто созерцает ее; все ее оттенки и светы вызовут похожие на них чувства, и все вместе взволнует и осчастливит. Но еще неотразимее действует совершенство, когда оно вооружено сознанием своей силы. Только удалясь, можно бороться с ним, но и тогда ему обеспечена часть победы, — улыбка задумчивости.

Поэтому, имея в виду все средства для достижения цели, красавица-девушка оделась, как на выезд,— в блестящее открытое платье, напоминающее летний цветок. Из кружев выходили её нежные, белые плечи; обнаженные руки дышали плавностью и чистотой очертания; лицо улыбалось. В ее тонких бровях была некая милая вольность или, скорей, нервность линии, что придавало взгляду своеобразное выражение капризной откровенности, как бы говоря постоянно и всем: «Что делать, если я так невозможно, непростительно хороша? Примирайтесь с этим, помните и простите».

— Дитя,— сказал министр, усаживая ее,— я стариk и довожусь родным дядей, но должен сознаться, что за право смотреть на вас глазами хотя бы Галля,— охотно и с отвращением вернул бы судьбе свой властный мундир. Жаль, у меня нет таких глаз.

— И я не верю слепым, поэтому заговорю о вашей безошибочной, прочной любви к книгам. Вы не изменили своей привязанности?

Дауговет оживился, что случалось с ним неизменно, если затрагивать этот вопрос.

— Да, да,— сказал он,— меня заботят теперь «Эпитафии» 1748 года, изданные в Мадриде под инициалами Г. Ж.; два экземпляра проданы Верфесту и Гроссману, я опоздал, хотя относительно одного экземпляра есть надежда: Верфест не прочь от переговоров. Однако,— он взглянул на книгу, которая была с Руной,— не фея ли вы и не драгоценности ли Верфеста с тобой?

Министр переходил на «ты» в тех случаях, когда хотел дать этим понять, что свободно располагает временем.

— Сознаюсь, эту сверхъестественную надежду внушило мне твое торжественное внутреннее освещение и загадочные слова о радости. Все же иногда жаль, что чудесное существует только в воображении.

— Нет, не «Эпитафии».— Руна мельком взглянула на свою книгу.— Как хотите, то, что мы с вами видели в цирке, есть чудо. Я не понимаю его.

Министр, прежде чем отвечать, помолчал, обдумывая слова, какими мог подчеркнуть свое нежелание го-

ворить об удивительном случае и странной выходке Руны.

— Я не понимаю, — что понимать? Кстати, ты испугалась, кажется, больше всех. Откровенно говоря, я жалею, что был в «Солейль». Мне неприятно вспоминать о сценах, которых я был свидетелем. Относительно самого факта или, как ты выражаяешься, — «чуда», я скажу: ухищрения цирковых чародеев не прельщают меня разбором их по существу, к тому же в моем возрасте это опасно. Я, чего доброго, раскрою на ночь Шехерезаду. Очаровательная свежесть старых книг подобна вину. Но что это? Ты несколько похудела, моя милая?

Она вспомнила, что пережила в эти два дня, одержимая желанием найти человека, запавшего под куполом цирка. В напиток, которым она пыталась утолить долгую жажду, этот стариk, ее дядя, бросил яд. Поэтому лицемерие Дауговета возмутило ее; прикрыв гнев доброй улыбкой рассеянности, Руна сказала:

— Я похудела, но причина тому — вы. Я еще более похудела бы, не будь у меня в руках этой книги.

Министр поднял брови.

— Где ключ к загадкам? Объясни. Я уже делаюсь наполовину серьезен, так как ты тревожишь меня.

Девушка шутя положила веер на его руку.

— Смотрите мне в глаза, дядя. Смотрите внимательно, пока не заметите, что нет во мне желания подурачиться, что я настроена необычно. — Действительно, глаза ее сосредоточенно заблестели, а полуоткрытый рот, тронутый игрой смеха, вздрагивал с кратким и пленительным выражением. — Убедительно ли я говорю? Видите ли вы, что мне хорошо? В таком случае, потрудитесь проверить, способны ли вы вынести удар, потрясение, молнию? Именно — молнию, не потеряв сна и аппетита?

В ее словах, в звонкой неровности ее голоса чудилось торжество оглушительного секрета. Молча смотрел на нее министр, следя невольной улыбкой всем тонким лучам игры прекрасного лика Руны, с предчувствием, что приступ скрывает нечто значительное. Наконец ему сообщилось ее волнение; он отечески накнулся к ней, сдерживая тревогу.

— Но, боже мой, что? Дай опомниться. Я всегда достаточно владею собой.

— В таком случае,— важно сказала девушка,— что думаете вы о покупке Верфеста? Есть ли надежда «Эпитафиям» засиять в вашей коллекции?

— Милая, если не считать надеждой твои странные вопросы, твою экзальтацию,— нет, нет, почти никакой. Правда, я заинтересовал одного весьма ловкого комиссионера, того самого, который обменял Грею золотой свиток Вед II столетия на катехизис с пометками Льва VI, уверив владельца, что драгоценная рукопись приносит несчастье ее собственнику,— да, я намагнистил этого посредника вскими обещаниями, но Верфест, кажется, имеет предложения более выгодные, чем мои. Признаюсь, этот разговор глубоко волнует меня.

— В таком случае,— Руна весело вздохнула,— «Эпитафии» вам придется забыть?

— Как?! Лишь это ты сообщаешь мне, действуя почти страшно?

— Нет, я раздумываю,— не утешит ли вас что-либо равное «Эпитафиям», что так же, как они, или еще сильнее того, манит вас; над чем забылись бы вы, разгладив морщины?

Министр успокоился и воодушевился.

— Так, все ясно мне,— сказал он,— видимо, библиомания — твое очередное увлечение. Хорошо. Но с этого надо было начать. Я назову редкости, так сказать, не-подвижные, ибо они составляют фамильное достояние. Истинный, но не всемогущий любитель думает о них с платоническим умилением влюбленного старца. Вот они: «Объяснение и истолкование Апокалипсиса» Нострадамуса, 1500 года, собственность Вейса; «Дон Кихот, великий и непобедимый рыцарь Ламанчский» Сервантеса, Вена 1652 года, принадлежит Дориану Кемболл; издание целиком сгорело, кроме одного экземпляра. Затем...

Пока он говорил, Руна, склонив голову, задумчиво водила пальцами по обрезу своей книги. Она перебила:

— Что, если бы вам подарили «Объяснение и истолкование Апокалипсиса»? — невинно осведомилась она.— Вам это было бы очень приятно?

Министр рассмеялся.

— Если бы ты, как в сказке, превратилась в фею? — отвечал он, ловя себя, однако, на том, что присматривается к рукам Руны, небрежно поворачивающим свою книгу, с суеверным чувством разгоряченного охотника, когда в сумерках тонкий узор куста кажется ветвисторогой головой затаившегося оленя. — А ты достойна быть феей.

— Да, вернее, — я ужилась бы с ней. Но и вы достойны владеть Нострадамусом.

— Не спорю. Дай мне его.

— Возьмите.

И она протянула редкость с простотой человека, передающего собеседнику наскучившую газету.

Министр не понял. Он взял и прищурился на кожаный переплет, затем улыбнулся светлой улыбкой Руны.

— Да? Ты это читаешь? А, в самом деле, обернись мгновенно сей, надо думать, ученый опыт золотом Нострадамуса, я, пожалуй, окаменел бы на столько времени, на сколько, так некстати, окаменел Лот.

Без подозрения, хотя странно и тяжело сжалось сердце, откинул он переплет и увидел заглавный лист с знаменитой виньеткой, обошедшей все специальные издания и журналы Европы, — виньетку, в выцветших штрихах которой, стиснутые столетиями, развернулись пружиной и прянули в его мозг вожделения библиофилов всех стран и национальностей. Всё вздрогнуло перед ним, руки разжались, том упал на ковер, и он поднял его движениями помешанного, гасящего воображеный огонь.

— Как? — дико закричал Дауговет. — Нострадамус — и без футляра! Но, ради всех святых твоей души, — какой джин похитил для тебя это? Боги! Землетрясение! Революция! Солнце упало на голову!

— Голову, — спокойно поправила девушка. — Вы обещали не волноваться.

— Если не потеряю рассудок, — сказал ослабевший министр, припадая к сокровищу с помутившимся, бледным лицом, — я больше волноваться не буду. Но неужели Вейс пустил библиотеку с аукциона?

Говоря это, он перенес драгоценность на круглый столик под лампу с бронзовым изображением Гения, целующего Мечту, и отпустил свет; затем несколько овладел чувствами. Руна сказала:

— Всё это — результат моего извещения Вейсу, что я прекращаю двадцатилетний процесс «Трех Дорог», чем отдаю лес и ферму со всеми ее древностями. Вейс крайне самолюбив. Какое торжество для человека, как он! Мне не стоило даже особого труда настаивать на своем условии; условием же был Нострадамус.

Она рассказала, как происходили переговоры — через посредника.

— Безумный, сумасшедший Вейс, — сказал министр. — Его отец развелся с женой, чтобы получить первое издание гуттенберговского молитвенника; короче, он променял жену Абстнеру на триста двадцать страниц древнего шрифта и, может быть, поступил хорошо. Но прости мое состояние. Такие дни не часты в человеческой жизни. Я звоню. Ты ужинаешь со мной? Я хочу показать, что происходит в моей душе, особым действием. Вот оно.

Он нажал звонок, вызвал из недр послушания отлично вылощенную фигуру лакея с неподвижным лицом.

— Гратис, я ужинаю дома. Немедленно распорядитесь этим. Ужин и сервис должны быть совершенно те, при каких я принимал короля; прислуживать будете вы и Вельвет.

Смеясь, он обратился к племяннице:

— Потому что подарок, достойный короля, есть веяние державной власти, и оно тронуло меня твоими руками. А! Ты задумчива?.. Да, странный день, странный вечер сегодня. Прекрасно волновать жизнь такими вещами, такими сладкими ударами. И я хотел бы, подражая тебе, свершить нечто равное твоему любому желанию, если только оно у тебя есть.

Руна, опустив руки, молча смотрела в его восторженное лицо.

— Так надо, так хорошо, — произнесла она тихо и странно, с видом вслух думающей, — веяние великой власти с нами, — да будет оно отличено и озарено пыш-

ностью. И у меня — вы правы в своем порыве — есть желание; оно не материально; огромно оно, сложно и безрассудно.

— Ну, нет невозможного на земле; скажи мне. Если в отношении его ты не можешь быть Бегуэм, как было с подарком, — я стану лицом к нему, как министр и... Дауговет.

Их глаза ясно и остро встретились.

— Пусть, — сказал министр. — Поговорим за столом.

X

Так начался ужин в честь короля Книги. Стол был накрыт, как при короле. Гербы, лилии и белые розы покрывали его, на белой атласной скатерти, в полном блеске люстр и канделябр, огни которых, отражаясь на фарфоре и хрустале, овеяли зал вихрем золотых искр. Разговор пошел о сильных желаниях, и скоро наступил удобный момент.

— Дядя, — начала Руна, — прикажите удалиться служам: то, что я теперь скажу, не должен слышать никто, кроме вас.

Старик улыбнулся и выполнил ее просьбу.

— Начнем, — сказал он, наливая вино, — хотя, прежде чем открыть мне свое, по-видимому, особенное желание, хорошо подумай и реши, в силах ли я его исполнить. Я министр — это много; больше, чем ты, может быть, думаешь, но в моей деятельности не редки случаи, когда именно звание министра препятствует поступить согласно собственному или чужому желанию. Если такие обстоятельства отпадают, я охотно сделаю для тебя всё, что могу.

Он оговорился из любви к девушке, отказать которой, во всяком случае, ему было бы трудно и горько, но Руне показалось уже, что он догадывается о ее замысле. Встревоженная, она рассмеялась.

— Нет, дядя, я сознаю, что своим решительным «нет» уже как бы обязываю вас; однако, беру в свидетели бога, — единственno от вас зависит оказать мне громадную услугу, и нет вам достаточных причин отказать в ней.

Взгляд министра выражал спокойное и осторожное любопытство, но после этих слов стал немного чужим; уже чувствуя нечто весьма серьезное, министр внутренне отдался, приготовляясь рассматривать извешивать всесторонне.

— Я слушаю, Руна; я хочу слышать.

Тогда она заговорила, слегка побледнев от сознания, что силой этого разговора ставит себя вне прошлого, бросая решительную ставку беспощадной игре «общих соображений», бороться с которыми может лишь словами и сердцем.

— Желанию предшествует небольшой рассказ; вам, и, вероятно, очень скоро, по мере того, как вы начнете догадываться, о чем речь, захочется перебить меня, даже приказатъ мне остановиться, но я прошу, чего бы вам это ни стоило,— выслушать до конца. Обещайте, что так будет, тогда, в крайнем, в том случае, если ничто не смягчит вас,— у меня останется печальное утешение, что я отдала своему желанию все силы души и я с трепетом вручаю его вам.

Ее волнение передалось и тронуло старика.

— Но, бог мой,— сказал он,— конечно, я выслушаю что бы то ни было.

Она молча поблагодарила его прелестным движением вспыхнувшего лица.

— Итак, нет более предисловий. Слушайте: вчера моя горничная Лизбет вернулась с интересным рассказом; она ночевала у сестры,— а может быть, у друга своего сердца,— о чем нам не пристало доискиваться... в гостинице «Рим»...

Министр слушал с настороженной улыбкой исключительного внимания, его глаза стали еще более чужими: глазами министра.

— Эта гостиница,— продолжала девушка, выговаривая отчетливо и нервно каждое слово, что придавало им особый личный смысл,— находится на людной улице, где много прохожих было свидетелями выноса и поспешного увоза в карете, из той гостиницы, неизвестного человека, объявленного опасно больным; лицо заболевшего оставалось закрытым. Впрочем, Лизбет знала от сестры его имя; имя это: Симеон Айшер, из

137-го номера. Горничная сказала, что Айшер, по глубокому убеждению служащих гостиницы, есть будто бы тот самый загадочный человек, выступление которого поразило зрителей ужасом. Не так легко было понять из ее объяснений, почему Айшера считают тем человеком. Здесь замешана темная история с ключом. Я рассказываю об этом потому, что слухи среди прислуги, в связи с загадочной болезнью Айшера, возбудили во мне крайнее любопытство. Оно разрослось, когда я узнала, что Айшер за четверть часа до увоза или — согласимся в том — похищения был весел и здоров. Утром он, лежа в постели, пил кофе, почему-то предварительно исследованное управляющим гостиницей под предлогом, что прислуга нечистоплотна и он проверяет, чист ли прибор.

Вечером вчера ко мне привели человека, указанного одним знакомым, как некую скромную знаменитость всех честных агентурных контор,— его имя я скрою из благодарности. Он взял много, но зато глубокой уже ночью доставил все справки. Как удалось ему получить их — это его секрет; по справкам и сличению времени мне стало ясно, что больной, вывезенный из гостиницы половина восьмого утра — и арестованный, посаженный в тайное отделение тюрьмы — около девяти,— одно и то же лицо. Это лицо, последовательно превратясь из здорового в больного, а из больного в секретного узника,— было передано тюремной администрации в том же бессознательном состоянии, причем комендант тюрьмы получил относительно своего пленника совершенно исключительные инструкции, узнать содержание которых, однако, не удалось.

Итак, дядя, ошибки нет. Мы говорим о летающем человеке, схваченном по неизвестной причине, и я прошу вас эту причину мне объяснить. Смутно и, быть может, неполно я догадываюсь о существе дела, но, допуская причину реальную, то есть неизвестное мне преступление, я желала бы знать всё. Кроме того, я прошу вас нарушить весь ход государственной машины, разрешив мне, тайно или явно — как хотите, как возможно, как терпимо и допустимо — посетить заключенного. Теперь всё. Но, дядя,— я вижу, я понимаю ваше ли-

цо,— ответьте мне не сурово. Я еще не всё сказала вам; это несказанное — о себе; я пока стиснута ожиданием ответа и ваших неизбежных вопросов; спрашивайте, мне будет легче, так как лишь понимание и сочувствие дадут некоторое спокойствие; иначе едва ли удастся мне объяснить мое состояние. Минуту, одну минуту молчания!

Минуту... Но прошло, может быть, пять минут, прежде чем министр вернулся из страшной дали холодного ослепительного гнева, в которую отбросило его это признание, заключенное столь ошеломительной просьбой. Он смотрел в стол, пытаясь удержать нервную дрожь рук и лица, не смея заговорить, стараясь побороть припадок бешенства, тем более ужасный, что он протекал молча. Наконец, ломая себя, министр выпил залпом стакан воды и, прямо посмотрев на племянницу, сказал с мертвой улыбкой:

— Вы кончили?

— Да,— она слабо кивнула.— О, не смотрите на меня так...

— Надо обратить особенное внимание на все частные конторы, агентства; на все эти шайки самовыленных следопытов. Довольно. Нас хватают за горло. Я истреблю их! Руна, мои соображения в деле Айшера таковы. Будьте внимательны. Суть явления непостижима; ставим x , но, быть может, самый большой с тех пор, как человек не летает. Речь, конечно, не о бензине; бензин контролируется бензином. Я говорю о силе, способности Айшера; здесь нет контроля. Но никакое правительство не потерпит явлений, вышедших за пределы досягаемости, в чем бы явления эти ни заключались. Отбрасывая примеры и каноны, займемся делом по существу.

Кто он, мы не знаем. Его цели нам неизвестны. Но известны его возможности. Взгляните мысленно сверху на всё, что мы привыкли видеть в горизонтальной проекции. Вам откроется внутренность фортов, доков, гаваней, казарм, артиллерийских заводов — всех оградений, возводимых государством, всех построек, планов, соображений, численностей и расчетов; здесь нет уж тайн и гарантий. Я беру — предположитель-

но — злую волю, так как добрая доказана быть не может. В таких условиях преступление превосходит всякие вероятности. Кроме опасностей, указанных мной, нет никому и ничему защиты; неуловимый Некто может распоряжаться судьбой, жизнью и собственностью всех, без исключения, рискуя лишь, в крайнем случае, лишним передвижением.

Явление это подлежит беспощадному карантину, быть может, уничтожению. Во всем есть, однако, сторона еще более важная. Это состояние общества. Наука, — совершив круг, по черте которого частью разрешены, частью грубо рассечены, ради свободного движения умов, труднейшие вопросы нашего времени, — вернула религию к ее первобытному состоянию, — уделу простых душ; безверие стало столь плоским, общим, обиходным явлением, что утратило всякий оттенок мысли, ранее придававший ему, по крайней мере, характер восстания; короче говоря, безверие — это жизнь. Но, взвесив и разложив все, что было тому доступно, наука вновь подошла к силам, недоступным исследованию, ибо они — в корне, в своей сущности, — Ничто, давшее Всё. Предоставим простецам называть их «энергией» или любым другим словом, играющим роль резинового мяча, которым они пытаются пробить гранитную скалу...

Говоря, он обдумывал в то же время все обстоятельства странного отступления в деле Айшера, вызванного просьбой девушки. Мысленно он решил уже позволить Руне это свидание, он решил также дополнить дозволение тайной инструкцией коменданту, которая придавала бы всему характер эксцентричной необходимости, имеющей государственное значение; он сам надеялся узнать таким путем кое-что, что-нибудь, если не всё.

— ...гранитную скалу. Глубоко важно то, что религия и наука сошлись вновь на том месте, с какого первоначально удалились в разные стороны; вернее, религия поджидала здесь науку, и они смотрят теперь друг другу в лицо. Представим же, что произойдет, если в напряженно ожидающую пустоту современной души грянет этот образ, — это потрясающее диво: человек,

летящий над городами, вопреки всем законам природы, уличая их в каком-то чудовищном, тысячелетнем вранье. Легко сказать, что ученый мир кинется в атаку и всё объяснит. Никакое объяснение не уничтожит сверхъестественной картины зрелища. Оно создает легковоспламеняющуюся атмосферу мыслей и чувств, подобную экстатическим настроениям Крестовых походов. Здесь возможна религиозная спекуляция в гигантском масштабе. Волнение, вызванное ею, может разразиться последствиями катастрофическими. Все партии, каждая на свой манер, используют этого Айшера, приводя к столкновению тьму самых противоречивых интересов. Возникнут или оживут секты; увлечение небывалым откроет шлюзы неудержимой фантазии всякого рода; легенды, поверья, слухи, предсказания и пророчества смешают все карты государственного пасьянса, имя которому — Равновесие. Я думаю, что сказал достаточно о том, почему этот человек лишен свободы. Поговорим о твоем желании: объясни мне его.

— Оно сродни вашей любви к редкой книге. Всё необычайное привлекает меня. Был человек, который покупал эхо,— он покупал местности, где раздавалось многократное, отчетливое, красивое эхо. Я хочу видеть Айшера и говорить с ним по причине не менее сильной, чем те, какие заставляют искать любви или совершить подвиг. Это — вне рассудка; оно в душе и только в душе,— как иначе объяснить вам? Это — я. Допустите, что живет человек, который никогда не слышал слова «океан», никогда не видел его, никогда не подозревал о существовании этой синей страны. Ему сказали: «есть океан, он здесь, рядом; пройди мимо, и ты увидишь его». Что удержало бы в тот момент этого человека?

— Довольно,— сказал министр,— твое волнение искренне, а слова достойны тебя. Разрешение я даю, но ставлю два условия: молчание о нашей беседе и срок не более получаса; если нет возражений, я немедленно напишу приказ, который отвезешь ты.

— Боже мой! — сказала она, смеясь, вскакивая и обнимая его.— Мне ли ставить условия? Я на всё соглас-

на. Скорее пишите. Уже глубокая ночь. Я еду немедленно.

Министр написал пространное, подробное приказание, запечатал, передал Руне, и она, не теряя времени, поехала, как во сне, в тюрьму.

XI

Ту ночь, когда Друд всколыхнул тайные воды людских душ, Руна провела в острой бессоннице. К утру уже не помнила она, что делала до того часа, когда, просветлев от зари, город возобновил движение. Казалось ей, что она ходила в озаренных пустых залах без цели, без размышления, в том состоянии, когда мысли возникают неправильно, без усилий и плана, отражая пожар огромного впечатления, как брошенный с крутизны камень, сталкивая и увлекая другие камни, чужд уже движению швырнувшей его руки, низвергаясь лавиной. В сердце ее возникла цель, показавшая за одну ночь все ее силы, доныне не обнаруженные, поразившие ее самое и легко двинувшие такие тяжести, о которых она не знала и понаслышке. Так, часто по незнанию человек долго стоит спиной к втайне желанному; кажется со стороны, что он дремлет или развлекает себя мелкими наблюдениями, но, внезапно повернув голову и задрожав, приветствует криком восторга чудесную близость сокровища, а затем, сосредоточив всё возбуждение внутри себя, стремительно овладевает добычей. Она жила уже непобедимым видением, путающим все числа судьбы.

Подъезжая к тюрьме, Руна с изумлением вспомнила, что сделала за эти двадцать четыре часа. Она не устала; хоть лошади несли быстро, ей беспрерывно хотелось привстать, податься вперед; это как бы, так ей казалось, пришпоривает движение. Она доехала в пятнадцать минут.

«Так вот — тюрьма!» Здесь, на глухой площади, бродили тени собак; фонари черных ворот, стиснутых башенками, озаряли решетчатое окошко, в котором показались усы и лакированный козырек. Долго гремел замок; по сложному, мертвому гулу его казалось, что раз в тысячу лет открываются эти ворота, обитые дюймо-

вым железом. Она прошла в них с чувством Роланда, рассекающего скалу. Сторож, откинув клеенчатый капюшон плаща, повел ее огромным двором; впереди тускло блестели окна семи этажей здания, казавшегося горой, усеянной мерцающими кострами.

Дом коменданта стоял среди сада, примыкая к тюрьме. Его окна еще уютно светились, по занавесям скользили тени. Руну провела горничная; видимо, пораженная таким небывалым явлением в поздний час, она, открыв дверь приемной, почти швырнула посетительнице стул и порывисто унеслась с письмом в дальние комнаты, откуда проникал легкий шум, полный мирного оживления, смеха и восклицаний. Там комендант отдыхал в семейном кругу.

Он вышел тотчас, едва дочитал письмо. С прозорливостью крайнего душевного напряжения Руна увидела, что говорит с механизмом, действующим не укоснительно, но механизмом крупным, меж колес которого можно ввести тепло руки без боязни пораниться. Комендант был громоздок, статен, с проседью над крутым лбом; из его серых глаз высматривали солдат и ребенок.

Увидев Руну, он подавил волнение любопытства чувством служебной позиции, которую занимал. Несколько, как бы вскользь, смутившись, он завел огромной ладонью усы в рот, выпустил их, крякнул и ровным, густым голосом произнес:

— Мною получено приказание. Согласно ему я должен немедленно сопровождать вас в камеру пятьдесят три. Свидание, как вам, верно, сообщено уже господином министром, имеет произойти в моем присутствии.

— Этого я не знала.— Сраженная, Руна села, внезапно почувствовала такой прилив настойчивого отчаяния, что мгновенно вскочила, собираясь с духом и мыслями.— Я вас прошу разрешить мне пройти одной.

— Но я не могу,— сказал комендант, неприятно потревоженный в простой схеме своих движений.— Я не могу,— строго повторил он.

Бледнея, девушка тихо улыбнулась.

— Тогда я вынуждена говорить с вами подробнее. Ваше присутствие исказит мой разговор с Айшером; исчезнет весь смысл посещения. Он и я — мы знаем друг друга, вы поняли?

Она хотела, говоря так, лишь вызвать туманную мысль о ее личном страдании. Но странным образом смысл этой тирады совпал односторонне направленному уму коменданта с желанием министра.

— Я понял, да. — Не желая дальше распространяться об этом, из боязни перейти границы официальные, он тем не менее заглянул снова в письмо и сказал: — Вы думаете, что таким путем... — и, помолчав, добавил: — Объясните, так как я не совсем понял.

Но этого было Руне довольно. Из глубокой тени двусмысленности мгновенно скакнула к ней прозрачнейшая догадка. Она вспыхнула, как мак, что, между прочим, укрепило коменданта в его к ней почтительно и глубоко затаенном презрении; ей же принесло боль и радость. Она продолжала, опуская глаза:

— Так будет лучше.

Комендант, раздумывая, смотрел на нее с сознанием, что она права; по отношению же к склонности ее объяснений остался, в простоте души, совершенно уверен, что, не считая его тупицей, она предоставляет понимать с полуслова. Пока он размышлял, она повторила просьбу и, заметив, как растерянно пожал комендант плечами, прибавила:

— Останется между нами. Положение исключительно; не большее исключение совершите вы.

Хотя письмо министра устранило всякие подозрения, комендант еще колебался, удерживаемый формальной добросовестностью по отношению к словам письма: «в вашем присутствии». Его лично тяготила такая обязанность, и он подумал, что хорошо бы отдельаться от навязанного ему положения, тем более, что, видимо, не было никакого риска. Однако не эти соображения дали толчок его душе. Нечто между нашими действиями и намерениями, подобно отводящей удар руке, оказало решительное влияние на его волю. Разно именуется эта непроизвольная черта; «что-то толкнуло», «дух момента», «сам не знаю, почему так

произошло», — вот выражения, какими изображаем мы лицо могущественного советчика, действующего в отношениях наших неуловимыми средствами, тем более разительными, когда действуют они противу в с е х доводов рассудка и чувства, чего в данном случае не было.

Он подумал еще, еще и, наконец, приняв решение, более не колебался:

— Если вы дадите мне слово... — сказал он, — извините меня, но как ответственное лицо я обязан говорить так. Если вы дадите мне слово, что не употребите никаким образом во зло мое доверие, — я оставлю вас в камере на указанный письмом срок.

С минуту, не меньше, смотрела она на него прямо и твердо, и тяжелая пауза эта придала ее словам весь вес, всю значительность нравственной борьбы, что комендант понял, как изумление. Она не опустила глаз, не изменилось ее чудное лицо, когда он услышал глубокий и гордый голос:

— В этом я даю слово. — Она не сознавала сама, чего стоило ей сказать так, лишь показалось, что внутри, будто от взрыва, обрушилось стройное здание чистоты, но над дымом и грязью блеснул чистый огонь жертвы.

— В таком случае, — сказал после короткого молчания комендант, — прошу вас следовать за мной.

Он надел фуражку и направился через дверь, противоположную той, в какую вошла Руна. Они вышли в поворот ярко освещенного коридора; он был прям, длинен, как улица, прохладен и гулок. В его конце была решетчатая железная дверь; часовой, зорко блеснув глазами, двинул ключом; звук металла прогремел в безднах огромного здания грозным эхом. За этой дверью высился, сквозь все семь этажей, узкий пролет; по этажам с каждой стороны тянулись панели, ограждаемые железом перил. На равном расстоянии друг от друга панели соединялись стальными винтовыми лесенками, дающими сообщение этажам. Ряды дверей одиночных камер тянулись вдоль каждой галереи, всё вместе казалось внутренностью гигантских сот, озаренной неподвижным электрическим светом. По панелям бесшумно расхаживали или, стоя на соединительных

мостиках, смотрели вниз часовые. На головокружительной высоте стеклянного потолка сияли дуговые фонари; множество меньших ламп сверкало по стенам между дверей.

Руна никогда раньше не бывала в тюрьме; тюрьма уже давила ее. Всё поражало, всё приводило здесь к молчанию и тоске; эта чистота и отчетливость беспощадно ломали все мысли, кроме одной: «тюрьма». Асфальтовые, ярко натертые панели блестели, как лужи; медь поручней, белая и серая краска стен были вычищены и вымыты безукоризненно,— роскошь отчаяния, рассчитанного на долгие годы. Она живо представила, что ей не уйти отсюда; кровь стукнула, а ноги потяжелели.

— Это не так близко,— сказал комендант,— еще столько же осталось внизу.— И он подошел к повороту; открылась галерея, подобная пройденной. По ее середине крупная спираль стального трапа вела в нижний этаж. Здесь они прошли под сводчатым потолком подвального этажа к самому концу здания, где, за аркой в поперечном делении коридора, были так называемые «секретные» камеры. У одной из них комендант круто остановился. Завидя его, от окна с табурета поднялся вооруженный часовой; он взял руку под козырек и отрапортовал.

— Откройте 53,— сказал комендант.

С суетливостью, изобличавшей крайнее, но молчаливое изумление, часовой привел в движение ключ и запор. Затем он оттянул тяжелую дверь.

— Пожалуйте,— обратился комендант к Руне, пропуская ее вперед; она и он вошли, и дверь плотно закрылась.

Руна видела обстановку камеры, но не сознавала ее, а припомнила лишь потом. На кровати, опустив голову, сидел человек. Его ноги и руки были в кандалах; крепкая стальная цепь шла от железного пояса, запертого на талии, к кольцу стены.

— Что же, меня хотят показывать любопытным?— сказал Друд, вставая и гремя цепью.— Пусть смотрят.

— Вам разрешено свидание в чрезвычайных условиях. Дама пробудет здесь двадцать минут. Такова воля высшей власти.

— Вот как! Посмотрим.— Лицо Друда, смотревшего на Руну, выражало досаду.— Посмотрим, на что еще вы способны.

Комендант смущился; он мельком взглянул на бледное лицо Руны, ответившей ему взглядом спокойного непонимания. Но он понял уже, что Друд не знает ее. В нем прянули подозрения.

— Я вижу, вы не узнаете меня,— значительно и свободно произнесла Руна, улыбнувшись так безмятежно, что едва скрыл улыбку и комендант, уступив самообладанию.— Но этот свет...— Она вышла на середину камеры, откинув кружево покрывала.— Теперь вы узнали? Да, я — Руна Бегуэм.

Друд понял, но из осторожности не сказал ничего, лишь, кивнув, сжал вздрогнувшую холодную руку. Камень кольца нажал его ладонь. Комендант, сухо поклонившись девушке, направился к двери; на пороге он задержался:

— Я предупреждаю вас, 53-й, что вы не должны пользоваться кратким преимуществом положения ни для каких целей, нарушающих тюремный устав. В противном случае будут приняты еще более строгие меры вашего содержания.

— Да я не убегу за эти двадцать минут,— сказал Друд.— Мы понимаем друг друга.

Комендант молча посмотрел на него, крякнул и вышел. Дверь плотно закрылась.

Теперь девушка, без помехи, в двух шагах от себя могла рассматривать человека, внушившего ей великую мечту. Он был в арестантском костюме из грубой полосатой фланели; спутанные волосы имели заспанный вид; лицо похудело. Глубоко ушли глаза; в них пряталась тень, прикрывающая непостижимое мерцание огромных зрачков, в которых, казалось, движется бесконечная толпа или ходит, ворочая валами, море, или просыпается кочной жизни пустыня. Эти глаза наваливали смотрящему впечатления, не имеющие ни имени, ни мерила. Так, может быть, смотрит кролик в гла-

за льва или ребенок — на лицо взрослого. Руну охватил холод, но чуткая душа женщины скоро оправилась. Однако все время свидания она чувствовала себя как бы под огромным колоколом в оглушительной власти его вибрации.

— Глухая ночь, — сказал Друд. — Вы здесь по разрешению?! Кто вы? Зачем?

— Будем говорить тише. У нас мало времени. Не спрашивайте, я скажу сама все.

— Но я вам не верю. — Друд покачал головой. — Все это необыкновенно. Вы слишком красивы. Быть может, мне устраивают ловушку. Какую? В чем? Я не знаю. Люди изобретательны. Но торопитесь говорить; я не хочу давать вам времени для тайных соображений лжи.

— Лжи нет. Я искренна. Я хочу сделать вас снова свободным.

— Свободным, — сказал Друд, переступая к ней, сколько позволяла цепь. — Вы употребили не то слово. Я свободен всегда, даже здесь. — Беззвучно шевеля губами, он что-то обдумывал. — Но здесь я больше не хочу быть. Меня усыпили. Я проснулся — в железе.

— Мне все известно.

— Внимание! Я слушаю вас!

Руна высвободила из складок платья крошечный сверток, толщиной с карандаш, и разорвала его. Там блестели два жала, две стальные, тонкие, как стебелек, пилки — совершенство техники, обслуживающей секретные усилия. Эти изделия, закаленные сложным способом, употребляемым в Азии, распиливали сталь с мягкостью древесины, ограничивая дело минутами.

— Их я достала случайно, почти чудом, в последний час, как выехать; лицо, вручившее их, заверило, что нет лучшего инструмента.

Друд взял подарок, смотря на Руну так пристально, что она смущалась.

— Беру, — сказал он, — благодарю, изумлен и стало мне хорошо. Кто вы, чудесная гостья?

— Я принадлежу к обществу, сильному связями и богатством; все доступно мне на земле. Я была в цирке. С этого памятного вечера, — знайте и разрастите

в себе то, что не успею сказать,—прошло две ночи; они стоят столетия. Я пришла к вам, как к силе необычайной; судьба привела меня. Я — из тех, кто верит себе. У меня нет мелких планов, тщедушных соображений, нет задних мыслей и хитрости. Вот откровенность, на которую вы вправе рассчитывать. Я хочу узнать вас в нестесненной и подробной беседе, там, где вы мне назначите. Я — одна из сил, вызванных вами к сознанию; оно увлекает; цель еще не ясна, но огромна. Может быть так же, что у вас есть цели, мне неизвестные; все должно быть сказано в следующей беседе. Для многоного у меня сейчас нет выражений и слов. Они явятся. Главное — это знать, где найти вас.

Она разгорелась, медленно, изнутри, как облако, уступающее мгновение за мгновением блеску солнца. Ее красота нашла теперь высшее свое выражение,— в позе, девственно-смелом взгляде и голосе, звучащем неотразимо. Казалось, пронеслись образы поэмы, выслушанной в мрачном уединении; все тоныше, все лучезарнее овладевают они душой, покоряя ее яркому воплощению прелестных тайн духа и тела; и Друд сознал, что в том мире, который покинул он для мира иного,— не встречалось ему более гармонической силы женского ликования.

Снова хотела она заговорить, но Друд остановил ее взмахом скованных рук.

— Тогда это вы,— уверенно сказал он,— вы, и никто другой, крикнули мне. Я не рассыпал слов. Руна Бегуэм — женщина, несущая освобождение с такой смелостью, может потребовать за это все, даже жизнь. Хотя есть нечто более важное. Но время уходит. Мы встретимся. Я утром исчезну, а вечером буду у вас; эти цепи, делающие меня похожим на пса или буйного сумасшедшего,— единственная помеха, но вы рассекли ее. О, меня стерегут! Особо приставленный часовой всегда здесь, у двери, с приказом убить, если понадобится. Но что вы задумали? Одно верно: стоит мне захотеть — а я знаю тот путь — и человечество пошло бы все, разом, в страну Цветущих Лучей, стряхивая прошлое с ног своих без единого вздоха.

— Все сделав, узнав все, что нужно, я ухожу, но не оставляю вас. Уходите. Прощайте!

— Бог благословит вас,— сказал Друд,— это вне благодарности, но в сердце моем.

Он улыбнулся, как улыбаются всем лицом, если улыбка переполнила человека. Не в состоянии протянуть одну руку, он протянул обе, связанные и разделенные цепью наручников; обе руки протянула и Руна. Он сжал их, мягко встряхнув, и девушка отошла.

Тут же — как если бы они угадали срок — дверь скрипнула и открылась; на пороге встал комендант, пряча часы.

— Время прошло, я провожу вас.

Руна кивнула, вышла и тем же путем вернулась к своему экипажу.

Когда долго смотришь на ярко горящую печь, а затем обращаешь взор к темноте,— она хранит запечатленный блеск углей, воздушное их сияние. Отъезжая, среди зданий и улиц Руна не переставала видеть тюрьму.

XII

Кто бодрствует в спящем доме,— сон, окружая его, обволакивает и давит. Этот чужой сон подобен течению, в котором стоит человек, сопротивляющийся силе воды. Оно подталкивает, колышет, манит и увлекает; переступи шаг — и ты уже отнесен несколько. «Они спят,— думает бодрствующий,— все спят»,— зевая, говорит он, и лениво-завистливая мысль эта, повторяясь множество раз представлениями уютной постели, нагнетает оцепенение. Члены тяжелы и чувствительны; движения рассеянны; утомленное сознание бессвязно и ярко бродит — где попало и как попало. То около скрипа подошвы, шума крови в висках, то заведет речь о вечности или причине причин. Голова держится на шее — это становится ясно от ее тяжести, а глаза налиты kleem; хочется задремать, перейти в то любопытное и мало исследованное состояние, когда сон и явь замирают в усилии взаимного сладкого сопротивления.

Стук, взламывающий такое состояние, не говорит ничего уму, только — слуху; если он повторит-

ся,— дремота уже прозрачнее; в туманно-вопросительном настроении человек настраивает внимание и ждет нового стука. Когда он слышит его,— сомнения нет; это стук — там или там; некий безусловный акт, требующий ответного действия. Тогда, вздрогнув и зевнув, человек возвращается к бытию.

Тот стук, которому ответил глубокий вздох присевшего на табурет часового, раздался изнутри особо охраняемой камеры. Часовой выпрямился, поправил кожаный пояс с висевшим на нем револьвером и встал. «Может быть, больше не постучит», — отразилось в его сонном лице. Но снова прозвучал стук,— легкий и ровный, обезличенный эхом; казалось, стучит из всех точек своих весь коридор. И в стуке этом был интимный оттенок — некое успокоительное подзывание, подобное киванию пальцев.

Часовой, разминаясь, подошел к двери.

— Это вы стучите? Что надо? — сурово спросил он.

Но не сразу послышался изнутри ответ; казалось, узник сквозь железо и доски смотрит на часового, как в обычной беседе, медля заговорить.

— Часовой! — послышалось, наконец, и тень улыбки померещилась часовому. — Ты не спиши? Открой дверное окошко. Как и ты, я тоже не сплю; тебе скучно; так же скучно и мне; меж тем в разговоре у нас скорее побежит время. Оно застряло в этих стенах. Нужно пропустить его сквозь душу и голос да подхлестнуть веселым рассказом. У меня есть что порассказать. Ну же, открой; ты увидишь кое-что приятное для тебя!

Оторопев, часовой с минуту гневно набирал воздух, надеясь разразиться пальбой ярких и грозных слов, но не пошел далее обычной фразеологии, хотя все же повысил голос:

— Не разговаривать! Зачем по пустякам беспокойте? Вы пустяки говорите. Запрещено говорить с вами. Не стучите больше, иначе я донесу старшему дежурному.

Он умолк и насторожился. За дверью громко расходился узник,— казалось, рассмеялся он на слова не взрослого, а ребенка.

— Ну, что еще? — спросил часовой.

— Ты много теряешь, братец,— сказал узник.— Я плачу золотом. Любишь ты золото? Вот оно, послушай.

И в камере зазвенело, как будто падали на кучу может монеты.

— Открой окошечко; за каждую минуту беседы я буду откладывать тебе золотой. Не хочешь? Как хочешь. Но ты можешь разбогатеть в эту ночь.

Звон стих, и скоро раздалось вновь бархатное глухое бряцание; часовой замер. Наблюдая его лицо со стороны, подумал бы всякий, что, потягивая носом, внюхивается он в некий приятный запах, распространившийся неизвестно откуда. Кровь стукнула ему в голову. Не понимая, изумляясь и раздражаясь, он предстерегающе постучал в дверь ключом, крикнув:

— Эй, берегитесь! В последний раз говорю вам! Если имеете спрятанные деньги,— объявите и сдайте; нельзя деньги держать в камере.

Но его голос прозвучал с бессилием монотонного чтения; сладко заныло сердце; рой странных мыслей, подобных маскам, ворвавшимся в напряженно улыбающуюся толпу, смешал настроение. В нем начал засыпать часовой, и хор любопытных голосов, кружка голову, жарко шепнул: «Смотри, слушай, узнай! Смотри, слушай, узнай!» Едва дыша, переступил он на цыпочках несколько раз возле двери в нерешительности, смущении и волнении.

Вновь раздался тот же ровный, мягко овладевающий широко раскрывшей глаза душой голос узника:

— Надо, ты говоришь, сдать деньги начальству? Но как быть с полным мешком золота? И это золото — не то; не со всем то, каким платишь ты лавочнику. Им можно покупать всё и везде. Вот я здесь; заперт и на цепи, как черный злодей, я — заперт, а мое золото всасывает сквозь стены эти чудесные и редкие вещи. Загляни в мое помещение. Его теперь уже трудно узнать: устлан коврами пол, огромный стол посреди; на нем графины, бутылки, кувшины, серебряные кубки и вызолоченные стаканы; на каждом стакане — тонкий узор цветов, взятый как сновидение. Они привезены из Венеции; алое вино обнимается в них с золотыми цветами. На скатерти, в серебряных корзинах, лежит пух-

лый, как заспанная щека, хлеб; вишни и виноград, рыжие апельсины и сливы, подернутые сизым налетом, напоминающим иней. Есть здесь также сыры, налитые золотым маслом; испанские сигары; окорок,— с разрезом, подобным снегу, тронутому земляничным со-ком; жареные куры и торт — истинное кружево из сластей,— залитый шоколадом,— но все смешано, всё в беспорядке. Уже целую ночь идет пир, и я — не один здесь. Мое золото всосало и посадило сюда, сквозь стены, красавиц-девушек; послушай, как звенят их гитары! Вот одна звонко смеется! Ей весело — да, она подмигнула мне!

Как издалека, тихо прозвенела струна, и часовой вздрогнул. Уже не замечал он, что стоит, жарко и тяжело дыша, всем сердцем перешагнув за дверь, откуда долетел смех, рассыпанный среди мелодии невидимых инструментов, наигрывающих что-то волшебное.

— Матерь божия, помоги! — трясущимися губами шептал солдат. — Это я очарован; я, значит, пропал!

Но ни заботы, ни страха не принесли ему благочестивые мысли; как чужие, возникли и исчезли они.

— Открой же, открой! — прозвучал женский голос, самый звук которого рисовал уже всю прелесть и грацию существа, говорящего так нежно и звонко.

В забвении, часовой протянул руку, сбросил засов и, откинув черное окошечко двери, заглянул внутрь. Туман лиżąщей пестроты залил его; там сияли цветы и лица очаровательные, но что-то мешало ясно рассмотреть камеру, — как бы сквозь газ или туман. Вновь ясно отозвались струны, — выразили любовь, тоску, песню, вошли в душу и связали ее.

— Стой, я сейчас, — сказал часовой, отмыкая дверь трясущимся рукой.

— Это вы что делаете? — бормотал часовой, входя. — Это нельзя, я, так и быть, посижу тут; однако перестаньте буйнить.

Тогда повел он глазами, и тяжело грохнулась на него серая тюремная пустота; как ветер, разорвав дым, показывает, за исчезновением беглых и странных форм, обычную перспективу крыш, — так часовой вдруг увидел пустую койку, с обрывком цепи над ней, и рассвет в железной решетке, — ни души; он был и стоял один.

Нырнув над головой часового в открытую дверь, Друд, скользнув под потолком гигантского коридора и зигзагом огибая углы, пронесся, минуя несколько винтовых лестниц, в главный пролет тюремного корпуса. У него не было плана; он мчался, следя развертывающейся пустоте. Здесь он посмотрел вверх и нашел выход,— выход вверху, единственный прямой выход Друда. Он взлетел с силой, давшей его движениям ту темную черту в воздухе, какая подобна быстрому взмаху палкой. Часовой третьего этажа присел; на пятом этаже другой часовой отшатнулся и прижался к стене; вся кровь хлынула от его лица в ноги. Они закричали потом. Почти одновременно с судорожными движениями их Друд, закрыв голову руками, пробил стеклянный свод замка, и освещенная крыша его понеслась вниз, угасая и суживаясь по мере того, как он овладел высотой. Осколки стекол, порхая в озаренную глубину пролета, со звоном раздробились внизу; но, быстрее падения стекла, беглец был на вышине в двадцать раз большей.

Наконец он остановился, дыша с хрипом и болью, так как сдержал дыхание, без чего провизжавший в ушах его ветер мог разорвать сердце. Он посмотрел вниз. Немного огней было там,— разбросанных, мерцающих, редких; и тьма тихо ступила на них черной ногой.

Друд распилил наручники, затем кандалы и пояс; затем бросил железо. Посвистывая, оно пошло вниз, он же сказал вдогонку: «Ты пригодишься там на заплаты!» Подарок этот, удаляясь со скоростью, возрастающей в арифметической прогрессии, воя и гудя, как снаряд, дошел до тюрьмы и раздробил дымовую трубу.

XIII

На утро другого дня дрогнули и упали три сердца. Часовой бежал; комендант подал в отставку; министр стиснул, вне себя, руки. Гром раздробил тюрьму.

— Погреб Ауэрбаха, — сказал, наконец, министр, — не будет веры тому; тюрьма и так — сказка для многих.

Он рассчитал верно: неожиданное не существует; невероятное, поведанное солдатами, подтверждает их репутацию, в основе которой издавна лежит суп из топора, а также срубленные в безмерном числе головы неприятеля. Министр, обвиняя Руну, поехал к ней, с ужасом ожидая, как встретятся его глаза с глазами девушки, отныне непостижимой. Но ему сказали, что ее нет; в конце недели она вернется из внезапной поездки.

Когда он отъехал, Руна посмотрела в окно. Его карета, казалось, скользит подавленно и угрюмо среди смелого движения улиц. С спокойной застывшей совестью Руна отошла от окна и стала играть с собакой.

Этот день она считала днем перелома жизни, ожидая наступления вечера с спокойствием отчетливой цели. Она стала особенно внимательна к себе и окружающему; подолгу смотрела в зеркало, неторопливо выбрала платье; часто, остановясь, в рассеянности рассматривала задевший внимание случайный предмет, как будто хотела ввести его в связь с тем, что переживала. Время от времени ей подавали визитные карточки; она бросала их в бронзовую корзину, отвечая: «Я не совсем здорова». Время тянулось медленно, но ей не было скучно. В будуаре она присела к письменному столу и на углу бумаги, задумавшись, нарисовала лицо, смотрящее с улыбкой из-за решетки. Затем она открыла дневник — золото-обрезанный том в рельефных крышках старого серебра — и, внимательно перелистив всё там написанное, перечеркнула страницы карандашом; на первой же, следующей за текстом чистой странице поставила единственную резкую строку: «17-го мая 1887—23 июня 1911 г.—ничего не было».

Тем вывела она за дверь и выбросила всю свою жизнь — от детского лепета до страшного дня в «Солейль» — ради первого ожидания.

День проходил тихо. Так отдавшийся, сидя в лодке, течению человек спокоен и уронил весла, но движется и в душе прибыл уже, куда плывет, и поворачивает течение; к цели несет оно.

Как смерклось, — после обеда, тронутого ею весьма прихотливо, не в пример жажде, которую она время от времени успокаивала водой и чаем с вином, — лакей подал еще карточку. На этот раз она сказала «Просите», — без беспокойства, но с напряжением, выраженным улыбкой.

Лакей ввел коменданта.

XIV

Еще не прошло суток, но его лицо выглядело таким, как если бы он перенес горе. Тяжело, прямыми солдатскими шагами приблизился он, смотря в лицо Руны, остановясь шагах в пяти от девушки, темные глаза которой по-детски свободно и мягко встретили его появление. Он поклонился, выпрямился, взял поданную руку, автоматически сжал ее, отступил и сел против хозяйки. Всё это проделал он как бы в темпе внутреннего ровного счета.

— Я пришел, — начал он и продолжал громче, — принести безмерную благодарность. — Коменданта помолчал. Всё вышло так странно. Но о том не берусь судить. — Встав, он отвесил второй поклон, и невольная, видимо, бессознательная улыбка чрезвычайного довольства сверкнула под полуседыми его усами — на мгновенье, после чего лицо вновь отвердело, словно улыбнулся он про себя, беседуя сам с собой. — Да, этот день мне не забыть. Вся жизнь, — моя и детей моих, — спасена, устроена, обеспечена. Я могу не служить. Но есть обстоятельство. Я допустил вас к свиданию без меня, согласно просьбе вашей, не прося, не требуя ничего. Прошу подтвердить это.

— Но я не понимаю. — Руна свела брови, давая понять легким движением руки, что речь посетителя изумила ее. — Нас не подслушивают, и я прошу говорить ясно. Подтвердить мне легко, — да, благодарю, вы на всегда обязали меня.

— Теперь положение изменилось. Я обязан вам, или, если вы не соглашаетесь думать так, скажу, что мы — квиты.

Он разгладил усы, устремил рассеянный взгляд на диадему в волосах Руны и поймал в блеске алмазов от света своего счастья, что снова вдохновило его.

— Произошло это в три часа дня. Я хотел закрыть окно в кабинете; мой взгляд упал на стол, где лежал приказ о лишении меня должности по причине, о которой догадаться нетрудно. Я пять часов пробыл на допросе и очень устал. Что мог я сказать им? Человек пробил крышу и улетел, — но, согласитесь, — какое же это объяснение? Верить сам происшествию не могу и, считая обстоятельство невыясненным, складываю оружие своего ума. Что объяснить? Как понять? Чему верить? Загадочная история. Простите, я отвлекся. Итак, под бумагой лежал плоский шерстяной мешок, весом тридцать два фунта, полный золотых монет, запечатанных столбиками в белую бумагу синим сургучом. Кроме того, был там замшевый кошель с завалившимися в угол его тремя бриллиантами, весом всего сто десять карат. Не оставляло сомнений, что подарок предназначался мне, так как при нем оказалась записка, — вот она. — Комендант подал, дернув из общлага небольшой обрывок, на котором, крупно и небрежно написанное, стояло: «Будьте свободны и вы».

Руна прочла, вернула; ее изумление стихло благодаря верной догадке. Комендант продолжал:

— Так. Это чудо, конечно, из ваших рук. Сто десять карат. Считая стоимость их упавшей ныне, по курсу получаю двести пятьдесят тысяч, плюс тридцать пять золотом, всего триста тысяч, то есть почти треть миллиона. Я сделал эти вычисления ночью, так как не спал. Простите мне их. Они есть результат минувших сильных волнений.

— Это не я, — сказала Руна, смеясь и радуясь, что человек счастлив. — Однако знайте, что, не случись этого, я сделала бы для вас всё.

Комендант, мигая, пристально посмотрел на нее, улыбнулся, порозовел и протянул руку, с блеском в глазах, заставлявшим думать, что соленая вода есть и в его сердце.

— Извините, что я первый протягиваю вам, даме и девушке, свою руку; это не принято, но мне надо пожать вашу. Я верю всегда, если говорят, смотря прямо

в глаза. Я рад, что так. Теперь я совсем спокоен,— между нас не было тени.

Она подала руку, но вспомнила свою ложь и отвернула лицо.

— Тень была,— сказала она,— но только во мне. Меж нас не было тени. Прощайте. Лучше нам уже не сказать, чем сказано,— виной хорошему — вы. Идите, будьте счастливы и знайте, что осколки стекла могут стать бриллиантами, если на них взглянул тот, кто ушел так странно от вас.

Гость встал, поднес к губам нервную, душистую руку, повернулся и вышел,— как пришел, смотря прямо перед собой. Руна, отведя портьеру, взглядом проводила его. Он скрылся, и она вернулась к себе.

XV

Стемнело, но она не выразила ожидания беспокойством, тоской и не поднималась наверх. Она знала,— знанием, доныне необъяснимым, что Друд явится наверх; знала также, что он уведомит ее о своем появлении каким-то свойственным ему образом. Устав ждать, она села в ярко освещенной гостиной, читая книгу.

Как странно лелеять что-либо, еще не наступившее, всей правдой души, видя и предвосхищая то — в книге, говорящей о постороннем. На тайном языке написана, в мгновения те — книга, какая бы то ни была она; ее текст, пышная и тонкая аргументация и живописное действие — спят неподвижно. Свое плавает по стро-кам, выжженным напряжением, оставляя зрению линии и скачки знаков, отныне — неведомых. Лишь изредка встанет ясным какое-нибудь одно слово, но тем сильнее кидается прочь стиснутая душа, подобно изменнику, очнувшемуся для чести. Как то пропадает, то послышится вновь стук часов, так временно может стать внятным текст, но скоро позовет хлынувшая волна тоски — откинуться, закрыв глаза, к близкому будущему, призывая его стоном сердцебиения.

Долг такой день, и метит он человека вечным клеймом. Читая или, вернее, держа на коленях книгу, сама же смотря дальше ее, Руна провела так час и дру-

гой; на половине же третьего, вверху, неведомый музыкант начал играть рапсодию; остановился и заиграл вновь. Тогда всё вернулось на свое место, ярче сверкнул свет, громче стал уличный шум, и, удерживаясь, чтобы не бежать, девушка поднялась вверх.

Из дальней двери выбегал, в сумерки, на озаренный ковер, свет. Свет пересекал тень человека. Руна остановилась, забыв всё, что хотела сказать, но, сжав руки, не пошла далее, пока не овладела собой.

Ей скоро удалось это; она вошла, и к ней, всматриваясь, с улыбкой подошел Друд. Он был в черном простом костюме, как человек самый обыкновенный; проще и тверже, чем первый раз, чувствовала себя девушка,— хотя, как и в тюрьме, на границе мира ошеломляющего. Однако в состояниях, нам доступных, есть спасительная, слепая черта,— ничего не видно за ней: туман; от него вбегаем мы в озаренный круг текущего действия.

Друд сказал:

— Не сомневались ли вы? Если меня зовут, я прихожу неизменно; я пришел, зажег свет и играл.

Руна жестом усадила его и медленно опустилась сама, не смотря никуда больше, как только в его глаза,— взглядом ночного путника, отметившего далекий огонь. С невольной и простой силой она сказала:

— Как я ждала,— я, не ждавшая никогда!

— И мы — вместе,— продолжал он, так как это хотела она прибавить.— Руна, я много думал о вас. Оставим не главное; о главном надо говорить сразу или оно заснет, как волна, политая с корабля маслом. Я пришел узнать и выслушать вас; я ждал этого дня. Да, я ждал его,— с раздумьем повторил он,— потому, что нашел красивую силу. Не должно быть меж нас стеснения; пусть наше внутреннее объятие будет легко. Говорите, я слушаю.

Она встала, протянув руки и бледнея, как от удара; удар прогремел в ней.

— Клянусь, день этот равен для меня воскресению или смерти.

И Галль молнией черкнул по ее душе. Она не понимала еще, что значит внезапно возникший его образ.

В ней встало подлинное вдохновение власти — ненасытной, подобной обвалу. В забытье обратилась она к себе: «Руна! Руна!» — и, прошептав это, как богу, села с улыбкой, вырезавшей на чудном ее лице отражение всего состояния.

— Я думал о вас много и хорошо, — сказал Друд.

Уже, по внешности, обычно спокойная, она рассматривала его лицо; остановилась на беспечной линии рта, решительном выражении подбородка, темных усах, массивном лбe, полном высокой тяжести, и заглянула в глаза, где, темнея и плавясь, стояло недоступное пониманию. Тогда, во время, не большее, чем разрыв волоска, — все веяния и эхо сказок, которым всегда отдаем мы некую часть нашего существа, — вдруг, с убедительностью близкого крика, глянули ей в лицо из страны райских цветов, разукрашенной ангелами и феями, — хором глаз, прекрасных и нежных. Схватив веер, она резко сложила его; свист перламутра отогнал странное состояние. Она сказала:

— Вам нужно овладеть миром. Если этой цели у вас еще нет, — она рано или поздно появится; лучше — если теперь вы согласитесь со мной. Итак, я представляю: не в цирке или иных случаях, рожденных капризом, но с полным сознанием великой и легкой цели, вы заявите о себе долгим воздушным путешествием, с расчетом поразить и увлечь. Что было в цирке — будет везде. Америка очнется от золота и перекричит всех; Европа помолodeет; исступленно завоет Азия; дикие племена зажгут священные костры и поклонятся неизвестному. Пойдет гром и гул; станут правилом бессонные ночи, а сумасшедшие, в заточении своем, начнут бить решетки; взрослые превратятся в детей, а дети будут играть в вас.

Если теперь, пока ново еще явление, клещи правительства не постеснялись бы раздавить вас, то после двух-трех месяцев всеобщего исступления вы станете под защиту общества. Возникнут надежды безмерные. Им отдаут дань все люди странного уклона души, — во всех сферах и примерах дел человеческих. А вас некоторое время снова не будет видно, пока не разлетится весть, где вы находитесь.

Согласно вашему положению, цели и характеру впечатления, вы должны будете повести образ жизни, действующий на воображение — центральную силу души. Я найду и дам деньги. Комендант знает о вашем богатстве, но оно может оказаться ничтожным. Поэтому гигантский дворец на берегу моря ответит всем ожиданиям. Он должен вмещать толпы, процесии, население целого города, без тесноты и с роскошью, полных светлых красок,— дворец, высокий, как небо, с певучей глубиной царственных анфилад.

Тогда начнут к вам идти, чтобы говорить с вами, люди всех стран, рас и национальностей. «Друг» будет звучать, как «воздух», «дыхание». Странники, искатели «смысла» жизни, мечтатели всех видов, скрытые натуры, разочарованные, страдающие сплином или тоской, кандидаты в самоубийцы, неуравновешенные и полубезумные, нежные — с детской религией цветов и птичек добросовестные ученые, потерпевшие от всяческих бедствий, предприниматели и авантюристы, изобретатели и прожектеры, попрошайки и нищие, и женщины — легион женщин, с пораженным зрением и с взрывом восторгов, которых в жизни обычной им негде выразить. И то будет ваша великая армия.

Одновременно со всем тем у вас появятся сторонники, агенты и капиталы с слепым к вам доверием: самые разнообразные, противоречавшие друг другу цели постараются сделать вас точкой опоры. Газеты, в погоне за прибылью, будут печатать все,— и то, что сообщите им вы, и то, что сочинят другие, превосходя, быть может, нелепостью измышлений весь опыт прежних веков. Вы же напишете книгу, которая будет отпечатана в количестве экземпляров довольною, чтобы каждая семья человечества читала ее. В той книге вы напишете о себе, всему придав тот смысл, что тайна и условия счастья находятся в воле и руках ваших,— чему поверят все, так как под счастьем разумеют несбыточное.

После этого к вам явится еще больше людей, и вы будете говорить с ними, появляясь внезапно. Самые простые слова ваши произведут не меньшее впечатление, как если бы заговорил каменный сфинкс. И из ничего, из пустой фразы, лишенной непрямого значения,

вспыхнут легендарные обещания, катящиеся лавиной, опрокидывая старое настроение.

Старое настроение говорит: «Игра и упорство». Новое настроение будет выражаться словами: «Чудо и счастье». Так как до сих пор задача счастья не решена доступными средствами, ее захотят решить средствами недоступными, и решение возложат на вас. Между тем, в клубах вашего имени, в журналах, газетах и книгах, отмечающих ваш каждый шаг, каждое ваше слово и впечатление; в частных разговорах, соображениях, спорах, вражде и приветственных криках заблудится та беспредметная вера, которой полны века.

Тогда без динамита, пальбы и сложных мозговых судорог,— постоянное, ровное сознание разумного чуда — в лице вашем — сделает всякую власть столь шаткой, что при первом же ясно выраженном условии: «Я — или «они», — земля скажет: «Ты». Ничто не остановит ее. Она будет думать, что овладевает блестящими крыльями.

Девушка умолкла, вся ликуя и светясь; стальное, но и прекрасное, во всей силе одушевлявших ее гигантских расчетов, — выражение не покидало ее лица, но тише, медленнее прозвучали последние слова Руны. Тогда поняла она, что Друд внутренно отвернулся и что ее слова отброшены ей назад, с равной им силой. Ее нервы ломались. Еще не успела она почувствовать всю силу удара, как раздалось резкое и холодное:

— Нет.

Он продолжал:

— Мне следовало остановить вас. Слушайте. Без сомнения, путем некоторых крупных ходов я мог бы поработить всех, но цель эта для меня отвратительна. Она помешает жить. У меня нет честолюбия. Вы спросите — что мне заменяет его? Улыбка. Но страстно я привязан к цветам, морю, путешествиям, животным и птицам; красивым тканям, мрамору, музыке и причудам. Я двигаюсь с быстротой ветра, но люблю также бродить по живописным тропинкам. Охотно я рассматриваю книгу с картинками и доволен, когда, опустившись ночью на пароход, сижу в кают-компании, вызывая недоумение: «Откуда этот, такой?» Но я люблю все. Мне

ли тасовать ту старую, истрепанную колоду, что именуется человечеством? Не нравится мне эта игра. Но укажите узор моего мира,— и я изъясню вам весь его сложный шифр. Смотрите: там тень; ее отбрасывают угол стола, кресло и перехват портьеры,— абрис условного существа, человеческих очертаний, но с складкой нездешнего выражения. Уже завтра, когда тень будет забыта,— одна мысль, равная ей и ею рожденная, начнет жить бессмертно, отразив для несосчитанно-малой части будущего некую свою силу, явленную теперь. Розы, что разделяли нас, начинают распускать лепестки,— почему? Недалек рассвет, и им это известно. Перед тем, как проститься, скажу вам, каких я ожидал от вас слов. Вот эти неродившиеся дети, вот их трупики; склоните их. «Возьми меня на руки и покажи мне всё — сверху. С тобой мне будет не страшно, но хорошо».

Встав, он подошел к окну, смотря, как реет темная предрассветная синева, а звезды, дрожа, готовятся скатиться за горизонт.

— Клянусь,— сказал Друд,— что не чувствую ни зла, ни обиды, но только печаль. Я мог бы любить вас.

— О! — произнесла Руна с выражением столь неизъяснимым, но точным, что он побледнел и быстро повернулся к ней, увидев иное,— холодное, высокомерно поднятое лицо. Ничто не напоминало в ней только что горевшего возбуждения. Казалось, силой чудовищного самообладания мгновенно истребила она самую память о тех минутах, когда жила целью, бывшей, в страсти ее порыва, уже у ее гордой ноги, занесенной встать на вершину вершин. И Друд понял, что они расстались навек; во взгляде девушки, смерившем его мгновением холодного любопытства, было нечто ошеломляющее. Так смотрят на паяца.

Он вздрогнул, замер, потом быстро подошел к ней, взял за руки и принудил встать. Тогда что-то тронулось в ее чертах мучительным и горьким теплом, но скрылось, как искра.

— Смотри же,— сказал Друд, схватывая ее талию. Ее сердце упало, стены двинулись, всё повернулось прочь, и, быстро скользнув мимо, отрезал залу массив-

ный очерк окна.— Смотри! — повторил Друд, крепко прижимая оцепеневшую девушку, — от этого ты уходишь!

Они были среди пышных кустов, — так показалось Руне; на деле же — среди вершин сада, которые вдруг понеслись вниз. Светало; гнев, холод и удивление заставили ее упереться руками в грудь Друда. Она едва не вырвалась, с странным удовольствием ожидая близкой и быстрой смерти, но Друд удержал ее.

— Дурочка! — сухово сказал он. — Ты могла бы рассматривать землю, как чашечку цветка, но вместо того хочешь быть только упрямой гусеницей!

Но шуткой не рассеял он тяжести и быстро пошел вниз, чувствуя, что услышит уже очень немногое.

— Если нет власти здесь, — я буду внизу. — С этими словами Руна, оттолкнув Друда, коснулась земли, где, прислоняясь к дереву, пересилила дрожь в ногах; затем, не оглядываясь, стала всходить по ступенькам террасы. Друд был внизу, смотря вслед.

— Итак? — сказал он.

Девушка обернулась.

— Всё или ничего, — сказала она. — Я хочу власти.

— А я, — ответил Друд, — я хочу увидеть во всяком зеркале только свое лицо; пусть утром простит тебя.

Он кивнул и исчез. Издалека свет загорался вверху, определяя смутный рисунок похолодевших аллей. Руна еще стояла там же, где остановилась, сказав: «Все». Но это «всё» было вокруг нее, неотъемлемое, присущее человеку, чего не понимала она.

Свет выяснился, зажег цветы, позолотил щели занавесей и рассек сумеречную тишину роскошных зал густым блеском первого утреннего огня. Тогда, плача с неподвижным лицом — медленно бегущие к углам рта крупные слезы казались росой, блещущей на гордом цветке, — девушка написала министру несколько строк, полных холодного, несколько виноватого радужия. И там значилось, в последней строке:

«Я видела и узнала его. Нет ничего страшного. Не бойтесь; это — мечтатель».

XVI

Два мальчика росли и играли вместе, потом они выросли и расстались, а когда опять встретились, — меж ними была целая жизнь.

Один из этих мальчиков, которого теперь мы называем Друд или «Двойная Звезда», проснувшись среди ночи, подошел к окну, дыша сырым ветром, полыхавшим из тьмы. Внизу, среди тусклого отсвета, рассеянного вокруг башни маяка ее огненной головой, вспыхивая зеленою пеной, текли к черной стене хлещущие свитки валов; вздымаясь у огромного ствола башни, они рушили к ее основанию ливни и водопады, с силой пальбы. Во тьме красный или желтый огонь, застилая звезду, указывал движение парохода. Выли, стонали сирены, сообщая моменту оттенок безумия. По левой стороне тьмы светилась пыль огней далекого города.

Если есть боль, — зрелице, отвлекая, делает боль неистовее, когда, сломав созерцание, душа вновь сосредоточится на ране своей. Друд отошел от окна. Его душа гнулась и ныла, как спина носильщика под еле посильным грузом; он страдал; поэтому стал ходить, чтобы не прислушиваться к себе.

Стеббс, сторож Лисского маяка, покончив с фонарем, то есть наполнив лампы сурепным маслом, сошел в нижнее помещение.

— А! — сказал он. — Вы встали!

Друд обернулся, встретив грустные глаза своего товарища детских игр.

— Ты печален; болен, быть может? — сказал он, усаживая сторожа на кровать рядом с собой. — Ну, потолкуем, как раньше.

— Как раньше? — повторил Стеббс с горестным ударением. — Раньше я садился и слушал, удивлялся и хохотал, проводил ночи без сна, во тьме, расписанной после рассказов ваших ярчайшими красками. Пора ужинать. — Он взял из угла дров и присел к камину, раздувая огонь.

Друд перешел к нему, чувствуя себя скверно и виновато. Заметив, что дрова надо поджигать снизу, он ловко установил поленья, и пламя разгорелось.

— Стеббс,— сказал он,— с того дня, как я лежал при смерти, а ты сидел возле меня и капал в ложку сомнительное изобретение доктора Мармадука, прошло много времени, но было мало хороших минут. Давай делать хорошую минуту. Сядем и закурим, как прежде, индейскую трубку мира.

Сначала скажем про Стеббса, какой он был наружности. Стеббс был невелик ростом, длинноволос; волоса веером лежали на пыльном воротнике старенького мундира, разорванные штаны, из-под которых едва виднелись рыжие носки башмаков, мели своей бахромой пол. Худое лицо, все черты которого стремились вперед, имело острые пунцовые скулы; тщедушный, но широкоплечий, казалось, отразился он, став таким, в кривом зеркале,— из тех, что подвели к ним верзилу, дают существо сплюснутое. Но у него были прекрасные собачьи глаза.

— Итак, «трубку мира»...

— Где она?— Притворяясь равнодушным, Стеббс медленно осмотрел полки и все углы помещения.— Нашел. Так давно не курил я ее, что из мундштука пахнет кислятиной. А какой табак?

— Возьми в жестяном ящике. Сядь рядом...

Покурив, важно вручил он трубку молчавшему Стеббсу. Еще надутый, но уже с счастливой искрой в глазах, Стеббс стал расспрашивать о тюрьме.

— Приходил прокурор,— сказал Друд, смотря в огонь.— Он волновался; задал ряд нелепых вопросов. Я не отвечал; я выгнал его. Еще была...— Друд выпустил сложный клуб дыма,— в общем маяк все-таки хороши, Стеббс, но я завтра уйду.

— Опять,— печально заметил сторож.

— Есть причины, почему я должен развлечься. Веселья, веселья, Стеббс! Ты знаешь уже, какое веселье произошло в цирке. Такое же затеял я в разных местах земли, а ты о том будешь читать в газетах.

— Воображаю!— сказал Стеббс.— Я, в сущности, мало говорю, потому что привык; но, как вспомню, кто вы,— подо мной словно загорится стул.

Друд сдвинул брови, улыбку спрятав в усы.

— Солнце не удивляет тебя? — спросил он очень серьезно. — А этот удар волны? А ты сам, когда с удивлением, как бы отразясь в глубине собственного же сердца, говоришь: «Я, я, я», — прислушиваешься к непостижимому мгновению этому и собираешь в дырочку твоего зрачка стомильный охват неба и моря, — тогда ты глупо и самодовольно спокоен?

— Ну ладно, — возразил Стеббс, — а вот что скажите: не полюбили ли вы?

Он произнес эти слова с оттенком такой важной и наивной заботы, что Друд простил его проницательность.

— Едва ли... — пробормотал он, толкая ногой полено. — Но контраст был разителен. Все дело в контрасте. Понял ты что-нибудь?

— Все! — с ужасом прошептал Стеббс. — Кофе готов.

— Довольно об этом; бросил ты писать стихи или нет?

— Нет, — сказал Стеббс с апломбом; глаза его блеснули живо и жадно. Не раз видел он себя в образе чугунного памятника, простирающим вешую руку над солнечной площадью. Но в малой его душе поэзия лежала ничком, ибо негде ей было повернуться. Так, град, рожденный электрическим вихрем, звонко стучит по тамбурину, но тупо по бочке. — Нет. В этом пункте мы разойдемся. Стихи мне стали даваться легче; есть прямо, не скажу — гениальные, но замечательные строки.

Лишь он заговорил о стихах (писать которые мог по несколько раз в день) с уверенностью, что Друд дразнит его — так были очевидны Стеббсу их мифические достоинства, — как его скулы замалиновели, голос зазвенел, а руки, вонзясь в волосы, откинули их вверх страшным кустом.

— Хотите, я прочитаю «Телеграфиста из преисподней»?

— Представь, да, — смеясь кивнул Друд, — да, и как можно скорее.

С довольным видом Стэббс выгрузил из сундука кипу тетрадей. Перелистывая их, он бормотал: «Ну... это не отделано...», «в первоначальной редакции»; «здесь — недурно», — и тому подобные фразы, имеющие значение приступа. Наконец он остановился на рукописи, пестрой от клякс.

— Слушайте! — сказал Стэббс.

— Слушаю! — сказал Друд.

Сторож заголосил нараспев:

В ветро-весеннем зное,
Облачась облаком белым,
Покину царство земное
И в подземное сойду смело.

Там — Ад. Там горят свечи
Из человечьего жира;
Живучая там память о встрече
С существом из другого мира.

На моей рыдающей лире
Депешу с берегов Стиksa
Шлю тем, кто в подлунном мире
Ищет огневейного Иksa.

Гремя подземным раскатом,
Демон...

— Теперь, — сказал Друд, — почитай другое.
Стэббс послушно остановился.

— Знаю, — кротко заметил он, — вам эта форма не нравится, а только теперь все пишут так. Какое же ваше впечатление?

— Никакого.

— Как? Совсем никакого впечатления?

— Да, то есть — в том смысле, какого ты жаждешь. Ты волнуешься, как влюбленный глухонемой. Твои стихи, подобно тупой пиле, дергают душу, не разделяя ее. Творить — это ведь разделять, вводя свое в массу чужой души. Смотри: читая Мериме, я уже не выну Кармен из ее сверкающего гнезда; оно образовалось неизгладимо; художник рассек душу, вставив алмаз. Чем он успел в том? Тем, что собрал в се моей души, подобное этому стремительному гордому

образу, хотя бы это в сё: заключалось в мелькании взглядов, рассеянных среди толп, музыкальных воспоминаниях, резьбе орнамента, пейзажа, настроении или сне,— лишь бы подобное было цыганке Кармен качеством впечатление. Из крошек пекут хлеб. Из песчинок наливается виноград. Айвенго, Агасфер, Квазимодо, Кармен и многие, столь мраморные — другие — сжаты творцом в нивах нашей души. Как стягивается туманность, образуя планету, так растет образ; он крепнет, потягивается, хрустя пальцами, и просыпается к жизни, в рассеянной душе нашей, успокоив воображение, бессвязно и дробно томившееся по нем.

Если вставочка, которой ты пишешь, не перо лебедя или орла,— для тебя, Стеббс; если бумага — не живой, нежный и чистый друг,— тоже для тебя, Стеббс; если нет мысли, что всё задуманное и исполненное могло быть еще стократ совершеннее, чем теперь,— ты можешь заснуть, и сном твоим будет простая жизнь.

Довольно мне сечь тебя. Запомни: «Депешу на вдохновенной лире» посылают штабные писари прачкам. «Живучка», — говорят о кошках. Кроме того, — всё, что я сказал, ты чувствуешь сам, но не повторишь по неумению и упрямству.

Выслушав это, Стеббс хмуро отложил тетрадь, вымыл кружки, насыпал на закопченный стол сухарей и отковырнул из бочки пласт соленой свинины. Разрубив ее тяжелым ножом, он, обдумав что-то, добродушно расхохотался.

Друд поинтересовался,— не его ли безжалостная тирада подействовала так благотворно на пылкое сердце поэта.

— Вы угадали, — сказал Стеббс с тихо-победоносным блеском увлажнившихся глаз, — я просто вижу, что в поэзии мало вы понимаете.

— Действительно так; я никогда не писал стихов. А все-таки послушай меня; когда здесь, в этом скворечнике появится улыбающееся женское лицо,— оно с полным пренебрежением к гениальности отберет у тебя штаны, приштопав к ним все пуговицы; и ты будешь тратить меньше бумаги. Ты будешь закутывать ее на

ночь в теплое одеяло и мазать ей на хлеб масло. Вот чего хотел бы я, Стеббс, для тебя. Дай мне еще сахара.

Стеббс было закатил глаза, но вдруг омрачился.

— Женщина губит творчество, — пробормотал он. — Эти создания — они вас заберут в руки и слопают. — Отогнав рой белокурых видений, слетевшихся, как мухи на сахар, едва заговорил о них, Стеббс взбодрил пятерней волосы; затем простер руку. — Прислушайтесь! Разве плохо? Гремя подземным раскатом, демон разрывает ущелье; гранитом он и булатом спрятывает свое новоселье. О, если бы...

— Стой! — сказал Друд; здесь, хлынув в окно с силой внезапной, ветер едва не погасил лампу; фыркнули листы огромной тетради Стеббса и что-то, подобное звуку стихающего камертона, пропело в углу.

— Что так нежно и тонко звенит там? — спросил Друд. — Не арфу ли потерял Эол?

Стеббс сказал:

— Сначала я объясню, потом скажу. В долгиеочные часы придумал и осуществил я машину для услаждения слуха. После Рождества, Нового года, дня рождения и многих иных дней, не столь важных, но имеющих необъяснимое отношение к веселью души, остается много пустых бутылок. Вот зрите: се — рояль Стеббса.

Говоря это, он вытащил из-за занавески вертикально установленную деревянную раму; под ее верхней рейкой висел на проволоках ряд маленьких и больших бутылок; днища их были отпилены. Качаясь в руках Стеббса, это музыкальное сооружение нестройно звенело; взяв палочку, старик черкнул ею по всему ряду бутылок вправо и влево; раздалась трель, напоминающая тот средний, меж смехом и завыванием, звук, какой издает нервический человек, если его крепко пощекотать. «Что же вам сыграть? — сказал Стеббс, выделявая своей палочкой «дринь-дринь» и «ди-ди-до-дон». Звук был неглубок, тих и приятен, как простая улыбка. — Что же сыграть? Танец, песню или, если хотите, оперную мелодию? Я понемногу расширил свой репертуар до восемнадцати — двадцати вещей; мои любимые

мелодии: «Ветер в горах», «Фанданго», «Санта-Лючия» и еще кое-что, например вальс «Душистый цветок».

— Попробуем «Фанданго», — сказал Друд, оживляясь и усаживаясь на стуле верхом, с трубкой в зубах. — Начинай, я же буду на свистывать, таким образом у нас будет флейта, струна и звон.

Перебрасывая палочку среди запевших бутылок неутомимой рукой, Стеббс начал выводить знаменитую мелодию, полную гордого торжества огненной жизни. Но с первых же тактов свойство инструмента, созданного для лирики, а не для драмы, заставило концертантов отказаться от первого номера.

— Попробуем что-либо другое. — Друд стал свистать тихо, прислушиваясь. — Вот это... — и оно также звенит в оркестре.

— Посвистите еще. — Стеббс, склонив ухо, понял и уловил мотив. — Ага! На средний регистр.

Он прозвенел палочкой; Друд взял тон, увлеченно на свистывая; то был низкий, электризующий свист гибкого и мягкого тембра. Свистал он великолепно. Стеббс был тоже в ударе. Они играли вальс из «Фауста». Прошла тихая тень Маргариты; ей вслед задумчиво, жестко и нежно улыбнулся молодой человек в пышном костюме, со старой и тщеславной душой.

— А это славно, это хорошо! — вскричал Стеббс, когда они кончили. — Теперь закурим. Что следующее?

Смеясь, болтая и тревожась, как бы Друд не вернулся из тихой страны звона к мрачной рассеянности, он торопливо наигрывал, поддерживая в нем детское желание продолжать спасительную забаву. Так, переходя от одной вещи к другой, затеяли и разыграли они песенку «Бен-Бельта», которую поет Трильби у Дюмульье; «Далеко до Типерерэ», «Южный Крест», второй вальс Годара, «Старый фрак» Беранже и «Санта-Лючия».

Меж тем стало светать; первое усилие дня, намечавшего свой путь в бурной громаде ночи, окружило желтое пятно лампы серым утренним беспорядком; уже видны были в окно волны и пена. Ветер стихал.

Друд как бы очнулся. Печально посмотрел он вокруг и встал.

— Ну, Стеббс, еще раз перед тем, как рассстаться,— «Санта-Лючия».

Стеббс вытер глаза; стекло стало вызванивать:

Ясными звездами море сияет,
Вдаль веет ветер, вглубь увлекает;
К лодкам спешите все в ночи такие...
Санта-Лючия! Санта-Лючия!

Друд тихо свистал. Уже видел он и то, что сказано во втором куплете:

Море чуть зыблется. Здесь, на просторе,
Как рыбаки, вы все сбросите горе;
И да покинут вас скорби людские...
Санта-Лючия! Санта-Лючия!

Он видел это, итише становилось в его душе. Когда кончили, хлопнув по плечу Стеббса, Друд сказал:

— Спасибо! Ночь была хороша; сделали мы и хорошую минуту. Прощай!

Затем он оделся, как одеваются для ветра и холода: сапоги, толстая куртка и шапка с ремнем, проходящим под подбородком. Стеббс, без нужды в том, усердно помогал одеваться; он был совершенно расстроен.

Наконец заря вышла из облаков, рассеяв стальной, белый и алый оттенки на прояснившей воде. Друд пошел к окну. Тогда, плача откровенно и горько, как маленький, Стеббс ухватился за него, оттягивая назад.

— Хотите, я сожгу все тетрадки, если вы останетесь еще на один день? Клянусь, я сделаю это!

Друд, смеясь, обнял его.

— Зачем же,— мягко сказал он,— нет, Стеббс, я был не совсем прав; играй; стихи — твоя игра. Каждый человек должен играть.— Он двинулся в пустоту, но вернулся, хлопая себя по карману.— Я забыл спички.

Стеббс подал коробку.

— Жди, я вернусь,— сказал Друд.

Он сделал внутреннее усилие, подобное глубокому вздоху, вызванному восторгом,— усилие, относительно которого никогда не мог бы точно сказать, как это удастся ему, и стал удаляться; с руками за спиной, сдвинув и укрепив, на тайной опоре, ноги. Лицо его было обращено к облачной стране, восходящей над зеленоватым утренним небом. Он не оглядывался. По мере того,

как уменьшалась его фигура, плывущая как бы по склону развеянного туманом холма, Стеббс невольно увидел призрачную дорогу, в которой, имеющий всегда дело с тяжестью, ум человека не может отказать даже независимому явлению. Дорога эта, эфирнее самого воздуха, вилась голубым путем среди шиповника, жимолости и белых акаций,— среди теней и переливов невещественных форм, созданных игрой утра. По лучезарному склону восходила она, скрывая свое продолжение в облачных снегах великолепной плывущей страны, где хоры и разливы движений кружатся над землей. И в тех белых массах исчез Друд.

Часть II Улетающий звон

I

Весной следующего года в газетной прессе появились удивительные и странные сообщения. Эти сообщения разрабатывали одно и то же явление, и будь репутация шестой державы немного почтеннее, чем та, какой она пользуется в глазах остальных пяти великих держав света,— факты, рассказанные ее страницами, наверное, возбудили бы интерес чрезмерный. Не было сомнения, что эту сенсацию постигнет обычная судьба двухголовых детей или открытия, как превращать свинец в золото,— что время от времени подается в виде свежего кушания. Казалось, сами редакторы, тонко изучившие душу читателя, рассматривают монстральный материал свой не выше «Переплытия Ниагары в бочонке» или «Воскресение замурованной христианки времен Калигулы», печатая его в сборных отделах, с заголовком: «Человек-загадка», «Чудо или галлюцинация», «Невероятное происшествие» и с другими, более или менее снимающими ответственность, ярлыками, чем как бы хотели сказать: «Вот мы умываем руки: кушайте, что дают».

Однако, как сказал некто Э. Б.,— «Не у всех рыжих одинаковая судьба»,— и это изречение кстати упомянуть здесь. Десять, пятнадцать, двадцать раз изумлялся читатель, пробегая, в разных углах мира, строки о не-

уследим фантоме, явившемся кому-то из тех, кого не встретили мы, не встретим, и чьи имена — нам — звук слов напрасных; ничего не изменило, не сдвинуло в его жизни им прочитанное, и, наконец, было забыто; только иногда вспоминал он, как тронулась в нем случайным прикосновением редкая струна, какой он не подозревал сам. Что был это за звук? Глухо напрягается память, в тоскливойшем из капризов причудливо-го — в глухом мраке снует мысль, бестолково бьется ее членок, рвется основа, путая узел на узел. Ничего нет. Что же было? Газетный анекдот — и тоска.

Но перебросим мост от нас к тому печатному тексту. Литература фактов — вообще самый фантастический из всех существующих рисунков действительности — то же, что глухому оркестру: взад-вперед ходит смычок, надувается щека возле медной трубы, скакет барабанная палка, но нет звуков, хотя видны те движения, какие рождают их. Примем в возражение факты, сущность которых так разительна, что мясо и дух события, иначе говоря — очевидство и проникновение в суть факта — немного прибавят к впечатлению, полученному путем сообщения. Действительно, такой факт возможен. Например, провались в Чикаго двадцатидвухэтажный дом, мы, поставленные о том в известность, внутренне подскочим, хотя скоро уже не будем думать об этом. Что это так, что факты как факты, даже пропитанные удешливой смолой публицистических и партийных костров, никоим образом не смущают ни жизнь, ни мысль нашу, достаточно вспомнить то хладнокровное внимание, с каким просматриваем мы газету, не помня на другой день, что читали сегодня, а между тем держали в руках не что иное, как трепет, борьбу и жизнь всего мира, предъявленные на манер ресторанныго счета.

В этой тираде нашей тщетно было бы искать реформационных потуг или требований безмерных, к кому бы то и к чему бы то ни было. Мы просто отмечаем пустоту, куда не хотим идти. Как в самом деле перечислять, где, когда и кто смущился и испугался, кто, может быть, близорук, а кто склонен к галлюцинациям на почве неясных слухов?

Как устанавливать и решать, где проходит идеально прямая черта действительного события? Вообще поиски такого рода — дело специалистов. Однако, поступив проще, представив себя в лице многих тех Н. и С., в положении выезжающего сразу из шести ворот Сен-Жермена, можно среди зигзаг и конусов странной корреспонденции увидеть нечто, равное всему обществу разбросанного и сборного впечатления; для этого нужно лишь сказать «я». Я иду, — где-то, замечая тень или человека, скользящего высоко вверху, во всей странности подобного лицезрения; иные формы, иные положения той же встречи смутно выделяются одна за другой в графитовом полусвете сна; и я не знаю, — мое ли яркое представление о том вводит всю муть в формы отчетливых сцен, было ли то мне рассказано, или случилось со мной. Быть может, интереснее всего некоторые ошибки, возникшие под влиянием слухов о существе, не знающем расстояния.

Тот трубочист, которому выпало на долю заразить суеверным страхом нервных прохожих, будет, надо думать, до конца дней помнить захватывающее и глубокое впечатление, произведенное его дымной фигурой на фоне лилового вечернего неба. Он опомнился, когда увидел внизу огромную черную лужу толпы; постепенно смутный хор его гула разросся в потрясающее смятение — и враг сажи спустился, по требованию полиции, с крыши шестиэтажного дома вниз, где немедленно стал причиной разочарования, насмешек и оскорблений. Быть может, среди этой толпы был и тот мальчик, фигурный китайский змей которого, дико урча трещоткой над башней ратуши в Эльте, привлек воспламененное внимание охотника Бурико, сразу поклявшегося, что убьет черта двойным зарядом из своей льежской двустволки, опустив предварительно поверх картечных зарядов иглы ежа. Этой клятвы никто не слышал, но два оглушительных выстрела слышали посетители соседней кофейной, с интересом следившие за тем, как, потеряв бечеву, пересеченную дробиной, змей повернулся и нырял, подобно игральной карте, над острой крышей сумеречной эльтской ратуши. То было под вечер, так что никто не видел естеств-

венной краски стыда в полном лице грозного Бурико, после того как ему было растолковано его заблуждение. В другом случае задрожал и долго читал молитвы крестьянин, шедший с котомкой на плечах по луговой тропе в окрестностях нового Рима. Было утро, и над травой летел человек. Трава скрывала велосипед, поэтому крестьянин отшатнулся и ахнул. Вокруг него было так тихо — так много цветов, — и так резко промчался неслышный в движении своем человек.

Теперь время упомянуть о том, что за девушки, севшей в одном из скверов Лисса с книгой в руках, а скромную поклажу свою поместившей на траве рядом, — задумавшись, наблюдал человек особой — отдельной от всех — жизни. Он смотрел на это молодое существо так, что она не могла видеть его, не могла даже подозревать об его присутствии. Она только что приехала. С неторопливой, спокойной внимательностью, подобной тому, как рыбаки рассматривают и перебирают узлы петель своей сети, вникал он во все мелочи впечатления, производимого на него девушкой, пока не понял, что перед ним — человек, вступивший, не зная о том, в опасный глухой круг. Над хрусталем взвился молоток. И он подошел к ней.

II

Девушка, о которой зашла речь, прибыла в Лисс с ночным поездом. Ей было девятнадцать лет — почти полных, так как девятнадцать ровно должно было прийти на другой день, в десять часов вечера. Не без сожаления вспоминала она об этом: в беспечных условиях день ее рождения мог быть отмечен сладким пирогом и веселым домоседством среди подобных ей, девочкообразных подруг, с нетерпеливыми и пылкими головами. Между тем на ее объявление в «Лисской газете» последовало письмо Торпа, предлагающее место компаньонки и чтицы.

Париж стоит обедни. Газета ошиблась, тиснув скромное объявление по разряду смеси, что, в свою очередь, заставило ошибиться Торпа. «Как вас зовут?» — спросил юную путешественницу на вокзале приветливый лысый человек преждевременной дряб-

лости, с вздрагивающей ногой, заинтересованный ее манерой посматривать на маленькие свои ножки в лаковых туфельках, недавно купленных из последнего,— выше хлеба и зрелица девушки ценила хорошенькую, стройную обувь.— «Тави»,— сказала она простосердечно, краснея тем тонким и обаятельно чистым румянцем, какой не продаётся под золотой пломбой, не вызывается искусственным душевным движением. «А ваша фамилия?» Полумесяцем вознеся левую бровь, девушка взглянула на него с сердцем, выпалив «Тум» так, что оно прозвучало, как «Бум»,— стальным тоном ясного желания прекратить разговор. «Тра-та-та!» — напевал франт, удаляясь с высоко закинутой головой, а Тави Тум — порешим звать ее просто Тави — села ожидать рассвета на мраморную скамью. Закусывая ветчиной с хлебом, читала она «Двух Диан»; к ней подходили коммиссионеры, предлагая гостиницы, но, не видя в том надобности, так как уже этим утром должна была поселиться у Торпа, Тави оставалась сидеть средь гула и толпы вокзального здания.

Меж тем один за другим прибывали утренние поезда; волнуясь и перекликаясь, путешественники неслись шумным водоворотом; гром экипажей, свистки, звук посуды, разносимой буфетной прислугой, и лязг вагонных сцеплений проникали в высоту сводов отлетающим эхом. Когда Монгомери ухватил нижний конец веревочной лестницы, ведущей на форт Калэ, шум вокзала назойливо покрыл решительное его дыхание¹; Тави закрыла книгу, вздохнула и осмотрелась.

Застоявшись благодаря туману в недрах ночи, утро осилило, наконец, мрак. Электрический свет еще распространял свою вездесущую машинную желтизну, но к его застывшему блеску примешивался уже день, отсвечивая на полу и лицах свежим пятном. За окнами из паровоза хлестал пар, рассеиваясь по крышам станционных строений; на сером стекле синие облака и зеленая полоса раннего неба окутывали восход, готовый двинуться над просыпавшимся Лиссом.

Город просыпался, но Тави отчаянно зевала; усталость и улегшееся уже возбуждение приезда оберну-

¹ А. Дюма. «Две Дианы».

лись сонливостью. Стارаясь очнуться, решила она пройти по улицам. Как было ей все равно, куда идти, она пошла прямо и скоро заметила небольшой сквер. Здесь, среди дубов, овеивавших лицо сыростью едва пошевеленной листвы, ее душа прояснилась; но не утомительный труд, не жестокую зависимость видела она впереди, а веселую семью, открытый и щедрый дом, где, как подруга или желанная гостья, она будет жить, делая все посильное охотно и беззаботно. Так, мечтая, торопилась она определить время. Ей предстояло три часа в день читать Самуилу Торпу. Его письмо, подробно перечислявшее весьма выгодные условия найма, ничего не говорило о том, почему Торп не любит или не может читать сам; для Тави, любившей книги так, что она их целовала или отшвыривала, сердясь, как на человека, — невозможно было понять странное удовольствие: слышать чтение из вторых рук, с чужой интонацией и в определенные часы, как служба или работа. Устав думать о том, Тави махнула рукой, возвращаясь к Монгомери.

Каково лезть на высоту восьмидесяти футов ночью, по веревочной лестнице, не зная, ждет вверху дружеская рука или удар? Вся трепеща, взбиралась Тави с отважным граffом, раскачиваясь и ударяясь о стену форта Калэ. Это происходило бурной ночью; сквер дымился и сквозил солнечным светом; на верху форта гремели мечи, а по аллее скакали воробы, самозабвенно треща о всем, что светилось и грело вокруг; потянул теплый ветер; на песке затрепетала тень листьев и стало невозможно читать; забота о наступающем дне взяла верх.

В то время, как она, сложив книгу, встала, осматриваясь, не увидит ли где открывающимися двери кафе, к ней подошел человек, смотря так прямо и пристально, что она отступила, но тотчас признала в нем пассажира, севшего ночью на неизвестной станции. Запомнив его лицо, она ничем не отличила его тогда от других сонных фигур, дремавших, облокотясь на саквойж, или, стоя в проходе, разговаривавших вполголоса у окна, в дыму сигар. С уверенностью она могла лишь сказать, что он ехал в одном с нею вагоне. С живостью, отличавшей все ее решения и постановления, тотчас

нашла она, что неизвестный — вылитый портрет графа Монгомери, хотя костюм той эпохи и запыленное дорожное пальто неизвестного противоречили ее впечатлению, было ей все же приятно улыбнуться открыто хотя кому-нибудь в чужом городе; хотя Тави недавно перестала быть девочкой, она знала, как бывает хорошо улыбнуться или сказать что-нибудь с легким чувством, мимолетно, без задней мысли и связи с чем бы то ни было.

— Я вас узнала, узнала, — сказала она, подав руку, — кажется, вы сидели наискосок. Так мрачно. Сам с собой. Что хорошенъкого?

— Утром хорошо всё, — сказал незнакомец. Тави удивилась богатству выражений его лица; они мгновенно, плавно меняясь, располагали внимать и вслушиваться; слова как бы приобретали цвет, форму и тождество с выраженными помощью их явлениями. Ей стало ясно, что «утром хорошо всё», и она рассмеялась. — Мое имя — Вениамин Крукс. Не бесцельно я подошел к вам. Вы, по-видимому, здесь одиноки, поэтому я хочу знать, где и у кого вы остановитесь, чтобы быть полезным вам, чем могу. Устроив дела, я тотчас сообщу вам свой адрес. Что бы ни случилось — я говорю о черных часах, — смело обратитесь ко мне.

Все это Крукс выразил без малейшего замешательства, неторопливо и покойно, как дома. Тави ждала, не прибавит ли он, естественного в таком случае, извинения; не назовет ли сам свое предложение навязчивостью, — однако Вениамин Крукс молчал, ожидая ответа, так непринужденно, что девушка поспешила сказала:

— Ну да. То есть, — я не знаю, что... Разумеется, я вас благодарю, тронута, и... еще что. Я всё спутала. Меня наняли к Торпу. Самуил Торп живет на улице Виз, 7; я у него должна жить и читать. Извините, что вас задерживаю, но надо же поговорить по душам, раз уж так вышло. Он вызвал меня по объявлению. Не хотелось мне, скажу откровенно, ехать вчера, так как завтра... гм... день моего рождения, если позволите. В этот день я родилась. Между тем были присланы на дорогу деньги. А я — как бы это вам выразить — праздничку вот как рада, и если есть деньги, не пожалею.

Поэтому, на что я могла бы ехать после рождения? Таков мой характер! Увы. Почему вы смеетесь?

— О, нет,— медленно проговорил Крукс,— я только улыбнулся воспоминанию. Однажды мне подарили стайку колибри,— в белой алюминиевой клетке, полной зелени. Я выпускал их. Эти птички должны быть вам известны по рисункам и книгам. Итак, я выпускал их, смотря, как над современной улицей, с ее треском кофейной мельницы и светом доменной печи,— взлетали ночью эти порхающие драгоценности — маленькие, как феи цветов.

— Неподражаемо! — вскричала Тави. — А слетались они потом к вам?

— Я ссыпал их звуком особого свистка, короткой трелью; заслышиав сигнал, они возвращались немедленно.

Девушка воодушевилась:

— Вот тоже — восковые лебеди, пустые внутри, любят, если поводишь магнетизированной палочкой,— они плывут и расходятся, как живые. Это было давно. Мне кто-то подарил их. Я очень любила, бывало, водить палочкой.

Она внутренно поникла, взгрустнув тем уголком души, который следит за нами в прошлом и настоящем.

— Н-да-с, старость не радость, так-то, господин Крукс, а впрочем, всё образуется.

— Непременно,— подтвердил он.— Желаю вам успеха и твердости. Ваша песенка хороша.

— Тави Тум не поет,— сказала, краснея и улыбаясь, девушка.— Тави Тум может только напевать про себя.

— Но слышно многим. Идите и не оглядывайтесь.

Тави с недоумением покорно повернулась и отошла, кипя желанием оглянуться; хотя стыдно было ей выказать любопытство,— но странно произнес Крукс эти слова; что он хотел сказать? — «Не могу», — просто-нала Тави и обернулась.

За решеткой сквера слились тени, белые стены, блеск стекол. Она увидела смутное очертание экипажа, коней; к экипажу подошел Крукс, сел и сказал что-то рукой. Нельзя было рассмотреть ни его лица, ни темного кучера,— сцена эта явилась как бы сквозь зады-

мленное стекло. «Лучи солнца прямо в глаза», — подумала Тави; тогда лошади побежали всё быстрее, колеса завертелись, растаяли; растаял экипаж. Крукс, всё исчезло, как бы уничтоженное собственным движением на одном месте, и за решёткой ветерок метнул пыль.

«Это я сплю среди белого дня, — сказала Тави, оторопев и протирая глаза. — Конечно! Глаза уже слиплись. Он ушел и более ничего. Но, как простенько хорошо может быть от пустякового разговора».

С чувством, что только что была в теплой руке, девушка услышала стук засовов, — то против скворца открылось кафе. Толкнув его дверь, девушка перескочила через полоску сора, подметавшегося сонной прислугой, заняла столик и стала пить чай, пересматривая газету. Она так устала, что просидела здесь в сладком оцепенении больше часа, затем вышла, медленно переходя от витрины к витрине и рассматривая с огромным удовольствием выставленные там вещи, чем самозабвенно увлеклась, и лишь у выставки, увидев часы с стрелками, готовыми ущемить цифру одиннадцать, встрепенулась, взяла извозчика и поехала к Торпу.

III

Не раз задумывались мы над вопросом, — можно ли назвать мыслами сверкающую душевную вибрацию, какая переполняет юное существо в серьезный момент жизни. Перелет настроений, волнение и глухая песня судьбы, причем среди мелодии этой — совершенно отчетливые мысли подобны блеску лучей на зыби речной, — вот, может быть, более или менее истинный характер внутренней сферы, заглядывая в которую щурится ослепленный глаз. Отсюда не труден переход к улице, на которую, окончив путь, свернул извозчик, — к сверкающей перспективе садов среди чугунных оград; эмаль, бронза и серебро сплели в них затейливый арабеск; против аллей, ведущих от ворот к белым и красноватым подъездам, полным зеркального стекла, сияли мраморные фасады, подобные невозмутимой скале. Этот мир еще спал, но

утренний огонь неба средь пышных цветов уже сторо-
жил позднее пробуждение.

Осмотриваясь, Тави трепетала, как на экзамене. Видя, что окружает ее, скрылась она в самую глубину себя, подавленная робостью и досадой на робость. Она не могла быть гостью среди этих роскошных гнезд, но лишь существом мира, чуждого великолепным решеткам, охраняющим сияющие сады; они были выведены, чтобы отделить ее жизнь от замкнутой в садах жизни красивой чертой. Это впечатление было сильно и тяжело.

Извозчик остановился, путь кончен. Звоня у ворот, Тави рассматривала сквозь их кованые железные листья, в тени подъездной аллеи, мавританский портик и вазы с остриями агав. Прошло очень немного времени,— казалось, только лишь опустилась ее рука, тронувшая звонок, как из-за угла здания выскочил человек в лакейской куртке, направляясь бегом к воротам. Он стал возиться с замком, спрашивая:

— Из бюро? От какой конторы?

Пропустив Тави, тупо воззрился он на чемодан и коробку.

— А для чего вещи?

Девушка заметила, что его что-то смущает, что-то вертится на языке; взглянув на нее внимательнее, слуга решительно ухмыльнулся...

— Впрочем,— сказал он, беря багаж девушки, но загораживая ей дорогу,— если хотите получить заказ, нужно заплатить мне, а не то родственники обратятся в другое место.

— Вы думаете, что я шью платья? — гневно спросила Тави, раздраженная бестолковой встречей.— Я приехала служить в этот дом читательницей господину Торпу.

— Читай? — сказал лакей, подперев бок рукой, которой держал саквояж.— Так бы вы и сказали.

— Ну да, читательницей,— поправила девушка, чувствуя к слову «читай» серое отвращение. «Оно обстрижено»,— успела она подумать: затем вслух: «Несите и скажите, что я приехала,— приехала Тави Тум».

— Господин Торп,— сказал лакей тоном официальной скорби,— божью волей скончался сегодня утром, в семь с четвертью, скоропостижно. Он умер.

Девушка, отбежав, закрыла лицо, потом, опасливо вытянувшись и спрятав назад руки, как в игре, где могут поймать, уставилась на лакея взглядом ошеломления.

— Вы говорите,— он умер? То есть скончался?

— И умер, и скончался,— равнодушно ответил лакей.— А орта. У нас знают, что вы приедете. Я провожу вас.

Он кивнул, приглашая идти. Не печаль, не страх стеснили легкое дыхание девушки, и не сожаление о блестящем заработке, так неудержимо рухнувшем в пустоту, откуда он щедро сверкнул,— но красноречие совпадения,— этот всегда яркий взволнованному уму звон спутанных голосов. Смятение и шум наполнили сердце Тави. Смотря на убегающий свой чемодан, шла она за лакеем так быстро, но нервно, как, путаясь в густом хмеле, идет по заросли человек, разыскивая тропинку.

Лакей приостановился, напряженно ожидая девушку, глазами, сузившимися от умильной надежды. Как Тави догнала его, он шепнул:

— Барышня, есть у вас какая-нибудь мелкая монета, самая мелкая?

Тупо взглянув, Тави погрузила руку в карман; схватив там вместе с ореховой скорлупой серебряную мелочь, она мрачно сунула монеты лакею.

— Очень вам благодарен,— сказал тот,— вы думаете, это на чай? Ффи.— Как по ее лицу было видно, что она действительно так думает, лакей, помедлив, добавил:— Это — на счастье. Я вижу — вы счастливая, потому и спросил. Теперь я пойду в клуб и без промаха замечу банк.

— Я? Счастливая?— Но было нечто во взгляде лакея, подсказавшее ей не допытываться смысла подарка. После этого шествие окончилось при взаимном молчании; мелькнуло несколько мужских и женских фигур,— стены и лестницы, переходы и коридоры; наконец Тави смогла сесть и сосредоточиться.

Прежде всего вспомнила она, что среди взглядов, рассеянных на пути к этому синему с золотыми цветами креслу, мелькнули взгляды странного выражения, полные мниморавнодушной улыбки. Два-три человека холодно осмотрели ее, как бы прицениваясь ко всему ее существу, — быть может, из любопытства, быть может, лишь показалось ей, что их взгляды терпки по-уличному, — но ее чуткий духовный мир обнесло тончайшей паутиной двусмысленности. Как было ей сказано, что через некоторое время выйдет к ней хозяйка-вдова, Тави немного думала о взглядах и впечатлениях, строя и кружка мысли вокруг трагического события. Прикладывая вдруг остывшие руки ледяным тылом кистей к пылающему лицу, она вздрагивала и вздыхала. Ее оставили сидеть в одной из проходных зал, с высокими сквозными дверями; лучистые окна, открывающие среди ярких теней трогающую небеса пышную красоту сада, озаряли и томили нервно напряженную девушку; в строгом просторе залы плыли лучи, касаясь стен дрожащим пятном. «Смерть!» Тави задумалась над ее опустошающей силой; боясь погрузиться в кресло, как будто его покойный провал был близок к страшной потере дома, сидела она на краю, удерживаясь руками за валики и хмурясь своему пугливому отражению в дали зеркального просвета, обнесенного массивной резьбой.

Тогда из дверей, на которые стала она посматривать с нетерпением, вышла черноволосая женщина сорока — сорока пяти лет. Она была прямая, высока и угловато-худа; ее фигура укладывалась в несколько резких линий, стремительных, как напряжение черного блеска глаз, стирающих всё остальное лицо. Сухой разрез тонких губ, сжатых непримиримо и страстно, тяжело трогал сердце. Черное платье, стянутое под подбородком и у кистей узором тесьмы, при солнце, сеющем по коврам безмятежный дымок цветных отражений, напоминало обугленный ствол среди цветов и лучей.

— Так вы приехали? — громко сказала вдова, бесцеремонно оглянув девушку. — Вы приехали, конечно, в приятных расчетах на удобное место. — Перерыв фразы, самый тон перерыва уже испугал Тави; в нем блес-

нул злой, страстный удар.—Никто не ожидал, что он умрет,—продолжала вдова,—вероятно, вы менее всех ждали этого. Вы разве не слышали звонка? Нет?—Она холодно улыбнулась.—Не поспешили? Прислуга вошла, закричала: он лежал на полу, раскинувшись, с рукой у воротника. Готов! У вас есть семья, сестры? братья? Может быть, у вас есть жених? Но, милая, как вас зовут?

Тави силилась говорить, спазма удерживала ее; на конец, собственное имя заикающимся лепетом вырвалось из ее побледневших губ. По мере того, как вдова, тягостно улыбаясь, пристально наблюдала приезжую, девушке становилось всё хуже; уже слезы—неизменные спутники горьких минут—слезы и смех часто выражали всю Тави,—уже слезы обиженно попросились к ней на глаза, а лицо стало по-детски огорчаться и кукситься,—но женщина движением инстинкта поймала некое указание. Она хмуро вздохнула; не сочувствие,—горькая рассеянность, занятая вдали темной мыслью, отразилась в ее лице, когда, взяв девушку за дрогнувшую руку, она заговорила опять.

— Довольны ли вы тем, что случилось? Понимаете ли, что перед вами одной встало эта стена? Вы родились под счастливой звездой. Может быть, умерший слышит меня, тем лучше. Я устала от ненависти. Скоро наступит час, когда отдохну и я. Десять лет мучений и ненависти, десять лет страха и отвращения—разве не заслужила я отдыха? Говорят, смерть примиряет. Как понять это, если сердце в злом торжестве радо смерти? Я ненавижу его даже теперь.

Говоря так, она смотрела в окно, то протягивая руку Тави, то отталкивая, но не выпуская из жестких, горячих пальцев, как бы в борьбе меж гневом и лаской; казалось, потрясение рокового утра колыхнуло все чувства прошлого, оживив их кратким огнем.

— Не бойтесь,—сказала она, видя, что Тави мучается и дрожит,—о ненависти в день смерти вам не приходилось слышать еще, но я должна говорить с вами так; может быть, я должна сказать больше. Не знаю, чем тронули вы меня, но я вас прощаю. Да, прощаю!—крикнула она, заметив, как потемнели глаза Тави.

ви.—Вы гневаетесь, думая, что я не имею права, повода прощать вас, что первый раз мы видим друг друга. А знаете ли вы, что можно прощать дереву, камню, погоде, землетрясению,—что можно прощать толпе,—жизни? Простите меня и вы. Счастливому простить легче.

Задыхаясь, девушка вырвала руку, топнув ногой. Слезы и обида душили ее.

— Зачем я приехала? Зачем звали меня сюда? Что я сделала? Разве я виновата, что Торп умер? Объясните; я ничего, ничего не понимаю. Уже второй раз слышу я сегодня, что я «счастливая», и это мне так обидно, так горько...—Она заплакала, смачивая слезами платок; отдалась и, вытерев глаза, засмеялась с виноватым лицом.—Теперь я вас слушаю. Только мне надо говорить по порядку, иначе я спутаюсь.

Рука вдовы легла на ее голову, поправив трогающий глаза локон.

— В том возрасте, в каком теперь вы, меня сломали,—она сжала лист пальмы, вытянув его изуродованное перо с легкой улыбкой,—так, как я сломала это растение; лист завянет, пожелтеет, но не умрет; не умерла и я. Потом... я видела, как ломают другие листья. Идите за мной.

V

Взяя Тави за руку, как будто эта случайная близость поддерживала ее решение, она прошла весь нижний этаж к лестнице и подняла голову.

— Там кабинет мужа,—сказала вдова,—там вы должны были исполнять ваши обязанности.

Они взошли по лестнице к темной резной двери. Не сразу открыла ее вдова; прежде чем совершить это,—еще раз пристально в глубину глубин глаз Тави заглянула она, как бы с сомнением и упрямством; на момент мстительная черта легла в ее потемневшем лице и, опасно сверкнув, исчезла. Не раз уже по пути заговаривала она сама с собой; теперь Тави услышала: «Господи боже, помоги мне и научи не сказать лишнего».—Как ни странно, молитвенный шепот этот решительно испугал Тави; она уже повернулась с желанием

проводно сбежать вниз, но устыдилась. «Катриона была куда смелее меня,— сказала она, вспоминая чудесный роман автора «Новых Арабских ночей»,— и нисколько не старше. Чего же боюсь я? Эта женщина пострадала; наверное, жизнь ее была сплошным горем. Она расстроена; ничего более».

И, в тakt последнего слова, Тави храбро перешагнула порог, несколько разочарованная тем, что вместо кладовой Синей Бороды или чего-нибудь, отвечающего ее сердцебиению, увидела всего лишь очень роскошную и очень большую комнату, дальние предметы которой благодаря светлой и глубокой перспективе казались видимыми через уменьшительные стекла бинокля.

— Здесь я оставлю вас,— сказала вдова,— а вы осмотритесь. Вот шкафы, в них книги — любимое и постоянное чтение моего покойного мужа. Что-нибудь вы поймете во всем этом и, когда надумаете уйти, дайте звонок. Я тотчас приду. Есть вещи, о которых тяжело говорить,— прибавила она, заметив, что Тави уже набирает, соответственно новому удивлению, приличное количество воздуха,— но которые нужно знать. Итак, вы остаетесь; будьте как дома.

Сквозь грусть ее слов вырезалась глухая усмешка. Пока Тави соображала, как отнеслись ко всему этому, вдова Торпа, взяв со стола часть бумаг, вышла и притворила дверь; стало тихо, Тави была одна.

— Нас то ругают, то ласкают, то оставляют и...— она тронула дверь,— нет, не запирают; но короб загадок высыпан уже на мою голову. Все загадки крепкие, как лесные орехи.

Ее взгляд остановился на драгоценных рамках картин, затем на картинах. Их было более двадцати, кроме панно, и все они казались иллюстрациями одного сочинения,— так однородно значительно было их содержание. Альковы, феи, русалки, символические женские фигуры времен года, любовные сцены разных эпох, купающиеся и спящие женщины; наконец, картины более сложного содержания, центром которого все же являлись поцелуй и любовь,— Тави пересмотрела так бегло, что едва запомнила их томные и томитель-

ные сюжеты. Она торопилась. Ее особенностью был нервный позыв схватить вниманием всё сразу или сколько возможно больше. Поэтому, быстро переходя от столов к этажеркам, от этажерок к шкафам и статуям,— везде, так или иначе — в форме помпейской безделушки, этюда или изваяния — она наталкивалась на изображение обнаженной женщины, из чего вывела заключение, что покойный имел пристрастие к живописи; может быть, рисовал сам. «Но что я должна смотреть; что надо увидеть?» В недоумении повела она бровью, пожала плечом, задумчиво рассматривая сквозь стекло шкафов красивые переплеты книг, уже манившие ее страсть к чтению, и сказала себе: «Начнем с главного. Наверное, эти книги должна была бы я читать умершему. Посмотрим».

Открыв шкаф, девушка схватила миниатюрный золотообрезный том; по привычке заглядывать в сердце книги, ее середину, что всегда делала с целью почувствовать, залюбопытствует ли страстно душа, она выделила ряд страниц наудачу и внимательно прочла их. По мере того, как шрифт вёл ее к темным местам, значение которых не поддавалось ее опыту, но говорило всё же сюжетом частью своей нечто особенное, подобное лукавой исповеди или намеку, ее брови сжимались все мрачнее, рассекая близну выпуклого и чистого лба морщиной супового напряжения. И медленно, как от сильной боли, сдержанной чрезвычайным усилием, от самых ее плеч, по шее, ушам, по всему оставшемуся спокойным лицу поднялся, алея, густой румянец стыда.

Но она не уронила и не бросила удивительное издание. Закрыв том, Тави аккуратно вдвинула его на прежнее место, прикрыла дверь шкафа, медленно подошла к звонку и с наслаждением придержала палец на кнопке до тех пор, пока он не заныл. Все стало ясно ей; все загадки этого утра нашли точное объяснение, и хотя на ней не было никакой вины, она чувствовала себя так, как если бы ее зеленая пальма была уже схвачена жесткой рукой. Но она не оскорбилась,— тень смерти стояла меж ней и судьбой этого дома,— смерть унесла всё.

VI

Не замедлив, пришла вдова; почти с ужасом смотрела на нее бледная и тихая Тави. «Так вот как ты жила!». На эту мысль девушки, как бы угадав ее, прозвучал ответ:

— Да, все мы не знаем, что нам придется делать на этом свете. Но добавить ли что-нибудь?

— Нет, нет,— довольно,— поспешила сказать Тави.— Теперь я уйду. Стойте. Прежде чем рас прощаться и уйти, я хочу видеть умершего.

— Вы?!

— Да.

Вдова, прищурясь, молча искала взглядом смысл этого желания, но обыкновенно подвижное и нервное лицо Тави стойко охраняло теперь свою мысль; и вообще была она уже не совсем та, прежняя; ее слова звучали добродушно и твердо, с неторопливостью затаенной воли. Чтобы рассечь молчание, Тави прибавила:

— Обыкновенная вежливость требует этого от меня. Уже нет того человека. Я приехала к нему, на его деньги, одним словом, в **н у т р е н н о** мне нужно проститься и с ним.

— Быть может, вы правы, Тави. Идите сюда.

Сказав так, вдова прошла диагональ кабинета, к портьере, подняв которую открыла скрытую за нею дверь соседнего помещения. Занавеси были там спущены, и огонь высокой свечи отдаленно блеснул из сумерек в ливень дневного света, потопившего кабинет.

— Он там,— сказала вдова.— Скоро привезут гроб.

— А вы?— Тави, придерживая над головой складку портьеры, мягкой улыбкой позвала войти эту женщину, лицо которой мучительно волновало ее.— Разве вы не войдете?

— Нет. Это сильнее меня. Просто я не могу.— Она закусила губу, потом рассмеялась.— Если я войду, я буду смеяться,— вот так,— все время; смеяться и ликовать. Но вы, когда взглянете на его лицо, вспомните, вспомните **н е с ч а с т н ы х** и помилосердствуйте им. Две отравились. Судьба остальных — та самая, какой

широко пользуются косметические магазины. Не сразу он достигал цели, о нет! Вначале он создавал атмосферу, настроение... привычку, потом — книги, но издалека, очень издалека; быть может, с «Ромео и Джульетты», — и далее, путем засасывания...

— Он умер, — сказала Тави.

Как будто вдова Торпа лишь ждала этого напоминания. Ее лицо исказило и потрясло гневом, но, удержанная, она махнула рукой.

— Идите!

И девушка подошла одна к мертвому.

Торп лежал на возвышении, закрытый простынями до подбородка; огни свечей бродили по выпуклостям колен, рук и груди складками теней; мясистое лицо было спокойно, и Тави, едва дыша, в упор рассматривала его. По всему лицу мертвого уже прошло неуловимое искажение, меняющее иногда черты до полной несхожести с тем, каковы были они живыми; в данном случае перемена эта не была разительной, лишь строже и худее стало лицо. Умершему, казалось, было лет пятьдесят, пятьдесят пять; его довольно густые волосы, усы и борода чернели так ненатурально, как это бывает у крашеных; толстый, с горбиной нос; искусственно фиолетового оттенка губы неприятно ярко выделялись на тусклой коже дряблых, с ямами, щек...

Тави смотрела, пока ее мысли, стремясь важным и особым путем, не задели слов «жизнь», «смерть», «рождение». «А завтра день моего рождения! Это так приятно, что и сказать невозможно». Тогда в ней просияла улыбка.

— Я вас прощаю, — сказала она, приподнимаясь на цыпочки, чтобы соединить эти слова с взглядом на все лицо Торпа. — Торп, я прощаю вас. И я должна что-нибудь прочесть вам, что хочется мне.

Она вернулась в кабинет, к шкафам, нахмуренная так серьезно, как хмурятся дети, вытаскивая занозу, и среди простых переплетов выдернула что попало. Книгу она раскрыла, лишь подойдя опять к мертвому. То был Гейне, «Путешествие на Гарц».

— Слушайте, Торп, — оттуда, где вы теперь.

Строки попутались в ее глазах, но, наконец, остановились, и, успокаиваясь сама, тихо, почти про себя, прочла Тави первое, что пересекло взгляд:

«Я зовусь принцессой Ильзой,
В Ильзенштейне замок мой,
Приходи туда и будем
Мы блаженствовать с тобой...»

— Больше я не буду читать,— сказала девушка, закрыв книгу,— а то мне захочется попросить ее на дорогу. И я ухожу. Прощайте.

Она снова приподнялась, легко поцеловала умершего в лоб поцелуем, подобным сострадательному рукопожатию. Потом торопливо ушла, метнув портъеру так быстро, что по ее разгоряченному лицу прошел ветер. И этот поцелуй был единственным поцелуем Горпа за всю его жизнь, ради которого ему стоило бы снова открыть глаза.

VII

Рассеянная и грустная вышла Тави на улицу. Она не взяла денег, несмотря даже на то, что остающейся у нее суммы не хватало купить билет; деньги были предложены ей без обиды, но сердце Тави твердо востало.

— Благодарю вас,— сказала она вдове.— Мне хочется одного — скорее уйти отсюда.

Так она ушла и очутилась среди сотрясающего грохота улиц жаркого Лисса с стесненно-замирающим сердцем.

Некоторое время то гневно, то удрученно, не замечая, как и куда идет, девушка была занята распутыванием темной истории; хор противоречивых догадок, лишенных основы и связи, мучил ее сердце, и, устав, бросила она это, присматриваясь к уличному движению, чтобы легко вздохнуть. Понемногу ей удалось если не рассеять, то восстановить равновесие; дрогнув последний раз в знобком отвращении плечиками, она стала осматриваться, заметив, что удалилась от центра. Улицы были серее и малолюднее, толпа неряшливее; громоподобные вывески сменились ржавыми листами железа с темными буквами, из-за оград свешивалась чахлая зелень. Открытые двери третьеразрядного трак-

тира приманили аппетит Тави; усталая и проголодавшаяся, войдя с сумрачным видом, села она к столу с грязной скатертью и спросила рагу, что немедленно и было ей подано,— неприглядное, но отменно горячее, так что заболели зубы. Не обращая внимания на взгляды обычных посетителей заведения, Тави храбро занялась кушаньем, в котором соли и перцу было, может быть, больше всего прочего, и, залив жжение горла стаканом воды, вышла, настроенная практически.

Как быть? Как достать денег, чтобы вернуться обратно, и чем заняться до семи вечера? В семь отходил поезд. Но простодушный, великодушный Крукс мог теперь, ничем не утруждая себя, сообщить ей свой адрес, туда, где ее нет. «Если сделать так...— рассуждала она, обрекая медальон, подарок покойной матушки, кассе ссуд и решаясь продать новую шляпу, картонка с которой покачивалась на ее локте,— ну, шляпу можно продать; а за медальон...» — И, погрузясь в точный расчет, пошла она, приговаривая: «Если так и так, будет вот так и этак... Или не так? А как?»

В чем-то не сошлись воображаемые ею цифры, и приостановилась она, подняв голову, с удивлением слушая странный золотой звон, тихий, как бред ручья в неведомой стороне. Пустынно было на улице, лишь далеко впереди смутные фигуры мелькали на перекрестке; справа же двигалась шагом извозчичья подвода; спал или дремал возница, опустив голову, накрытую рваной шляпой,— понять было мудрено. Казалось, выехала подвода из соседних ворот, из тех, что со стуком закрывались уже, показывая внизу чьи-то отходящие ноги. С каждым шагом понурой лошади подвода, трясясь, сеяла тот чистый кисейный звон, к которому прислушивалась удивленная девушка.

Она пошла медленно, рассматривая и соображая, что бы это могло быть. Под холстом, свисавшим касаясь колес, высилось подобие тиары, выставляя неопределенные очертания углами складок, мешающих сбрат намеки форм странного груза в какое-либо достоверное целое. Эта, по-видимому, легкая поклажа тихо покачивалась из стороны в сторону, звучала, словно человек вез груду тамбуринов. Не вытерпев, Тави подошла ближе, спрашивая:

— Скажите вы мне, пожалуйста, что это у вас так звенит? — Возница апатично взглянул на нее из дали уединенных соображений, прерванных вопросом, достоинство которого было для него тупой и темной загадкой.

— Эх! — сказал он, отмахиваясь с досадой, что должен перевести кропотливо ползущие мысли на более быстрый ход. — Ну, звенит, а вам что до этого? Идите-ка себе с богом. — Здесь, по опыту доверяя лошади, которой кнут был только приятен, так как отгонял оводов, апатично стегнул он животное, но оно только помахало хвостом, выразив гримасой задней ноги фальшивое оживление, и не быстрее, чем раньше, свернуло за угол, на шоссе.

Когда Тави, естественно, взглянула в ту сторону, то увидела за домами зеленый просвет. Всё шоссе покрыто было народом, спешившим, как на пожар; размахивая листами, бежали газетчики; тележки торговцев фруктами и прохладительными напитками неслись среди экипажей, полных дам и щегольски одетых мужчин; под ногами шныряли уличные собаки, лая на тех собратьев, чьи расчесанные тельца степенно следовали впереди шелковых юбок, в меру длины цепочек, прикрепленных к ошейникам. Кричавший букет мелькнул в стеклах автомобиля, изрыгающего густые, жуткие заклинания; гарцуя, стремились всадники; костили нищих, влекомые ради быстроты хода под мышками, резво колыхались среди зонтиков и тростей; матери тащили задыхающихся детей, с неописуемым отчаянием в их раскрасневшихся лицах; поджимая губы, семенили старушки; мальчишки неистово голосили, мчась по мостовой, как в атаку. Здесь таинственная подвода скрылась и затерялась, а Тави спросила первого встречного: «Куда спешит весь этот народ?»

— Вы разве не здешняя? — проговорил тот, оборачиваясь на ходу, — так вы, значит, не знаете; сегодня «мертвые петли»!

— Полеты! Полеты! — в виде пояснения прокричал он, бесцеремонно опередив девушку. Мигом воспряла она, воодушевясь, потому что любила всякие зрелища; забежала она в первую лавку, наскоро упросив взять до вечера на хранение свою мешающую поклажу, и двинулась с той же быстротой, как толпа, к неизвестному

месту. Вспоминая время от времени о заботе поозвращении домой, успокаивалась она тем, что ощупывала под платьем медальон и мысленно открывала картонку. «Вот они, деньги!..» — приговаривала неудачливая путешественница. Толпа, солнце и сознание независимости развеселили ее. Тем временем шоссе свернуло под углом к полю; прямо же, если продолжить его линию, стояла высокая каменная стена, за которой среди сомлевших в жаре деревьев виднелся изгиб китайской крыши, с флагом над ней; раскрытое пространство ворот пестрело движением спешивших людей. Кто уходил, кто входил, но больше входили, чем уходили, и, не зная порядков, Тави завернула туда. Внутренность двора пересекалась дощатым забором; у узкого прохода служитель прове-рял билеты.

— Ваш билет, — бросился он к девушке, уже прошедшей мимо него.

Она обернулась, не успев ничего сказать, как билетер занялся другими входящими; забыв о ней или сочтя ее «своим человеком», каких всегда много везде, где проверяют билеты. Довольная, что ей повезло, так как никаких билетов покупать она была не в состоянии, Тави прошла подальше и осмотрелась.

То был двор, или, вернее, маленький мощенный плитами плац, с двух сторон которого всходили амфитеатром скамьи павильонов с боковыми и горизонтальными тентами. Народа было довольно; присмотрясь к нему, Тави заметила, что то не смешанная толпа публичных зрелищ, но так называемая «отборная» публика, преимущественно интеллигентного типа. Между трибунами помещались крытые синим сукном столы с чернильницами и листами писчей бумаги; здесь заседало человек тридцать в ленивых позах жаркого дня, с расстегнутыми жилетами и мокрыми волосами на лбу, в сдвинутых на затылках шляпах. «Куда же попала ты, моя милая?» — недоумевающе отнеслась Тави, видя, что не здесь, должно быть, произойдут полеты. Но уже встал из-за стола, гремя колокольчиком, человек апоплексического сложения; его мощное, круглое лицо, почти безбровое, с бачками, которые, казалось, едва

держатся на толстых щеках,— раскрылось круглым «О» сочного рта; требовательно он закричал:

— К порядку! Внимание! Тише! Я открываю чрезвычайное заседание Клуба воздухоплавателей.

Тем временем Тави увидела подошедшего к столу Крукса, того самого, который неожиданно исчез утром. Как будто отца родного встретила Тави,— так обрадовалась она, в чужой толпе незнакомого города, этому успокоительно-прямому лицу,— и, поспешно сев на ближайшую скамейку, закричала оттуда:

— Эй, Монгомери, что вы здесь делаете? Крукс! Крукс! — Тотчас его глаза направились к ней и сразу разыскали ее; узнав свою утреннюю встречу, он кивнул, прижал к губам палец и улыбнулся значительно. Тогда вдруг стало ей покойно, как дома; хотя кислые лица дам и поднятые с легкой улыбкой брови мужчин обратились к ней фронтом, выражая тем удивление или негодование,— она лишь порозовела, но не смущилась.

Взяв свободный стул, Крукс сел, опустив глаза. На нем теперь была кожаная глухая куртка, высокие сапоги и черная фуражка; ее ремешок проходил от виска к виску под подбородком. Здесь любопытство Тави достигло зенита, который называется замиранием; и личность Крукса, и обстановка, и неожиданное для нее заседание воздухоплавателей — всё было как разобраные части неизвестной машины, что собирали на ее глазах, готовились пустить в ход. Она трепетала. Видели вы, как возится, не в состоянии покойно сидеть на месте, молоденькая, глупая девушка? Мир — еще зрелище для нее, а в зрелище этом, перебивая главное действие, роятся сцены всевозможных иных спектаклей. В эти минуты устойчивость ее внутреннего мира не более устойчивости видений, образуемых игрой драмы. Момента покоя нет ни в ее лице, ни в позе, ни в темпе дыхания; ей хочется затопать, привстать, смотреть впереди и по сторонам, торопить и шуметь.

Грузный человек был председатель. Добившись тишины, он сказал:

— Произошло следующее: в канцелярию Клуба поступило мотивированное заявление господина Крукса, являющегося изобретателем летательного аппарата но-

вого типа, о котором просит он не только произвести испытание, но и предоставить ему, Круксу, место в сегодняшнем состязании. Согласно уставу Клуба, всякий моноплан, биплан, парашют, баллон или аэростат имеет быть, во избежание смешных и горьких недоразумений, предварительно оценен экспертами, дабы не иметь дела с попытками технически невозможными, или же, чему не мало примеров, абсурдными безусловно. Поэтому, так как имеется еще час времени до начала состязаний, президиум постановил: осмотрев аппарат Крукса, разрешить ему, при условии технической научности его изобретения, воспользоваться аэродромом для публичного опыта; и, если Крукс того пожелает, занести его в список авиаторов дня, с правом соискания призов: на высоту, продолжительность и точность спуска.

По мере того, как текла и оканчивалась речь председателя, багровый стыд окутал лицо Тави; до слез, до полной растерянности смущилась она, поняв теперь, что бесцеремонно-приятельски окликнула не кого иного, как знаменитого, конечно, изобретателя. Боясь, что он снова поглядит на нее, уселась девушка так, чтобы высматривать из-за чьей-то большой шляпы. «Господи, спаси, помилуй и укроти мой язык», — шепнула она; однако раскаяться вполне не успела; поднялись шум, говор; тонкие или любопытствующие замечания перемешивались с криками нетерпения.

Тогда взгляды всех обратились на Крукса, вставшего и сделавшего рукой знак с желанием говорить. Вновь притих шум; люди, сидевшие вокруг стола, наморщили лбы с важностью, означавшей их совершенное и безошибочное всеведение.

— Вот что, — сказал Крукс негромко, но так отчетливо, что его слова прозвучали ясно для всех, — я сорудил аппарат по конструкции и системе двигателя, не имеющий ничего общего с современным аэропланом. У меня нет ни пара, ни газа, ни бензина, ни электричества; ни парящих плоскостей, ни винтов; нет также особой задумчивости при выборе материала, из которого аппарат выстроен. Как из полотна или шелка, так из простой бумаги или листового железа может быть сооружен он без всякой потери его двигательной способности; он мчится силой звуковой вибрации,

представленной четырьмя тысячами мельчайших серебряных колокольчиков, звук которых...

— Звук которых?! — перебил голос, выразивший тоном своим общее недоумение. — О чём вы говорите?

Прозвучал смех. Тишина сдвинулась. Равновесие и внимание, получив удар по обеим чашам весов, исчезло, как исчезают все призраки условной общественности. Кто переглянулся; кто, оглядываясь, искал нетерпеливца, спросившего, к чему клонит странная речь загадочного изобретателя. Председатель, схватив звонок, готовился восстановить тишину; но ему что-то шепнули, и уже сам, с некоторым сомнением, в замешательстве, мельком посмотрел он на Крукса, стоявшего, ожидая возможности говорить дальше, с простотой сильного человека, затерпого на углу улицы бегущей толпой. Тогда Тави стала бояться за Крукса; в чём бы ни потерпел человек этот поражения, ей было бы то несносно; у неё успело уже созреть решительное к нему пристрастие. Ей нравилось, что он будет, по-видимому, один против многих, но, зная силу осмеяния, боялась она, как бы сцена, без отношения к результатам её, не приняла характер комический. Меж тем раздались еще восклицания; прошёл и стих шум.

— Быть может, — сказал председатель Круксу, — вы утомлены несколько; может быть, вы нездоровы, взъярены; в таком случае, не будет для нас обидой отложить ваше, крайне интересное объяснение до следующего хотя бы дня.

Крукс улыбнулся без смущения; с видом полного удовольствия слушал он эту осторожную и мягкую реплику.

— Я должен просить вас разрешить мне сказать всё, что я хочу, могу и считаю нужным сказать. Но, чтобы те, почти чудесные новости, которые открыты мной, возымели силу неголословную, должен буду представить аппарат свой перед собранием. Он не велик и не имеет ничего общего с теми неуклюжими махаонами, в которых ездят с таким шумом и треском...

Высказав это с вразумительной твердостью, не позволяющей далее иметь двух мнений как относительно состояния своих умственных способностей, так и намерений, Крукс снова взял тишину за волосы, и внимание

слушателей удвоилось. Тави слышала, что говорят во-круг нее. «А вдруг!» — сказал кто-то, подразумевая этим, что нет пределов открытиям. Несколько беглых споров утихли; возрастающий интерес заразительно перебегал по скамьям.

— Выслушать, выслушать! — закричали, наконец, с мест, видя, что жюри мнется. — Мы хотим слышать! — Председатель решился, но решение свое обозначил как некую дипломатическую уступку. «Если вы настаиваете, — сказал он, — мы согласны. Однако есть увлечения, непредвиденная форма которых может заставить нас пожалеть об эксперименте; неудовлетворительные последствия оного отразятся как на вас, так и на всех нас, потому что мы крайне сожалели бы о всем ненаучном, о всем, так сказать, дилетантски смелом, не отвечающем задачам Клуба воздухоплавания. Следовательно, если уверены вы, хотя бы отчасти, в положительных сторонах вашего изобретения, в основных принципах его, — честь и место, господин Крукс. Не скрою, что начало изъяснения вашего показалось всем столь знаменательно странным... Итак, мы вас слушаем».

Настроив, таким образом, себя, Крукса и аудиторию в благожелательно-предостерегающем смысле, председатель стал строг и весок лицом; он, а за ним все, воззрились на Крукса, подобно экзаменаторам, затаенный помысл которых: «Школьник, пади ниц!» — дышит каннибализмом.

— Наконец-то, — сказал Крукс, — слава богу. Вас смутили четыре тысячи колокольчиков; дополнило это смущение: более четырех тысяч или менее, — не играло бы никакой роли. Как детям, катающим снежное изваяние, мало заботы о том, чет или нечет снежинок поместится в человекоподобии зимы, метели и холода, какое слепили они, так и я не настаиваю безусловно на четырех тысячах, охотно уступаю из них произвольное число или прибавлю к четырем столько, сколько вообще поместится на моем аппарате; мне нравится много колокольчиков; дело не в числе, а в действии.

Если бы он улыбнулся, если бы хоть на мгновение тронулось это отчетливое лицо лукавой игрой, разразились бы гром и хохот потехи неудержимые. Однако Крукс смотрел и говорил очень серьезно, что действо-

вало, вразрез с его странными словами, самым удручающим образом. Еще не было ни протesta, ни резкого вмешательства со стороны тех, кто принимает как изdevательство или вызов всё, лишенное готовой клетки в его мозгу, привыкшем к спокойной жвачке, прежде чем постичь суть явления, но уже означалось, по выражению лиц, скопление атмосферы протesta. Всеунично тяжающая ирония кривила губы членов президиума, обреченных, благодаря собственному легкомыслию, трепетать за солидный темп дня, за должное уважение к месту и делу, которым занимались они, нацепив значки, изображающие колеса и крылья. Всё это хорошо понимала, оценивая по-своему, Тави, девушка, ставшая на перепутье судьбы; чувство судьбы коснулось ее настроения; невольно связывала она колокольчики, о которых говорил Крукс, с неистребимо-нежным воспоминанием о подводе и звоне, что слышала час назад. С подвешенным на золотой нитке юной тревоги сердцем ожидала она, как поступит, наконец, Крукс. Казалось, тот задумал уравнять ветер сбитого к себе отношения; его речь коснулась теперь многих вещей.

— Рассмотрим, — сказал он, — хотя бы неполно, анатомию и психологию движения в воздухе. До сих пор летают только птицы, насекомые и предметы; человек сопутствует летящим предметам, сам он лететь не может, кроме как в сновидении. Прицепляясь к шару, имеющему значение как бы самостоятельного организма, двигающегося по произволу атмосферических изменений, не в более сложном он положении, чем тля, сидящая на семенах одуванчика, когда их сорвало и несет ветром в пространство. Аэроплан как будто самостоятельнее приглашает посмотреть на эти затеи. Однако выясним суть, желание, идею полета, его мыслимое идеальное состояние. Неизбежно здесь сновидение; лишь его волнующий арабеск подскажет, с отчетливостью прозрения, чем одушевлен чистый полет. Им правит легкий и глубокий экстаз; неведомые наяву чувства, столь странные, что им может быть уподоблено разве лишь пение на дне океана, звучат стройно в этих особенных условиях грезы, свергающей физическую тоску, веками слоившееся отвращение к ногам,

пойманым огромным магнитом. Вспомним, как мы летаем в то время, когда тело наше, завернутое одеялом, покорно своему ложу: само желание, естественно, отделяет нас, стремя и унося на безопасную высоту. Нет иного двигателя, кроме пленительного волнения, и большего нет усилия, чем усилие речи. Приметьте, что в стране сна отсутствуют полеты практические: перевозка почты, пассажира или призовое соревнование исключены; то состояние манит лишь изумительным движением в высоте; оно всё в себе,— ничего — сбоку, ничего — по ту сторону раскинутого в самой душе пространства; без усилий и вычислений.

Но как же в действительности летит он? Или, вернее, как движется над землей, когда вы, закинув голову, поспешно шлете вдогонку его судорожно скорчившейся фигуре имя «царя природы». Вот —

Здесь раздался характерный гул мотора; громкое, однотонное пение потекло в вышине, и члены Клуба, посмотрев на небо, увидели аэроплан, пересекающий зрительное поле тяжким пятном.

— ...вот достижение, которое явилось нам кстати для демонстрации. Сколько сомнений! А опасений?! Не упадет ли оно? Быть может, не упадет. Сообразите, что это значит. Его движения свободны, как ход коня; его скорость обязательна, его двигатель ненадежен, его творец прикован к каторжному ядру равновесия ради жизни и денег; его падения ожидают; его спуск опасен; его поворот не легок; его вид некрасив; его полет — полет мухи в бутылке; не остановится, не парит; оглушительный шум, атмосфера завода, хлопотливый труд; сотни калек, трупов, — и это — полет? Завидовать стрекозе, в математической точности движения которой светится ясность перебегающего луча; смотреть на вырезной узор ласточки, живописуемый ею над отражением своим в блестящем виде, — восхитительным ничтожеством совершенных усилий; вздыхать об орле, залегшем среди туманов с спокойствием самого облака, — не это ли удел наш? И не это ли тщета наша, — вечный разрыв, залитый сиянием снов?

Не много надо было бы мне, чтобы доказать вам, как несовершены и как грубы те аппараты, которыми

вы с таким трудом и опасностью пашете воздух, к ним прицепясь, ибо движутся лишь аппараты, не вы сами; как ловко было бы ходить в железных штанах, плавать на бревне и спать на дереве, так, в отношении к истинному полету, происходит ваше летание. Оно — сами вы. Наилучший аппарат должен быть послушен, как легкая одежда при беге; любой момент в любом направлении и с любой скоростью, — вот чего следует вам добиться. Рассчитывая поговорить далее, я встретил нетерпимость и издевательство; поэтому, не касаясь более технических суеверий ваших, перейдем к опыту. Ранее того, во всеуслышание, без жеста и сожаления, заявляю, что не беру приза, хотя мной будут побиты решительно все рекорды. Смотрите и судите.

В глубине двора были приоткрыты ворота, их распахнули настежь, и двое рабочих внесли столь легкое сооружение, что никакого физического усилия не было заметно по их лицам. Нечто, окутанное холстом, покачивалось, тихо звяня. Тави, волнуясь, встала; «это оно, то, что везла подвода». Сев, она не могла сидеть и встала опять, как встали вокруг нее все, рассматривая диковину. Затем произошло общее движение; зрители бросились к Круксу, окружив изобретателя тесной толпой; и там же, так удачно, что меж нею и загадочно звянящим предметом было свободное пространство, — очутилась наша беспокойная путешественница.

Резким движением Крукс смахнул холст. Часть зрителей, не зная, сердиться или смеяться, отступила в глубоком разочаровании серьезных людей, поддавшихся курьезной мистификации; громко возопила другая часть; третья окаменела; четвертая... но, вернее будет сказать, что сколько было людей, столько частей; мы же говорим вскользь. Случилось ли вам бежать сломя голову, куда побежала уже, ржавая и рыча, уличная толпа? Не бог весть что ожидаете вы увидеть, как протолкавшись в самую гущу смятения, видите всего-навсего малыша с обмусоленным пряником в руке и багровым от слез лицом; нянька потеряла его. «Где ты живешь?» — спрашивают ребенка; и он с изумлением, что не отведен еще по своему точному адресу, слезливо говорит: «Там!»

В то время как со стороны крыши висели уже в дыму заводских труб, на привязи, три баллона; в то время как напоминающий перетянутую бечевками колбасу грузный аэростат, махая какими-то перышками, двигался на высоте пятисот футов и четыре бойких аэроплана, взрывая неровным гулом верхнюю тишину, носились над двором воздухоплавательного клуба с грацией крыши, сорванных ветром,— в то время как, следовательно, занавес аэропредставления взвился и совершились «успехи»,— перед глазами судей явилось сверкающее изобретение фантастической формы. Оно было футов десять в длину и футов пять высоты. Его очертания спереди напоминали нос лодки, вытянутый и утонченный зигзагом лебединой шеи, причем точное подобие головы лебедя оканчивало эту шею — бугшприт. Корпус в профиль напоминал помпейский ладьеобразный светильник; крма странного судна в том месте, где обыкновенно проходит руль, была, подобно передней части, вытянута и загнута внутрь, как бы над головой внутри сидящего, острым серпом. Тонкий, неизвестного материала остов был, как каркас абажура, обтянут великолепным синим шелком, богато вышитым серебряным и цветным узором. Узор этот был так хорош, что многие, особенно женщины, дрогнули от восхищения; немедленно раздались их полные удовольствия, искренние, горячие восклицания. Борта аппарата были обшиты темно-зеленой с золотым лавром шелковой же материей; но самой замечательной и причудливой частью дива сверкнули целые гирлянды, фестоны, цепи и кисти мельчайших колокольчиков из чистого серебра, легких, как пузырьки; их кружевом было обнесено судно. Крукс тряхнул свое создание, и, казалось, оно взвеселилось звоном, рассыпав мельчайший смех.

— Четыре тысячи колокольчиков,— сказал Крукс, когда умолкли крики, побежденные изумлением. И он посмотрел на Тави так внимательно, мягко, что простота и бодрость заряженного величайшим любопытством спокойствия тотчас вернулась к ней.— Изобретение это — тайна; скажу лишь, что согласованность звона и способ управления им производят воздушную вибрацию, двигающую аппарат в любом направлении и с лю-

бой скоростью. Теперь я сяду и полечу, вам же предо-
ставлю на свободе делать технические догадки.

— Он полетит! — задорно двигая круглыми щеками, сказал, с сигарой в зубах, немец-пилот. «В театре, на канатах и блоках...» — добавил другой. «Это — сумасшедший!» — раздался серьезный голос. «Глупая мистификация!» — определил юноша с пушком на губе. Вдруг пронзительный свист разрезал смятение; как сигнал к свалке, вызвал он хор нестройного свиста, криков и оскорблений. Но Крукс лишь рассеянно осмотрелся; заметив вновь Тави, он сказал ей: «Скоро увидимся; ведь Торп умер, и вам теперь не надо будет служить». Эти неожиданные слова так поразили девушку, что она отступила; лишь: «А вы знаете?» — успела она сказать, как сцена быстро развернулась к концу.

Видя, что Крукс усаживается внутри своего прибора, председатель решительно оттолкнул мешавших, подошел к странному авиатору.

— Я не могу позволить вам совершать никаких опытов, явно и заранее бесполезных! — встревоженно закричал он. — Вы либо больны, либо имеете цель, совершенно нам постороннюю; кто, в здравом уме, допустит на момент мысль, что — тьфу! — можно полететь с этим... с этим... я не знаю что, с этой негодной ветошью! Потрудитесь уйти. Уйти и унести ваше приспособление!

— Мне дано право, — холодно сказал Крукс, отвечая одновременно и ему и тем — звонкоголосым из толпы, — кто, до хрипоты крича, поддерживал председателя. — Право! И я от этого права не откажусь.

— Не я, не я один: мое мнение, требование мое — общее мнение, общее требование! Вы слышите? Вот что вы натворили! Могли мы знать, с кем и с чем будем иметь дело? Оставьте собрание.

— Пусть скажут все, что хотят этого, — сказал Крукс.

— Прекрасно! — Председатель нервно расхочотался и так затряс колокольчиком, топая в то же время ногами, что тишина, улучив момент, встала стенной. — Господа! Милостивые государи! Помогите прекратить это! Господин Крукс, если один-единственный

человек, здесь присутствующий, нормальный и взрослый, скажет, что ожидает от вас действительного полета,— срамитесь или срамите до конца нас! Кто ожидает этого? Кто ждет? Кто верит?

Тут, врассыпную, но так скоро, что утих снова было поднявшийся шум, так ненарушимо-предательски устновилось молчание действительное, полное невидимо обращенных вниз больших пальцев, что Тави сжалась: «раз, два, три, восемь», — отсчитывала она, терпя в счете до десяти, чтобы разгромить ставшую ей ненавистной толпу, и вынудила себя сказать «десять», хотя от девяти держала мучительную, как боль, паузу. Молчание; сложив локти на стол, тупо уставилась в них подбородком, смотря вниз; Крукс быстро взглянул на девушку. Тогда, вся внутренно зазвенев и став до беспамятства легкой, шагнула она вперед, потрясая указательным пальцем, красная и сердитая на вынужденный героизм свой. Но лишь инстинкт двинул ее — «Я! Я! Я!» — закричала она со смехом и ужасом. Тут все взгляды, как показалось ей, прошли сквозь ее тело; толпа двинулась и замерла, взрыв хохота окатил девушку ознобом и жаром, но почти плача, увлекаемая порывом, она, сжав кулачок, двигала указательным пальцем, сердито и беспомощно повторяя: «Да, да, я... я знаю, что полетит!»

Сраженный председатель умолк; он растерялся. Члены совета, ухватив его за руки, яростно шептали нечто невразумительное, отчего он, совершенно не поняв их, сдался решительному нападению Тави. «Я держу слово, — сказал он, отмахиваясь и расталкивая советников, — но я больше не председатель; пусть дитя и сумасшедший владеют клубом!»

— Увы, мне не нужен клуб, — сказал Крукс, — не нужен он и моей заступнице. Отойдите! — И так как никто уже не противоречил завоеванию, он поместился внутри аппарата, оказавшегося, несмотря на хрупкую видимость, отменно устойчивым; как бы прирос он к земле, не скрипнув, не прозвенев; и белая голова лебедя гордо смотрела перед собой, дыша тайным молчанием. Сев, Крукс взял кисть бисерных нитей, прикрепленных к бортам, и потянул их; тогда вначале тихо, а затем с стремительно нарастающей силой, тысячи

мельчайших струн, от которых дрожит грудь, все вязи и гирлянды колокольцев стали звенеть, подобно знойным полям кузнечиков, где кричит и звенит каждый листок. Этой ли или другой силой — совершилось движение; ладья мерно поднялась вверх на высоту дыма костра и остановилась; то место, где только что стояла она, блестело пыльным булыжником.

Что освободилось, что скрылось в вспотевшей душе толпы, — как только грянул этот удар, разверзший все рты, выпучивший все глаза, перехвативший все горла короткой судорогой, — отметить не дано никаким перьям; лишь слабое сравнение с картонной цирковой гирей, ухватясь за которую профан заранее натуживает мускулы, но, вмиг брошенный собственным усилием навзничь, еще не в состоянии понять, что случилось, — может быть уподоблено впечатлению, с каким отступили и разбежались все, едва Крукс поднялся вверх. Некоторое время он был неподвижен, затем, с правильностью нарезов винта и с быстротой велосипеда, стал уходить вверх мощной спиралью, пока ладья и сам он не уменьшились до размеров букета. Но здесь, порвав, наконец, все путы, настиг ее вой и рев такого восторга, такого остервенелого и дикого ликования, что шляпы, полетевшие вверх, казалось, не выдержали жара голов, накаленных самозабвением. Только мертвец — сохрани он из исчезнувших чувств своих единственное: чувство внимания, мог бы разобраться в бреде и слепоте криков, какие, перепутав друг в друге все концы и начала, напоминали скорее грохот грузовых телег, мчавшихся вскачь, чем человеческие слова; уже не было ни скептиков, ни философов; ни претензий, ни самолюбий, ни раздражительности, ни иронии; как Кохинур, брошенный толпе нищих, взорвал бы наименее опаснейшие из взрывчатых потемок души, так зрелище это — эта непобедимая очевидность ринулась на зрителей водопадом, перевернув всё.

— Ура! Ура! Гип! Ура! — вопили энтузиасты, оглядываясь, волят ли другие, и, видя, что надрываясь, кричат все, — били в ладоши, перебегая взад — вперед, толкая и тряся за руки тех, кто, в свою очередь, уже давно сам тряс их. — Новая эра. Новая эра воздухоплавания!

Гип, ура! Власть, полная победа над воздухом! Я умираю, мне дурно! — кричали дамы. Другие, с глазами, полными торжественных слез, степенно утирали их, приговаривая, как в бреду: «Выше электричества; может быть, больше радия; что мы знаем об этом?» «О боже мой!» — слышалось везде, где не находили уже ни слов, ни мыслей и могли только стонать.

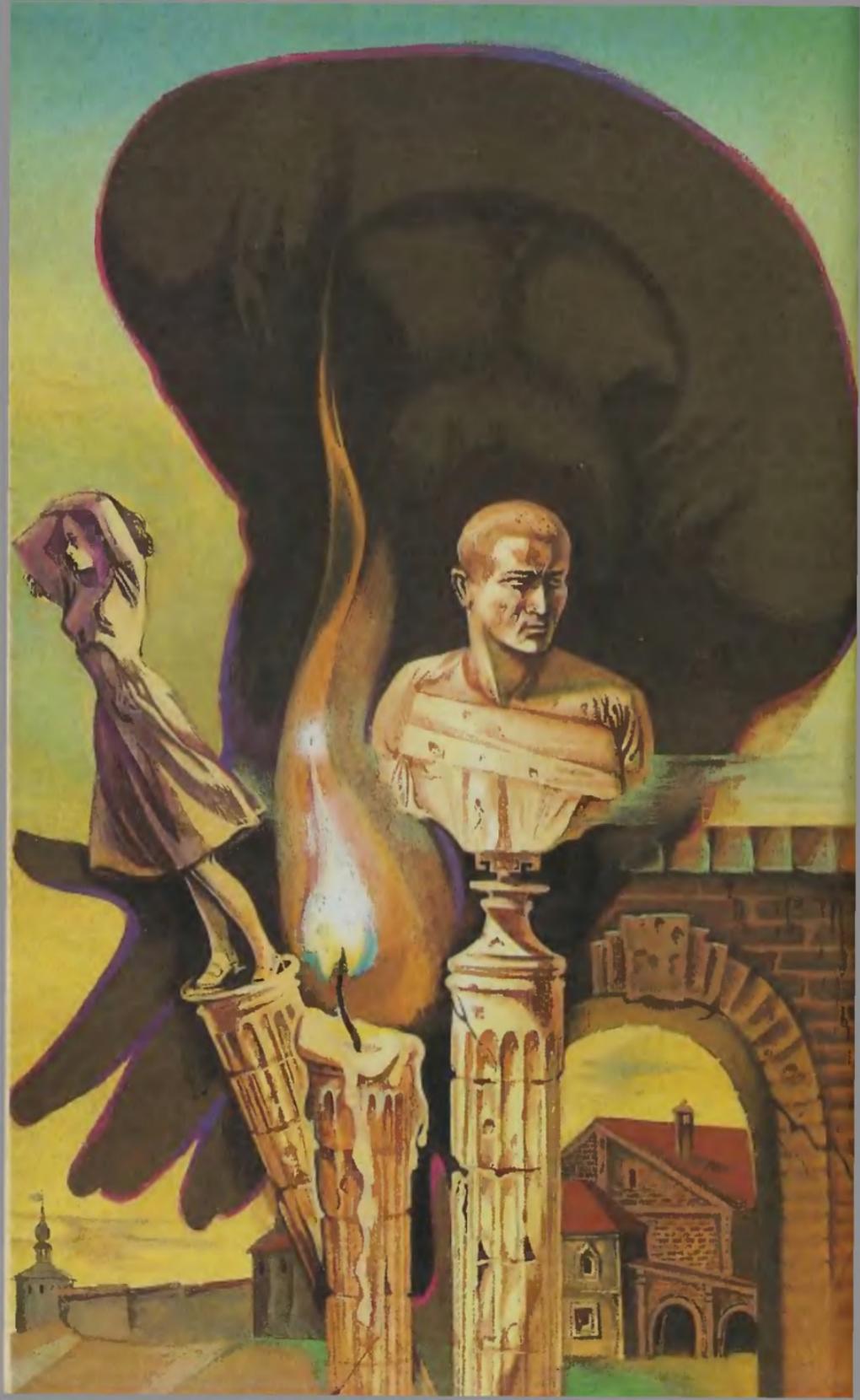
Над всем этим, искрясь, едва слышно звеня, и светя, подобно драгоценному украшению, покачивался, остановясь, шелковый прибор Крукса. Он сам сидел, как на стуле. Его губы пошевелились, он что-то сказал, и, благодаря высоте, внизу лишь через одно-два дыхания, как из самого воздуха раздалось: «Четыре тысячи колокольчиков. Но могло быть и меньше».

Ладья повернулась, двинулась по уклону кривой прочь так быстро, что никто не уследил направления, — стала точкой, побледнела и скрылась. Тогда, трепеща и плача от непонятной гордости, Тави сказала тем, кто успокаивал и утешал ее, допрашивая в то же время, кто такой Крукс, так как думали, что она близко знает его: «Чему вы так удивляетесь? Аппарат тот изобретен и... имеет, конечно, ну... винты и, какие там надо, двигатели. Летают же ваши аэропланы?! Я знала, что полетит. Уж очень мне понравились колокольчики!»

VIII

Как часто, приветствуя покойный свет жизни, доверчиво отдаемся мы его успокоительной власти, не думая ни о чем, ни в прошлом, ни в будущем; лишь настоящее, подобно листьям перед глазами присевшего под деревом путника, колышется и блестит, скрывая все дали. Но непродолжительно это затишье. Смолкла или нет та музыка, гром которой отрывал наше беспокойное «я» от уютных мгновений, — все равно; воскресает, усиливаясь, и заставляет встать, подобная крику, долгая звуковая дрожь. Она мощно звенит, и демон напоминания, в образе ли забытом, любимом; в надежде ли, протянувшей белую руку свою из черных пустынь грядущего; в поразившем ли мысль остром резце чужой





мысли,— садится, смяжив крылья, у твоих ног и целует в глаза...

С того дня, как навсегда ушел Друд, жизнь Руны Бегуэм стала неправильной; не сразу заметила она это. Поначалу неизменной текла и внешняя ее жизнь, но, подтачивая спокойную форму, неправилен стал этот свежий, холодный ток самодержавной души, силой которого владела она днями и ночами своими. Не было в ней ни гнева, ни сожаления, ни разочарования, ни грусти, ни зависти; холодно отвернулась она от грез, холодно взглянула на то, что встало непокорным перед ее волей, и оставила его вне себя. Она стала жить, как жила раньше; немного повеселее, немного лишь просторнее и общительнее. Галль уехал с полком в отдаленную колонию; она пожалела об этом. Все реже, все мертвеннее, как болезнь или причуду, о которой не с кем говорить, так, чтобы понял то и правильно оценил собеседник, вспоминала она дни, павшие, как разрыв, в пену ее жизни, и Друда вспомнила скорее, как наитие, сверкнувшее формой человеческой, чем как живое лицо, руку которого держала в своей. Но отдыхом лишь мелькнул этот спокойный один месяц: уже мрак был близко, он постучал и вошел.

Он вошел в серый день тумана,— в мозг, нервы и кровь,— сразу, как, чуть покрапав, льет затем дождь. То было после беспокойного сна. Еще чуть светало; Руна проснулась и села, не зная, чем вернуть сон; сна не было, ни мыслей не было, ни раздражения — ничего...

Взгляд ее блуждал размеренно, от пола и мебели направляясь вверх, как смотрим мы в поисках опорной точки для мысли. И вот увидела она, что спальня высока и светла, что Музы и Гении, сплетшиеся на фигурном плафоне, одержимы стройным полетом, и в чудовищной живописи предстали ей неподвижные создания красок. «Они летят, летят», — сказала, присмирев, девушка; широко раскрыв глаза, смотрела она, душой, теперь еще выше и дальше за отлетающие пределы здания, в ночную пустоту неба. Тогда, с остротой иглы, приставленной к самым глазам, Друд вспомнился ей сразу, весь, высоко над собой; увидела она его тень движения и лицо. Он мчался, как брошенный, свистя,

нож. Тогда не стало уже и мадейшего уголка памяти, в котором не запылал бы нестерпимый свет точного, второго переживания; снова увидела она толпу, цирк и себя; хор музыки рванул по лицу ветром мелодии, и над озаренной ареной, поднявшись неуловимым толчком, всплыл, как поднятая свеча, тот человек с прекрасным и ужасным лицом.

Руна дрогнула, вскочила, опомнилась, и страх тесно прильнул к ее быстро задышавшей груди. В уверенной тишине спальни никла роскошная пустота, в пустоте этой всплыло и двинулось из ее души все, равное высоте,— тени птиц, дым облаков и существа, лишенные форм, подобные силуэтам, мелькающим вокруг каретного фонаря. Она держала руку у сердца, боясь посмотреть назад, где звонок. С холодными и бесчувственными ногами. И вот прямо, против нее, помутнев, прозрачной стала стена, из стены вышел, улыбнулся и, поманив тихо рукой, скрылся, как пришел, Друд.

Тогда словно из-под нее вынули пол; страх и кровь бросились в голову; как в темном лесу, средь блеска и тишины роскошного своего уюта очутилась она, чувствуя кругом таинственную опасность, подкравшуюся неслышно. Боясь упасть, склонилась она к ковру, гордостью удержав крик. Но оцепеневшее сердце, вновь стукнув, пошло гудеть; мысли вернулись. Звонок! Спасительная точка фарфора! Она прижала ее, задыхаясь и изнемогая от нетерпения, боясь обернуться, чтобы не увидеть того, что, чудилось, смотрит из всех углов в спину. С наслаждением усталого вздоха смотрела Руна на практически-здравое лицо молодой женщины, прерванный сон которой был спокоен, как ее перина. Вихрь рассеялся, обычное вновь стало обычным,— вокруг.— «Поговори со мной и посиди здесь,— сказала горничной Руна,— мне не спится, не по себе; расскажи, что-нибудь».— И, пока рассвет не окружил штор светлой чертой, служанка, слово за словом, перешла к того рода болтовне, которая не утомляет и не развлекает, а помогает самому думать. Как жила, где служила раньше, что было у хозяев смешно, плохо или отлично. Руна вполслуха внимала ей, прислушиваясь, как больная,

к щемящему душу жалу угрозы, слушала и перемогалась.

Немного прошло дней, и люди света, встречаясь или отписывая друг другу, стали твердить: «Вы будете на вечере Бегуэм?» «Была ли у графа В. Руна Бегуэм?», «Кто был на празднике Бегуэм?», «Представьте меня Руне Бегуэм», «Расскажите о Руне Бегуэм». Как будто родилась вновь красавица Бегуэм и снова начала жить. Ее сумасшедшие заказы бросали в пот и азарт лучшие фирмы города; у ювелиров, портных, более важных и знаменитых, чем некоторые фамилии; у вилл и театров, у ярких, как пожар ночью, подъездов знати оставалась теперь каждый день карета Бегуэм, смешавшей жизнь в упоительное однообразие праздника. Словно оглянувшись назад и споквавшись, вспомнила она, что ей лишь двадцать четыре года, что отчужденность, хотя бы и оригинального тона, гасит постепенно желания, лишая сердца золотого узора и цветных гирлянд бесчисленных наслаждений. Щедрой рукой она повернула ключи; и, шумно приветствуя ее, грянули из всех дверей хоры привета; королевой общества, счастьем и целью столь многих любовей стала она, что уже в одном пожатии мужской руки слышала целую речь, — признание или завистливый вздох; или же тот нервный трепет холодных натур, который обжигает, как лед, действуя иногда сильнее всех монологов. Казалось, рауты и балы, приемы и вечера восприняли несравненный блеск, волнение тончайшего аромата, с тех пор, как эта нежная и сильная красота стала улыбаться средь них; остроумнее становились остроумцы, наряднее — щеголи; особый свет, отблеск восхитительного луча сообщался даже некрасивым и старым лицам, если находились те люди в ее обществе. Все обращалось к ней, все отмечало ее. Каждый, внимай ей или следя, как кружит она в паре с красивым фраком, где пробор и осанка, гордый глаз и бархатный ус тлеют, уничтожаясь, близостью этого молодого огня, развеивающего белый шлейф свой среди богатой и свободной толпы, думал, что здесь предел жизнерадостному покою, озаренному крылом счастья, что нет счастливей ее; и, так думая, не знали ничего — все.

«Забудьте, забудьте!» — слышала иногда Руна, в взрыве ликующих голосов, в вырезе скрипичного такта или стука колеса, ветром уносящих ее к новому ожиданию; но «забудьте!» — само предательски напоминает о том, что тщится стереть. Не любовь, не сожаление, не страсть чувствовала она, но боль. Нельзя было объяснить эту боль, ни про себя даже понять ее, как в стороне от правильной жизни часто понимаем мы многое, легшее поперек привычных нам чувств. Тоска губила ее. Куда бы ни приезжала она, в какое бы ни стала положение у себя дома или в доме чужом, не было ей защиты от впечатлений, грызущих ходы свои в недрах души нашей; то, как молния, внезапно сверкали они, то тихо и исподволь накладывая тяжесть на тяжесть, выщупывали пределы страданию. Смотря на купол театра, медленно поднимала она руку к глазам, чтобы закрыть начинающее возникать в высоте; высота кружилась; кружился, трепеща, свод; свет люстр, замирая или разгораясь, ослеплял, кроя туманом блестящий поворот ярусов, внизу которых, подобная обмороку, светилась отвесная бездна. Тогда все впечатления, вся наличность момента, зрелища, сцены и любезного за спиной полуслепота спокойных мужчин, чья одна близость была бы уже надежной защитой при всякой иной опасности, — делалась невыносимой обузой; и выждав удар сердца, удар, раздающийся одновременно в висках и душе, к барьера соседней ложи подходил Друд.

Тогда, бледнея и улыбаясь, она говорила окружающим, что ей нехорошо, затем уезжала домой, зная, что не уснет. Всю ночь в спальне и остальных помещениях ее дома горел свет; прислушиваясь к себе, как к двери, за которой, тихо дыша, стоит враг, сидела или ходила она; то, рассмеявшись презрительно, но таким смехом, от которого еще холоднее и глупше в сердце; то плача и трепеща, боролась она со страхом, стремящимся сорвать крик. Но крик был только в душе.

— Довольно, — говорила она, когда несколько дней покоя и хорошего настроения давали уверенность, что бред этот рассеялся. Прекрасная, с прекрасной улыбкой всходила она по лестнице, где, на поворотах, отраженная зеркалами, сопровождала ее, от рамы до рамы,

вторая Руна, или усаживалась в полукруг кресел, среди мелькающих вееров, или, отпустя поводья, верхом двигалась по аллее, говоря спутникам те волнующие слова, в которых, как ни обманчиво близки они к счастливой черте скрытого обещания,— незримой холодной гирей висит великое «нет»,— все с той же мыслью «довольно» и даже без мысли этой, лишь в настроении счастливой свободы, вся собранная в пену и сталь. Тогда, смотря в зеркало с внезапной тоской, видела она, что в его глубине рядом с ней идет задумчивый Друд; что, подобные жемчужным крыльям, веера с свистом бьют воздух; что всё громаднее белеют они, и чувство полета, острой и стремительной быстроты наполняло ее чудным мучением. Она гладила лошадь, но, отвернув голову и собрав ноги, та, задрожав, не шла более, пятаясь на месте; животное, казалось, жило в этот момент нервами своей госпожи, сердце которой билось, как копыта били песок; опустив голову, стоял, спокойной рукой держась за узду, Друд. Он взглянул и исчез.

IX

Чем дальше, тем страшнее ей было жить. Не стерпев, она обратилась к Гранту — одному из тех положительных, но мало знаменитых людей, к которым привлекает окружающая их атмосфера ученой самоуверенности и практической чистоты; чья лысая голова, с дарвиновским лицом и строго человеческим взглядом поверх золотых очков, как бы собирает нам тени и свет доверия в одном теплом порыве. Раздумывая о сумасшествии и опасаясь его, но не желая, однако, говорить всё, Руна обошла это формой галлюцинации, сказав профессору, что иногда видит бесследно скрывшегося знакомого. Отношение свое к вымыщленному лицу она перевела с подлинника, обозначив, таким образом, все тонкости впечатлений рисунком обычных встреч. Однако прибавила она, дабы характеризовать общую форму: «Казалось мне, что в натуре его лежит нечто поразительное и тайное, до тех пор занимавшее мои мысли, пока не стало безосновательным, странным предубеждением». Но сеть волнистых линий ее объяс-

нения была в чем-то не вполне правильна, неровна была линия передачи этой, и Грантом почувствовал ложь.

— Вам хуже, если вы не вполне искренни, — сказал он, впрочем, не настаивая знать подробнее; выслушав и осмотрев Руну, он, пристукивая карандашом, как бы подчеркивая стуком некоторые слова, сказал ей: «Вы здоровы. Всё нормально в вас; нормальны душа и тело. Я скажу более: физически вы безукоризненны. Немного поговорив с вами, я вижу, что крайняя нервозность, вызванная особыми обстоятельствами, проявляется тем более резко, что она находится в замкнутом кругу сильной воли, сдерживающей ее проявление. Об этом я хочу поговорить с вами подробнее; пока перейдем к лечению, поскольку вы в нем нуждаетесь».

Он испытующе взглянул на нее, но мельком; так смотрят, имея заднюю мысль; при мимолетности взгляда можно было счесть его смысл ошибкою беглого впечатления. Но тон, — тон, этот безошибочный привкус речи, настроил Руну еще внимательнее, чем была она до сей минуты, — если вообще может быть различно внимателен человек, ждущий спасения. Грантом продолжал:

— Брак. Вот первое, что — хотите вы или не хотите — уничтожит вторую сферу...

Он замолчал, щурясь и всматриваясь сквозь очки глухим взглядом в бледные черты Руны; сведя брови, надменно улыбалась она, стараясь связать некоторые странные фразы Грантома с особенностью своего положения. Казалось, он заметил ее усилие: едва чувствемый оттенок расположения, большего, чем вправе ожидать только клиент, разом исчез, едва он, откинувшись по глубине кресла в тень лампы, вернулся к практическому совету.

— Здоровый человек, любящий и сильной души, — не может быть, чтобы вы не встретили такое простое, но, с известной стороны, полное счастье, — такой человек, — говорю я, — брак и дети, — словом, семья, — выведут вас теплой и верной рукой к мирному свету дня. Допустим, однако, что осуществлению этого мешают причины неустранимые. Тогда бегите в деревню, ешьте простую пищу, купайтесь, вставайте рано,

пейте воду и молоко, забудьте о книгах, ходите босиком, черните от солнца, работайте до изнурения на полях, спите на соломе, интересуйтесь животными и растениями, смеяйтесь и играйте во все игры, где не обойтись без легкого синяка или падения в сырую траву, вечером, когда душистое сено разносит свой аромат, смешанный с дымом труб. И вы станете такой же, как все.

Спокойное слово развеселило и ободрило девушку.

— Да, я так сделаю, это прелестно,— сказала она с воодушевлением, полным живописных картин; как бы уже став полулицей, сильной и загорелой,— отважно взмахнула она рукой.— Я вытрясу там все яблони. А лазить через забор? Девочкой я лазила по деревьям, Грантом! Добрый Грантом! Спасите меня!

— Я спасу.— Он сказал это с задумчивостью и суровой энергией, но так, что следовало ожидать еще слов, быть может, условий. Затем Грантом повернул лампу, выказавшись в ярком свете ее весь, с улыбающимся неподвижным глазом бодрого и умного старика в сетке морщин, эти глаза теперь блестели остро, как искры очков...

X

На другой день ей привезли розы из Арда; тот окруж славился цветами, выращивая совершеннейшие сорта с простотой рая. Она разбиралась в их влажной красоте с вниманием и любовью матери, причесывающей спутанные кудри своего мальчика. Только теперь, когда все исключительное, как бы имея первый толчок в Друде, спокойно усиливало ее, подобно магниту, располагающему железные опилки узором,— прониклась и изумилась она естественным волшебством цветка, созданного покорить мир. Перед ней на круглом столе лежал благоухающий ворох, с темными зелеными листьями, с покалывающей скользкой гладью твердых стеблей. Всепроникающий аромат, казалось, и был тем розовым светом, таящимся среди лепестков, какого лишины розы искусственные. Самые цветы покоились среди смелой листвы своей в чудесном разнообразии красоты, столь прелестной, какая есть в спящей, разме-

тавшейся девушке. Бледный цвет атласисто завернувшихся лепестков нежно оттенял патрицианскую роскошь алого, как ночь, венчика, твердые лепестки которого, казалось, связанные обетом, рдели, не раскрываясь. Среди их пурпур и зари, снегом, выпавшим в мае, пестрели белые розы, которым,— невольно окрашивая их,— слово «роза» сообщает уютную жизненность, дышащую белым очарованием. И желтые — назвать ли их так, повторяя давний грех неверного слова,— нет, не золотые, не желтые, но то, что в яркой особенности этих слов останется недосказанным,— были среди прочих цариц подобны редкому бархату, в складки которого лег густой луч.

Руна разобрала их, погрузив в вазы, и там, краше всех тонких узоров дорогого стекла, стали они по предназначенным им местам встречать взгляды.

Пока девушка занималась этим, в ней складывалось письмо; но не сразу поняла она, что это — письмо. Рассиянно погружаясь в цветы и аромат их, равный самой любви, слышала она слова, возникающие в рисунке усилий, в душе движения пальцев и роз, в самом прикосновении. Вот расцепились стебли, соединить которые хотелось ей ради эффекта, мешал же тому завернувшийся внутрь бутон, и без звука началась речь: «Я хочу встретиться с вами, проверить и пересмотреть себя». — Слова эти были обращены к твердой и надежной руке, не похожей на женственную руку Лидса, приславшего тот цветник, каким увлеченно занималась она теперь, — к воображенной руке обращалась она, несуществующей, но необходимой, и в такой руке мысленно видела свои розы. «Возьмите их,— сказал тот, чьего лица не видела Руна,— не бойтесь ничего рядом со мной». — На руку ее упал лепесток. — «Я жду, что вы мне напишете», — подсказал он; тут же, уколом пальца, отчего движение руки случайно соединило две розы, белую и бордо, она увидела их прижавшимися, в столь разной, но столь внутренне близкой и взаимной, необходимой красе, что этого не могло не быть. «Что знаем мы о себе, и если я вам пишу,— случайно ли это; быть вместе — пока всё, о чем думаю я. Рады ли вы этим словам?» — Так, без мысли о незримом резце, ва-

яющем настроение, импровизировала она речь твердой руке; здесь подали ей письмо.

Оставив цветы, Руна стала читать любезное и остроумное повествование бравого балагура; лесть, шутки, наблюдения, остроты и гимны,— то легкое, лишь спокойному сердцу приятное давление мужского пера, каким действуют психологи сердечного спорта. Без улыбки прочла она привычную и искусную лесть, но был там постскриптум, где одно имя — Галль — тяжко взволновало ее: «Вот черная весть, естественно вызывающая почтительное молчание,— и я кладу перо; капитан Галль скончался в Азудже от лихорадки. Мир славной его душе».

Ее как бы хлестнуло по глазам, и, тронув их холодной рукой, еще раз прочла Руна красноречивый постскриптум. Все то же прочла она,— ни больше, ни меньше; лишь больше — в своей душе, поняв, что письмо, едва родившееся в ней, пока она разбирала цветы,— смято уже этим ударом; что думалось и назначалось оно в Азуджу, ради спасения погибшему офицеру.

XI

К концу сентября Руна переехала в Гвинкль, где горы обступают долину небесным снегом, строго наказав прислуге не сообщать никому ее адрес, и всем запретила писать себе. Ее круг, узнав это, переглянулся с церемонной улыбкой, приветствующей каприз, ставший законом.

Она сняла в деревенской семье комнату с бедной обстановкой, живя, как жили окружающие ее люди. Преодолев насмешливые или недоброжелательные взгляды, работала она на виноградниках и садах, в изнеможении таская корзины, полные винограда и слив, копая землю, умываясь в ручье, засыпая и вставая с зарей, питаясь кислым хлебом и молоком, не зная книг, далеко уходя в лес, в дикой прохладе которого печально рассматривала внутренний мир свой, как смотрят на драгоценный сосуд, теряющий замкнутое свое единство от расколотшей его трещины. Как ни уставала, как ни томилась она среди этого мира, ничего не утра-

тила она ни из осанки, ни из выражений своих, и, содрогаясь тонким плечом под тяжестью фруктовых корзин, шла так же, как входила на бал. Она загорела, ее руки покраснели и стали портиться, но следовала она намеченному с упорством страдающего бессонницей, который, повернувшись лицом к стене и отсчитывая до ста, готов еще и еще повторять счет,— пока не заснет. Так шла неделя, другая; на третьей почувствовала она, что хороша и мила ей эта раскинувшаяся цветущим трудом земля; что «я» и «она» можно соединить в «мы» без мысли, лишь вздохом успокоения. Она стала напевать, мирно улыбаться прохожим, шевелить носком прут, устойчивость и мера вещей снова окружили ее. Руна окрепла.

Раз, вечером, утих ветер; западное небо побледнело и выяснилось, как зеркало, отразившее пустоту. Три облака встали над красной полосой горизонта — одно другого громаднее, медленно валились они к тускнущему зениту, — обрывок великолепной страны, не знающей посещений. Едва наделяло воображение монументальную легкость этих эфемерид земной формой пейзажа, полного белым светом, как с чувством путника бродило уже вверху, в сказочном одиночестве непостижимой и вечной цели. Легко было задуматься без желаний, отчетливым сном раскрывшей глаза души, над отблесками этой страны, — но не легко вернуться к себе, — печально и далеко звения, падало, теряясь при этом, что-то подобное украшению.

Не скоро заметила Руна, что к легкому ее созерцанию подошло беспокойство, но, различив среди светлых теней вечера темную, глухую черту, встала как при опасности. Протянув руку, отталкивала она этот набег, — вихрь, какой — сердце не обмануло ее — возник в облачных садах Гесперид. Звонкие голоса играющих детей стали вдруг смутны, как за стеной; силы оставили ее, беспомощно устремив взгляд на плавное движение облачного массива, увидела она, что прямо к ее лицу мчатся, подобно налетающей птице, блестящие, задумчивые глаза; ни черт, ни линии тела не было в ужасной игре той, — одни лишь, получившие невозможную жизнь среди алой зари, — падая и летя, близи-

лись с воздушных стремнин глаза Друда. Как при встрече были уже близки и ясны они, но, едва сердце несчастной стало на краю обморока, мгновенно исчезли.

Два дня Руна была больна, на третий, с внезапным отвращением к тому, что так еще недавно поддерживало и веселило ее,— возвратилась домой. Она не потеряла надежды. Напротив, в новой надежде этой, так просто протянувшей ей руку, встретила она как бы старого друга, о котором забыла. Но друг был тут, рядом, стоило лишь с доверием обратиться к нему. Его голос был так же спокоен, как и в дни детства,— вечен, как шум реки, и прост, как дыхание. Следовало послушать, что скажет он, выслушать и поверить ему.

Тот день она провела тихо, не беспокоили ее ни мелочи жизни, ни страх, ни воспоминания. Прошлое двигалось как бы за прозрачной стеной, незыблемой и пропускающей душевные бедствия, и она тихо рассматривала его.

Часть III *Ветер и даль*

I

К двенадцатому часу ночи Тави вернулась в Сан Риоль. Все мелкие и большие события этого дня, подобных которым не было еще ничего в ее жизни, ехали и высадились с ней, и она не могла прогнать их. Они жили и осаждали ее под знаком Крукса.

По стеклянной галерее старого дома, среди развещенного для сушки белья, ненужных ящиков и другого хлама, откатывая ногой пустую бутылку или спотыкаясь о кошку, Тави нащупала свою дверь и, усталой рукою вложив ключ, задумчиво повернула она его. Здесь на нее напал малый столбняк, подобно большому столбняку в Лиссе, когда, приложив к губам кончик пальца, она выстояла не менее получаса у витрины, в глубокой рассеянности Сократа, решая всё и не решив ничего. Среди волнения и потуг малый столбняк этот разразился, наконец, многочисленными, бурными вздо-

хами, а также тщеславным взглядом на себя со стороны, как на бывалого человека, — этакого тертого дядю, которого теперь трудно удивить чем-нибудь.

Получив, наконец, окончательное круговое движение, ключ пропахал таинственные внутренности замка, став теплым от горячей руки, и вырвался из железа с треском, наполнившим сердце Тави уважением к себе, а также желанием совершить рывком что-нибудь еще более отчетливое. Войдя, сумрачно осмотрелась она.

Запыленная электрическая лампочка, вокруг которой немедленно появились мухи, вспыхнула своей раскаленной петлей среди беспорядка, возвращаясь к которому, после впечатлений иных, мы в первый раз замечаем его. Холодом и пустотой окружена каждая вещь; безжизненно, как засохший букет, в пыли и сору, встречает нас покинутое жилище. Кажется, что год мы не были здесь, — так резка нетерпеливая жажда уюта, с неприглядностью, оставшейся после торопливых и полных надежд сборов.

Все этажи этого дома были окружены крытыми стеклянными галереями с выходящим на них рядом дверей тесных полуквартир, имевших кухню при самой двери и небольшую за ней комнату, два окна которой обращены на полузасохшие кусты пыльного двора. Здесь ютились ремесленная беднота, мелкие торговцы, благородные нищие и матросы. У Тави не было мебели, не было также никого родственников. Мебель в квартирке осталась от прежнего жильца, пьяницы-капитана, давно покинувшего свое ремесло; он умер собачьей смертью во время драки на Берадском мосту; шатнувшись, грузное тело багрового старика опрокинуло гнилые перила, и очевидцы могли рассказать только, что, падая, выругался он страшно и громко. Поток унес его тело, грехи и брань в острые расселины Ревучей Щели; тело не было найдено.

От него остались — комод, ящики которого распухали иногда по неизвестной причине, не закрываясь неделями; кровать, несколько ковровых складных стульев, шкаф с тряпками и коробки из-под табаку, гипсовый раскрашенный сарацин да пара тарелок; остальное, если и было что получше, — исчезло.

Тави не помнила ни отца, ни матери; ее мать, бросив мужа, бежала с проезжим красивым казнокрадом; отец поступил на военную службу и погиб в сражении. Детство свое провела Тави у полуслепой двоюродной тетки, мучась более, чем старуха, ее болезнями и припарками, так как они отняли у нее много крови. На пятнадцатом году знакомый теткин книготорговец взял девушку на работу в лавку; она продавала книги и жила впроголодь. Потом он разорился и умер, а Тави напечатала объявление.

Вот биография, в какой больше смысла, чем в блистательном отщелкивании подошвы Казановы по полу-светским, дворцовым паркетам мира. Но не об этом думала Тави, сев в кухне перед плитой и кипятя чай; так были резки новые ее впечатления, что она не отрывалась от них. Куда бы задумчиво ни посмотрела она, стена проваливалась в ночь светлым пятном и в его лу-чистом дыме, над свечами страшного гроба, неслись се-ребряные гирлянды странного аппарата. То представлялось ей, что, как бы тронутый гигантским пальцем, кружится, запестрев, огромный диск города; то чувство случайно попавшего в сражение и благополучно его покинувшего человека поднималось, вместе с благо-дарственным дымом, от наболевших пяток к утомлен-ным глазам; то искренне дивилась она, что не произошло чего-нибудь еще более ошеломительного.

— Тави, моя дорогая,— говорила девушка,— как ты на это смотришь? Знала ли я, что существуют города, где от тебя могут остаться только рожки да ножки? Во-истину, Торп — Синяя Борода. Кто же такой Крукс? Но это, видимо, вполне порядочный человек. Все-таки он прост, как теленок. Он мог бы прилететь в своем аппа-рате и сесть к ним прямо на стол.

Представив это, она засмеялась смехом, упав в ладони лицом; выразительная дрожь тихой забавы, смеха и удовольствия перебегала в заискрившихся ее глазах, посматривающих на воображаемое из-за пальцев, как из фаты. Она принадлежала к тем немногим, поистине счастливым натурам, для которых всё в мире так же просто, как их кроткое благодушие: аэроплан и бабоч-ка едва ли сильно разнились на взгляд Тави, разве

лишь что у бабочки нет винта, поэтому более удивительным казался ей неистовый восторг зрителей, чем самый эксперимент.

— Он поднялся, но он сказал, что поднимется; и сказал — почему: вибрация звуков, производимых колокольчиками. Как вышло красиво! Правду сказал кто-то, что искусство воздухоплавания начинает новую эру! Давно пора делать эти вещи красивыми и разнообразными, как делают же, например, мебель.

Сквозь такие мысли, полные острого воспоминания, как была окружена любопытными, вообразившими, что именно эта девушка в сё знает; и как бегством спаслась от них; неотступно мерещилось лицо самого Крукса; все еще слышала она его голос, как он сказал: «Мы скоро увидимся». Зачем он сказал это? Почему знает он, что Торп умер? Она стала, наконец, раздражаться, так как ни объяснить, ни придумать ничего не могла, даже в спине заныло от размышлений. «Спросил ли он, по крайней мере, — хочу ли я увидеть его?» — вот вопрос, о который споткнувшись, Тави начала повторять: «Хочу ли увидеть его?», «Хочу ли увидеть его?» — пока ей это не надоело. «Хочу. Да, хочу, и всё тут; у него было ко мне хорошее отношение». От этой мысли почувствовала она себя сиротливо-усталой, обобранной и затерянной; к глазам подступали слезы. Тави всплакнула, съела кусок хлеба, выпила чай, утихла и легла спать, твердо решив оживить завтрашний день рождения весельем и угощением немногих своих знакомых.

Повертываясь лицом к стене, тронула она грудь, чувствуя, что чего-то нет. Не было медальона, оставленного ею в Лисском ломбарде.

«Но я выкуплю его, как продам шаль, — подумала девушка. — Заказываю себе видеть хороший сон, о-чень интересный. Крукса хочу. Должно быть, увижу, как лечу с ним — туда-сюда — в этой его штуковине.

Ах, Крукс, не знаете вы, что она думает о вас и ничего не понимает и спит... спит...»

Здесь трубочкой собрались губы, с приткнувшимся к ним указательным пальцем; затем Тави умолкла, видя все, чего не увидим мы.

II

В семь утра Тави проснулась, увидев все, что видим и мы. Минуты две возилась она с изгнанием ночной свежести, проникшей под одеяло, утыкала его вокруг себя, протерла глаза и восстановила момент. Он имел праздничный оттенок, с загадкой вчера и бездненжем сегодня. Меж настоящим и давно бывшим отрывком непостижимой истории лежало путешествие в Лисс.

Хотя, устав, спала она крепко, но проснулась так рано по внутреннему приказанию, какое бессознательно даем себе мы, если грядущий день ставит хлопотливые цели.

— Этого-то числа я родилась,— сказала девушка, вытаскивая из-под одеяла свои руки, гладя их и рассматривая как бы со стороны.

Со скорбью нашла она, что они достойны гримасы, во всяком случае не хороши так, как у статуи или на известных картинах. Но — ничего. Полюбовавшись на руки, с тревогой ощупала она ноги,— не кривы ли они, вдруг они кривы? Одну вытащила она из-под одеяла, подняв вверх, но, кроме белизны, прямизны и маленькой ступни, не заметила ничего. Вдруг представила она, что кто-то видит эти поучительные занятия, и, взрыв постель, скрылась в ней, как в воде, таща тут же со стула брошенную вчера одежду, и оделась, для уюта, под одеялом.

С шалью, увязанной в газеты, вышла она из кухни. Ей стали встречаться соседи. Веселая горбатая прачка бойко загремела за ней по лестнице, схватив ее руку и крича, как глухой:

— Разве не уезжала? Когда приехала?

Супруги Пунктир, заезжие актеры без сцены, кокетливые старички, поливали из чайника цветочные горшки; завидев Тави, дружно ринулись они к ней с жеманным любопытством в глазах.

— Устроили ли вы ваши дела, Тави? — сказала старушка; старики, приподняв одну бровь, готовил соответствующее выражение, в зависимости от того, какой будет ответ.

— Да, ваши дела, — повторил он. — Откройте в себе талант, талант к сцене, при выигрышной вашей фигуре...

Супруга перебила его ледяным взглядом, отчего, собрав плечи к ушам, умолк он со сладостью и приятностью в лице, стряхивая с рукава ниточку.

— У кого же будете вы служить, моя милая? — осведомилась мадам Пунктир тоном легкого недовольства.

Еще несколько лиц, в туфлях на босую ногу, с трубкой или шпилькой в зубах, задали Тави те же вопросы, и всем им отвечала она, что не согласилась на скверные условия при трудной работе.

— Ну, как-нибудь, — был общий ответ.

Короче всего поговорила девушки с Квангом, массивная фигура которого, сидя на тюфяке у дверей и протянув ноги поперек галереи, не убрала бы их, шествуя тут эскадрон, — требовалось уйти или перешагнуть. Кванг был кочегар. Увидев Тави, он только дрогнул ногой, но не убрал ее, а почесал спину. Вынув изо рта трубку, он сказал в разбегающееся кольцо дыма:

— Не вышло?

— Нет, — бросила на ходу Тави. При этом разговаривающие даже не посмотрели друг другу в лицо.

— Кикс? — сказал Кванг.

— Фью, — свистнула Тави.

Кванг продолжал курить.

Наступал один из тех упоенных блеском своим жарких и звонких дней, когда волнующаяся, легкая свежесть нарядного утра подобна приветливой руке, трогающей глаза, перед тем как взглянуть им за огненную черту чувств в полном и тяжелом цвету. Торопясь до наступления жары вернуться домой, Тави шла скоро, попав в центр к открытию магазинов. Ей приходилось уже иметь дело с лавками, торговыми случайными вещами самого разнообразного назначения; в одну такую лавку и обратилась она.

— Эту шаль я продаю, — сурово сказала она торговцу, бросившему свой завтрак ради наживы.

Жуя, стал он рассматривать шаль, вертя ее перед кисло-угрюмым своим лицом так тщательно, как едва ли вертели ее ткачи.

— Пока вы смотрите, я поговорю по вашему телефону,— сказала девушка и, припомнив нужные номера, стала звонить.

— Квартира доктора Эмерсена,— сказал ей в ухо издалека женский голос.

— Ну, и что же вы хотите за вашу вещь? — спросил лавочник.

— Рита дома? — сказала Тави. — Тридцать она стоила,— может быть, двадцать пять не разорит вас? — «Она дома, и я сейчас позову ее».

— Послушайте, барышня,— сказал торговец,— зачем говорить лишнее, когда я вам продам такую же, и еще лучше, за пятнадцать, две, три, сто штук продам.

— Ведь я продаю,— кротко ответила девушка. — Рита, ты? — «Да, я, я, кто это?» — голос был спокоен и глуховат. — Но это я, Тави.

— Берите двенадцать,— сказал лавочник.

— Лучше я брошу ее. — «Тави, что ты говоришь? Я не поняла». — Не смущайся, Рита, я говорю с тобой и еще с одним. Приходи сегодня ко мне вечером с твоим пузиковатым Бутсом. Это?.. День рождения.

— Берите пятнадцать! — крикнул торгаш.

— Ну, что там поздравлять... Хорошо, я возьму пятнадцать. — Стареем мы с тобой, Рита, легко ли нести почти два десятка?! Жду и угощу всякими штуками. Что? Ну, будь здорова.

Отойдя, подставила она руку, серьезно и грустно смотря, как хозяин лавки опускал в нее одну за другой серебряные монеты. Он делал это, ослабляясь и засматриваясь в лицо девушке.

— Будьте здоровы,— сказал он,— приносите, что будет; мы всё купим.

— Купить, перекупить, распроторговать и распродать,— рассеянно сказала Тави, став на порог и оборачиваясь с задорной улыбкой,— но одного вы не купите.

— Ну, что такое? — задетый в торговом азарте, спросил лавочник, взбодрясь и потирая руки.

— Вы не купите дня рождения, как я купила его. Вот! — она скжала деньги, подняла руку и рассмея-

ялась.— Не купите! Трафагатор, Эклиадор и Макридатор!

С тем, выпалив эти слова в подражание оккультному роману, который прочла недавно, смеясь, выпорхнула и исчезла девушка в блеске раннего солнца, мешающего смотреть прямо белой слепотой в слезящихся глазах.

Купив, о чём мечтала еще вчера, красную розу и белую лилию, Тави приколола их к платью. В ее корзинке лежали уже яйца, мясо, масло и мука; среди провизии торчало серебряное горлышко темной винной бутылки; несколько апельсинов рдели под батистовым локтем. Так вооруженная, с сознанием подвига, явилась она домой, присела, почмокала в хозяйственном раздумье и затопила плиту.

Разгоревшись, огонь вычертил щели чугунных досок. Комната и кухня пылали солнцем; уютен стал сам беспорядок, роза и лилия, в голубеньком молочном кувшине, поставленном на стол с оползшей скатертью, отрадно цвели. Смотря на них, Тави захотелось в сады, полные зеленого серебра лиственных просветов, где клумбы горят цветами и яркая, как громкое биение сердца, тишина властвует над чистой минутой. Опустив мясо в кастрюлю, посмотрела она вокруг и увидела простой, одинокий час, пригретый утренним солнцем. Тогда захотелось ей, чтобы сердце билось сильно и сладко; варварски расправилась она со своими припасами и, наспех, притоптывая от нетерпения ногой, шлепнула на мясо кусок масла, решив посолить потом, как будет готово; кипя и сердясь, протолкла в глиняной чашке муку, полив ее молоком и яйцами, размесила фарш и начинила пирог. По приближении к концу этих занятий представилось ей, как будет все вкусно; тогда, искательно посмотрев на пирог и мясо, уже несколько бережнее сунула она кушанье в духовой шкаф; затем вымыла руки, схватила книгу и уселилась против окна.

Тонкий запах розы противоречил убожеству. Жажда роскоши овладела Тави; опрокинув на платок из флакона каплю духов, вдохнула она аромат их с видом относительного удовлетворения и положила платок

рядом на стол. Но было что-то в другой руке, и она разжала ее: упал на колени кусок старого сыра, схваченного попутно, в рассеянности. Как водится, сыр просил хлеба. Нехотя придвигнула она ногой стул, на котором со вчерашнего вечера лежала краюха, и ущипнула от корки. Сыр был так горек, что она плюнула, но, воодушевясь, старательно выскребла ножом пlesenь, снова уселась и стала жевать, не забывая прикладываться к платку; меж тем ее блестящие глаза быстро — взад-вперед — пересекали страницу. В то время, как в духовой яростно скворчало мясо, вздувался и опадал пирог, решив лучше подгореть, чем уступить какой-то литературе, — всадник из Сен-Круа, по каменистой дороге, взвивая пыль, мчался к Алансонскому герцогу с известием о нападении англичан, и, держась за всадника, сидела, пропитанная духами, Тави. В то время как лорд, губернатор Калэ, требовал от Дианы невозможных страстей, — соус полился через край, но Тави ледяным взглядом сказала лорду: «О нет!» И, когда рыцарь, герой всех времен и стран, освобождал пленницу, пирог, лопнув, выпустил часть начинки, а Тави, краснея, решила уже сказать рыцарю с огромным мечом: «Да».

О вы, люди, умершие люди, с детской чертой глаз, омраченных жизнью! Вам улыбаются и вас приветствуют все, кто дышит воздухом беспокойным и сладким невозможной страны. Спала или нет Тави, — не знала она; но, устав, видела, как среди армий англичан и французов появились индейцы. Переплет какой книги не удержал их? Все пропало. Проведя рукой по глазам, Тави очнулась и вернулась к хозяйству.

III

Убирая комнату, стирала она тряпкой пыль, гремела стульями, чистила и вытирала посуду, и от возни разгорелись ее нежные щеки. Чувствуя, что они горят, Тави подошла к зеркалу, фыркая и отплевываясь.

— Тьфу, тьфу! Как ведьма, как трубочист; не лучше я этого сарацина!

Действительно, ее нос был в пыли, полоса сажи марала угол щеки, а шея засерела от пыли. Уже Тави

схватила полотенце, чтобы вытереться, но подавленная, со вздохом опустила руку, качая головой:

— Не для кого мне прибираться и умываться; хороша я и так.

Действительно, она была хороша и так.

Нет более удобного момента описать женщину, как когда она сама вспомнит об этом; описать, так сказать, при случае. Раз наступил такой случай, грешно было бы упустить его, ожидая нового случая. Вероятно, проницательный читатель заметил, что, подчеркивая наши слова — «она была хороша и так», то есть хороша, несмотря на запачканное пылью и сажей лицо, мы разумеем не классическую гармонию очертаний, которой именно нельзя быть тронутой сажей, так как сажное пятно мгновенно обезобразит ее. Попробуйте произвести опыт со статуей, попачкав ее прекрасные, однако лишенные иного выражения, кроме выражения условного совершенства, черты чем-нибудь темным, хотя бы той же сажей,— мгновенно исчезнет очарование. Пятно или полоска приадут спокойствию совершенных форм мрамора гибельную черту, так же неумолимо поражающую законченность, как клякса на белом листе бумаги делает вдруг неопрятным весь лист. Равным образом красавица с головы до ног, женщина красоты безупречной и строгой, теряет все, если у нее запылится нос или осквернится щека чернильным пятном; такова природа всякого совершенства, могучего, но и беззащитного, если чему-нибудь, в чем-нибудь резко уступило оно.

Однако живая и веселая девушка, с неправильным, но милым и нежным лицом, с лучистым и теплым, как тихий звон, взглядом, выражение которого беспрерывно разнообразно; девушка, все время ткущая вокруг себя незримый след легких и беззаботных движений; худенькая, но хорошо сложенная, с открытым и чистым голосом, с улыбкой, мелькающей, как трепет листьев,— может, не вредя себе ровно ничем, пачкаться и пылиться, сколько душе угодно; ее вызывающая заботливую улыбку прелесть победит черное тягло сажи потому, что у нее более средств для этого, чем у неподвижной статуи или живой, но с медленным

темпом излучаемых впечатлений богини. Может ли последняя запрыгать, хохоча и хлопая себя по бокам? Нет. Но это может всякая, просто миловидная девушка, мало заботящаяся о том, как выглядит подобный эксперимент.

Вот все, что мы хотели сказать, воспользовавшись подходящим моментом. Меж тем, вытирая вещи, стоящие на комоде, Тави повела мысленную беседу с сарацином из гипса. Не раз о его подножие пропавший капитан выколачивал трубку, чем сбил краску, окружив ноги сарацина ужасными ямами. Сарацин, поднеся руку к глазам, смотрел в даль, другой же рукой держался за рукоять ятагана.

— Ну, как у вас, в Сарацинии? — спросила девушка.

— Да ничего, помаленьку.

— Вот, говорят, вы просветили Испанию, — продолжала Тави. — Были вы, говорят, велики, но умалились. Почему это?

— Я гипсовый, я не знаю, — сказал сарацин.

— Слушай, — подбоченясь, заговорила девушка, — вынь же, наконец, свой ятаган, свистни им в воздухе и издай боевой клич; сколько лет держишься ты за эфес, а вытащить клинок не можешь. Воспрянь и изобрази!..

За уборкой, мытьем посуды, беготней в лавочку, стряпней и различными касающимися всего этого соображениями прошел жаркий день, уступив душному вечеру. Но не было ничего забыто из происшествий памятного дня; напротив, чем далее, чем упорнее и тяжелее катились мысли, тем непроницаемее становились события; была в них недоступная и непонятная связь. Как ни мучительно стягивала Тави узел из Крукса, знаяшего, что Торп умер; из Крукса, сказавшего толпу действиями, покрывшими оскорбительный гвалт воплем немедленного признания; из Крукса, сказавшего, что они скоро увидятся и что ей не надо будет больше служить, — вся сложная плетенка узла оставалась все же не чем иным, как нераздельным шнуром, стягивая который лишь каменила она его, бессильная ни развязать, ни порвать. Смерть Торпа была, казалось, выбита двойным рельефом медали из одного с ней Круксом

куска. Размышляя о Круксе, не могла она отказать ему в силе и спокойной уверенности, наполняющих ожиданием, но, представляя себя с затерянной жизнью своей, она смущалась, недоумевая, что может быть общего у него с ней,— у человека, который не сегодня, так завтра затмит, может быть, Эдисона.

IV

К восьми вечера, соскучившись уже быть одна, Тави стремглав кинулась открывать дверь, услышав сиротливо-приличный стук, с каким входит человек, оглядывающийся на свои следы.

— Я тебя угадала,— крикнула она,— это ты, Рита, мышка, тихоня, и твой, надо быть, похудевший Бутс!

Рыженькая, сухая девушка, с мелкими чертами лица, солидно переступила порог, оглядываясь на шествующего сзади поклонника.

— Это я,— протяжно сказала она,— но почему же Бутс похудел?

За ее спиной хихикнуло существо, столь толстенькое и круглое, что, казалось, положенное на бок, могло бы вращаться оно в таком положении подобно волчку, без опасения задеть ложе какой-либо второй точкой фигуры.

— Почему же Бутс похудел? Он кушает, слава богу. Но, милая, поздравляю тебя. Бутс, поздравляйте. Это тебе торт, Тави.

Взяв одной рукой торт и приняв коротенький поцелуй в губы, на который ответила порывистым чмоком в ухо, другой рукой Тави уцепилась за Бутса, притянув его вплотную к себе. Бутс был человек двадцати двух лет, во всем цвете пышной полноты десятилетних великанчиков, при каждом повороте которых вспоминается младенец Гаргантюя.

— Так вы не хотите похудеть, Бутс,— сказала Тави, ущипнув его за вздрогнувший локоть,— жаль, а тогда вы мне стали бы больше нравиться! Как вы вспотели! Это вам воротничок жмет. Рита, ты не следишь, чтобы он сходил по лестнице тихо. Как у него сердце бьется, как дышит,— бедный, бедный! Вам надо поподриться. Хотите, я вас поподрю?

Смеясь, она уже кинулась за пуховкой, но Бутс, подняв обе руки, защитился этим движением с самым жалким видом; искренний испуг и смятение выразились в побагровевшем его лице, а глаза стали влажны, но, поддавшись чему-то смешному, он неожиданно фыркнул, хихикнул и залился тихим смехом.

— По-пу... по-пудриться, — выговорил он, наконец, задыхаясь и обтирая лицо платочком, — нет, нет, я никогда, никогда, никогда... не... не пудрюсь! Благодарю вас. Будьте здоровы.

Эти, сказанные наспех, но с жаром отвращения к пудре, слова Бутса, обессиливающий хохот с руками, прижатыми к лицу; даже Рита рассмеялась с благодушным спокойствием.

— Однако, милочка, — осведомилась она, — ты так возбуждена, что мне стало тревожно! А? Что с тобой?

Новый стук в дверь перебил это замечание.

— Я весь вечер буду такая, — успела сказать Тави, — видишь ли, моя милая, у меня нервы.

Все еще смеясь, открыла она дверь, приняв в объятия чернокудрявую, с смуглым лицом маленькой обезьянки, в огромной шляпе, Целестину Дюфро, некогда служившую вместе с ней в книжной торговле.

— Здравствуй, Целестиночка, здравствуй!

— Поздравляю, Тавушка, поздравляю.

— Да, старость не радость. Целестинка, негодная, с кем ты пришла? Ах, это твой брат!

Взявшись за руки, скакнули они друг перед другом разка три; затем Тави была изысканно и хлестко поздравлена Флаком, братом девушки; его манеры, насмешливое, самоуверенное лицо, особый лоск заученных и вертлявых жестов, популярных на публичных балах, делали этого юношу с пожившим лицом опытным кавалером, сметливым в любую минуту.

— Цвести и украшать собой жизненный путь, цветя с каждым годом всё пышнее и ярче! — так кончил он поздравление.

Внимательно, с подвижной улыбкой выслушав, как выговор, эту тираду, Тави торжественно подала ему вытянутую палкой руку и, неистово тряся руку любезного поздравителя, со вздохом произнесла:

— Ах! Вы пронзили мне сердце! Пронзил он мне сердце или нет? — тут же обратилась она серьезной скороговоркой по очереди ко всем. — Пронзил или нет? Пронзил или нет? — наткнувшись на учтиво посторонившегося Бутса. Умильно склонив голову, толстяк с азартом проклокотал:

— Нет, нет, нет! — и боязливо покосился на Риту, но его выходка была встречена милостивой гримасой.

Тут Тави собралась вытолкнуть гостей из кухни в освещенную, чистую комнату, но сквозь полуоткрытую дверь донеслась снизу металлическая трель мандолин, на что Флак, поведя бровью, заметил:

— О, вот идут Ральф и Муррэй!

Точно, два рослых молодых человека, выдвинув вперед такую же рослую, крупную мужественного вида девушки, с некрасивым, но приятным лицом, стали против двери, выставив одну ногу, и, тронув рукой бархатные береты, вырвали из струн «безумно-увлекательный» вальс. Так они и вошли с вальсом, так и раскланялись, не переставая играть. Тут самый очаровательный черт, который сидел когда-либо под юбкой, взвизгнув, дернул девушек за икры: со стоном кинулись они к кавалерам, приладились к их обнявшей руке и завертелись на одном месте, так как вертеться по кругу было бы немыслимо в такой тесноте даже цыплятам. Хотя Бутс более поворачивался, чем танцевал, Тави, казалось, была довольна.

— Но вы прелестно танцуете! — шепнула она. — Так легко, как пуховичок!

И добрый толстяк от всего сердца простил ей дерзновенную пудру. В это время высокая девушка, которую звали Алиса, прехладнокровно мяла и вертела в руках жеманно сияющую Риту; наконец Целестина стукнулась спиной об одного музыканта, и бал кончился.

— Как вы более живописны, — сказала Тави молодцам в беретах, чей одинаковый костюм состоял из голубых блуз с красными атласными воротниками, — то мы устроим пестринку. Что, если посажу я вас одного рядом с собой, — именно вас, Муррэй, ибо вы приятно мне улыбаетесь; к тому же белое мое платье и черный

пояс — одно к другому подходит?! Ральф, деточка, идите сюда. Алиса, дай, дружок, я к тебе немножко прижмусь.

Они обнялись и погладили друг друга по голове со смехом и теплотой.

— Вот, как-то теперь отраднее. Ну, идите, садитесь, садитесь, все, все, все! Этот стул хромой; этот хотя и не хромой, но хрупок для вас, Бутс; ну, все сели? Уф!

Так, болтая, смеясь, проталкивая одного и усаживая, пересаживая другого, Тави поместила всех за круглым столом, сама усевшись меж Алисой и Муррэем. Не без гордости смотрела она на стол. Алиса принесла сладкий пирог, Рита — торт, Ральф вытащил колбасу, а Муррэй коробку цуката; кроме того, перемигнувшись, басом пообещали они друг другу «выпить как следует», отчего дамы, хмыкнув, пожали плечами, спрашивая друг друга:

— Ты понимаешь что-нибудь? Нет. А ты? Еще меньшее тебя!

С этого момента Тави можно было видеть в трех положениях: сидящей, ерзая на стуле, и помахивающей перед собой указательным пальцем, держа остальной кулачок сжатый, словно в нем был орех; вставшей, чтобы, топнув, усилить тем значение каких-либо ее стремительных слов, и парящей в полусогнутом виде над заставленным посудой столом. Смеялась и говорила она без умолку, но камень лежал что-то под сердцем, мешая вольно вздохнуть. Так ноет иногда зуб; ноет, когда вспомнишь о нем.

Как едят и пьют, — нам известно; разве лишь, если звякнет ложка или поперхнется, брызнув изо рта кофеем, смешливый сосед, вызвав визг и отодвигание стульев, — стоит упомянуть об этом.

— Что же твоя поездка, Тави? — спросила Алиса, взглянув на ввернувшую словцо Риту.

— Ты не раздумала служить в о б щ е? — сказала Рита. — Право, твой праздник хоть кому впору!

Тави перевернула блюдечко, подбросила, поймала его и стала еще подбрасывать, говоря:

— С этим делом прозевала, прозевала. Опоздала. Там нанялась другая.

Вдруг захотелось ей рассказать всё, но, открыв рот и уже блеснув глазами, почувствовала, что не может. Есть минуты, которых нельзя коснуться без удивления, а может быть, и усмешки со стороны слушателя, во всяком случае рассказывают их с глазу на глаз, а не в трепете веселого вечерка.

— А... э... э... — этими щебетовидными звуками ограничился ее слабый порыв; она порозовела и толкнула Муррэя, написав ему пальцем на щеке: «Фью». — Оставим это, — равнодушно сказала Тави, — сегодня мне не хочется говорить о моей неудаче.

— Ну, так и быть! — вскричал Ральф, хлопая себя по колену. — Займемся существенным. Неси бутылки, Муррэй, а штопор у меня есть.

Ни слова не говоря, Муррэй поднялся с лунатическим лицом, вышел и вернулся с бутылками, висящими у него горлышками меж пальцев, как гроздья.

— Вот так ручища, — сказал Флак. — Но где же было это добро?

— Боясь, что мы застанем всех пьяными, — сказал Муррэй, — и не желая никому гибели, я оставил их в галерее.

Похорохотав, компания стала рассматривать ярлыки. Целестина, обводя пальцами буквы, прочла: «Ром».

— Ром! — вскричала она с ужасом, — но это нас убьет! Ты станешь пить эту гадость, Алиса? А ты, Рита? Я — нет, ни за что!

— Есть и мускат, — вежливо возразил Ральф, — вот он, водичка для канареек, позор пьющих и нищета философии.

— А что это такое? — спросила Рита, серьезно приглядываясь к бутылке.

— Простая касторка, — сказал Муррэй.

Наконец, переговорили и перешутили по этому поводу всё, и Муррэй стал наливать; дамы протягивали ему стаканы, прижимая отмеривающий пальчик почти к самому дну, но, постепенно поднимая его выше, как повышался уровень булькающего из бутылки вина.

— А моя, моя, моя скромненькая бутылочка, что я купила, — сказала Тави, — мне подавать ли ее?

— Непременно, непременно! — вскричали мужчины. Бутс тихо потел, кланялся и сиял, вытирая лицо.

— Так выпьем! — предложил более других нетерпеливый Флак.

Тут кто пригубил, кто опрокинул, и стройные поздравления зашумели вокруг Тави, которая, поперхнувшись слегка вином, чихнула, нервно помахав рукой в знак благодарности.

— Всем, всем, всем! — сказала она, тут же подумав: «Интересно, как поздравил бы меня таинственный мой знакомый Крукс?»

Но мысли ее перебились возгласом:

— Так должен я рассказать, — продолжал возгласивший (это был Муррэй), — что в преинтереснейшем номере сегодняшней газеты прочел я поразительнейшую вещь, — и я думал, Тави, что вы, может быть, вчера слышали об этом, так как были в Лиссе.

— Я тоже читала. Глупости, — сказала, пережевывая пирог, Рита. — Что-то невероятное.

— Так вы не знаете? — закричал Муррэй. — Со мной есть эта газета. Речь идет о новом изобретателе. Он полетел так, что все ахнули. Неужели вы не слыхали ничего?

Удерживая знаки тревожного синяя, Тави невинно обратила к нему лицо, мигая с вниманием недоумением, слегка окрашенным беззаботным усилием памяти.

— Я слышала, — протяжно сказала она, — я слышала что-то такое, что-то в этом роде, но, надо думать, я задремала и заспала, что говорили в вагоне. Ну, почитайте.

Муррэй развернул газету, отыскивая статью, поразившую его.

— Тише, — сказала Рита, хотя все молча ожидали чтения; Муррэю же никак не удавалось сразу разыскать нужный столбец. Общество, покашливая, ожидало начало чтения. Было тихо; этой тишине ответила вдруг ставшая неприятно ясной внешней тишина дома; как будто разом погрузился он в сон, как бы заснул и весь город.

— Что это, как тихо везде? — заметила, нервно оглядываясь, Алиса. — Неужели уже так поздно?

— Вот, — сказал, раскладывая газету, Муррэй. — Судите сами, какое волнение произошло в Лиссе. Слушайте! — Но он остановился, как немедленно остановили свое вниманием на другом все: быстрый, громкий стук заставил оцепенеть чтеца и слушателей.

— Это что такое! — воскликнула Тави, но еще громче и требовательнее грянули новые удары, и, слабо побледнев, двинулась она с обеспокоенным лицом в кухню, жестом приглашая сидеть всех спокойно. У двери ее опередил Муррэй; отстранив девушку, он сильно распахнул дверь; за ней во тьме пошевелилась толпа.

Кто понял, кто успел понять в чем дело, — уже вскрикнули и повскакали, грохоча стульями, но Тави, прижав рукой грудь, шаг за шагом отступала к комнате.

— Гром и молния, — сказал, оглядывая гостей, Фальк; как он, оглядывались друг на друга все, видя, что бледны и поражены. Но Тави, с упавшим сердцем могла только быстро дышать, не веря глазам. Шесть жандармов окружало ее; еще двое, войдя, остановились у двери; остальные, разъединив гостей, наполнили всю квартиру, став зорки и неподвижны, и в лицах их сверкнуло что-то цепкое, готовое сорваться по приказанию.

Как вещь, которой только что любовались мы спокойно и беззаботно, вырванная из рук чужим, полным ненависти, движением, исчезает с сразившей настроение болью внутреннего удара, так, мгновенно, вырван был, сломан и отброшен веселый цвет этого вечера. Страх выдвинул томительное жало в упавшие сердца бледных гостей; вскочив, вскрикнули и переглянулись они, видя по лицам других, как бледны сами, как охвачены и потрясены видом оружия.

— Тави! — вскричала Алиса.

— Я отказываюсь понимать что-нибудь, — с сердцем сказала девушка, мрачно рассматривая остановившегося на пороге человека в черном мундире, в свою очередь, пристально смотревшего на нее. У него был

привычно отмечавший центр сцены взгляд; в руке он держал портфель, сжимая другой рукой острый свой подбородок.

— Так объясните, что это всё значит,— сказала Тави, стараясь улыбнуться,— это вы привели их? Смотрите, как перепугали вы нас. Я еще вся дрожу. Ведь вы ошиблись, конечно? Тогда извинитесь и уйдите; и то еще я посмотрю, как прощу вас. Это помещение занимаю я. Меня зовут Тави Тум. Вот все, что вам было не нужно знать.

— Тави Тум,— сказал неизвестный,— установить вашу личность — как раз то, что нам нужно.

Эти слова вывели из оцепенения всех. Тави, двинув плечом, оттолкнула легшую на него руку жандарма и шла в угол, повернувшись с тронутым слезами и надменной улыбкой лицом. Ральф и Муррэй бросились к середине комнаты, мешая схватить хозяйку.

— Вы совершенно сошли с ума,— горячо заговорил Муррэй, протягивая руку, чтобы задержать двинувшихся солдат,— стыдитесь! Нет более безобидного и кроткого существа, чем эта девушка, на которую вы нападаете всемером!

Его отбросило движением локтя.

— Здесь есть человек, который знает, что делает,— резко ответил чиновник,— или вы хотите, чтобы я арестовал также и вас?

Целестина, бросившись на кровать, горько рыдала; Рита, трепеща, бессмысленно твердила, оглядываясь с жалким смехом:

— Уйдемте, уйдемте отсюда! Боже мой, какой ужас!

Но Бутс, вдруг налившись кровью, затопал ногами, схватил и швырнул стул.

— Не сметь, я не дам! — азартно закричал он.

— Молчать! — громко сказал жандарм. Но, уже струсив сам, Бутс умолк с негодящим видом, помялся и стих.

Теперь, когда сказано было все самое страшное, наступила, как это бывает в случаях быстрого и напряженного действия, краткая тишина, подобная ужасной картине, неподвижной, но красноречиво памятной на-

всегда. Все взгляды были устремлены на пленицу, пытавшуюся тщетно вырваться из четырех сильных рук, механически державших ее. Плача, с открытыми мстительными глазами, с презрительно стиснутым, но полным слез ртом, меж тем как лицо дергалось и тосковало совершенно уже по-детски, Тави перестала, наконец, рваться и выкручивать руки, но, сколько смогла, сжав руки, резко и внушительно потрясла ими. Она говорила и задыхалась.

— Я требую,— сказала она со всем пылом отчаяния,— чтобы вы объяснили мне вашу шутку! Сегодня мой праздник, день рождения моего, а вы взяли меня, как уличную воровку! Вот мои гости, мои друзья,— что подумают они обо мне?!

— Тави, дурочка! — поспешила перебить ее, утирая слезы, Алиса.— Не говори глупостей!

— Подумаем, что ты ребячий кипяток,— сказал, сжимая ей руку, Муррэй.— Послушай, с этими людьми препирательства бесполезны. Мы останемся ждать тебя. Не бей их и поезжай, когда так. Ошибка слишком груба. Черт их знает, что они там напутали!

— Одно слово,— сказала Тави человеку, руководившему арестом,— какая причина вашего мерзкого дела?

— Вам будут даны объяснения на месте,— сказал тот, двигая взглядом солдат по направлению к выходу,— я действую по приказанию и ничего ровно не знаю.

— Лжете,— ответила Тави с гневом и горечью,— лжете, вы лгать привыкли. Что делать вам здесь с целым отрядом? Я снова вас спрашиваю: зачем эта подлость?

— Довольно,— сказал чиновник,— попрощайтесь и идите беспрекословно вниз. Вас отвезут. Ну, господа,— он обратился к гостям,— вас всех я задержу несколько времени. Предстоит обыск. Пока он не окончится, никто отсюда не выйдет.

— Дайте же мне обнять их,— сказала Тави жандармам. Ее отпустили; она обняла друзей, привстав на носки, когда дошло дело до Муррэя и Ральфа; целуя, вымазала слезами всех. Солдаты не отходили от нее ни на шаг; ей подали шляпу, шарф, теплый жакет. Тыча в его затерявшиеся рукава дрожащими руками, она на-

спех собралась, ответила восклицаниям воздушными поцелуями, помахала рукой, вышла в громе сабель и сапогов и, заметив, что чиновник обернулся на замедление с таким видом, что словно хотел прикрикнуть,— спокойно показала язык.

V

Стиснув зубы, глотая слезы и трепеща, как бы толкаемая убийственным ветром, Тави быстро пошла по галерее среди тесно шагавших вокруг солдат. На дворе, внизу, двигались фонари, стучали копыта; из дверей соседних квартир выглядывали дети и женщины, уцепившись друг за друга, словно им тоже грозила беда. Со страхом и вопросом смотрели они на помутившееся лицо девушки. Тави, из последних сил, кивала или беспомощно улыбалась тем, кого знала. Когда шествие равнялось с такой выпускающей изнутри свет и голоса дверью, она резко прихлопывалась и из-за нее доносились глухие ругательства. Солдаты спешили; двое шли впереди, приказывая взмахом руки убраться с дороги тем, кто шел случайно навстречу, и человек мигом прижимался к стене; лишь Кванг, ставший неподвижно по самой середине прохода, с пыхающей в зубах трубкой, отошел так медленно, что жандарм угрожающе потянул саблю.

— Я ничего не думаю! — успел крикнуть Кванг девушке.— До свиданья с торжеством!

Тави блеснула ему глазами так выразительно, что он понял все ее смятение.

— Ну да,— донеслось ей вслед,— схватили, как птицу,— и ничего более.

Еще эти темные, но горячие слова грели ее порывом теплого ветра, как все внезапно остановились: на лестницу вбежал солдат, крича:

— Карета уехала! Там перебесились все лошади: дрожат и рвутся, кучер ничего не мог сделать. Рванули и понесли!

Гул восклицаний покрыл эти слова; меж тем шествие сбилось в кучу, и, когда выровнялось, уже прозвучали торопливые приказания. С глубоким наслаждени-

ем слушала Тави, как часть солдат, покинув ее, загремела по ступеням вниз — что-то улаживать и выяснять.

— Вот вам, — сказала она сквозь зубы, — лошади-то умнее вас!

Оставшиеся с ней, подталкивая ее, свели девушку на озаренный окнами дома двор, где, повскакав в седла, с трудом удерживали чем-то напуганных лошадей; они ржали и били копытами или шарахались с фырканием, полным ужаса.

— Ну, что же делать? — сказал кто-то с досадой. — Сажай девушку на седло, — крикнул другой. — Смотрите в оба и помните, что случай опасный!

— Оружие наготове!

— Стой! Держи арестованную посередине!

— Чего он боится? — прозвучал осторожный шепот.

— Это никому неизвестно, тут сам черт не поймет ничего.

Тави подвели к лошади; к ней протянулась рука накнувшегося в седле солдата; другой, сзади девушки, неожиданно и сильно приподнял ее. Она рванулась, ударив с отчаянием ногой в бок коня, отчего тот внезапно проскакал в ворота на улицу, откуда гулкий, раскальзывающий треск подков по булыжнику дал понять всем, что всадник едва сдерживает готовое закусить удила животное; оно хралело и ржало. Тогда раздались крики бешенства кинувшихся кончать дело людей.

— Ну и черт эта девчонка, — сказал тот, кто держал Тави.

— Не хочу, — мрачно сказала она, борясь с увлекающим ее хаосом хватки и возни жестких рук, сопротивляться которым более почти не могла.

— Что за ночь! — раздалось над ее ухом.

— Давайте ближе фонарь! — кричали в стороне.

— Не могу справиться, — сказал жандарм в седле, с которым должна была ехать Тави, — станьте по сторонам и придержите за узду этого дьявола.

Было темно, как человеку с завязанными глазами; ни звезд, ни луны; редкие фонари окраины мерцали издалека. Порывами налетал ветер. Казалось, — в таком мраке навсегда забыт день и что пропало все, кроме





стука и голосов. Фонарь, поданный торопливой рукой, озарил Тави каски державших ее солдат и задранную уздой вверх лошадиную голову с безумием в огромных глазах; из ее рта текла пена. Теперь все крики и голоса были в затылок девушке; наконец, ее почти бросили на седло, где, схваченная за талию неподатливой, как обруч, рукой, очутилась она сидящей с пылающим лицом, сожженным высохшими слезами.

— Скачи. Прост! — крикнули солдату, увозящему Тави. — Эй, расступись, все по седлам и догоняйте его; смотри в оба!

— Пусти лошадь, — сказал жандарм.

Державшие коня отбежали; солдат метнулся, ахнул и, прежде чем смолк в оцепеневшем слухе гром хлопнувшего как бы по лицу выстрела, разжал руки, валясь головой вниз, а Тави, потеряв равновесие, скользнула с седла; нога ее подвернулась, и, упав, она подумала, что убита. Лошадь, заржав, исчезла.

Взрыв криков, топот и лязг сабель рванулись со всех сторон. Встав, Тави прислонилась к стене, где тотчас ее схватили, тряся с исступлением и злобой, так как подумали, что выстрелила она.

— Обыщите, отнимите револьвер! — переговаривались перед ее лицом. — Свяжите ее!

Оскорбленная грубым прикосновением, Тави ловко вывернула руку, ударив по лицу ближайшего; в то время три выстрела, гулко толкнув тьму, с блеском, секнувшим глаза как бы посреди самой свалки, перевернули все; качаясь, двое солдат отошли и повалились со стоном; остальные, вне себя, ринулись куда попало, хватая и отталкивая вспыхах друг друга.

— Нас убивают! Чего смотрите? Надо оцепить дом и всю улицу! На лошадей! Гей, арестованная?!

Застыв, прижалась Тави к стене с поднятой для защиты рукой; изнемогая от страха, стала она кричать, в то время как паника и грохот лошадиных копыт, вместе с меловым мельканием сабель, кружились вокруг нее, подкашивая колени. Вдруг в самое ее ухо прозвучал быстрый шепот:

— Сдержитесь; в полном молчании повинуйтесь мне.

— А кто это? — таким же шепотом, задыхаясь, спросила девушка.

— Я — Крукс.

Она не успела опомниться, как вокруг ее спины обвилась резким и спокойным усилием твердо отрывавшая от земли рука; в то же время шум свалки отдался, как если бы на нее бросили большое сукно.

VI

Он поднял ее в руках, обвив ими легкое тело девушки так покойно, как будто ничто не угрожало ему, и неторопливо поправился, когда заметил, что ее плечо стиснуто его левой рукой. Но были уже притуплены ее чувства, и только глубокий вздох, вбирающий с болью новую силу изнемогшему сердцу, показал Друду, как было тяжело и как стало теперь легко ей. Она была потрясенно-тиха и бесконечно блаженно-слаба. Но чувство совершенной безопасности охватило ее уже ровным теплом; она как бы скрылась в сомкнувшейся за ней толще стены. Это впечатление поддерживалось решительной тишиной, в далях которой мелькали лишь подобные шуму платья или плеску глухой струи неровные и ничтожные звуки, отчего подумала она, что скрыта где-то поблизости дома, в месте случайном, но недоступном. По ее лицу скользил, холода висок, ветер, что могло быть только на открытом пространстве.

— Помогите же мне, — сказала она едва слышно, — все объясните мне, и как можно скорее, — мне плохо; рассудок покидает меня. Вы ли это? Где я теперь?

— Терпи и верь, — сказал Друд, — еще не время для объяснения; пока лучше молчи. Я без угрозы говорю это. Тебе очень неловко?

— Нет, ничего. Но не надо больше меня держать. Я встану, пустите.

— И этому будет время. Там, где мы стоим, сырь. Я по колено в воде.

Тави инстинктивно поджала ноги. «Ты» Друда не тронуло ничего в ее прижавшейся к спасению и защищенному душе; он говорил «ты» с простотой владеющего положением человека, не придавая форме значения. Она умолкла, но нестихающий ветер загадкой лился в лицо, и девушка не могла ничего понять.

— Я не буду говорить, — виновато сказала Тави, — можно мне спросить вас об одном только, в два слова?

— Ну, говори, — кротко согласился Друд.

— Отчего так тихо? Почему ветер в этих стенах?

— Ветер дует в окно, — сказал, помолчав, Друд, — мы в старом складе; окно склада разрушено; он ниже земли; вода и ветер гуляют в нем.

— Мы не потонем?

— Нет.

— Я только два слова, и ничего больше, молчу.

— Я это вижу.

Она затихла, покачивая ногой, висевшей на сгибе Друдова локтя, с целью испытать его настроение, но Друд сурово подобрал ногу, сказав:

— Чем меньше ты будешь шевелиться, тем лучше. Жди и молчи.

— Молчу, молчу, — поспешило отзвалась девушки; странное явление опрокинуло все ее внимание на круг световой пыли, неподвижно стоящий прямо под ней фосфорическим туманным узором; по нему, с медленностью мух, бродили желтая и красная точки.

— Что светится? — невольно спросила она. — Как угольки рассыпаны там; объясните же мне, наконец, Крукс, дорогой мой, — вы спасли и добры, но зачем не сказать сразу?

Думая, что она заплачет, Друд осторожно погладил ее засвеженную ветром руку:

— В сыром погребе светится, гниет свод; гнилые балки полны микроскопических насекомых; под нами вода и, поблескивающая светом, в ней отражена гниль. Вот все, — сказал он, — скоро конец.

Она поверила, посмотрела вверх, но ничего не уви-
дели; стоял ветреный мрак, скованный тишиной. Меж-
тем, отражения в воде, о которых говорил Друд, меня-
ясь и переходя из узора в узор, вычертились рассеян-
ным полукругом. Ее томление, наконец, достигло пре-
дела; жажды уразуметь происходящее стала болью
острого исступления, — еще немного, и она разразилась
бы рыданиями и воплем безумным. Ее дрожь усили-
лась, дыхание было полно стона и тоски. Поняв это,
Друд стиснул зубы, каменея от напряжения, увеличив-
шего быстроту вдвое; наконец мог он сказать:

— Смотри. Видишь это окно?

Глотая слезы, Тави протерла глаза, смотря по некоторому уклону вниз, где, без перспективы, что придавало указанному Друдом явлению мнимо-доступную руке близость, сиял во тьме узкий вертикальный четырехугольник, внутренность которого дымилась смутными очертаниями; всмотревшись, можно было признать четырехугольник окном; оно увеличивалось с той незаметной ощущительностью, какую дает пример часовой стрелки, если не отрывать от нее глаз. Момент этот, прильнув к магниту опрокинутого сознания, расположился, как железные опилки, неподвижным узором; страх исчез; веселое бессмысленное «ура!», хватив через край, грянуло в уши Друда ликованием все озарившей догадки, и Тави заскакала в его руках, подобно схваченному во время игры козленку.

— Ничего больше, как страннейший распричудливый сон, — сказала она, посмеиваясь. — Ну-с, теперь мы с вами поговорим. Во сне не стыдно; никто не узнает, что делаешь и говоришь. Что хочу, то и выпалю; жаль, что я вижу вас только во сне. А не проснуться ли мне? Но он не страшен уже... Нам кое-что надо бы выяснить,уважаемый Монте-Кристо. Не смеите, не смеите прижимать крепко! Но держать можете. Во сне я не постесняюсь, велика важность. Знайте, что вы приятны моему сердцу. А я вам приятна? Где ваша машина с колокольчиками? Почему знали вы, что умер старик? Кто вы, скажите мне, таинственный человек? И как вы живете? Не скучно ли, не тяжело ли вам среди бездарных глупцов?

Говоря так, смеялась и трясла она его послушную руку, прижимаясь к его груди, где чувствовала себя уютно, размышляя в то же время о правах сновидения не без упрека себе, но в лени и усталости чрезвычайной.

— Краснею ли я? — думала она вслух.

— Так это твой сон? — спросил Друд так особенно, как звучат голоса во сне.

— Ну да, сон, — беззаботно твердила девушка, держа его руку и смотря на налетающее окно, — сон, — повторила она, подняв голову, чтобы рассмотреть кирпичную кладку. Окно охватило их и переброСилось взад.

— Сон,— растирая глаза, сказала, топнув ногой, Тави,— Друд уже опустил ее. Отекшие ноги заставили ее опереться о стол, и от движения, звякнув, жестяная кружка перекатилась по плитке пола. Стеббс молча поднял ее, светясь и улыбаясь всем своим существом.

Она вздрогнула, выпрямилась и перевела взгляд со Стеббса на Друда, отступила, волнуясь, взяла кружку и бросила вновь, прислушиваясь, как звякнула жесть. Неразложимый на призраки, голос предмета открыл истину.

— Это не сон,— медленно выговорила, садясь и складывая руки, девушка; сверкнуло все и раздалось в ней чудным ударом.

Друд посмотрел на Стеббса, показав рукой, что надо уйти. Тави, сжав руки, переступила шага два ближе, так что Друд был с ней теперь рядом.

— Посмотрите на меня до лого!

Он посмотрел с тем выражением, желание какого угадал в ней,— покорно и просто.

— Теперь не смотрите на меня.

— Бог с тобой, я не смотрю,— взъерошенно проговорил Друд,— сядь и овладея сердцем своим. В себе ты найдешь все.

— Не трогайте, не разговорите меня,— чуть слышно сказала Тави.— Иначе что-то спутается...

Но не по силам было ей происшедшее, во всем размахе его. Она встрепенулась.

— Очень много всего,— сказала Тави, взглядывая на Друда с бледным и тяжелым лицом.

Факты были сильнее ее, и она не могла одолеть их ни рассуждением, ни волнением; так резко жизнь бросила ее на другой берег, с которого прежний виден только в тумане, а этот поразителен, но молчит.

— Еще болят руки, так стиснул меня солдат. Справшивается,— за что?

— За тобой следили, думая, что узнают, где найти Друда. Мы перекинулись словами, когда мои колокольчики были еще потехой, когда ты славным сердцем своим встала на защиту осмеянного. Поэтому за тобой шел, а потом ехал приличный человек с умным лицом. Меня зовут Друд,— ты слышала обо мне?

С ее лица не сходила задумчивость и покорность, а взгляд, блуждая с тихой рассеянностью, был полон

тени, — он не играл, не блестел. Ее впечатления остановились, застилая сознание огромным слепым пятном, и Друд понимал это, но не тревожился.

— Нет, не слышала, — сказала, по-прежнему безучастно, девушка, — а вы кто?

— Я человек, такой же, как ты. Я хочу, чтобы тебе было покойно.

— Мне покойно. Мне хорошо с вами. Здесь так хорошо сидеть. А это — что? — Тави слабо повела рукой. — Ведь это — старинный замок?

— Это маяк, Тави, но он, а также все приюты мои — их много — для тебя замки и будут замками. Все это для тебя и тебе.

Она подумала, потом улыбнулась.

— Вот как! Но что же... что же... чем же я отличилась?

— Наверное, тем, что ты сама не знаешь этого. Но я шел, а ты остановила меня. Правда, немного прошло времени, однако пора мне заботиться о тебе и с открытым сердцем слушать тебя. Мы, одинокие среди множества нам подобных, живем по другим законам. Час — год, пять или десять лет, — не все ли равно? Ошибался и я, но научился не ошибаться. Я тебя зову, девушка, сердце, родное мне, идти со мной в мир, недоступный, может быть, всем. Там тихо и ослепительно. Но тяжело одному сердцу отражать блеск этот; он делается, как блеск льда. Будешь ли ты со мной топить лед?

— Я все скажу... Я скажу все, но я сейчас не могу. — Она дышала слабо и тихо; ее взгляд был странно покойен; временами она шептала про себя или покачивала головой. — Я ведь нетребовательна; мне все равно; мне — только, чтобы не было горести.

— Тави, — сказал Друд так громко, что кровь вернулась к ее лицу, — Тави, очнись!

Она посмотрела на свои руки, провела пальцами по глазам.

— Разве я сплю?! Но верно, — все в тумане кругом, — что это? Что со мной? Очните меня!

Он положил руку на ее голову, потом погладил, как разволнившегося ребенка.

— Сейчас ты станешь сама собой Тави; туман рассеется, и все будет ни чудесным, ни странным; все про-

сто, когда двое думают об одном. Смотри,— стол, на нем хлеб, яичница, кофейник и чашки; в помещении этом живет смотритель маяка, Стеббс — плохой поэт, но хороший друг. Он, правда, друг мне, и я это ценю. Здесь родился и твой образ — год назад, ночью, когда играли мы на стеклянной арфе из пузырьков; а потом я уже видел тебя всегда, пока не нашел. Вот и все; такое же, как и у других, и люди такие же. Только одному из них — мне — суждено было не знать ни расстояний, ни высоты; во всем остальном значительно уступаю я Стеббсу, — он и сильнее, и проворнее меня, а также отлично ныряет, чему я не могу научиться, а потому иногда завидую. Хочешь, я позову Стеббса?

— Хочу. — Она взглянула снизу на стоящего перед ней Друда, потом схватила его руку своими обеими ручками и, зажмурясь, крепко потрясла ее, натужив лицо; открыла глаза и рассмеялась смехом, полным тихого удовольствия. — Вы еще мне много покажете?

— Довольно, чтобы тебе не было никогда скучно. Стеббс!

Он стал звать, открыв дверь.

— Иду, иду! — сказал Стеббс с лестницы, где стоял, ожидая зова. Он был причесан, был вымыт, и, хотя дело происходило ночью, его брюки были отчищены бензином и мылом.

— Как хорошо, — сказал он, — какая отличная ночь! Не хочется оторвать глаз от звездных миров, и я рассматривал их... Что вы сказали?

— Стеббс, — перебил его Друд, — сядь; второй раз мы прощаемся с тобой, так внезапно. Но со мной жизнь, которую я искал, и ей нужен глубокий отдых. Есть также сведения о маяке у тех, кого мы не любим. Поэтому я не задержусь, только поем. Но ты будешь извещен скоро и явишься навсегда.

— Спасибо, Гора, — сказал Стеббс. — Как зовут нового друга?

Друд засмеялся.

— «Великий маленький Друг» — зовут его, — «Тави» зовут ее, «Быстрый ручей», «Пленительный звон».

— Да, нас четырнадцать, — прибавила Тави, — но не все пересчитаны. Остальных, впрочем, вы знаете... А это правда, — я — друг вам, друг, но только ведь навсегда?

— Он знает это. Он — Гора, — сказал Стеббс, наполняя тарелку девушки. Но она не могла есть, лишь выпила, торопясь, кофе и снова стала смотреть поочередно на Друда и Стеббса, в то время как Стеббс спрашивал, куда отправится теперь Друд. Его мучило любопытство. Девушка была не совсем в его вкусе, но Друд принес и берег ее, поэтому Стеббс рассматривал Тави с недоумением почтальона, вскрывшего шифрованное письмо. Но ему было суждено привыкнуть и привязаться к ней очень скоро, — гораздо скорее, чем думал в эту минуту он, мысленно сопоставлявший всегда с Друдом Венеру Тангейзера, какой изображена она на полотне, — меньше — Диану, еще меньше — Психею; его психология сконочно разочарование было все же приятным.

Любопытный, как коза, Стеббс остерегался, однако, спрашивать о событиях, зная вперед, что не получит ответа, так как никогда Друд не торопился открывать душу тем, кто не теперь тронул ее. Но он сказал все же немного:

— Ты будешь думать, что я ее спас, как узнаешь впоследствии, что было; нет, — она спасение носила в груди своей. Мы шли по одной дороге, я догнал, и она обернулась, и так пойдем вместе теперь.

Затем он встал, принес большое одеяло и подошел к девушке, говоря:

— Не будем медлить, здесь не место засиживаться, воспользуемся темнотой и этим отдыхом, чтобы продолжать путь. Утром не будет уже загадок тебе, я скажу все, но дома. Да, у меня есть дом, Тави, и не один; есть также много друзей, на которых я могу положиться, как на себя. Не бойся ничего. Время принесет нам и простоту, и легкость, и один взгляд на все, и много хороших дней. Тогда эту резкую ночь мы вспомним, как утешение.

Красная, как пион, с отважными слезами в глазах, Тави скрестила руки, и Друд плотно укутал ее, обвязав, чтобы не свалилось одеяло, вязаным шарфом Стеббса. Теперь имела она забавный вид и чувствовала это, слегка шевеля руками, чтобы ощутить взрослость.

— Все гудит внутри, — призналась она, — о-о! Сердце стучит, руки холодные. Каково это быть птицей?! А?

Все трое враз начали хохотать до боли в боках, до спазм, так что нельзя было ничего сказать, а можно

только трясти руками. Тут, более от страха, чем от естественной живости, на Тави напало озорство, и она стала покачиваться, приговаривая:

— Сезам, Сезам, отворись! Избушка на куриных ножках, стань к лесу задом, а ко мне передом! — С нежностью и тревогой посмотрел на нее Друд. — О, не сердитесь, милый! — пламенно вскричала она, пытаясь протянуть руки. — Не сердитесь, поймите меня!

— Как же сердиться, — сказал Друд, — когда стало светло? Нет. — Он застегнул пояс, накрыл голову и махнул рукой Стеббсу. — Я тороплюсь. Сколько раз прощался уже я с тобой, но все-таки мы встречаемся и будем встречаться. Не грусти.

Он подошел к Тави; невольно отступила она, обмерла и очнулась, когда Друд легко поднял ее. Но уже двинулось кругом все, подобно обвалу; замораживая и щекоча, от самых ног поднялся к сердцу лед, пространство раздалось, гул сказки покрыл ропот далекой, внизу, воды, и ветер застяжал в ушах.

— Тави?! — вопросительно сказал Друд, чувствуя, что он вновь равен для нее летящей стремглав но-чи, — что он — Гора.

— Ау! — слабо выскочило из одеяла. — Но тотчас с восторгом освободила и подняла она голову, крича как глухому: — Что это светится там, внизу? Это гнилые балки, дерево гниет, светится, вот это что! И пусть никто не поверит, что можно жить так, пусть даже и не знает никто! Теперь не отделить меня от вас, как носик от чайника. Это так в песне поется... — Она оборвала, но сквозь зубы, взволнованно и сердито окончила: «Ты мне муж будешь, а я буду твоя жена», — а перед тем так: «Если меня не забудешь, как волну забывает волна... та-та-тá-та-та-тá... будешь и... та-тá-та, та-тá-та... жена».

Она уже плащала, — так печально показалось ей вдруг, что «волну забывает волна». Затем стал говорить Друд и сказал все, что нужно для глубокой души...

VII

В течение пяти месяцев шесть замкнутых, молчаливых людей делали одно дело, связанное общим планом и общей целью; этими людьми двигал руководитель, встречаясь и разговаривая с ними только в тех случаях,

когда это было совершенно необходимо. Они получали и расходовали большие суммы, мелькая по всем путям сообщения, с неутомимостью и настойчивостью, способными организовать великое переселение или вызвать войну. Если у них не хватало денег или встречались препятствия, рассекаемые единственным золотым громадным мечом, — треск телеграмм перебегал по стране, вручая замкнутый трепет своей белой руке, открывавшей нетерпеливым женским движением матовые стекла банковых кабин, где причесанный человек нумеровал, подписывал и методично оканчивал дело превращения еще невысохшей подписи в цветные брикеты ассигнаций или золотых свертков, оттягивающих руку к земле.

Вначале маршруты шестерых, посвятивших, казалось, всю жизнь свою тому делу, для которого их призвал руководитель, охватывали огромные пространства. Их пути часто пересекались. Иногда они виделись и говорили о своем, получая новые указания, после чего устремлялись в места, имеющие какое-либо отношение к их задаче, или возвращались на старый след, устанавливая новую точку зрения, делающую путь заманчивее, задачу — отчетливее, приемы — просторнее. Они были все связанны, и в то же время каждый был одинок.

Постепенно их путешествия утрачивали грандиозный размах, сосредоточиваясь вокруг нескольких линий, отмеченных на своеобразной карте, в которой мы не поняли бы ничего, сложными знаками. От периферии они стягивались, кружась, к некоему центру или, вернее, к территории с неустойчивыми границами, в пределах которых цель чувствовалась более отчетливо, более вероятно, хотя и определяясь немногими шансами простой случайности, но все же возбуждая решительные надежды.

Уже мерешилась некая глухая развязка. Уже факты, несколько раз проверенные, повторились блестящей, беглой чертой, подобной отдаленной вспышке беззвучного выстрела, уже прямой след кинулся под ноги, мгновенно сцепив все тщательные соображения в одно последнее действие... Действие развернулось, руки, схватив пустоту, дрогнули, немея в изнеможении, и

обратный удар вдребезги разнес таинственные тенета. Затем наступил день, в свете которого ошеломляюще ясно встало на свои места видимое обыкновенными глазами обычновенных людей,— как не было ничего.

Мы возвращаемся к Руне Бегуэм, душа которой пошла к мрачной черте. Ее голос стал сух, взгляд не-подвижно спокоен, движения устали и резки. Но ни разу за всё время, что искала смерти пламенному сердцу невинного и бесстрашного человека, она не назвала вещи их настоящими именами и не подумала о них в ужасной тоске. Она гибла и защищалась с холодным отчаянием, найдя опору уверенности, что смерть Друда освободит и успокоит ее. Эта уверенность, подобная наитию или порыву, вызванному нестерпимой мукой, но длящемуся бесконечно, создала цель, доверенную руководителю, и только с ним говорила она об этом, но всегда с просьбой как можно менее беспокоить ее.

Нет дела и цели, какие рано или поздно не овладели бы всей мыслью и всей душой какого-нибудь одного человека, дотоле, быть может, живущего без особых планов, но с предчувствием и настроением своей роли. Его надо было извлечь из ровной травы голов, узнать и отметить среди множества подобных ему лицом, среди двойников с обманчивым впечатлением оригинала. Казалось, ничто подобное не совместимо с силами и опытом девушки, отъезд и приезд которой отмечался светской газетной хроникой в повышенном тоне. Действительно, она не могла совершить это, при всем сознании особенностей задачи и ясном отчете самой себе, что надо было бы сделать; предстоял публичный вызов или пересмотр населения нескольких городов, с испытаниями, занявшими бы не один год.

Нужный человек пришел сам, как будто ловил минуту изнеможения, чтобы поступать, войти и заговорить. Был слышен по пустынной ночной улице стук колес, звучавший все громче, и Руна, отогнав сон,— вернее, мертвую неподвижность мысли, с какой пыталась забыться на жгущей щеку подушке,— прислушивалась к шуму невидимого экипажа.

— Кто едет ночью? Куда? — спрашивала она, невольно замечая, что прислушивается с странным ожи-

данием, что кровь дико стучит; казалось, к ней именно направлен был этот одинокий стук ночи. Все громче звучал он; отчетливее и поспешнее становилась его тряская трель; кто-то спешил, и Руна приподнялась, вслушиваясь, не загремят ли снова колеса. Но шум стих против ее дома, другой шум, возникающий лениво и смутно, коснулся напряженного слуха; тихий, как пение комара, далекий звонок, еще звонок — ближе, стук отдаленной двери, шорох и замирание смутных шагов. Не выдержав, она позвонила сама, с облегчением чувствуя, как это самостоятельное действие выводит ее из оцепенения.

Тихо постучав, вошла горничная.

— К вам приехали, — сказала она, — и мы не могли ничего сделать. Карета с гербами; из нее вышел человек, настойчиво приказавший передать вам письмо. «Едва его прочтут, — сказал он, — как вы получите приказание немедленно провести меня к госпоже вашей». Мы посоветовались. Видя, что не решаются беспокоить вас, он роздал нам, смеясь, по нескольку золотых монет. Нам стало ясно, что такое, по-видимому, важное лицо не решится беспокоить вас по-пустому. «Рискнем», — подумали мы.

— Как! — невольно возмутясь, сказала Руна. — Лишь несколько золотых монет... я посмотрю это письмо. Горе вам, если оно недостаточно серьезно для такого неслыханного дерзкого посещения.

Она разорвала конверт, мрачно смотря на горничную, успевшую, запинаясь, пролепетать:

— Никто не знает, почему мы пустили его. В нем что-то есть, будто он знает, что делать. Он так спокоен.

Руна уже не слышала ее. Устремив взгляд на «атласный листок», она видела и переживала слово — одно слово: «Друд»; сама фраза могла показаться бессмыслицей всякой иной душе. Она прочла: «По следам Друда» — более ничего не было в той записке, но этого оказалось довольно.

— Подайте одеться, — быстро сказала девушка, мгновенно скав письмо, как сжимают платок. — Ведите этого человека в мраморную гостиную.

Тогда, среди ночи, вспыхнули обращенные к саду окна. Ярко озарил свет статуи и ковры; неестественным оживлением веяло от этого часа ночной тревоги, замкнутой в беззвучное колесо тайны. Болезненно владея собой, вошла Руна, с холодным и неподвижным лицом, увидев там человека, обратившего к ней полу-прикрытый взгляд узких тяжелых глаз. Эти глаза выражали острую, почти маниакальную внимательность, равную неприятно резкому звуку; вокруг скул темного лица вились седые, падающие локонами на грудь волосы, оживляя восемнадцатое столетие. Кривая линия бритого рта окрашивала все лицо мрачным светом, напоминающим улыбку Джиоконды. Такое лицо могло бы заставить вздрогнуть, если, напевая, беззаботно обернуться к нему. Он был в черном сюртуке и шляпу держал в руках.

Руна вошла с вопросом, но лишь взглянула на посетителя, как понятно стало ей, что не нужен вопрос. Это было как бы продолжение только что примолкшего разговора.

— Я не назову себя,— сказал неизвестный,— а также не объясню вам, почему только теперь, но не позже, не раньше, вхожу сюда. Но вы ждали меня, и я пришел.

Дрожа, знаком пригласила она его сесть и, стиснув руки, села сама, по праву ожидая неслыханного. Без жестов и улыбки продолжал свою речь гость; он сложил на остром колене желтые руки, став более неподвижен, чем мраморные Леандр и Геро, сзади него, со скорбью и смертью своей. Он сказал:

— Я знаю, как вы живете; знаю, что ваша жизнь полна вечного страха, что ваша молодость гаснет. И я также знаю, что, думая в одном направлении,— всегда думая об одном и том же, без тени надежды победить этот след молнии, опалившей вас среди вашего прекрасного голубого дня, вы пришли к спокойному и задумчивому решению.

Этими словами ее состояние было сквачено и показано ей самой.

— Ваше имя?— сказала она, отшатываясь, и так хрипло, что было близко к вскрику.— Первый раз я вас

вижу. Который раз видите вы меня? Разве я говорила с вами? Где? Кто предал меня? Да, я уже не живу; я грежу и погибаю.

— Кто бы я ни был,— сказал неизвестный, изменив своей неподвижности и слегка покачиваясь с глубокой и зловещей рассеянностью,— я, как и вы,— враг ему, следовательно,— друг ваш. Отныне, если наш разговор соединит нас, вы будете звать меня просто: «Руководитель». Друд более жить не должен. Его существование нестерпимо. Он вмешивается в законы природы, и сам он — прямое отрицание их. В этой натуре заложены гигантские силы, которые, захоти он обратить их в любую сторону, создадут катастрофы. Может быть, я один знаю его тайну; сам он никогда не откроет ее. Вы встретили его в момент забавы,— сверкающего вызова всем, кто, встречая его в толпе, далек от иных мыслей, кроме той, что видит обыкновенного человека. Но его влияние огромно, его связи бесчисленны. Никто не подозревает, кто он; одно, другое, третье, десятое имя открывают ему доверчивые двери и уши. Он бродит по мастерским молодых пьяниц, внушая им или обольщая их пейзажами неведомых нам планет, насвистывает поэтам оратории и симфонии, тогда как жизнь вопит о неудобоваримейшей простоте, поддакивает изобретателям, тревожит сны и вмешивается в судьбу. Неподвижную, раз навсегда данную, как отчетливая картина, жизнь — волнует он, изменяет и в блестящую даль, смеясь, движет ее. Но мало этого. Есть жизни, обреченные суровым законам бедности и страданиям безысходным. Холодный лед крепкой корой лежит на их неслышном течении; и он взламывает этот лед, давая проникать солнцу в тьму глубокой воды. Он определяет и разрешает случаи, по его воле начинающие сверкать сказкой. Мир полон его слов, тонких острот, убийственных замечаний и душевных движений без ведома относительно источника, распространившего их. Этот человек должен исчезнуть.

Где слабый ненавидит,— сильный уничтожает. Воля и золото говорят теперь между собой. С совершившие траты необходимые, быть может, безумные; но помните, что нет спасения без борьбы; не вы нанесете этот удар.

Начнем издалека, уверенно сжимая кольцо. По свету бродят цыгане, и они знают многое, что никому недоступно, кроме их грязных кочевий. Они жадны и скрытны. Однако под рукой у меня есть несколько людей особой породы, углубленных, как и я, в рассматривание дымных фигур жизни,— и в мелькающий и едва слышный трепет ее. Мы сходим по золотой тропе к этим оборванным, волосатым кочевникам, где, под полами цветных шатров, таятся хитрая красота и сведения самого различного свойства, по тем линиям, на какие нам надо ступить. Но не будем пренебрегать также помощью официальной, лишь с осторожностью и выбором чрезвычайным, если не хотим, чтобы поиски наши стали достоянием всех. В этом случае наши карты будут смешаны и поражены тем противоречием, в какое станем мы, с задачей своей, к прочей действительности.

Чем более слушала его Руна, тем яснее возникала ее надежда; и уже не хотелось ей ни о чем спрашивать, но лишь единственно действовать. Глухая пелена укрыла ее душу; без жестокости, без ясного отчета себе, на что решается, блаженно смеясь, сказала она:

— Будьте Руководителем. Я ничего не пожалею на это, ни о чем не вздохну, но буду ждать терпеливо и дам все, что нужно.

Она вышла и принесла все деньги, какие были у нее в этот момент, также принесла чек на крупную сумму.

— Довольно ли этого?

— Пока довольно,— сказал гость,— теперь я могу отлично провести время. А что, безумная девушка, скажете вы, если одно из самых замечательных мошенничеств разыгралось только что на ваших глазах?

Но она улыбнулась,— так слабо, как слабо подействовала на нее шутка.

— Вы правы,— сказал посетитель, вставая и отшивая глубокий поклон.— Когда придет время, я извещу вас обо всем важном. Спокойной ночи.

Он сказал это с резкой улыбкой, пристально посмотрев на нее.

Выразилась ли в жестких словах этих ее собственная жажда отлетевшего в бред и ужас покоя, или было задето что-нибудь еще более значительно,— но мгновенной болью исказилось лицо девушки. Вздрогнув, выпрямилась и овладела она собой.

— Идите,— сказала она, быстро и тяжело дыша,— вас зовет пославшая сюда ночь. Идите и убейте его.

— Я выйду и стану на его след и буду идти по следу, не отрываясь,— сказал Руководитель.— Я спешу, ухожу.

Он вышел; его карета отъехала; быстро отлетающий стук колес, прогремев у подъезда, стал вскоре смутным жужжанием. Прислушиваясь к нему, Руна говорила с собой, сжимая руки, смеялась и плакала.

С той ночи стало медленно идти время. Ее тревога росла; неподвижное упорство человека, вынужденного ожидать пассивно, и, может быть, в те часы, когда ломаются самые острые углы тайного действия, скользящего по земле,— росло в ней костенеющей массой, мрачно сжимая губы всякий раз, когда ясно представляла она конец. По-прежнему мелькали среди ее дней улыбка или лицо Друда, данного, как бы навсегда, в спутники, но уже не так потрясая, не так сбрасывая могучим толчком, как то было недавно. Теперь смутно мерещилось ей, рядом с ним, другое лицо, но с неуловимыми и тонкими очертаниями, едва выраженными намеком беспокойного света, то пропадало, то появлялось это лицо, и она не могла отчетливо уловить его. Меж тем ее пораженная мысль двигалась по кругу, стиснувшему в себе чувство безотчетной утраты и тупой страх душевной болезни. Это состояние, усиливаясь, ослабевая и вновь усиливаясь, достигло, наконец, мрачных пустынь, в свинцовом свете которых гнется и кричит жизнь.

На второй день после того, как Друд, смеясь, перешел границу, раскинутую страшной охотой, Руководитель посетил Руну в последний раз. Как приговор, выслушала она его слова, не поднимая взгляда, лишь тихо перебирая рукой кисть веера; бледнее жемчуга было ее лицо. Казалось, сама ненависть, принявшая жуткий че-

ловеческий облик, сидит с ней. Его слова шипели и жгли, и он с трудом сквозь разорванное злобой дыхание, быстро, как выстрелы, бросал их:

— Не было ни одного момента в связи всех действий и слов наших, не проверенных с точностью астрономического хронометра. Друзья были приведены к молчанию; предатели выслежены и убиты; все негодное, бездарное в этом деле было обречено ничтожеству и бездействию. Мы предусмотрели случайности, высчитали миллионные части шансов,— больше чем исчисляет сама природа, производя живое существо,— сделали мы, но лучший момент упущен. Как, где, кем допущена ошибка? Еще неясно это; но что в том? Какую черту, какой оттенок мысли кого-либо из связанных с нами людей упустили мы или придали ей неточное значение? А? Я опять спрашиваю этот пустой воздух, когда он уже пуст и невинен, когда можно смотреть вверх только на птиц; когда струившее или слабое, или смущенное им сердце, покойно улыбаясь, ложится спать, тихо вздохнув.

Он умолк, и Руна подняла глаза. Но более испугалась она теперь, чем когда-либо в худшие минуты своего бреда. Само бешенство, с дергающимся синим лицом, сгибалось перед ней, и залипые мраком глаза неистово ссекали острым блеском своим вздрогнувший взгляд девушки.

— Мне нехорошо,— сказала она,— идите; все кончено. И все кончено между нами.

Вдруг слабым стал его голос; плечи поникли, взгляд потух, руки, растерянно и беспомощно дрожа, как будто искали опоры. Он встал осунувшись; вяло и тускло осмотревшись, скорбно повел он бровью и направился к выходу.

— Я только старик,— услышала девушка,— силы оставляют меня, слабеет зрение, и жизнь, данная на один порыв, восстанет ли опять стальным блеском своим? Я сломан; борьба вничью.

Он удалился, шепча и покачивая головой, в свете огромных дверей, делающих его старинную фигуру

легкой, как марионетка; забыв о нем, Руна сошла вниз. Ее вело желание двигаться, в то время как смерть была уже решена уснувшей ее душой. Но Руна не знала этого.

Она оделась и вышла, рассеянно кивнув слуге на вопрос, которого не поняла и не слышала. У нее не было цели, но двигаться среди вечерней толпы манило ее холодным отдыхом шумного и пестрого одиночества. Обычно сияли окна; дрожащие лучи моторов, обгоняя лошадей и людей, то ослепляли спереди прямо в глаза, то брызгали из-за спины, двигаясь и исчезая среди пересекающих теней. Густая толпа текла ей навстречу, раскальваваясь перед этим бледным и прекрасным лицом с точностью водораздела, обливающего скалу; небрежно и тихо шла девушка, не замечая ничего, кроме золотых цепей вечерней иллюминации, рассеивающей под небом прозрачный голубой газ. Временами ее внимание отмечало что-нибудь, немедленно принимающее гигантские размеры, как если бы это явление подавляло все остальное; газету, величиной с дом, женское или мужское лицо со страниц «Пищи богов», ширину улицы, казавшейся озаренной пропастью; щель или плиту тротуара, делавшиеся немедленно центром, вокруг которого гремел город.

Постепенно толпа становилась гуще и шире, в ней замечался некоторый беспорядок, разраставшийся в легкую давку. Слышались вопросы и возгласы. Сколько могла Руна продвигалась вперед, пока не была вынуждена остановиться. Под ее рукой шмыгали дети; ряды спин, сомкнутых перед ней, скрывали сцену или событие, вокруг которого установилось цепляющееся за любопытство молчание; если кто на мгновение обрачивался из переднего ряда, в его лице светилось сдержанное волнение.

С сознанием, что происходящее или произшедшее там каким-то особым образом относится к ней, хотя никак не могла бы сказать, почему это, а не другое чувство вызвано было уличным внезапным затором, Руна громко и спокойно произнесла:

— Пропустите меня.

Этот тон, выработанный столетиями, действовал всегда одинаково. Часть людей отскочила, часть, изогнувшись, вытолкнута была раздавшейся массой, и девушка вошла в круг.

Она не замечала теперь, что привлекала большее внимание, чем человек, лежавший ничком в позе прильнувшего к тротуару, как бы слушая подземные голоса. У самых ее ног блестел расползающийся кровяной развод с терпким, сырым запахом. Лежавший был прекрасно одет, его темные волосы мокли в крови, и на ней же лежали полусогнутые пальцы левой руки.

Безмолвно, глубоко и тяжко вздыхая, смотрела Руна на этого человека, уступая одну мысль другой, пока, молниями сменяя друг друга, не разразились они полной и веселой отрадой. В этот момент девушка была совершенно безумна, но видела для себя с истиной, не подлежащей сомнению,— того, кто так часто, так больно, не ведая о том сам, вставал перед ее стиснутым сердцем. Вдруг смолкли и отступили все, едва заговорила она.

— Вы говорите,— тихо сказала Руна, уловив часть беглого разговора,— что этот человек — самоубийца? Что он бросился из окна? О, нет! Вот он — враг мой. Земля сильнее его; он мертв, мертв, да; и я вновь буду жить, как жила.

Улыбаясь, осмотрела она всех, кто, внимательно шепча что-то соседу, сам пристально смотрел на нее, и, встав на колени, прижала к губам теплую, тяжелую руку умершего. Со стуком упала рука, когда девушка поднялась.

— Прости,— сказала она.— Все прости. В том мире, где теперь ты, нет ненависти, нет страстей; ты мертв, и я отдохну.

Она откинулась, обмерла и, потеряв сознание, стала биться в руках тех, кто, подскочив, успел ее удержать. Обычная в таких случаях суматоха окончилась появлением врача и вызовом собственного экипажа Руны, так как некоторые из толпы узнали ее.

* * *

Вот все, что надо, что можно, что следовало сказать об этой крупной душе, легшей ничком. Но еще несколько слов, может быть, совершенно удовлетворят пытливого читателя, думающего дальше, чем автор, и в одной истории отыскивающего другую, пока не будут исчерпаны все жизни, все любви, все встречи и случаи, пока кроткие могильные холмы, пестреющие зеленью и цветами, не прикроют жизни и дела всех героев, всех людей этого скромного повествования о битвах и делах душевных. Так, следуя за выздоровевшей, но совершенно забывшей все девушкой, отметим мы и ее брак с Квинсейм, твердою рукой протянувшим ей новые, не менее чудесные цветы жизни, и возвращение жизнерадостности,— и все, чем дышит и живет человек, когда судьба благоприятна ему. Только иногда, обращая взгляд к небу, где вольные черные птицы от горизонта до горизонта ведут свой невидимый голубой путь, Руна Квинсей пыталась припомнить нечто, задумчиво сдвигая тонкие брови свои; но момент гас, и лишь его тень, светлым эхом возвращаясь, издали шептала слова, подслушанные ли где, или возникшие чужой волей,— быть может, слышанные еще в детстве:

«Если ты не забудешь,
Как волну забывает волна...»

Леонид Леонов

Путешествия за горизонт

Моя дружба с Куриловым выгодно отличалась от обычных отношений повседневного приятельства. Изредка мы сходились для шутливых воображаемых путешествий за пределы видимых горизонтов.

Словом, это была наша с ним шахматная игра, и школьный глобус с проанными материками и морями служил нам шахматной доской. Все лучшее в этих партиях принадлежит Алексею Никитичу; мне — лишь неточности, побрякушки образов и упущения, неминуемые при пересказе.

На ближней дистанции, когда начался предпоследний тур мировых войн¹, мы с глубокой горечью мирились с ролью созерцателей, хотя там часто пригодились бы здоровье и силы двух лишних солдат. Я сожалею также, что у меня нет куриловского дара ясных и точных построений.

Так, я не смогу восстановить в памяти, в какой хронологической последовательности произошли восстания венгерских и галицийских крестьян, поддержанных социальной революцией в центре Европы, но помнит сердце, как пылко откликнулось им на Сьерра-Неваде; и пока могучая держава торопливо, всеми юбками, тушила и топтала этот человеческий пожар, обжигавший ей бока, она получила смертельный нож в спину от своего недремлющего соседа.

¹ В тот период, кроме А. Н. Курилова и, изредка, Алеши Пересыпкина, на наши бдения заходил П. И. Смирнов, который помогал нам уяснить детали предпоследнего столкновения.

Дальше началось неописуемое рукоприкладство. Эти войны были длинны и опустошительны. Самый ужас их со временем вырождался в гнетущую скуку. Сражения походили на клуключение первозданного расплавленного вещества, и поражала способность человеческого сознания выдерживать даже такое испытание. Наконец, стало так жарко, что потребовалось скинуть совсем потрепанный фиговый листок буржуазного гуманизма. (Кстати, эта штука была изобретена еще в ту пору, когда полевая пушка не делала и выстрела в минуту.) Бывали случаи, когда враждующие стороны в одну ночь обращались в кладбища и трупные бочонкообразные черви становились единственным населением благословенных долин. Были примеры, когда безумие застало двух вооруженных друзей-держав на ночлеге, и один с легкой дрожью изумления просыпался в брюхе другого. Кратковременные передышки и мирные сны процветания не обманывали уже никого: дьявол любит казаться ласковым. Время от времени начинались эпидемии бегства в Советский Союз, и требовались заградительные кордоны на границах, чтобы остановить поток одичавших людей из полыхающего дома. Старая эра умирала трудно, и древнее ложе земли содрогалось под нею.

Азию постигли наиболее крутые перемены. Великая желтая страна, которая века защищалась лишь бездорожьем да непротивлением бронированному злу, сама схватилась за упущеные поводья судьбы¹. Это горемычное место колониальных грабежей и бессовестных накоплений подверглось почти физической переплавке. Громадный народ, никогда не знавший, сколько его есть, сдвинулся с места. Еще ни разу в истории закон численности не играл такой роли. Судя по легендам, которые мы застали пятнадцать лет спустя, великий национальный полководец² проверял наличность своих

¹ Одна восточная держава окончательно заглотнула Китай и даже перенесла на материк столицу, но кусок был громаден, он взорвался, и чрево расплзлось по швам, и организм изменил свою социальную форму. Случилось это, разумеется, не сразу, и можно было по частям наблюдать этот поучительный процесс.

² Благодарный народ наградил его столькими поэтическими эпитетами, что собственное его земное имя потерялось между ними, как в небе утренняя звезда. Но этот миньень, человек из народа, происходил с порожистых верховьев Ян-Цзы-Киянга, и в просторечии все называли его именем великой китайской реки.

повстанческих полчищ испытанным способом чингисо-вой матери. Он всходил на гору, и если все до горизонта заполнялось живою колеблющейся лавой, он считал, что войска его в целости. Такой и установился расчет: первый круг неба, второй, пятый... Нельзя было придать какие-нибудь подразделения этой тьме разгневанных людей. Ян-Цзы дал знак, и они двинулись в поход. Облака летучего лесса, хуан-ту, заслонили солнце. Народные певцы вскричали, плача, что Вань-Суе-Ян-Цзы скомандовал ночь, чтобы поработители не подсмотрели с неба. Сперва много лет бились внутри страны, а потом перешли на границы. Самым кустарным образом подвергалось избиению все, что спускалось с воздуха или высаживалось с моря. Карательная коалиция, куда за исключением Советского Союза вошли все, вплоть до мелких залетных пташек, отступила. Беззаботный героизм всегда сопутствовал освободительным войнам, но не было ничего рационального и доступного учету в стихийной атаке Ян-Цзы. Народ, всегда умевший работать, голодать и презирать опасность, не считал трудодней в свою героическую десятилетку подъема¹. Это был наиболее емкий на сенсации век, и самая неожиданная из них имела будничный оттенок. После срока, который сократят или удлинят потомки, наступила одна ночь: петух переправлял свои сокровища в Среднюю Африку, и лев на острове Маврикий с урчаньем зализывал свои обрубки. Все перемешалось. Никто не протестовал, когда в эту пору конвульсивных поисков опоры Голландская Индия неторопливой походкой устрицы вошла в великую островную империю; никто не удивлялся, когда малайская революция вытолкнула ее и оттуда. Похоже было, что историческая роль Атлантики как цитадели деспотов уже угасла. Наш Океан давно стал ареной мировой деятельности народов. Полушария поменялись местами, и стал называться Новым — Старый Свет. Варвары, последние варвары земли, теснились, как они делали это всегда со

¹ Стремясь объединить свою культуру с западной, молодой Китай и выстроил ту дорогу на северо-запад, которую мы посетили с Куриловым в начале главы. Так как проблема водных коммуникаций между Востоком и Западом была затруднена пиратством неприятельских армад, таскавшихся по океанам, потребность в этой внутренней магистрали окончательно созрела.

времен Александра и Миниамуна. Одно время Старый Свет служил постоянным двором для беглых королевств и республик. Опасность и вынужденное соседство заставили их искать сближения между собою, но братание буржуазий не состоялось. Последовал передел империалистических материков; некоторые из колоний без особой гордости приняли имена бывших метрополий. Жизнь в этих странах складывалась исключительно своеобразно¹. Старость, как и в жизни индивидуума, усилила и подчеркнула черты юности. И оттого, что орудия подавления масс действовали безупречно и бесперебойно, это полушарие двигалось все время при перегретых котлах... Словом, ко времени первой решительной схватки двух миров граница между ними проходила от Камчатки через Формозу на Яву, на Дели и Аден, по вогнутой кривой, через пески, на Монровию и дальше вверх по восьмому меридиану, считая нулевым проходящий через острова Верде².

Мы долго не знали, произойдет ли это грозное столкновение или переустройство планеты будет следствием сотни мелких социальных взрывов. Почему-то Алексей Никитич держался этой осколочной теории. «Халло, не пугайся, доброе человечество. Главное

¹ Ученые-исследователи когда-нибудь более подробно осветят историю возникновения и развития самой популярной организации Старого Света — General — Providence Trust. В своем первоначальном виде — частная артель сыска и нападения, она оказала финансовым владельцам двуглавого материка некоторые секретные услуги, была легализована и превратилась в крупнейшую контору всяких комиссионных поручений. Этот тысячечерукий левиафан брал на себя любые предприятия, от организованного похищения детей до избиения держав-малюток, уцелевших кое-где на материке. Председатель фирмы м-р Д. Макези имел самую толстую совесть, и оттого, что всегда гревовны тайные помыслы людей, он за недорогую плату принимал на себя претерпевания всего мира. (Война южноамериканского типа, например, стоила по каталогу всего в двести раз дороже отрыва ноздрей у какого-нибудь конкурента.) У меня в записной книжке сохранилось несколько рекламных объявлений этой фирмы.— «24 процента наших акций у священнослужителей. Почитайте библию, и вы поймете, кого вы приобретаете в сообщники!» — «Вручая нам деньги, вы делаетесь пайщиками рая («Per dise 111 estors» и др.)

² На международной географической конференции, состоявшейся за восемь лет до большой войны, принято было за нулевой считать меридиан Верде, как разделяющий континенты поровну на два полушария.

уже произошло¹. Я взбунтовался; поэту в равной мере, что и политику, требуется пророческий дар для предсказаний на таком расстоянии. Впрочем, мы сошлись на том, что важна конечная цель, а не предварительные варианты. Итак, разность двух классовых потенциалов сдвигала их все теснее, пока не начал действовать механизм физического притяжения. Несмотря на искусное лицемерие послов, континенты жили недружно². Правительство Северной Федерации Социалистических Республик до конца придерживалось миролюбия. Это не было боязнью; тылы и резервы ее были неисчислимы. Сдержанность происходила из уверенности, что каждый день ослабляет противника и облегчает его будущий разгром. Кроме того, не только проигрыш, а и неполная удача повлекла бы чрезмерное потрясение культуры. Человекоубийная промышленность процветала, а штабы еще не обнародовали своих секретных достижений. Творцы новейших доктрин о дешевой войне давно осмыслили манеру нашего времени раскидывать горы металла в расчете лишь на механическое поражение осколками³. Кадры войны росли. При требованиях пространственной стратегии, поражавшей врага на всем его расположении, даже механизирован-

¹ Он рассердился на меня, когда я приписал ему эту мысль с целью выудить из него секретное признанье. Он сказал лишь, что ни Маркс, ни Ленин никого не убаюкивали насчет невеселых перспектив капиталистической эры.

² Неоднократно на территории Федерации происходили странные и неуместные несчастья. За три года до малайского инцидента произошло гомерическое нашествие вшей в районе Бордо. Отличной породы, плоды многолетней селекции, заслуженно названные именем Монтекуколли, изобретателя бактериологической войны, они ползли на поселения в количествах, заставлявших вспомнить знаменитые гигиенические подати Монтецумы. Они шли плотным фронтом, эти подвижные ампулы с сыпняком, очень стойкие, не подверженные грозным случайностям насекомой судьбы. На некоторых, покрупнее, были обнаружены микроскопические клейма с надписью: «Бог да покарает вашу скучу!» Уровень санитарной техники исключал всякие последствия этого нашествия, справедливо расцененного современниками как хулиганский шлепок по плечу.

³ В Верденской операции (во вступительной войне предпоследнего империалистического тура — 1914—1918) требовалось полторы тонны металла, чтобы вывести из строя одного бойца. У римлян же убийство человека обходилось только в 12 коп. (энергия в 3 кгв., необходимая на добрый взмах меча).

ная война требовала участия огромных масс, а господа тем более страшились своих рабов, чем упорнее они молчали. Ходили слухи о существовании в Старом Свете каких-то установок, болваниящих и таким образом обезвреживающих солдат¹. Была достигнута также возможность с больших расстояний управлять механизмами истребления, которые видели вокруг себя и отсылали хозяину визуальное изображение поля битвы. Синхронная скачкообразная шкала волновых длин исключала всякую возможность постороннего вмешательства. Приемный инструмент, названный «Механическим полководцем», внешне был устроен по принципу мушиного корзинчатого глаза; тончайшие нервы сливали воедино разрозненные и зашифрованные теледонесения. Точно так же пугали наличием особых снарядов, прославленных под именем «летающих глаз»; они сами руководили пристрелкой, не требуя прямой корректировки, и, хотя при той застроенности промышленными предприятиями нельзя было промахнуться и вслепую, неприятель имел возможность выбирать объекты². Наконец, почти накануне конфликта, в арсеналах Эджвуда, на родине старомодного льюизита, родился патриарх убийц, студенистый газ. Он имел способность рас-

¹ Передовая в «Известиях Кантонского совета», напечатанная в день прибытия нашего туда. Это и были известные Деттеровские камеры.

² Одно время мы с Алексеем Никитичем превратили себя в лаборатории и опытные заводы. Мы не стеснялись изобретать. Мы строили орудия для обстрела из полушария в полушарие; особые тупоплавкие пули, достаточные пробить полк, если выстроить его гуськом; подводные линкоры громадных скоростей. Про них сказали бы, что они ходят в ухе, намекая на рыбу, убитую разогревом воды. (За счет температуры работали внутренние охладители.) Мы выдумывали атомные рассеиватели вещества, при воздействии которых, испытывая подобие щекотки, человек растворялся в улыбающееся ничто; мы запускали танки вторжения на газе из всякой древесной дряни (— они двигались, пользуясь подножным кромом, пожирая леса, выдирая половицы из каменных домов, прокладывая по планете страшные просеки войны); мы вставляли человечеству особые газоупорные пробки в ноздри и уши, чтобы уцелело что-нибудь, и девушки земли обмазывали огнеупорной глиняной гадостью, чтобы сохранились матери для продолжения человеческого рода. Так было, пока занятия эти не показались нам отвратительными, и мы зачеркнули все. Наравне с техникой главным оружием Федерации мы сделали идейную человеческую закалку.

ти за счет и дождевой влаги и сока своих жертв¹. Не существовало посуды для его перевозки; нашли способ путем комбинированного обстрела создавать его на месте поражения. Он был назван «суб-девилитом» как бы в угрозу, что еще поострее припрятан за пазухой нож². Она надвигалась неотвратимо, улыбающаяся ведьма войны.

...погода мечты всегда благоприятна для путешествий. Наши предшественники описывали в стихах легкие чудесные страны, залитые солнцем, с блаженными долинами, полными мудрецов, детей и яблонь. Кто-то мечтал и о нашей эре! Итак, мы не раз с Куриловым обошли эти печальные развалины, средоточие вчерашней цивилизации. Кровь из Европы была выпущена, и она долго лежала бездыханная, как исполнинское, дурно заколотое животное, об одной ноге и носом в Гибралтар. Мы заходили в заброшенные города, строенные по последней моде капитализма³; мы спускались в города подземные, куда люди прятались от ужаса и солнца; наконец, мы видели вовсе сметенные военною бурей города, похожие сверху на срезы громадного мозга, в извилинах которого долго бушевало безумие. Не осталось даже Иеремии оплакать эти подлые кирпичи. Среди полыни и раскиданных плит бегают маленькие ящерицы, бродят кладоискатели в поисках зарытых сокровищ, да роются археологи, стремясь по

¹ Знаменательно, что химики Нового Света еще отрицали самую возможность создания так называемых «коллоидальных газов», а в Старом их уже употребляли при подавлении восстаний. Впоследствии суб-девилиту приписывали такое же революционное значение, как хотя бы открытию красного ализарина в 1869 г.

² Мы видели его действие в бамбуковой роще под Такао. Издалека заметно было его слабое спектральное свечение, как будто тысячи спутанных радуг опустились на местность. Мы вошли в глубь этого поучительного гербария. Все заколыхалось вокруг. Было ощущение, что он видит нас и содрогается от смеха.

³ — с дождевательными антеннами вдоль улиц, на случай дегазации, с сотнями механических глаз и ушей на кровлях, с автоматическими батареями, которые сами наводились на тепловое излучение авиамоторов, с вместительными баллонами искусственного тумана, почти мгновенно одевавшего город покрывалом под цвет почвы или воды, если город стоял у моря. И уже не смешным кажется эпизод из газет того года, когда свирепая пальба была открыта по стае вечерних галок, и весь Нидерланденштадт зарылся в гадкий зеленоватый дым.

останкам соборов, тюрем и дворцов восстановить разбойные отношения предков. Зимой дымится снег, а летом каменная пыль. Она ест глаза, они текут. Столицы молодых советских республик возникали в стороне от прежних очагов, как будто новая мысль страшилась жить в домах, где происходили такие убийства... (Мы посетили также и Москву. Новая столица давно передвинулась на восток, а она еще жила на пенсии веков, почетная музейная старуха, Мекка научного социализма, подпольщица всемирного возрожденья. Мы окружили ее пояском садов и кварталами нового города, как старый Кантон и средневековый Лондон. Мы нежно любили этот город...)

Мы исходили много побережий в поисках места для главной из четырех столиц нового мира. Мы поместили ее под Шанхаем¹, невдалеке от места двух последних поединков. Исторически и географически это был величайший перекресток земли². Этот город мы назвали безымянно Океаном, потому что в пространственном этом имени заключено материнское понятие в отношении всякого ранга морей, в свою очередь, соединенных братскими узами каналов и рек... Неоднократно, смешными провинциалами, мы посещали это место. Мы поселились во временной рыбацкой стоянке на берегу, но адрес наш звучал романтично и гордо: «Океан, Набережная Ян-Цзы, 1035». Страшась уличных чудовищ, нами же изобретенных, мы выходили только ночью... Я не знаю, с чего начать описание этого города. Это была прежде всего столица людей, которые летают естественно и без усилий; старинная тенденция архитектуры заботиться о виде сверху получала здесь окончательное и стройное завершение. Там было много турникетов, воздухоплавательных аппаратов в виде речных байдарок, от одного вида которых

¹ Большинство городов было переименовано в память героев или событий или же по климатическим признакам. Мы оставляем их старые названия, чтобы не сбивать с толку путешественников, которые отправляются туда по нашим картам.

² Мы собрались заботливо и нежно обсадить его набережные магнолиями и стрелициями; потомки независимо от нашей воли засадили побережье хей-суном, бай-го и высокими стрельчатыми нальму. Нам остается согласиться, что это неплохо!

поташнивало, зданий с глазурованными скобами на дверях, похожими на причалы для океанских кораблей; многоярусных улиц в официальной части города, получивших здесь третье свое измерение; уборных с фамилиями всех палачей китайского народа в сточной канаве, начиная от Сун-Чуан-Фана, Янг-Ху и Чжан-Чжуй-Чана; громадных лун высокочастотных дисков, истребляющих всякую мушиную нечисть, и много другого, засоряющего память. Наверно, там было достаточно и диковинок, но мы не замечали их, потому что самые чудеса служили человеку верно, как собаки¹.

Но так же, как, создавая богов, дикарь наделял их человеческими свойствами, мы не сумели создать племени, отличного от наших современников. Там тоже были в должном количестве и лентяи, и завистники, и дураки. (Я оговорюсь в защиту Курилова: Алексей Никитич категорически отрицал в городе будущего и пыль, и мух, и несчастные случаи, и даже то нормальное количество мелких пакостей, какое неминуемо во всяком человеческом общежитии.) Мы отметили равным образом, что мальчишки всех времен одинаково нестерпимы. (Хотя иногда они служили нам гидами и наша восторженность была им щедрой платой за этот не очень тяжелый труд.) Словом, бывали часы, когда мы почитали себя оказавшимися вне закона.

Случилось, я заинтересовался с научной точки зрения гудением в непривлекательной уличной дыре, и меня втянуло в гигантский магнитный пылесос. Двадцать семь минут, распятый, я провисел на проволочной сетке, облепленный всяким мерзейшим сором. Руки мои искрились, и солоноватый привкус долго оставался на языке. Курилов, пытавшийся меня спасать, оказался рядом со мною, вроде Вараввы. Толпа зевак, мальчишек, уличных фотографов, этой публики третьего разряда, окружила нас. Напрасно я кричал им, что друг мой Алексей Никитич является начальником политотдела большой дороги, а следовательно, и на меня распространяется сиянье его святости. Ничто не

¹ Алексея Никитича, между прочим, удивило количество простых, старомодных парусников в заливе.

помогало. Няньки показывали на нас своим детишечкам, как на плененных обезьян. Другие ребятки, постарше, летали мимо нас на каких-то жужжащих машинках, вроде наших медогонок. Не очень метко они плевали мне на шляпу. (Было смешно узнать впоследствии, что не шляпа моя, а дымящая трубка Курилова была причиной экскурсии к месту нашего совместного унижения. О, старая, обуглившаяся с одного края куриловская трубка, неизменная спутница наших путешествий!)

...Однажды в январе, в девятнадцатую годовщину убийства Ян-Цзы, в пору, когда малайские реки вздуваются и юго-западные ветры сеют туман, на архипелаг последовала новая диверсия Старого Света. На Яве, в центре Малайской народной республики, произошло восстание, захватившее и смежные острова. Объявился диктатор, называвший себя Абонг-Абонгом, по имени потухшего вулкана на Суматре¹. (Многим тогда не давала покоя слава великого Ян-Цзы!) Уничтожению подверглось все, что сочтено было зараженным идеями с континента, даже пальмы, псы и хижины бедняков. Туземных коммунистов рубили вручную, и саравакский вождь шутил с мрачной наивностью Пигафетты, что ствол их травянист, как у банана, и изобилует липким красным соком. Революционные партии и отряды территориальной обороны отступили на Суматру, унося с собой тела погибших.

¹ (Подробности принадлежали мне.) Курилов хмуро встретил появление Абонга:

— Что он за человек?

— Он происходил из зажиточных обывателей Саравака. Он называл себя Абонгом в том смысле, что, дескать, «пробудился малайский вулкан». Впрочем, туземцы называли его Мия — Оранг-утангом. Его темперамент объяснялся экваториальным происхождением, мешанской стихией, которую он возглавил, и откровенным жетоном с буквами Д.П.Т.—Джеперал провиденс трест, созревший для мировых предприятий, получил от могущественных клиентов заказы на билитонское олово, саравакскую нефть, золото, медь, сурьму и другие чужие предметы. Словом, это была подставная фигура.

— Нам тоже подставляли и Врангеля, и Колчака, однако не вышло! Как могло случиться все это?.. Утеря бдительности?.. Распад в низовых звеньях?

Я смог лишь привести примеры, когда история оказывалась самоучителем ошибок.

Весь мир оцепенело глядел сюда. Каждый газетный лист окрашивал пальцы заревом сообщений; они казались выпачканными кровью. Резня вызвала волну гнева по всей Северной Федерации Социалистических Республик. Бесчисленные толпы стояли на площадях с обнаженными головами, пока на телезреканах проносили красные, по десять в ряд, дощатые гробы. Безмолвие зрителей нарушалось истериками женщин и ревом перегруженных репродукторов. Горе смыло расовые отличия: лица белых, черных и желтых были одинаково-го пепельного цвета. То были самые грозные похороны в истории людей. Почти полтора миллиарда человек незримо участвовали в процессии. В траурную ночь было запрещено пользоваться эфиром как для передачи представлений, так и для хождений в гости по радио, а города были лишены освещения. В этой первобытной мгле, спустившейся на материк, белая мать из Дублина оплакивала желтых детей с Борнео. Утром массы потребовали военного выступления. Они дефилировали по улицам с ужасными муляжами отрубленных голов и рук, с лозунгами: хотим на Борнео. Кое-где несли вверх ногами портреты новейших теоретиков войны, прославившихся без выигранных сражений. Азия вспомнила древнюю монгольскую поговорку о верблюде, который не шевельнется, пока волк¹ не сожрет половину его ляжки. Правительство медлило, то ли сберегая силы, то ли накапливая ярость масс.

Нападение застигло врасплох: никому Океания не представлялась плацдармом для столкновения. Незадолго перед тем торговые самолеты, курсировавшие на линии Фиджи — Капштадт — Лима, сообщили о сосредоточении флота Старого Света (так называемого Флота Прямого Действия) в районе Новой Зеландии, но морские маневры полосатых² у берегов Федерации стали обычным явлением: Старый Свет прикидывался охранителем суверенности Филиппинской народной республики³. Последовательность событий была так

¹ Намек на вице-президента Д.П.Т. Джонатана Вольфа.

² Соединенный флаг будущей коалиции был испещрен шестью цветными полосами, по одной на каждого из участников.

³ Коксовый глицерин для взрывчатых веществ, хромовые и железные руды.

стремительна, как будто развернулся свиток и со всеми иероглифами ужасов упал к ногам¹. И хотя дипломатические отношения еще не были прерваны, следовало ждать продолжения в виде воздушных десантов, которые захватом опорных точек должны были обеспечить успех высадок с моря. В день похорон на Суматре посол Старого Света, весь в поту и озираясь на окна, за которыми шумела демонстрация, информировал наркома Внешних Сношений, что малайское недоразумение произошло из-за неурядиц в Д.П.Т.², что эскадры Флота Прямого Действия уже вышли в поход с предписанием навести порядок на островах³, арестовать Абонга и произвести расследование дела. Все это была сплошная наглость, которой он трусил и сам, хотя его самолет и дежурил на крыше посольства, готовый к отлету. Народный комиссар, японец по национальности, учтивость которого вошла в поговорку, не прекращая беседы, позвонил в Верховный Военный Совет с вопросом, не пора ли ему, наконец, выгнать этого тучного и вонючего лицемера⁴. В ту же ночь произошел провокационный взрыв посольства, искромсавший полквартала в Кантоне. Владыки двухголового материка не щадили средств для скорейшего развертывания событий.

На рассвете 18-го над бухтами Сиамского залива появились массы легких бомбардировщиков. Ночь была холодная, море бурное. При первых залпах зенитных батарей на берег поползли танки и, еще наполовину в воде, открывали огонь. Громыхая гусеницами, шаря причальными крючьями впереди себя, они (казалось при орудийных вспышках) отряхивались от воды, пре-

¹ 11 января — захват Борнео, Явы, Целебеса и Джилоло.
16-го — похороны жертв на Суматре.
17-го (в ночь) — взрыв посольства в Кантоне.
18-го (утром) — захват Суматры Абонгом-Миа, внезапные нападения на промышленные районы Европы, взрыв в Нидерландах, бешеный разгром авиабаз на Формозе, выход неприятельских подводок на пути европейских коммуникаций.

² М. Мекези, глава компании, незадолго перед тем отправился к Богу отчитываться в содеянных злодеяниях.

³ — Это в чужие-то воды! — усмехнулся Курилов.

⁴ Вопрос о мобилизации восточных округов Федерации был уже решен, и телефонная беседа служила лишь средством выразить состояние души.

жде чем ступить на сушу. Хотя иные из них не останавливались и после нескольких попаданий, первая фланга была смята артиллерийским огнем. Один полез прямо на батарею; его, вставшего на хвост, расстреляли в упор, но никого внутри не оказалось, кроме исковерканных механизмов... Вторая цепь была поддержана артиллерией крейсеров; их силуэты лениво двигались в моросящей мгле. Потом на бреющем полете пошла штурмовая авиация, сея смерть и что-то скрывая в плотной своей массе. Истребители обороны рванулись навстречу и были скомканы превосходством сил. Качаясь на высокой волне, щетинясь змеевиками ручных пулеметов, к берегу двинулись моторные баркасы. Точно разрубленная пополам, штурмовая авиация распахнулась, и в щель прыгнули десантные батальоны; их приземление произошло уже за пределами проволочных заграждений. Километровая полоса была захвачена в 17 минут. Прошли четвертая и пятая волны танков, и все еще было неизвестно, сколько их прячется на дне залива. Воздушный десант разделил обороняющихся на две части; сопротивление было подавлено. Уже через сорок минут на побережье скопилось свыше 50 000 пехоты при тысяче танков. Саперы забивали последние гвозди в сухие сходни, когда, тихо покачиваясь на зыби, подошел первый океанский транспорт Президент. Из его чрева, урча, пошли бронированные чудовища; воздух содрогался, и рев бури казался лаем шавки, запутавшейся в ногах. С прежним успехом произошел второй воздушный бой; ничто не помешало разгрузке новых транспортов с топливом и оборудованием для постройки сухопутных аэродромов. Час спустя началась бомбардировка Пном-Пенха и Банама-на-Меконге. Схожие операции произошли на Кохинхинском побережье. Штурмовые канонерки совместно с авиацией форсировали все три русла Меконга. Индокитай был занят, война вторглась в цветущую страну¹.

Главные силы Флота Обороны и Маневра (как и восточные эскадры Федерации) не покидали своей постоянной базы, Средиземного моря. На полукиломе-

¹ Мы заимствуем описание этой атаки из «Известий Кантонского совета», № 22 (6 757).

тровой мачте в Гибралтаре (для прямой, ультракороткой связи с судами), поникший, в безветрии, висел крепостной флаг. Командование Федерации выжидало минуты, когда определится направление главного удара. Проливы азиатских морей были закрыты. Японское море превратилось во внутреннее. Надводные корабли и самолеты вышли на охрану побережий. Стратопланы, как видения, носились между материками. Газеты прошумели о подвиге командира авиационной бригады, корейца, с боем совершившего глубокую разведку в сторону Полинезии. Федерация молча принимала удары, и такое поведение было на руку Старому Свету. Полосатые считали, что наиболее выгодные военные маршруты открываются через покорение Азии. Только отсюда можно было постепенно продвигаться на запад. Густая сеть промышленных предприятий и вооруженное рабочее население исключали возможность быстрой оккупации Европы. Упорной разведкой вдоль западных побережий, посылкой диверсионных партий¹, созданием множества второстепенных театров войны Старый Свет старательно поддерживал эту псевдоуверенность, что весь удар с востока — лишь умыщленная и недальновидная демонстрация.

Одновременно с атакой в Индокитае, и стремясь запутать дело, полосатые задумали крупнейший фланговый удар в Центральной Африке, направленный к тому, чтобы перенести операционное направление в Европу. Они сосредоточили здесь значительные южноамериканские войска. Командующий Флотом Обороны и Маневра Георг Швингт, под носом у которого состоялась переброска военных транспортов, был смешен и

¹ 4 марта, пользуясь дождливой ночью, восемь танков-амфибий высадились с подлодок под Нью-Кэстелем и двигались по шоссе, ни в ком не вызывая подозрений. Им козыряла охрана, и детишки, идя в школу, заглядывали в щели их бойниц. Осведомленный о расположении ПВО, неприятель последовательно приступил к действиям, устраивая пожары вблизи объектов, подлежащих уничтожению. Через два часа появились эскадрильи, их работа заняла всего полчаса. Пользуясь замешательством, танки успели погрузиться и уйти, за исключением одного, который, вломившись в ангар, в упоении давил самолеты и прожектора. Такие же глубокие рейды к очагам промышленности были повторены в Гавре, Гамбурге, Риге и на Гельголанде; позже они уже не имели такого успеха.

отдан под суд. Нейтральная среднеафриканская держава, носившая имя прежней метрополии, с готовностью вдовы подчинилась насилию¹, хотя ее морская торговля и терпела ущерб от подлодок у Атлантического побережья. Сам начальник экспедиционной армии генерал Грегор до конца высадки не знал объема и характера операции. Дойдя до развалин Аршамбо, он ожидал сигнала двигаться из Хартума и дальше, наперерез Красного моря. Вовсе не захват нейтрального Судана или Египта был целью этого трансафриканского рейда. Она заключалась в том, чтобы тотчас после диверсии в Суэце² переправиться на смежный Аравийский полуостров, молниеносно проникнуть к северу³, ворваться в южно-русские степи и отсечь Европу и Северную Африку от Нового Света. Фантастичность замысла должна была служить ему маскировкой, а плацдармом — могущие тылы Юго-Восточного Африканского Союза. Поход начался; стопятидесятитонные песчаные линкоры поползли вдоль электрифицированных верховьев Нила, руководя тысячами телемеханических танков⁴. Армии двигались в этой стальной крепости, и крылья могущественного воздушного флота служили им надежной кровлей против коварства военной судьбы. Но сuezская диверсия не удалась⁵. 11-я эскадра Флота Обороны и Маневра обошла Красное море и, оставив крейсерское охранение, воротилась на Мальту.

Тогда, во изменение стратегического плана, ген. Грегор перенес направление на Каир, вдоль знаменной магистрали трех К. Главная цель оставалась прежней, хотя и в меньшем объеме: пройти через Балканы, разбудить задремавшие шовинистические страстишки,

¹ Впрочем, она успела сказать вдовье «ах-ах», когда двухмиллионная армия Юго-Восточного Союза прошла через ее территорию на соединение с Грегором.

² Чтобы преградить доступ Флоту Обороны и Маневра.

³ В намерении было поднять по дороге магометанский мир. Пожар в Аравии мог стать прежде всего лозунгом для отсталых мусульманских дивизий, принудительно набранных в Судане. Древний путь Магомета совпадал, таким образом, с путями иракской и кавказской нефти.

⁴ Они начинялись взрывчатыми веществами, так как в самой идее их создания было посыпать их на верную гибель.

⁵ 26 апреля.

покарать Турцию за старинную дружбу с Федерацией.¹ Трехмиллионная армия, заходя машинами с левого фланга, из пустыни, с малыми боями продвигалась по Нилу; вернее, североафриканская армия обороны не мешала ей в этом¹. Экспедиционные полчища находились уже в двухдневном переходе от Абу-Хамеда, когда внезапно внушительные отряды федерационной армии под начальством некоего командарма Фейзи появились у Адена и в тот же день переправились в Сомали, крайний север среднеафриканской державы. Ее посол закатил дипломатическую истерику в Кантоне, но улика в два миллиона чужих солдат мешала ему придать негодованию оттенок искренности. Оставалось или вступать в войну, или, воспользовавшись гарантией Федерации о неприкосновенности границ, прекратить питание оккупационной армии через Кабинду. Боясь друга не меньше, чем недруга², держава решилась на вторую меру, и тотчас же Южно-Африканский Союз выставил вторую армию на ее границы³. Страшась охвата Фейзи, Грегор потеснился в Ливийскую пустыню. Ему было плохо. Регулярные налеты каирских самолетов прервали сообщение с Южной Африкой по восточному побережью. Все эти автоматические крокодилы, железные носороги и механические гарпии сидели посреди песков, под яростными ливнями, на голодном пайке, который кое-как еще тащился из Гамбии на Тимбукту старинной караванной дорогой через оазисы Тинтума и Мо-Мо. В войсках вспыхнуло брожение, начались эпидемии, машины были брошены. Стai хищников таскались по следам неудачных завоевателей; облезлая их шерсть начинала глянцеветь. Командующий нервничал, требуя от солдат подвига — продержаться до прихода помощи, хотя благоразумнее было надеяться на чудо, которое и произошло. Дошли слухи о междоусобной войне в войсках Фейзи. То ли соблазнила

¹ Даже когда Грегор стал взрывать шлюзы, чтобы прекратить доступ судам речной обороны, североафриканская армия не дала ему отпора, и это насторожило его.

² Нам помнится карикатура из бирмингемской «Си-Воркер», изображающая неудобства хозяина, в квартиру которого ввалились два миллиона гостей с пистолетами.

³ В качестве вооруженного коридора для питания Грегора.

перса возможность воссесть на древнее Аксумское царство с его сикоморами и бруссонециями¹, то ли из обиды, что им командует совсем незнатный узбек из-под Чарджуя, но он задержался здесь со своими корпусами и впредь до показательного суда расположился среди нагорий прекрасной Кафы. Грегор двинулся к нему на поддержку и отдых; их совместная жизнь потекла, как баллада², и так длилось, пока северная армия обороны не поставила их снова в стесненные обстоятельства.

Тогда, не ослабляя натиска в Индокитае, умножив число вторжений в Европе, вызвавших милитаризацию стокилометровой прибрежной зоны³, главное командование решилось на помощь Грегору. Из австралийских портов на крупнейших океанских лайнерах было двинуто в Африку до шестисот тысяч человек с самой мощной техникой. Караван, окруженный могучим конвоеем, пробирался на Момбасу, разведочные эскадры ощупывали путь. Вторая партия готовилась к погрузке. Незадолго перед тем подлодки вышли к о. Сокотре, в воротах Аденского залива, чтобы преградить Флоту Обороны и Маневра выход в Индийский океан. Случилось, однако, — часть из них была потоплена самолетами, а другая, загнанная под воду и истощившая свой подводный ход, захвачена в плен. Тотчас после этого...

Оглядываясь на эти передвижения исполинских и еще не существующих армий, мы напрасно искали с Куриловым неотразимых героев, эффектных военных афоризмов, головокружительных баталий в стиле Учелло и Сальватора Розы, — всей той мишуре, какою, бывало, украшали кровавый хаос сражений. Правда, мы встречали удивительных бойцов и запомнили много героических эпизодов, но тридцать шесть миллио-

¹ Фейзи носил имя известного когда-то иранского поэта и, может быть, поэтому не лишен был воображения. Позже в социальном положении его предков были отысканы причины этой измены и двурушничества.

² Грегор вспоминал в мемуарах, что это были самые приятные минуты в его жизни.

³ Прибрежные маяки были потушены, моря вымерли, города погрузились во мрак, люди жили украдкой. Мы проходим с Куриловым среди бронированных холмов. Какая-то простреленная луна блестит на мокром бетоне. Мы грустно говорим друг другу: в ой на, в ой на!

нов вооруженных людей, единовременно поражающих друг друга, не могут стать предметом восхищения ни историка, ни поэта. Для народов Федерации это был прежде всего тяжелый, черный труд. Громадная родина посыпала своих сыновей не для ограбления слабейших или присвоения чужих богатств, и оттого подвиги их были лишь долгом, исполненным до конца. Огромные массы людей, одетых в цвета войны, толпятся в моем воображении. Я выбираю одного, чтобы проследить его судьбу. Его зовут Самюэль Ботхед, он негр, ему тридцать восемь. Его биография еще не была закончена, но мы-то с Куриловым знали, что его прославят люди и скажут, что при Шанхае лицо его было черно, как солнце в гневе. Нам давно хотелось посетить его, и пока мы собирались, Ботхед стал во главе средиземноморского Флота Обороны и Маневра, на смену осужденного Швингта. Мы пришли к нему на стоянке в Адене, прямо на флагманский корабль Ленин под видом корреспондентов все тех же «Кантонских известий». Около часа мы высидали в хорошо изолированном помещении, пока по радио выясняли наши личности¹. По счастью, в комментариях к толстому тому, изданному на потребу академиков, нашлись схожие фамилии Крылова и Леонтьева... Нас провели к нему в салон, его библиотеку, составленную из старых математиков войны вперемежку с Шекспиром. Ветерок, струясь в иллюминатор, шевелил нитяные ванты на модели старинного стопушечного фрегата. Мы сели, я объяснил нашу потребность; у Ботхеда нашлось такта не удивляться ничему. Он придинул нам воду, табак и пепельницы. Нас часто прерывали; и хотя все здесь бы-

¹ Алексей Никитич сердился:

— ...садитесь сами, если вам потребно, в этот канатный ящик (то есть в помещение, где хранится якорная цепь, то есть в кутузку) и увольте меня от ваших художественных подробностей!

Я разделял его негодованье. Там было темно, стояла вонь, щуршили крысы и капала соленая вода. Кроме того, тот же материал, из которого мы были созданы с ним, должен был пойти на образование этого потомка. Не потому ли Курилов и требовал уважения к себе, что природа дала ему напрокат этот материал раньше, чем Ботхеду?

— А бдительность? — напомнил я Курилову.

— Пускай они запросят у нас Кантон!

— Хорошо, мы сделаем это способом, более соответствующим социалистическому реализму.

ло автоматизированно, секретные донесения подавались по старой моде в железной запертой шкатулке.

Он стал излагать свою биографию, и я испытал затруднение Марины, когда она за тем же пришла к Курилову. Эти поверхностные сведения были лишь каркасом большой судьбы; они расплывались и уходили корнями в события чужого, непонятного века. Поистине, надо сотворить целый мир, чтоб подчеркнуть существование песчинки!.. Итак, его прадед был куплен в Судане одним британским сэром в подарок племянникам. После того, как их убили индузы, старый слуга был отправлен в Черную республику заведовать плантациями неутешного господина. В жизни второго и третьего Ботхедов, простых батраков, не состоялось приключений, которых хватило бы и на пару занимательных строк. Правнук ушел из семьи одиннадцати лет, повторяя судьбу миллионов. Семь последующих он проработал в портовых мастерских Пернамбуко. Его уволили оттуда за приставание к дочери белого инженера: слишком часто он провожал ее восторженными, немигающими глазами.

Громадное зеленоватое пространство стояло перед набережной; даже и в то время не хватало кораблей насытить его до конца. Человеческий разум склонен заполнить образами всякую пустоту; голод придает им подчеркнутую реальность. Наверно, Паскаль, ужаснувшись пустоте мира, никогда не голодал, как Самюэль, и ни разу не побывал в Пернамбуко! Однажды, когда черный сидел здесь, в оцепенении и равнодушии, к нему подошел волшебник из сказки, ради разнообразия прикинувшийся на этот раз капитаном парусной шхуны. Глубокий ножевой шрам проходил через его правую глазницу, а из левой, неповрежденной, смотрели сиреневые бухты, смертоносные архипелаги, побежденные бури и женщины, ветер и выпитое вино; море любит забулдыг. Обойдя со всех сторон скамейку, он спросил у негра, не желает ли тот пойти к нему рулевым на посудину, ходившую от Форталезы до Паранагу¹.

¹ Вся биография Ботхеда принадлежит Алексею Никитичу. Я с интересом следил за эволюцией образов из давней детской книжки, обогащенной его личным опытом. Я узнавал самые слова — Пернамбуко, Форталеза, Аракажу, похожие на возгласы птиц в полдневном тропическом лесу.

«...Это был скелет и призрак старомодного пирата. По утрам он, рыгая, выбирался на палубу, с шарфом на шее и с голым животом. Он тыкал пальцем в компас, прочно ли сидит, издавал ругательство, похожее на разрыв ракеты, и снова спускался к себе хлестать ром пополам с сальсапариллой. Над его вонючим лежбищем, приколотая ножом, висела фотография длинноносой девки с обнаженной грудью и с громадным бантом на подвязке; обычно он и чокался с этой распутницей! Но я благодарен ему, потому что, во-первых... — так говорил Ботхед, для счета загибая пальцы на руке, —...он отучил меня блевать. Кроме того, он свел меня с товарищами, которые знали кое-что о прибавочной стоимости. Он доказал мне, что степень человеческого скотства не определяется цветом кожи. В-четвертых, он привел меня к морю...»

Через полтора года Ботхед подписал контракт с пароходной компанией на сорок лет без права женитьбы до производства в капитаны¹. За это его приняли в школу, которую и кончил штурманом дальнего плавания. Двадцати четырех лет он стал четвертым помощником на судне, совершившим рейсы между Америкой и портами Федерации. В американо-африканскую войну его в чине мичмана² назначили на старый линкор «Альварес Кабраль». Во всеобщую южноамериканскую стачку на корабле произошло восстание, не поддержанное остальным флотом. «Кабраль» бежал, и его настигли только к ночи, когда, потеряв ход от воздушных попаданий, он покачивался на высокой волне. На предложение сдаться «Кабраль» ответил стрельбой. Произошла дуэль одного со многими. Он и лупили его торпедами; он отворачивался, как умел. Битый, с обрубленной кормой, еле держась на плаву, он не спускал боевого флага. Люди прыгнули в воду; их разыскивали прожекторами и пулеметами. Никто не понимал, как Ботхеду удалось спастись из ада... Несколько лет он еще оставался в стране на безвестной, невознаградимой работе организатора революционных сил. Впоследст-

¹ На двуглавом материке был закон, воспрещавший жениться бедным, чтобы не плодить нищих и мятежников.

² *Gardia marina*.

вии, после бегства в Федерацию, он водил ее торговые корабли, был принят в морскую академию и... Тут принесли еще одно сообщение. Ботхед поднялся и приказал подать нам катер. Случилось что-то, перекрывающее важность нашего посещенья. Курилов так и не успел набить трубку (о-отличным) ботхедовским табачком. Наши предположения оправдались: эскадра снималась с якоря¹.

В несколько сильных ударов Ботхед захватил близние к Мадагаскару острова под авиабазы и стоянки наливного флота. Другая эскадра вышла к Кокосовым островам, превращенным в опорную точку его разведки. Она доносила Ботхеду о движениях противника и прекратила сообщения между Африкой и Австралией в полосе от экватора до 20-й параллели к югу. Ботхед полагал, что Деттер-Старший² не рассчитывает на выход Флота Обороны и Маневра, который был почти вдвое слабее соединенного флота полосатых; он знал также, что от Явы до Меридиана Сейшельских островов Деттеру идти при самых благоприятных условиях две недели. Прогноз погоды указывал, что противник поведет десанты именно теперь, пока Грегор не капитулировал. Грубоватая дерзость негра вынудила белых адмиралов отвергнуть курс на юг и бросить достаточные силы к Кокосовым островам, но там ничего уже не оставалось, кроме консервных жестянок и других следов пребывания живого человека. Курс эскадр снова был изменен к северо-западу, на Сейшельские острова и Момбасу. И только когда Флот Прямого Действия втянулся в средину Ам irантских и Маскаренских островов, стало понятно, куда исчезали разведывательные самолеты, что становилось с нейтральными судами и крейсерами, высланными вперед. Деттер предпринял деятельную разведку, но Ботхед уже действовал. Произошло расчленение полосатых, транспорты бросились врассыпную, и с тех, которые не затонули, были взяты заложники из офицерского состава. Когда прибыло предписание правительства оставить ней-

¹ Сообщение гласило о выходе конвоев Старого Света из австралийских баз.

² Командующий Флотом Прямого Действия.

тральные острова, батареи уже были погружены, авиация стояла на старте, и сам Ботхед успел ценностями подарками отблагодарить губернаторов островов за временное гостеприимство. Индийский океан был надолго утрачен для Старого Света.

После неудачи с десантом сухопутный натиск в Азии усилился. Форсированье индокитайских предгорий затянулось на полгода и превратилось в жесточайшую позиционную войну. Не помогала никакая концентрация техники. На чашку весов былоброшено все, вплоть до бактерий, белковых ядов, отравления воды, термитных туч, двигаемых по реле использования парламентерских флагов. Это была истерика войны; она скреблась о бетон в поисках щели, лишь бы просунуть жало. Был опробован субдевилит; его первые трофеи остались лежать в виде мумий, тление не трогало их, но ни одно средство уничтожения не находило себе противодействия в столь короткий срок. Обычные охладительные баллоны при самом слабом воздействии высокочастотных токов заставляли его распадаться и лиловатыми лужицами стекать в канавы. Нащупать уязвимую точку Федерации не удавалось. Фронт стоял на месте.

Тогда, бросаясь в обход затруднений, полосатые высадили значительные части у Кантона¹ и, ощупывая дорогу превосходной авиацией, медленно ползли вдоль берегов к северу и югу. Они искали слабого места у Федерации, скованной множеством фронтов, чтобы обрушить туда новую трехмиллионную армию, формирование которой только что закончилось в Южной Америке. По согласованию с правительством Деттер-Старший наметил направление удара через Шанхай в сердце социалистического Китая. Мотивы такого маршрута в равной мере были наивны и поспешны. В свое время социалистическая переделка мелких производителей в долине Ян-Цзы происходила с особыми трудностями; это позволяло рассчитывать на широкую поддержку населения и, следовательно, возможность держаться даже в случае обрыва морских

¹ Операции против Макао и Гонконга еще ранее определили судьбу второстепенной столицы Федерации.

коммуникаций¹. Так была совершена эта поучительная ошибка. Командующий приказал начать тренировку головных ударных батальонов, назначенных на высадку в условиях хаоса и ужаса². К этому времени почти три четверти всех транспортов успели пройти Австралию, и эмиссары деттеровской разведки не отмечали умножения воинских эшелонов на трансмагистрали Лиссабон — Шанхай.

И вдруг индийская «Народная газета» от 5 августа поместила сообщение, что командующий Ботхед с флотом в 260 вымпелов стал на якорь в заливе Петра Великого, в Сасебо, Нагасаки и смежных с ними портах, что восточный и западный Флоты Обороны и Маневра соединены под его командованием, что громадные демонстрации встретили прибытие эскадр, что флот разойдется по ближайшим портам для проведения «двухнедельника моряка всех широт», что представители нейтральных держав были приглашены во Владивостоке на местные щи и капшу и все видели черного адмирала в белом кителе и с красным орденом за Сейшельское дело. Агентура подтвердила прибытие Ботхеда на стратоплане³. Шпионы донесли, что Флот Оборо-

¹ Мы побывали на борту «Фатерните», флагманского корабля старшего Деттера. К слову, попали мы туда не вовремя. Перед строем моряков командующий принимал делегацию крестьян китайских; нам показалось, что косы на них привязные. Делегаты очень бойко рассказывали про «ужасы социалистической жизни» и в один голос обещали чуть ли не всенародное восстание, едва войска Старого Света вступят в Срединный Китай. Деттер, цветущий старик на 82 кило, пожимал руки сомнительным этим мужикам и мысленно приверивал на себя лавры «освободителя от социалистического гнета».

² Группы унтер-офицеров по двести человек помещались в специальные камеры, и автоматы проделывали над ними все, что могло произойти и в действительности. На шлюпке люди попадали в пеняющуюся от снарядов воду, над ними грохотали пиратнели, газ рвал им ноздри и легкие; их слепили искусственные вспышки орудий и прожекторов, на голову им лили кипящую пакость, пули рикошетировали о пуговицы шинелей и крошили весла в их руках; вода переливалась через голову, их душили сумасшедшие товарищи, взрывы бомб подкидывали их в черные лохмотья небес, а они должны были гресть, петь веселые песни и гресть. По секретным сведениям, людской брак от таких испытаний достигал 48%; но те, кому удавалось задержаться на грани здорового идиотизма, способны были пойти на завоевание ада. Подготовка была прекращена после восстания, известного под именем «унтер-офицерского мятежа».

³ Ни у кого, однако, не хватило воображения перекинуть тем же способом около пяти миллионов тонн металла!

ны и Маневра в прежнем количестве находится в средиземноморских базах. Если бы речь шла не о пушках и линкорах, следовало бы допустить вмешательство мистических сил. Словом, начальник разведывательного бюро был снят с работы с дурною аттестацией, а сам адмирал Деттер душевно заболел¹ и оставил службу. На смену отцу вступил его сын, образованный и способный флотоводец, даже лицом не похожий на отца. Памятуя наставление Нельсона не презирать врага, чтобы не ослаблять ненависти к нему, он давно и пристально изучал военный стиль и манеру мышления будущего противника. Сын вступил на этот пост в трудную минуту, осложненную возможностью выступления буржуазной Индии.

Деттер молча разделял опасения штаба. Собранный в кулак, флот Федерации был способен теперь оспаривать морское превосходство у полосатых; в этом свете высадка ударной армии сразу приобретала характер дрянной авантюры. Становилось ясно, что, если в острую минуту встречи Ботхед завладеет воздухом на двадцать минут, вся алгебра войны обратится против Деттера, и он сядет в кресло, рядом со своим отцом. Тогда, разгадав значение «двухнедельника моряка» и следуя сомнительной заповеди древних стратегов доводить раз предпринятое дело до конца, он постановил форсировать высадку под Шанхай и добился от сухопутного командования быстрейшего продвижения на север. Уже 7 августа (вместо 15-го по плану) Деттер овладел Формозой и превратил ее в базу питания для будущего шанхайского фронта. Гектары танков ждали лишь прикосновения теплой человеческой руки. На рассвете 10-го к Шанхаю должны были приблизиться первые транспорты с войсками, прошедшими специальную тренировку.

Контрпланы Федерации отличались от планов полосатых в той же мере, как и самые цели войны. При одинаковом уровне техники они были рассчитаны на дополнительное, недоступное штабам Старого Света,

¹ Этот неизвестный ранее вид заболевания сопровождался рвотой, подергиваниями конечностей и расстройством памяти. Грустно было видеть бравого командира сидящим в глубоком кресле и безысходно повторяющим: «Черный босяк, тюбик с ваксой, купленная башка».

оружие. Его тактические свойства еще раз были опровергованы при переброске кораблей Ботхеда из одного полушария в другое. Это был умный и скрупульный геройский подвиг людской массы¹. Флот Обороны и Маневра имел задание допустить высадку ударной армии Деттера и впоследствии, когда в упорном трехдневном бою она истощит ее снаряжение и горючее, обрубить ее морские сообщения. Огромным полчищам, втиснутым в узкую полосу между морем и линией заслона, не способным к развернутому маневрированию, вооруженным лишь индивидуальным оружием, останется испытать участь Грегора².

События показали Ботхеду, что противник стремится использовать время, необходимое ему для ремонта. В этих условиях неделя бездействия могла оказаться смертельной. Приказ командующего с разъяснением положения был обсужден в доках, машинах и кубриках. Флот вызвал на соревнование заводы; моряки боролись чистить еще не остывшие котлы. Это была злая и молчаливая схватка отчаяния и мужества. Двухнедельник сокращался приказом до 10 дней, но уже ночью 9-го, когда противник начал трахить подходы к Нин-Бо, Ботхед уведомил правительство, что его главные силы будут готовы к 11-му. Стремительность, с какою Деттер лез в мышеловку, автоматически ускоряла выполнение расписаний. Задолго до появления Ботхеда на востоке весь азиатский подводный флот Федерации был отправлен к промежуточным и глубоким базам полосатых³; теперь рация с «Коломана»⁴ торопила его занять свои позиции на путях связи десанта с Мани-

¹ Ботхеду стоило усилий ввести в русло военной дисциплины почти стихийную отвагу своих моряков. Кирилов сохранил в памяти его приказ о предании суду командира одного из миноносцев, в кочегарке которого умер от перенапряжения механик.

² Излагая свой план Верховному Совету Обороны, Ботхед заключил его словами: «...с тех пор, как первый военный корабль вышел в море, ни один флот не имел такой простой и почетной задачи. Я полагаю ее в том, чтобы предоставить истории и возмущенным народам творить без всякой помехи со стороны своей справедливый суд и гнев. Великая мать, социалистическая родина, да не упрекнет нас в равнодушии!»

³ Планы Старого Света относительно шанхайского направления были разгаданы командованием Федерации. Это и вызвало переброску части средиземноморского флота на восток.

⁴ Флагманский корабль Ботхеда.

лой и портами Австралезии. Еще прежде эскадрильи бомбардировщиков постепенно стягивались сюда с малых фронтов; теперь они получили предписание немедленно слетаться под Шанхай, хотя сосредоточение больших воздушных сил и могло дать повод Деттеру одуматься и вынуть голову из западни.

Тотчас по окончании подготовки Ботхед навестил всею своею авиацией деттеровские аэродромы на Формозе. В эту пору она представляла собою гигантский арсенал всевозможных средств войны. Защитительные воздушные барражи были смяты численным превосходством, но, сказать запоздалую правду, успех атаки был прямо пропорционален потерям. Зато массы бомбовозов и танков Старого Света были превращены в груды исковерканного утиля, в стальные болванки, металлическую щепу, в ничто. Тем временем сухопутное сражение длилось уже сутки. Старый Свет со всего разгона ударился лбом в залипые бетоном окрестности Нин-Бо. Наутро, выражая настроение войск, командующий десантом угрожал сдачей, если до вечера не прибудут подкрепления; к концу дня он донес о своем приказе выдать неприкосновенные запасы снарядов изнемогающим армиям. В поздний вечерний час две радиограммы пересеклись в Океане. Деттеровская предписывала своим базам немедленно отправлять конвои на помощь шанхайскому фронту; ботхедовская напоминала подводному флоту, что от точности их истребительных действий зависит теперь сократить или удлинить нечеловеческие муки войны.

Через полтора часа на «Фратерните» поступили первые полупанические описания безрассудной по натиску атаки ботхедовских кораблей на конвой Старого Света¹. Без предварительного траления цепью в три ряда подлодки врывались в гавани, обрекая головные на верную смерть². Поведение уцелевших, прорвавшихся сквозь смерть, было поистине грозно... В таких услови-

¹ В донесении Деттера-Младшего любопытна фраза, где вполне зрело звучат интонации его несчастного отца: «...стратегия морской войны и джентльменские традиции Флота Прямого Действия никогда не были рассчитаны на борьбу против сумасшедших!»

² Первыми шли автоматы, но и минные заграждения стояли в несколько рядов.

ях представлялось неразумным дожидаться благополучного прибытия этих плавучих складов. Тогда пушками своих восьмидесяти линкоров Деттер решил заменить потопленные конвои. Пока выбирались якоря и пороховые погреба забивались снарядами, штаб разработал боевые порядки эскадр в предстоящем походе¹. Тревога снова посетила «Фратерните», когда цусимские дозоры донесли о выходе в море главных ботхедовских сил. Теперь некогда было менять решения; если бы Деттер уклонился от похода к устью Ян-Цзы — Киянга, этот рейд совершил бы Ботхед, и десантные армии, пронизанные кинжалным огнем с моря и со стороны укреплений, подверглись бы прямому избиению. Для выяснения места и построения эскадр Ботхеда Деттер-Младший бросился на запад, предварительно совершив морской поиск, сви², на север³.

Восточно-Китайское море было меридиально разлиновано на двадцать полос, и в каждую назначена пара миноносцев со звеном самолетов. Имелись инструкции не переходить в соседнюю зону: была обязательна стрельба без предупреждения по любому встречному силуэту. Суда вышли засветло. В море стояла легкая зыбь, вскоре затянувшаяся мглою⁴, как бы нарочно созданной для всяких случайностей⁵. Свип, наткнувшийся

¹ Деттер шел отрядами.

² To sweep — подметать. — Изд.

³ Походный порядок Ботхеда обозначался так: 10 авианосцев в двух кильватерных колоннах были в десятимильном радиусе окружены тремя эскадрами линейных кораблей, по восемь в каждой. За авианосцами двигались две колонны эскадренных подлодок по 36 штук. «Коломан» находился в эскадре, шедшей веером впереди авианосцев. Дальше, в пятнадцати милях, двумя группами следовали линейные авианосцы, еще не опробованный вид кораблей, с пятьдесятью самолетами на каждом, с девятью по 18 пушками, с броней в 300 мм, с газовыми турбинами, сообщавшими этим мастодонтам скорость в 45 узлов. И, наконец, в 30 милях — линейные крейсера, строем фронта по два в группе, завершали шествие этой исполинской армады в сопровождении 55-узловых миноносцев по 14 при каждой паре. Все это было окружено дивизиями подлодок и накрыто эскадрильями самолетов.

⁴ Было до отчаяния тихо, и нам с Куриловым казалось, что мы с головокружительным ускорением падаем куда-то в черный расширяющийся круг.

⁵ Первая произошла на левом фланге со 2-й парой. Противники, шедшие без ходовых огней, заметили друг друга по носу, когда столкновение стало неизбежно; оба остались на курсе. Головной миноносец Ботхеда успел просигналить мателоту (то есть концевому миноносцу, следовавшему в голову) убавить ход и бросить пулеметы

на разведку Ботхеда, завершился незаметной «бойней миноносцев» и почти не дал результатов. Деттеровский офицер, расставлявший на карте флаги с именами неприятельских кораблей, за всю ночь успел распределить всего четырнадцать. Строй Ботхеда и его местонахождение остались тайной; ясна была лишь конечная цель его выхода в море. В семь утра с берега сообщили о первой сокрушительной контратаке заслона. Китайским армиям показалось, что великий Ян-Цзы вернулся к ним, чтобы довершить свое дело до конца¹... Дет-

на левый борт; пушкам был задан угол снижения. Первыми вспышками суматошных залпов уцелевшие из команды были повергнуты в мгновенную слепоту. Хрустя панцирями, корабли прочертились бортами, накренились, почти сошлись килями и застопорились. Левый винт ботхедовского миноносца проломил обшивку соперника и одной лопастью шарил в его внутренностях, пока и та не обломилась от ударов. С мателота ударили прожектора и грянули орудия. В двадцать секунд деттеровский «Гарсия» пошел ко дну. Оставшись под одной машиной, головной поменялся местом с мателотом, чтобы погибнуть через полчаса. Десятью минутами позже Деттер получил сведения о гибели после кратковременной стычки еще нескольких сторожевиков. Стальная щетка свипа быстро редела.

В то же время головной 10-й ботхедовской пары атаковал четыре больших силуэта. Он донес командующему флангом, что отбит противоминным огнем и следует в кильватер за своей будущей добычей. С ближайшего авианосца была поднята дюжина самолетов. Завидев огненные шлейфы из выхлопных труб, миноносец подал тайные опознавательные знаки и, получив отзывы, освятил свои жертвы. Прожектора вломились во тьму. Напрасно линейные корабли (и в центре их плелся дряхлый «Нагато», уведенный аристократами в самом начале японской революции) пытались прятаться в задымлении и сменить курс. На предельной скорости самолеты почти коснулись их труб, и два корабля, содрогнувшись, изменили очертания, а на третьем возник пожар. Отблески пламени заструились по воде. В суматохе ботхедовский миноносец под вихрем обломков подобрался ближе и в упор, ликуя, разряжал свой торпедный запас, пока «Нагато», уже опустившийся на одно колено, не оправился, он открыл прожектора и градом выстрелов буквально растворил в воде героический миноносец. Концевой миноносец, выйдя на зарево с самолетом своей зоны, донес, что уже только три больших силуэта, хромая, уходят на юго-восток. Повторная атака самолетов не состоялась; флотилия деттеровских миноносцев обнаружила соглядатая, и подбитый самолет, чертя пламенем небо, упал на свой же миноносец, когда тот зарывался носом в воду.

¹ Курилов все поталкивал меня локтем, указывая на героических соплеменников Ян-Цзы:

— Колхознички-то китайские, а?.. каково?.. расчухали советскую власть?

Я вынужден был напомнить ему, наконец, что не купленные у меня бока!..

тер понял, что вторая и третья атаки станут решающими, если он не прикроет десанта мощным покрывалом заградительного огня. Единственная сводка, подобная голубю Ноя, таила в себе надежду. Подлодки Федерации, на короткое время и с громадными потерями разившие энергию, предельную для человека и машины, теперь явно выбивались из сил. Двадцать два конвоя сумели вырваться из горящей Манилы, и Деттеру пришло в голову, что из тысячи транспортов половина доберется до Шанхая и при поддержке морской артиллерии заберет часть армий обратно на суда. Его армада полным ходом приближалась к берегам, и через три часа головные корабли могли открыть огонь по наседающему заслону. С целью ввести в бой возможно большее количество орудий единовременно, он стал производить перестроения, когда над ним прошло с берега несосчитанное количество эскадрилий; было что-то зловещее в том, что ни одной бомбы не сбросили в его расположение. Деттер поднял в воздух свою авиацию, и самолеты обороны отступили. Опасаясь появления Ботхеда во фланге, он отозвал самолеты назад, но копья¹ Федерации снова вонзились в его воздушный строй. Опять последовала непрерывная схватка, и новая игра в бегство. Придерживая авиацию Деттера на месте, Ботхед все главные силы готовил к нанесению сокрушительного нокаута.

Итак, сейчас он шел с севера строем фронта и дугою в отношении к развернутой фаланге деттеровских кораблей². Тайна его боевого порядка была обеспечена и с воздуха, и эскадрами линкоров во флангах. В 10 утра они прорвали охранение противника и, расстреливая мелочь, расчищали пути подхода. Бой с самолетами продолжался далеко на юге, когда начался великий погром авианосцев; в то же время главные силы Ботхеда приступили к истреблению фланговых линкоров. Эта атака делала уже невозможной помочь десанту: Деттеру стало только до себя. Были сделаны судорожные по-

¹ Вылетев клиньями, они успели перестроиться в строй копья.

² Представлялось невероятным, что при том высоком искусстве флотовождения можно было поймать противника на старинный кросст. Но история не любит побежденных, и постоянная привилегия их — казаться глупее своего противника.

пытки лечь на параллельные курсы и выровнять смятый фланг, но снова и снова Деттер оказывался в центре смертельной дуги, и четыреста пушек метили ему прямо в сердце.

Первыми дрались автоматы; этот трескучий диспут неслыханных человекоубийческих новинок длился недолго; должно быть, им не хватало человеческой ненависти,— так быстро они стремились погибнуть. Следом двинулись машины, душою которых был уже живой человек. Все, что несло на себе самолеты и торпеды, ринулось вперед. Головные катера ударили с 15 кабельтовых; их уничтожили немедленно, и было странно видеть, что никто не прыгал с них в воду. Некоторые взрывались, круша все вокруг и оставляя, как на суше, глубокую воронку, над которой долго не смела сомнуться вода. Оба командующих, не покидая рубок, видели на экранах все подробности боя, пока не наступил кромешный хаос¹.

...бессмысленно повествовать о дальнейших перестройнях. Все сбилось. На океане стало тесно. Вспышки памяти бессильны охватить целое, освещают лишь отдельные эпизоды². Так наступила расплата... Легкий пар исходил от поверхности воды, как бы разогретой этим

¹ Приблизив лицо к самому телевизору, я оцепенело глядел, как два громадных корабля, неосторожно сблизившиеся дуэлянты, подбитые, с большим креном, неуклюже циркулировали на месте.

² Мне помнится, как над морем, где еще торчали гроты затонувших кораблей, с намокшими вымпелами, появились две стаи самолетов. Их бой походил и на сражение падших ангелов, и на множественное столкновение аэропоездов. Тысячи машин яростно поражали друг друга; пикировали, таранили, ломали врага на полной скорости, платясь гибелью за краткий миг героического упоения. Все кишело, стреляло, стремилось, соединялось со всего разгона и, одетое в пламя, падало вниз. Благоразумный и отступающий немедленно становился преследуемым. Ракетометатели и зенитные батареи молчали из опасения подбить своих. Безумие овладевало сознанием. Внезапно один из миноносцев Деттера открыл бешеную пальбу по этому воющему стуку издырявленного металла, несущих плоскостей и человеческой дерзости. Это прервало гипнотическое оцепенение кораблей...

— Погодите,— кричал я сквозь грохот Курилову, стремясь внести какой-нибудь порядок в эту ожесточенную суматоху,— начнем сначала! Остановитесь...

И бой начался снова, и мы, режиссеры событий, были беспомощны руководить силами, созданными нами же.

неистовством. Все обрушилось на все, и уже не дарованиями полководцев, а идейной закалкой сражающихся масс решалось дело. Скоростные бомбовозы почти по отвесной линии падали на дредноуты Деттера, жалили и уходили, и скрученные дымы взрывов втягивались в воронки их стремительного бегства. Старый Свет оборонялся. Его корабли, заваленные ранеными и исковерканным железом, пытались бежать в Такао. Сумерки наступили на три часа ранее обычного, все заволоклось вонючей мглой... Посреди секундной тишины раздавался как бы глубокий вздох, и судорога пробегала в антеннах деттеровских чудовищ, когда вода врываилась в распоротые днища. Сбитая линия Деттера дрогнула, утратила волю и прекратила стрельбу. Было видно, как четыре дредноута, со сметенными палубами, как бы переделанные в авианосцы, дымились и покачивались, увязая в воде. Телевизоры не действовали. Ботхед с катапульты бросился в воздух и уже из самолета руководил преследованием, пока случайным разрывом не искрошило пульта перед ним и не ранило его самого...

...на берегу произошло заключительное сражение. Во многих местах механизмы истребления были уничтожены посредине боя, смялась броня, стальные кулачи разбились и схватка завершалась врукопашную. Скоростные танки Деттера дезертировали в Федерацию, и своя же артиллерия расстреливала бегущих. С утра армии сплелись тесно, как пальцы, в единоборстве. К полудню побережье густо пахло человеком, мертвым и живым. К вечеру стало слабнуть страшное рукопожатье. Мышцы на изнеженной варварской руке порвались... Этим закончилась азиатская эпопея войны, длившаяся около двух лет. Старый Свет, обезумев, кровью тушил человеческие пожары, возникавшие в его тылах. Федерация имела все возможности для переноса операций на самый двуглавый материк; было ясно, что одно появление федерационных армий должно было пробудить в массах силы пролетарского тяготения.— Те, кто навестит Сэмюэля Ботхеда, кроме нас, пусть расспросит его подробнее о предпоследней

схватке миров!¹ Прикасаясь и радуясь, мы повидали многое там, на Океане. Порой бывало грустно возвращаться назад, как из нарядного жилого дома в незаконченную стройку, которая стоит еще без кровли, где еще протекает, и стропила чернеют над головой, и видна грубая кладка кирпича на неоштукатуренных стенах, и поджигатель зачастую копошится у фундамента.

Пешком мы обходили пространство преображеной планеты. Нам нравилось там все, даже окраска вечерних облаков, которые выглядели совсем другими. Иногда без слова мы останавливались, брали в горсть эту тучную землю и подолгу, затуманенными глазами, смотрели на ее крупинки. Не мог не отпечатлеться на ней соединенный подвиг моих современников, землевкопов, проектировщиков, вождей!.. Тогда мы с особой нежностью оглядывались на страну, одетую в строительные леса, и гордость принадлежности к поколению зачинателей овладевала нами.

И хотя беспредельно время будущего, мы успевали только полистать это великолепное переиздание мира, исправленное и дополненное человеческим гением. Впрочем, мы и не собирались составлять путеводитель по новой планете. Это была бы смешная попытка рассказать о блеске полдня средствами копеечной акварели. Мы ограничиваемся простым перечислением: известия первых путешественников всегда скучны и неточны...

Итак, мы старались побывать везде. Мы присутствовали при пуске монументальных гидростанций, и утро,

¹ В последний раз мы с Куриловым обошли эту исковыренную равнину. Мы шли и не замечали мертвых. Был поздний, очень ясный и прохладный вечер. Только что прошел ливень, редкое явление для августа тех широт. Природа поторопилась замыть следы неистовства своих детей. На мокрой земле горели костры. Дозорам уже нечего было скрываться. Мы подошли к одному. Двое японцев, сидя на равной, бывалой татами, молча ели своеобычный рис с редькой. Третий, прислоняясь к громадной соленоидной катушке, рассеянно стоял в стороне, то ли следя за мельканием палочек в руках товарищей, каси, то ли вслушиваясь в треск горящих поленьев. Русское его лицо, забрызганное грязью сраженья, показалось нам знакомым.

— Здорово, война! — сказал ему Курилов и сконфуженно прибавил что-то о радости победы.

Тот не обернулся и не ответил. Нам показалось, что прежде чем замерть свалиться от усталости, он уже думает — хозяин, хозяин! — о завтрашнем дне планеты.

например, когда воды средиземноморской плотины, скипая и беснуясь, рухнули в Среднюю Сахару и на турбины, сохранился в моей памяти, как величайшее торжество разума и человека, не заключенного в тюремные границы древних государств; мы обошли арктические захолустья и ели виноград, выращенный на семидесятой параллели,— он годился и для вина; мы познакомились с новейшим способом кольцевания электростанции: хевисайдовский слой служил им громадным бассейном энергии, откуда и высасывали ее по потребностям промышленные предприятия земли; мы посещали удивительные комплексные комбинаты, где все изготавлялось из всего, потому что едино вещества материи и все находится везде. Мы спрашивали, сколько это стоит, и нам отвечали, что это неинтересно, то есть дешево; мы добивались, как все это устроено, и я рад, что моя техническая неосведомленность освобождает меня от необходимости приводить чертежи и цифры.

Не удивляясь¹ зоотехнической умудренности потомков, мы пристально присматривались и к людям. Нам показалось, что улучшилась самая человеческая порода. Эти люди держались прямее и увереннее,— оттого ли, что каждый чувствовал плечом соседа и не страшился ничего, или оттого, что в чистом воздухе новейшего времени не носилось бактерий лжи... Я все ждал, что они станут хвастаться совершенством своего общественного устройства, и я не осудил бы этой заслуженной гордости, но они просто не замечали его. Здесь было достигнуто естественное состояние человека — быть свободным, тешиться произведением рук своих и мысли, не быть эксплуатируемым никем. Но хотя все было у них в руках — хлеб, работа и самая судьба, нам часто попадались люди с озабоченными лицами. Мы поняли, что и у них бывает печаль, что и они знают трагедии, но лишь более достойные высокого звания человека.

В особенности нам бросилось это в глаза, когда Океан готовился чествовать первого человека, совершив-

¹ Мы не удивлялись. Древние с испугом говорили о странах, где шерсть растет на деревьях. Им не верили, а это был только хлопок. Удивление же всегда было уделом людей, которые видимый горизонт принимают за границы мира.

шего межпланетное плаванье. Весь этот эпизод живо сохранился в моей памяти. Я помню, как целые две недели сряду газеты трубили о дне возвращения отважного путешественника. Это была самая популярная фигура того года. Его портреты были рассеяны во множестве по городам земли. Знали наизусть его биографию и наиболее знаменательные даты ее; девушки сокрахняли в любимой книжке фотографии его двух сыновей, отправившихся вместе с отцом во вселенскую Арктику. И мать смельчаков была в тот год матерью всех героев, мечтавших совершить достойные истории дела. Трудность подвига состояла не в том, чтобы погибнуть там во славу человеческой любознательности (смерть давно утратила характер сенсации, способной взволновать мир), но в том, чтобы вернуться живым, и никому не доставить печали, и поведать товарищам о развенчанной неизвестности. В назначенную ночь их прибытия планета светилась огнями, и для возвращающихся на большую родину она, наверно, плыла во вселенной, как пушинка в солнечном луче... Ночь прошла, как и вторая и третья за нею, а корабль не возвращался.

На пятый день весь мир взволновался о судьбе этих четырех человек. Стихийно, по радио, началась самая затяжная и ожесточенная дискуссия с участием конструкторов всех пяти континентов. Были подвергнуты придиличной критике все навигационные качества корабля; делались невероятные предположения; газеты получали сотни тысяч писем с советами, как разыскать их там, среди миров. Репутация строителей астроплана повисла на волоске. Эти люди стали поистине несчастны. Неудача полета была равносильна их моральной гибели, потому что звание человека в ту пору окончательно совместилось с понятием действенного человека, то есть мастера. Под давлением общественного мнения и по их собственному требованию была создана правительственная комиссия из двухсот с лишком человек, которая должна была подвергнуть судно заочной экспертизе, выяснить расположение планет в день отлета и в срок предполагаемого возвращения с целью определения формул межпланетного тяготения, произвести подсчеты давлений, скоростей, парабол и всего того, что определяло успех пред-

приятия. Заключение комиссии было самое благоприятное, но никто не видал, чтобы конструкторы «Океана I» хотя бы улыбнулись своему оправданию. Корабль не возвращался... В четвертом пункте заключения несколько туманно было сказано, что запасы энергии, газа и продовольствия должны по всем данным подходить к концу (читай: иссякли!), и все же газетам было запрещено печатать некрологи о погибших. Все четверо продолжали числиться в своих организациях, как находящиеся в бессрочной командировке. Не заключалась ли в этом самая совершенная форма бессмертия: считать живыми... Одновременно на улицах были расклеены новые списки добровольцев, предлагавших себя для повторного путешествия в неизвестность. Рядом с именами были обозначены их научные работы и спортивные достижения, которыми следовало руководствоваться при обсуждении кандидатур. И только когда по конкурсу был назначен завод для постройки нового астроплана, стало известно о приземлении «Океана I» в районе Тарусы, под Москвой; постоянная межпланетная станция прозвала их прибытие. Во избежание наплыва любопытных местность была оцеплена и всякое сообщение с нею прервано.

В ближайшие дни по радио были опубликованы скучные, из четвертых рук, подробности возвращения; что-то скрывали. Еще никто, кроме врачей, не видел их. В ежедневных бюллетенях, скрепленных первым правительственный секретарем, много говорилось об утомлении навигаторов, но почему-то упоминались имена только двух. Потом все узнали, что в этом путешествии погибли оба сына смельчака. Передовые газеты, исполненные глубокой и сдержанной печали, посвящены были первым человеческим могилам вне земли: с этого всегда начиналось заселение новооткрытых материков... Я ходил по улицам многих городов в тот день, и мне казалось, что все девушки мира чувствовали себя вдовами. Мать погибших поместила короткое письмо в газетах; она разделяла горе родины, потому что ее дети были хорошими мальчиками и всегда стремились оправдать любовь и доверие друзей. Количество писем, полученных ею отовсюду, было таково, как будто все юноши земли хотели стать ее сыновьями. Ничто другое на Океане не демонстрировало с такою силой человечной спайки между людьми.

Был назначен день и установлен скромный церемониал вступления в город этого Колумба новейших времен. Началось невиданное переселение людей из одного полушария в другое, и это не столько ради одного получаса, чтобы видеть его или услышать его голос, а лишь за тем, чтобы в лицо ему сказать свое громкое земное здравствуй!.. Мы с Куриловым были там и захватили с собою Лизу, чтобы поверила, как прекрасен очищенный от грязи человек.

Всякий, кто побывал там, кроме нас, наверно, помнит, что если пройти от набережной по улицам Сталина и Ян-Цзы, миновать площадь Академий и встать лицом на юго-запад, оттуда будет виден двухгорбый холм Единства с гигантским фонтаном на его второй вершине, так называемым деревом в оды. Конечно, это было самое великолепное место в нашем Океане... В глянцевитых стенах Дворца Статистики, покрытых китайской глазурью, отражается арочный мост через канал, и кажется, что его тончайшие, как формула математика, конструкции пронизывают толпу фантастических призраков древности, изображенных на керамических панелях. Задолго до начала торжества мы поднялись туда на эскалаторах в знакомое кафе. Но столики были уbraneы, потому что не хватало места для людей. Все было полно, шумело и смеялось. Слет начался с рассвета, и бескрайние поля за Нантао искрились от обилия авиаэток. Было жарко; солнечные охладители не справлялись с ионьским зноем. Мы выпили пряной, льдистого и крупнитчатого вкуса, воды. Город был виден на громадном радиусе. Как изменился он с тех пор, когда здесь бегали рикши и неуступчивые джентльмены гнездились в фортециях сеттльментов!.. Далеко впереди, за проливом, маячил в зеленой дымке остров, а позади, как исторические письмена на сером выгоревшем холсте, лежали древние кварталы Путунга и героического Чапея. Пока Курилов спорил о чем-то с Лизой (и я тогда еще не угадывал, куда клонится развязка), я просмотрел газету. Только с десятой страницы шла информация и второстепенные сенсации дня. Было помещено интервью с какой-то некрасивой женщиной, заболевшей сыпным тифом, ее фотография и рисунок клиники, где она была помещена; я так и не понял, в чем дело. Я прочел также стихи расхо-

жего поэта, в звонких образах восхвалявшего прогулку пешком. Это был лирический трактат о пользе ходьбы, о том, как благотворно работает сердце и сокращаются мышцы и как играли солнечные зайчики на тропинке, по которой он ступал... Внезапно послышался отдаленный грохот оркестра. Я выронил газету...

Вдруг все стихло. Улицы внизу казались пустыми из-за тишины и блестели, точно натертые тяжелым маслом. Произошло общее движение, как будто все кругом вспорхнуло. Люди обнажили головы. Я рванулся вперед, и давление могучего, единодушного вздоха упало на мои плечи. Мне все казалось, я увижу человека с темным лицом Лазаря, три дня пробывшего по ту сторону жизни: Он будет идти один, капитан сверхдалеких плаваний, распространяя вокруг себя безмолвие и холод вечности. Мои предположения рухнули сразу. На эстакаде, отлого спускавшейся на площадь, внезапно появились трое. Я увидел председателя исполнительного комитета этого полушария, высокого бритого старика с вислыми усами, в широкополой черной шляпе. Рядом с ним и под руку шел плотный, коренастый человек в темной суконной шапочке, с умным и мужественным лицом Коломана Валиша, когда-то, на заре эры, повешенного за горло дикарями земли. Он шел, немигающими глазами глядя прямо на солнце. Третий, врач и помощник капитана, шел позади в нескользких шагах. Глаза и телемеханизмы следили за каждым их движением. Оркестры молчали, никто не кричал этим людям, и во сто крат внушительнее всяких аварий было это простое человеческое безмолвие.

Он вступил на трибуну, и тотчас же девочка с букетиком цветов, нарыванных ею самолично, побежала к нему через всю площадь. Вся планета, ликуя и смеясь, следила, как мелькали ее загорелые коленки. Не смея сказать и слова от восхищения и испуга, девочка протянула ему цветы и раз, и два, а он продолжал стоять, глядя в небо перед собою. Оно было синее, очень доброе, нисколько не похожее на то, которое убило его сыновей. Затихшая толпа шевельнулась, подалась вперед, и шелест догадок смутно пронесся над головами. Старик в громадной шляпе шепнул что-то на ухо этому человеку. Тот оживился и, наклоняясь, виноватыми, осторожными руками стал шарить воздух перед

собою. Сам того не замечая, он наступил на упавшие цветы... Но он поймал ребенка и нежно ощупал ее лицо, и поднял на руках, и все сдвинулось со своих мест, и в эту минуту, мне показалось, в едином вихре разрядилась тихоокеанская гроза...

Доклад начался не прежде, чем изошло из сердца все, что скопилось там за три с половиной года беспримерного по героизму путешествия. Тихим, почти домашним голосом (и потрясала мудрая обыкновенность этого торжества!) человек в суконном берете говорил о чувстве благодарности народам земли за участие и поддержку; он сожалел, что судьба лишила его возможности повторить это плаванье; он рассказал вкратце про гибель своих спутников, про катастрофу при обратном отплытии, про то, что видел, чего касался и не-остылое воспоминание о чем привез с собою. Эти годы состарили его, но он находил силы и на шутку, и на острое, запоминающееся слово. Со временем, если продлится наша дружба с Алексеем Никитичем, мы припомним подробности этого самого удивительного приключения, когда-либо выпадавшего на долю человека.

Начались приветствия, и я с удовольствием указал Курилову, что не длиннота, а краткость речей, доведенная до афористической сжатости, считалась достоинством у этих людей. На невидимом телевидении, много-кратно преувеличенные и почти трехмерные, появлялись представители народов, стран, материков; мальчик позади меня (может быть, радиолюбитель тех времен?) шепнул с деловитым призыhanьем: сейчас будет говорить Африка! И вот мы увидели знаменитого Сэмюэля Ботхеда. Мое сердце забилось, как если бы другом моим был этот седой, величавый негр. Он сильно постарел с тех пор, как мы видались с ним в Адене, и заметно прихрамывал на ногу, раздробленную в шанхайском сражении. Что-то оставалось, однако, в его голосе от прежней страстной устремленности, которая так привлекала меня в его молодости. Он говорил, отбивая такт клюшкой, на которую опирался; он говорил о беспредельных пространствах мира, куда отныне будет расти свободный и гордый человек земли. Я дослушал его до конца и стал спускаться вниз, оставив Лизу и Курилова. (Она жадно впитывала все, что окружало

нас, и этот благородный воздух дружбы, и это прекрасное волнение, происходящее от созерцания героических дел; и такая детская восторженность была в ее глазах, что мне пришлось навсегда изменить свое первоначальное мнение о ней.)

Уже стемнело. Высоко в небе, яркий и вдвое больше луны, светился стаинный иероглиф, означающий долгоденствие. В громадных парках, под деревьями, танцевали люди; легкий ветерок их движений еще лежит на моем лице. Я слышал смех и нежные слова; мне было грустно покидать Океан в такую ночь. Проталкиваясь среди людей, я чувствовал себя почти стариком... Какие-то сверкающие мелодические жуки порхали в воздухе над ними; мне почудилось, они пели. Я видел, как один из них, летевший издалека, со всего лета ударился о фонарь и отвалился, сложив крылья, сътый и мертвый. Я прибавил шагу; нужно было торопиться, потому что реальные, ничем не остановимые события отрывали меня от блужданий по сияющей неизвестности.

Всеволод Иванов

Медная лампа

Я был влюблен. Хотя это было очень давно, еще до войны 1914 года, но я отчетливо помню это чувство, мучительно терзавшее меня. Она меня не любила! Мне нужно добиться ее любви. Как? Я не знал еще, что и до меня миллионы и миллиарды влюбленных задавали себе этот вопрос. Впрочем, если бы и знал, все равно я бы продолжал спрашивать себя. В человеке заложено так много надежд!

Я работал тогда единственным наборщиком единственной типографии Павлодара, что лежит на Иртыше. Тогда это был крошечный уездный городок. Теперь здесь строится комбайновый завод, величайший в мире, и к концу пятилетки в Павлодаре будет, говорят, до полумиллиона жителей. Впрочем, наверное, и среди этого полумиллиона по-прежнему многие молодые люди задают себе тот самый вопрос о неразделенной любви, который я задавал в крошечном уездном Павлодаре,— и задают с той же, если не с большей, мукой.

Я получил жалованье. Вторично в своей жизни! За целый месяц! И снова я понял, какое это важное событие. Должно заметить, что первую получку я распределил настолько глупо, что стеснялся теперь и думать об этом. Ах, пора знать, что денежки трудовые, что я, черт возьми, не так уже молод!.. Было мне тогда восемнадцать лет.

Выдав тетке, у которой столовался, кое-что на пищу, я робко задумался над остальными деньгами. Надо взъерошить, озnamеновать эти полные величия дни, этот жадный шаг в жизни! А как?.. Выпивкой, приглашением соседей и родственников? Кто придет ко мне? Кому я любопытен? Жалкохонек

покажусь я им со своими девятью рублями семьюдесятью пятью копейками. Тогда пожертвовать эти деньги с высокой целью? А куда? Где она, эта высокая цель? Во всем городе мне был знаком едва ли десяток людей, которые разве чуть-чуть жаждали этой высокой цели.

Позвольте, ведь я влюблен! Правда, ей на мою любовь плевать, но если я предстану перед ней в каком-нибудь великолепном платье, с какой-нибудь не-бывалой вещью... Мало ли как поворачиваются сердца! Да, приобрести что-нибудь ценное. И поскорее.

Часы, например. Они будут чутко тикать возле сердца, отмеряя то пленительные, то мрачные, то бесплодно-слепые минуты моей жизни, и отмёряют так много, что уже и седина ляжет ко мне на виски, и когда-нибудь, где-нибудь в Гималаях, Кордильерах или на Соломоновых островах, я взгляну на их истертые крышки, на этот наивный циферблат и с трудом вспомню день их приобретения — и мою первую разделенную любовь!

Я решил осмотреть ценности нашего павлодарского базара. На базар попадают, миновав постоянно ремонтируемое здание городского училища, того, что самого юдольного серого цвета, самой раскатисто-дикой преисподней, того, перед вымазанными известкой окнами которого стоит кривоногий инспектор в чесучовой папре и почему-то с серебряной чайной ложечкой в руке, стоит, вперив очи в раскаленную зноем железную крышу, где ходят, высоко поднимая лапки, одутловатые голуби.

Я снимаю перед ним фуражку. Именно в его дочь я влюблен безнадежно. «В нее многие влюблены, — читаю я на его лице, — но выйдет она, за кого я пожелаю. Отнюдь только не за тебя, сопляк!» Однако он вежливо отвечает на мой поклон, — меня познакомил с ним мой дядя-подрядчик, лицо почтенное. Он даже спрашивает:

— На базар, за покупками?

— Да, получил жалованье.

Павлодарские магазины и склады кажутся мне столь объемистыми, что им в пору торговать с целым континентом. Прельстительно и то, что двери магазинов широко раскрыты, тогда как двери обывательских домов и ворота плотнейшие заперты на засовы, замки, щеколды и охраняются множеством собак. А улицы

гладки и чисты, как парус; засыпаны песком до пояса, и деревьев в городе нет, словно листва их не выносит этой песчаной тяжести.

Итак, я — на базаре. Оглядевшись, соображаю, что пока, кроме меня, покупателей нет. Сердце колотится; губы вялы, будто из пасты. Неужели для меня одного развернут все эти товары, полезут на все эти бесчисленные полки и мне все это надо перетрогать, обо всем поторговатьсь?

— Пожалуйте, господин, пожалуйте! — кричат приказчики.

Выходят, отложив шапки, на порог лавок и сами хозяева:

— Сделайте почин, милостивый государь.

Бакалея, галантерея, скобяные, сено, мука, колбасы — все к моим услугам! Могу купить аршин шелку или ляжку барана, балалайку или Библию, калоши или пульверизатор с резиновой грушей, с резервуаром из цветного стекла и с роговой трубочкой, из которой запашистой струей цедится на ваши ноги едкая жидкость.

Я вовсе не хотел, чтоб торговцы, как полено, расщепили меня на части. «Бесстрастие, бесстрастие!» — шептал я, и, обратив, так сказать, это желание в наличные, я сделал самое бесстрастное лицо, какое только мог вообразить. Оно одновременно стало и рделим, — и тут меня приняли за зеваку. Руки торговцев, было остановившиеся, снова двинули шашки по клеткам. Приказчики вернулись к дверям, к конику и опять уставились в верхний угол лавки, где играли солнечные зайчики. Прекрасно! Не будучи покупателем, мне легче думать о покупке. Я — свободен и могу выбрать для своей любви все, что хочу!

— Но — что?!

Тротуар перед магазинами из каменных плит. Город не избалован камнем — песок да глина, да разве кирпич. Жара — летом, морозы и ветра — зимой зубасто и насмешливо мельчат все крупное, даже сахар и тот предпочитают здесь покупать не колотый, кусками, а песком. Поэтому каменные плиты тротуара для меня милы, как гребни Гималаев или Кордильер. Камни долго держат тепло, ступать по ним приятно — они нежат меня, благодаря им солнечный жар проникает насквозь.

Однако что же мне купить? Какой предмет прельстит ее?

Медленно иду я от магазина к магазину, от окна к окну, беспрепятственно сближаясь с теми товарами, которым почему-либо суждено быть моими. Осмотрев их сбоку, сверху, в упор, снизу, отхожу и немедленно забываю о них. Сафьяны, севрюжий клей, мебель из пихты, оправа для браслета, наждак, шелковые ленты — зачем они мне, зачем мне этот извод денег? Вещи и выбор их начинают раздражать меня, будто я нес чернила, разбрьзгал и закапал всего себя.

Часы, желанные часы из накладного золота ценю в 9 руб. 75 коп., и те не прельщают меня. Извертываясь легко, чтобы уйти — и навсегда — от витрины часовщика. Лениво-колючий вид базара надоел. Хоть бы встретить знакомого, хоть бы появился Степа Носовец! Так зовут городского потешника, пьянчугу и проказника, служащего городской пожарной команды. Он сквернослов, свистун, лицо его слащаво, как медовый пряник, я иногда калякаю с ним.

О любви Степа говорит необыкновенно цинично. Разумеется, я не отношу его выходки к моей любви, но все же сознание, что любовь можно свести к чему-то несложному, от чего легко отмахнуться, в какой-то степени облегчает меня.

Мгновения текут так медленно, что кажется, они далеко издали машут, дают сигналы флагжками. Я гляжу теперь не в магазины, не в окна, а промеж магазинов, где валяются кирпичи, окурки, грязная оберточная бумага и где пахнет завалью и навозом.

Возле чайного магазина спит, прислонившись отекшей головой к стене, босяк. Возле ног его — медно-красный сосуд, похожий на крестьянский двухносый умывальник, который всегда раскачивается, роняя в лохань крупные звонкие капли холодной воды. Но, приглядевшись, я нахожу в нем сходство с теми светильнями, которые переселенцы из Украины называют «каганцами». Светильня грязна, запылена, и ласкающий блеск старой меди с трудом пробивается сквозь грязь. Светильня валяется у самых колен босяка, это единственное имущество его. Скоро хлынут на базар мальчишки, утащат или спрячут светильню...

Босяк чем-то похож на Степу Носовца, разве что ростом пониже. Шевелю его за плечо:

— Эй, эй, проснись, спрячь лампу!

Босяк сопит, дергает плечом, носом, и от гримас толстое лицо его делится, как пароход, на две части: надводную и подводную. Подводная — рот, подбородок, лошадино-мускулистая шея — покрыта слюной, а нос, лоб и волосы — сухим песком. Он открывает глаза, круглые и яростно-впалые, недобрые, но очень серьезные глаза.

— Спрячь лампу-то, — повторяю я, — упрут.

— А ты купи, раз беспокоишься, — привстав, говорит босяк. — Уступлю задешево, поди-вот.

— Куда мне ее? У меня есть лампа. Десятилинейная, с пузырем, с абажуром. А эта — коптилка, нос набок от вони своротит.

— Свортит! Коптилка! — пренебрежительно восклицает босяк. — Сам ты, поди-вот, коптилка, раз не видишь! На эту лампу свежо надо смотреть. Дурак на ней закоптится да обожжется, а умный — наживется. Лампа особая.

— Чем же она особая?

— Ты про Аладыну лампу слышал?

— Не Аладына лампа, а лампа Аладдина, счастливец такой был. Нашел лампу, открыл, а из нее Дух: что прикажешь, то и выполнит.

— Вот-вот!

И босяк, тыча светильник мне под нос, кричит:

— Его лампа!

— Так то — сказка!

— Для дурака — все сказка, а для умного — везде найдется правда. Его лампа, тебе говорю!

Босяк прячет лампу под полу рваного пиджака. Он уйдет, а я так и не узнаю, откуда ему известна сказка об Аладдине и его волшебной лампе и почему он решил, что именно со мной удастся такое глупое надувательство.

— Не там жмешь, простота, — смеясь, говорю я.

— А я и не жму, поди-вот. Ты сам на себя жмешь. Я тебя разбудил или ты меня?! Ты! Ты и хочешь купить!

— Привязался с этой покупкой! Зачем лампе у меня стоять?

— Стоять?! — с повышающим пренебрежением в голосе спрашивает босяк. — Стоять у тебя она и не может. Стоять ей только у меня.

— Так зачем же тогда продаешь?

Он, отхаркнув слону, вплотную подходит ко мне и холодно говорит:

— Я, поди-вот, и не продаю ее насовсем-то. Продаю на время. Насовсем зачем мне ее продавать? Никакой выгоды. Отпушу ее на часок, на полчасика — и обратно. Пока там человек ее трет, вызывает Духа, я на те денежки чекалдыкну сороковку. Я всем желаю счастья.

— Почему же для себя не вызвал счастья?

— Как не вызвал?! — восклицает босяк. — Я вызвал и пожелал.

— Чего же пожелал?

— А пожелал я, чтоб лампа Аладына всегда при мне находилась. За какую б цену я ее ни продал, кто б ее ни украл — она вернется!

— Замечательно.

— Чего ж лучше?

Я смеюсь. Босяк смотрит на меня холодными, хищно-круглыми глазами, и мне не по себе. Я хмурюсь и думаю: «Тоже, находка! Фокусничает нахал какой-то». И одновременно верится, что он говорит правду.

— Откуда она у тебя?

— Сказка. Начнешь узнавать, откуда сказка пришла, сказки и не будет. Все дело, поди-вот, в простоте. Надо хлопать глазами и верить. А нашел я ее в городе Мукдене в русско-японскую войну, унтером был, георгиевский кавалер. Смотрю — китаец. У забора. Сдох. И лампа возле. Ну, я ее и потер папахой, думаю — продам. Он, Дух-то, и является. Большой, волостной, вроде попа: «Проси чего хочешь, солдат». Я ему: «Дай, для начала мысли, полсороковки и в закуску сотню пельменей». Очень я пельмени любил.

— И многим ты ее потом давал?

— А, брали. Мне — верят. У меня рот хоть и хлюпает, слабый, а глаза, поди-вот, находчивые. Но мне верят! И, опять, я много не беру. А если счастье задешево, его хватают.

— Хвалю.

— Чего хвалить! Ты скажи: берешь лампу?

— Сколько в час?

Похлопывая себя руками по ляжкам, он рассудительно осмотрел меня и сказал:

— Беру как извозчик: полтинник за первый час. За второй час — рубль, а за четыре часа — девять рублей семьдесят пять копеек, а?

Я вздрогнул, словно промок в ледяной воде. «Откуда он знает, что у меня есть ровно девять рублей семьдесят пять копеек?» — возбужденно думал я, глядя на лицо бояка, которое делалось все более и более не-проницаемым. Я нерешительно пробормотал:

— А зачем мне лампу на четыре часа?

— А вдруг вздумаешь куда-нибудь прокатиться? У меня которые, случалось, и к умершим родным в рай или в ад катались.

— Ну и как?

— Оба места вроде Нерчинска, — сказал бояк, густо отхаркиваясь. — На редкость ты, поди-вот, раздумчивый. Берешь али нет? Жалко тебе, что ли, твоих девяти рублей, не заработкаешь больше? Разум-то у тебя есть? Тебе говорят: любое желанье Дух исполнит, в любое место укатит и вернет!

Тогда я, не без застенчивости, спросил:

— А любовное, скажем, желание? Допустим, она меня... не любит? Может тут Дух?

— Не может, — сказал грустно бояк. — Что не может, то не может. Я его и так и этак улещал — ничего! Приглянулась мне годков пять тому назад жена одного попа. И она, поначалу, вроде мигала, а потом говорит: «Закон не позволяет. Нам, попам, развода никак добиться нельзя! А без развода я не согласна». Я Духу и говорю: «Разведи!» Он отвечает: «Не в состоянии. Если мы во все любовные шашни начнем встречивать, от нас живой нитки не останется». А я ведь тогда богатый был, купец, вроде Дерова. И ничего не помогло! Спился я, скучился, разочаровался я: мне все постыло. Только и жизни что лампа — утешаю людей, особенно дураков.

«Черт его знает, что он несет! — подумал я с негодованием. — Какая дикая чушь! Однако почему же эта чушь кажется мне такой убедительной? Значит, что-то в этом есть?»

И я спросил:

— Что же, долго тереть?

— Ты три, пока «он» не придет. Да ты не бойся, «он» не пугает. «Он» больше в виде козла является. Так, рыжий козел из себя, на ногах стоит прочно.

Босяк показал на углубление возле ручки:

— Ты три здесь! Грязь сотрешь, медь появится, сердце у тебя начнет действовать... «Он»! Встанет пристойно, поди-вот, и скажет: «Здравия желаю, ваше высокопревосходительство... — это я его так научил... — Какие, ваше превосходительство, распоряженья, какая выпивка-закуска?»

— Постой, постой! Зачем же тебе, простота, торговать лампой? Ты ведь у Духа всегда можешь потребовать лучшей водки-закуски?

— А какой мне, поди-вот, в том интерес? — сказал босяк. — Мне тоже поговорить с человеком хочется.

«Разумеется, вздор, чепуха, самый наглейший обман», — думал я и все же стал торговаться: в человеке так много надежд!

Сторговались на девять рублей. Семьдесят пять копеек босяк оставил мне на карманные расходы. Взяв мои деньги, он побежал в трактир, а я на четыре часа сделался владельцем волшебной лампы Аладдина.

Босяк скрылся с быстротою нерукотворной, и, как всегда, когда исчезает талант, действительность стала серой и скучной. Базар уже не казался мне таким скучно-огромным, плиты грели уже не так горячо, и раскаяние облепило меня. Держа тяжелую лампу, я думал: «Боже мой, как глупо, как непростительно глупо! И глупее, чем в первую получку. Там хоть я купил идиотский плащ с застежками в виде львиных голов, кепку, трость, а — сейчас?! Непроходимая глупость: в двадцатом веке поверить, что существует лампа Аладдина!»

И одновременно с этими непригожими и неприглядными мыслями робко бились и другие. А что, если — прикоснуться и потереть ее? Что, если появится Дух и я скажу ему: «Немедленно доставить меня... скажем, скажем... в Петербург, в лучшую типографию, печатающую «Солнце России»! Сделать меня метранпажем этого журнала!» Дух немедленно преодолеет огромное пространство, доставит меня в великую столицу, и заведующий типографией скажет мне: «Господин, приступайте к вашим обязанностям, верстайте «Солнце России».

Так-то оно так, а что, если Дух не явится? Я, как дурак, непрестанно три эту гадкую коптилку? Где-нибудь

за углом спрятался бояк, или приказчики, или проказник Степа Носовец, подстроивший всю эту затею?! Нет, если уже верить и применить способ трения к этой лампе, так лучше в укромном месте. Там, в случае неудачи, швырну ее в сторону и пойду домой.

Вниз по течению Иртыша, верстах в двух-трех от города, имел я любимое укромное местечко. Песчаный оранжевый яр, с прослойками плотной серой глины, круто обрывался у самых вод. Выходы твердой, словно камень, глины спускались к воде неровными ступеньками. Иногда, при высоком настроении, сиживал я на верхних ступеньках, почти на уровне степных трав, а чаще всего внизу, у самой воды, морной и необъятно-необъездной. Ноги медленно уходили в песок, и разные пугливо-мягкие чувства волновали меня.

Я направился к яру. Послышались шаги. Догонял бояк:

— Эка дрябла память! Поди-вот, и не сказал, в каком месте сподручней тереть?

— Сказал.

— Сказал, значит? Тогда счастливо оставаться.

И он повернулся к городу.

Его слова воодушевили: «Лампа действительно волшебная! Иначе зачем же ему догонять меня?» Да и говорил он таким деловым и уверенным тоном, и круглые глаза его глядели так спокойно.

Налево от меня — степь, полоса пыльной белой дороги, опять степь и за нею — заунывно-раскидистый Павлодар. Направо, внизу, густо-синий Иртыш нес свои струи, неразрывные и неразлучные. Я занял самый верхний выступ глины.

«Ну что ж, попробуем, — сказал я сам себе, глядя на лампу. — Прокатимся в будущее и прошлое; растворимся в пространстве; разборчиво, без развязности, разделим по пунктам все мечты и выберем лучшую, а затем уже осуществим ее ради любимой».

И я повернулся лицом к солнцу, к югу. Во-первых, пусть козел, в которого, по словам бояка, воплощается Дух, встанет ниже меня. Существо, стоящее ниже, не так пугает, с ним легче разговаривать. Во-вторых, при блеске солнца, отраженном водою, появление Духа не будет столь волшебным. Достаточно волшебно блестит

солнце и играет вода. В-третьих, если опыт не выйдет, мне удобнее швырнуть лампу в Иртыш... Последний раз вспомнил я бояка, его слегка посеребренную временем голову, его походку, плечи, шею. Он слегка скептик, жизнь перекалила его, как орехи на огне, и оттого я посердобольничал, дав ему за лампу 9 рублей. Достаточно было бы и полтинника. Но в конце концов что деньги! Важна вера в человека. Кому иначе верить? Базару, этому огромнейшему саквояжу с вещами?! Нет, коли я сам решительно захотел редкое, чего там нюнить и хныкать!

Я здесь — один. Степь, Иртыш, яр, выходы глины. Один, с волшебной лампой на коленях. Один посередине сказочно-волшебного и разнообразнейшего мира. Надо выбирать.

Ибо — верю. Сижу. Жду. Тру.

Собственно говоря, я еще не тер лампу. Я держал ее с наивозможной осторожностью, чтобы Силы, которые должны направить ко мне Духа, отнюдь не подумали, будто я тру. Времени у меня достаточно. Я не тороплюсь. Я желаю произвести самый аккуратный выбор, сказав точно и ясно явившемуся Духу, чего я хочу.

Разумеется, я не хочу никаких фокусов вроде скатерти-самобранки, бессмертия, шапки-невидимки или неразмененного рубля. Мои симпатии лежат в другой, более серьезной области. Я много читал, кое-что знаю и вовсе не желаю поощрять суеверие и нелепые выдумки. Можно, конечно, вызвать Духа и приказать ему застроить всю степь от меня до Павлодара мраморными дворцами, золотыми фонтанами и садами самого причудливого свойства, ну, а кому какая польза, зачем это?

Если проревизовать мои мысли, то окажется, что они всегда исходили из чувственного познания внешнего мира с разумно действующими в нем законами причинной связи. Правда, в данном случае с лампой цепь этих законов будто обрывалась. Но здесь нет ничего сверхчувственного. Стоит только появиться Духу, как я допытуюсь у него: «Где находится оборвавшееся звено цепи, где здесь разумная связь? Иначе я не могу признать Духа и всего того, что он делает! Я должен доказать самому себе сущность внешних предметов, независимо от моих, возможно, даже самых фантастических, представлений». Должен признаться, что я тогда еще

не знал имени моего мировоззрения, а его уже звали реализмом!

Без озорства, без озлобленности, разумно и просто надо найти подходящее и, конечно, почетное место в этом мире. Лампа способна доставить и поставить меня на это место, но в ее обязанности не входит указывать мне на это место, а тем более говорить — имею ли я такие способности, которые помогут мне удержать это место?

«Однако посмотрим!»

И с вышины своего яра я взглянул на Российскую империю.

Я обладаю возможностью выбрать в ней любое место для труда, наук, жилья или наслаждений. Я могу выбрать любую профессию, любой чин, любое состояние, вплоть до состояния сумасшедшего, любую сумму денег, любые сокровища и здания, вплоть до Зимнего дворца, любых друзей, любые способы передвижения, любых коней, любые яства и зрелища. Словом, я могу выбрать себе счастье.

Мало того, я могу покинуть пределы Российской империи и, кажется, распространить свои желания за пределы Земли, скажем, на Марс или Юпитер. Если я пожелаю достаточно настойчиво, я сам могу превратиться в Марс или Юпитер, или в эту самую волшебную лампу Аладдина, с тем чтобы давать людям счастье.

Но, во-первых, — что такое счастье? В восемнадцать лет так ли уж человек отчетливо знает — в чем счастье других? А во-вторых, эти другие сами-то знают весь размер и всю сумму их счастья? Если б знали так уж отчетливо, неужели они не услышали б о лампе Аладдина, находящейся в руках боязка, и не стерли б ее до размеров пятака, вызывая свои желания?

«Давай-ка, прежде чем думать о чужом счастье, в котором ты плохо разбираешься, подумай о своем. Да, Дух не может дать тебе ее любви, — добивайся сам! Прекрасно. Я приду к ней в новом, необычайном виде, — и тогда она полюбит меня. И затем оба, счастливые, мы дадим людям счастье, потому что, владея счастьем, легко его раздавать и другим. Но в каком виде она меня полюбит? За что?

Кем же мне быть?

Кого она способна полюбить сразу же?»

Ну, конечно, того, кто стоит выше всех людей. Того, кто управляет страной. В данном случае — император. Ведь я могу быть императором. Духу это ничего не стоит сделать, он привык. Каждый, к кому попадает эта лампа, хочет быть, наверное, императором. Значит, императором? Если мне не нравится быть императором России, я могу быть императором Англии, Китая, Африки, Америки и прочее. Выбор довольно разнообразный.

Все несчастье в том, что из-за моей застенчивости я ни разу не разговаривал с девушкой, в которую был влюблен. Однако я достоверно знал, что она брала в общественной библиотеке лишь либеральные журналы и газеты, а она, кажется, не очень настаивала на том, чтоб в России был император? Да и, по совести говоря, какой я, к черту, император!

Глупо.

Разумеется, читая либеральные газеты, она ищет в них либерального героя, человека-освободителя? Отлично! Долой императоров!

Конечно, не так-то легко сойти с меридиана, который уже почти принадлежит тебе. И с легкой грустью я спустился ниже на одну ступеньку из глины. Степь и легкий ветерок из нее мешали моему воображению, внутри было как-то мерзко. Я прислонился к яру. Город и степь исчезли. Я сидел как бы на троне. Лампа грелась у меня на коленях, словно котенок.

Я продолжал свой выбор.

Я не измельчу себя, если выберу обязанности и жизнь героя... скажем, вроде Геракла, достославного мужа древности! Недавно мне пришлось прочесть о нем. Это вполне уважаемая личность. Он посвятил всю свою жизнь подвигам ради счастья людей. Он исходил по земле, всюду сражаясь и претерпевая крайние неудобства. И был в награду приравнен к богам. Не попробовать ли мне нечто в этом роде?.. Правда, судя по сказаниям, герою надо обладать большой физической силой. Она у меня есть, хотя и не в таком большом размере. А если развить? Мне нравится путешествовать. Я всегда завидовал Дон-Кихоту. Он обладал малыми средствами, а отправился почти во всемирное путешествие. Он не свершил его только из-за телесных немощей. Непонятно: почему над ним смеется весь мир? А ведь все дело в том, что пророки не зерно: они

в своем отечестве, как известно, не прорастают. Выди он за пределы тогдашней Испании, я уверен, он встретил бы драконов, и кентавров, и сирен. Если в наши скептические времена существует Дух Медной Лампы и я в него верю, то совершенно ясно, что в те времена водились Духи и позабавнее этого! Достаточно было старику ухлопать какую-нибудь сирену, как он бы прославился и все начали бы говорить о нем... Да, старики были слабее меня, зато он обладал другим преимуществом. Он мог направить все силы своей души к одной конечной цели, тогда как у меня стремления разбросанные, как поленья, когда колют чурку. Иду, например, по дороге. Нужно убрать корягу, мешающую движению телеги. Я ее сталкиваю в овраг. Вижу там еще корягу и спускаюсь, чтобы убрать подальше и эту! Телега тем временем уходит. Долгий путь мне придется проделать пешком! Я суетлив, пестр, бессистемен. Надо отказаться, пока не поздно, от лестной обязанности Геракла, благодетеля человечества! Это несомненно.

Вот какие горести, вот какую правду открывает любовь!

А может быть, ей плевать на одиночных героев и она предпочитает тех, кто ведет толпы, тех, кого обычно называют полководцами?

Итак, полководец?

В людском мнении, полководец идет вслед за Гераклом, героем. Полководец ведет солдат, изредка говоря им об обязанностях по отношению отечества, а главным образом используя комбинации желаний голода, жажды охотничьих желаний, честолюбия и удачного возвращения домой. К сожалению, я мало знаю о полководцах. Возможно, мои знания близоруки, тем более что и солдат-то я видел не тех, которые воюют на поле брани. В нашем городе есть только конвойная команда, сопровождающая по тракту конокрадов и бродяжек. Трудно представить, чтобы эти мордатые, толстые, в чугунных сапогах парни испытывали эмоции голода, жажды или охотничьих наслаждений, а еще менее — эмоции честолюбия. Даже чувство удовольствия и то не так-то уже ярко начерчено на их беспечно-розовых лицах. Нет, где мне полководить над ними!

Сомнительно, чтоб ей нравились полководцы. Ни

одного офицера, ни даже чиновника нет среди ее знакомых!

Итак, полководцев и чиновников можно отбросить.

Незаметно для себя я спустился еще на несколько ступенек и теперь находился посередине яра, на самом припеке. К берегу подплыло толстенное фиолетово-голубое бревно со слабо окрашенными в канареский цвет краями и начало лениво биться в песок. Оно оторвалось от проходившего мимо плота; начался, по-видимому, летний сплав леса. Скоро поспеют арбузы, их повезут на плотах, и плоты шеренгой вытянутся вдоль Павлодара. Я люблю нырять с плотов. Пахнет мокрой корой, арбузами, и есть опасность, что тебя утянет под плот... и неужели она скажет про тебя, что «так ему и надо»?

«Боже мой, что мне делать? Кого она способна полюбить? Может быть, побежать в город, спросить у нее?»

Нет! Догадаюсь же я! Догадаюсь так удачно, что она сама придет сюда, почувствовав, что здесь осуществилась ее мечта.

Продолжаем».

Купец?

Торговать?

Нет, нет, нет! Я два года служил в лавке помощником приказчика и знаю, что это такое — торговать. Подлость это, гнусность.

Тогда — банкиром?

Банкир? Это очень солидно. Дом с молчаливыми окнами и певучими дверьми. Блестящие, лакированные конторки клерков. Касса. Бухгалтеры. Телеграммы. Биржа. Колебание цен. Ты сидишь в глубине своей конторы и наблюдаешь. Тебе подчиняются заводы, фабрики, типографии. Ты устраняешь препятствия, мешающие твоей наживе, и не думаю, чтоб умершие от твоих ловких операций слабо проклинали тебя. Но ты холоден, безжалостен, ты набил кассу акциями и зорко выглядываешь новые препятствия...

Она — добра, отзывчива, и вряд ли ей захочется быть супругой злого, сухого и жадного банкира.

Не хочу быть банкиром!

И заводчиком не хочу быть. Равно и тем инженером, который кланяется этому заводчику. И не хочу быть типографщиком! Я видел, как мой хозяин-типо-

графщик, охваченный страхом, что заказчик уйдет, брал заказы себе в убыток или искал их по городу или за городом, у мукомолов. Он столбенел перед ними подобострастно и униженно, сидел на краешке стула, а в это время к его жене приходил любовник, и вся улица гоготала, что типографщик собирает деньги для этой толстой бабы с накладными косами... Стыдно и думать, что я буду владеть типографией!

...Есть точка в небесном своде, противоположная зениту. Она называется надир. Поищем-ка мой надир. А что, если мне сделаться, скажем, архиереем! И мне сразу же представился собор, широко-белоснежный, наполненный людьми. Над головами колышется дымок ладана, этот запах надежды ковыльного цвета. Архиерей смотрит — и видит всех несчастными, и в глазах его и на лице скорбь. Эта скорбь в превосходной ризе, багряной и парчовой, что еще сильнее подчеркивает ее, так же как и серебряные и могуче-безбрежные голоса архиерейского хора.

Скорбь — хороша. Она отвечает моим намерениям. Я вижу вокруг много скорби, да и во мне ее немало. Несчастья других людей для меня точно собственные несчастья. Я уже испытал это много раз... много-то много, а вдруг да, — как это и случалось с кое-какими архиереями, — скорбь взмахнет крыльшками, уйдет, уныние ослабнет, а физические силы окрепнут и мне захочется плясать? Да, плясать, и пьянствовать, и радоваться, и думать, что мир не так уже плотно, как мешок с мукой, набит скорбью. Тогда — что?

Нет! Не ходить мне в митре, налитой тревожным блеском драгоценных камней, не любоваться панагией, и не будут меня приветствовать серебряноголосые диканты и могуче-безбрежные басы.

И, кроме того, она с такой яростной скукой идет в церковь!

Тогда — путешественником? Да! Путешественник — это воля знать и видеть, что не видали и не испытывали другие. Это — пустыни, горы, моря, охоты, крушения, раскопки древних городов, голос вечности.

Но, с другой стороны, путешествия — не есть ли борьба с чувством неуютности мира, с чувством неприятной боязливости, чуждости? А отсюда и стремление избавиться от этого чувства, уйдя в неведомое? То есть

это — желание превратить неведомое в известное и знакомое. И затем, всю жизнь путешествовать, жить на голой земле, приобретать насморки, ревматизмы, катары, убивать красивых животных и уничтожать красивую неизвестность.

Она, насколько мне известно, ни разу не выезжала из Павлодара и не ходит гулять на пароход, когда тот, тяжело дыша, ложится возле пристани и выбрасывает мостки. Даже на пароход «Апостол Фома» и то не ходит, а что может быть прекраснее этого парохода?

Значит, и капитаном парохода тоже мне не быть?

Но что же, что?

Взволнованно я спускаюсь еще на ступеньку. Я сижу на самом солнцепеке, в пахуче-страстном дыхании зноя. Неподалеку от меня — подкабель. Вода течет по глине и капает вниз равномерно, как часы. Считаю: один, два, три, четыре... О, как быстро идет время! Надо выбирать скорее.

Цель? О, цель моя не затуманена никакими чувственными желаниями или вожделениями. Мне ненавистны люди, для которых другие — только лишь любовницы, повара, конюхи. Фальстаф, Дон-Жуан, Гаргантюа возмущают меня. Накаленные своими желаниями, они бегут по миру высунув язык, ничего не видя в нем духовного и высокого и не понимая, что холодная и мрачная материя смеется над ними.

Нет! Хочу подчинить холодную и мрачную материю себе. И в самом мятежном ее виде, при самом диком ее сопротивлении.

Моя подруга будет помогать мне.

Значит, наука?

Да!

Тру лампу?

Нет, нет! Еще не тру.

Я только многозначительно гляжу на нее, и она — на меня. Тускло и таинственно блестит древняя медь, и кажется, она шепчет: «Горопись, время крылато и капризно-вспыльчиво, торопись, золотой и вольный юноша!»

Сейчас, сейчас! Я почти выбрал.

Наука?!

Благо людей, обладающее для меня притягательной силой, сосредоточено для меня в науке. Когда унижа-

ется, лжет, клевещет или боится наука — меня охватывает печаль. Мне любы книги, аппараты, уют лабораторий. Мне нравится научное уединение, беседа с веками.

Итак — наука?

Какая ж наука? Их много. Физика, социология, химия, астрономия, биология, метеорология...

Видите ли, весьма трудно взвесить сразу все степени трудности. К тому же мой ум смущается перед отвлеченностями. Математика ломает меня, например, пополам... Это не так легко — выбрать научную специальность.

Кроме того, моя Возлюбленная, вернее сказать — та, кто может, при известных условиях, стать возлюбленной, плохо учится. Инспектор этим очень огорчен. Она больше думает о красоте своих бровей и изгибе носа, чем о красоте научных истин. И как странно, что это-то мне и нравится!

Жаль, но с наукой, кажется, я расстанусь...

...Незаметно я спустился к самой воде. Лампа отражается желто-зеленым пятном. Бревно откатывается, прикатывается, то открывает, то закрывает это отражение. Солнце подвинулось к закату. Зной спадает.

Я все еще не выбрал. А наверное, уже прошло часа два?

Надо пересмотреть все сначала.

Император? А, ерунда!

Герой?

Почему я отказался от героизма? Убоялся тюрьмы, клеветы, страха смерти и страданий. И не стыдно тебе?

Стыдно! Плохо мне. Я весь как дерево, издолбленное дятлом, живого места нет. Мне трудно и тяжело держать лампу; я словно пил из нее, напился, напичкан... нужно подумать со свободными руками, помахать ими.

И я ставлю лампу рядом с собой, на последний глиняный выступ, за которым — полоска песка и вода. Иртыш.

Итак — огнеглазый и чистосердечный герой?

Герой побеждает все и всех, а значит, и ее сопротивление.

Я буду героем!

Позади, по яру, слышится шум. Кто-то плюхнулся ко мне.

Босяк! У него самоуверенные глаза, веселые телодвижения. Он хорошо выпил, погулял, отдохнул и пришел. Я схватываю лампу.

— Поздно, брат! Не, не, тереть нельзя: ничего теперь не выйдет.

— Да разве прошло уже четыре часа?

— Эка, поди-вот, хватил! И четыре прошло, и пять минут лишка.

Я оторопело гляжу. Он берет осторожно лампу и прячет ее под полу пиджака, а затем не спеша лезет по глиняным выступам вверх. Бормочет: «Жара тут какая, поди-вот». Кусочки глины с цветным отливом ломаются под опорками и падают.

— Постой, постой! — опять кричу я.— Ты, брат, не плутуй!

Босяк останавливается на верхней ступеньке яра и смотрит на меня вниз. Мне кажется, я читаю на его лице сожаление.

— А чем же я плутовал? Четыре часа, поди-вот, прошло!

— Подожди. Да как тебя зовут-то?

— Михнов Вася. Василий Михнов, значит, семипалатинский мещанин, скорняком когда-то был... А твое время кончилось!

Он вынимает часы. Честное слово, это те самые часы из накладного золота за 9 руб. 75 коп., которые недавно смотрел я.

— Дай мне лампу! На секунду! Я — выбрал!

— Шали!

Я ползу вверх по глине, срываюсь. Но голова у меня ясная, лазорево-ясная. Я — счастлив. Я возьму у него на одну лишь секунду лампу — и всё!

Знаю, кем мне быть, догадываюсь.

Я выскоцил на яр.

Передо мной — полоска степи водянистого цвета, затем белая полоска песка — дорога, телеграфный столб возле нее, ястребок, чистящий перья на телеграфном столбе, а дальше опять степь и за нею, самого густого синего цвета, цвета индиго, город. Заунывно-раскидистый Павлодар. Направо, внизу, оранжевый яр, белый песок у воды, качающееся бревно и он, Иртыш, сизый, с голубоватым отливом.

И — больше ничего и никого!

Один, без лампы и без Духа, стоял я в тоске, пла-
менной и страстной, один посередине мира.

Один, именно тогда, когда мне надо быть Васей
Михновым, семипалатинским мещанином, который
был когда-то скорняком... «О великий Дух Земли!
Я узнал тебя. Тебя родила земля. Ты ее вдохновение,
и она так уверена в силе этого вдохновения, что не по-
боялась дать волшебную Медную Лампу в руки жалко-
го пьяницы Васи Михнова, ибо радость и творчество не
погибают даже и в руках пьяниц».

Но я был один, и вскоре мысли мои показались
мне вздорными.

Я не встречал больше мою любовь. Она вскоре по-
кинула Павлодар, перебравшись зачем-то в Семипала-
тинск. Кстати, я, кажется, забыл назвать вам ее имя? Ее
звали Ольга Залуцкая.

Когда я позже вспоминал о встрече с Васей Михно-
вым, мне эта встреча казалась не очень-то умно расска-
занной аллегорией. Экая, подумаешь, хитрость! Медная
лампа, босяк, Иртыш, задумчивая и красивая девушка,
выбор пути.

Но вот недавно я купил в комиссионном магази-
не медную лампу. На первый взгляд она мне показа-
лась очень похожей на ту, которую давал мне Вася
Михнов. Но, приглядевшись, я понял, что лампа сов-
сем другая. По-видимому, я просто тосковал по моло-
дости.

Разглядывая эту медную лампу, я написал одному
очень дотошному знакомцу в Павлодар: не знает ли,
что случилось с Ольгой Залуцкой? Месяца четыре спу-
стя знакомец ответил, что судьба Ольги Залуц-
кой — странная. Из Павлодара она уехала в Семипала-
тинск — рожать. Как позже выяснилось, ее соблазнил
или взял силою какой-то пьячужка, некто Вася Мих-
нов. По-видимому, соблазнил, так как, когда ребенку
было полгода, он явился к Ольге и увел ее с собой.
Встречали их в Омске и Челябинске — нищими. Ребе-
нок их тоже нищенствовал. «Есть люди, которых
прельщает горе и падение: в нем они ищут счастье
свое», — добавлял мой знакомец.

И он был прав, пожалуй!

Да и я тогда, у яра, был прав.

Агасфер

Воспользовавшись тем, что контузия на продолжительное время задержала меня в тылу, я предложил кинофабрике написать сценарий «Агасфер». Я прочел эту легенду на фронте. Образ человека, остающегося бессмертным среди многих десятков поколений и появляющегося в разных концах мира, поразил мое воображение. Надо думать, что смерти, которых я много видел, помогали моему воображению.

Кинематографисты встретили меня доброжелательно. «Это может быть оригинальный фильм, — сказал один из режиссеров и задумчиво добавил: — Да и тема близка западному зрителю, а мы для него мало ставим картин. Очень и очень оригинально».

Оригинально? Допустим. Но явление ли она — искусству? Вдумавшись, я вижу эту тему довольно-таки слабой. Недаром большие и малые поэты Европы, обрабатывавшие этот сюжет, потерпели неудачу. Андерсен, Шлегель, Жуковский, Гете, Евгений Сю, Эдгар Кине, Кармен Сильва, Франц Горн, Леннау... какая смена лиц и как она похожа на ту смену ряда исторических картин, — лишенных всякой реальной связи, — что пытались объединить именем Агасфера! И может быть, лучше всех объяснил это явление М. Горький, несколькими строками, в великолепной статье своей «Легенда об Агасфере»: «Эта легенда искусно соединяет в себе и заветную мечту человека о бессмертии, и страх бессмертия, вызываемый тяжкими мучениями жизни, в то же время она в образе одного героя как бы подчеркивает бессмертие всего израильского народа, рассеянного по всей земле, повсюду заметного своей жизнеспособностью». Это, скорее всего,

тема публицистики, чем художественного произведения,— если допустить, что публицистика и художественность в чем-то противоположны.

Около двух часов ночи, отложив наброски в сторону, я решительно написал кинофабрике, что отказываюсь от обработки «Агасфера». А написав, грустно задумался. Ух, как отчаянно грустно в наше время всевозможных удач стоять неудачником даже среди самых знаменитых неудачников!

Я холост и одинок. Мне тридцать лет. Несколько месяцев назад, после сильной контузии, мне дали полугодовой отпуск из армии. Тут-то я и подумал об Агасфере. Неудачное бессмертие, ха-ха!

«Моя любовь к тебе бессмертна и вечна»,— говорила она, когда я уезжал на фронт. И тут же хотела, чтоб я немедленно женился на ней. Мы познакомились с нею недавно. Ее горячность казалась мне чрезмерной,— может быть, потому, что моя горячность тоже казалась мне неправдоподобной. Мучительное желание проверить нашу страсть овладело мной. «Если наша любовь вечна,— сказал я ей,— то ничего не случится в те несколько месяцев, которые я пробуду на фронте: предчувствую, что меня скоро ранят и я вернусь». Предчувствие не обмануло меня, я действительно вернулся через несколько месяцев с предчувствием, что она верна мне. Она не пришла меня встречать к поезду. Подруга принесла записку — она полюбила другого. Я не спросил имени любовника. Зачем? Добавлю, что ее зовут Клава. Клава Кеенова. Неприятно писать ее фамилию: ее подруге я сказал, что я так и думал — она родилась и осталась Гееновой. Ах, как нехорошо и плохо!

Я живу в коммунальной квартире. На входной двери у нас — длинная, темная дощечка и, словно ряд пуговиц, перечисление фамилий и звонков: кому сколько раз звонить. Я второй сверху, и ко мне два звонка. И вот, ровно в два часа ночи, едва лишь я подписался под заявлением, в большом, высоком и гулком коридоре раздалось два звонка. Напоминаю, что происходило это все летом 1944 года, во время войны с немецкими фашистами, и для того, чтобы приходить ночью, надо

было иметь ночной пропуск по городу и быть вообще человеком серьезным. Неудивительно, что я открыл дверь с бьющимся сердцем.

Мы экономим электричество, и коридор наш освещается светом из наших комнат. У меня только настольная лампа, да и она небольшой силы. Поэтому фигура посетителя рисовалась уныло и расплывчиво. Это был человек среднего роста с тонкой и длинной головой. Он дышал тяжело и пошатывался от усталости и, может быть, истощения, так как платье на нем словно распухло и похоже было на волокно гнилой и растрепанной временем веревки. Платье хранило название, но не предназначение. Пахло от него прелым; плохо пахло.

Тоющим и невыразительным голосом он назвал мое имя и фамилию.

Несмотря на слабость и явное истощение, вызванное, несомненно, войной, я не испытывал жалости к этому шатко стоящему человеку. Во мне поднялась холодная настороженность. Он сразу же понял мои чувства. Он наклонил длинную и тонкую, как нож, голову, и я увидал явственно слезы, катящиеся по борту его рваного, прорезиненного плаща, покрытого крупными темно-зелеными камуфляжными пятнами.

И слезы эти мне показались притворными. Я покал плечами. Можно распустить себя как угодно, но нельзя же рыдать в два часа ночи на пороге коридора перед незнакомым человеком!

— Что нужно? — спросил я.

Утирая полой плаща слезы, посетитель ответил:

— Мне настоятельно нужно переговорить с вами.

— Вас кто-нибудь направил ко мне?

— Нет, я сам.

Холодность-то холодностью, но он все-таки ухитрился, благодаря своему слабому виду, отстегнуть мою наглухо застегнутую душу. Вместо того чтобы попросить его уйти, я посторонился. Он прошел в мою комнату.

Внезапная, острая и жгучая мысль потрясла меня. Э, да это ведь любовник Клавы Кееновой! И опять завизжало внутри — «гиена, гиена!», и стало очень нехорошо.

рошо. Нужно во что бы то ни стало подавить эти гнусные слова, и я с преувеличеннной вежливостью спросил:

— Вы москвич?

— Нет, я космополит и не прописан нигде.

Это происходило до антикосмополитической кампании, и поэтому я не обратил на его слова внимания.

В комнате много книг и мало мебели. Обилие книг мне всегда казалось воплощенным идеалом жизни ученого и умного человека, хотя книги доставляли мне много неудобств, так как умнел я чересчур медленно и на этом медленном пути приобретал много всяческой печатной дряни. Но ни одно из моих приобретений не доставило мне столько раздражения, сколько появление среди моих книг фигуры этого человека с длинной и тонкой, как ржавый нож, головой.

— Что же вам нужно? — переспросил я.

Он повторил:

— Мне нужно настоятельно переговорить с вами.

— О чём переговорить?

— Переговорить о моей и вашей судьбе, — ответил он таким тоном, словно заранее был уверен, что я откажу ему в просьбе.

Я не разубеждал его. Присутствие нас двух в этой комнате казалось мне столь же несовместимым, как путешествие булыжника и стекла в одной бочке, хотя оба они могли быть из одного и того же вещества.

— Из ваших слов можно заключить, что странным образом наши судьбы взаимно связаны?

Он ответил:

— Нахожу, что связаны.

— Вы назвали мою фамилию. Очевидно, знаете меня? Хотелось бы и мне знать, кто вы?

Он молчал. Я более кратко и более злово повторил свой вопрос. Длинное ржавое лицо его передернулось. Он ответил:

— Я молчал, так как вам могло показаться, что допускаю большую вольность в обращении. К сожалению, я не шучу и говорю правду, чему приведу неопровергимые доказательства.

После некоторой паузы он добавил:

— Видите ли, я действительно космополит Агасфер.

— То есть вы тоже работаете над сценарием «Агасфер»? Или вы должны играть роль Агасфера в моем сценарии? Но и тут разговора не получится: я отказался от работы над сценарием!

— Извините, видимо, вы не понимаете моих слов, Илья Ильич,— сказал посетитель, откидывая назад длинную голову.— Дело в том, что я действительно — Агасфер. Тот самый Агасфер... ну, да вы сами знаете легенду!

Камуфляжная плащ-палатка, изношенные солдатские ботинки с резиновыми подошвами, галифе в заплатах и дрянная замасленная гимнастерка с плеча какого-нибудь шофера, небритая ржавая и длинная голова с опухшими глазами, поблекший голос — все это было таким контрастом к жизнеописанию Агасфера, сочиненному где-нибудь в уединении средневековой монастырской кельи... я расхохотался, хотя вообще я человек не смешливый.

Мой посетитель скромно глядел вбок, погрузив свой длинный и грязный нос в не менее длинную и грязную полу плащ-палатки.

— Мне приходилось слышать, что персонажи приходят к автору,— сказал я, продолжая смеяться,— но все они приходят в более или менее приличном виде. А вы, Агасфер! Вы, чья легенда едва ли не популярнее Фауста и Дон-Жуана,— а уж Роберта-Дьявола, Роланда, Робин Гуда, во всяком случае,— вы осмеливаетесь появиться в таком неправдоподобном образе? Ха-ха-ха!..

— Вполне разделяю ваш смех,— ответил унылый посетитель, медленно поворачивая ко мне длинную голову.— Сам не смеюсь лишь от переутомления. Впрочем, вы должны подчеркивать мою временность, как обложка книги подчеркивает и раскрывает эпоху. Если б я желал бессмертия или претендовал на звание пророка, я б оделся более странно, как, например, одевались Лев Толстой или Рабиндранат Тагор...

— Оставьте Льва Толстого! Вы утверждаете, что вам не надобно бессмертия и что вы ищете временно-

сти? Это значит: вы ищете смерти? Значит, Горький прав?

— В чем?

— В том, что бессмертие, так сказать, тоже не конфетка: долго жить, долго страдать. Впрочем, утешьтесь: вам долго не жить.

— Ах! Ну, зачем вы так?

— Затем, что так хочу!

Я поступил жестоко, напоминая о смерти лицу почти умирающему. В иное время, случись бы подобное, вид длинноголового оборванца, сразу же после моих слов рухнувшего на кипы журнала «Русский архив», вызвал бы ужасное отвращение к себе.

Тут наоборот. Должно добавить, что я высок, мясист, с широким лицом и несколько приплюснутым носом. И вот плотный, широколицый стоит, слегка наклонившись к тонкоголовому, небрежно опервшись ладонями о край письменного стола. Стоит — и хохочет. Мало того — хохочет, он испытывает наслаждение от своего хохота!

«Это шпион, подлец, провокатор, — твердил я самому себе, — не знаю, кем он подослан и зачем, но он, несомненно, провокатор, и я разоблачу тебя, мерзавец, разоблачу! Как бы ты ни укрывался, как ни прятался, а я разоблачу, — и головой о стену, головой!»

Хохот становился неудержимо истерическим. Надо бы крепиться, но я не мог поступить иначе, не мог! Впервые в жизни своей я ощущал внутри себя такую холодную и непреодолимую злобу, что ей, казалось, не будет конца.

Мой посетитель сидел на толстых номерах журнала, подобрав ноги и втянув голову в плечи, отчего голова его казалась особенно длинной.

Внутри меня, словно по холодному желобу, катилась тяжелая, как ртуть, свирепость. Мелькнуло: «Не ищет ли он ночлега, раз не прописан, не бежавший ли это из какого-нибудь концлагеря? И не оттого ли он так покорно выносит мои оскорблении?» Нет, нет! В каждом движении моего посетителя я искал важные причины, чтобы немедленно встать во враждебное положение.

— Если вы из арестованных... даже уголовник...

— Что вы, Илья Ильич!

Тогда я повторил:

— Кто же вы и зачем ко мне?

Он опять передернулся. Ему не хотелось отвечать, и если бы я еще раз повторил свой вопрос, я получил бы тот ответ, который избавил бы меня позже от многих страданий. Теперь только я понимаю, что мне следовало его напугать донельзя — и он исчез бы. Мне ни в коем случае нельзя было его оставлять! Но, увы, свирепость моя, оказывается, не была стойкой! Я пожалел его только на одну секунду. К тому же жалость была смешана с любопытством, а это самое опасное смешение. Итак, я поддался жалости, крошечной капле жалости,— и мой посетитель поймал меня! Он торопливо спросил:

— Разрешите открыть вам, откуда я получил имя Агасфер?

Хотя и нехотя, но я отозвался:

— Значит, имя Агасфер — прозвище?

— О да! Мое настоящее имя Пауль фон Эйтцен. Если вы хорошо изучали материалы по Агасферу, вы, наверное, встречали мое имя. Пауль фон Эйтцен! Боже мой, как красиво это имя и как оно подходило к улицам моего родного города Гамбурга! Я, видите ли, из Гамбурга. Пауль фон Эйтцен. Я — доктор Священного писания и шлезвигский слуга господа... ах, как это было давно! В тысяча пятьсот сорок седьмом году я, Пауль фон Эйтцен, окончив образование в Виттенберге, с радостью вернулся к своим родителям в Гамбург. Родители мои — выходцы из Амстердама. Они торговали кожами, тиснеными преимущественно. Они были небогаты... на границе разорения... впрочем, зачем скрывать такие поздние коммерческие тайны! Они были нищи, — и я ниц!

— Почему же вы возвращались в Гамбург с радостью? Вы любили родителей?

— Я их ненавидел: разориться именно в те дни, когда мне более чем когда-либо нужны деньги!

— А, вы были влюблены?

— Да.

— История несчастной любви?

— Проклятой любви!

— Кем проклятой?

— По-видимому, той же любовью: выше ее, как я теперь знаю достоверно, нет бога.

— Ого!

— А почему греки достигли бессмертия? То есть в искусстве, потому что биологически другое бессмертие невозможно. Потому, что у них была богиня любви Афродита.

— У нас есть богоматерь Мария.

— Но она богоматерь, то есть родившая бога, и, значит, выше всех: попробуй-ка роди другая бога! Невозможно. Афродита же заботилась о любви всех и вся, она была очень демократичная. Нет бога, кроме бога любви.

— Простите, плотской или духовной?

— Одно вытекает из другого, разделить этого нельзя, аскетизм — величайшее преступление.

— Следовательно, плотская любовь выше всего?

— Если угодно, да!

— Ваши родители были евреи?

— Вы — по Розанову?

— Нет, но вы начали рассказывать о своих родителях.

— Да, да! Они выходцы, повторяю, из Амстердама, голландцы.

— Агасфера все называют евреем.

— Меня тоже. Я даже сидел в гитлеровском концлагере, правда, недолго, мне ведь нельзя задерживаться на одном месте. Я иду.

— Знаю.

— Что же вас превратило в Агасферу?

Он уже слегка оправился. Опасения и тревоги, мучившие его, покинули его лицо. Осталась только болезненность. Глаза приобрели окраску, они были цвета легкого пива. Он ответил мне свободнее:

— Вы знаете, что для человека достаточно и одного неудержимого стремления к славе и деньгам, чтобы причинить себе боль и скорбь.

— Значит, все ваше почти четырехсотлетнее хождение вызвано жаждой славы и денег?

Он ответил:

— Книга моей жизни состоит из многих страниц. Разрешите раскрыть вам только первую и самую страшную?

— Ее звали Клавдия фон Кеен.

— Как?

— Клавдия фон Кеен. Вас удивляет, по-видимому, имя Клавдия? Оно действительно редко встречается в Германии, но тогда...

— Продолжайте о ней.

— Она дочь богатых и знатных родителей. Мы любили друг друга. Всякий раз, когда мне удавалось вырваться в Гамбург, я встречался с ней. Она была великолепна: стройная, мощная, умная, пламенная. Я тоже достаточно силен и крепок. Она жаждала меня, я жаждал ее. Она пошла бы за мной по первому зову. Но куда? В бедность? В поденщики? Не забудьте, что в те времена было труднее передвигаться, чем в наше время, время пропусков и удостоверений. Нас могли соединить — навечно то есть — только лишь деньги и слава. Мы хотели вечной любви; вернее сказать, я; она, пожалуй, согласилась бы и на временную, на преступную даже: без венца и согласия родителей. Я же настаивал на венце, свадебном пире, о котором говорил бы весь город, визитах и так далее. «Но это невозможно! — восклицала она с негодованием. — Твои родители бедны». — «Я разбогатею и прославлюсь, хотя бы для этого мне пришлось продать самое святое в мире!» — отвечал я, и она испуганно крестилась, а через минуту, испуганно прижимаясь ко мне, спрашивала: «Что же такое страшное ты собираешься делать?»

Я и сам еще не знал.

В первое же воскресенье по приезде к родным я отправился в церковь. Во время проповеди я заметил человека высокого роста с длинными, падавшими на плечи волосами. Босой, он стоял прямо против кафедры и с большим вниманием слушал проповедника. Фигура пилигрима была относительно сильна и молода, но лицо его изображало такое страдание, будто у него непрестанно и сильно болит все тело, и болит много лет. Я с раннего детства отличался мнительностью и остро чувствовал не только свою, но и чужую боль. Каждый раз, когда проповедник произносил имя Иисуса, пилигрим с безмолвным криком боли и с выражением величайшего благоговения ударял себя в грудь и трепетно вздыхал, так что заплатанный кафтан, надетый на голое тело, далеко отделялся от его груди. Зима бы-

ла приметно холодная, видите ли, а на пилигриме, кроме кафана и панталон, чрезвычайно изодранных внизу, не было другой одежды. Я не один дивовался страннику, но мне одному пришла в голову ужасная и нравственная мысль...

— Вы это поняли сразу же?

— О нет! Значительно позже.— Он вздохнул: — Да, значительно. Не могу точно сказать когда, но, кажется, через несколько лет, когда понял силу божества любви, которое в гневе и погубило меня. Говорил ли я вам, что одним из моих любимых занятий была палеография, чтение древних манускриптов, исследование их? Да, я, Пауль фон Эйтцен, был превосходный палеограф! Я огорожен был своими знаниями крепче любого палисадника, которым огораживает добрый хозяин свой дом. И эти-то мои знания и погубили меня...

— Вы только что сказали, вас погубило другое?

— Да, да, другое, разумеется, другое! Но, видите ли, и мои схоластические знания нанесли мне большой вред. Я смотрел на пилигрима, на его древнее лицо, и мне вспоминались пергаментные манускрипты. Вспомнился мне и манускрипт, недавно прочтенный в Виттенберге. Автором его был Матиас Парис, английский хронограф, умерший в тысяча триста пятьдесят четвертом году. В своей хронике он писал, что в тысяча двести двадцать восьмом году в Англию прибыл архиепископ Григорий из Армении. Архиепископ Григорий сообщил, что он видел Карталеуса, человека с древним лицом и древними словами. Этот Карталеус во время осуждения Христа был привратником претории Понтия Пилата. Римлянин, по-видимому? Когда приговоренный к смерти Иисус переступил порог претории, Карталеус, ударив его кулаком в спину и презрительно усмехаясь, сказал: «Иди, чего медлишь?» На такие слова приговоренный ответил: «Я могу медлить. Но труднее будет медлить тебе, ожидая моего прихода». И он направился дальше, а Карталеус, который по обязанностям своим не должен был покидать претории, пошел за ним, влекомый тоской скитаний... И вот, тысячу лет спустя, архиепископ Григорий, объезжавши епархию, встретил Карталеуса рыдающим среди изголуба-серых скал Армении, где-то возле озера Ван. Карталеус рыдал от той мысли, имея которую никогда не заснешь, нико-

гда не остановишься, никогда не умрешь! Вы понимаете, Илья Ильич, о какой мысли я говорю?

— Догадываюсь.

— Приятно. Позволите продолжать? Итак, мысль эта — я разовью ее вам дальше — мелькнула во мне еще тогда, при чтении хроники Матиаса Париса. «Почему легенда о Карталеусе застряла в этой хронике? А ведь благодаря ей можно заработать и славу, и деньги, и любовь той, которая меня не любит!» Итак, глядя на пилигрима, я думал: «Карталеус, Карталеус! Бессмертный, ты забыт! Я воскрешу тебя. Большие деньги и слава ждут того, кто видел Карталеуса, беседовал с ним, сумей только найти те убедительные, те звонкие, те медно-красные слова, при звуке которых дрожит сердце каждого христианина». И вот, глядя на этого пилигрима с древним пергаментным лицом, мне показалось, Илья Ильич, что я нашел эти слова, я уже стою на пороге к богатству и славе!..

По мере того как мой посетитель углублялся в прошлое, я глядел на его жесткие и редкие, как хвощ, волосы, и мне виделся высокий храм в Гамбурге, ромбически-листные окна, откуда льется пепельно-серый свет ранней весны, длинные ряды деревянных скамей, звук органа, гложущий сердце, склоненные головы молящихся — и этот пилигрим с лицом цвета тех растений, что, прикрепляясь к скалам, разрушают их. Видел я и Пауля фон Эйтцена, его жадное вальковидное лицо, серо-белые, потрескавшиеся от волнения губы.

— Я был беден и нищ. Она — дочь миллиардера, по тёперешней терминологии. Я ее любил, жаждал ее, я был силен, крепок. Она тоже. Как нам соединиться под венцом, а не в шалаше рыбака или разбойника? И я подумал: «Агасфер! Ага значит, по-турецки, начальник, ну а сфера — вы знаете, что такое. Начальник небес! Ведь небеса только могут — если могут вообще — распоряжаться бессмертием». И я обратился к богу. Я просил его соизволения на великую ложь: «Разреши мне выдумать Агасфера! Разреши! Это — миф, мечта, глупость. Но именно благодаря мифу, мечте и глупости расцветают люди. Ну что изменится, если одной глупостью в мире будет больше?» Ответа, конечно, не последовало, но моя великолепная выдумка успокоила и развеселила меня. Агасфер, Агасфер! Придуманное

слово, которое еще совсем недавно казалось чужим и далеким, стало теперь близким. «Я люблю тебя, Агасфер, ты ведь обогатишь меня? Был Карталеус, римлянин; я махнул рукой — и вот встал ты, Агасфер, еврей, и превратился в предка тех проклятых, кто во множестве живет сейчас на южной окраине Гамбурга!..»
Ха-ха!

— И тогда?

— Мне стыдно, Илья Ильич. Разрешите, на этом прекращу свой рассказ? Я предполагал, что смогу его передать вам подробно, однако я не могу удержать слез при той мысли, имея которую никогда не заснешь: нельзя издеваться над богом любви!

Мой посетитель порывисто встал. Пачка журнала «Русский архив» с мягким шумом упала набок. Длинное лицо посетителя почти сплошь покрывали слезы. Но почему по-прежнему я не чувствовал к нему жалости? Влага? О, эта влага на лице, несомненно, издавна защищала его!

Сверх того я чувствовал и усталость: напряжение, с которым я следил за его рассказом, было довольно сильным. Хотелось спать.

Я пробормотал что-то о том, расскажет, мол, в другой раз. Посетитель, тягуче шаркая ногами, покачал отрицательно длинной своей головой, и мы расстались. Хотя уже светало, но стекла на лестнице не пропускали света, и фигура моего посетителя едва-едва была различима. Впрочем, мне показалось, будто он стал несколько выше ростом и шире в плечах, да и его голова словно бы стала круглее. Того ради я вышел даже на площадку. Тонкие шаги посетителя зачастили. Он исчез. Стارаясь освободиться от нелепых предположений, меня одуряющих, я вернулся в свою комнату и лег.

Отказ от работы над сценарием «Агасфер» по-прежнему лежал на столе. Я встал и перечел его. Он показался мне пресным, малоэнергичным. Я переписал, придав ему более резкую форму, — хотя что мне сердиться на кинематографистов? Не они же подсыпают мне Агасфера и не им же принадлежит этот нудный и надоедливый, как овод в летний день, бред? Кому же тогда? Не мне ли самому?

Последующие часы я чувствовал себя мерзко, а-последующие дни были еще более мерзки и противны. Лето было дождливое, с частыми холодными северными ветрами. Я бродил вдоль лентовидных набережных Москвы-реки и, не найдя сил справиться с тоской, пришел в военный комиссариат. Молодой лейтенант принял меня ласково. Он немедленно направил меня к врачу, тот — к другому, и, наконец, трое, посовещавшись, сказали, что сердце мое действует неважно, наружный вид хуже... «Вы что, даже вроде и ростом стали ниже? А ну-ка, смерим?» Я встал к линейке. Врачи с недоумением переглянулись и поправили какие-то цифры в моем «деле». Затем старший врач сказал:

— И вообще, куда вам торопиться на фронт? Поправляйтесь.

— Друзья ждут, — отозвался я, хотя никаких особенно друзей на фронте у меня не было: я командовал ротой связи и давно уже не получал известий оттуда.

— Подождут.

— А галлюцинации у меня могут быть? — спросил я вдруг, совершенно, впрочем, не надеясь, что врач ответит правду.

Он снова выслушал меня, расспросил и сказал:

— Галлюцинации? — Помолчав, он добавил: — Могут. Но особенно не беспокойтесь: они скоро, месяца через два-три, исчезнут. Курите? Бросили? А вы закурите.

И он угостил меня папироской.

Папироса успокоила. «Бред? И отлично! — думал я, весь дрожа от радости. — Раз доктор признал, что у меня бред, значит, он скоро исчезнет. Выздоровею, забуду про этого Агасфера... и поскольку у меня бред, не отбить ли мне любовника у Клавы? Вот будет потеха, когда он окажется Агасфером!»

Клава служила приемщицей телеграмм в почтовом отделении на Ордынке. Я пошел к окошечку Клавы. Я стоял в очереди, слышал за окошечком ее голосок, так хорошо мне знакомый, ее рука выбрасывала квитанции и сдачу, раза четыре возникала и исчезала возле меня очередь; наконец, когда помещение опустело, в отверстии показалось ее бледно-серое, истощенное лицо с большими глазами, и она спросила без особого удивления:

— Каяться пришли?

— Каяться, — ответил я. — Простите за Геенову.

— Как? — спросила она со смехом.

— Я переделал вашу фамилию.

— Разве? Не помню. А если и переделал, то очень даже недурно. Геенова?! Это даже выразительно. Я се-бя, Илья Ильич, действительно чувствую гиеной, у ко-торой перебили ноги. Они где живут, в болотах?

— Гиены-то? В камнях и песках.

— Ну, там подыхать легче. В болоте куда труднее. Да, хорошо! — добавила она, вздохнув и подавая посе-тителю телеграфный бланк.

Мы подождали, пока посетитель писал и оплачивал телеграмму, а когда он ушел, Клава подняла на меня мокрые от слез глаза и быстро проговорила:

— А я ведь продалась, Илья Ильич! Не махайте ру-ками и не ахайте: надо торопиться сказать, а то посети-тели придут. Не за деньги, конечно, — за пропитание и комнату. Подманил один, из рыбного треста: он, должно быть, пирожки с рыбой продает на сторону. Переехала к нему, расписались...

— Какая же это продажа, если расписались?

— То есть формально все правильно, а по су-ти — продажа. Старый, брюхастый, мордастый, лысый, противно: я из-за него сверхурочные полюбила.

— Оделись, по крайней мере? — спросил я не знаю зачем.

Позже я понял, зачем так спрашивал: очень мне не хотелось, чтоб она подвиг какой-нибудь свершила. Бо-ялся! Чувствую: если подвиг, конец, все прощу и, мо-жет быть, так полюблю, как никого и никогда не лю-бил. И она меня поняла — жалко ей стало меня: «Ради меня, Клавы, которая за пироги продалась, да мучить-ся? Вот еще!»

И она сказала:

— Оделась неплохо.

— А ну, покажитесь, выйдите!

— Что же, по-вашему, я на службу в манто ходить должна?

— Уж и манто!

— Уверяю.

— И мама с вами переехала? Племянница малень-кая... как они?

— Все живы-здоровы. Заходите, Илья Ильич, с мужем познакомлю, он в конце концов ничего. Конечно, никаких подвигов не свершал, — воровать пирожки — какой же подвиг? — а все-таки добрый, и это хорошо... вот лысый только! Не нравятся мне, Илья Ильич, лысые.

— Агасфер не лыс, — вдруг сказал я.

Она помнила мои рассказы об Агасфере. Но вспоминать, по-видимому, ей, эти рассказы было тяжело и неприятно; она спросила нехотя:

— А кто это?

— Да один из бессмертных, помните?

— Нет, — ответила она и с каким-то непонятным раздражением спросила у посетителя: — А зачем, собственно, вам четыре бланка? Время военное, бумагу надо экономить.

И она бросила посетителю два бланка. Выросла очередь, и я ушел, так и не сказав ей, что меня мучает бред. Да и зачем говорить? Жалость, что ли, я собираюсь у нее возбуждать? Жалость, конечно, стоит где-то рядом с любовью, но я в бреду, и мне не нужна ни жалость, ни любовь! Леченье мне нужно, леченье... но чем?

Постепенно я начал успокаиваться. Сон улучшился. Жизнь казалась более сочной и возвышенной, взоры встречных не были колючими. Несколько нежных и слабо выюющихя мыслей указали мне на некий растущий замысел, которому еще не находилось названия. Сценарий, пьеса, повесть? Я не знал, что это еще такое...

Бороздчатый и глубокий звонок разбудил меня. Я подпер спиной стенку дивана. Срезанный, укороченный, иглоподобный звонок повторился. Я узнал эту манеру... а, подлец!

И почти со злорадством я раскрыл дверь. «Пауль фон Эйтцен, ты? — хотелось крикнуть мне. — Ах, черт! Или за душой пришел?!»

Мой посетитель, — клянусь, заметно укороченный и как бы снизу обкусанный, — кивнул мне головой, быстро прошмыгнул в мою комнату. Он, теперь уже не без грации, уселся на кипу «Русского архива» и, не объ-

ясняя причины своего появления, сказал голосом почти задушевным:

— Мы остановились, кажется, Илья Ильич, на том, что мне пришлось вдохнуть жизнь в имя Агасфер?

— Что же, батюшка, вы и вправду меня заморочить намерены? — сказал я раздраженно, в то же время испытывая некоторое смутное удовольствие при виде моего посетителя. — Будите вдобавок. — И я указал на раскрытый диван, на подушки, простыни.

— А вы и далее продолжайте думать, что спите, — хихикнул мой посетитель. — Мистика нынче в упадке и презрении, а сон еще имеет все права, тем более сон бархатный.

Единственно потому, чтоб посетитель не подумал, будто я и на самом деле чувствую себя спящим, я сказал, что согласно печатному экземпляру «Нового сообщения об Иерусалимском жиде, именуемом Агасфер», принадлежащему перу Пауля фон Эйтцена, имя Агасфер впервые широко было брошено в мир в 1602 году. Так, во всяком случае, утверждает Гроссе, видевший экземпляр этого сочинения.

— Да, приблизительно так, — сказал посетитель. — Мне пришлось, видите ли, довольно долго и настойчиво вдлбливать это имя. Людская память ленива. Она любит брать то, что ближе ей. В Бельгии, например, меня пытались называть Исааком Лакедемом или, иногда, Григориусом. В Италии — Баттадие или брат Джованно. В бретонских легендах вы и поныне найдете меня под именем Будедес, что в переводе означает «толкнувший бога». Я же упорно настаивал, что имя мое — Агасфер!

— Почему вы так настаивали?

— Если идея ясна, ее выражение словом тоже должно быть ясным и точным, не правда ли? Я считал, что имя Агасфер полностью выражает мою идею. Человечество должно быстрее привыкнуть к этому имени и знать его хорошо. Кое-где этому моему желанию сопротивлялись, но вскоре я получил более того, что желал. Счастливый случай помог тому. Впрочем, относительно счастливый, конечно. Пилигрим, о котором я вам рассказывал прошлый раз, был приглашен на обед к фон Кеенам. Должен добавить также, что Клавдия фон Кеен уже имела жениха, нет, нет, не меня!

По этому одному мне надо было торопиться. Женихом Клавдии был некий Карл Бреман, пьяница, распутник и не без пытливости,— в известном дурном смысле, разумеется. Он был богат, княжески богат. Фридрих Варизи, тот, что был в одежде пилигрима и что ходил к святым местам замаливать грехи, тоже оказался человеком не безденежным. Пилигрим на обеде влюбился в Клавдию — и немедленно посватался. После обеда женихи отправились в кабак,— был очень хороший кабак на южной окраине Гамбурга, под вывеской «Золотые ножницы». Здесь-то я с ними познакомился. Сильно напившись, они начали ссору,— разумеется, из-за невесты. Выждав момент, я сказал: «Ну, что вам, двум благородным и крайне честным людям, ссориться из-за какой-то продажной твари?» Они потребовали объяснений. Я сказал: «Я дам вам доказательства, а не словесные объяснения. Сколько, по-вашему, она стоит, если вы двое ляжете с нею на кровать? Предупреждаю, цена не малая». И я продал ее.

- Продали? Опоив и затащив в притон?
- Она пришла туда сама.
- Почему?

— Чтобы доказать свою любовь! Разумеется, тут подщуптила немножко и Афродита. Она, при рождении Клавдии, вложила в нее чересчур много плотского. Я воздвиг слишком большую плотину, через которую это плотское не имело сил перелиться. Клавдия и не подозревала, как дрожит от напряжения эта плотина! Ну, отуманенная плотью, самопожертвованием, любовью и одновременно презрением ко мне, она согласилась. Та ночь была для меня не из важных. Я трясясь от негодования на себя, на Клавдию, на этих двух плотоядных подлецов... Когда Клавдию утром увезли к ее тетке, где обычно у нас происходили свидания, я бросил два трупа, Карла Бремана и пилигрима Фридриха Варизи, против дома самого богатого еврея, обвинив в убийстве всех евреев квартала. Свидетелей я нашел с легкостью: это были те же самые латники, которые убили, по моему приглашению, и Карла Бремана, и пилигрима Фридриха Варизи. Еврейский квартал пыпал, а я шел по городу и всем встречным рассказывал об Агасфере: самые долговечные легенды рождаются в огне пылающих городов, вспомните Трою.

Я говорил: при выходе из церкви я остановил пилигрима и спросил: «Кто ты? Откуда пришел? Куда идешь? Сколько пробудешь в Гамбурге?» Вот какие вопросы я будто бы задавал ему. И он будто бы ответил мне, что он — именем Агасфер, а по ремеслу — сапожник и что он будто бы собственными глазами видел, как прибивали Христа к дереву римские воины и как поднимали его на воздух и так далее! И с того времени Агасфер пошел... Он посетил много стран и городов, в доказательство чего он привел много подробностей о жизни других народов. О жизни Христа он тоже сообщил мне много нового, чего нет даже у самих евангелистов. Особенно подробно он описывал мне последние минуты Христа, так как, видите ли, он лично присутствовал при всем происходящем, при его смерти...

Так началась слава Агасфера — и моя тоже.

— А Клавдия фон Кеен?

— Она-то и оказалась истинной виновницей всех моих ужасных страданий. Когда я, пустив легенду об Агасфере, пришел к ней с деньгами, полученными путем, вам известным, она прокляла меня. Вы думаете, за то, что я ее продал? Ну, это было бы нелогично, а она обладала, повторяю, немалым умом. Она же ведь сама согласилась на продажу! Нет, она прокляла и выгнала меня за то, что я убил тех, кто оплодотворил ее... тех двух мерзавцев! Каково? Она, видите ли, не в состоянии видеть убийцу отцов ее детей, — словно она собиралась сразу родить четырех, по крайней мере. Посчитав ее проклятие недействительным и глупым, я ушел от нее, однако вожделея ее в сердце своем и дав себе слово никого никогда не желать, кроме нее!.. Но позвольте продолжить о моей славе?

— Она, по-видимому, сразу же стала доставлять вам большое удовольствие?

— Да! Это было начало мести, проклявшей меня. Я тогда еще ни о чем не догадывался.

Меня начали всюду приглашать.

Из мелкого студента, сына жалкого торговца кожами, я быстро превратился в уважаемое лицо. Всюду, с амвона, и в частных домах, и в гостиницах, я рассказывал о своих встречах с Агасфером! Меня слушали жадно. Я приобрел много денег и много славы. Я ездил по Германии, был во Франции, посетил Италию.

Я говорил, кажется, что на мои расспросы Агасфер ответил, что во времена суда над Христом он жил в Иерусалиме и занимался сапожным ремеслом? Кое-какие подробности о кожах, которые благодаря занятию моего отца я знал превосходно, делали рассказ мой совсем правдоподобным.

Агасфер, по моему рассказу, вместе с другими евреями, считал Христа за лжепророка и возмутителя, которого следовало как можно скорее уничтожить. После того как Пилат отдал Иисуса на распятие, его должны были провести мимо дома Агасфера. Агасфер стоял у дверей дома, держа в руке ребенка, а в другой — сапожную колодку. Волосы на его голове, как у всех сапожников, были стянуты ремешком, чтоб не падали на лоб.

Проходя мимо и сгибаясь под тяжелым обрубком дерева, Иисус остановился возле дверей его дома, чтобы отдохнуть. Он прислонился к стене, но Агасфер из злобы стал гнать Иисуса, требуя, чтоб он шел туда, куда лежит его путь. И тут, обливаясь слезами, я приводил фразу, которую вычитал в хронике Матиаса Париса и которая будто бы принадлежала Карталеусу: «Я могу медлить,— сказал будто бы Иисус,— но труднее будет медлить тебе, ожидая моего прихода». Иисус пошел, и тотчас же Агасфер опустил на землю ребенка, снял с головы ремешок и, держа сапожную колодку в руке, последовал за приговоренным. Он присутствовал при его распятии, страданиях и смерти.

Я рассказывал о них подробно, и люди рыдали, когда я говорил, что Агасфер дрожал от непонятного страха, прижимая к телу колодку, которую все еще не выпускал из руки. Колодка эта была придумана мною, и я гордился этой выдумкой: она опоясывала реальностью несколько костистое и выдуманное тело Агасфера. После смерти Иисуса Агасферу стало совсем страшно, и, будучи не в силах оставаться на месте, а того более — вернуться в Иерусалим, он отправился странствовать и странствует по сей день.

— Он — бессмертен?

— Да, я утверждал, что он — бессмертен.

— А разве вашим слушателям не казалось странным, что Христос оставил в живых одного грешника?

С образом милосердного Христа это чрезвычайно мало вяжется.

— Они верили. Я говорил, что, по мнению Агасфера, его оставили в живых до Страшного суда затем, чтобы он свидетельствовал верующим обо всем случившемся и убеждал бы маловерных. И так как никому не хотелось в те времена быть маловерным, то мне верили. Меня щедро снабжали деньгами, и обо мне шла слава как о великом проповеднике.

— Несмотря на то что реального Агасфера не существовало?

— Именно поэтому! Миф. Легенда. Глупость. И все бы шло отлично, кабы не любовь Клавдии фон Кеен. Ну, разумеется, и моя любовь к ней. Не Христос, а она, эта любовь, породила Агасфера и превратила его в реальность, то есть в меня самого.

— Однако!

— Долгое время я сам думал, что Агасфер — лицо выдуманное. И еще бы! Я подсмеивался над людским легкомыслием и с удовольствием смотрел на шафранно-желтые монеты, которые получал как плод этого легкомыслия. Однажды, после длительной и многолетней поездки по Испании, я вернулся в Гамбург. Я остановился в гостинице «Меч и яйцо», так как думал, что после многих лет отсутствия мои комнаты в нашем доме могли быть заняты другим. Я хотел дать время, чтобы освободили их.

Слуга раскладывал мои вещи, а я пошел к нашему дому. Он показался мне более возвышающимся над другими домами, чем когда-либо, и носил он другой, несколько голубоватый цвет, тогда как прежде камень нашего дома был сильного бурого цвета. Я спросил у привратника, дома ли и как благоденствует высокопочтенный Отто фон Эйтцен, то есть мой брат.

Привратник ответил мне, что Отто фон Эйтцен умер восемь — десять лет назад, и что все фон Эйтцены перемерли, и что дом перешел по наследству к их дальним родственникам. Тогда я воскликнул, побледнев и дрожа всем телом: «Как так перемерли, когда перед тобой сам высокочтимый доктор Священного писания и слуга господа, сам Пауль фон Эйтцен!» Привратник перекрестился и сказал, что никто из фон Эйтценов не мог бы дожить до такой глубокой старости, ибо

Наулю фон Эйтцену, да успокоит господь его душу, ныне было б сто сорок лет: последний раз он покинул Гамбург, направляясь в Испанию, шестидесяти с лишним лет.

Я устремился в гостиницу. Я побежал к зеркалу. Как сейчас помню бахромчатые украшения из дутого серебра по краям языковидного стекла, в котором отразилось мое лицо. Я погрузился в него взором. Тусклое, почти растекающееся стекло показало мне длинное лицо с крючковатым носом. Несколько пергаментных пятен указывали на древность этого лица, а в остальном вы едва б дали ему пятьдесят лет. Правда, взор был притуплен и свежесть губ была обманчива... но сто сорок лет, но сто сорок лет!

Шатаясь, я вышел на улицу.

Я пересекал площадь неподалеку от еврейского гетто, когда вдруг позади себя услышал слово, произнесенное с явным ужасом: «Агасфер». Я обернулся. Еврейский мальчик, болезненный, со слабо закривленными ногами, шерстистый, большеглазый, с длинным серповидным ртом, который я помню отчетливо, глядел на меня.

Несколько детей, должно быть уважая в нем вожака, спешили к нему. Он сказал им громче, указывая на меня: «Смотрите, Агасфер!» И словно множество пробок, выпрыгивающих из воды на поверхность, когда упавшая бочка с пробкой расколется о дно, также выпрыгнуло и заплясало по всем улицам и переулкам гетто: «Агасфер, Агасфер, мимо идет Агасфер!»

Я почувствовал страх, тоску скитаний, которая уже давно мучила меня, но только теперь выявилась с неудержимой силой. Я бросился бежать.

Я бежал по Гамбургу, и вслед мне неслось: «Агасфер, смотрите, бежит Агасфер, ударивший нашего господа!» Эти слова прилипали к моим ногам, как расплывшаяся смола. Я смотрел на небо, покрытое приближающейся розовой корой заката, и молил небо ниспослать мне ночь. Ночь пришла. Но какая она была потрескавшаяся, — как моя душа. Я лежал в кустах. Все мышцы мои казались закостенелыми, но тоска моя была столь велика, что я встал и пошел!

Я шел и шел, а только лишь останавливался, мне казалось, что я углубляюсь в такие бездны ужаса, перед

которыми страх смерти как лист перед величиной цепного дерева. Я — Агасфер?! Я — тот Агасфер, о котором спорили люди весь семнадцатый век, о котором писались книги, легенда о котором с необычайной быстрой облетела всю Европу. Я — бессмертный Агасфер?! Не говорит ли это мое воспаленное воображение, а на самом деле я сластолюбивый старик, начитавшийся глупых книг, все мысли которого обращены назад, в историю далекого прошлого!

Мой посетитель почти задыхался. Его красно-синий рот был широко открыт, обнажая колесовидный оскол больших и острых зубов. Круглая тень его фигуры качалась по стеклам книжного шкафа, и мне казалось, будто лопасти парохода неслышно падают в воду, опускаются и выползают вновь... Я моргал глазами, чувствуя сильную слабость.

Как в прошлый раз, посетитель прервал рассказ внезапно, словно его вспугнули. Он выскочил в коридор, на площадку лестницы и дробно, словно еж, засеменил по ступенькам.

Я еле доплелся до выходных дверей, когда он уже был внизу, и я отчетливо услышал голос лифтерши: «Илья Ильич! Обозналась, значит?»

Жутко мне стало, когда я, вернувшись в комнату, разбрался во всем смысле этих слов лифтерши.

Можно думать о вашем посетителе как о помешанном или о том, что вообще все его посещение пригрозилось. Но когда после его ухода вы чувствуете чудовищный упадок сил, когда его фигура приобретает ваши очертания, когда его голос становится похожим на ваш и когда лифтерша путает его с вами, вы должны будете принять его за реальность хотя бы для того, чтобы бороться с ним.

Я лежал пластом на диване и чувствовал себя придавленным и беспомощным. Мысли мои притупились. В голове стоял неприятный шум. Мой рот и зев были покрыты сухим и раздражающим налетом. Меня лихорадило.

Но коль скоро мне грозила погибель, раз мне не было уже покоя, я должен победить, пускай даже эта победа и ускорит мою погибель. Победить! А как победить? Добро б Агасфера можно было схватить за горло, придавить и выдавить всю правду. Нет! Физической

силой здесь немногого достигнешь, а умственной хватит ли у меня? На его стороне многовековая опытность и знание людей, на его стороне — несомненная жестокая ловкость, а что на моей, что я представляю из себя?.. Впрочем, довольно самоизысканий! Не играла ворона вверх летучи, а на низ летучи играть некогда. Борись, бейся, если пришла беда!

Все последующие дни, преодолевая мучающую меня слабость и головные боли, я провел в напряженнейших размышлениях. Прежде всего я задал себе вопрос: почему Агасфер, вернее сказать, фон Эйтцен, пришел в Москву и почему именно ко мне? Он умен, хитер; то, о чем он говорит много, не имеет никакой ценности, а то, о чем он говорит мало, но о чем он молчать не в состоянии, несмотря на всю свою ловкость, — важно и ценно. Того ценней то, о чем он умалчивает.

Прежде всего, почему он толкует так нелепо слово «Агасфер»: какой-то ага сфер, начальник небесных сфер, когда это испорченное древнеперсидское слово Ксеркс. По-еврейски оно читается «Ахашверош», что почти соответствует его звучанию в клинообразном персидском шрифте. И дело тут вовсе не в небесных сферах, а в земных, очень земных. Ксеркс!

О, человечество много знает и много думает! Поистине, оно не бросает слова на ветер, а тем более на ветер вечности. Отдельная человеческая особь — смертна. Это — закон мудрый и постоянный. Ибо бессмертно лишь человечество. Поэтому человек, мечтающий о личном бессмертии, — глупо тщеславен, самоуверен, недалек и бесхарактерен, трус даже. Надо быть гордым, смелым, откровенным и верить в смерть и не бояться ее. Ибо тогда лишь придет настоящее бессмертие — бессмертие человечества. А теперь — о Ксерксе. Царь Ксеркс Первый, сын Дария Гистаспа, правил Персией в 486—465 годах до нашей эры. Он был вял, недалек, бесхарактерен, легко подчинялся чужому влиянию, но отличался чудовищной самоуверенностью и тщеславием. Он называл себя бессмертным и верил в это. Жестоко подавив восстание Египта, сомневавшегося в его милостивом бессмертии и жаждавшего самостоятельности, царь Ксеркс задушил такое же восстание в

Вавилоне. После этого он направился душить Грецию. Греки разбили его войско, сам он позорно бежал, и хотя война с греками продолжалась еще двенадцать лет, он уже не принимал в ней участия. Он пил вино в гареме, разбирал ссоры своих жен и разоблачал интриги своих министров. Убожество его ума и скудельность его сил, наконец, вызвали такое отвращение, что его зарезали люди, которые должны были его стеречь: начальник его стражи и главный евнух гарема... Недурен был характер у этого вечного странника, которому человечество прилепило имя царя Ксеркса? Какою едкою укоризной звучит это слово — Агасфер!

Однако несомненно, что фон Эйтцену много лет, быть может, больше того, в чем он сознается. В хронике Матиаса Париса я нашел фразу, над которой не задумывались раньше и о которой фон Эйтцен почему-то умолчал: «По словам преподобного Григория, армянского архиепископа, Карталеус, достигнув столетнего возраста, заболевает какой-то болезнью и впадает в род экстаза, после чего снова поправляется и возвращается к тому возрасту, который он имел в день, когда начал свое бессмертное путешествие». Да, почему умолчал об этих строках фон Эйтцен? Не заболевает ли он сам этой болезнью, этим родом экстаза и не встретились ли мы с ним в конце его столетнего возраста? И откуда считать столетний возраст? С того ли дня, как он стал бессмертным, или же со дня его рождения?!

Конечно же, с того дня, как он стал бессмертным!

Я перечел легенды и обнаружил, что последний раз Агасфер посетил Гамбург в 1744 году. Из Гамбурга он поспешно направился на восток. Предыдущие его посещения были более часты, но меня интересовало другое — посещал ли он Гамбург в 1644 году? Оказалось, посещал. А столетие позже? Ну, разумеется! Ведь сам же он сказал мне, что, окончив учение в Виттенберге, он приехал к родным в 1547 году. Правда, три года разницы... а если это намеренная разница? Разница, чтоб запутать меня, не открывать того, чего ради он посещал Гамбург каждое столетие, не открывать пути, по которому он уходил из Гамбурга — пути на восток?

Почему именно на восток?

Я еще раз тщательнейше перебрал все его слова и выражения, все его мельком брошенные фразы, и осо-

бенно остановился я на его возвращении в Гамбург, когда он впервые узнал, что превратился в Агасферу.

Если помните, он сказал, что не заехал к родным, а оставил слугу с багажом в гостинице «Меч и яйцо». Что это за гостиница и что это за странное название? Даже среди тогдашних вычурных названий гостиниц это одно из самых необыкновенных и самых малоправдоподобных. Нужно помнить, что немцы всегда старались возвеличить слово «меч», иронизируя над словом «яйцо» и особенно «яичница». Сопоставить эти два слова вряд ли бы отважился, да особенно в семнадцатом веке, какой угодно хозяин гостиницы.

Несомненно, что сопоставление это нужно было Агасферу для чего-то другого. Для чего же?

В рукописном отделе Исторической библиотеки есть ненапечатанный труд профессора Трубо: «Эмблемы и символы средневековья». Я без особого напряжения нашел сочетание «меч и яйцо». Опираясь на слова Кассиодора, Приока и Аммиана Марцеллина, а также на ученые примечания Гиббона, Линдеброгия и Валуа, профессор Трубо утверждал: «Нетрудно понять, что скифы должны были чтить бога войны и бога жизни с особым благоволением. Но так как они не были способны ни составить себе отвлеченное о них понятие, ни изобразить их в осязательной форме, то они поклонялись своим богам-покровителям под символическим изображением меча, воткнутого рукоятью в землю, возле острия которого лежал другой символ — символ жизни — золотое яйцо, золотое солнце».

Ага! Восток, скифы, меч, золотое яйцо... Сто почти лет мучает фон Эйтцена страх смерти, страх наказания, и к концу столетия страх этот приобретает особенно острую, непереносимую форму. Страх влечет его на восток, туда, где под символом «мече и золотого яйца» находится его смерть! Да, да, я понял его! Смерть фон Эйтцена лежала где-то на востоке. Мы мало говорим о своей смерти. Легенд об Агасфере, кроме заносных, не рождалось у нас на востоке, потому что фон Эйтцен избегал востока.

Наказание страшно. Пауль фон Эйтцен должен умереть, но беседа с каким-то человеком, думающим о нем, дает ему надежду на жизнь. Именно этому человеку Пауль фон Эйтцен должен рассказать о своей

смерти! Если он способен обнаружить смерть бессмертного — Пауль фон Эйтцен умрет в ужасающих страданиях. Если же человек будет недостаточно дальновиден, он погибнет, снабдив Пауля фон Эйтцена новыми жизненными силами, и Пауль фон Эйтцен отправится в новое путешествие, в новые сто лет!

Вот к каким необычайным выводам пришел я, размышляя об Агасфере и Пауле фон Эйтцене. Вы можете говорить обо мне что угодно, но вы должны согласиться, что при обстоятельствах, в которых находился я, других выводов быть не могло. Повторяю, я реальный человек реальнейшего двадцатого века, живущий в наиреальнейшем государстве, и если я пришел к таким необыкновенным выводам, значит, я имел к этому серьезные основания. Одно из них было то, что я *уменьшился* в росте, голова моя начала суживаться и *удлиняться*, голос ослабел. Короче говоря, я приобретал вид Агасфера, в то время как Пауль фон Эйтцен, несомненно, приобретал *мой вид*!

Я живу в Замоскворечье, неподалеку от Крымского моста. Вы помните, наверное, этот мост, похожий на среброподобного жука, эти крылья, сахароподобно сверкающие на июльском солнце; рыжеватую кайму реки под ним; Парк культуры и отдыха рядом, откуда выглядывают дула трофеиных пушек.

Я шел через мост, возвращаясь из продмага, к которому я прикреплен. Ноша легка, но нести ее было тяжело: руки мои словно из песка, да и сам я весь бесформенный, мешкообразный.

Где-то *надо мной* раздался знакомый голос:

— Не помочь ли вам, Илья Ильич?

Вровень со мной, — нисколько *не ниже* меня, — шел мой, так хорошо знакомый, посетитель. Лицо его заметно поправилось, костюм был на нем новый, с широкими модными плечами и едва ли не из американского материала, и вообще весь его колер был нахальный, лососево-красный. Шагал он с чрезвычайной подвижностью, передергивая плечами от удовольствия и даже пританцовывая:

— Оздоровляющий воздух и сияние, Илья Ильич, а? Я всегда, пересекая Москву-реку, чувствую себя, видите ли, очищенным. Целебнейший город, батюшка, наицелебнейший. А я на вас смотрю и думаю, — кажется,

ся, он? Изменился! Во мне — смятенье! Испуг! Обморох. Ха-ха-ха!.. Таких бы делов человек наделал — беда, а тут до чего довели, ха-ха-ха!..

С его точки зрения, он совершенно правильно сделал, что выбрал для разговора улицу: Он мог плести сколько ему угодно, вставлять любые и необходимые для него слова, а я — только разводи руками. Мой ослабевший голос не покрывал бы текущего шума улицы, и фон Эйтцен всегда мог бы сослаться на то, что не слышит. И выходило так, что он очень остро издевался надо мной, а так как он брал всю мою жизнь, то и над моей жизнью. Так тому и быть...

Нет! Именно поэтому-то и не быть!

Я собрал последние силы, вскочил, под режущий уши свист милиционера, в трамвай и, не обращая внимания на брань и крики, протискивался к выходу. «Изгонять чертей, так изгоняй решительно!» — бормотал я, выскакивая через одну остановку.

Так же поспешно я перешел улицу и поднялся, прыгая через ступеньку, к лифту. Лифтерша еле успела спросить: «Братец будете Илье Ильичу?» — причем неизвестно было, к кому обращен был ее вопрос: ко мне или к фон Эйтцену.

Я бросился на диван. Стакан, наполненный водой, плескался в моей руке. Я медленно, глоток за глотком, поглощал воду и смотрел на встревоженное лицо Клавы. Да, да, она ждала меня в моей комнате!

Я предложил Клаве чаю. Она отказалась. Собственно, мне ей нечего было предлагать. Чаю у меня не было уже несколько месяцев. Иногда я ездил к своим знакомым в Толстопальцево, собирая там в лесу листья брусники. Я утверждал, что настой из брусники очень тонизирует, гораздо больше, чем настой чая. Вряд ли знакомые верили мне. Они спекулянты, у них водится чай, сахар и даже печенье. Они, по-видимому, считают меня за сыщика, из тех, которые голодают, — есть и такие, — и которых можно подкупить продовольствием. Они усердно угощают меня. Мне стыдно, — какой я сыщик! — но я не отказываюсь от еды и говорю много-значительно. Ах, какая гнусная жизнь!

— А вы очень изменились, Илья Ильич.

- Ослабел.
- На улице, возможно, я бы вас и не узнала.
- К лучшему.
- Зачем меня обижать, Илья Ильич! Я вышла замуж по любви.
- Пару дней назад вы говорили другое.
- Врала.
- И насчет лысины?
- Нет, насчет лысины правда. В конце концов как его не любить? Ко мне, представьте, явилось пятеро родных из разбомбленного города. Больные, голодные. Теснота ужасная. Именно тогда он предложил стать его женой. Именно тогда я полюбила его.
- За доброту?
- Это великое качество!
- Ко мне вы некогда испытывали другое чувство, не правда ли?

Она промолчала. Я переспросил:

— Другое? Более плотское, а?

Она сказала:

— Пожалуй, я уберу вашу комнату. Вы, Илья Ильич, наверное, не убирали ее уже несколько дней...

— Недель, пожалуй.

Был вечер. Она убрала комнату, заварила листья брусники, попробовала мой хлеб, отложила его в сторону и, вяло улыбнувшись, достала из сумочки пирожки. Она молча положила их передо мной.

«В конце концов почему мне их не есть?..» — подумал я. Я не успел додумать, как пирожки уже были съедены. «Свинья и я, свинья и она, и безразлично, из какого корыта едят эти свиньи». Понимая, по-видимому, мои мысли, она, глядя мне твердо в глаза, медленно проговорила:

— Я буду приносить вам каждый день.

Это тоже доказательство, что не совсем продалась.

Я вдруг обеспокоился. Связки «Русского архива» куда-то исчезли. Но она ведь не переставляла ничего! Ах да! Уходя сегодня в продмагазин, я их убрал под кровать. Я быстро сказал:

- А уж поздно, и у вас пропуска нет, Клава?
- Откуда ему быть?
- Еще полчаса, и тогда вам придется остаться здесь. Соседи, правда, тихие.

— Зато вы, Илья Ильич, нынче громкий.

Она засмеялась. Нехороший и недобрый был это смех! И, однако, он нравился мне.

— Клавдия фон Кеен тщетно преследовала Агасфера сотни лет, — сказал я. — Он страстно желал, чтобы она донесла его: пусть даже это будет смерть! Мучительнейшее состояние, все же он жаждал его.

Она ничего не сказала мне на эти слова: словно и не слышала. Полчаса между тем миновало. Она опять взглянула на меня тем твердым взглядом, от которого я весь содрогался, провела ладонями по своей голове, словно собираясь расплетать косы, но затем, раздумав, видимо, положила руки на колени. Так она сидела минут десять — пятнадцать, затем неторопливо поднялась и медленно, но умело разложила постель.

— Кабы полгода назад... — начала она, взбивая подушку. — Но люди так глупы, так глупы! Илья Ильич.

— А?

— Бросили бы вы думать об этом Агасфере.

— Да я уже от него отказался, от сценария то есть. А между прочим, почему?

— Не люблю я евреев.

— Вот тебе на! А что они тебе, Клава, сделали? — задал я вопрос, имеющий почти двухтысячелетнюю давность.

— Ничего. Да и я им. Впрочем, я и татар не люблю.

— А русских?

Она вдруг обняла меня и поцеловала.

По-видимому, со мной случались обмороки, которые я, так сказать, переносил на ногах. Во всяком случае, я совершенно не помню, когда исчезла Клава и когда появился фон Эйтцен.

С усилием размахивая руками, точно ломая скалы, я внезапно спросил его:

— Клавдия фон Кеен гнала вас к смерти, обещая у порога ее свою любовь? Так? Вы — шли, но, не дойдя до смерти, быть может, трех шагов, пугались и кидались к тому, кто пожалует вам свою жизнь. Сейчас я тот, к которому вы свернули. Ну что же, я согласен. Я дам вам жизнь, если вы назовете место, где вы

должны встретиться с Клавдией фон Кеен... то место, которое вы скрывали сотни лет.

Шероховатое и округлившееся — мое! — лицо Агасфера словно покрылось тонким слоем мыльной пены. Сквозь этот слой вспыхивали и испуганно гасли кроваво-красные глаза. Я со вкусом повторил:

— Да, вы должны мне сказать, где находится ваша смерть, Агасфер! Пора. Вам, по-видимому, известно, что до сих пор в Пикардии и Бретани, когда ветер неожиданно взметет придорожную пыль, простой народ говорит, что это идет Агасфер. Мне хотелось, чтоб говорили: «Пыль есть пыль, и это даже не пыль от Агасфера», — и смеялись бы, ха-ха-ха... Пришло время!

Он сел опять на экземпляры «Русского архива» — откуда они? — и, вытянув ко мне мясистую — мою! — круглую голову, словами как бы пополз ко мне, чтобы завиться вокруг меня и — задушить, высушить:

— А не забросить ли нам всю эту болтовню, как за-зубренный топор, а, Илья Ильич?! Не взять ли, так сказать, извозчика и отправиться в другую сторону?..

— Беда, ха-ха-ха, бежать надо от беды, ха-ха-ха!.. — смеясь через силу, чтобы ошеломить его, сказал я. — Ведь вы остановились на рассказе об Испании? Анно, тысяча пятьсот семьдесят пять?..

Я поймал его! Он поддавался моему смеху. Он испугался! Он послушно шел за мной, за моими словами, за моими мыслями. Потирая руки, я глядел на него, а он бормотал:

— Да, да! Анно, тысяча пятьсот семьдесят пять? Господин секретарь Кристофф Краузе и магистр фон Гольштейн пребывали некоторое время, видите ли, в качестве посланников при королевском дворе в Испании, а затем в Нидерландах. Вернувшись домой в Шлезвиг, они рассказывали, подтверждая клятвами, что видели в Мадриде удивительного человека, которого двадцать один год назад видели в Московии...

— Верно. Ха-ха-ха... — откинувшись на спинку дивана, сказал я. — Он пришел из Московии? А что говорит — Анно, тысяча шестьсот сорок три, а?..

И тогда Агасфер послушно сказал:

— Анно, тысяча шестьсот сорок три? Илья Ильич!..

Я сказал совсем строго:

— Ну?

И тогда Агасфер сказал то, что я ждал страстно:

— Анно, тысяча шестьсот сорок три? В Кристмонде правдивым лицом из Брауншвейга написано, что в то время известный чудесный человек находился в Вене, затем в Любеке, затем в Кракове, а затем пошел в Гамбург, намереваясь побывать...

— Где побывать? — грозно привстав, спросил я.

— В Московии, — ответил он шепотом.

— Появлялся ли он в Московии?

— Хроники говорят: там его многие видели.

— Агасфера?

— Да.

Я воскликнул с торжеством и тревогой:

— И для приобретения жизни вы должны вызвать к себе жалость того, кто даст вам жизнь и возьмет вашу смерть?

Он прошептал своим, уже размочаленным, голосом:

— Вы меня, Илья Ильич, ведь жалеете...

Это был не вопрос или утверждение, это была просьба, унылая и молящая. Я расщепил его на мельчайшие волокна, и он сознавал это! Ему оставалось одно: вызвать во мне жалость к нему. Ту российскую традиционную жалость, которая и каторжника, убийцу невинных детей и жен, способна назвать «несчастненьким», ту жалость, которую в наши дни, когда много кричат о России и русских, вызвать особенно легко.

Я сказал:

— Ну что же, мне жалко вас, фон Эйтцен.

Если бы вы видели, как он подпрыгнул! Столетия он привыкал сдерживаться, а вот, смотри-ка, не сдержался. Он завизжал почти по-собачьи.

— Боже мой! Как хорошо, Илья Ильич!

«Считает меня совсем за дурачка», — подумал я с раздражением, и жалость, если она действительно была, покинула меня.

Играя им, я сказал небрежно:

— Ну, что нам говорить о смерти! Вам, несомненно, пришлось многое испытать, однако смерть от вас далека. Очень далека.

— Разумеется, хе-хе-хе, далека, разумеется! В том-то и беда, Илья Ильич, что далека, хе-хе-хе! Мое столетие, видите ли, не кончилось.

— Ну, какое там столетие? Вам сдва ли дашь шестьдесят лет.

— Значит, мой возраст не внушает вам опасения? — произнес он настолько вкрадчиво, что у меня похолодело под ложечкой. Но нашупывать истоки его смерти доставляло мне такое болезненное, а вместе с тем приятное удовольствие, что я не прервал опасной нити разговора, а сказал:

— Какие опасения!

Он весь так и расплылся в улыбке, скорпионоподобной, если допустить, что скорпионы способны улыбаться.

Я внезапно повернулся к нему всем телом и спросил:

— Ваша смерть — на востоке? Вы приблизились к ее центру? Поэтому-то вы можете жить здесь более трех дней?

Думаю, что фразы мои обрушивались на него с тяжестью тех скал, о которых я говорил недавно. Он съежился и как бы вползал в какую-то щель, тряся головой и судорожно перебирая пальцами. Только взгляд его готов был пробить меня, как доску гвоздем, и, содрогаясь от ненависти к этому взгляду, я сказал:

— Она ужасна, *ваша смерть*, фон Эйтцен?

Я услышал шепот из щели:

— Да!

— Она непереносима, эта *ваша смерть*, фон Эйтцен?

— Да!

Я продолжал наносить удары:

— Где же она находится, *ваша смерть*, фон Эйтцен. Скажите мне адрес вашей смерти. Огорчил? Печалюсь, ха-ха-ха! Кручинка большая, но говорите мне адрес вашей смерти!

Он быстро привстал. Или он хотел убежать, или — броситься на меня. Но, привставши, он, словно накрепко увязанный веревками, что от резкого движения впивались в тело, рухнул на пачки «Русского архива», из которых хлынула пыль.

— Она... она здесь... — еле шевеля распухшими, толстыми, точно из войлока, губами, ответил он. — Она, видите ли, здесь, Илья Ильич, здесь...

— Не молвя — крепись, а уж молвя — держись, — едко сказал я ему. — Так что же это значит: «здесь»? Здесь, в Москве?

— Возле...

— Да вы что: издеваетесь надо мной?! — крикнул я. — Говорите мне точный адрес!

Разговор с ним мне стоил дорого. Силы мои заметно уменьшались. И покуда сознание не покинуло меня, я подзадоривал себя всячески, а ему всячески показывал, что сил во мне еще много. «Самое главное, самое главное, не дать ему ускользнуть, надо показать ему мое могущество», — твердил я.

Он, поежившись, ответил:

— Станция Толстопальцево. Киевской железной дороги. От станции влево. Третья поляна. По ту сторону тропинки, на юг, шестое дерево... в корнях.

И тогда я резко задал ему последний вопрос, которого, по-моему, он особенно боялся:

— Какой вид у вашей смерти?

Я заметил уже давно, что слово «смерть» он не произносил. Оно шатало его, валило с ног. Поэтому, едва только он проявлял желание увильнуть, я бил его этим словом.

— Лежит... лежит, видите ли... лежит, Илья Ильич!

— В чем лежит ваша смерть? В коробке? В бутыли? В суме? В кошеле?..

Он кивнул.

Он еще раз кивнул, но совсем слабо.

О чем мне еще говорить с ним? Усталыми глазами я смотрел, как он, шатаясь и держась обеими руками за дверки книжных шкафов, плелся к выходу. Мне страстно хотелось, чтоб он исчез возможно скорее, особенно после того как я заметил, что он *разного* со мной роста и что моя кепка, которую он взял со стула по ошибке, была ему как раз по его *круглой* голове.

После его ухода я почувствовал изнеможение, голова закружилась, и я грохнулся на пол. Очнувшись, я стал перебирать в памяти происшедшее. Голова работала хотя и медленно, но ясно. Одно обстоятельство, на первый взгляд пустячное, заставило меня вскочить.

Я припомнил свою привычку: 'когда я говорю с кем-либо, мои руки машинально берут со стола книгу и начинают ее поглаживать по переплету, как вы, например, ласкаете кошку по шерстке. Так вот, *то же самое* делал мой посетитель! Мороз, именно вяжущий и мелкощетинный, мороз подрал меня по коже. И в то же время неизвестно почему я вспомнил и начал бормотать фразу из Островского: «Поди-ка поговори с маменькой, что она тебе на это скажет». И я не мог припомнить: то ли это из «Бедности не порок», то ли из «Грозы». Боже мой, да и какое мне до этого дело, когда тут такие змеевуползающие дела!

Его день жизни двигался по моей, как двигается поршень на всем протяжении цилиндра машины. А мой день?! Неужели я позволю усыпить себя... Прочь! Да вставай же, Илья Ильич! Руки! Ноги!

Превозмогая тошноту и боль под сердцем, я нашел какую-то палку и, опираясь, потащился к выходу. Кожа моя лупилась, словно я ее обжег на солнце, а руки до локтей были покрыты клейким потом.

Не помню уже, каким образом добрался я до кассы пригородных поездов. Знаю только, что с севера по-прежнему дул холодный ветер, а края низких облаков, быстро бегущих по небу, были оранжевые, блестяще-шелковые.

— Вы давно ждете? — услышал я слабый голосок Клавы.

— Жду фон Эйтцена, — без всякого удивления ответил я.

— Кто он?

— Агасфер. Но ему недолго им быть.

— А почему, собственно, он должен смотреть вместе с нами комнату, где жить нам?

«Нам? Значит, мы почему-то должны передать кому-то... — может быть, родственникам Клавы или Агасфера?.. — мою комнату и переехать в Толстопальцево?» — подумал я смутно и сказал:

— Я хочу показать тебя Агасферу. Ты не отказывайся: это доказательство твоей любви ко мне.

— Согласна и на большее.

— А на что именно? — спросил я с трепетом.

— На все, что ты велишь.

— Нет, не на все! — закричал я громко. — Мало ли какие идиотские мысли мелькнут в моей голове. Ни в коем случае нельзя подчиняться всему! Ни в коем.

— Именно всему. Это и есть любовь.

— Но мне приходит в голову чудовищное. Если оно придет, не верь ему.

— Я верю всему, что ты говоришь.

— Даже существованию Агасфера?

— Даже!

— Ха-ха!

— Чему ты смеешься?

— Как быстро ты дисциплинировалась.

— Тебе не нравится?

— Нет. Мне бы хотелось видеть тебя недисциплинированной. Давно когда-то на островах Фиджи прибывший туда путешественник узнал, что стоящий перед ним вождь дикарей съел семьсот островитян. Путешественник сказал: «Но неужели вам, вождь, не противно было есть людей?» Вождь, вздохнув, ответил: «Есть их было действительно противно — они такие недисциплинированные!» Смешно, верно?

— Смешно.

— И будет смешно, если я тебя захочу съесть?

— В Ленинграде одна моя подруга отдала свое тепло своему любимому. Там, знаешь, ведь сильный голод, — ответила Клава спокойно, — и там всякое случается. Мы будем ждать?

— Агасфера? Да, мы будем ждать. Если я напугал его — он придет. Если же он нашел лазейку... впрочем, я не уверен!

Ушел трехчасовой. Следующий в четыре десять.

Двое каких-то знакомых с корзинками подошли к кассе. Они ехали по грибы. С участием они расспросили меня о здоровье и дали адрес гомеопата. Покупали билеты огородники с лопатами, завернутыми в тряпки, военные. Какой-то курносый юноша в полосатых брюках пожимал украдкой руку девушке, а та, нежно и гибко качаясь, улыбалась, показывая ряд крепких, северных зубов. Ушел и — четыре десять.

— Спал хорошо, милый?

— Великолепно.

Где уж там великолепно!

Всю ночь меня мучил бред и тупая, печатеобразная боль в боку. Я вставал, поднимал затемнение. Переулок наш выходит на широкую улицу. Я видел движение машин, везущих орудия и снаряды. Там где-то фронт, моя дивизия, товарищи, а я здесь — совершенно беспомощный. Ах, еще бы хоть ложечку силы, крупицу жизни! Я б ее употребил так умело, так умеренно, что никакому Агасферу не миновать и не обмануть меня!

— Что-то говорит мне, дорогой, — он не придет.
— Нет, придет!

Она права. Он не придет! Он взял от меня все, что ему надо взять... А я... я — умирай!.. Я — покидай эту изумрудно-зеленую, шелестящую непрерывно листву, эту девушку в полосатой юбке, что улыбается крупными, как бобы, зубами и жмет руку молодому человеку. Пусть не мне, пусть, но я счастлив, что вижу, как она жмет ему руку и как шелестит это дерево, возле корней которого богатые впадины, где в жаркий день приятно прилечь... Нет Агасфера? Найди его! Поймай! Но где найдешь его, у кого спросишь и как спросишь?.. Граждане, вы не видели некоего Агасфера, похожего... похожего на меня, а, ха-ха-ха!..

Голова моя гудела, как пустое ведро. Я сжимал зубы, закрывал глаза. Я тер руками лицо, потому что кожа казалась мне грязной, и сам я грязный, глупый, сбивчивый и бестолковый, как плоскодонная лодка.

— Клава, ты меня любишь?

— Безумно!

Вопрос, разумеется, банальный, да и ответ не лучше, но в глазах ее светится такое, что ярче и выразительнее любых не банальных слов.

— И готова доказать?

— Я уже доказала: бросила мужа и...

— Подожди, подожди!..

Я отвел ее от кассы. Мы остановились против входа на перрон. Я вспомнил, как ночью, перед рассветом, подошел к окну и поднял синюю бумагу, этот паспорт войны. Небо было холодное, глубокое, как только оно бывает поздней ночью. На краях стекол осела роса, и в ней дрожали разноцветные звезды. Я глядел, не отрывая глаз, на эту росу. Мучительный стыд охватил ме-

ня. Как я беспомощен! Неужели я ничего не придумаю?..

— Подожди, я потребую от тебя большую жертву... огромную! Быть может, большую, чем отдать мне на съедение свое тело.

— Я готова, милый.

— Не торопись, не торопись! Видишь ли, эти слова будут вроде заклинания: он, Агасфер, должен явиться на них. Ты сейчас будешь Клавдия фон Кеен, и ты должна будешь вернуть свою любовь Агасферу.

— Вернуть? Но я его никогда не видела, дорогой.

— Увидишь, как только скажешь, что согласна вернуть. Согласна.

— Я подчиняюсь тебе, дорогой.

— Нет, ты скажи, что согласна!

— Согласна,— ответила она твердо,

— Агасфер, вы?!

Клава с удивлением переводила глаза — с меня на него.

— Похожи? — спросил я быстро.

Она нехотя ответила:

— Есть некоторое сходство.

«Некоторое? Ха-ха! Абсолютное!»

Он теперь — высок, широкоплеч, широколиц, с маленьким подбородком и узкими, пронзительными глазами. Я — низенький, узкий, длинноголовый и тусклый, тусклый. И, глядя на него, я думал последними остатками *моего* интеллекта: «Вот она, снисходительность к врагу. Ты сам почти отдал ему все, что имел!» Я, разумеется, как всегда, преувеличивал. Отдано не все, раз я в состоянии бороться и думать, — однако отдано много. А как же иначе? Что я мог сделать? Должен же я узнать — чем и как вооружен мой враг? И в конце концов что такое моя жизнь, если враг всего человечества — побежден и ползает у моих ног?

Лишь бы не сплошать, лишь бы не промахнуться, Илья Ильич!

Я твердо знал, что не промахнусь. У меня есть средство для достижения цели. Неопровержимо, что он *должен* отвечать на мои вопросы о его смерти. Почему *должен*? А потому, что тысячу лет назад мои свободолюбивые предки — скифы признавали только двух богов: меч, защищающий нашу свободу, и — золотое яйцо,

символ нашей жизни и творчества. Этим священным мечом они пронзали зло, и хотя не убили его совсем, хотя и зло осталось, но ведь остались и потомки, которые тоже могут держать меч! Ибо меч свободы на моей земле, и когда я с моей земли спрашиваю врага и он видит в моих глазах отблеск стали бессмертного меча моей родины, он, дрожа от злобного испуга, должен отвечать мне.

— Адрес вашей смерти,— спросил я,— Толстопальцев?

Он молчал, не отрывая глаз от Клавы. Какой там меч, какие скифы, какое там золотое яйцо! Любовь владеет и повелевает миром, а все остальное — шовинистическая болтовня и умственное ничтожество. Именно любовь, а не меч и золотое яйцо ведут нас в Толстопальцево!

— Толстопальцев?

Растопырив пальцы и поводя ими перед лицом Агасфера, я повторил свой вопрос. Мне было нелегко. Даже мои пальцы, казалось, натыкались на колючие взоры моего посетителя, а про сердце и говорить нечего. Мне все думалось, что я вот-вот сорвусь, как срывается напряжение, когда свернешь нарез винта. Хмелем кружилась голова, во рту был дикий, острый вкус:

— Агасфер! Вы что, думали смести меня метелкой, как сметают пыль со стола? Вы думали, что вся моя жизнь уже в ваших руках, Агасфер? Нет! Нет! Пусть вы взяли половину моей жизни, пусть даже три четверти, девять десятых, а все же ваша жизнь вот где...

И, почти дотрагиваясь до его, от волнения покрытой, словно мелкими и серыми чешуйками *<руки>*, я раскрыл емкую мою руку.

— А вы куда? — по-прежнему пристально глядя в лицо Клавы, спросил он.

— В Толстопальцево.

— А вы? — крикнул я ему.

— В Толстопальцево,— ответил он.

— Так поехали же!

Он послушно выпрямился и, огромный, сероволосый, поднялся надо мной с такой покорностью, что у меня, перед моим собственным могуществом, захватило дух. Я пролепетал:

— Указывайте путь!

Кассирша Киевской пригородной выбросила нам три билета шестой зоны. Я взял твердые темно-желтые квадратики.

Он сидел на скамейке против меня, опустив круглую голову и зажав руки между колен. В вагоне сильно курили, проходили певцы, пренебрежительно ставившие гармошку на колено и рассыпавшиеся фальшивыми звуками; слепой инвалид с заношенными ленточками ранений рассказывал об обороне Севастополя; девушки-зенитчицы смотрелись в карманное зеркальце, излучавшее густосплоченный свет. Почти без толчков, словно курьерский, неслы вагон, и молочницы говорили, что пригородные поезда водят самые лучшие машинисты, а огородники с уважением поддакивали: «Как же иначе, молоко ведь расплескаешь!» И неизвестно было: кто над кем подсмеивался.

Вместо нижней пуговицы у воротника гимнастерки болталась и падала на небритую щеку его длинная суровая нитка. Я смотрел на этот крошечный подбородок фон Эйтцена, так не вяжущийся со всем большим и круглым его лицом, и думал: «кто же он, наконец? Шутник, диверсант, сумасшедший, больной манией преследования, контуженный при бомбажке или — потерявший семью? Узнаю я правду, или он опять убежит от меня? И что произошло, что заставило меня поверить ему? И кто я такой? Шутник, сумасшедший, контуженный?..» Нитка падала ему на толстые, распухшие губы, он нетерпеливо снимал ее, и ветер, рассеянно падавший в окна вагона, перебрасывал ее на грудь.

Кто он? А что, если — Агасфер? Биологически, повторяю, бессмертие невозможно — это всем известно, но никто не станет отрицать долголетия, и долголетия самого феноменального. В старину ученые эмпирически открывали, несомненно, такие тайны природы, к которым мы сейчас лишь подходим. Не могло ли так случиться, что он, этот неизвестный, открыл некую тайну долголетия, а затем от того же долголетия запал ее, как неряшливая и усталая мать, случается, засыпает, удушает насмерть своего ребенка? Прожить почти пятьсот лет?! Сколько можно видеть, слышать, чему только нельзя научиться?! Какие бы можно было написать мемуары и каким бы можно было быть пре-

подавателем истории?! А какие бы характерные черточки он дал для сценария или фильма?!

Но когда мой спутник поднимал на меня безжизненные глаза, словно наполненные мелкой пылью, мысли мои пресекались и я направлял свой взор в окно. На проселке, бегущем вдоль железнодорожного полотна, словно пунктиром обозначая наш путь, сидели узокрылые молодые грачи, учившиеся летать.

Молочницы, возвращающиеся из города, как известно, страдают в эту пору от мягких чувств. Они много подают певцам и жалуются на мужей. Одна из них, жгучеволосая, с длинными ковыльными ресницами, глядя на фон Эйтцену, сказала:

— Избаловались наши мужики. Сегодня — одна, завтра — другая. Уж лучше за инвалида выйти! — И она перевела свой густой взор на меня. — Верно говорю, инвалидушка?

Спасибо этой молочнице. Если и возникла опять во мне жалость к Паулю фон Эйтцену, то она, при этих словах, быстро исчезла. Я спросил Клаву:

— Вы не отказались от вашего решения?

Она ответила с тоской:

— Нет.

И, помолчав, добавила:

— Если вы настаиваете.

Я тоже помолчал. Назвать эту худенькую, плохо одетую девушку страстной Клавдией фон Кеен из средневековья — не насмешка ли над ней и над собой? Но что делать, раз жизнь так сложна и так отвратительна! Я сказал фон Эйтцену:

— Клавдия фон Кеен — ваша! Она догнала вас и снимает с вас имя Агасфер. Верните мне мою жизнь.

Он взглянул на Клаву. Она наклонила голову и сказала:

— Я ничего не понимаю, но раз он так хочет...

И она опять умолкла.

Шагая по остаткам «коzyих ножек», докуренных до такой степени, что не оставалось не только бумаги, но и отпечатка типографской литеры, мы вышли на площадку вагона. Мальчишки — не то ягодники, не то грибники — спрыгивали на ходу, крича: «Сюда, сюда, живее, толстопальцы!»

Начальник станции, хромой, в большой алоей фуражке, передал девушке-машинисту проволочный круг, вроде того, через который прыгают клоуны в цирке. Поезд двинулся дальше, и мы почувствовали холодный сильный ветер, дующий с севера. Низкие, крупно-ребристые тучи бежали над чернолесьем, в которое надо было нам сворачивать.

Наш спутник стоял неподвижно. На плотном затылке его вились тонкие волосики, давно не стриженные, и меня резануло по сердцу: «Черт возьми, да ведь это *мои* волосики, мне многие об них говорили, хотя бы та, кто меня так любит!» И я повторил:

— Адрес вашей смерти — Толстопальцево?

Фон Эйтцен, сморщив лицо, шагнул вперед.

Странно все-таки, что ни фон Эйтцен, ни я, ни Клава и не подумали задержаться в поселке, где она собиралась снять комнату. А я даже и не вспомнил о своих знакомых — спекулянтах, словно они здесь и не жили!

Станция скрылась в мелколапчатом чернолесье.

Травы между проселком и лесом были недавно скошены, но уже успела подняться сильная и сочная отава. Перед осинами, мелко шелестящими, за которыми и начинался серьезный бор, ели и сосны, которые если и раскачивались, то раскачивались не зря; перед осинами виднелись низко остриженные кочки, на которых отава росла, должно быть, медленнее. Три-четыре соломенно-желтых листка, даже и летом падающие с осин, небрежно лежали на этих кочках, будто кто-то щедрый забыл сдачу...

Голова моя работала теперь хорошо и ясно. Шагал я твердо и, думается, не без сознания собственного достоинства. Именно это-то достоинство и придавало реальность всемуциальному происшествию.

Мы прошли не более трех километров. Лес приблизился плотно к проселку. Гул ветра в его кронах был похож на дурман. Небо было затянуто капустными тучами, бело-голубовато-зелеными, несомненно предвещающими бурю. Стволы елей испускали пепельно-сизый блеск, сосны были тревожно-никелевые, а затерявшиеся промеж них березы стояли все словно в коленкоре.

Наш спутник повернул вправо, по тропинке. Помню у поворота низенький можжевельник, весь зави-

тый в кольца. Наш спутник быстро шагал, почти бежал. Дыхание у него было ровное. Мне же дышалось тяжело, но я молчал. Я смотрел только на тучи. Мне казалось, пойди дождь — и наш спутник немедленно исчезнет в сетке дождя.

Тучи, не переводя духа, неслись над деревьями, пригибая их все ниже и ниже к земле. Сильно пахло сыростью. Мы вступали, видимо, в область болот. Появлялись заросли осоки, той едкой и колючей осоки, которую никто не косит. Горизонт суживался до размиров палисадника. Всюду трещало и выло, и казалось, будто над нами выгрызают пыль из савана.

Спутник наш шел, балансируя руками, словно по проволоке. Да и то сказать, тропинка была очень узка. Сквозь кочки и осоку просвечивали сине-багровые пузырчатые воды. Откуда эти древние вековечные болота? Под Москвой?

— Дорогой, долго еще идти? — послышался позади тихий и ласковый голос Клавы.

Не оборачиваясь, я ответил:

— Скоро.

— Скоро! — подтвердил фон Эйтцен.

Изредка на полянах шум бури стихал. Тогда мы слышали гул орудий. Видимо, неподалеку учились стрельбе артиллеристы. Впрочем, артиллерийские залпы казались треском и шумом падающих деревьев, и я невольно закрывал глаза, думая, что деревья валятся на меня.

Узкая, несколько расширяющаяся на юг просека. Сгнившие пни, покрытые великолепным фарфорово-зеленым мхом. Посредине просеки — высокий стог сена, прикрытый от дождя и ветра увядающими березовыми ветвями. За стогом — огромный, в десять охватов, дуб, лениво шелестящий тяжелой, яшмовой листвой. Казалось, он улыбается над бесплодными порывами ветра, над этими медвежьего цвета тучами с шалфейно-желтыми краями, то и дело выгоняющими из себя отростки.

Наш спутник согнулся, повернув к нам лицо. Губы его были судорожно втянуты, и такой страх был во всей его фигуре, что я отступил, хотя мне и хотелось услышать, что он бормочет.

— Здесь!

И он взглянул на Клаву.

— Узнаете? — спросил он.

— Я никогда здесь не была.

— Обманул? — крикнул я.

— Зачем, зачем мне вас обманывать? — воскликнул фон Эйтцен. — Посмотрите вон туда, на гребень, на дуб!

И он опять, почти истошным голосом, крикнул Клаве:

— Узнаете теперь?

— Да ничего я не узнаю.

— Уйдете со мной?

«Ой-ой-а-а-с-с-ф!..» — подхватил ветер.

Сверкнула молния, самого густого цвета розы. Она провела по тучам схему горного хребта, и бархатистая матовость прикрыла молнию.

Кругло, железнно-выпукло ударили гром — и огромный дуб, стоявший по ту сторону просеки, величественно покачнулся. Вздох пронесся по лесу. Листва дуба с горьким шумом упала на стог и скрыла его под сою.

Фон Эйтцен бросился, вытянув руки вперед, через просеку, к дубу. Пояс, перетягивавший его грязную гимнастерку, поднялся почти под мышки. Не знаю почему, но этот брезентовый пояс возбудил во мне ярость. Я схватил моего спутника за пояс, и несмотря на то что противник мой был выше и тяжелее меня едва ли не в три раза, откинул его в сторону, и он упал среди кочек.

— Держи его, милый, держи! — слышал я рядом с собой голос Клавы.

— Не убежать, шалишь!

Дуб лежал, вытянув кверху толстые, цвета густой умбры, корни. Они еще трепетали, и с них сыпалась мокрая земля.

В глубине, между вывороченных камней, я увидел продолговатый, обитый по краям медью, сундучок, несколько похожий на старинные кожаные футляры, в которых некогда хранились ценные охотничьи ружья. Сундучок при падении дуба, должно быть, сдавило камнями или землей, и, когда я наклонился к нему,

я разглядел трещину, пересекавшую его вдоль. Я прикоснулся. Сундучок распался надвое. Выкатился небольшой меч и длинная синяя сумочка, плетенная из металлических колец. Внутри сумочки что-то поблескивало.

— Клад!

Молодая женщина толкнула меня локтем в бок и, смеясь, очень, по-видимому, довольная, устремилась к сундучку. Фон Эйтцен, оцепенев, глядел на мои руки. Губы его еще шевелились:

— Пожалуйста, Илья Ильич, очень пропу вас, осторожнее. Опасно...

Фон Эйтцен стоял среди кочек, в болотной нежно-лиловой лужице. Там было мелко, едва доставало до лодыжек, и, чтобы лучше видеть сундучок, он поднялся на кочку. Мальчишеское почти веселье овладело мною. Я крикнул:

— Слушайте, вы, припухлость! Ведь тут действительно меч и яйцо. Я вам сейчас покажу...

— Не трогайте, не трогайте! — продолжал он ворить, присев на кочку. — Умоляю вас, не трогайте!

Я всецело был поглощен находкой. Приятно и мило было прыгать по корням дуба, которые качались подо мной; приятно было взять в руки пепельно-серую холодную сталь лезвия; приятно было смотреть на рукоятку, сделанную, должно быть, из мамонтовой или слоновой кости в виде медведя, ставшего на дыбы, а еще приятней было взять тяжелую сумочку. Меч был короткий, не больше метра, вдоль него шел глубокий желобок, по дну выложенный золотом.

Размахивая мечом, я поднялся вверх по корням и опять встал на стволе. Радость, переполнявшая меня, требовала исхода. Я легонько ударил мечом по суку, толщиною не менее как в три пальца, и сук упал, склоненный. Однако с этой штукой надо быть осторожным! Она чертовски остры.

И я крикнул своим спутникам:

— Идите ближе!.. Сейчас во всем разберемся. — И я начал рассуждать, разглядывая меч на полном свете: — Сначала думал: старинная штука, а затем — откуда старине знать нержавеющую сталь? Ведь он много вре-

мени, столетия, быть может, лежал под дубом. И не заржавел! Не кажется ли вам, что это некий антиквар, эвакуируясь от немцев, здесь и припрятал его, а?..

Осторожно обернув часть лезвия носовым платком, я взял меч под мышку и, освободив руки, начал растягивать кольца металлической сумочки.

Тощий, срывающийся крик фон Эйтцена донесся ко мне:

— Умоляю-ю...

— Да идите вы к черту,— сердито сказал я,— что вы там, дядя, беситесь? Билет я вам дал, если вам не приятно смотреть на меня, возвращайтесь на станцию.

И, не раскрыв сумочки, я спрыгнул со ствола и пошел через просеку к моему спутнику.

Лицо его приобрело махрово-красный цвет. Он начал пятиться, и, странное дело, он уже не казался мне такого высокого роста, как прежде. Мало того, он был значительно *ниже* меня, а *удлиненная* его голова была непропорционально велика по отношению ко всей его фигуре. Впрочем, ни рост его, ни его *длинная* голова не занимали меня теперь так уж остро. Занимало другое. Его манера пятиться. Он пятился, мелко-мелко шагая, и все вокруг кочки, в той лиловато-нежной болотной водице, куда он попал, когда я его толкнул.

Он кружил по этой лужице, показывая мне то спину с высоко вздернутым ремнем из брезента, то сюровую длинную нитку от пуговицы. И вот еще что было удивительно: он кружился и, клянусь, на глазах моих уменьшался в росте, словно винтообразно уходил в землю, хотя почва не понижалась, и тина не засасывала его, и вода по-прежнему доходила только до лодыжек.

— Ну, знаете, вы, дядя, фокусник,— сказал я, смеясь,— и если б вот не это дело...

— Да, да, надо посмотреть, что в сумочке,— сказала, тоже смеясь, Клава.

Тут я услышал голос фон Эйтцена.

Он сердито кричал:

— Я имею на нее все права! Почему она не идет ко мне?

— Слушай, дорогой,— сказала мне Клава,— его, кажется, засасывает: надо ему помочь!

— А и помоги, — сказал я, растягивая кольца сумочки, что отливала вишневым и слабо позванивали. — Протяни ему жердь, их здесь много.

— Он требует руку, милый!

— Ну, дай ему руку, раз он требует.

Кольца сумочки легко раздвинулись, и я увидел на дне небольшое, не больше голубиного, золотое яичко. На душе у меня стало легко и весело; я радостно рассмеялся.

Я осторожно достал яичко и положил его на ладонь.

Приятное, теплое чувство все росло и росло во мне. Казалось, прибавилось во мне сил, казалось, увидал я родные и широко знакомые места, казалось, встретил я ближайшего и любимого человека... даже рот был у меня окрашен каким-то невыразимо чудесным ощущением. Ух, хорошо! Ух, замечательно! А небо в ушастой шапке из туч! А горностаевые березы! А сосны, стволы которых ближе к вершине окрашены в цвет абрикоса! А базальт родного чернозема, тот базальт, через который не пробиться никому врагу! Замечательно! Чудесно! Здравствуй, родной мой мир, так высоко поднявший свои бобровые ресницы.

Мне хотелось ощупать яичко со всех сторон. Я зажал его в руке.

И вдруг я почувствовал в руке своей медленное, еле ощутимое биение, словно я держал в руке крошечную птичку. «Тик, так, тик, так...» — билось в моей руке сердце жизни, и это биение было так сладостно, что я закрыл глаза.

Ветер утих. Лес стоял в голубом безмолвии, пробиравшемся ко мне сквозь прикрытые веки. Ах, так бы и стоять, стоять вечно, вросшим в этот лес, в это безмолвие...

Тишину вдруг разрезал грызущий и прерывающийся на невыносимо высоких нотах звук. Всплеснулась вода...

Я раскрыл глаза.

Возле кочки, вокруг которой кружил фон Эйтцен и куда направилась Клава, ходили легкие, нежно-голу-

бые круги. Они делались все реже, реже, все медленнее, медленнее, и вот, вот прошел последний, такой тоненький, точно ниточка пробежала по воде,— прошел и скрылся навсегда.

— Клава, Клава! — крикнул я.

Лес безмолвствовал. Тропинка к станции шла прямо, длинная и безлюдная.

Наш темный дом с ярко-желтым подъездом и двумя серыми арками ворот, разрезающими его на три части, стоит возле крошечной площади. К площади выводят вас переулки, узкие и истертые, почему-то всегда напоминающие мне подтяжки. Я шел по одному из переулков.

Мне нравится московское затемнение. Это резко очерченный и выразительный снимок войны. Недавно был дождь. В переулке тускло поблескивали мокрые булыжники. Позади меня ревела, трещала и бушевала Москва. Над переулком темное небо, как тирада из старинного сочинения. Подвалы домов пахли перегноем и водой. Переулок напоминал мне конец девятнадцатого столетия, томительная, как перед вынуждением жребия, поэзия которого мне так мила. Я шел, читая про себя стихи и раздумывая об Агасфере. Мне виделся он в маленьком итальянском городе, что-то вроде Римини во времена тирана Сигизмондо Малатеста, так умело соединявшего высокое художественное и научное образование пятнадцатого века с умышленной жестокостью.

«Нет, что ему делать в Москве? — думал я с усмешкой.— И как это мне взбрело в голову писать о нем сценарий? Он не для нас, и мы не для него. Глупо».

Вспомнив свою работу над Агасфером, я вспомнил и Клаву. Перебивая и вытряхивая пыль из томов «Русского архива», я нашел между книг ее профсоюзный билет. Странно, что я так долго не вспоминал о ней. Где я ее видел в последний раз? Ах, да, в Толстопальцеве! Она была с кем-то мне знакомым, но с кем — не помню. В тот день я мало набрал грибов. Перед отъездом на станции какой-то старик рассказывал, что два грибника, мужчина и женщина, подорвались на немецкой мине. Помню: размахивая почти пустой корзин-

кой, я возразил старику: «Да немцев и не бывало в Толстопальцеве!» — на что старик сказал: «Тогда на собственной», и стал описывать приметы погибших. Приметы подходили. Клава и ее спутник? И все-таки я не верил старику, так как не желал ее смерти, хоть она меня и разлюбила.

Нужно ей вернуть профбилет и, кстати, сказать, что ничего против нее не имею.

Ну, пусть разлюбила! Тому прошло много времени. Собственно, не так много, но здоровому время, когда ты был болен, кажется очень далеким. Я пошел в квартиру, где она жила. Мне сказали, что Клава, вместе со своими родственниками и мужем, давно уехала на Украину и адрес ее неизвестен: должно быть, счастлива — не жалуется.

— Ах, вот как! Извините за беспокойство, и до свидания.

— До свидания.

Итак, я шел переулком. Вспомнив опять измену Клавдии и ее теперешнее счастье на Украине, я сплюнул — не так, чтобы очень ее оскорбить, но сплюнул. Затем я вынул платок, чтоб вытереть губы, — и вдруг, поскользнувшись, обронил его.

Наклонившись, я увидел, что через переулок, от тумбы к тумбе, низко над мокрыми булыжниками, протянута проволока. В Москве «пошливало» хулиганье. Впереди, приближаясь к западне, крупно шагал, размахивая портфелем, какой-то широкоплечий человек. Я крикнул ему:

— Осторожней: проволока.

И кинулся под арку ворот, прорезавших дом насквозь. Под аркой мне почудились две неясно маячившие фигуры. Я решил проучить мерзавцев.

Фигуры бросились во двор, что-то хрюплю говоря друг другу. Пространство двора упиралось в развалины школы, разбомбленной немцами еще в 1941 году. Я побежал наискось. Фигуры не успели скрыться в развалинах. Я схватил их и, стуча голову о голову, приговаривал:

— Не блуди, гадюка, не блуди!

Один из них кричал:

— Ой, не буду, дяденька, не буду! Не буду: кулак-то какой большой!

В последнем пункте я с ним согласен. Природа одарила меня, но и я одарил природу. Челнок моей жизни не так легко опрокинуть, хотя река, по которой мы плывем,— бурна, как и подобает разливу. Горестно зрыдает тот, кто попробует броситься на меня. Я — крепок, великолепно натренирован, широк в кости, и рост мой, пусть не с гору, однако и не с левретку. Без особого напряжения могу я, например, пробежать из одного конца Москвы в другой с грузом в пятнадцать килограммов. Спортивное мое увлечение — лыжник и пловец. В здоровом теле — здоровый дух.

Мне, сменному инженеру, поручили от имени цеха сказать несколько прочувствованных слов нашему опытному и хорошему рабочему Николаю Михалычу Разломову. Вчера он получил известие, что его средний сын пал смертью героя на поле брани с немецко-фашистскими захватчиками. Сыновей у него пятеро: двое — еще подростки, а трое — взрослые — на войне. Средний же из этих троих убит.

Николай Михалыч работает в ночной смене. День приближался к концу. Струился теплый предвечерний свет, и спокойное, тихое небо, как всегда, перед приближающимся закатом, было нежно-шахфранового цвета. Мне мило это тихое неподвижное небо над Москвой, небо весны 1944 года. Оно встало перед нами в результате поражения немцев, и наш завод — один из непосредственных творцов этой тишины. Мы производим авиационные моторы. Наш гул заглушил гул вражеских машин, и я не побоюсь преувеличения, когда назову гул нашего завода златокованным гулом!

Вот он вокруг меня, наш завод, наша любовь. Весь он сейчас утвердится в крайнем творческом напряжении, напряжении почти страстном. Он словно востроносый юноша, почувствовавший нежную привязанность. Он прислушивается, прерывисто дышит, бормочет что-то невнятное, быть может, ее имя. Глаза у него впалые от волнения, движения его гибко-горды. Он творит.

Позади, за воротами, мой цех. Прекрасны черные проходы между станками, искрящиеся от тончайших крупинок металла. Короткий перерыв. Подходит вторая смена. Уходит первая,

Пасмурный лист

лица уходящих смуглы от металлической пыли и похожи на классические изваяния. Желтоватое, с атласным отливом, масло струится в станки; рабочие свободным и легким движением направляют масленки. Скоро станки двинутся вперед и отовсюду к выходу устремятся части мотора, еще теплые от быстрого бега станка и от человеческих рук, которые держали их, пусть это и продолжалось одно мгновение. Детали то сине-алые, то серебристо-оранжевого оттенка, то самого яркого и чистого красного, того, который называют багряным. Последний и необычайно могучий тип мотора «АГ-421», выпускавшийся сейчас нами, создается из различных металлов. Эти разноцветные и разнообразные детали возбуждают любопытство, всем хочется посмотреть, как будут собирать мотор.

А его уже собирают, в соседнем цеху. Мотор медленно, еще с заминками, идет по конвейеру, и сборщики с радостными улыбками смотрят на него. Такая сила, такая могучая и верная сила! Как ей не возбудить усердия к работе и улыбок радости? Мотор в начале сборки цвета золотистой охры, затем металл переходит в лимонные оттенки, а позже густеет и делается совсем фиолетовым. От волнения губы у нас словно пообветрились, болят, и каждый из нас шепчет про себя: «Доброе дело, доброе дело! Докончим это доброе дело — и будет спокойна совесть».

С добрым сердцем смотрю я на весеннюю землю нашего завода, темную мокрую землю. Несколько грачей, исхудавших за зиму, пооскобленных голodom, осматривали мусорную яму возле стены цеха: банки из-под американских консервов, какие-то масляные тряпки, обрезки резины... Под весенним солнцем мусор этот и эти грачи были очень живописны. «Тяжело в такие минуты думать о смерти», — говорил я сам себе, глядя на подходившего к воротам Николая Михалыча.

Прост наш Николай Михалыч. Способствует, правда, тому и внешность его, внешность, столь невзрачная и обыкновенная, да и одет он в столь немудрые брюки из бурого сукна, что часто Николая Михалыча путали с другими. В трамвае или метро незнакомые спрашивали

ли: «Вы не такой-то будете?» — да еще и обижались, если он отнекивался. Впрочем, что случайные встречи! Известный художник П., обладатель драгоценной и меткой руки, приехал когда-то давно, к нам в цех за-рисовывать ударников. Мы тогда впервые в нашей стране осваивали производство авиационных моторов и были знамениты даже больше, чем сейчас. Долго всматривался П. в Николая Михалыча, ходил вокруг да около и, наконец, не найдя ничего характерного, сказал с досадой: «Э, батенька, да вы отуманщик какой-то!» Разумеется, при усилии воображения (да еще теперь, когда известна история с «пасмурным листом») вы обнаружите в словах знаменитого художника намек на нечто нами не уловленное, и это нечто теперь внесут в анналы нашего завода, но, думаю, будет ближе к истине сказать, что и художнику внешность Николая Михалыча показалась чересчур незначительной и простой.

Я подошел к Николаю Михалычу и крепко пожал ему руку. Он посмотрел на меня серыми, простыми и, казалось, не видящими мир глазами. Я заговорил. Я отметил его заслуги, достоинства его сына-героя, напомнив, что родина-мать не забывает и не забудет заслуг людей, павших в битве, как и тех, кто работает само-отверженно в тылу. Николай Михалыч посмотрел на меня своими серыми, простыми глазами и сказал в ответ на мои слова:

— Спасибо.— А затем добавил: — В трамвае-то тоже весна, да, вишь, душная. Голова разболелась, поощряя беспорядки. Ну да, прошелся от остановки да через двор и поосвежился. Вроде теперь прошло.

Это у него поговорочка такая: «Поощряя беспорядки». Он ее сует куда попало, так что иногда получается довольно забавно.

В нашем цеху станок Николая Михалыча самый старый, едва ли не погодок ему. Станок он всегда ремонтирует единолично, бормоча: «Кому охота, поощряя беспорядки, помогать первенцу отечественного станкостроения?» И верно, в станке много лишнего, недодуманного, и дознаться до всех его пороков не каждому дано. И все же станок, как правило, дает 185 процентов нормы. Мы иногда шутя говорим Николаю Миха-

лычу: «Почему не 200? Дотянул бы!» А он уклончиво: «Что ни на есть лучшая норма». И в этом я тоже вижу его простоту и склонность к рутине. Ну что ж, хочет стоять на своих 185 процентах — пусть стоит. От каждого по его способностям.

Николай Михалыч бегло осмотрел станок, инструменты и достал самодельный портсигар, вырезанный перочинным ножом из липы. Скрутив папироску, он пошел было в курилку, но остановился против соседа, смазывавшего свой станок, и сказал:

— А ты, небось, Миша, подумал: вот Николай Михалыч должок принес? В понедельник обещал. А он опять за деньгами! Сильно ломила нога всю ночь, еле отогрел к утру. А пришел в цех — мерзну. Сказывал, в окна дует, оттого, а им, инженерам, что? Они в кабинете. Фанеру, говорят, поощряя беспорядки, через неделю! А я — простужайся? Вот и хочу, поощряя беспорядки, валенки подшить. Ей-богу, Миша, надену, смейся — не смейсь. Так как ты, Миша, поощряя беспорядки, дашь мне на подшивку? Уж заодно и верну.

Покоробила меня эта «подшивка». Я, признаться, подумал: «Что это? Душевная пустота? Убили сына, а он крутит папироску да бубнит о фанере и подшивке валенок». Между тем он повернулся ко мне и сказал:

— Всю ночь ломит да ломит ногу. Я и припарки, я и компрессы, поощряя беспорядки, — ломит. Растет у меня на окошке яблонька такая, «пасмурный лист» прозывается. От боли в голову накатило: «А не пожевать ли того пасмурного листочка, може, поощряя беспорядки, пройдет?» Да жалко мне ее. Полтора десятка листков выпустила... — Помолчав, он добавил: — А тут на дворе ка-ак зашумят! Думаю: аль ветер, буря? Спустился со своего четвертого этажа на двор, поощряя беспорядки. Гляжу: какое ветер, это из трубы выкинуло! Завтра утром пойду в райсовет: надо нашего управления пожурить, чего трубы не чистит. Далеко ли так, поощряя беспорядки, и до пожара?

Листки яблони, ломота в ногах, шум ветра, выкинуло из трубы. «Что за мелочность, что за простота! — ду-

мал я, осуждая его слова. — Стоим мы над такой стремниной, на такой стреже, под таким сокрушительным натиском бури, что дух захватывает: а он — из трубы выкинуло, сажа загорелась». А дальше началась уже совершенная бестолочь. Вдруг он заговорил:

— Почемуй-то, Миша, поощряя беспорядки, когда идешь обедать в заводскую столовую, над головой в небе висит облако? Такое оно, поощряя беспорядки, ржаво-буровое и такое, брат, вроде розетки. Заметил?

Вот тебе и пойми! Облако. Ржаво-буровое, розетко-видное. Да еще и каждый день на небосклоне, когда идешь в заводскую столовую! Огорченно я отошел от Николая Михалыча. Но утешить его хотелось, и, хотя хлопоты подобного рода не входили в мои обязанности, я побывал на складе, добыл фанеры и приказал заделать окна, в которые дуло.

Когда смена окончилась, Николай Михалыч пришел ко мне. Он сказал ласково:

— За фанеру-то, поощряя беспорядки, спасибо. — И помолчал, смущенно переминаясь с ноги на ногу. — Я тебя, поощряя беспорядки, вечером-то не обидел?

— Да что вы, Николай Михалыч, чем вы меня могли обидеть? Боюсь, что я вас обидел, не передал по-настоящему своих чувств.

— Передал, — вдруг мягко-мягко сказал он, и тогда мне сразу стало ясно, что это не такой уж простой человек, как я думал о нем. А он продолжал: — Я понимаю. Мелкий порох взрывчатее крупного. Так и человек, когда молчит, и слов не подберет. Ты меня, инженер, одним твоим вздохом купил...

Он посмотрел мне в глаза своим серым взглядом. Глаза его опухли и позалились от ночных дум и напряженного труда. Он проговорил:

— Сказал ты: «Николай Михалыч» — и вздохнул. А почудилось мне, что ты меж моим именем и вздохом сыночка моего, покойного, увидал. И я его увидал! Так мы все втроем и встретились... — И опять помолчав, он добавил: — Говорил я тебе про листья одни, про яблоню «пасмурный лист». Жевать будто тот лист хо-

тел... пустяки это... Что я, корова, травой утешусь? Посмотреть через тот лист хотел. Еще раз...

Я не понял его:

— Простите, Николай Михалыч, куда посмотреть?

— А куда смотрел тогда, недели две назад, как про

отца-то моего приезжий с Украины сказал.

— Вы смотрели из сада?

— Зачем из сада? Из своего окна смотрел.

— Еще раз простите, Николай Михалыч. Вы смотрели из окна, через яблоню? Яблоня растет у вас перед окном?

— Зачем, поощряя беспорядок, под окном? У меня на окне растет.

Тем временем мы вышли из цеха. Пересекли двор и направились к трамвайной остановке. Мы проходили по небольшой аллейке из молодых лип. Липки уже распустили свои листья, влажные, словно подмокшие. Николай Михалыч наклонил одну ветку себе под шею и сказал:

— Вот так и взглянул. Как он, приезжий-то с Украины, ушел, сказавши про отца, я и взглянул. Ну, а вчера еще хотел повторить взгляд-то свой.

— Простите, что настаиваю, Николай Михалыч. Вы говорите, «взглянул», и говорите это многозначительно. Должно быть, вы увидали тогда, две недели назад, что-то необыкновенное?..

— Сражение при «пенсиве» увидал,— сказал Николай Михалыч.

Я так и замер посреди аллейки.

— Простите, простите, Николай Михалыч! Сражение при «пенсиве»? Что-то я не слышал о таком сражении. Да и пенсив, насколько помню, слово не то французское, не то английское, не то обеих стран вместе, и значит оно — задумчивый...

— Али пасмурный?

— Или пасмурный. И так толкуют. Но при чем же тут сражение и как оно может происходить при «пенсиве»?

Мы все замечали, что Николай Михалыч любит вспоминать своего отца: почти каждый день. Старику хоть за семьдесят, но силен и здоров. Он работает на

одном из донбасских заводов, доставляет со станции кладь. Отец с сыном расстались давно, встречаются редко: у обоих большие семьи, большие заботы, не до экскурсий. Две недели тому назад Николай Михалыч прекратил рассказы об отце. И никому из нас не пришло в голову спросить: почему это? Правда, работа была горячая, не до рассказов об отцах да и об их рыбной ловле... Не по себе мне сейчас стало. Я сказал:

— Вы простите, Николай Михалыч, что я привязался к вам с этим «пенсивом». Я понимаю так, что приезжий с Украины привез тогда дурные вести. Отец и его семья?..

— Немцы. В Германию угнали. Не хотел я вас тревожить...

И еще хуже я почувствовал себя.

Ведь вот заботился о нас, не хотел нас тревожить!

А он, чтоб не показать, будто дурно думает о нас, добавил:

— Ты-то, может, и не знал, что моего отца немец увел. А другие, подозреваю, знали. Спасибо им: не бередили рану. Она сейчас малость позасохла, а тогда, недели две назад, сильно ныла, поощряя беспорядки.

И он начал мне рассказывать о «пенсиве» и о том, что увидел за ним недели две тому назад, когда ушел знакомый с Украины.

Мне представился вид двух его опрятных комнат. Жена, утирая слезы, ушла в продмаг. В этих двух комнатах живет одиннадцать ртов: надо их накормить, напоить. Ушел и приезжий с Украины. Остался Николай Михалыч один, если не считать двух безмолвных старушек, чистивших картофель в соседней комнате. Они чуть хлюпали водицей, думая, что хозяин заснул после ночной работы, а было раннее утро, вроде теперешнего, весна, теплынь.

Николаю Михалычу было горько. Он не спал. Было ему особенно горько еще и оттого, что жена ушла в продмаг, а не уйти ей нельзя: очередь. И было такое злое чувство, будто и жену угнал немец. Николай Михалыч даже заскрежетал зубами. «Нет, есть же на немца управа? Есть! Доищемся».

И вспомнился ему отец. Большеголовый, голова, как короб. И тоже — весна; пологая речка, брат размывает удочки. Отец, похорошевший от выпитой водки, полбутылки, которую он всегда захватывает на рыбалку, говорит: «На рыбу, детки мои, привада называется — блевка, а на волка — окорм! Дают его с чилибухой». Заканчивает он протяжно, волоча слова с удалию, как волокут на заводе сверкающую проволоку из стана: «Будем под блевку рыбачить, детки мои, подумки мои». И чувствуется в его словах, что лов будет удачный, и сердце замирает.

А где-то теперь отец?

— Ух, станет фашисту хуже, когда петлю стянем поуже! Будет управа!

И тут-то Николай Михалыч обратил внимание на странный запах, распространившийся по комнате. Он отчасти напоминал запах солонины и столярного клея. На языке ощущался сладковатый и рыхлый привкус. «Хозяйка стряпает? — подумал было Николай Михалыч. — Да где там?! Кабы стряпала! Ведь ушла в продмаг». Запах между тем густел, создавая как бы вторые, одуряющие ум стены. «С улицы газом пахнуло?» — подумал тогда Николай Михалыч, глядя в окно.

Окно было широкое, окрашенное в белую краску. Зимние рамы вынули только вчера. Не успели соскоблить замазку, убрать грубую, побуревшую за зиму вату, обернутую в газету. Краска между зимними и постоянными рамами щеголевато-бела, тогда как снаружи и внутри комнаты она поблекла и запылилась. Стекла у внешних рам вымыты, исправно отражают солнечное, полное воды и талого снега пространство между домами по ту сторону улицы. Впрочем, между домов, на северной стороне, лежит еще вешний лед, рассыпчатый, игольчатый, лазорево-синий. Отсветы этого льда падают в окна комнат, находящихся на втором этаже, и оттого куски неотпавшей замазки синевато-сызы.

Форточки плотно закрыты. Запах с улицы не может проникнуть. Слышны густые гудки тяжело нагруженных автомашин, резкие звонки трамваев, подпрыгивающих на стыках рельсов, исполинский гул толпы.

На подоконнике, кроме двух ровных свертков с ватой, лежал столовый нож, которым жена Николая Михалыча соскабливалась замазку, и стоял горшок сростком яблони. Росток сегодня развернулся почки и, опираясь на розовато-красные листовые черешки, выпустил за ночь семь яшмово-серых листьев с оранжевой каемкой. Вот они-то, должно быть, и пахли до того странно, что к ним всякое приболтаешь!

Николай Михалыч наклонился к горшку.

Но прежде всего нужно рассказать, откуда на окне у Николая Михалыча появился росток яблони. Я восстановливаю события отчасти по рассказу Николая Михалыча, а отчасти по рассказу профессора Брасыщева, которого я позже видел и расспрашивал.

В числе прочих общественных нагрузок Николай Михалыч исполняет обязанности члена заводской комиссии содействия нашему подсобному хозяйству. Комиссия хорошо работает уже несколько лет. Прошлой осенью комиссия направилась на обычную консультацию, которую нам дает Тимирязевская академия. В будущем 1944 году мы решили увеличить площадь нашего сада: он сильно пострадал от морозов 1939 года. Мы вместе с комиссией направили в Тимирязевку нашего главного садовода, поручив им достать морозостойкие сорта яблонь. Ученые Тимирязевки пошли нам навстречу. Нам выдали свыше пятисот корней первосортных саженцев. Комиссия осталась очень довольна и горячо благодарила профессора Брасыщева, ученого-селекционера, помогавшего нам.

Профессор Брасыщев, хохлатый, веснушчатый, одетый в длинную куртку из каштаново-коричневой бумаги, с большими карманами, дребезжащим голосом повторял: «Пустяки, пустяки! Мы все не гуляем, мы все работаем на оборону и должны помогать друг другу». Но, видимо, наша признательность растрогала его, и, когда комиссия собралась было уходить, он, трепля свой антрацито-черный хохол, внезапно сказал:

— А вы слышали когда-нибудь про яблоню «пенсив»?

Комиссия вкупе с главным садоводом ответила, что она впервые слышит название этой яблони.

Ученый пояснил:

— Собственно, эта яблоня — беспрозванка. «Пенсив» — название случайное и ничего не определяет. Слово англо-французское. Значит задумчивый или пасмурный. Почему Григорий Матвеич назвал так эту яблоню, им открытую, не могу сказать. А тем более, почему он добавил к слову «пенсив» слово «лист». Почему пасмурный, когда, в сущности говоря, никто еще этого листа не видал? Григорий Матвеич Смирнов посвятил свою жизнь отысканию диких сортов яблонь. В настоящее время, как вам известно, насчитывается свыше десяти тысяч сортов яблонь, огромное большинство которых произошло в результате скрещивания диких видов между собою, а затем и с культурными сортами. Григорий Матвеич обнаружил множество диких сортов, особенно в Средней Азии. Перед своей гибелью, а умер он недавно, он нашел, по его словам, такой сорт дикой яблони, который искал всю жизнь и над которым задумывался. Не отсюда ли, от его задумчивости, идет и слово «пенсив»? Нашел он свой «пенсив» в непроходимых горах Джунгарского Алатау, и нашел в единственном числе. Я покажу вам фотографию этого единственного, феноменального экземпляра яблони. Сомневаюсь, впрочем, чтобы вы поверили, будто это яблоня.

Да и трудно было поверить! Фотография изображала край плато. На краю пропасти или обрыва, наклонившись, стояло огромное, в три обхвата, дерево, с толстыми безлистовыми сучьями. В дупле, для масштаба, помещался всадник, держащий в поводу коня.

— Проку мало, — сказал Николай Михалыч, чрезвычайно заинтересованный рассказом. — Дерево засохшее. Не только плодов — листьев нету.

— Совершенно верно, — подхватил профессор. — Еще лето, а листва уже отсутствует. Дерево явно погибало...

— Да погибло ли? — спросил Николай Михалыч.

Здесь в разговор вступил ученый наш садовод — человек старательный, но лишенный фантазии. Он сказал твердо:

— Погибло. Не оставило данных, что существовала яблоня такой сказочной величины, а значит, и сказочного многолетия. Что же касается сучков или даже обрубка ствола, который может быть доставлен в Москву,— мало ли какие сучки можно подобрать!

Профессор смотрел на него пренебрежительно, как водовоз на рассохшуюся кадку с соскочившими уже обручами.

— Данных?! Сучки? Обрубки? — воскликнул он своим скрипучим голосом. — Зачем нам сучки и обрубки, когда у нас есть вот это?!

На ладони его лежал десяток семечек, по его словам, принадлежащих этому семейству розовых, подсемейству яблоневых. Из-за необыкновенной величины семена можно было отнести к какому-то неизвестному нам сорту орехов. Если самое крупное семечко яблони достигает в длину полсантиметра, то эти семечки были не менее двух сантиметров!

Николай Михалыч охнул и так задвигал руками над семечками, будто ему хотелось распеленать нетерпеливо кричащего ребенка.

— Пожалуй, этак выйдет, поощряя беспорядки, что и яблоки-то с тыквой?! Батюшки мои!..

Профессор прыжком придвигнулся к нему. Скользя рукавом по черному своему хохлу, он говорил:

— Яблоня, дорогой мой,— основная плодовая порода умеренной нашей зоны. Порода эта улучшается ежегодно, так как у нее много достоинств. Но есть и недостатки. Высокоценный пищевой продукт, вкусный, питательный, битком набитый витаминами? Да! И в то же время склеропортический! Правда, зимние сорта яблок сохраняются длительный срок и вкусовые достоинства их сперва даже повышаются. Но к концу хранения катастрофически падают. Заметьте: катастрофически! Яблоко к концу зимы, тогда, когда оно наиболее нужно, наиболее малоценно. Время своей железной скребницей грубо соскребает с него всю нежность и питательность...

— Останутся хоть поскребыши-то, поощряя беспорядки? Оставь, прошу! — сказал Николай Михалыч.

Ему хотелось думать, что пусть малоценные и малопитательные, но останутся разные сорта яблок.

— А разве вы хотите питаться поскребышами? — воскликнул профессор, и черный хохол его скачком рванулся к Николаю Михалычу. Тот попятился, и нога его скользнула на чем-то мокром, быть может, он растоптал какой-нибудь драгоценный отросток.

Разговор ведь происходил в одной из теплиц академии. Профессор вплотную подошел к Николаю Михалычу и, дыша ему в лицо табаком и вегетарианской пищей, завопил:

— Никто вам не позволит питаться поскребышами! Нет! Мы прибираем мир, мы удаляем из него то, что мешает процветанию людей. И вот Григорий Матвеич с настойчивостью, ему присущей, нашел великое, бессмертное яблоко. И дал ему какое-то, извиняюсь, декадентское имя. Тогда как оно имеет право называться яблоком Гесперид!

В теплице пахло землей, водой, всюду возвышались длинные некрашеные столы с горшками и бочками, наполненными растениями. Ни одному из растений не позволяли врьаться в землю, и все же растения развивались лучше, чем на свободе. Приятно было смотреть на это проявление могущества человека... Снаружи, на стекла теплицы, падали широкие, то золотые, то пурпуровые листья кленов, и тогда алые или желтые пятна бегали по лицам разговаривавших. Профессор получал жадно, стараясь втискать в своих слушателей побольше знаний, утрамбовывал их, как одежду в чемодане.

— Знаете ли вы о яблоках Гесперид? Об одиннадцатом подвиге Геракла? Я напомню. Но прежде — тем, кто забыл мифы, кое-что о великом муже Геракле. Я резвый поклонник этого мифа, этой песни непобедимого мужества! Геракл — величайший герой древности. Он поставил задачей своей жизни биться для блага людей со всем нечистым и злым, если даже это будет сопряжено с могучими трудами и гибельными опасностями. Геракл — честнейшая натура! Он достоин самой счастливой участи. Но злая доля преследует его с самого рождения, и, только свершив величай-

шие усилия, пережив мучительнейшие страдания, на-
граждается он за свои подвиги бессмертием и общени-
ем с блаженными богами.

Профессор с чувством продолжал:

— Одиннадцатый подвиг Геракла? Ему должно до-
стать золотые яблоки из душистого сада Атланта, того
самого, что держит на своих плечах небесный свод. Да!
Не менее. Златоплодную яблоню в том саду вырастила
некогда Земля. Ее-то она и подарила Гере в день бра-
косочетания той с Зевсом. Вам, безусловно, известна
Гера, царица Олимпа? С огромными блестящими глаза-
ми, высокого роста? Белокурая, волоокая Гера, храни-
тельница супружеских прав и законов брака? Да, не
легко, надо думать, достать яблоки из сада Атланта!
Я всегда сочувствовал Гераклу, а в этом деле — особен-
но. Сад охранял страшный и могучий дракон, а ухажи-
вали за яблоками волшебницы-нимфы Геспериды. Ге-
ракл, преодолевая неимоверные трудности, долго ис-
кал этот сад и наконец нашел его. По одним предани-
ям — на востоке, по другим — на крайнем севере,
в стране Гипербореев, там, где теперь обитаем мы. Два
мнения! А не примирить ли их нам? Нельзя ли допу-
стить, что Геракл нашел сад Гесперид на севере, а воз-
вращался из него дорогами востока?! И вот по дороге,
а именно в горах Средней Азии, он обронил одно из
своих драгоценных яблок, и из него-то и выросли ска-
зочные деревья...

Профессор, желая врезать в память слушателей
свои слова, опять пронес перед ними семена «пен-
сива».

— Вот оно! Бессмертное яблоко Гесперид! Оно
многолетнее дуба. Плоды его созревают рано. Одно
преимущество: хранятся бесконечно долго, бесконечно
вкусны и питательны! Оно неприхотливо и не требует
улучшения среды! Болезни и вредители, обычно сни-
жающие урожай яблок, бессильны против него!

— Недостает только одного пункта... — язвительно
сказал наш садовод.

— Какого же?

— Существования дерева. Реального существова-
ния. Оно засохло.

— Да-а? Засохло! — Профессор, очень довольный собою, добавил: — Вы, уважаемый, довольно хорошо затвердили насчет засыхания и плохо помните насчет того, что уцелела ветка, на которой Григорий Матвеич и обнаружил несколько яблок. Ветка! Яблоко! Распахнутый ставень в мир, в жизнь! На последнем году своей жизни редчайшее дерево, словно надеясь на приход человека, собрало остаток сил и выпустило ветку. Дереву грустно. Оно долго ждет помощи. Окрестности бесплодны. Скалы и скалы. Оно высосало все соки, бросало много лет яблоки, семена... и все напрасно. Оно чувствует себя одиноким, оно словно в келье затворника, ему душно. И листья его приобретают задумчивый, пасмурный вид... Григорий Матвеич издавна страдал последствиями тропической малярии; в последнем своем путешествии он переутомился и в Алма-Ату приехал из Джунгарского Алатау безнадежно больным: корчи руки и ног, чрезвычайно длительное сведение мышц. Он не имел сил дать нам исчерпывающие сведения о «пенсиве». Но мы в состоянии, однако, нарисовать приблизительно верную картину. Представьте сухое, бездорожное ущелье, ущелье — источник беспощадного света, как кремень есть источник огня. Григорий Матвеич, усталый, измученный малярией, все же идет вперед. И вдруг, как вестник отдыха и наслаждения, случайный ветерок бросает ему в лицо полуза сохший лист яблони. И притом необыкновенных размеров, вроде самого большого листа клена... Григорий Матвеич берет лист в руку, рассматривает узоры... Возможно, он перед тем думал об Англии, куда ездил перед самой войной, ему пришли в голову влажные ее парки, задумчивые, пасмурные деревья; отсюда, по-моему, и возникло слово «пенсив», которое, по закону противоположности, крепко врезалось в память, как опытный слесарь врезает замок, врезалось и замкнулось. «Пенсив, пенсив», — твердит он рассеянно, вертя в руках загадочный лист, который надо отнести к семейству розовых, подсемейству яблоневых. Путешественники, за редким исключением, — народ суеверный. Раз уж пришло тебе на ум и врезалось в память слово, то и носи его подобно обручальному кольцу. Раз уж «пенсив»...

Профессор вынул широкий носовой платок и шумно высморкался. Лицо у него было грустное, пасмурное. И хотя разговорчивость его была несколько утомительна, слушатели, понимая, что он грустит о безвременно погибшем исследователе, молчали.

Но ученый наш садовод сильно колебался в вопросе о существовании «пенсива». Поэтому, вынув еще более широкий, словно кливер — носовой парус корабля, платок, он погрузил туда нижнюю половину своего носа. Завивая платок свой вокруг носа, подобно венку, ученый садовод наш сказал:

— Споры о возникновении названия в конце концов, как споры о ценности голого веника. Нас интересует: какие найдены биологические особенности у «пенсива»? Скажем, в смысле долголетия? Был ли произведен горизонтальный срез древесины, если нельзя было вывести из дебрей ствол «пенсива» целиком?

Григорий Матвеич произвел срез.

— Сколько же лет дереву?

— Обычная яблоня плодоносит двадцать — двадцать пять лет...

— Я спрашиваю о вашем «пенсиве».

— Семьсот.

Кучка слушателей переглянулась и невольно сблизилась еще более тесно. «Вот это рванул!» — подумал каждый со смущением, отворачиваясь от профессора.

Николай Михалыч с отсутствием какого-либо сомнения уверенно и в упор смотрел на профессора. «Нет, он нам кое-что еще ввернет», — подумал Николай Михалыч. И профессор, наведенный слушателями на необходимость подкрепить свои слова фактами, раскрыл ящик письменного стола, притаившегося в углу теплицы, вынул оттуда тарелку, накрытую светлой салфеткой с нефритово-зеленым ободком.

— Почему утверждаю я, что «пенсив» существует, несмотря на то, что с мертвого ствола дерева Григорий Матвеич произвел вертикальный срез? Потому что: а) мы имеем семена, б) семена эти добыты из нескольких яблок, которые...

Он резким жестом, точно туша пожар всяческого сомнения, сдернул салфетку.

— ...которые перед нами.

И он так посмотрел на слушателей, будто проявил невесть какую щедрость и великодушие.

Почти наполняя собой глубокую тарелку, лежало огромное яблоко, разрезанное на несколько долек. Семена из него были уже взяты, и глубокие овальные коричневые семенные ложа чрезвычайно волновали взгляд. Волновало и другое: необыкновенно густой, золотистый цвет кожуры, какого не видал никто ни на одном из плодов земли. В нем сочетались и новый цвет металла, и теплый густой цвет растения, и разные оттенки чего-то огнисто-легкого, что не передашь словами да и кистью, пожалуй, тоже. Приглядевшись, обратили все внимание и на цвет мякоти. В нем не было того синеватого налета, который вскоре после разреза приобретает мякоть яблока, а разрезано яблоко, по-видимому, давно: столовый нож, оставленный на краю тарелки, успел заржаветь. Яблоко же словно только что разрезали.

— Ну что ж — исполать! — произнес кто-то сдавленным от изумления голосом, и профессор тотчас же подхватил:

— Именно исполать, за здравие, за многолетие «пенсива» — туш!

Он схватил нож, отрезал крошечный, тонкий ломтик яблока и, держа его на конце ножа, торжественно оглядел кучку слушателей. Все придвинулись к нему, даже скептик — ученый-садовод наш — и тот сделал шаг, правда, не столь уж длинный. Профессор Брасыщев выбирал недолго. Взор его остановился на Николае Михалыче. Он сказал, протягивая ему ломтик «пенсива»:

— Прошу отведать. Подарок от старого селекционера.

Николай Михалыч положил ломтик в рот.

Талая, снежная свежесть наполнила его рот, а затем пушистой сладостью разошлась по всему телу. Захотелось порезвиться, в снежки, что ли, поиграть, и в то же время было такое чувство, будто соприкоснулся с чем-то очень важным и большим.

Профессор указал всем на лицо Николая Михалыча: дескать, ясно? И добавил, подавая ему одно сечко:

— За услугу — подарок. Саду вашего завода. Какая, спросите, услуга? Моторы! Разливаться дальше словами не для чего. Понятно? — И он добавил, обращаясь к нашему ученому-садоводу: — Надеюсь, вы взрастите «пенсив» и увидите «пасмурный лист», равно как и поделитесь со мной впечатлениями. Да и встретимся мы ровно в то время, когда взойдет росток. Я сбираюсь в Джунгарский Алатау, пошататься, поискать: авось, и встречу еще экземпляр «пасмурного листа» — не все же дебри осмотрел Григорий Матвеич...

Николай Михалыч завернул семечко в бумажку и положил его во внутренний карман пиджака. Профессор проводил их почти до выходных ворот, еще раз повторил свои наставления относительно тех саженцев, которые нам дала академия, и пожелал комиссии доброго здоровья.

Ученый-садовод, выйдя из ворот, пробормотал:

— У людей вруны — заслушаешься, а у нас вруны — соскучишься.

Обижен он был некоторыми нотками насмешки, скользнувшими в словах профессора. И он не спешил брать семечко «пенсива» у Николая Михалыча: Тот, в свою очередь, задетый недоброжелательными словами садовода, не очень-то торопился отдавать семечко. Правда, отдать его, рано или поздно, придется. Николай Михалыч домашним садоводством никогда не занимался, а если и находили на него мечтания относительно того, что хорошо б соснуть под яблоневой тенью в сухой летний день, то главным образом после плотной выпивки и закуски, тем более семечко редкое, уникальное, не дай бог, пропустишь какие-нибудь там сроки поливки или чего-нибудь другого...

Как раз в эти дни наш завод приступил к заданию изготовить в короткий срок моторы «АГ-421», необыкновенно мощные и сложные. Прибыли чертежи. Инженеры изучали длинные листы кальки, отдел главного технолога завода кипел, фронтовые бригады, в том числе бригада Николая Михалыча, не отходили от своих станков, осваивая производство деталей. Дней двадцать безвыходно пробыл он на заводе, забыв и о «пенсиве», и об ученом-садоводе, и о профессоре Брасыше-ве. Бригада Николая Михалыча давала ежедневно свыше пяти норм. Он сам сделал приспособление, чтобы

сверлить косые отверстия, и выработка его станка повысилась раз в девять. Наконец производство деталей было освоено. Вот наладят гладкое и ровное течение «потока» — и пошло!

В столовой, вытянутом сером здании, Николай Михалыч встретил ученого-садовода. Лицо его было озабоченное, он глядел, прищурясь. Процент порчи плодов осеннего сбора оказался у него выше среднего. Он шел на расправу к директору завода. Не вовремя вспомнил Николай Михалыч, что семечко «пенсива» осталось у него дома в праздничном пиджаке. Ученый садовод принял его извинение за издевательство: какой тебе, дескать, к черту «пенсив», когда ты самую обыкновенную антоновку частично сгноил, а частично дал разворовать? Ученый пробормотал:

— Беззубая собака — гав! Да не укусит, а лишь брюки помнет.

«Что он, профессора Брасышева подразумевает под беззубой собакой?» — подумал, сердясь, Николай Михалыч.

Вернувшись домой, Николай Михалыч достал семечко. Прижимая его к ладони, он долго думал. Что делать? Ждать, когда уволят ученого-садовода? Поставить вопрос на обсуждение комиссии содействия подсобному хозяйству? А вдруг пропустишь сроки посадки семечка? Николай Михалыч позвонил в академию.

Оказалось, что профессор Брасышев уехал в научную командировку. «Надолго?» «На неопределенное время». «Куда?» «В Джунгарский Алатау». «Еще вопрос к вам: Есть ли другие специалисты по «пенсиву», кроме профессора Брасышева?» «По вопросу «пенсива» все же лучше поговорить с самим профессором. Другие специалисты есть, но они тоже уехали с профессором. Подождите, может быть, скоро вернутся».

Невелико семечко, а давит, как жернов! Николай Михалыч ждать дольше не мог. Он набил горшочек лучшим черноземом, строго-настрого приказал ребятам не дотрагиваться и посадил туда семечко. Посадка, таким образом, произошла поздней осенью 1943 года.

Больше всего Николай Михалыч боялся стужи. Остынет земля, закостнеет, — пропало семечко. Он утром, идя на работу, каждый день заходил поэтому в котельную дома: проверить запасы топлива. Возвра-

тившись и сбросив калоши, он сразу устремлялся к горшочку. Жена сердилась: «Ты бы в печные горшки смотрел, а не туда! Уж больно ты возносишься духом, Михалыч». Он то отшучивался, то отругивался.

Земля в горшке набухала, приподнималась, как опара, и вот однажды утром он увидел, что тонкий росток брусличного цвета пробил почву и вынес наверх скользу семечка, приподняв ее, словно шлем! Николай Михалыч обрадовался, будто увидел невесть какой пример доблести. Он даже погладил этот приподнятый ростком кожушок и тихо сказал:

— А ты не сомневайся. Одолеем! Оно, конечно, вход на гору крутой, а только одолеем.

Дудка ствола поднималась быстро и ровно. Она постыкалась дугообразными, продолговатыми почками, и, наконец, показалось семь яшмово-серых листочеков с оранжевой каемкой.

И тогда в комнате запахло странным запахом, от которого в недоумении цепенело сердце. И тогда, притянутый этим запахом, Николай Михалыч подошел к окну.

Было это в тот день, когда посетил его приезжий с Украины, когда он задумался о своем отце, да и о детях своих, что на войне, тоже подумал...

На подоконнике, повторяю, лежали два свертка с ватой; газетная бумага истлела и там, где дотрагивались до нее пальцы хозяйки, лопнула. Лиловели кусочки замазки. Стекла чуть вздрагивали от уличного движения. В соседней комнате старушки чуть слышно шептались о цене на картофель, об огородниках.

Николай Михалыч рассматривал листья. Он думал о своем потерянном отце, о внуках, что отвоевывают деда... троих внуках. Думал он в то же время о листах «пенсива», и ему хотелось расторгнуть связь между цветом листьев и их названием. «Почему «пасмурный лист»? Ничего «пасмурного» в теперешнем листе нет, и если измерять его окраску по создаваемому им настроению, то ее вполне можно назвать радужной. Когда лист увянет, он, кто знает, и приобретет тогда пасмурную окраску, но теперь...» Он ухмыльнулся. «Пенсив»! Слово вроде пенсии. На пенсии, что ли, кто-то сидел да и задумался по этому поводу?

Настроение его поднималось и поднималось толчками. Он дышал полной грудью, и минутами его охватывало то чувство полного удовлетворения, которое он испытал, когда в прошлом году в теплице профессор Брасыщев подал ему отведать ломтик яблока «пенсив».

Он слегка оперся пальцами о кромку горшка. Ему хотелось быть поближе к молодому, разбуженному к жизни деревцу.

Он привык к нему, и теперь, когда дерево развертывало листья, ему казалось, что он сам развертывает их. Хотелось только, чтоб оно поторопилось и к тому часу, когда он понесет его в Ботанический или в Тимирязевку — куда укажет профессор, — хотелось видеть его в полном, проворном и живом убранстве. Да, да! Убранство будет растопыренное, как хвост и крылья у индюка. Великолепное убранство, праздничное спозаранку!

Листья чуть трепетали, словно чувствуя свою ответственность. Ведь подумать только, они дают запас жизни для дерева, которому жить шестьсот или семьсот лет!

Шестьсот лет! Шестьсот лет тому назад Москва была, кажись, вроде небольшого уездного городка, обнесенного деревянным тыном, вдоль которого ходила стражка в самотканых азямах, с дубовыми луками за спиной, и только один князь, да и то по праздникам, надевал шелковые одежды и красные сафьяновые сапоги. В городке не было ни одного каменного здания, разве архиерейская церковь, и сразу, за тыном, начинались густые, непроходимые леса, где, ломая молодняк, гордо ходили лоси, переваливаясь, шли отяжелевшие от обильной пищи медведи, и гулом гудели над городком, над рекой и заливными лугами веселые, запасливые пчелы.

А сейчас гул стоит в небе от самолетов, и эти машины дикого цвета с синевой так утюжат небо, что любо-дорого глядеть! И поутру, и повечеру, и днем, и ночью гудят на высоких насыпях паровозы! И гудят тонко прядильные машины в зданиях, что ткут ткань тоныше паутины! И гудят машины, что печатают умные книги! И гудят станки, что делают моторы, и снаряды, и пушки, и многое другое, что необходимо человеку. Дорожка понакатана, смело иди вперед! Человеку, не в при-

мер прошлому, стало жить лучше, а вот побьем врага, сбросим эту тяжесть, что мешает жизни, и станет совсем хорошо...

Шестьсот лет!

И он наклонился совсем низко, всматриваясь в это рождающееся шестиствольное дерево с золотыми плодами, с яблоками Гесперид.

Повыше листьев он разглядел как бы легкую дымку. Должно быть, от нее и шел тот запах, что смущал его?

Он погрузил лицо в эту дымку еле уловимого сердоликового цвета.

Запаха не было.

Но появилось другое ощущение.

Он будто просунул голову сквозь тусклое стекло. И он увидел нечто такое, чего ни в коем случае не предполагал увидеть.

Он явственно чувствовал свои руки, лежащие на кромке горшка. Указательные пальцы его дотрагивались до влажной земли, нагретой солнечными лучами.

Голова же его была уже в другом мире и, мало того, в другом времени!

Он летел, летел взаправду, почти не касаясь травы, высокой и некошеной, с яркими весенними цветами, чуждыми московской флоре, — летел на каких-то прозрачных и длинных крыльях по саду, среди высоких деревьев. Деревья цветли и цветли, опять-таки цветами, чуждыми нынешней московской флоре. И яблони и вроде не яблони. Значительно крупнее и красивее были их цветы.

Он взглянул на небо и узнал то облачко, которое видел в этом году так часто, когда выходил из цеха, направляясь обедать. Да, да, именно это ржаво-бурое облачко в виде розетки! Следовательно, небо московское?

Соседи, плывущие рядом с ним, тоже смотрят в небо, и как раз в область этого ржаво-бурого облачка вроде розетки. Впрочем, причина их интереса другая, чем у Николая Михалыча. Николай Михалыч быстро входит в круг их интересов, они близки ему. Там, далеко в небе, разбросаны невидимые сейчас тенета. По краям тенет стоят на особых аппаратах заправщики с метательными снарядами. Да, стоят неподвижно в небе!

Стоят и ждут, не давая врагу обойти тенета и не давая ему возможности разорвать их, пока летчики не сядут в свои машины.

Летчики плывут к машинам. Среди летчиков Николай Михалыч. Слабо пожимая плечами, сознавая, что добрая половина его тела еще в той комнате, что находится в Москве 1944 года, Николай Михалыч, однако, не чувствует себя на особинке, а к тому же в небе начинает расти неприятный звук, похожий на то, будто точат какое-то огромное острие.

Лохматые деревья мелькают мимо. Уже видны на полянке, возле холма, летательные машины хитро придуманной формы, и вдруг Николаю Михалычу приходит в голову: «Да ведь это деревья «пенсив», это они цветут!» Кто-то подтверждает его мысль:

— Совершенно верно. Сады «пенсив». Сражение уже имеет свое название: «Сражение при «пенсиве»!

— А разве идет сражение?

— Довольно успешно. Сейчас вы увидите схему. Вам суждено успешно или неуспешно развить ее.

На дверце летательной машины движущаяся схема сражения. Дверца служит экраном. И внутри машины и снаружи ее мелькает и разворачивается схема сражения: по ту сторону ржаво-бурового облачка, за сферою тенет.

Николай Михалыч садится к аппарату управления. Несколько помощников вокруг и позади него. Летательная машина устремляется ввысь. Сады «пенсив» остаются внизу.

Машины прорезают облака. На мгновение буроватый туман закрывает горизонт, а затем распахивается искристо-лазоревое небо, перерезанное тонкими оранжевыми полосками. Это тенета! Аппараты стремятся туда. Их пропустят за тенета, и они должны уничтожить передовые корабли противника.

Но что за противник? Откуда он? Как ему удалось захватить часть стратосферы и укрепиться там? И вообще как ему удалось бежать с Земли и перебросить свои запасы и войска в стратосферу? Под руками Николай Михалыч ощущает лакированный, розового цвета столик. На столике возникают ответы на его вопросы и даже мысли. Никому не кажется удивительным, что командир летательной машины, ведущий ее на сражение

с противником, расспрашивает о причинах появления противника, причем расспросы эти носят самый наивный характер, указывающий на человека иной среды и иного века... Сон? Нет, не сон! Николай Михалыч ведет машину и в то же время пробует ногой штукатурку возле своего окна. Он надавил на нее с силой. Посыпались мелкие куски. Они падают на сапоги, но падают неслышно. Его слух там, возле тенет, в сражении.

Впрочем, сражение еще не началось. Враг боится. Он маневрирует где-то в глубине кобальтового неба, группируясь в компактную массу. Этой массе должны противостоять машины Николая Михалыча и его друзей, противостоять до тех пор, пока не подойдут основные силы. Машина стоит неподвижно. Замерла и схема на дверце. Все ждут. Позади тихо разговаривают. Упоминается его имя. Да, говорят о Николае Михалыче Разломове, но не о том, который сидит сейчас в машине, а о том, который остался там, в Москве. Говорят о нем с огромным уважением, знают его былую жизнь до мельчайших подробностей, знают все его беды так, как он, пожалуй, и сам не знал их. Ему неловко. Он не чванлив. «Ах, все это, товарищи, преувеличено!» — хочет он сказать. Но как скажешь, когда разговор идет о прошлом, и зачем оскорблять это прошлое, если оно теперь уже не принадлежит ему, Николаю Михалычу, и, может быть, он сам не понимал всю ценность и силу этого прошлого, в котором он жил?! Какой восторг в их словах — почти до отвала!.. И, услышав, что сады «пенсива» носят имя Николая Михалыча Разломова, он ворчит: «Тоже, нашли Геракла!» Он старается думать о другом. Поскольку он все-таки не перестает касаться ногами штукатурки своей комнаты, поскольку не исключена возможность возвращения, и раз он ждет, и раз машина бездействует, то чем слушать ненужные восхищения Николаю Михалычу, не лучше ль «на себя, кума, оборотиться?». Он, улыбаясь, берет карандаш. Надо не их слова записывать, а набрать чертеж их летательной машины. Хитро придумано! Пока там своим умом дойдешь, а тут они уже сумели прымыслить... Он чертит. Карандаш берет слабо, и он думает с сожалением: «Жалко, чертежного прибора нет, готовальни. Пойду возьму, пока машина стоит».

И отходит от аппарата управления...

...Он увидал комнату, окно, замазку, два свертка с ватой, продырявленную, побуревшую газету «Известия», горшок с ростком «пенсива».

Сон? Обморок? Видение? Галлюцинация, вызванная странным и, возможно, вредным запахом, источаемым листвою «пенсива»?

Он хварывал не однажды. Случалось, бредил. И он-то знал, что такое бред, эта шальная, беспорядочно-дрыгающая смена картин и представлений.

Здесь же, наоборот, перед ним плавно, ярко и не спеша, совершенно правдиво развивалась картина, которую и сейчас он и видит и помнит отчетливо. Все части этой картины соединены в стройный лад, как хорошо сходятся без щелей пригнанные доски. Он мог бы, будь художником, сделать четкий рисунок того, что только что видел. Да и зря, что ли, он вернулся за тушью? Нет, это не бред, это было! И он вернется туда, чтобы начертать на бумаге самолет и вообще узнать, чем же там кончилось дело при садах «пенсива», хотя сады и расположены очень далеко и глубоко под сражающимися.

Вошла бабушка, поправляя на плечах шаль. Она внесла на тарелке очищенные луковицы, которые с картошкой любил есть Николай Михалыч. Картошка сварилась. Неужели? Ведь, когда он наклонился к дымке «пенсива», картошку только еще чистили. Неужели оностоял возле «пасмурного листа» свыше часу? Да! Часы подтверждали.

— Спасибо, бабушка. Кушайте. Мне не хочется. Разве попозже,— сказал он, растирая тушь на фарфоровой тарелочке и осматривая готовальню, оставшуюся от занятий на курсах повышения квалификации.— Вы кушайте, кушайте, я через часик!

Прибежал самый младший из детей. Ему понадобился молоток и гвозди. Николай Михалыч нашел ему гвозди, дал молоток и опять остался один. В соседней комнате старушки, скромно почавкивая, ели картошку.

Николай Михалыч взял тушь, чертежный прибор и подошел к «пенсиву».

Он не очень был доволен собою. Что за нелепая мысль — идти в будущее с тушью и чертежным прибором? Ну, возьми чернильницу, куда сподручнее. А, с другой стороны, почему сподручнее чернильница?

И это и то одинаково необходимо для одной цели: доказать самому себе реальность происходящего.

И он опять наклонился над горшком. Опять пахнуло мокрой землей, нагретой солнцем, опять пальцы коснулись краев горшка, и опять он увидел нежнейшую сердоликовую дымку. Сердце его сжалось. А вдруг ничего нет, вдруг ничего не увижу?..

...Обстановка изменилась. Противник перешел в наступление. Наши машины набирали высоту, вскачь поднимаясь навстречу противнику. Николай Михалыч пришел вовремя. Его приветствовали ласковыми улыбками и кивками. Он сел к аппарату управления перед лакированным розовым столиком. Бумага с пометками ждала его. Он вспомнил о своей туши и чертежном приборе. «Не зря же я уходил в Москву», — подумал он и бегло, наскоро сделал несколько набросков. Спутники замолкли, не желая мешать ему. И от этого он торопился еще более. «Плохо черчу, плохо, — шептал он. — Кабы не вскаяться».

Схема на двери бешено завертелась.

Николай Михалыч поднял голову, огляделся. Его спутники напряженно глядели вперед. Они перебрасывались короткими фразами, и Николай Михалыч только сейчас понял, что они говорят на языке, сильно отличающемся от того, на котором он говорил когда-то там... «Где там? — поймал он себя на огорчившей его мысли. — Почему там, если я одновременно и здесь, в моей Москве?» Впрочем, мысль эта была мимолетной. Он прислушивался к тому, что говорят его спутники.

Положение очень опасное. Противник хочет оцепить Землю, накрыть ее сплошным покровом, поглощающим лучи солнца. Если не помешать, через час, два, три солнце для Земли погаснет, и наступит вечная холодная и гибельная ночь. Все светлое и радостное, что существует на Земле, все то, ради чего трудилось и боролось в далеких веках человечество, ради чего умирало, страдало, лежало в ранах и болезнях, все погибнет. Вся прекрасная, утонченная, изысканная и миловидная Земля должна потухнуть! Силы зла тушат ее, тушат все подряд, начиная с букашки и кончая золотыми яблоками Гесперид.

Яблоки? Золотые его яблоки, ростки жизни, выведенные тогда, когда неистовый враг хочет растоптать его Родину,— разве и это должно быть растоптано, уничтожено?! Ах, чего ты раскаркалось, сердце!

Между тем небо приобретало зловещий оттенок мокрой глины. Холодела летательная машина. Дрожь пронзала тело Николая Михалыча. Небо густело. Швырком, похожие на деревянные клинья, метнулись сверху машины врага. Летательная машина Николая Михалыча качнулась и завибрировала... «Тушь как бы не пролить на столик, испачкаю...» — подумал он, чувствуя в левой руке роящуюся боль...

...Он отшатнулся.

Рукава его рубашки были засучены выше локтей. Левая рука, от локтя до пальцев, была разрезана. Кровь лилась в горшок, капала на свертки ваты, на подоконник.

— Дай-ка, бабушка, тряпочку какую, руку мне поранили! — крикнул он.

Выбежала бабушка, держа в руке картофелину.

Но когда она подошла к нему вплотную, раны уже не было. Она словно испарилась. Высохла и скрылась кровь. Только у самого локтя остался небольшой порез, и к тому времени, когда бабушка нашла тряпичку, исчез и этот след сражения при «пенсиве». Бабка недоуменно глядела на него. Николай Михалыч сказал:

— Дай-ка, если осталась, картошки.

— И лучку?

— Ну, и лучку, — сказал он. — Чего-то мне поесть захотелось.

И все-таки ел он плохо.

Окончив еду, он начал звонить в Тимирязевку. Долго он не мог добиться кабинета профессора Брасышева. И чем чаще он звонил, чем чаще гудел звонок, показывая, что телефон занят, тем теплее ему становилось. «Приехал, разговаривает, обсуждает факт», — думал он. Оказалось, что радовался он понапрасну. Приехал младший помощник Брасышева. Он весело крикнул в телефон: «Это ты опять, Катя?» И был очень огорчен, что серьезный мужской голос спросил его о профессоре Брасышеве и «пенсиве». Он ответил, что новых данных пока нет, что к этой экспедиции он лич-

но имеет побочное отношение и что Брасычев вернется к концу лета. И, тяжело дыша, начал ждать у трубы звонка своей Кати.

«Куда же мне девать теперь росток?» — подумал Николай Михалыч.

Левая рука его, та, что была ранена, если это можно назвать раной, все еще сжимала скомканную бумагу, которая в момент ранения лежала на розовом лакированном столике в кабине его летательного аппарата, там, у «тегет». Бумага сухо похрустывала. Он боялся разжать руку. А что, если просто клочок не заполненной ничем белой бумаги? А ведь он чертил! И его спутники почтительно смотрели на его чертеж, понимая, очевидно, по-своему происходящее... Пустой листок? А где же готовальня? Где фарфоровое блюдечко с тушью, захваченной им с собой «туда»? Ведь тюбик туши с серебристой бумажкой на кончике все еще лежит на подоконнике.

Ему мучительно захотелось проверить, что случилось с его аппаратом, да и что там происходит у «тегет», как себя чувствуют его спутники. Нехорошо, что он бросил их, да и подраться хочется, раз уж начал...

И он наклонился к листьям «пенсива».

Все семь яшмово-серых листьев развернулись во всю свою ширину. Оранжевая каемка исчезла. Исчезла дымка. Исчез и запах.

Он видел чисто вымытое стекло, московскую улицу, трамвай, автобус, толпу...

...И он сказал, обращаясь ко мне:

— Ну вот, вчера вздумал еще раз посмотреть. Не знаю и зачем, поощряя беспорядки. Сердце по сыну ныло... Думаю, утешит «пасмурный лист». А он и впрямь пасмурный. Молчит! Не удостоил, ничего я не увидал. Кроме нашей улицы. И запаха не было. Я даже, поощряя беспорядки, малость рассердился на свой «пасмурный лист»!

Мы сидели с ним на скамейке все той же малажитово-прелестной липовой аллеи. Смоляно-бурая дорожка подсохла, но возле скамьи осталась лужица, впрочем, узенькая: чуть вытяни ноги — и попадешь на сухое ме-

сто. Николай Михалыч опустил, не замечая того, калоши прямо в эту лужицу мышиного цвета... Я сказал:

— Мое мнение, Николай Михалыч, что не стоит вам сердиться на «пенсив».

— Хочешь сказать: пригрезилось?

— Голова закружилась...

— Я б радовался-то как, закружись она! А только, поощряя беспорядки,— ведь бумага осталась и мой чертеж на ней. Как тут быть? Я же «там» чертеж сделал...

Я уговорил его показать мне листок бумаги с чертежом, сделанным в аппарате у «тенет». Он согласился лишь при том условии, что я не покажу его неумелого чертежа другим инженерам. «Тебе верю, а те надсмеются над стариком, поощряя беспорядки».

Лист был слабо-табачного цвета и только формой напоминал бумагу. Вещество, из которого он состоял, было непроницаемо для воды, его нельзя было разрезать ножом, и, более того, пуля парабеллума не пробила бы его. Он был упруг, как проволока. Тушь лежала на нем плотными и легкими чертами.

Отчетливо разглядел я конструкцию летательной машины совершенно своеобразного типа и притом настолько убедительно начертенной, что я немедленно поехал к знаменитому конструктору Раевскому,— разумеется, тайком от Николая Михалыча,— выпросив у него его лист на полчасика: «Подумать над ним дома».

Конструктор Раевский так и впился в представленный мною документ.

— Полгения гарантирую,— своим характерным, гравирующим говором сказал Раевский.— Он, камилавка этакая, угадал все, что мы тщетно искали. И на полсотню лет вперед заскочил. Кто он такой, камилавка этакая? Я его немедленно беру к себе! Да кто же он, говорите, камилавка вы этакая?

Я рассказал.

Конструктор Раевский напряженно слушал меня. Глаза его гордо засияли, когда я окончил. Он сказал:

— Одно слово: мой народ — ключ ко всему, а к будущему в особенности. Что же касается лично этого Николая Михалыча, он полгения, пока не обучен, и гений, когда кое-чему научится, камилавка он этакая. Я его беру к себе, повторяю!

— А «пенсив»? И любопытно, явления, которые наблюдал Николай Михалыч, отмечались ли в оранжерее академии?

— Сейчас узнаем.

Он позвонил по телефону. Профессор Брасыщев все еще не возвращался. Никаких явлений при появлении ростков «пенсива» в академии не наблюдалось. Ростки развиваются успешно.

— Благодарю вас, — сказал Раевский и положил трубку. А затем обратился ко мне: — И то сказать, кто будет наклоняться к «пенсивам» и замечать еле уловимую сердоликовую дымку? Или запах? Теплица огромна, профессора Брасыщева нет, а на все нужен талант и внимание!

И добавил:

— Росток «пенсива» останется при нашем конструкторском бюро. Мы его вырастим не хуже Тимирязевки. «Пенсив»! Мне он нравится, камилавка он эта-кая. Хорошее название! Пусть яблоко из сада Гесперид сияет золотом, пусть оно бесценно. И пусть все же его «пасмурный лист» дрожит, трепещет перед нами, напоминая постоянно, что весна и счастье человечества могут смениться пасмурными днями, войной, если мы не будем наблюдать и стеречь наше благо, наши яблоки Гесперид!

Я спросил:

— Следовательно, сражение при «пенсиве» вы считаете исторически возможным?

Он ответил:

— Будет исторически возможным. Если сегодня до смерти не дадавим всех гадин! Если не отплатим за отца, полоненного у Николая Михалыча, за сына его, за все страдания нашего народа.

Комментарии

В настоящем сборнике представлены романы, повести, рассказы, написанные и опубликованные в советское время, в исторической ситуации, характеризовавшейся началом коренных социально-экономических преобразований в нашей стране, борьбой за нового человека, за свободу и независимость в битве с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

Отсутствие в книге произведений таких признанных мастеров фантастики, как А. Толстой, А. Беляев, В. Обручев, Г. Адамов, и других объясняется их достаточно большой известностью. В то же время произведения К. Циолковского, В. Итина, А. Платонова, Л. Леонова, Вс. Иванова сравнительно мало знакомы широкому кругу читателей. Исключение составляет лишь роман А. Грина «Блистающий мир». Однако, по нашему мнению, он не только удачно вписывается в контекст публикуемых произведений, но и подчеркивает, делает более рельефными их оригинальные особенности, связанные, например, с представлениями о реальном воплощении заветной мечты человечества безгранично парить в пространстве, стремиться к Рazuму и Kрасоте.

Произведения публикуются в порядке, соответствующем примерно моменту их создания. Отметим, что вообще многие работы писателей того времени, и это естественно, задумывались и начинались до Октября 1917 года. К ним относится и повесть К. Э. Циолковского «Вне Земли». При этом не следует забывать, что именно благодаря работе прогрессивных людей России и стали возможными начавшиеся после Великой Октябрьской социалистической революции грандиозные сдвиги в сознании нашего народа, в его труде и жизни. К таким людям, безусловно, относились не только гиганты, подобные К. Э. Циолковскому, но и представители нового поколения писателей, творчески воспринявшие опыт старших и попытавшиеся осмыслить его в обстановке, когда «покой нам только снился». Конечно, такое осмысление удавалось в разной степени, его диапазон был довольно широким — от «блестящего мира» межзвездных просторов Вселенной до мира неистовой непрекращающейся работы, мира, полного трагедии борения, поражений и побед и «хмеля творчества», «кудрявого и пушистого пламени жизни», земного человеческого счастья. Но показать продолжающееся «дум высокое стремление» как можно полнее, реалистичнее представляется весьма важным, даже необходимым, ибо мечта продолжает прокладывать свой путь.

Константин Эдуардович Циолковский

(1857—1935)

Родился в селе Ижевском (ныне Рязанской обл.) в семье лесничего. В раннем детстве после болезни почти потерял слух. Оставил занятия в школе и занялся самообразованием. В возрасте шестнадцати лет приехал в Москву и продолжил свои занятия в Чертковской библиотеке, где познакомился с выдающимся знатоком литературы, автором «Философии Общего дела» Н. Ф. Федоровым (1823—1903). «В лице Федорова,— вспоминал Циолковский,— судьба послала мне человека, считавшего, как и я, что люди непременно завоюют космос».

В 1879 году Циолковский сдал экстерном экзамены на звание школьного учителя и был назначен на должность учителя арифметики и геометрии в начальное уездное училище г. Боровска Калужской губернии. В 1892 году поселился в Калуге, где и прожил до конца своей замечательной жизни ученого и писателя.

Фантастические произведения Циолковского мало известны. Возможно, потому, что их нелегко отделить от научных трудов. Очень близка к этому жанру его ранняя работа «Свободное пространство», написанная в 1883 году (опубликована в 1954 г.). В 1893 году в журнале «Вокруг света» была напечатана первая фантастическая очерковая повесть Циолковского «На Луне», в 1894 году — «Изменение относительной тяжести на Земле», в 1895 году — «Грезы о земле и небе».

«Вне Земли» Циолковский начал писать в 1896 году, а затем публиковал частями в журнале «Природа и люди» в 1903—1916 гг. В 1920 году повесть издана «Калужским обществом изучения природы и местного края». Наиболее полно научно-фантастические произведения Циолковского представлены в сборнике «Путь к звездам» (М., 1960).

Обращение ученого — теоретика и исследователя — к научной фантастике вызвано его горячим желанием способствовать прогрессу научной и технической мысли в России, экономическому развитию страны и еще более повысить авторитет Отечества в мире.

Проблемы воздухоплавания как быстрого и дешевого способа передвижения занимали многие умы. Русские ученые и инженеры внесли большой вклад в их решение. В 1869 году в России была создана Комиссия по применению воздухоплавания в военном деле. Уже через год ее участники изготовили опытный привязной аэро-

стат, принявший участие в маневрах в Ижорском лагере под Петербургом. В 1876 году Комиссия рассмотрела и утвердила проект аэроплана капитана А. Ф. Можайского. В работе Комиссии участвовал Д. И. Менделеев. С площадки в Красном Селе под Петербургом первый в мире аэроплан с летчиком на борту поднялся в воздух.

В 1870—1871 гг. русский инженер-электрик А. Н. Лодыгин спроектировал и начал строить большой электротеликоптер. В Москве в 1876 году создавал аэроплан изобретатель С. Микунин. В 1881 году Н. И. Кибальчич предложил схему ракетоплана.

Ранее, в 1866 году, морской офицер капитан Н. М. Соковнин разработал проект управляемого аэростата с реактивным двигателем его конструкции. Проект был представлен в Военное министерство. Автор описал конструкцию в книге «Воздушный корабль», которую сразу же заметили и издали в Англии.

В это же время много и плодотворно работали в области теории и создания птицекрылых летательных машин такие известные учёные и изобретатели, как доктора медицины Г. О. Бертенсон и Н. А. Арендт, генерал-лейтенант М. И. Иванин, лейтенант В. Д. Спицин. Продолжая работы, начатые в Российской Академии наук еще в 1754 году М. В. Ломоносовым, академик М. А. Рыкачев опубликовал в 1871 году ценное исследование по аэродинамике «Первые опыты над подъемной силой винта, врачающегося в воздухе». Автор возобновил исследование верхних слоев атмосферы на аэростате, а начинал такие исследования его предшественник академик Я. Д. Захаров в 1804 году в Петербурге. Весьма солидный вклад в развитие «науки о летании» внес великий русский учёный Д. И. Менделеев. В 70-х годах он работал над проектом управляемого аэростата с металлической оболочкой и взрывным двигателем. В 1875 году на заседании Русского технического общества Менделеев представил проект стратостата, а вскоре создал свой знаменитый высотометр, который экспонировался тогда на Международной выставке и до сих пор надежно служит авиаторам.

Одним из талантливых предшественников К. Э. Циолковского был, несомненно, Николай Иванович Кибальчич (1853—1881) — активный участник подпольной организации в России «Народная воля». Инженер по специальности, он хорошо знал теорию и практику взрывчатых веществ, устройство и принципы действия пороховых ракет. За участие в подготовке покушения на царя Александра I Кибальчич был приговорен к смертной казни. Уже находясь в тюрьме, он не упал духом и решил описать свои изобретательские опыты и предложения об использовании пороховых ракет для передвижения летательных аппаратов. Его записи о своем смелом проекте были опубликованы уже после Октября в №№ 10, 11 журнала «Былое»

за 1918 год. Автор писал: «Находясь в заключении, за несколько дней до своей смерти, я пишу этот проект. Я верю в осуществимость моей идеи, эта вера поддерживает меня в моем положении. Если же моя идея, после тщательного обсуждения учеными-специалистами, будет признана исполнимой, то я буду счастлив тем, что окажу громадную услугу родине и человечеству. Я спокойно тогда встречу смерть, зная, что моя идея не погибает вместе со мною, а будет существовать среди человечества, для которого я готов был пожертвовать своей жизнью».

Реактивный летательный аппарат Н. И. Кибальчича напоминал собой сказочный ковер-самолет с мощным пороховым двигателем.

Привлекли внимание также проекты воздушно-реактивных двигателей инженеров Н. Герасимова, А. Горохова. В разработку основ теории реактивного движения большой вклад внес известный русский ученый того времени — инженер И. В. Мещерский. Его работы и сейчас привлекают внимание оригинальностью, гармоничным сочетанием теоретической и технической мысли. Работы умельцев позволили русской армии иметь десятки тысяч пороховых ракет. Но к концу XIX века они были сняты с вооружения, видимо, в связи с появлением более эффективных видов оружия.

В одной из небольших работ под названием «Горе и гений» К. Э. Циолковский фактически описал свою трудную судьбу и терни научных работ до революции. И дело, конечно, было не в его личном стремлении выделиться. Как в свое время Михаил Васильевич Ломоносов, Циолковский заботился о продвижении к вершинам всей науки российской и ее ведущих направлений. Тем не менее его труды не замечали. В результате их стали не только внимательно изучать за рубежом, но и даже выдавать некоторые идеи за свои. В работе французского инженера Эно Пельтри «Соображения о результатах безграничного уменьшения веса моторов», вышедшей в 1913 году, содержались формулы ракетодинамики, полученные ранее К. Э. Циолковским. Американский профессор Годдар в своей работе по теории движения ракет, изданной в 1919 году, даже не упомянул уже вышедших к тому времени трех работ К. Э. Циолковского. В опубликованной в 1923 году в Германии книге «Ракета и космическое пространство» ее автор Оберт также не считал нужным привести вычисления и проекты К. Э. Циолковского. Между тем многие его соображения и решения полностью совпадали с тем, что уже сделал русский ученый. И только в своих личных письмах к Константину Эдуардовичу Оберт признал его приоритет в разработке ракет для космических полетов.

«...Я только сожалею, что не раньше 1925 года услышал о вас. Я был бы, наверное, в моих собственных работах сегодня гораздо

далше и обошелся без тех напрасных трудов, зная ваши превосходные работы».

«...Надеюсь, что вы дождитесь исполнения ваших высоких целей. Вы зажгли огонь, и мы не дадим ему погаснуть, но приложим все усилия, чтобы исполнилась величайшая мечта человечества... Мою новую книгу посылаю вам и буду очень рад, если взамен получу ваши последние труды».

Примечательно, однако, что в третьем издании своей книги Оберт снова не сослался на работы К. Э. Циолковского и лишь упомянул его в построчном примечании. Годдар, Оберт, фон Браун и другие и сегодня на Западе ставятся выше русского гения, особенно реакционерами всех мастей, создателями планов и программ «звездных войн».

Все творчество К. Э. Циолковского было пронизано светлой мечтой о «космическом братстве», счастье человечества. По-своему оригинально он представлял себе будущее. В ряде работ автор дает красивые картины полета космической ракеты с пассажирами и окружающего мира.

«...Мы, отправившись в путь, будем испытывать весьма странные, совсем чудесные, неожиданные ощущения, с описания которых и начнем.

Подан знак, началось взрывание, сопровождаемое оглушительным шумом. Ракета дрогнула и двинулась в путь. Мы чувствуем, что страшно отяжелели. Четыре пуда моего веса превратились в 40 пудов. Я повалился на пол, расшибся вдребезги, может быть, даже умер; тут уже не до наблюдений! Есть средства перенести такую ужасную тяжесть, но так сказать в упакованном виде или же в жидкости (об этом после). Погруженные в жидкость, мы также едва ли будем склонны к наблюдениям. Как бы то ни было, тяжесть в ракете, по-видимому, увеличилась в 10 раз. Об этом нам бы возвестили пружинные весы или динамометр (фунт золота, подвешенный на их крюк, превратился в десять фунтов), ускоренные качания маятника (в 3 с лишним раза более частые), более быстрое падение тел, уменьшение величины капель (диаметр их уменьшается в 10 раз), утяжеление всех вещей — и многое других явлений».

«Испытываемая нами адская тяжесть будет продолжаться... пока не окончится взрывание и его шум. Затем, когда наступит мертвая тишина, тяжесть также моментально исчезнет, как и появилась. Теперь мы поднялись за пределы атмосферы на высоту 575 км. Тяжесть не только ослабла, она испарилась без следов: мы не испытываем даже земного тяготения, к которому привыкли, как к воздуху, но которое для нас совсем не так необходимо, как последний. 575 км — что очень мало — это почти у поверхности Земли, и тя-

жесть должна бы уменьшиться весьма незначительно. Оно так и есть. Но мы имеем дело с относительными явлениями, и для них тяжесть не существует.

Сила земного тяготения действует одинаково на ракету и находящиеся на ней тела. Поэтому нет разницы в движении ракеты и помещенных в ней тел. Их уносит один и тот же поток, одна и та же сила, и для ракеты как бы нет тяжести.

В этом мы убеждаемся по многим признакам. Все не прикрепленные к ракете предметы сошли со своих мест и висят в воздухе, ни к чему не прикасаясь: а если они и прикасаются, то не производят давления друг на друга или на опору. Сами мы также не касаемся пола и принимаем любое положение и направление: стоим и на полу, и на потолке, и на стене; стоим перпендикулярно и наклонно; плаваем в середине ракеты, как рыбы, но без усилий и ни к чему не касаясь; ни один предмет не давит на другой, если их не прижимать друг к другу.

Вода не льется из графина, маятник не качается, а висит боком. Громадная масса, привешенная на крючок пружинных весов, не производит натяжения пружины, и они всегда показывают нуль. Рычажные весы тоже оказываются бесполезны: коромысло их принимает всякое положение безразлично и независимо от равенства или неравенства грузов на чашках. Золото нельзя продавать на вес. Нельзя обычными, земными способами определить массу.

Масло, вытряхнутое из бутылки с некоторым трудом (так как мешало давление и упругость воздуха, которым мы дышим в ракете), принимает форму колеблющегося шара; через несколько минут колебание прекращается, и мы имеем превосходной точности жидкий шар; разбиваем его на части — получаем грушу из меньших шаров разной величины. Все это ползет в разные стороны, расползается по стенам и смачивает их...

Нам хорошо, как на нежнейшей перине, но кровь немного приливает в голову; для полнокровных вредно.

Мы способны к наблюдениям и размышлению. Несмотря на то, что могучая рука Земли со страшной силой непрерывно тормозит подъем снаряда, т. е. сила земного тяготения не прекращается ни на один момент, в ракете мы ощущаем то же, что и на планете, сила тяжести которой исчезла каким-нибудь чудом или парализована центробежной силой.

Все так тихо, хорошо, спокойно. Открываем наружные ставни всех окон и смотрим через толстые стекла на все шесть сторон. Мы видим два неба, два полушара, составляющих вместе одну сферу, в центре которой мы как будто находимся. Мы как бы внутри мячики, состоящего из двух разноцветных половин. Одна половина — чер-

ная — со звездами и Солнцем, другая — желтоватая — со множеством ярких и темных пятен и с обширными, не столь яркими пространствами. Это Земля, с которой мы только что простились. Она не кажется нам выпуклой в качестве шара, а, напротив, по законам перспективы, вогнутой, как круглая чаша, во внутренность которой мы смотрим.

В марте мы полетели с экватора в полуденное время, и Земля поэтому занимает почти полнеба. Полетев вечером или утром, мы увидели бы, что она покрывает четверть неба в виде гигантского изогнутого серпа; в полночь мы увидели бы только зону или кольцо, сияющее пурпуровым цветом — цветом зари — и разделяющее небо пополам: одна половина без звезд, почти черная, чуть красноватая; другая — черная, как сажа, усеянная бесчисленным множеством весьма сравнительно ярких, но немерцающих звезд».

По мысли К. Э. Циолковского, освоение космического пространства много даст человечеству. Он писал:

«План дальнейшей эксплуатации солнечной энергии, вероятно, будет следующий.

Человечество пускает свои снаряды на один из астероидов и делает его базой для первоначальных своих работ. Оно пользуется материалом маленького планетоида и разлагает или разбирает его до центра для создания своих сооружений, составляющих первое кольцо кругом Солнца. Это кольцо, переполненное жизнью разумных существ, состоит из подвижных частей и подобно кольцу Сатурна.

Разложив и использовав также и другие крохотные астероиды, разумное начало образует для своих целей в очищенном, т. е. свободном от астероидов пространстве еще ряд колец, где-нибудь между орбитами Марса и Юпитера».

Как бы предвидея возражения скептиков, К. Э. Циолковский писал: «...Было время, и очень недавнее, когда идея о возможности узнать состав небесных тел считалась даже у знаменитых ученых и мыслителей безрассудной. Теперь это время прошло. Мысль о возможности более близкого, непосредственного изучения вселенной, я думаю, в настоящее время покажется еще более дикой. Стать ногой на почву астероидов, поднять рукой камень с Луны, устроить движущиеся станции в эфирном пространстве, образовать живые кольца вокруг Земли, Луны, Солнца, наблюдать Марс на расстоянии нескольких десятков верст, спуститься на его спутники или даже на самую его поверхность,— что, по-видимому, может быть сумасброднее. Однако только с момента применения реактивных приборов начнется новая великая эра в астрономии: эпоха более пристального изучения неба. Устрашающая нас громадная сила тяготения не пугает ли нас более чем следует!..

...Давно ли десятиверстовая скорость передвижения по земле казалась нашим бабушкам невероятной, головоломной, а теперь автомобили делают 100—200 верст в час, т. е. в 20 раз быстрее, чем ездили при Ньютоне. Давно ли казалось странным пользоваться иною силою, кроме мускулов, ветра и воды! Говоря на эту тему, можно никогда не кончить».

Мысль Циолковского, его титаническая теоретическая и исследовательская работа устремились дальше нашей планеты. «Человечество не останется вечно на Земле,— писал он,— но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а потом завоюет все околосолнечное пространство». Обоснованию этой блестящей идеи и ее распространению в народе по сей день служат научно-фантастические произведения основоположника современной космонавтики.

Стр. 27. *Анахореты* — праведники, простаки.

Стр. 28. *Лаплас, Гельмгольц, Ньютон, Галилей, Франклайн, Иванов* — эти персонажи повести символически олицетворяют науки разных наций. Автор хотел сделать более наглядным, убедительным рассказ о создании и полете в космос пассажирской ракеты. Отметим, что сюжет повести имеет, в известной мере, утопический подтекст.

Стр. 62. *Стеван* — видимо, византийский историк и государственный деятель.

Стр. 109. *Парциальное давление* — частичное.

Стр. 112. *Один русский мыслитель* — автор имеет в виду себя.

Стр. 121. *Конституционная вода* — в состоянии покоя, постоянная, обычная.

Стр. 137. *Норденшельд* Нильс Адольф Эрик (1832—1901) — шведский геолог и географ — исследователь Арктики, член-корреспондент Петербургской Академии наук, почетный член Русского географического общества. Участвовал в изучении северного побережья нашей страны. В его честь назван архипелаг из 90 островов в Карском море. Самый большой из них — Остров Русский.

Публикуется по: К. Э. Циолковский. Вне Земли.— М.: Изд-во АН СССР, 1958.

Вивиан Азарьевич Итин

(1893—1945)

Родился в Петербурге в семье адвоката, учился в реальном училище и на юридическом факультете Петербургского университета. В 1912 году опубликовал первые стихи, многие из которых представляли собой набор красавостей, заимствованных у акмеистов, считавших, что «искусство должно быть для искусства».

С 1917 года Итин начал пробовать себя в прозе. К этому времени и относится появление его рассказа «Открытие Риэля». Революция привела молодого писателя на Восточный фронт. В 1920 году в Красноярске он вступил в большевистскую партию, работал в газете «Красноярский рабочий», в органах Советской власти. С 1923 года В. Итин — сотрудник журнала «Сибирские огни» в Новосибирске, затем секретарь редакции и главный редактор, возглавляет местное отделение Союза писателей СССР, много сил и энергии отдает собиранию литературных талантов Сибири. Одновременно путешествует, участвует в северных экспедициях, претворяет в жизнь творческие планы. Выходит сборник его стихов «Солнце сердца», очерки «Выход к морю», «Восточный вариант», «Морские пути Советской Арктики», повести «Высокий путь», «Коан Кэрэдэ».

Жизненный путь писателя закончился в 1945 году в Уфе.

«Открытие Риэля» — это больше утопия, нежели научно-фантастическое произведение. Сам автор говорил так: «Я написал рассказ, направленный против войны, гордо назвав его романом. Рассказ назывался «Открытие Риэля». Аналогия между солнечной системой и атомом казалась в то время смелой. Я думаю, что подобного представления достаточно, чтобы армии бросили оружие». Тогда же Итин принес рукопись в «Летопись» А. М. Горькому, которому она понравилась. Однако вскоре «Летопись» закрыли, и рукопись затерялась.

В годы революции и гражданской войны время иногда дышало для Итина «непонятной силой». Он искренне надеялся на быстрое торжество разума, светлого, нередко нереального, чуть не сказочного идеала. В 1922 году родственники переслали Итину в Канск, где он работал завагитпромом, копию «воскресшей рукописи» его первого фантастического рассказа. Автор исправил текст в некоторых местах. Книга была издана под названием «Страна Гонтури». Она сразу же стала библиографической редкостью. Возможно, это обстоятельство послужило основанием к тому, что через пять лет автор опубликовал рассказ в журнале «Сибирские огни», но уже под прежним названием — «Открытие Риэля».

Прочитав произведение, А. М. Горький в короткой записке упрекнул писателя: «Открытие Риэля» было издано под титулом «Страна Гонтури» в Канске, в 1922 году. Об этом Вам следовало бы упомянуть. Сделанные Вами исправления не очень укрепили эту вещь. Однако, мне кажется, что Вы, пожалуй, смогли бы хорошо писать фантастические рассказы».

Необходимость переустройства жизни на новых началах заставила писателя как бы вернуться из «лучезарных сфер» на землю и во многом переосмыслить свое творчество, оставив в нем тем не менее довольно простора для воображения и мечты.

Стр. 191. *Страна Гонтури*.—Название, которое автор, возможно, заимствовал от наименования испанской поэтической школы XVII века — «гонгоризма», утверждавшей «культ чистой формы», отсутствие сюжета, усложненность языка. Основателем школы был поэт Луис де Гонгора-и-Арготе.

Гелий — имя присходит от названия благородного инертного газа.

Стр. 192. *«Фата-моргана»* — причудливый мираж.

Стр. 193. *Семилетний сон Магомета*, во время которого Мухаммеду, основателю ислама, явились откровения свыше.

Стр. 194. *Экстатические импровизации* — в высшей степени творческое состояние.

Момзен.—Теодор Моммзен (1817—1903) — немецкий историк, специалист по истории Древнего Рима и римского права, лауреат Нобелевской премии 1902 года.

Ганибал сын Гамилькара.—Ганибал, Аннибал Барка (247—183 до н. э.) — полководец и государственный деятель Древнего Карфагена; Гамилькар Барка (? — 229 до н. э.) — карфагенский полководец и политический деятель.

Нумидийцы — жители древнего царства в восточной части современного Алжира (3 в. до н. э.).

Ассоциативные процессы — взаимосвязанные, сочетающиеся между собой явления.

Стр. 196. *Матросский салун* — общественное место, клуб, трактир, таверна в больших торговых портах.

Фаренгейт Габриэль Даниэль (1686—1736) — немецкий физик, предложивший шкалу измерения температуры из 180 частей-градусов, «Фаренгейтов». Согласно этой шкале, вода тает при 32°F и кипит при 212° F .

Лондон — всемирно известный американский писатель Джон Гриффит (1876—1916), публиковавшийся под псевдонимом Джек Лондон, один из основателей пролетарской литературы на Западе.

Стр. 201. *Танаиси* — возможно, по аналогии с Танаисом, греческим городом-портом на месте нынешнего Азова на правом берегу реки Дон. В то время Дон назывался также Танаисом.

Стр. 202. ...*атавистическим пушком* — наследственным.

...в *экстазе созерцания...* — высшей степени восторга.

Стр. 203. *Радий* — радиоактивный элемент II группы Периодической системы Д. И. Менделеева, открыт в 1898 году. Явление радиоактивности обнаружил А. Беккерель в 1896 году.

Стр. 204....*гипертрофированные розовые кусты...* — ненормально больших размеров.

Стр. 207. *Телеология* — идеалистическое учение, согласно которому мир создан «ради целей человека».

Стр. 208. *Мадригалы* — песни на родном (материнском) языке, светский музыкальный поэтический жанр эпохи Возрождения. Истоки мадригала восходят к народной поэзии и старинной итальянской пастушеской песне. Мадригалы писали и русские поэты К. Н. Батюшков, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов.

Шаманская магия — ранняя форма религии первобытного общества, при отправлении которой служитель культа в экстазе якобы общался с духами и с их помощью исцелял больных, советовал, гадал.

Берлиоз Гектор (1803—1869) — выдающийся французский композитор, дирижер, музыкант, писатель, автор «Фантастической симфонии» и других всемирно известных произведений. Высоко ценил русскую музыку, творчество М. И. Глинки.

Стр. 211. *Атлантозаф* — очень крупное пресмыкающееся второй половины Мезозойской эры из группы динозавров с длинной шеей и хвостом и очень маленькой головой.

Стр. 212. *Хлорофилл* — зеленый пигмент растений, с помощью которого они улавливают энергию солнца и осуществляют фотосинтез.

Стр. 214. *Энтропия* — поворот, превращение.

Стр. 217. *Дервиши* — нищие.

Стр. 218. ...*во времена Бернулли...* — имеется в виду время жизни семьи швейцарских ученых-математиков Бернулли: Якоба, Иоганна, Даниила, живших в XVII—XVIII вв. — авторов известных «схемы, теоремы, уравнений, чисел Бернулли».

Стр. 219. *Эринии* — в древнегреческой мифологии подземные богини кровной мести, рожденные богиней земли Геей от капель крови Урана.

Стр. 222. *Фосфены* — зрительные ощущения, возникающие под воздействием света на глаз человека.

Стр. 226. *Генэри* — возможно, от слова генерировать — рождать.

Стр. 230. *Интерференция* — взаимное ударение, взаимовлияние, сложение.

Стр. 231. *Дей* — возможно, от деизма — религиозно-философского воззрения эпохи Возрождения, согласно которому бог, сотворив мир, не вмешивается в его жизнь.

Стр. 234. ...в ярких эдемах... — в библейской мифологии это земной рай, где жили Адам и Ева до грехопадения. В переносном смысле страна вечного блаженства и наслаждения.

Стр. 237. *Фритьоф Нансен* (1861—1930) — норвежский путешественник, океанограф, общественный деятель, почетный член Петербургской Академии наук, один из организаторов помощи голодающим Поволжья в 1923 году, лауреат Нобелевской премии Мира 1922 года за гуманную деятельность.

Публикуется по: В. И т и н. Высокий путь.— М.—Л.: Госиздат, 1927.

Андрей Платонович
Платонов (Климентов)
(1899—1951)

Родился в Ямской слободе на окраине Воронежа в семье рабочего — слесаря железнодорожных мастерских. С тринадцати лет стал помогать отцу кормить большую семью. В годы революции работал на Воронежском паровозостроительном заводе. Во время гражданской войны был бойцом отряда ЧОН, корреспондентом газеты в Новохоперске, машинистом. Окончил Воронежский железнодорожный техникум, был губернским мелиоратором, руководил строительством воронежской электростанции. Одновременно начал выступать как автор статей, очерков, рассказов, стихов, критических заметок в воронежских газетах.

В 1921 году вышла его первая публицистическая книга «Электрификация», в следующем году — сборник стихов «Голубая глубина».

В конце 20-х и в 30-х годах А. Платонов много работает как профессиональный писатель. Он создает такие повести, как «Город Градов», «Епифанские шлюзы», «Ямская слобода», «Сокровенный человек», «Происхождение мастера», много рассказов, посвященных историческим судьбам страны и ее народа, своим современникам.

В годы Великой Отечественной войны А. Платонов служил фронтовым корреспондентом газеты «Красная звезда» и, несмотря на тяжелую болезнь, не оставил службы до победы над врагом. Писатель создает новые повести, рассказы, пишет пьесы, пересказывает русские народные сказки.

Большинство произведений А. Платонова опубликовано после его кончины.

Рассказ «Потомки Солнца» относится к раннему периоду творчества А. Платонова. О глобальной непрекращающейся работе неистового инженера Богулова писатель рассказал в «фантазии» «Сатана мысли» во второй книге альманаха «Путь коммунизма», вышедшем в Краснодаре в 1922 году. Примерно в то же время создается и другая своеобразная «фантазия» — «Глиняный дом в уездном саду». Эти произведения свидетельствуют о творческих поисках А. Платонова, влюбленного в технику, в инженерную мысль, нередко до крайности.

«Сознание победит и уничтожит пол и будет центром человека и человечества. И перед этим интеллектуальным переворотом мы сейчас живем и к нему готовимся», — писал он в 1920 году в статье «Культура пролетариата». А. Платонов искренне верил, что благода-

ря науке люди «легко и быстро» завоюют себе бессмертие и добьются прогресса цивилизации.

Еще не сформировавшиеся, излишне наивные взгляды писателя в первые годы литературной работы и нашли отражение в «фантазиях», которые он считал лучшим способом рассказывать о пути в «царство разума». В этом смысле не случайно появление в 1923 году «Рассказа о многих интересных вещах», напечатанного в нескольких номерах воронежской газеты для крестьян «Наша газета». Интересно, что рассказ посвящен, в отличие от «Сатаны мысли», реальному трудовому опыту, конкретным делам, в которых принимал участие сам автор: руководил строительством электростанций на селе. То есть речь идет уже о более «реальном Богулове», о том, что А. Платонов пытается осмыслить суть и направление революционных преобразований в стране. Он совершенно справедливо полагает, что фантастика является хорошим средством поразмышлять о грядущем, состоящем из «многих интересных вещей». Писатель задумывает фантастическую трилогию-размышление о будущем в настоящем и осуществляет замысел.

В рассказ «Сатана мысли» он вносит некоторые уточнения и изменения, меняет название на «Потомки Солнца». В 1926 году в № 12 журнала «Всемирный следопыт» публикуется рассказ А. Платонова «Лунная бомба», повествующий о полете на Луну космического корабля, управляемого человеком сугубо техническим, лишенным всякой социальной окраски. И автор как бы стремится показать, с одной стороны, возможность, а с другой стороны — малоэффективность «чистого» эксперимента подобного масштаба. Петр Крейцкопф, своеобразный «космический Богулов», стремясь достигнуть конечного результата прогресса, еще более удаляется от человечества в нравственном отношении. Так автор ставит под сомнение свою прежнюю мысль. Потребовалось несколько лет, чтобы у Платонова начал утверждаться правильный взгляд на роль науки в жизни человека, в его преобразовательной деятельности. Результатом размышлений в известной мере стала повесть «Эфирный тракт», замкнувшая фантастическую трилогию.

Все главные герои фантастической трилогии — своеобразная цепочка зеленеющих всходов поколения «мирового будущего». И если Богулов еще весьма абстрактен как человек, как личность, то Егор Кирпичников в «Эфирном тракте» уже вполне современник писателя, живое воплощение его юношеской мечты о строителе грядущего чуда. Правда, Егор трагически погибает: среди энтузиастов науки такое всегда случалось и будет случаться, но смерть его, в отличие, скажем, от смерти героя «Лунной бомбы» Крейцкопфа, — во имя жизни других. Поэтому и «вечная слава» ему и таким, как он.

В фантастике А. Платонова просматривается вполне определенная философия. Разумеется, она не без утопии. Революционно-романтическая страсть писателя, как и всего молодого поколения того времени, нашла в ней свое отражение. В то же время обращение к истории, к живым людям, их труду, заботам, житейским и сердечным тайнам, пусть даже с моментами более желаемого, нежели действительного, с вымыслом, фантастикой со всей очевидностью подтверждало, что А. Платонов все увереннее опирался в своем творчестве на реалистическую основу. Фантастика становилась действенным инструментом для изучения, врачевания и совершенствования внутреннего мира современников. И в этом смысле А. Платонов всегда оставался неисправимым романтиком, несмотря на хитросплетения судьбы своей и своих героев.

В одном из писем двадцатых годов о повести «Эфирный тракт» и ее главном герое писатель замечал: «Прежде всего Кирпичников — это не я. И вот почему. Мои идеалы однообразны и постоянны. Я не буду литератором, если буду излагать свои неизменные идеи. Меня не станут читать».

В то же время, как и его герой, Платонов учительствовал, затем как специалист строил электростанции в Воронежской губернии, занимался проблемами использования электроэнергии в народном хозяйстве. Жену А. Платонова, как и жену отца героя, звали Марисей. Как и Кирпичников, писатель посыпал ей нежные письма: «Жизнь тяжелее, чем можно выдумать, теплая крошка моя. Скитаясь по захолустьям, я увидел такие грустные вещи, что не верил, что где-то существует роскошная Москва, искусство и проза. Но мне кажется — настоящее искусство, настоящая мысль только и могут рождаться в таком захолустье...» Достаточно взять любое произведение А. Платонова, чтобы убедиться: «путешествие» по жизни — его любимый литературный прием.

Многие свои повести и рассказы А. Платонов посвятил пахарям, машинистам, изобретателям-самоучкам, народным умельцам. Рассказ «Потомки Солнца» — не исключение. Но ведь и сам автор был в роли каждого из них, сменил не одну профессию, познавая жизнь. Да и некоторые критические статьи он подписывал именами своих же героев: А. Богулов, Н. Вермо, Ф. Человеков, А. Фирсов. Иногда ставил, правда, настоящую фамилию — А. Климентов. Все это указывает на автобиографичность его произведений.

Создавая мир своих героев, всматриваясь в него, Платонов строго и до жестокости самокритично изучал самого себя и при этом был невероятно скромен и добр. Ему страстно хотелось, чтобы они походили на него, а он — на них. Здесь-то, наверное, и кроется причина его упорного стремления к реальной мечте, к созданию фанта-

стических, но глубоко жизненных ситуаций. Невозможно представить себе начавшуюся под руководством Богурова «перестройку земного шара», не принимая во внимание дух и пафос первых лет Советской власти, желание людей с энтузиазмом строить «наш, новый мир».

Фантастика А. Платонова тесно связана, сплетена с конкретными историческими событиями и явлениями, идет с ними не только в ногу, но и рассматривает возможные повороты судьбы народа и страны, прогнозирует. Думается, не лишним будет сказать, что оригинальное исследование «души народной» А. Платонова не всегда находило достаточное понимание. Например, критик А. Гурвич писал в № 10 журнала «Красная новь» в 1937 году: «Планотов испытывает непреоборимую потребность говорить о тех и за тех, кто слаб и нем. Беспомощность обладает для него огромной притягательной силой. Его неизменно влечет к обездоленным, брошенным людям. Потребность проливать слезы над чужим горем у Платонова настолько сильна и ненасытна, что он неутомимо и изоцеренно вызывает в своем воображении самые мрачные картины, самые жалостливые положения. В этом отчоплении, подгоняемая болезненным воображением, фантазия художника не знала и не хочет знать никаких ограничений».

Непонимание критиком писательского поиска, сокровенных тайн человеческой души, их поэтичность даже в предельно обнаженной реальности, его бесчувственность вызвали у А. Платонова вполне справедливые возражения:

«...Вздор также, несомненно, поддается обдумыванию и планированию. Беря, например, произведение, написанное 9—10 лет тому назад, и, сравнивая его, скажем, с рассказом «Бессмертие» или «Фро», написанными полтора года назад, Гурвич заявляет, что принципиально все эти произведения одно и то же. Это все равно, что сказать — всякое вещество состоит из водорода: вопрос «ясен», но зато при таком «решении» из мысли и чувства человека мгновенно исчезает вся живая природа, остается лишь некий невидимый газ, почти ничего... Механика сравнения несравнимого проста и глупа».

Нынешним читателям А. Платонова обидные сетования некоторых его современников-критиков могут представиться не вполне искренними, даже надуманными, субъективными. Но одновременно с ними на литературных диспутах и творческих встречах говорилось немало теплых и даже восторженных слов о творчестве А. Платонова.

Прочитав, например, фантастический роман «Чевенгур» о хождении по обновляющейся России Саши Дванова и Копенкина для выяснения, как осуществляется мечта человечества о справедливом

обществе, А. М. Горький заметил: «Человек вы талантливый, это бесспорно, бесспорно и то, что вы обладаете очень своеобразным языком... Вы счастливее нас!.. Но надо подумать, надо сделать так, чтобы счастье вдохновляло человека сильнее, чем... нужда и необходимость».

Заметим, что это было сказано в сентябре 1929 года.

При обсуждении замечательных рассказов А. Платонова «В прекрасном и яростном мире» и «Ты кто?» в феврале 1941 года выступавшие говорили: «Платонов сейчас уже классик в смысле понимания, что такое рассказ».

Немного позже один из критиков не без пафоса, навеянного зарницами нежной души писателя, заглянул еще глубже в его таинства: «Если бы прозу Андрея Платонова пощупать пальцами, как материю, она наверняка оказалась бы мягкой. Она податлива, как живое горячее тело...»

В одном, пожалуй, чрезмерно пристрастные «ценители» таланта А. Платонова оказались правы. Фантазия художника действительно «не знала и не хочет знать никаких ограничений». Это было и тогда, когда «Россия тратилась на освещение пути всем народам, а для себя в хатах света не держала». Да и хаты порой заменяли фантастически огромные выдолбленные тыквы, в которых жили, к примеру, герои повести «Ювенильное море» — богатые и бедные каждый по-своему, но нередко сказочно упрямые, искренние, одухотворенные люди.

Это со всей очевидностью открылось в яростное время тяжких испытаний, противодействия «мусорному ветру», а затем «неодушевленному врагу» — фашизму в годы Великой Отечественной войны. Это стало еще более привлекательным, зримым после титанической нашей победы над главной «грубостью мира». Над «загадкой» нашего торжества и по сей день боятся и недоумеваются «специалисты» по русским делам всех мастей и направлений, вплоть до оголтелых русофобов. Олицетворением этой «загадки» был сам Андрей Платонов и многие герои его повестей и рассказов.

Трудно согласиться с необходимостью ограничения фантазии еще и потому, что ее сердцевина, душа восходит к творчеству самого народа, волшебным сказкам. Пушкинское «Что за прелесть, эти сказки!» не только полностью принималось писателем, как оценка нежности души народной, но буквально ожило в произведениях А. Платонова, помогая расти новому человека, воспитывать его.

Незадолго до преждевременной смерти в 1951 году Андрей Платонов выпустил сборник русских народных сказок в своем пересказе — «Волшебное кольцо». Редактором сравнительно небольшой книжки был известный автор «Тихого Дона» Михаил Шолохов. Он принял участие в нелегкой судьбе писателя, поддержал его очень

оригинальное, близкое народному даже по интонации прочтение фольклорных сочинений об умной внучке, счастливом Семене, Иване Бесталанном и Елене Премудрой, волшебном соколином перышке и красном молодце.

Все семь сказок сборника сверкают, как «семь чудес света», проникнуты неистребимой верой народа в свое трудное счастье. Писатель хорошо знал страну, встречался со сказителями, внимательно их выслушивал, тщательно записывал. Он понимал всю ответственность за «частицу «живого существа» народа», которое, говоря его словами, народ «передоверил ему на время».

Платоновские своеобразные «домовые», «лешие», «черти», «петрушки», «удалые солдаты», «Кащей Бессмертный», «Синяя Борода» и другие как будто живут рядом с его героями и в них самих, создавая колоритные, проникновенные, надолго запоминающиеся образы. Есть у Платонова и «сатана», «дьявол», «ад», «исход» и другие приметы древней мифологии, что показывает высокую внутреннюю культуру писателя. Но своему родному он отдает предпочтение, настойчиво и талантливо следует заветам великого Пушкина.

«Разве не повеселел бы часто грустивший Пушкин, если бы узнал, что смысл его поэзии — универсальная, мудрая и мужественная человечность — совпадает с целью социализма, осуществленного на его же, Пушкина, родине», — писал А. Платонов в статье «Пушкин — наш товарищ» в 1937 году. Он считал, что Пушкин «угадал и поэтически выразил «тайну» народа, умеющего «искать и находить выход из губительного положения», и тем самым открыл секрет не просто выживания, а движения вперед, очеловечивания самых горестных обстоятельств, секрет способности «изымать свою любовь из-под власти судьбы и бедствий» (статья «Пушкин и Горький»). Благодаря этому и рождались, и действовали в России «строители чудотворные», а их дело продолжали и будут продолжать «тайственные певцы», которые не обманут доверия своих ясновидящих великих предков.

«Живи Пушкин теперь, его творчество стало бы источником всемирного социалистического воодушевления...

Да здравствует Пушкин — наш товарищ!»

Так заканчивал А. Платонов памятную статью.

Он всегда мечтал о трудном счастье для себя и своих героев и весьма критически относился к похищению и использованию кем-то уготованного счастья вместо того, чтобы «добывать его в труде, нужде и борьбе», — и нередко сожалел по поводу слишком ярких, как ему казалось, увлечений некоторых писателей-фантастов.

Став одним из «тайственных певцов» в переломный момент отечественной истории, Андрей Платонов постоянно чувствовал

мощный духовный подъем революционных сил. Оказавшись на гребне высокой народной волны, писатель открыл, что в новой России всему миру на зависть и удивление «никто не ищет «хлеба», все ищут духовного счастья и красоты». Вполне возможно, что именно здесь и скрыта тайна любви А. Платонова к фантастическому, к фантастике, лучезарно осветившей все его творчество и многотрудную жизнь.

В своем творчестве и в дальнейшем писатель не раз обращался к фантастике, в частности к образу инженера Богулова, кстати, во многом автобиографичного. В 1937—1939 годы он пишет прекрасный рассказ «Свежая вода из колодца», где убедительно показывает, что смысл труда героя-землекопа Альвина не абстрактный, а вполне определенный: приносить пользу людям, приближать их жизнь к идеалу Красоты.

Стр. 239. *Слобода* — автор имеет в виду Ямскую Слободу на окраине Воронежа, где он родился.

Стр. 241. *Инженер-пиротехник* — специалист по изготовлению взрывчатых и горючих смесей.

Стр. 244. *Эллипсис* — постоянная величина.

Стр. 245. *Инфраэлектромагнитное поле* — невидимое, невоспринимаемое.

Эманация — процесс образования промежуточного газообразного продукта распада радиоактивных веществ.

Полярный полюс — автор имеет в виду способность некоторых проявлять известные свойства в некоторых точках (полюсах) своей поверхности с большей интенсивностью, чем в других.

Стр. 247. *Фабрикация* — изготовление, производство чего-либо в больших количествах.

Данте Алигьери (1265—1321) — итальянский поэт начала эпохи Возрождения, автор «Божественной комедии».

Публикуется по: «Фантастика-78», М.: Молодая гвардия, 1978.

Александр Степанович
Грин (Гриневский)
(1880—1932)

Родился в уездном городке Слободском Вятской губернии в семье ссыльного поляка, причастного к восстанию 1863 года против царизма. Бедность в семье рано приучила мальчика к самостоятельности. Уже к пятнадцати годам он занимался многими ремеслами: был переписчиком, чертежником, переплетчиком. Затем уходит из семьи, много ездит по России, работает матросом на Черном море, золотоискателем и лесорубом в Сибири, железнодорожным рабочим, даже «актером на выходах». В 1902 году по совету отца поступает на военную службу, где участвует в революционном движении.

Увлеченный романтикой таинственности, Грин примыкает к организации партии эсеров, пишет листовку к солдатам, совершают побег из казарм, становится связным, участвует в подготовке террористических акций. Его неоднократно арестовывают, ссылают.

В 1906 году в «Биржевых ведомостях» печатается его первый рассказ «В Италии» под псевдонимом А. А., М—Я. Подпись «А. С. Грин» впервые появилась под рассказом «Случай» в петербургской газете «Товарищ» 23 марта (7 апреля) 1907 года.

В годы революции и гражданской войны А. Грин находится на фронте, а затем после болезни в 1919 году возвращается в Петроград. Он создает свои лучшие произведения, в том числе фантастические романы «Блистающий мир», «Бегущая по волнам», феерию «Алые паруса», рассказы «Крысолив», «Корабли в Лиссе», «Сто верст по реке» и другие.

Через несколько лет писатель переезжает жить в Крым, в Феодосию, и до последних дней продолжает плодотворно работать.

Роман «Блистающий мир» впервые начал публиковаться в 1923 году (№ 20) в журнале «Красная нива», а в 1924 году книга вышла в издательстве «Земля и фабрика».

Как известно, главный герой романа Друд — «Человек Двойной Звезды» свободно летает и даже может покорить весь мир, но не желает этого. Тема свободного полета сильно волновала А. Грина и занимала достаточно места в его творчестве.

В 1909 году в журнале «Всемирная панорама» (№ 2) был напечатан его рассказ «Воздушный корабль». В 1915 году в журнале «Двадцатый век» (№ 10) публикуется рассказ «Битва в воздухе», а затем «Охота в воздухе» (№ 18). В 1916 году в «Синем журнале» (№ 27) вышел «Тяжелый воздух». Наконец в журнале «Петроград» (№ 4) за 1923 год читатели познакомились с рассказом «Русалки воздуха».

Интерес к теме еще более обострили летательные аппараты, увиденные Грином на Авиационной неделе в апреле 1910 года под Петербургом. По его мнению, техника, показанная на летном поле зрителям, была неуклюжая, примитивная. Она во многом не соответствовала, даже противоречила, его представлениям о парении человека, возвышенного человеческого духа. Тогда же Грин написал рассказ «Состязание в Лиссе», в котором чудесная способность человека летать без крыльев во сне противопоставлена «здравому» техническому устройству самолета-этажерки. Бескрылый летун смело вступал в состязание с человеком, управляющим самолетом, и летчик, увидев его в воздухе рядом с собой, в растерянности терял управление и погибал.

Быть такого, естественно, не могло, но у А. Грина, по воспоминаниям современников, была «своя теория» на этот счет. «Он вполне серьезно полагал, что человек когда-то умел летать и летал... Он мечтал вслух яростно и вдохновенно... Сны, в которых спящий летает, он приводил в доказательство того, что человек некогда летал, эти каждому знакомые сны он считал воспоминанием об атрофированном свойстве человека».

Эта противоречивая мысль полностью отразилась в романе «Близко стоящий мир». Писатель вовсе не одержим поисками противопоставлений бурно развивающейся авиационной техники. Он старается видеть и видит дальше: во имя чего это происходит, с какой целью человек учится вновь летать и совершенствует свой полет. Так Грин затрагивает большую нравственную проблему.

Достойно внимания, что в центре всех произведений А. Грина колоритнейшие женские образы. Это и восторженная Ассоль, и «упрямая гусеница» Руна, и безоглядно добрая Тави. Все они — разные и показывают сложность и противоречивость поиска писателем идеального источника нравственных начал. У А. Грина был замысел большого романа, может быть, даже фантастического, о женщине. Сохранился набросок, сделанный, по свидетельству Н. Н. Грин, в 1924—1925 гг. В нем А. Грин писал: «...я уже чувствую, что где-то далеко, неторопливо и весело идет хорошая девушка. Я признаю только хороших девушек... Хорошая девушка неизбежно и безусловно добра... Не то, чтобы она постоянно искала случая поделиться последней рубашкой. У нее может быть сто рубашек, тысяча или всего три. Она добра потому, что ее свежесть душевная и большой запас нравственной силы есть дар другим, источаемый беспрерывно и беспредельно...

Она может быть красивой и некрасивой, хорошенькой или просто недурненькой. Но если она весела, добра и радушна, общение с ней может вызвать в человеке все самое лучшее, что у него есть»¹.

¹ ЦГАЛИ, ф. 127, оп. I, ед. хр. 59, лл. 3—5.

Нетрудно заметить, что нравственная победа во всех произведениях А. Грина, и в романе «Блистающий мир» особенно, всегда принадлежит именно такой хорошей девушке, да и вообще всем хорошим людям.

А. Грин как бы подчеркивал сходство, родство внутренних миров своих героев и собственного. В этом, как единодушно отмечали исследователи, и состояла особенность романтизма А. Грина и романтизма вообще, в котором, как писал В. Г. Белинский, открывается «вся внутренняя задушевная жизнь человека, таинственная почва души и сердца, откуда подымаются все неопределенные стремления к лучшему и возвышенному, стараясь находить себе удовлетворение в идеалах, творимых фантазией»¹.

Стр. 249. *Нерон Клавдий Цезарь* (37—68) — римский император.

Гелиогабал — римский император (218—222 до н. э.).

Стр. 253. *Цезарь Гай Юлий* (100—44 до н. э.) — римский государственный и политический деятель, полководец, писатель.

Стр. 255. ...*астурийских конях*... — Порода лошадей, выращиваемая в Астурнии — исторической области в Северной Испании у побережья Бискайского залива.

...*Вакх и вакханка*... — в древнегреческой мифологии бог вина, виноделия и веселья; жрица Вакха.

...*жуткими вольтами* — круговыми поворотами.

Стр. 260. ...*монстр элевации*... — непрерывно движущееся чудовище, урод.

Стр. 261. *Маниаки* — одержимые, страдающие ненормальным односторонним влечением.

Стр. 264. *Венера Милосская* — известная древнегреческая скульптура II в. до н. э., найдена в Милосе, хранится в музее Лувра, в Париже.

Стр. 266. ...*механический человек Вебера*... — Вебер Эрнст Генрих (1795—1878) — немецкий анатом и психофизиолог, профессор Лейпцигского университета, автор важных работ по определению абсолютной силы мышц, по изучению механики ходьбы и других видов движения человека.

Стр. 271. ...*ньютона яблока*... — Исаак Ньютон (1643—1727) открыл закон всемирного тяготения. Поводом к открытию, согласно легенде, послужило упавшее на ученого с ветки яблоко.

Стр. 275. *Бонапарт* — Наполеон I (1769—1821), французский император, полководец.

Стр. 277. *Эпитафии* — надгробные надписи, слова.

¹ Белинский В. Г. Собр. соч.: в 3 т. Т. 3. М., ГИХЛ, 1948. С. 217.

Верфест — Возможно, имеется в виду Адриан ван дер Верф (1659—1722) — голландский живописец, автор картин на мифологические и библейские сюжеты.

Стр. 278. *Шехерезада* — героиня знаменитого сборника арабских сказок «Тысяча и одна ночь». Более правильно Шахразада.

Стр. 279. *Катехизис* — краткое изложение вероучения в вопросах и ответах.

Библиомания — страсть собирать книги.

...с *платоническим умилением*... — чисто духовным.

Апокалипсис — мистическое пророчество о конце света французского астролога Нострадамуса (1505—1566).

Дон Кихот, великий и непобедимый рыцарь Ламанчский, Серванте-са... — речь идет о великом испанском писателе Сервантесе де Сааведра Мигеле (1547—1616) и его романе «Хитроумный идалго Дон Кихот Ламанчский».

Стр. 287. ...*экстатическим настроениям*... — восторженным, искупленным.

Стр. 289. ...с *чувством Роланда*... — Роланд (?—778) — франкский маркграф, префект бретонской марки. Участвовал в походе Карла Великого в Испанию в 778 году и погиб в битве с басками в Ронсевальском ущелье, прикрывая отступление франкских войск. Сказания о Роланде легли в основу героического эпоса французского народа «Песнь о Роланде», где в образе Роланда народ воплотил свой идеал патриота, благородного и бесстрашного человека.

Стр. 307. ...*царственных анфилад*... — ряд комнат, сообщающихся друг с другом дверьми, расположенных по одной оси.

Стр. 309. *Абрис* — чертеж, линейное очертание предмета, контур.

Паяц — балаганный шут, скоморох.

Стр. 314. *Мериме* Проспер (1803—1870) — выдающийся французский писатель-реалист.

Кармен — героиня одноименной новеллы Мериме, на сюжет которой в 1874 году была написана одноименная опера Ж. Бизе.

Стр. 316. *Камертон* — источник звука.

Арфа — древний щипковый струнный музыкальный инструмент.

Эол — в древнегреческой мифологии повелитель ветров, упоминается в «Одиссее» Гомера.

Стр. 317. *Годар* Эжен (1827—1890) — французский воздухоплаватель. Во времена осады Парижа в 1871 году создал воздушную почту на аэростатах.

Беранже Пьер Жан (1780—1857) — знаменитый французский народный поэт.

Дюмурье Шарль Франсуа (1739—1823) — генерал и политический деятель Великой Французской революции.

Стр. 319. *Ниагара* — река в Северной Америке, в среднем течении которой находится Ниагарский водопад.

Стр. 320. *Фантоме* — призрак, привидение.

Стр. 338. *Тамбуリン* — ударный инструмент, напоминающий бубен. Распространен в Испании и Италии.

Стр. 340. ...*апоплексического сложения* — с признаками паралича или других физических недостатков.

Стр. 342. *Моноплан* — самолет с одной несущей поверхностью.

Биплан — самолет с двумя несущими поверхностями.

Стр. 343. *Махаон* — вид экзотической бабочки.

Стр. 344. *Каннибализм* — жестокость, людоедство.

Стр. 348. *Фут* — английская мера длины, равная примерно длине ступни человека.

Стр. 353. *Наитие* — чутье, чувство вдохновения.

Стр. 361. *Постскриптум* — приписка к оконченному и подписанному письму.

Стр. 362. *Эфемериды* — мимолетности.

...в облачных садах Гесперид... — в греческой мифологии гесперидами называли дочерей Атланта и Геспериды. По мифу, геспериды жили в саду, где росли золотые яблоки, подаренные Геей богине Гере в день свадьбы. Похищение яблок из сада гесперид, охранявшихся драконом, было одним из двенадцати подвигов Геракла.

Стр. 363. *Сократ* (469—399 до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист.

Стр. 365. *Казанова* Джованни Джакомо (1725—1798) — итальянский авантюрист, автор «Мемуаров» о жизни придворных аристократов.

Стр. 370. *Оккультный роман* — произведение о сверхъестественном, о таинственных силах, магии.

Стр. 373. *Саракиния* — имеется в виду страна мусульманского Востока, где живут разбойничьи племена — сарацины.

Ятаган — кривой турецкий кинжал.

Стр. 374. *Эдисон* Томас Алва (1847—1931) — выдающийся американский ученый-изобретатель.

Гарантюа — герой романа французского писателя Ф. Рабле «Гарантюа и Пантагрюэль».

Стр. 388. *Монте-Кристо* — герой романа французского писателя А. Дюма-отца «Граф Монте-Кристо».

Стр. 392. *Венера Тангейзера* — имеется в виду немецкий поэт-миннезингер — герой легенд и сказаний о Венериной горе, в волшебном гроте которой он видел духов древнегерманской богини Хольды. Гора находится близ Вартбурга.

Стр. 397. ...улыбка Джоконды... — имеется в виду выражение лица на картине Леонардо да Винчи «Мона Лиза».

Леандр — возлюбленный жрицы Афродиты из Сесты.

Геро — жрица Афродиты в Сесте, героиня произведений Овидия.

Стр. 402. *Марионетка* — кукла для театрального представления.

«*Пицца богов*» — журнал по кулинарии.

Публикуется с сокращениями по: Грин А. С. Библиотека приключений и фантастики.—Л.: Детская литература, 1958.

Леонид Максимович Леонов

Родился в Москве в 1899 году, воспитывался в семье деда — мелкого торговца. В 1915 году в газетах города Архангельска, куда был сослан его отец — поэт М. Л. Леонов, появились первые работы будущего писателя. В годы революции и гражданской войны Леонов служил в Красной Армии, воевал на Южном фронте, работал в военных газетах.

В 1922 году в московском альманахе «Шиповник» была напечатана его прозаическая сказка «Бурыга», которая свидетельствовала об интересе автора к фантастике. Этот интерес Леонов еще более развил и углубил в своем дальнейшем творчестве. Он заметен во всех его лучших реалистических произведениях: романе-эпопее «Русский лес», «Соть» и других.

В 1935 году в журнале «Новый мир» публикуется роман Л. Леонова «Дорога на Океан», где автор несколько глав отводит научной фантастике, размыщлениям о будущем развитии человечества с позиций существующих реальностей. Эти главы представляют собой как бы самостоятельное произведение в романе.

Перу Л. Леонова принадлежат большие фантастические произведения: памфлет «Бегство мистера Мак-Кинли» (1961), романы «Мироздание по Дымкову» (1970) и «Последняя прогулка» (1978—1979).

Писатель живет и работает в Москве. Он — академик АН СССР, Герой Социалистического Труда, заслуженный деятель искусств РСФСР.

В 1936 году в «Библиотеке «Огонька» вышла небольшая книжка Л. Леонова «Путешествия за горизонт». В ней были собраны как бы в единое целое отрывки из нового романа «Дорога на Океан», написанные в жанре научной фантастики, серьезной во всех отношениях. Автор перебрасывает мост из реально строящегося нового социалистического мира в его же будущее. Это будущее вполне конкретно. «Воображаемые путешествия за пределами видимых горизонтов», которые совершает автор вместе с главным героем Алексеем Куриловым, позволяют им видеть грандиозные картины технического прогресса: телевидение, управляемые по радио машины, почти современные радары, полет человека в космос — и сравнить их с настоящим, где многое осталось от прошлого, многое надо перестроить. И не столько прежде всего в науке и технике, сколько в самих людях, в каждом человеке, в обществе. Не случайно, думается, исследователи отмечают, что «прожектором фантастики Леонов высвечивает в потоке современности контуры нравственного моста в зав-

тра». Они справедливо считают, что именно «социально-психологические мотивы — ядро фантастических глав». Ведь именно Алексей Курилов, коммунист-организатор, философ, мечтатель, целиком отдающий себя во имя светлого будущего страны, по сути, и является мостом, по которому люди будут переходить в будущее, символом нового человека, идеалом. Именно к такому идеалу ведет писатель своих героев и призывает идти читателей.

Для большей привлекательности этого идеала автор активно использует большой исторический и современный ему материал. На его фоне более беспersпективными представляются трагические события, вызванные непониманием людей друг друга, противоречиями глобального характера, ведущими в конечном счете к войне. Но даже в описываемом военном конфликте в будущем Леонов стремится показать непременное зарождение более совершенного мира во имя счастья новых поколений. Поэтому примечательно, что следом за картинами гигантского сражения между войсками Федерации Социалистических республик и Старого Света автор рассказывает о полете космического экипажа. Здесь также не обходится без трагедии: двое из космонавтов погибают. Но это уже свидетельствует о стремлении утолить жажду познания, о вечной страсти движения вперед.

С помощью фантастики такая разнополюсная ситуация лишь подчеркивает неизбежность отступления мира наживы, сил зла под натиском мира справедливости, сил добра.

Думается, необходимо также помнить, что «Путешествия за горизонт» появились в то время, когда в Европе набирал силу фашизм. Угрожал своим народам, нашей стране, всему человечеству. Поэтому так остро прозвучало своеобразное предупреждение Леонова о грозящей опасности и важности самоотверженным трудом крепить могущество Родины. В этой реальной связи времен и состоит высокий созидательный пафос «путешествий» героев романа.

Стр. 408... со времен Александра — видимо, имеется в виду царь Александр Македонский (356—323).

Стр. 413. Варлова — сын Аввы, разбойник, упоминаемый в истории страданий Иисуса Христа.

Стр. 414. Пигалетта Антонио Франческо (1491—1534) — спутник Ф. Магеллана в его кругосветной экспедиции (1519—1522), автор сочинения «Впервые вокруг света» («Путешествие Магеллана», М., 1950).

Стр. 421... в стиле Учелло и Сальваторе Розы. — Паоло Учелло, настоящее имя Паоло ди Доно (1396—1475) — итальянский живописец

эпохи Возрождения, крупный мастер флорентийской школы, один из первых баталистов, автор картин «Битва при Сан-Романо», «Святой Георгий» и др.; Сальватор Роза (1615—1673) — итальянский живописец неаполитанской школы, автор картин «Прометей», батально-го жанра, пейзажей.

Стр. 441. *Колломан Валлиш* — австрийский социал-демократ, был в оппозиции к оппортунистическому руководству партии. Участвовал в вооруженной борьбе республиканцев против фашизма. Возглавлял отряд рабочей обороны г. Брука, мэром которого являлся. В 1934 году был казнен по доносу провокатора.

Публикуется по: Л. М. Леонов. Путешествия за горизонт (из романа «Дорога на Океан»). М., Жур.-газ. объединение, 1936.

Всеволод Вячеславович
Иванов
(1895—1963)

Родился в поселке Лебяжье Павлодарского уезда Семипалатинской губернии (ныне Павлодарская обл.) в семье сельского учителя. Окончил Павлодарское сельскохозяйственное училище. Рано оставил свой дом и стал самостоятельным. Работал в Сибири, Казахстане, на Урале.

В 1915 году появились первые публикации в сибирских газетах.

Первую книгу своих рассказов «Рогульки» Иванов отпечатал сам в типографии омской газеты «Вперед» тиражом 30 экземпляров.

В 1921 году с удостоверением газеты «Советская Сибирь» он приезжает в Петроград. Встречается с А. М. Горьким.

Первый номер советского литературного журнала «Красная Новь» в 1922 году открывался повестью Вс. Иванова «Партизаны», а пятый номер — повестью «Бронепоезд 14-69», по которой впоследствии он написал широко известную пьесу, где стремился «...показать революцию через душу человека».

В 20—30-е годы Вс. Иванов много и плодотворно работает. Его перу принадлежат романы, повести, рассказы о сражениях за Советскую власть в годы гражданской войны, о строительстве нового мира, очерки автобиографического характера. «Цветные ветры», «Сопки. Партизанские повести», «Пархоменко», «Путешествие в страну, которой еще нет», «Похождения факира» — таков далеко не полный перечень его произведений того времени.

В годы Великой Отечественной войны Вс. Иванов, военный корреспондент газет «Красная Звезда» и «Известия», ездит на фронт, много выступает как публицист, присутствует на Нюрнбергском процессе над военными преступниками. Одновременно писатель начинает работу над произведениями «фантастического цикла», ставшими замечательным явлением в его творчестве. Над ними он продолжал работать до последних дней жизни.

Интерес к поискам «фантастического» в человеке у Вс. Иванова был постоянный. Он проявился в его первых реалистических произведениях. Достаточно обратить внимание на их названия. Однако у писателя постепенно созрел замысел создавать вполне самостоятельный ряд произведений, объединенных одной мыслью, связать, по его словам, «наши бурные годы с далеким прошлым, искусство этого далекого прошлого с современным, мечты прошлого с мечтами нашими, людей былого — с трепетными чуткими людьми нашего

дня»¹. Это стремление ярко проявилось в работе над «тайными повестями и рассказами».

В «фантастический цикл» вошли рассказы: «Опаловая лента» (другие названия — «Попытка инженера Хорева», «Эффект Эдисона»), датирован 6 февраля 1944 года; «Агасфер», «Сокол», «Сизиф — сын Эола», создан в августе — сентябре 1944 года; «Медная лампа», 4 октября 1944 года; роман «Эдесская святыня» писался в 1946 году.

В сороковые годы был опубликован только рассказ «Сокол» в №№ 2, 3 журнала «Звезда» с подзаголовком «Из книги «Фантастические рассказы». Другие оставались в архиве писателя до 1956 года. «Медная лампа» увидела свет в 1963 году, «Сизиф — сын Эола» в 1964 году, «Эдесская святыня» в 1965 году, «Опаловая лента» в 1966 году, наконец, «Агасфер» — в 1968 году. Эти произведения были включены в сборники писателя, в его собрания сочинений. В 1984 году издательство «Молодая гвардия» выпустило в свет сборник «Медная лампа», в который вошли лучшие произведения «фантастического цикла».

К жанру фантастических относятся и рассказы «Прометей», «Пасмурный лист», «Хмель», романы «Мы идем в Индию», «Вулкан», «Сокровища Александра Македонского». В архиве писателя встречается упоминание о создании новых фантастических произведений, что свидетельствует о широких творческих планах Вс. Иванова.

Медная лампа

Стр. 445. *Чесучовая пара* — костюм из суровой шелковой платяной ткани полотняного переплетения, вырабатываемой из особого сорта шелка-туссара.

Стр. 450. *Нерчинск* — город в Сибири, в Забайкалье, основан в 1654 году.

Стр. 451. *Солнце России* — название издательства.

Метраниаж — верстальщик, старший наборщик (фр.).

Стр. 458. *Риза* — часть верхней одежды высшего духовного лица.

Стр. 459. *Дискант* — высокий детский голос.

Фальстаф, Дон-Жуан, Гаргантюа — герои произведений Шекспира, Шиллера, Рабле.

• Публикуется по: В с е в о л о д И в а н о в. Медная лампа.— М.: Молодая гвардия, 1984.

¹ Иванов В. И. Собр. соч. Т. 8, 1958, с. 112.

Агасфер

Стр. 463. *Агасфер* — имя легендарного «Вечного жида», который якобы был осужден скитаться по земле «до конца мира».

Андерсен Ханс Кристиан (1805—1875) — известный датский писатель-сказочник.

Шлегель Август Вильгельм (1767—1845) — немецкий историк литературы, критик, поэт, переводчик, теоретик раннего немецкого романтизма.

Евгений Сю Эжен, настоящее имя Мари Жозеф (1804—1857) — французский писатель, автор романа «Вечный жид».

Эдгар Кине (1803—1875) — французский политический деятель, историк.

Кармен Сильва — возможно, имеется в виду португальский драматург Антонио Хозе да Сильва (1703—1739), прозванный «Иудеем».

Франц Горн — возможно, имеется в виду военный и политический деятель Нидерландской буржуазной революции XVI века Филипп де Монморанси Горн (1524—1568).

Ленау Николаус — настоящее имя и фамилия Франц Нимбш Эдлер фон Штреленау (1802—1850), австрийский поэт-романтик.

Стр. 467. *Роберт Дьявол* — легендарный морской разбойник.

Робин Гуд — герой английского народного эпоса.

Рабин德拉нат Тагор (1861—1941) — выдающийся индийский писатель, ученый, общественный деятель.

Стр. 468. «*Русский архив*» — историко-литературный сборник, выходил в Москве в 1863—1917 гг.

Стр. 469. *Виттенберг* — город на реке Эльбе в Германии, в XVI веке был одним из центров Реформации. Здесь находится церковь с гробницей Лютера и его музей.

Стр. 470. *Афродита* — богиня любви и красоты в Древней Греции.

Богоматерь Мария — по преданию, мать Христа.

Аскетизм — крайняя степень воздержания, отречение от жизненных благ.

Розанов Василий Васильевич (1856—1919) — известный русский философ, публицист и критик, автор большого труда «О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания».

Стр. 471. *Пилигримм* — странник, странствующий богомолец, паломник.

Стр. 472. *Палеография* — историческая наука по изучению способа написания и формы букв рукописей.

Манускрипт — древняя рукопись.

Схоластические — бесплодные.

Хроника Матиаса Париса — возможно, имеется в виду французский историк литературы Алексис Парис, автор описания рукописей Парижской Национальной библиотеки.

Стр. 478. *Гроссе* — возможно, имеется в виду современный испанский писатель Альфонсо Гроссе.

Исаак Лакедем — видимо, житель древнегреческого города-государства Лакедемона в долине реки Эврет.

Григориус — возможно, божественный Григорий.

Будедес — разбойник, герой древнегерманских легенд.

Стр. 479. *Карл Бреман* — возможно, речь идет о Карле Великом, который основал в г. Бремене епископство, предоставив таким образом городу самостоятельность.

Троя — легендарный город-государство на берегу Эгейского моря. В ходе Троянской войны после десятилетней осады в 1260 г. до н. э. был разрушен греками. Предания о Трое отразились в поэмах Гомера «Илиада» и «Одиссея». Обнаружена при раскопках в 1870-х гг. немецким археологом Г. Шлиманом.

Стр. 480. *Амвон* — возвышенное место в церкви, с которого произносятся проповеди.

Стр. 481. *Иерусалим* — город в Палестине.

Стр. 485. *Каеркс* — персидский царь (?—465 до н. э.).

...Жестоко подавив восстание Египта... задушил также восстание в Вавилоне... он направился душить Грецию. Греки разбили его войска... — В столкновении с усиливающимся античным Западом — греческим обществом в середине V века до н. э. Персидская держава потерпела поражение. При Марафоне и Платеи армии Дария и Ксеркса были разбиты. Покоренные ими народы начали борьбу за освобождение. В 486—484 годах до н. э. восстал Египет. Его примеру последовал Вавилон. В августе 484 года там появился Бэл-шумманий, претендовавший на титул персидского великого царя, «царя Вавилона», «царя стран». Персы легко подавили этот мятеж. Затем они разбили восставших египтян и начали готовиться к походу против греков. В это время, осенью 482 г. до н. э., Вавилон снова поднял восстание. Подавив его, Ксеркс увез из главного храма города — Эсагилы золотой искусан бога Бэла, палладий Вавилона. Вавилонское царство, основанное в 1894 г. до н. э., навсегда перестало существовать.

Античный Вавилон был средоточием пороков цивилизации, поэтому в истории Вавилон стал образом и символом разложения общества.

Стр. 486. *Скудельность* — непрочность, слабость.

Стр. 487. *Приок* и *Кассиодор* — государственные деятели Остготского королевства.

Аммиан Марцеллин — римский историк 4 в. до н. э.

Гиббон — английский историк-исследователь Древнего Рима (1737—1794).

Ландеброгий — один из членов королевской династии во Франции. Династия существовала с 1328 по 1589 г.

Валуа Карл Кристиан Фридрих (1781—1832) — немецкий философ, автор одной из теорий божественного происхождения мира.

Стр. 492. *Магистр* — глава духовного рыцарского ордена.

Шлезвиг — город средневековой Германии.

Анно — год (исп.).

Стр. 509. *Римини* — город в Италии, откуда происходил род властителей Римини в 13—15 вв.

Сигизмондо Малатеста — автор имеет в виду Сиджисмонде Малатеста (1417—1468), деятеля итальянского Возрождения.

Стр. 511. *Леопретка* — маленькая комнатная собачка.

В послесловии и примечаниях использованы наблюдения и факты, содержащиеся в трудах советских ученых А. Ф. Бритикова, Б. Н. Воробьева, Л. А. Гладковской, В. М. Гуминского, С. Б. Джимбинова, Е. А. Краснощековой, А. Ф. Лосева, Н. М. Малыгиной, А. М. Ушакова, В. А. Чалмаева и других.

Выражаю благодарность членам редакционной коллегии «Библиотеки фантастики» А. П. Казанцеву, В. Д. Петрову, Д. А. Жукову за советы и консультации.

Дмитрий Зиберов

Содержание

Дмитрий Зиберов	<i>Замыслы «мирового будущего»</i>	5
СОВЕТСКАЯ ФАНТАСТИКА 20—40-х ГОДОВ		
Константин Циолковский	<i>Вне Земли</i>	27
Вивиан Итин	<i>Открытие Риэля</i>	191
Андрей Платонов	<i>Потомки Солнца</i>	239
Александр Грин	<i>Блистающий мир</i>	249
Леонид Леонов	<i>Путешествия за горизонт</i>	405
Всеволод Иванов	<i>Медная лампа</i>	444
	<i>Агасфер</i>	463
	<i>Пасмурный лист</i>	512
	<i>Комментарии</i>	541

С 56 Советская фантастика 20—40-х годов.
/Сост., вст. ст. и комм. Д. Зиберова; Ил. А. Яцкевича.— М.: Правда, 1987.—576 с., ил.

В предлагаемый вниманию читателей сборник вошли фантастические произведения К. Циолковского, В. Итина, А. Платонова, А. Грина, Л. Леонова и Вс. Иванова, созданные в 20—40-е годы XX столетия, в исторической ситуации, характеризовавшейся началом коренных социально-экономических преобразований в нашей стране, борьбой за нового человека, за свободу и независимость в битве с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

С 4702010200—1382
080(02)—87 1382—87(подписаное)

84 Р 7

Советская фантастика 20–40-х годов

Составитель *Дмитрий Алексеевич Зиберов*
Редактор *С. А. Суркова*
Оформление художника *А. И. Когановского*
Художественный редактор *Т. Н. Костерина*
Технический редактор *Т. Б. Слизун*

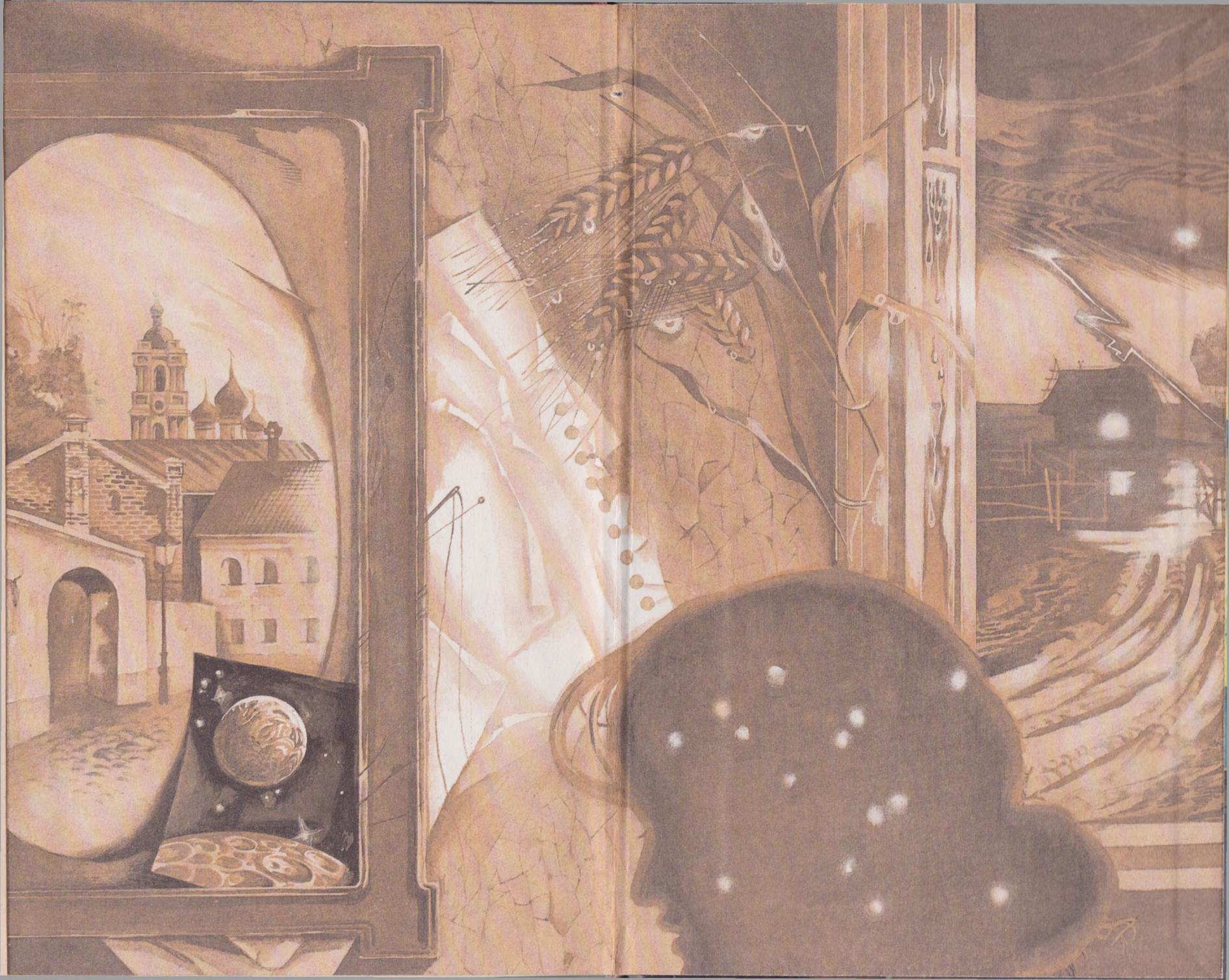
ИБ 1382

дано в набор 20.09.86. Подписано к печати 29.09.87.
Формат 84×108^{1/32}. Бумага книжно-журнальная. Гар-
нитура «Гарамонд». Печать офсетная. Усл. печ. л. 30,66.
Усл. кр.-отт. 32,76. Уч.-изд. л. 30,12. Тираж 400 000 экз.
(2-й завод: 200 001—400 000 экз.). Заказ № 455.
Цена 2 р. 60 к.

Набор и фотоподборки изготовлены в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства «Уральский рабочий». 620151, г. Свердловск, проспект Ленина, 49.





2 р. 60 к.

БИБЛИОТЕКА
ФАНТАСТИКИ

Советская фантастика
20-40-х годов

